

Т- 52

Р 180881

Толстой, А

Повести и рассказы





АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ



ПОВЕСТИ  
*и*  
РАССКАЗЫ

1910-1943



Советский писатель  
Москва  
1944



Александр Кочетов



# АЛЕКСЕЙ ТОЛСТОЙ

(Краткая автобиография)

Я вырос на степном хуторе верстах в девяноста от Самары. Мой отец Николай Алексеевич Толстой — самарский помещик. Мать моя Александра Леонтьевна, урожденная Тургенева, двоюродная внучка Николая Ивановича Тургенева, ушла от моего отца, беременная мною. Ее второй муж, мой вотчим, Алексей Аполлонович Бостром был в то время членом земской управы в г. Николаевске (ныне Пугачевск).

Моя мать, уходя, оставила троих маленьких детей, — Александра, Мстислава и дочь Елизавету. Уходила она на тяжелую жизнь, — приходилось порывать все связи не только в том дворянском обществе, которое ее окружало, но и семейные. Уход от мужа был преступлением, падением, она из порядочной женщины становилась в глазах общества — женщиной неприличного поведения. Так на это смотрели все, включая ее отца Леонтия Борисовича Тургенева и мать Екатерину Александровну.

Не только большое чувство к А. А. Бострому заставило ее решиться на такой трудный шаг в жизни, — моя мать была образованным для того времени человеком и писательницей. (Роман «Неугомонное сердце» и повести «Захолустье». Впоследствии ряд детских книг, из которых наиболее популярная «Подружка».) Самарское общество восьмидесятых годов — до того времени, когда в Самаре появились сосланные марксисты, — представляло одну из самых угнетающих картин человеческого свинства. Богатые купцы-мукомолы, купцы — скупщики дворянских имений, изнывающие от безделья и скуки разоряющиеся помещики-«степняки», — общий фон, — мещане, так ярко и с такой ненавистью изображенные Горьким...

Люди спивались и свинели в этом страшном, пыльном, некрасивом городе, окруженном мещанскими слободами... Когда там появился мелкопоместный помещик — Алексей Аполлонович Бостром, молодой красавец, либерал, читатель книг, человек с «запросами», — перед моей матерью встал вопрос жизни и смерти: разлагаться в свинском болоте или уйти к высокой, духовной и чистой жизни. И она ушла к новому мужу, к новой жизни — в Николаевск. Там моей мамой были написаны две повести «Захолустье».

Алексей Аполлонович, либерал и «наследник шестидесятников» (это понятие «шестидесятники» у нас в доме всегда производилось, как священное, как самое высшее), не мог ужиться со степными помещиками в Николаевске, не был переизбран в управу и вернулся с моей мамой и мною (двухлетним ребенком) на свой хутор Сосновку.

Там прошло мое детство. Сад. Пруды, окруженные ветлами и заросшие камышом. Степная речонка Чагра. Товарищи — деревенские ребята. Верховые лошади. Ковыльные степи, где лишь курганы нарушали однообразную линию горизонта... Смены времен года, как огромные и всегда новые события. Все это и в особенности то, что я рос один, развивало мою мечтательность...

Когда наступала зима и сад и дом заваливало снегами, по ночам раздавался волчий вой. Когда ветер заводил песни в печных трубах, в столовой, бедно обставленной, штукатуренной комнате, зажигалась висючая лампа над круглым столом, и вотчим обычно читал вслух Некрасова, Льва Толстого, Тургенева или что-нибудь из свежей книжки «Вестника Европы»...

Моя мать, слушая, вязала чулок. Я рисовал или раскрашивал... Никакие случайности не могли потревожить тишину этих вечеров в старом деревянном доме, где пахло жаром штукатуренных печей, топившихся кизяком или соломой, и где по темным комнатам нужно было идти со свечой...

Детских книг я почти не читал, должно быть, у меня их и не было. Любимым писателем был Тургенев. Я начал его слушать в зимние вечера лет с семи. Потом — Лев Толстой, Некрасов, Пушкин. (К Достоевскому у нас относились с некоторым страхом, как «жестокому» писателю.)

Вотчим был воинствующим атеистом и материалистом. Он читал Вокля, Спенсера, Огюста Конта и более всего на свете любил принципиальные споры. Это не мешало ему держать рабочих в полуразвалившейся людской с гнилым полом и таким множеством тараканов, что стены в ней шевелились, и кормить «людей» тухлой солониной.

Позднее, когда в Самару были посланы марксисты, вотчим перезнакомился с ними и вел горячие дебаты, но «Капитала» не осилил и остался, в общем, при Канте и английских экономистах.

Матушка была тоже атеисткой, но, мне кажется, больше из принципиальности, чем по существу. Матушка боялась смерти, любила помечтать и много писала. Но вотчим слишком жестоко гнул ее в сторону «идейности», и в ее пьесах, которые никогда не увидели сцены, учителя, деревенские акушерки и земские деятели произносили уж слишком «программные» монологи.

Лет с десяти я начал много читать — все тех же классиков. А года через три, когда меня с трудом (так как на вступительных экзаменах я получил почти круглую двойку) поместили в Сызранское реальное училище, я добрался в городской библиотеке до Жюль Верна, Фенимора Купера, Майн Рида и глотал их с упоением, хотя матушка и вотчим неодобрительно называли эти книжки дребеденью.



До поступления в Сызранское реальное училище я учился дома: вотчим из Самары привез учителя, семинариста Аркадия Ивановича Словоохотова, рябого, рыжего, как огонь, отличного человека, с которым мы жили душа в душу, но науками занимались без перегрузки. Словоохотова сменил один из высланных марксистов. Он прожил у нас зиму, скучал, занимаясь со мною алгеброй, глядел с тоской, как вертится жестяной вентилятор в окне, на принципиальные споры с вотчимом не слишком поддавался и весной уехал...

В одну из зим, — мне было лет десять, — матушка посоветовала мне написать рассказ. Она очень хотела, чтобы я стал писателем. Много вечеров я корпел над приключениями мальчика Степки.... Я ничего не помню из этого рассказа, кроме фразы, что снег под луной блестел, как бриллиантовый. Бриллиантов я никогда не видел, но мне это понравилось. Рассказ про Степку вышел, очевидно, неудачным, — матушка меня больше не принуждала к творчеству.

До тринадцати лет, до поступления в реальное училище, я жил созерцательно-мечтательной жизнью. Конечно, это не мешало мне целыми днями пропадать на сенокосе, на жнивье, на молотье, на реке с деревенскими мальчиками, зимою ходить к знакомым крестьянам слушать сказки, побасенки, песни, играть в карты: в носки, в короли, в свои козыри, играть в бабки, на сугробах драться стенка на стенку, наряжаться на святках, скакать на необъезженных лошадях без узды и седла и т. д.

Глубокое впечатление, живущее во мне и по сей день, оставили три голодных года, с 1891 по 1893. Земля тогда лежала растрескавшаяся, зелень преждевременно увядала и облетала. Поля стояли желтыми, сожженными. На горизонте лежал тусклый вал мглы, сжигавшей все.

В деревнях крыши изб были оголены, солому с них скормили скотине, уцелевший истощенный скот подвизывался подпругами к перекадинам (к поветам)... В эти годы именье вотчима едва уцелело... И все же через несколько лет ему пришлось его продать... Вся Самарская губерния отходила к земельному магнату Шехобалову, скупившему все дворянские земли и бравшему с крестьян цены за годовую аренду, какие ему заблагорассуживалось.

В 1897 году мы навсегда покинули Сосновку, купленную «почтарем» — кулаком, знаменитым тем, что он начал свое кулацкое благосостояние, ловко ограбив почту и спрятав на десять лет (до срока давности) ограбленные деньги. Мы переехали в Самару, в собственный дом на Саратовской улице, купленный вотчимом на остатки от уплаты долгов по закладным и векселям.

В 1901 году я окончил реальное училище в Самаре и поехал в Петербург, чтобы готовиться к конкурсным экзаменам. Я поступил в подготовительную школу к С. Войтинскому (в Териоках). Сдал конкурсный экзамен в Технологический институт и поступил на механическое отделение.

Первые литературные опыты я отношу к шестнадцатилетнему возрасту, — это были стихи, — беспомощное подражание

Нисрасову и Надсону. Не могу вспомнить, что меня побуждало к их писанию — должно быть, беспродетная мечтательность, не находившая формы. Стишки были серые, и я бросил корпеть над ними.

Но все же меня снова и снова тянуло к какому-то не оформленному еще процессу созидания. Я любил тетради, чернила, перья... Уже будучи студентом, неоднократно возвращался к опытам писания, но это были начала чего-то, не могущего ни оформиться, ни завершиться...

Я рано женился, — девятнадцати лет, — на студентке-медичке, и мы прожили вместе обычной студенческой рабочей жизнью до конца 1906 года. Как все, я участвовал в студенческих волнениях и забастовках, состоял в социал-демократической фракции и в столовой комиссии Технологического института. В 1903 году у Казанского собора во время демонстрации едва не был убит брошенным булыжником, — меня спасла книга, засунутая на груди за шинель.

Когда были закрыты высшие учебные заведения, в 1905 году, я уехал в Дрезден, где в Политехникуме пробыл один год. Там снова начал писать стихи, — это были и революционные (какие писал тогда Тан-Богораз и даже молодой Бальмонт) и лирические опыты. Летом 1906 года, вернувшись в Самару, я показал их моей матери. Она с грустью сказала, что все это очень серо. Тетради этой не сохранилось.

Каждой эпохе соответствует своя форма, в которую укладываются думы, ощущения и страсти. Этой новой формы у меня не было, создать ее я еще не умел.

Летом 1906 года умерла от менингита моя мать, Александра Леонтьевна. Я уехал в Петербург, чтобы продолжать учебу в Технологическом институте.

Начиналась эпоха реакции, и с нею вместе на сцену к огням рампы выходят символисты...

С их творчеством — Вячеслав Иванов, Бальмонт, Белый — впервые меня познакомил чиновник министерства путей сообщения и яхтсмен — Константин Сергеевич Фан дер Флит, — чудаки и фантазеры. По ночам у себя в мансарде на Васильевском острове, при свете керосиновой лампы, он читал мне стихи символистов и говорил о них с неподражаемым жаром фантазии.

Тогда же, — весной 1907 года, — я написал первую книжку «декадентских» стихов. Это была подражательная, наивная и плохая книжка. Но ею для самого себя я проложил путь к осознанию современной формы поэзии. Уже через год была написана вторая книжка стихов — «За синими реками». От нее я не отказываюсь и по сей день. «За синими реками» — это результат моего первого знакомства с русским фольклором, русским народным творчеством. В этом мне помогли А. Ремизов, М. Волошин, Вячеслав Иванов.

Тогда же я начал свои первые опыты прозы: «Сорочьи сказки». В них я пытался в сказочной форме выразить свои детские впечатления. Но более совершенно это удалось мне сделать много лет спустя в повести «Детство Никиты».

Близостью к поэту и переводчику М. Волошину я обязан

началом моей новеллистической работы. Летом 1910 года я слушал, как Волошин читал свои переводы из Анри де Ренье. Меня поразила чеканка образов. Символисты с их исканием формы и такие эстеты, как Ренье, дали мне начатки того, чего у меня тогда не было и без чего невозможно творчество: формы и техники.

Осенью 1910 года я написал первую повесть «Неделя в Туреневе» — одну из тех, которые впоследствии вошли в книгу «Заволжье», а еще позднее — в расширенный том «Под старыми липами» — книгу об эпитафиях дворянского быта той части помещиков, которые перемалывались новыми земельными магнатами — Шехобаловыми. Крепко сидящее на земле дворянство, — перешедшее к интенсивным формам хозяйства, — в мой книжке не затронуто, я не знал его.

Затем следуют два романа: «Хромой барин» и «Чудаки», и на этом оканчивается мой первый период повествовательного искусства, связанный с той средой, которая окружала меня в юности.

Я исчерпал тему воспоминаний и вплотную подошел к современности. И тут я потерпел крах. Повести и рассказы о современности были неудачны, не типичны. Теперь я понимаю причину этого. Я продолжал жить в кругу символистов, реакционное искусство которых не принимало современности, бурно и грозно закипавшей навстречу революции.

Символисты уходили в абстракцию, в мистику, рассаживались по «башням из слоновой кости», где намеревались переждать то, что надвигалось.

Я любил жизнь, всем своим темпераментом противился абстракции, идеалистическим мировоззрениям. То, что мне было полезно в 1910 году, вредило и тормозило в 1913.

Я отлично понимал, что так быть дальше нельзя. Я всегда много работал, теперь работал еще упорнее, но результаты были плачевны: я не видел подлинной жизни страны и народа.

Началась война. Как военный корреспондент («Русские ведомости»), я был на фронтах, был в Англии и Франции (1916 год). Книгу очерков о войне я давно уже не переиздаю: царская цензура не позволила мне во всю силу сказать то, что я увидел и перечувствовал. Лишь несколько рассказов того времени вошло в собрание моих сочинений.

Но я увидел подлинную жизнь, я принял в ней участие, содрал с себя, застегнутый наглухо, черный сюртук символистов. Я увидел русский народ.

С первых же месяцев Февральской революции я обратился к теме Петра Великого. Должно быть, скорее инстинктом художника, чем сознательно, я искал в этой теме разгадки русского народа и русской государственности. В новой работе мне много помог покойный историк В. В. Каллаш. Он познакомил меня с архивами, с актами Тайной канцелярии и Пгб. ображенного приказа, так называемыми делами «Слова и Дела». Передо мной во всем блеске, во всей гениальной силе раскрылось сокровище русского языка. Я, наконец, поняла тайну построения художественной фразы: ее форма обусловлена внутренним состоянием рассказчика, повествователя, за

которым следует движение, жест и, наконец, — глагол. речь, где выбор слов и расстановка их адекватны жесту.

К первым дням войны я отношу начало моей театральной работы как драматурга. До этого — в 1913 году — я написал и поставил в Московском Малом театре комедию «Насильники»... Она вызвала страстную реакцию части зрителей и вскоре была запрещена директором императорских театров.

С четырнадцатого по семнадцатый годы я написал и поставил четыре комедии: «Выстрел», «Нечистая сила», «Касатка», «Ракета» и «Горький цвет».

С Октябрьской революции я снова возвращаюсь к прозе и осуществляю первый набросок «День Петра», пишу повесть «Милосердия!», являющуюся первым опытом критики российской либеральной интеллигенции в свете октябрьского за-рева.

Осенью восемнадцатого года я с семьей уезжаю на Украину, зимуя в Одессе, где пишу комедию «Любовь книга золотая» и повесть «Калиостро». Из Одессы уезжаю вместе с семьей в Париж. И там, в июле 1919 года, начинаю эпопею «Хождение по мукам».

Жизнь в эмиграции была самым тяжелым периодом моей жизни. Там я понял, что значит быть парием, человеком, оторванным от родины, невесомым, бесплодным, не нужным никому ни при каких обстоятельствах.

Я с жаром писал роман «Хождение по мукам» (первая часть «Сестры»), повесть «Детство Никиты», «Приключения Никиты Рощина» и начал большую работу, затянувшуюся на несколько лет: переработку заново всего ценного, что было мной до сих пор написано...

Осенью 1921 года я перекочевал в Берлин и вошел в сменовеховскую группу «Накануне». Этим сразу же порвались все связи с писателями-эмигрантами. Бывшие друзья «надели по мне траур». В 1922 году весной в Берлин приехал из Советской России Алексей Максимович Пешков, и между нами установились дружеские отношения.

За берлинский период были написаны: роман «Аэлита», повести «Черная пятница», «Убийство Антуана Рибо» и «Рукопись, найденная под кроватью» — наиболее из всех этих вещей значительная по тематике. Там же я окончательно доработал повесть «Детство Никиты» и «Хождение по мукам».

Весной 1923 года в ответ на проклятия, сыпавшиеся из Парижа, я опубликовал «Письмо Чайковскому» (перепечатанное в «Известиях») и уехал с семьей в Советскую Россию.

Началом работы по возвращении на родину были две вещи: повесть «Ибикус» и небольшая повесть «Голубые города», написанная после поездки на Украину (не считая нескольких менее значительных рассказов).

«Письмо Чайковскому», продиктованное любовью к родине и желанием отдать свои силы родине и ее строительству, было моим паспортом, неприемлемым для троцкистов, для леваческих групп, примыкающих к ним, и впоследствии для многих из руководителей РАПП'а.

С 1924 года я возвращаюсь к театру: комедия «Изгнание



блудного беса», пьесы «Заговор императрицы» и «Азеф», комедия «Чудеса в решете», «Возвращенная молодость» и театральные переработки: «Бунт машин», «Анна Кристи» и «Делец» (по Газенклеверу).

Рапповское давление на меня усиливалось с каждым годом и наконец приняло такие формы, что я вынужден был на несколько лет оставить работу драматурга.

В 1926 году я написал роман «Гиперболоид инженера Гарина» и через год начал вторую часть «Хождения по мукам» — роман «18-й год».

В то же время я не прекращал переделку и переработку всего ранее написанного мною.

В 1929 году я вернулся к теме Петра в пьесе «На дыбе», где не совсем освободился от некоторых «традиционных» тенденций в обрисовке эпохи. В 1934 году пьеса была мною коренным образом переработана (постановка Александринского театра) и в 1937 году — в третий раз, уже окончательно (новая постановка Александринского театра).

Постановка первого варианта «Петра» во 2-м МХАТ'е была встречена РАПП'ом в штыки, и ее спас товарищ Сталин, тогда еще, в 1929 году, давший правильную историческую установку петровской эпохе.

В 1930 году я написал первую часть романа «Петр I». Через полтора года — роман-памфлет «Черное золото», который в 1938 году был переработан мной и опубликован под названием «Эмигранты». Вторую часть «Петра» я закончил в 1934 году.

Обе опубликованные части «Петра» — лишь вступление к третьему роману, к работе над которым я уже приступил (осень 1943 года).

Что привело меня к эпохе «Петр I»? Неверно, что я избрал ту эпоху для проекции современности. Меня увлекло ощущение полноты «непричесанной» и творческой силы той жизни, когда с особенной яркостью раскрывался русский характер.

Четыре эпохи влекут меня к изображению по тем же причинам: эпоха Ивана Грозного, Петра, гражданской войны 1918 — 1920 годов и наша — сегодняшняя — небывалая по размаху и значительности. Но о ней — дело впереди. Чтобы понять тайну русского народа, его величие, нужно хорошо и глубоко узнать его прошлое: нашу историю, коренные узлы ее, трагические и творческие эпохи, в которых завязывался русский характер.

Две или три попытки вернуться в тридцатых годах к театру были встречены решительным отпором троцкистствующей части печати и РАПП'а. Только после роспуска РАПП'а, после очищения нашей общественной жизни от троцкистов и троцкистствующих, от всего, что ненавидело нашу родину и вредило ей. — я почувствовал, как расступилось вокруг меня враждебное окружение. Я смог отдать все силы, помимо литературной, также и общественной деятельности. Я выступал пять раз за границей на антифашистских конгрессах. Был избран членом Ленсовета, затем депутатом Верховного Совета СССР, затем действительным членом Академии наук СССР.

В 1935 году я начал повесть «Хлеб», которая является необходимым переходом между романами «18-й год» и задуманным в то время романом «Хмурое утро». «Хлеб» был закончен осенью 1937 года. Я слышал много упреков по поводу этой повести: в основном они сводились к тому, что она суха и «деловита». В оправдание могу сказать одно: «Хлеб» был попыткой обработки точного исторического материала художественными средствами; отсюда несомненная связанность фантазии. Но, быть может, когда-нибудь кому-нибудь такая попытка пригодится. Я отстаиваю право писателя на опыт и на ошибки, с ним связанные. К писательскому опыту нужно относиться с уважением, — без дерзаний нет искусства. Любопытно, что «Хлеб», так же как и «Петр», может быть, даже в большем количестве, переведен почти на все языки мира.

Весной 1938 года я написал пьесу «Путь к победе» и осенью того же года — политический антифашистский памфлет «Чортов мост».

Параллельно с этими литературными работами я готовлю для Детиздата пять томов русского фольклора. Я отказываюсь от переделки или переработки сказок. Сохраняя девственность изустного рассказа, я свожу варианты сказочного сюжета к одному сюжету — с сохранением всех особенностей народной речи, с очищением сюжета от тех деталей и наносов, которые произошли либо от механического добавления рассказчиком деталей из других сказок, либо от несовершенства рассказчика, либо от местных и нехарактерных особенностей речи.

В день начала войны — 22 июня 1941 года — я окончил роман «Хмурое утро». Готовя к печати всю трилогию, проредактировал первые две части этой эпопеи. Трилогия писалась на протяжении двадцати двух лет. Ее тема — возвращение домой, путь на родину. И то, что последние строки, последние страницы «Хмурого утра» дописывались в день, когда наша родина была в огне, убеждает меня в том, что путь этого романа — верный.

Оглядываясь сейчас на два страшных и опустошительных года войны и вижу, что только вера в неиссякаемые силы нашего народа, вера в правильность нашего исторического пути, тяжелого и трудного, справедливого и человеческого пути к великой жизни, только любовь к родине, жаркая боль к ее страданиям, ненависть к врагу — дали силы для борьбы и для победы. Я верил в нашу победу даже в самые трудные дни октября — ноября 1941 года. И тогда в Зимежках (недалеко от г. Горького, на берегу Волги) начал драматическую повесть «Иван Грозный». Она была моим ответом на унижения, которым немцы подвергли мою родину. Я вызвал из небытия к жизни великую страстную русскую душу — Ивана Грозного, чтобы вооружить свою «рассвирепевшую совесть». Работая над повестью, я продолжал публиковать статьи; из них наибольший резонанс получили: «Что мы защищаем», «Родина», «Кровь народа». Статьи, опубликованные в газетах за время войны, собраны в два сборника. Первую часть «Грозного», «Орел и Орлица», я закончил в феврале сорок второго года, вторую, «Трудные годы», — в апреле сорок третьего года. Помимо этого были написаны «Рассказы Ивана Сударева» и другие...

П О В Е С Т И  
*и*  
Р А С С К А З Ы



# МИШУКА НАЛЫМОВ

## ЗАВОЛЖЬЕ

### I

**П**о низовому берегу Заволжья, — в тени серых садов с прудами, купальнями и широкими дворами, заросшими травой, с крытыми соломой службами, — издавна стояли помещичьи усадьбы дворян Ставропольского уезда.

Проезжему человеку, сидящему на подушке, вышитой по углам петушками, в тарантасе, запряженном парой облепленных слепнями почтовых лошадей, не на что было смотреть сквозь сонные веки: жара, пыль, пыльная, чуть выходящая дорога по степи, жаворонки над хлебами, далеко — соломенные крыши да журавли колодцев... Лишь изредка из-за горки поднимались вершины ветел, и тарантас катил мимо плоского пруда с рябым от отпечатков копыт берегом, мимо канавы, поросшей акацией, мимо белеющих сквозь тополевую зелень колонн налымовского дома.

Хотя, в этом случае, знающий уездные порядки непременно сворачивал лошадей с дороги и ехал не через усадебный двор, а задом, особенно если у окна сидит в халате сам Мишука, — Михал Михалыч Налымов, — с отвислыми усами, с воловьим, в три складки, затылком, и поглядывает, насупясь, на проезжающий тарантас.

Бог знает, что взбредет в голову Мишуке: велит догнать проезжего и звать в гости, лошадей отпрячь и — в табун, тарантас — в пруд, чтобы не разохся. Или — не понравится ему проезжий — перегнется за окошко и закричит: «Спускай собак, — моя земля, кто разрешил мимо дома ездить, черти скайные!..» А налымовских собак лучше и то сие не видеть. Или в зимнее время прикажет остановить проезжего и дать ему метлу — замести за собой след через двор. Хочешь не хочешь — вылезай из саней, мети. А около сидят собаки с обмерзшими усами.

Так знающий уездные порядки далеко огибал по степи налымовскую усадьбу. Редко заезжали в нее и гости, но уже по другой причине.

После полудня Мишука сидел, как обычно, у раскрытого

окна. На другом конце зеленого двора, в каретнике, ворота были раскрыты, ходили конюхи. Вот они расступились, и из каретника, разом отпущенная, вылетела караковая тройка, запряженная в венскую коляску, — описала по двору полукруг и стала у крыльца так, что, разом осаженные, пристяжные сели на хвосты, коренник задрал голову, вошел копытами в рыхлую землю. Кучер, в черной безрукавке, с малиновыми рукавами, снял осыпанную мелом перчатку и, приставив большой палец к ноздре, высморкался. Подбежавший напрямик от каретника конюх взял коренника под уздцы.

Мишука, перегнувшись за окно, смотрел на лошадей, — хороша тройка, — лавы. Наглядевшись, он поднялся с кресла, пошел в соседнюю комнату и крикнул: «Ванюшка!» Вошел толстомордый мальчик, называвшийся еще по старине — казачком. Мишука присел на деревянную кровать и протянул казачку одну за другою толстые ноги, на которые Ванюшка натянул просторные панталоны, наместо халата Мишука надел парусиновую поддевку, взял в руки белый картуз с красным околышем, короткий арапник, выпятил полную грудь и, тяжело ступая по половицам дома, вышел на крыльцо.

Коренник, завидев Мишуку, обернулся и коротко, нежно заржал. Подошел приказчик — Петр Ильич, в долгополом зеленом сюртуке, и стал докладывать почтительно:

— Барышня Марья, да барышня Дуня, ваше превосходительство, да барышня Телипатра лошадей требовали утрась, — я не дал.

Мишука сошел с крыльца, раскидывая ноги, и стал глядеть на окна мезонина, где были спущены занавески. Глядел долго, погрозил туда арапником, расправил усы:

— Без моего разрешения никаких лошадей никому не давать, черти окаянные, — сказал он и шагнул к коляске.

— Слушаюсь... И еще садовник приходил в контору — жаловался, что барышня Фимка да барышня Бронька малину порвали, всю ободрали...

— Ах, чорт — сказал Мишука и побагровел, — вот я им задам...

Он подумал и ступил в коляску, которую сейчас же перекосило, грузно опустился на пружинное сиденье и двинул большой козырек фуражки на глаза. Кучер подобрал вожжи, обернул голову.

— В Репьевку, — сказал Мишука и, когда лошади тронули, крикнул: — Стой! Эй, Петр Ильич, позови их сюда. Живо!

Приказчик побежал в дом. Скоро на крыльце показались, запахивая шали и капоты, девушки: высокая и худая Клеопатра, испуганная Марья — неряха, растрепанная, в башмаках на босу ногу, позади них прислонилась к колонне красавица Дуня, — равнодушно глядела на небо, в дверях жались Фимка и Бронька, деревенские девчонки, — глядели на Мишуку, наморщив носы...

— Вы, — сказал Мишука, поводя рыжими усами, — смотрите, я на три дня уезжаю, так вы у меня, — он жескнул арап-



никогда по поленищу, — смотрите, чтобы ни одна у меня... того...

— Очень нам нужно, — сказала Клеопатра, скривила рот. Крестовица Дуня лениво повела плечами:

— Привезите оладкого, — сказала она, глядя на небо.

Мишука насупился, засопел, хотел сказать что-то еще, но раздумал, только крикнул кучеру: «Пшел!» — и уехал.

Дорогой, глядя по сторонам на ржаные до самого горизонта и пшеничные поля, Мишука вытирал время от времени багровое лицо платком и особенно ни о чем не думал. Навстречу проехал мелкопоместный дворянчик на дрожжах. Мишука приложил два пальца к козырьку и строго, выпученными светлыми глазами, посмотрел на кланяющегося ему дворянчика.

Просхали овраг, где в колдобине едва не сели рессоры, окатило грязью, и пристяжные, взмылаясь, вынесли на горку, — дорога пошла покосами, продувал ветерок.

— Репьевские, — сказал кучер, показывая кнутовищем вперед, на межу, по которой катила, запряженная парой, длинная линейка. В ней над белыми рубашами сидящих покачивался красный зонт. Когда тройка поровнялась с линейкой, оттуда закричали: «Дядя Миша, к нам, к нам!» Между молодыми Репьевыми, братьями Никитой и Сергеем, сидела молодая рослая, светлосолосая девушка. В руке она держала красный зонтик, соломенная шляпа ее откинута на спину, на ленте, светлые глаза, смеясь, встретились с выпученным взглядом Мишуки. Он снял картуз и поклонился. Тройка далеко ушла вперед, а Мишука все еще думал:

«Кто такая? Кому бы это быть? — и перебирал в медленной памяти всех родственников. — Не иначе, как это — Вера Ходанская, — она».

Так он раздумывал и поглядывал по сторонам, пока за горкой не показался большой репьевский сад и вдалеке играющая, как чешуя под солнцем, Волга.

## II

На террасе, обращенной к саду и к прудам и тенистой от зарослей сирени, сидели на креслицах брат и сестра, — старшие Репьевы.

Ольга Леонтьевна, в кружевной наколке и в крутых очках, поджас тубы, вышивала шерстью дорожку для чайного стола, а Петр Леонтьевич, одетый, как всегда, в черную безрукавку, помалкивал, прищуря один глаз, другим же лукаво поглядывал на сестрицу и топал носком сапога, голенище которого из моржевой кожи любил он, бывало, подтянуть, говоря: «Ведь вот, двадцать лет ношу, и нет износа». На голове у него была надета бархатная скуфейка. Ветерок веял на седую его бороду, на белые рукава рубахи.

— Не понимаю, — сказала Ольга Леонтьевна, — чем это все кончится?

— А что, Оленька?

Ольга Леонтьевна взглянула поверх очков:

— Прекрасно знаешь, о чем я думаю.

— О Верочке? Да, да. Я тоже о Верочке думаю. — Петр Леонтьевич, опершись о кресло, привстал и сел удобнее. — Да, да, это вопрос—серьезный.

— Перестань стучать ногой,—сказала ему Ольга Леонтьевна.

Брат стукнул еще раза три и сощурил оба глаза.

— Сереже, по-моему, надо бы на время уехать,—сказал он и подтянул голенище.

— Ах, Петр, и без тебя давно это знаю... Но дело гораздо, гораздо сложнее, чем ты думаешь... Помяни мое слово...

— Вот как?

— Да нет же, нет, как тебе не стыдно, Петр... Но—гораздо, гораздо сложнее, чем это кажется...

Брат и сестра замолкли. Пели птицы в саду. Шелестели листья... Старичкам было тепло, покойно сидеть на балконе. Издалека доносился звон колокольчика.

— Чей бы это мог быть колокольчик?—спросил Петр Леонтьевич.

Ольга Леонтьевна сняла очки, вслушалась:

— Нахимовский колокольчик. Неужели Мишука? Какой его ветер занес?

Мишука, взойдя со стороны сада на балкон, подошел к ручке Ольги Леонтьевны и поцеловался с Петром Леонтьевичем, подумав при этом: «Целуется старый, а именно прогряс,—либерал».

Мишука сел, снял фуражку, вытер платком лицо и череп. Петр Леонтьевич, улыбаясь, потрепал его по коленке. Ольга Леонтьевна, продолжая вышивать, сказала не совсем одобрительно:

— Давненько, Мишенька, не был.

— Занят,—земские выборы.

— Ну, что,—она мальком взглянула на брата,—мужичков, видно, спать прокатали?

— Да, мужиков мы прокатали,—Мишука хмуро отвернулся к саду,—не то теперь время, крамольные времена пошлаи...

— Давно я хочу тебя побранить,—после молчания заговорила опять Ольга Леонтьевна,—недостойно, Мишенька, дворянину выкидывать такие штуки, какие ты выкидываешь.

— Какие штуки?

— А вот, как недавно, зазвал в Симбирске какого-то купчика в гостиницу, напоил, обыграл и выбросил его из номера, да еще—головой его сквозь дверь, и дверь сломал.

— А! Это когда я этого, как его,—Ваську Севрюгина...

— Ах, батюшки, что же из того, что Ваську Севрюгина... а того три дня в чувство приводили... Гадко, Мишенька, недостойно...

— Севрюгин под утро в уборную пошел,—сказал Мишука,—в коридоре увидел лакея без фрака,—тот окошко мост... «Как,—говорит он ему,—ты смеешь при мне без фрака». И принял его колотить. А лакей—Евдоким—у моего еще отца в казачках был, всех нас помнит,—почтенный. Севрюгин

вернулся из уборной в мой номер и рассказывает, как он бил Евдокима... «Понимаете, — говорит, — я суконный фабрикант». А я ему говорю: «Ты — хам, тебя на ситцевого переверочу... Он обиделся, я его толкнул и — угодил в дверь... Только и всего.

Мишука, после столь длинной речи, долго вытирался платком, а Ольга Леонтьевна, опустив вязанье, не выдержала — засмеялась, покрылась морщинками, вся тряслась — по-старушечьи.

Из сада на балкон вбежала Вера, за ней — Сергей, пригавший через три ступеньки, позади шел Никита, улыбающийся застенчиво и добро. Вера протянула Мишуке обе руки, весело взглянула на него серыми быстрыми глазами:

— Познакомимся, дядя Миша. Помните, как вы меня катали на качелях?

— Да, да, вспоминаю, кажется. — Мишука поднялся с трудом, — ну, как же, — Верочка... Да, да, качал; вспоминаю совершенно теперь...

Он нагнул к плечу голову. Его медвежьи глазки округлились. Вера взглянула в них и вдруг покраснела. Лицо ее стало милым и растерянным. Но так было только с минутой, она приподняла платье и присела важно:

— Поздравьте, — завтра мне девятнадцать лет...

Петр Леонтьевич, глядевший с радостной улыбкой на Веру, засмеялся, толкнул локтем сестру. Никита приложил ладонь к уху:

— А? Что она сказала?

— Сказала, что завтра я старая дева. По этому случаю у нас — гости, будем кататься на лодках...

— Да, да, конечно, будем кататься на лодках, — подтвердил Никита и закивал головой.

Вера села на балюстраду, обняла белую колонку, прислонилась к ней виском. Сергей, черный, горбоносый, с веселыми и недобрыми глазами, стоял рядом с Верой, заложив руку за ременный пояс. Никита то подходил на шаг, то отходил и наконец уронил пенсне. Мишука, глядя на молодых людей, начал хохотать. Ольга Леонтьевна, быстро поднявшись с креслица, сказала:

— Вот что — идемте-ка пить чай.

Никита замедлился на балконе. Стоя у колонки, протирает он пенсне и все еще смущенно улыбался, затем лицо его стало печальным, — и весь он был немного нелетный — в чесучевом пиджаке, клетчатых панталонах, тщательно вымытый, рассеянный, неловкий.

Вера, обернувшись в дверях, глядела на него, потом вернулась и стала рядом.

— Никита, мне грустно, — не знаешь, почему?

— Что ты сказала?

— Я говорю — грустно, — она взяла его за верхнюю пуговицу жидета, он вдруг покраснел и улыбнулся жалобно.

— Нет, Верочка, не знаю, почему...

— Ты что покраснел?

— Нет, я не покраснел, тебе показалось.

Вера подняла ясные глаза, глядела на облако, ее лицо было нежное, тоненькое, на горле, внизу, дышала ямочка.

— Ну,—показалось,—проговорила она нараспев.

Минуту спустя Никита спросил:

— Верочка, ты очень любишь Сергея?

— Конечно. Я и тебя люблю.

Никита слабо пожал ее руку, но губы его дрожали, он не смел взглянуть на Веру. В дверях появился Сергей, жуя ватрушку.

— А, сентиментальное объяснение!—он хохотнул.— Приказано вас звать к столу...

### III

Вдоль камышей, под ветлами, плыли лодки. В передней сидели Вера, Сергей и Мишука, который греб, глубоко запуская весла, тяжелые от путавшихся водорослей. Поглядывая из-под мокрых бровей на Веру, Мишука сопел и думал, что вот—гребет, унижается из-за девчонки.

— Жарко,—сказал он, вытирая усы.

— Дядя Миша, пустите меня на весла, — Вера поднялась. лодка качнулась, с задней лодки закричали: «Вера, Вера, упадешь».

В камышах тревожно закричала утка.

— Нет, я начал грести, я и буду грести, — сказал Мишука. Ему очень нравились ноги Веры в кружевных чулках, кружево ее подобранных юбок. «Ах, чорт, девчонка какая,—думал он,—ах ты, чорт. Приемыш, отца-матери нет, норовит замуж выскочить... Ах, чорт!..»

Сергей сидел, поджав ногу, наклонив горбоносое лицо к плечу,—играл на мандолине. Черные его, хитрые глаза весело блестя, шурились на воду и, словно нарочно, избегали взглянуть на Веру. Солнце уходило на покой, но было жарко. Летел пух от деревьев, садился на зеркальную воду. Над головой Мишуки некоторое время трещали два сцепленных коромысла. Далеко в беседке, отраженной шестью колонками в воде, сидел Никита...

— Ника,—звонко по пруду закричала Вера,—чай готов?—но сейчас же под взглядом Мишуки покраснела, как и вчера, слегка сдвинула брови.

Сергей сказал, перебирая мандолину:

— У тебя голос очень красивый, Вера, право, право,—очень красивый голос...

Вера еще гуще покраснела, закусил губы. Мишука ухмылялся.

Лодку их перегнала другая, где на руле сидела тетка Ссоргина, та, которая не могла ездить на рессорах,—ломались. Она была одета в лиловое просторное платье, в наколке и в перчатках, и строго из-под густых бровей глядела на Нуну, Шушу и Вебе — трех своих дочерей, сидевших на веслах.

Нуну, маленюкая и полная, украдкой всплакнула, не в

силах вытащить из водорослей тяжелые весла. Шушу была зла от природы, — жуда, с длинным красным носом. Бебе — младшая, с распущенными волосами, хотя ей уже было за двадцать, — гребла неумело и капризно, зная, что она миленькая, — в семье ее считали красавицей и звали «капризуля».

Проплывая мимо, тетка Осоргина сказала грудным басом: — Что же, новорожденная, пора нам пить и есть.

Лодки подъехали к беседке, где, подперев щеку, сидел Никита у накрытого снежной скатертью и синим фарфором чайного стола.

С писком и вскриками, подбирая платья, вылезли барышни Осоргины, степенно вышла тетка, выскочили Вера и Сергей, треща ступенями, грузно поднялся в беседку Мишука.

Вера села за самовар. Ее красивые, голые до локтя, руки, на которые не отрываясь глядел Мишука, казались свежими и душистыми, как разливаемый ею чай. Тетка Осоргина, посадив дочерей по возрасту сбоку себя, приказала басом:

— По две чашки с молоком, кусок хлеба и масло.

— Прелестный пруд, такая поэзия, — сказала Бебе и откинула косу с плеча на спину.

Шушу сказала:

— Наш пруд лучше здешнего пруда, только что лодки нет. И сад лучше.

Нуну молча, с грустными глазами, уписывала хлеб с маслом, покуда мать не сказала ей:

— Воздержись.

Никита сидел в стороне, молча поправляя пенсне, улыбался в чашку. Сергей опять взялся за мандолину. Вера, подавая ему блюдо с малиной, шепнула:

— Ты обидел меня на лодке, проси прощения.

— Губы так близко — сейчас поцелую, — так же быстро, шопотом, ответил Сергей, не глядя.

Мишука вдруг всполошился:

— Или шептаться или не шептаться... Тогда уже все давай шептаться...

Барышни Осоргины захихикали. Вера залилась румянцем, блеснула влажными глазами.

Из-за потемневших лип поднялся красный шнур ракеты и рассыпался звездами. Бух, — ахнуло в высоте, завопились на ветках в гнездах грачи.

— Прекрасная иллюминация, пойдемте, ее посмотрим хорошенько, — сказала тетка Осоргина и первая сошла по хлопаящим мосткам на берег.

Беседка опустела. Круглая ее крыша и шесть облупленных колонок неясно теперь отражались в темном с оранжевыми отблесками пруду. Там, в воде, она казалась лучше и прекраснее, — совсем такая, какою ее задумал построить прадед Репьев в память рано умершей супруги. Галицкие плотники срубили ее из любимых покойницей деревьев, поштукатурили и расписали греческим узором. Посредине ее был поставлен купидон из гипса, — в одной руке опущенный факел, другою закрыты плачущие глаза. Над входом сделана надпись, теперь уже стершаяся:

Подруга милая, увы, —  
Все в жизни нашей быстротечно...  
Я ухожу туда, где вы  
Живете мирно и бесечно...

Прадед Репьев каждый вечер сиживал в этой беседке один, думал, вспоминал и шептал имя ушедшей подруги. Осенью, когда пруд был покрыт падающими листьями, камыши застилало туманом и в тусклую полосу заката улетали утки, — прадед Репьев исчез. Его нашли баграми на дне пруда, среди водорослей.

В аллее, в сырой листве лип, догорали разноцветные фонарики. Сквозь ветви была видна низкая над садом, желтоватая луна. Кучкой между стволами стояли деревенские девушки. Только что они отпели, по просьбе Ольги Леонтьевны, старинную песню и грызли подсолнухи, отмахиваясь локтями от парней.

Сидя на земле, играл на скрипке скрипач-татарин печальную степную, дикую песню, покачивал бритой головой в тюбетейке. На стульях, слушая, как играет татарин, сидели Ольга Леонтьевна, Петр Леонтьевич, Осоргина и Шушу. Остальные ушли костюмироваться. Ко всеобщему удивлению, с ними увязался и Мишука.

— Ох, не нравится мне сегодня Мишука, — шептала Ольга Леонтьевна брату.

В кустах посыпались икры, зашипела ракета, провела в ночном небе шнур и лопнула высоко... Девушки, татарин, переставший пиликать, гости — все следили за ней, подняв головы. Когда ракета ухнула, Ольга Леонтьевна сказала со вздохом:

— Как это было красиво.

Наконец появились ряженые: Вера в турецкой шали, в старинном чепце — турчанка, Бебе — рыбачкой — в сетке на волосах, с веслом в руке, Нуну — в длинной черной вуали — «ночь», Никита, все время поправлявший пенсне, — оделся кучером. Мишука был в накинутах на голову простыне...

— Ну, уж это я не знаю, что это за маска, — сказала, указывая на него, Ольга Леонтьевна.

Тетка Осоргина вынула из сумки лорнет, посмотрела и сказала:

— Маска — привидение...

Татарин заиграл полечку. Вера закружилась с Никитой, Нуну с Бебе, Мишука потапывал ногами один, как гусь. В ветвях загорелся фонарик и упал.

Вдруг из кустов на деревенских девушек выскочил чорт, в овчине, весь измазанный сажей. Подпрыгнул, именно, как чорт, схватил отчаянно завизжавшую красавицу Васёнку и стал вертеть ее, приплясывая...

Вера оставила Никиту и, часто обмахиваясь веером, пристально, с улыбкой, глядела на прыгавшего чортом Сергея, на Васёнку. Мишука придвинулся к Вере, загудел на ухо:

— По-моему, это слишком: ничего смешного и непристойно...

Вера, не слушая его, подошла к запыхавшейся, поправлявшей сбитую полушалку, Васёнке, взяла ее за лицо, заглянула в глаза и поцеловала их, поцеловала в щеку:

— Какая ты красавица, Васёна.

Васёнка вырвалась, со смехом убежала, схоронилась за девушек.

Осоргина неодобрительно закачала головой. Барышни Осоргины зашущукали, как осиное гнездо. Ольга Леонтьевна поднялась и предложила гостям идти в дом, — ужинать.

Вера вдруг сказала Мишуке:

— Идемте, дядя Миша.

Взяла его под руку, повела по влажной серебристо-сизой от лунного света поляне, дошла до скамейки и села:

— Душно под липами...

— Душно, да, — сказал Мишука.

Вера прислонилась головой к его плечу:

— Ах, дядя Миша...

— Что?

— Нет, я говорю только — ах...

Мишука сдержанно засопел:

— Вера?

— Что, дядя Миша?

Он стал глядеть на ее тоненький, бледный в лунном свете профиль, придвинулся ближе, сопнул:

— Какое твое отношение ко мне?

— Люблю, дядя Миша...

Тогда Мишука молча, медведем схватил Веру, страшно вытянул губы и зарылся губами и усами ей в шею, под ухо...

— Поедем ко мне. Ну их всех к чорту! Обвенчаемся. Слушай, едем.

Молча, глядя ему в лицо, Вера боролась, царапалась, ломая ногти, вырвалась, накинув шаль и чепец, побежала по траве до середины луга. Мишука побежал за ней. Она, сжав руками грудь, крикнула:

— Вы с ума сошли!

Из-за сиреневой куртины, из тени выступил Никита. Мишука остановился, круто повернул и пошел назад, в гущу сада. Вера подбежала к Никите:

— Пожалуйста, доведи меня до комнаты. Голова закружилась, не знаю отчего.

Никита взял Веру под руку и, пройдя несколько шагов, сказал шопотом, заикаясь:

— Я видел, Вера...

Ее рука сразу стала тяжелой. Вера обернулась, потом подняла к нему лицо. Он увидел, — в лунном свете, — по щекам ее текли слезы.

#### IV

Сад опустел, только несколько девушек осталось в липовой аллее: сели тесно друг к дружке на траву, шушукались, сдержанно посмеивались. Три китайских фонарика горели еще между ветвей. Один вспыхнул и упал, задевая за ветви. Луна стояла высоко. Сергей, положив измазанную сажей го-



лову на колени красавице Васёнке, рассказывал страшные истории. Девки толкали друг друга, охали со страху, хихикали...

— Вот, значит, сидит ночью дед Репьев в беседке, — вполголоса говорил Сергей, — рука Васёнки лежала у него на голове, то поглаживая волосы, то перебирая их. — ну, хорошо, — сидит он, сидит, вдруг видит — кто-то идет к нему по воде...

— Ох!

— Васён, это ты толкнула?..

— Кто это трогает?..

— Тише, девки!

— Идет она, идет к нему по воде, деда взял страх. Прижался он в беседке в углу, не шевелится... А ночь была лунная, как сейчас... Это — белое — идет, идет по воде. Остановилось у беседки. И дедушка видит, что это покойная бабушка к нему пришла...

— Ой, боюсь!..

— Да кто это меня трогает в самом деле?

— Будет вам, девки..

— Ну, хорошо. Надо бы ему тогда не глядеть, зажмуриться. А он — взгляни. Бабушка засмеялась и указала ему пальцем на глаза. Дед встал со скамейки и пошел... Сошел с лесенки в воду. А бабушка смеется, манит его, летит по воде... Дед уже по пояс зашел — она манит. Деду вода уже по горло — идет... А впереди — омут. Дед — поплыл, хочет ее схватить. А бабушка наклонилась к нему и ушла с ним под воду, в бучило, где — сомы с усищами...

Девушки легли друг на дружку...

— Сергей! — крикнул вдруг в кустах чей-то голос. Девушки тихо застонали от страха. Сергей поднял голову.

— Что тебе, Никита?

— Пожалуйста, — мне тебя нужно.

— Я после приду.

— Понимаешь, случилась неприятная история.

— Опять история.

Сергей с неохотой поднялся, перепрыгнул через ноги девушек и пошел за Никитой к пруду.

— Ай да Нальмов, — засмеявшись, сказал Сергей, узнав обо всем. — Ай да Мишука. Надо его проучить. Где он сейчас?

— Кажется, сидит в беседке. Он ходил к Верочкину окну и кричал ей, чтобы вышла — разговаривать. Он уверен, что она придет.

Никита слегка задыхался, поспевая за широко шагающим по мокрой траве Сергеем. Заблестели лунные отблески черного пруда. В беседке белела поддевка Нальмова.

Мишука, сидя в беседке, думал, что стариков Репьевых ни капли не боится, но все же ему было скверновато на душе.

«Завелись около два кобеля, — думал он, — хвостом завертела... Царапаться... Я сам царапну... Приемш, — моли бога, — жениться посулил... А Сережку с Никитой вот этим угощу...»

Мишука мрачно осмотрел волосатый кулак. В это время слышались голоса, раздвинулись кусты, на поляне перед

беседкой забелел пиджачок Никиты, рядом с ним шибко, дерзко шагал вымазанный, как чорт, Сергей...

Мишука в уме быстро сосчитал до десяти, загадав, что если Сергей в это время не успеет дойти до мостков, то — хорошо. Сергей дошел. Мишука засопел. Сергей, встав перед ним, спросил нахально:

— Я бы хотел знать — что это все значит?

— То есть как это — что значит?

— Я спрашиваю: как понять твою наглость по отношению Веры?

Никита сочувственно закивал: так, так...

— Убирайся, послушай, к чертям, — сказал Мишука.

— С удовольствием. Предварительно нам только придется с тобой стреляться.

— Что? — Мишука привстал.

Но Сергей сейчас же ударил его по щеке. Мишука опять сел, страшно сопя, — начал расправлять локти, но соображение у него работало туго:

— Ну, ну, — только сказал он.

Братья Репьевы озабоченно ушли.

Мишука, все свирепея, сидел на лавке, пот лился по его вискам и носу из-под фуражки... Наконец он замахнулся и со всей силы ударил по столу — доска треснула.

Взяв дуальный ящик, братья бегом вернулись к пруду, но беседка была луста. Сергей крикнул:

— Налымов, Мишка, Мишука!

В ответ лишь завозилась грачиха в гнезде в темных ветлах.

— Вот тебе раз, — сказал Сергей, — удрал. Ну, погоди!

Он зарядил пистолеты и выстрелил два раза в воздух... Круглое эхо покатилося по пруду. Закричали грачи-спроноки. Братья, смеясь, пошли к дому. В узком месте тропинки из акаций вышла навстречу Вера. Губы ее дрожали, пальцы на груди перебирали шаль.

— Простите меня, Никита, Сережа, — проговорила она, сдерживая короткие вздохи...

— Господь с тобой, Верочка, вот ерунда, иди спать, — проговорил Сергей и увидел ее огромные глаза, полные слез, и, чувствуя, что сейчас произойдет то, что не совсем было нужно, чтобы происходило, слегка, но твердо отстранил Веру, кивнул ей, блестя глазами, и ушел, посвистывая.

Никита задержался около Веры. Она медленно подняла на груди шаль и прикрыла ею низ лица и рот.

Никита сказал:

— Он, кажется, умыться пошел, — весь ведь в саже.

Вера глядела на месяц, — глаза ее были печальные, такие чудесные, — будь Никита не так робок, попросил бы позволить умереть сию минуту, — такие любимые были глаза.

— Верочка, ты не думай, — Сережа тебя очень, очень любит, — проговорил он, запинаясь.

— Ну, хорошо... Пойдем домой, Никита, милый.

Мишука, ломая кусты, вылез из гущи сада и шел теперь по огородам и цветникам, перелезая через канавы и черты-хаясь.

Когда громыхнули вдали два выстрела, он сразу присел, бормоча:

— Афронт, афронт, — ух, пронеси, пресвятая богородица.

Но выстрелы не повторялись, погони не было слышно, и Мишука осмелел, — опять начал ругаться, ломал по пути ветки молодых яблонь. Наконец, выбравшись из чортовых канав, зашагал по травянистой поляне вдоль пруда. Здесь у воды паслась, позвякивая железными путами, сизая лошадь.

— Ага, ты вот чья, сволочь вонючая, — сказал Мишука, выставляя челюсть. Подскочил к лошади, закрутил ей хвост и со всей силой пихнул ее с берега в воду.

Лошадь, фыркая и щеря зубы, поплыла к тростнику. У Мишуки немного отлегло сердце, мысли прояснились, и вдруг, потеряв нос, он сказал:

— Отниму лес. Довольно я вам спускал. Выдумали, — межа через Червивую балку, врешь — межа через Ореховый лог. Вот вам и рспьевский лес — кукиш.

## V

— Три раза в прошлый год в Москву ездили: есть у нас там такая Софья Ивановна, — говорил налымовский кучер, лежа в траве около конюшни и грызя соломинку. — Барышень нам поставляет. Намеднись всучила Селипатру — худшую девку, — зла, как дьявол, но барину угодила. Привезли ее на усадьбу, сию же минуту устроила скандал: весь бутор, платишки, сундучишки других-то барышень из окошка как начала кидать. Барышни — ах, ах! — бегают по двору в одних рубашонках. Мы с барином животы надорвали.

— Татарин, прости господи, твой барин, — проговорила, сидя на траве около садовника, умильная скотница.

— Это он с жиру, — сказал садовник, — с жиру всегда человек бесится по бабьей части. Я знал одного человека — с шестью бабами жил, и хороший был человек.

Скотница вздохнула, поправила платок на голове. На конюшне топали лошади, хрустели сеном.

Налымовский кучер рассказывал:

— На прошлые именины гостей у нас два дня поили, которых поплоче — носили на ледник опаматоваться. Что же барин наш выдумал: повел гостей к барышням. Гости, конечно, рассолодели, а барин шепчет мне: «Поди, принеси с пасеки колоду с пчелами». Принесли колоду, просунули ее в окно. Пчелы, известно, греха не любят и принялись гостей в голые места чкалить, а гости все до одного голые. Вот мы с барином животы и надорвали.

Скотница планула.

Садовник сказал:

— Да. Наши господа — это господа: аккуратные, правильные, не безобразничают.

— Мелкопоместные.

— Ну, что ж из того! А ты бы лучше молчал, чем барина своего срамить, — холоп.

Налымовский кучер собрался ответить садовнику, но в это время из сидящим подошел Мишука.

— Запрягать! — крикнул он и уставился выпученными глазами на садовника и умильную скотницу. — Чего расселась, не видите, кто перед вами стоит?

Скотница поднялась. Садовник, сидя, свертывал папироску, закурил, осветил сернячком черную бороду.

— Я что тебе сказал, встать! — крикнул Мишука.

— Полегче, барин. Не на своем дворе.

Мишука фыркнул носом и повернулся к скотнице:

— Баба, ты кто такова?

— Мы скотницы, барин.

— Вот тебе, дура, три рубля. Отрежь у коров сиськи. Я завтра тебе еще три рубля подарю. Поняла?

— Что вы, батюшка, у коров сиськи резать!

— А я говорю — режь. Вот тебе еще полтинник.

— Нате ваши деньги... Грех, прости господи.

Лошадей подали. Мишука вошел в коляску, плюнул на репьевскую землю и уехал — залился малиновым налымовским колокольцем.

В репьевском доме все уже легли спать, только у Петра Леонтьевича еще теплился свет в окошке.

Каждый вечер, перед тем как помолиться на сон грядущий, Петр Леонтьевич заходил к сестре. Ольга Леонтьевна в это время либо сидела за приходо-расходными книгами либо читала листок отрывного календаря, придумывая: что бы такое заказать на завтра вкусное?

Поцеловав руку сестре и дав ей свою руку для поцелуя, Петр Леонтьевич говорил неизменно:

— Не забудь, душа моя, помолиться.

Так было и сегодня. Петр Леонтьевич сказал Ольге Леонтьевне, поцеловав ей руку: «Не забудь, душа моя, помолиться» и, не спеша, пошел в свою комнату, осторожно приотворил дверь и вдруг увидел на белой печке таракана.

Петр Леонтьевич снял сапоги, осторожно и покрхтывая, вошел на лежанку и стал читать заговор. Таракан пошевелил, пошевелил усами и упал. Петр Леонтьевич сказал:

— Так-то.

И полез с лежанки. В это время вдалеке раздались два выстрела. Петр Леонтьевич открыл окно и стал слушать.

Долго, после выстрела, была тишина в саду, затем приблизились голоса, — мужской и женский.

— Милый, голубчик, что мне делать? Я не могу.

— Конечно, конечно, Верочка, ты права, ты совершенно права...

— Не сердись на меня, Никита...

— Я повторяю — ты совершенно права, иначе ты и не могла мне ответить.

— Покойной ночи, Никита.

— Спи спокойно, Верочка.

Хлопнула балконная дверь. Петр Леонтьевич некоторое время подмигивал в темное окошко. Затем за стеной послышались шаги, скрипнула кровать. Это вошла Вера и начала плакать, сначала неслышно, потом все громче. Сморкалась. Петр Леонтьевич накинул безрукавку и постучался в дверь к Верочке.

— Ну вот, ты и плачешь, — сказал он, садясь против нее и топая ногой.

— Дядя, уйдите.

— Уйти-то я уйду, а ты все-таки Расскажи, отчего ты плачешь, — голова, что ли, болит?

— Да, болит.

— Кто стрелял-то?

— Сережа.

— В кого?

— В грачей.

— Ну-ну, Верочка, — Петр Леонтьевич положил ей руку на голову, — дитя милое?

— Что, дядя? — Вера сразу еще громче заплакала, легла лицом в подушку.

— Сережу очень любишь?

— Да.

— Это я все устрою, — сказал Петр Леонтьевич задумчиво, — ты, знаешь что? — ты ложись-ка спать, а я пойду к себе да и подумаю. А утром пойдем с тобой гулять в рощу. Сядем на травку, ты поплачешь немножко, мы поговорим, и все устроится.

Петр Леонтьевич поцеловал Веру и, вернувшись к себе, стал перед киотом, где горели лампы и восковые свечи, и долго не мог собраться с мыслями — начать молиться: все улыбался в бороду.

## VI

Приехав с подвязанным колокольчиком на восходе солнца к себе на усадьбу, Мишука оставил лошадей у конюшни и пошел по черной лестнице в мезонин к барышням, предполагая, что врасплох накроет девиц за блудом.

«Ну, уж накрою, ну, уж я накрою», — думал он, распаляя сам себя. Ступени скрипели. Он ударил ногой в дверь и вошел в девичью, дико озираясь.

В душевной девичьей, сумеречной от розовых штор, было тихо и сонно. Фимка и Бронька поднимали взлохмаченные головы с подушки, — спали они в одной постели, — увидели грозного барина и спрятались под одеяло.

— Вставать! — крикнул Мишука.

Марья, зачмокав спросонок, потянулась так, что вся выворотилась, зевая, оглянулась на барина и прихлопнула рот ладонью. Дуня повернулась голым боком. Клеопатра неподвижно лежала на спине, прикрыв остро торчащим локтем глаза.

— Водки, — сказал Мишука появившемуся в дверях

непроспанному Ванюшке, — закуски: Живо!.. — И, подойдя к Клеопатре, потянул ее за локоть: — Продери глаза, грачиха.

Девушкой он приказал, не одеваясь, оставаться в рубашках. Снял кафтан, сел на диванчик за стол и довольно свирепо поглядывал, посапывал, покуда Ванюшка не принес на большом серебряном подносе разнообразную закуску, графин с водкой и прадедовскую круглую чарку.

Тогда Мишука, расставив локти, принялся за еду. Наливал чарку, сыпал в нее перец, страшно сморщившись, медленно выпивал, — дул из себя дух, затем принаравливался вилкой к грибку поядренее.

Марья, раскрыв глаза, следила за тем, как во рту Мишуки исчезают куски балыка, ветчины, целые огурцы, пирожки, помазанные икрой. Фимка и Бронька переминались у печки и тоже шукались слюни. Клеопатра, положив ногу на ногу, спустив с плеча рубашку, шибко и сердито курила. Дуня прибирала большие волосы. Вдруг Мишука поперхнулся, фыркнул и принялся хохотать, тряся животом стол.

Дуня сейчас же подбежала к нему, села на колени, ластилась:

— Что это мне спать хотелось, а увидела тебя — весь сон прошел. Чему смеешься-то?

— Подлиза, — проговорила Клеопатра, пустив дым через нос.

Мишука, захлебываясь, сказал:

— Как я мерина-то, мерина — в воду... А мерин-то — их любимый: старый, на покос, а я его — в воду...

Фимка и Бронька засмеялись, сделав куриные рты, и вытерлись. Мишука встал из-за стола, потянулся, все еще улыбаясь. Дуня заглянула ему в глаза:

— На мою постельку ляжете?

Мишука, не отвечая, подошел к Фимке и Броньке, взял их за загривки и стукнул друг о дружку. Девчонки визгнули, присели. А он подошел к Марье и хватил ее ладонью по жирной спине. Марья ахнула:

— Ах, батюшки!

— Ничего, — сказал Мишука, — для этого тебя и держу, корова.

Затем начались возня и всевозможные игры. Мишука барахтался, хохоча, под навалившимися на него кучей девушками, стаскивая их за ноги, за головы, катался, ухал. Половицы ходили ходуном, и внизу, в полутемном, всегда запертом зале с портретами дам и кавалеров в напудренных париках, с золоченой мебелью, изъеденной мышами, печально звенела подвесками хрустальная люстра...

Навизившись и взмокнув, утешенный и веселый, Мишука ушел по внутренней лесенке вниз, в кабинет, и лег спать.

К вечеру надвинулась большая гроза, было душно, — погромыхивало. Пошел дождь — мелкий, отвесный, теплый, слабо шумел в сумерках в листве. Изредка озарялись окна далеким синеватым светом.

Мишука сидел на диване, подложив руку под острую

морду борзой суки, любимицы, — Снежки, и слушал сонный, однообразный в сумерках, шум дождя за открытым окном.

Снежка взглядывала выпуклыми глазами на хозяина и снова опускала сонные веки. При раскатах грома она оборачивалась к окну и рычала. Мишука поглаживал ее голову и думал о происшествии вчерашнего дня.

Только теперь, в эти дождливые сумерки, додумался он до того, что вчера произошел с ним жестокий афронт, что над ним насмеялись, потом его отвергли, потом его побили, потом напугали, — грозили застрелить.

Мишука даже зарычал, все это ясно себе представив:

— Не уважать меня, Нальмова... Меня бить по щеке... Меня, Михала Михалыча Нальмова, — оскорбить... Захочу — губернию переверну... А меня — они... Меня — эти...

Он спихнул собаку с колен. Снежка слабо визгнула, полезла под диван и там стала вылизываться, щелкать зубами блох. Мишука сидел, раздвинув ноги, глядя перед собою на неясные пятна портретов. Необходимо было что-то сделать: гнев подпирал под самую душу. Мишука стал было думать, как изорвет платье на Вере, как измочалит нагайкой Сережку, — но эти представления не облегчили его...

Он тяжело поднялся с дивана и зашагал по кабинету. «Ага, пренебрегаете, ну, хорошо...» Он взял пресс-папье и расшиб его о паркет. «Ну и пренебрегайте». Гулкий стук прокатился по пустынному дому. Мишука стоял и слушал, — все было тихо. Он взял со стола переплетенную за пять лет сельскохозяйственную газету, — волюм пуда в два весом, — и тоже швырнул его на пол. Опять прокатился стук по дому, и — снова тихо, — никто не отозвался.

«Мерзавцы, никому дела нет до барина... Только бы воровать. Только деньги с барина тащить», — подумал Мишука и вдруг с омерзением вспомнил давешнюю возню в мезонине.

— Твари, — уже совсем зарычал он, — я вам покажу, как на меня верхом садиться!.. Ванюшка!

Мишука пошел по темной комнате к лакейской и закричал:

— Ванюшка, беги на конюшню, скажи — барин приказал запрячь две телеги, живо... Да позови мне приказчика... Живо, сукин сын!..

Дождь хлестал в нарочно настежь раскрытые окна мезонина, где девушки, растрепанные и растерзанные, всхлипывая, завязывали в узлы платишки, белье, разные грошовые подарки. Дуня уже сидела внизу, на телеге под попоной, со зла — молчала. Промокшие рабочие ходили с фонарями, посмеивались. Дождь шибко шумел в тополях, наплюхал большие лужи. Сбежала с крыльца Марья, вспухшая от слез, — поскользнулась, и узел ее шлепнулся в лужу, — заржали рабочие, Марья завывала и полезла на телегу. В доме на мезонинной лестнице Мишука кричал, щелкая арапником по голенищу:

— Вон, грязные девки, вон!

Кубарем, с вытаращенными глазами, скатились вниз

Фимка и Бронька, — Мишука для смеха подстегнул их по задам.

— Батюшки! Убивают! — заорали Фимка и Бронька и заметались по лужам между телегами.

Их посадили, прикрыли рогожей. Мишука кричал:

— Коленкой ее, коленкой поддавай ворону!

Приказчик и Ванюшка вывели наконец Клеопатру. Она отбивалась, кусала руки, выворачивалась, дикая, как ведьма.

— Врешь, — хрипло сказала она Мишуке и ощерилась, — не прогонишь, не уйду, я тебе не собака...

Наконец Клеопатру усадили. Возы тронулись. Рабочие, громко смеясь, раскачивая над травой фонари, ушли к людской, пропали за отвесной завесой дождя. Мишука, удовлетворенный наконец за эти два дня, отомщенный за все обиды, ушел в дом.

Никто, даже конюх, сидевший на переднем возу, не видел, как на повороте сплошь залитой водою дороги Клеопатра соскочила с задней телеги и скрылась за кустами в саду.

## VII

Петр Леонтьевич вошел в комнату мальчиков, которая называлась так по старой памяти. Комната была, как и все комнаты в репьевском доме, — высокая, штукатуренная, со старой, попорченной мышами и молю, мебелью. На одной стене, над диваном, висели распластанные крылья уток, стрепетов, копчиков, грачей, давным уже давно насквозь пропыленные. Когда сюда входили со свечой, то казалось, будто по стене ползают безголовые чудища. Трофеи эти принадлежали Сергею, не позволявшему к ним притрагиваться. Лет двенадцать тому назад, когда ему подарили первое ружье, он с утра до ночи бухал по саду, на пруду, в лугах, и до того провонял падалью и сад и дом, что Ольга Леонтьевна решила не выходить из своей спальни.

С улыбочкой, глядя на стену, покрытую вороньими крыльями, вспоминал Петр Леонтьевич прошлое время. Хорошее было время. Многие, многие милые люди были еще живы. Сережа и Никита, славные мальчики, подавали большие надежды. Жива была дорогая Машенька, всегда в белом, всегда приветливая, всегда озабоченная, — как бы получше накормить гостей, или поженить кого-нибудь из близких родных, или уладить какую-нибудь неприятность.

Каждый день в столовой или на балконе шумели гости, приезжал дядя, старый Налымов, большой шутник, — любил, бывало, на удивление всем, откусать ломоть дыни с нюхательным табаком. Приезжала с прогулки Ольга, красивая, веселая и загадочная, в бархатной амазонке. Снимая высокую перчатку, давала целовать руку... Многие, многие были в то время влюблены в Ольгу Леонтьевну... Ушло все, как туман, ушли хорошие дни...

Петр Леонтьевич в то же время пытался поправить свои сильно запутанные дела: построил суконную фабрику, но не застраховал, считая, что страховка — величайший из гре-



хов. Человек должен быть открыт перед богом, как Иов, но не перестраховывать свое счастье. Фабрика сгорела. Петр Леонтьевич придумал построить раковый консервный завод. В реке Чермашне водилось непостижимое количество матерого рака, — рвались бредни, и деревенские мальчишки, купаясь, бывали не раз ими шипаны за животы и другие места.

Раковый завод построили, даже заказали в Москве две майоликовые скульптуры, чтобы поставить у входа. Приготовлено было десять тысяч расписных горшечков, в которых предполагалось посылать прямо в столицы консервный биск. Но внезапно на раков в реке Чермашне напала чума, и рак полез подышать на берега и весь вымер. Это было почти разорением.

Тогда Петр Леонтьевич стал придумывать что-нибудь более подходящее к современному веку пара и электричества и построил конный утюг для расчистки снежных дорог и заносов.

Издавека съехались помещики и мужики глядеть, как в облаках пара и дыма двинулся сквозь сугробы огромный железный утюг, растапливая снег раскаленными боками. Шесть пар лошадей протащили его более чем с версту. День был морозный. Петр Леонтьевич вылетел на беговых санках на расчищенную дорогу, но раскатился, упал и вывихнул ногу.

Утюг он приказал поставить в сарай и с тех пор не изобретал более уже ничего, так как имение его, Соломино-Трианон тож — пошло с торгов, и пришлось с мальчиками навсегда перебраться к сестре в Репьевку, — доживать тихие дни.

Так, вспоминая, вертя в пальцах тавлинку с нюхательным табаком, Петр Леонтьевич не заметил, как в комнату вошел Сергей.

— Ты ко мне, папа?

— Да-да, к тебе, дружок. Притвори-ка дверь.

Сергей усмехнулся, затворил дверь и, став перед отцом, глядел в глаза с той же усмешкой. Петр Леонтьевич взял сына повыше локтя, сморщил нос:

— Сережа, скажи мне, по чистой совести, — ты любить способен?

— Да, папа, способен.

— Видишь ли, дело вот в чем. Ах, Сережа, если бы ты знал — какой это удивительный человек. Ты прямо недостоин ее любви... У тебя, знаешь, в глазах что-то такое новое для меня, что-то легкомысленное...

— Ты хочешь меня спросить — люблю ли я Веру? — насмешливо, почти зло, спросил Сергей.

— Подожди, подожди, ах, как ты всегда забегаешь... Я говорю, — у тебя что-то легкомысленное... Вера — удивительная девушка, такое сокровище, такая милая, прелестная душа. Но опасно ее спугнуть. Спугнуть, и она на всю жизнь за-

таится, — ты понял?.. Нужно страшно деликатно с ней... Я, видишь ли, являюсь сватом, друг мой...

Сергей, нагнув голову, заходил по комнате. Петр Леонтьевич оборачивался к нему, как подсолнечник, мигал все испуганнее. Сергей остановился перед отцом и, не глядя на него, сказал твердо:

— Прости, но на Верочке я жениться не могу.

— Не можешь, Сережа?

— Я очень уважаю и люблю Веру. Да. Но — не жениться. На что мы будем жить? Зависеть от тети Оли? Поступить в земство статистиком? Народить двенадцать человек детей? Я — нищий.

Петр Леонтьевич, жалко улыбаясь, глядел себе под ноги. Сергей опять заходил.

— Я уезжаю в Африку, — сказал он.

— Так, так.

— В Трансвааль. Во-первых, — там меня еще не видели, — это раз. Во-вторых, — там есть алмазы и золото. А Вера... — он опять остановился, черные глаза его блеснули, — пусть Вера выходит за Никиту. Во всех отношениях это хорошо, честно, да.

### VIII

Вера перебирала клавиши рояля. Ольга Леонтьевна, спустив на колени вязанье, глядела на спустившиеся за окном сумерки. Никита сидел у стены, опершись локтями о колени, и тоже молчал. Утихали птицы в саду. Вера брала теперь одну только ноту — ми, все тише, тише, потом осторожно, без стука закрыла крышку рояля. Помолчав, она сказала:

— Поеду в Петербург, поступаю на курсы, обрежу волосы, стану носить английские кофты из бумазеи.

— Вера, перестань, — тихо сказала Ольга Леонтьевна.

— Ну, никуда не поеду, волосы не обрежу, не буду носить английские кофты.

Никита осторожно поднялся со стула, постоял, плохо различаемый в сумерках, и на цыпочках вышел. Вера прижала голову к холодному роялю.

— Ох, — шумно вздохнула Ольга Леонтьевна, — какие все глупые.

— Я тоже, тетя?

— Ну, уж об этом сама суди.

— Тетя Оля, — сказала Вера, не поднимая головы, — я очень дурная?

— Знаешь, я вот сейчас уйду к себе и запрусь от всех вас на ключ.

— Мне, тетя Оля, Никиту жалко... Он такой — печальный. Все бы, кажется, сделала, чтобы не был такой.

Ольга Леонтьевна насторожилась:

— Верочка, ты серьезно это говоришь?

Вера молчала; не было видно, какое у нее лицо. Ольга Леонтьевна тихо подошла, остановилась за ее спиной:

— Я сама знаю, как тяжело быть отвергнутой, — даже са-

Вера жила эти дни тихо. Редко выходила из своей комнаты. Садилась с книгой у окна и глядела, глядела на синюю воду пруда, на желтые, зеленые полосы хлебов на холмах. Слушала, как древней печалью поют птицы в саду.

Сергей пропадал на охоте, возвращался поздно с полным ягдташем, лахнул лесом, болотом, пухом птиц. На Веру поглядывал с недоброй усмешкой, много, жадно ел за ужином.

Петр Леонтьевич совсем притих, понюхивал табачок.

Однажды Сергей забрел с ружьем и собакой в налымовский лес, в топкую глушь. Пойнтер бодро колотил хвостом папоротники, шарил, время от времени поворачивая к хозяину умную, возбужденную морду. Сергей шел, задираясь ногами за валежник, проваливаясь в мочажники, — перед глазами моталась собачий хвост. Сергей неотступно, угрюмо думал о Вере.

Сколько десятков верст исколесил он за эти дни, только чтобы утолить, погасить в себе свирепое желание! Все было напрасно.

«Фррр»... Вылетел тетерев. Сергей, не глядя, выстрелил. Сорвалось несколько листьев. Собака унеслась вперед скачками, высматривая — взмахивала ушами из папоротника.

Почти сейчас же, неподалеку, гулко затрубил рог. Затрещали сучья. Зычный голос заревел в чаще:

— Кто стреляет в моем лесу, тудыть в вашу душу! Кто смеет шататься по моему лесу!

Сергей быстро оглянулся. На поляне стоял вековой дуб, упоминавшийся во всех налымовских и репьевских хрониках, — дуалистый, ветвистый, корявый, подобный геральдическому дереву.

В ту же минуту, с другой стороны поляны, валя кусты, выскочил на рыжей кобыле Мишука. Размахивая над головой медным рогом, орал:

— Ату его, сукины дети, ату!

Две пары налымовских зверей — красногегих гончих — неслись напрямиком на лягаша. Сергей подхватил заскулившую у ног его собаку, посадил в дупло, подпрыгнул, подтянулся к ветви и живо влез на вершину дуба...

— Ату его, сукины дети! улюлю! — наливаясь кровью, вопил Мишука. Подскакал к дубу, закрутился, поднимаясь на стременах, хлестал арапником по листьям: — Слезь, сию минуту слезь с моего дуба.

— Дядя Миша, не волнуйтесь, — хихикнул Сергей, забираясь выше, — желудок расстроите, вам вредно волноваться. — И он бросил жолудем, — угодил в живот.

Мишука заревел:

— Убью! Запорою! Слезь, тебе говорю!..

— Все равно, дядя Миша, не достанете, только соскучитесь, и есть захочется.

— Дерево вею срубить.

— Дуб заветный.

— Слезь, я тебе приказываю, — я предводитель дворянства.

— Я вас не выбирал, дядя Миша, я на выборы не езжу.

— Крамольник!.. Стражникам прикажу тебя стащить. Высеку!

— Дядя Миша, лопнете. — Сергей опять бросил жолудем, попал в картуз.

Гончие подпрыгивали, визжали от ярости. Лягаш скулил, высовывая нос из душла, щелкал зубами. Мишука и Сергей долго ругались, пока не надоело. Наконец Сергей сказал примиряющим голосом.

— Охота вам в самом деле сердиться, дядя Миша. Я ведь тоже с носом остался. Вера-то за Никиту выходит.

— Врешь? — удивился Мишука.

— Чем матерно ругаться, поехали бы мы на лесной хутор. Там выпить можно.

— Вино есть?

— Две четверти водки.

— Гм, — сказал Мишука, — все-таки это как-то так. Ты все-таки подасц.

— Вот это верно, дядя Миша.

Мишуке, видимо, очень хотелось, после всех волнений, поехать на хутор и выпить. Сергей спустился ниже, подмигнул и сделал всем понятный жест:

— И то найдется.

Задрав голову, Мишука заржал, — уцепился даже за седельную луку. Затем ударил кобылу арапником и ускакал на хутор.

Через час Мишука и Сергей сидели в жарко натопленной избе. — Мишука расстегнулся, пил водку стаканами, вспотел, тряс животом сосновый стол.

— Ха-ха... Смел ты, что пришел, Сережа.

— Нам делить с вами нечего, дядя Миша, я вас люблю...

— Рассказывай, ха-ха...

— Люблю, дядя Миша, в вас богатырство, не то что — терпешние дворяне, — сволочь, мелкота...

— Мелкота, говоришь, ха-ха...

— Вы, дядя Миша, все равно, как князь в старые времена... Силища...

— Богатырь, говоришь? Князь? Ха-ха...

— Едемте, дядя Миша, вместе в Африку. Вот бы мы начудили...

— В Африку, ха-ха!..

— Эх, денег у меня нет, дядя Миша, вот бы я развернулся...

— Подлец ты, Сережа... Денег я тебе дам, но побью, ха-ха...

В избу вошла ядреная, молодая баба, румянец во все лицо, — лукавая, сероглазая. Смело села рядом с Мишукой на лавку, толкнула его локтем. Мишука только ухнул. И начался шир. Изба ходуном заходила.

Ольга Леонтьевна и Никита с утра ходили по Симбирску из магазина в магазин, — сзади ехала коляска, полная покупок. Лошади осовели, кучер каким-то чудом успел напиться, не слезая с козел. Никита в тоске бродил за теткой из двери в дверь. Ничего этого не было нужно, — ни суеты, ни вещей. Хоть скупи весь Симбирск, хоть ударься сейчас о камни, — разбей голову, — Вера не станет счастливее, не вернется к ней прежняя легкость, блеск глаз, веселый смех: не любит, не любит...

— Ну, уж, батюшка мой, ты — совсем мокрая курица, осовел, жених, — говорила ему Ольга Леонтьевна, — минутки без невесты не может — нос на квинту... Сейчас, сейчас мы поедem.

Тетка летела через улицу к башмачнику, нечесаная голова которого моталась в окошке, тоже пьяная... Лошади и Никита томились на горячей мостовой. Кучер время от времени тремко икал, — каждый раз пугливо оглядывался:

— Вот притча-то, ах, господи.

К вечеру наконец Ольга Леонтьевна утомилась, вошла в коляску, много раз пересчитала вещи, махнув рукой:

— На паром, Иван. Смогри только — под гору держи лошадей, — ты совсем пьяный.

— Господи, — отвечал кучер, — напиться-то не с чего, весь день у вас на глазах, — и на всю улицу икнул: — вот притча-то.

Поехали вниз, к Волге, к парому.

Река темнела. Зажигались огни на бакенах, на мачтах. Вдали шлепал по воде пароход. Тусклый закат догорал на луговой стороне, над Заволжьем. На берегу уютно осветились прилавки с калачами, лимонадные лавки, лотки, где бабы продавали жареное, соленое, вареное. Пахло хлебом, дегтем, сеном, рекой. Вдалеке, с горы — с Венца — уже слышна была духовая музыка, — в городском саду начиналось гулянье. Играл не то вальс, не то что-то ужасно печальное, улетающее в вечернее небо.

По реке, огибая остров, приближался паром, полный, как муравейник, голов, дуг, телег, мешков, поклажи.

Вот закрипели связки прутьев у борта, конторку качнуло, зашумели голоса, затопали подковы по дереву, — теснясь, ругаясь, стали слезать на берег возы.

Между телег, прижимаясь к оглоблям, фыркая тревожно, прогремела вороная горячая пара, запряженная в плетушку. Выскочила на песок, — мятко зашуршали колеса. В ту же минуту Ольга Леонтьевна метнулась к плетушке и крикнула диким голосом:

— Вера!

Закутанная темная фигура в плетушке поспешно обернулась. Кучер осадил вороных.

— Что с тобой? Лица на тебе нет. Что случилось? — спрашивала Ольга Леонтьевна, толкая народ, протискиваясь к Вере.

— Ничего не случилось, — ответила Вера холодно, голос ее задрожал: — я не за вами, я прокатиться. До свидания.

Тогда Ольга Леонтьевна молча ухватила коренника за

узду, повернула лошадей назад, на паром, велела Никите идти к коляске, чтобы покупки не растащили, и сама села в плетушку рядом с Верой.

— Зонтик где?—сказала она и раскрыла зонт,—не к чему,—закрывает зонт и сунула под козлы.—Ну, мать моя, спасибо, удружила.

Вера только низко наклонила голову и медленно закуталась, по самые глаза, в пуховую шаль.

## XI

За три дня до свадьбы большая родня Репьевых съехала в Симбирск, в гостиницу Краснова.

День и ночь буйные крики вылетали из номеров, где игрались в карты полураздетые помещики.

Выпито было необыкновенное количество вина,—в особенности пили коньяк. Бутылки складывались здесь же, кучами, в номере, для удивления вновь приходящих.

Очумелые половые без памяти бежали по коридору, сизому от дыма. На площади перед окнами торчали зеваки, привлеченные шумом и светом, и говорили, дивясь:

— Заволжье гуляет.

Никто из дам не решался заходить на мужскую половину в гостинице, потому что в коридорах устраивались кавалерийские атаки.

Молодежь—корнеты, поручики, вольноопределяющиеся гвардейских полков,—все в ночном белье, садились верхом на стулья и скакали, размахивая саблями. Командиром был Мстислав Ходанский, двоюродный брат Веры, павлоградский гусар. Кавалерия налетала на проходящих по коридору, отбивала женщин; брала штурмом коньячные батареи.

Помещики, отсидев за картами зады, ходили—как были—в неглиже—под утро освежаться в городской сад,—выворачивали скамейки, боролись, качали деревья. Жутко было простым жителям, спросонок кидаясь к окошкам, глядеть на эти игры.

На четвертые сутки весь Симбирск поплыл в винном чаду. Полицеймейстера пришлось увезти за Волгу в сосновый лес, чтобы пришел в себя. Помещик Окоемов видел чорта на печке, в круглом отдушнике. Зеваки на площади божились, что слышали, как в гостинице ржут по-жеребачьи.

Но вот, наконец, приехал жених, а за ним и Ольга Леонтьевна с невестой и с братом. Много нужно было ушатов студеной воды—освежить хмельные головы. К двум часам вся родня собралась в собор.

Сергей и Мстислав Ходанский, держали венцы. Невеста была бледна и грустна,—неописуемо хороша собой. Жених озабоченно прикладывал ладонь к уху, переспрашивая священника. Ольга Леонтьевна строго поглядывала на родственников: иные из них грузно стояли, выпучив глаза на плавающие огоньки свечей, иные начинали отпускать словечки.

Из церкви молодые проехали прямо на пароход. Там вся

родня выпила шампанского, бокалы бросали в воду. Пароход заревел и отчалил, Вера вынула платочек и, взмахнув им, прижала к глазам. Никита рассеянно улыбался, — видимо, совсем ничего не понимал, не видел.

С парохода родня поехала в гостиницу пировать. В большом зале с двух концов на хорах одновременно заиграли два оркестра. После первого тоста об улетевших ласточках Ольга Леонтьевна заплакала. В это как раз время в залу важно вошел Мишука. Он был в черной поддевке, наглухо застегнут. Лицо его было желтое, отечное, под глазами со-ба-чьи мешки.

Мутным взором он обвел длинный стол. Все встали. У Ольги Леонтьевны затряслись руки. Мишука подошел к ее руке, затем поцеловал Петра Леонтьевича, не успевшего вытереть усов, и сел, больше не глядя ни на кого, — налил себе большой стакан водки...

Грянули было польку оркестры на хорах, но Балдрясов, чиновник особых поручений, распорядитель пира, зашипел, страдальчески выпучась на музыкантов, вытянувшись на цыпочках, — тише!

Мишука съел половину судака, затем немалый кусок гуся, поморщился, отпихнул тарелку.

— Хотя племянница обидела меня, — хрипло и весьма громко сказал он и поднялся во весь огромный рост, — хотя я сказал, что на свадьбе мне не быть, — вот приехал. Пью здоровье молодой. Ура! За молодого не пью — сам за себя выпьет. А сам я скоро помру, вот как.

Он грузно сел... Балдрясов залихватным тенором крикнул: «Ура!» Грянули музыканты с хор, понесли спьяна такой туш, — даже Мишука оглянулся на них: «Ну и хамы».

Пировали до заката. По просьбе дам отодвинули столы, и начались танцы, для чего пригнали из училища юнкеров. Раскинули карточные столы. Молодежь ложила буфет. Мишука бродил среди гостей скучный, грузный, брезгливо морщился. Развеселило его только небольшое происшествие, — случилось оно за полночь.

Около буфета, в дыму и толкотне, Сергей подошел к Мстиславу Ходанскому, взял его за шнуры гусарки и, качаясь, выговорил мокрыми губами:

— Стива, твоя сестра весьма умно поступила, а?

Мстислав Ходанский сразу вскинул голову, — был он высок, мускулист, с черными кудрями, бледный от вина.

— Стива, — опять сказал Сергей, — Вера умная женщина, ты понимаешь? — он пальцем поводил у носа Ходанского. — Она хитрая, у нее тело горячее и хитрое.

— Поди выпишь, — сказал Ходанский.

— Стива, понимаешь, — если бы я пальцем поманил, она бы с парохода убежала...

У Мстислава Ходанского дрогнули ноздри. В это время Мишука, подойдя к нему, ткнул волосатой рукой в Сергея:

— Плюнь ему в морду, он — хам.

— Я это вижу, — сказал Ходанский, показав ровные белые зубы.

Сергей засмеялся невесело. Затем толкнул Ходанского. Тогда Мстислав Ходанский взял его за живот и швырнул на буфет, на тарелки. Посыпалось стекло. Мишука громко захохотал.

— Скандал, скандал! — заговорили в надвинувшейся толпе.

Кто-то помог Сергею слезть с буфета. Баадрысов старательно отирал его носовым платком. Сергей, криво усмехаясь, глядел блестящими глазами на Ходанского:

— Хорошо, ты мне ответишь.

— Ага, дуэль, вот это дело, — захохотал Мишука.

Спустя некоторое время в номер, занятый Мишукой, собрались секунданты обеих сторон. Шибко пили коньяк, обсуждали условия предстоящей сатисфакции, — несли чепуху и разногласию.

— Ерунда, — сказал Мишука, — пусть стреляются у меня в номере.

Секунданты осели. Выпили. Придерживая друг друга за ладьяны фраков, стали совещаться и решили:

— Место для дуэли действительно подходящее.

Один из секундантов даже заржал неестественно и повалился под стол. Принесли ящик с пистолетами, позвали противников.

Сергей вошел бледный, озираясь. Мишука толкнул его к столу:

— Выпей коньяку перед смертью.

Мишука сам зарядил пистолеты. Противников поставили в двух углах комнаты. Мстислав стал, расстегнув гусарку, раздвинув ноги, откинул великолепную голову. Сергей сгорбился, втянул шею, глядел колючими глазами.

— Господа (дворяне), — сказал Мишука, высоко держа перед собой пистолеты, — мириться вы не желаете, надеюсь? Нет? И не надо. Стрелять по команде — раз, два, три — с места.

Он подал пистолеты, — сначала Мстиславу Ходанскому, затем Сергею. Отошел в угол и разинул рот, очень довольный.

Два канделябра, поставленные на пол, освещали противников.

Секунданты присели, зажали уши, один, схватившись за голову, лег ничком на оттоманку.

— Раз, два, — сказал Мишука.

В это время четвертый секундант, помещик Храповалов, красавец в черных бакенбардах, во фраке и в болотных сапогах, крикнул:

— Положите.

Взяв с карточного стола мел, твердыми шагами подошел к Ходанскому и начертил ему на груди крест, пошел к Сергею и ему начертил крест:

— Теперь стреляться.

Храповалов отошел к стене и скрестил руки. Мишука скомандовал:

— Три!



Враз грохнули два выстрела, дым застал комнату. Секундант, лежавший на диване, молча заботал ногами.

Мишука сказал с удивлением:

— Живы.

Взял мел, повернул Мстислава Ходанского лицом к стене и на задку ему начертил крест:

— Стрелять сюда.

Сергею он тоже поставил крест поперек фалд фрака. Противники вытянули позади себя руки с пистолетами. Мишука стал командовать:

— Раз, два...

Сергей покачнулся и, бормоча несвязное, повалился на ковер.

— Готов, — крикнул Мишука, — суд божий!

Ходанский отошел от стены и выстрелил в горлышко бутылки, — вдовы Клико. Сизый дым струей потянулся к Мишуке — он чихнул, замотал губами:

— Шампанского. Лошадей. К девкам... Сережку отлить водой и ко мне в коляску.

Под утро шесть троек с гиком и свистом понеслись по мирным улицам Симбирска. Обыватели подымали головы и говорили заспанным своим женам:

— Завоажье гуляет, — Надымов.

## XII

Жарко натопленные печи, легкий запах вымытых полов, зимний свет сквозь морозные стекла покоят увядающие дни Ольги Леонтьевны. Тихо улетает время за письмами, разговорами вполголоса, за неспешным ожиданием вестей.

В чистой и белой, наполненной нежным светом комнате трещат дрова в изразцовой печи. Ольга Леонтьевна сидит близ окна за тоненьким столиком и пишет острым, мелким почерком длинные письма. Повернет хрустящий листочек и пишет поперек строк:

«... Я понимаю эту постоянную грусть — ты проверь хорошо, непременно сходи к доктору. Мне кажется, что ты — в ожидании. Дай бог, дай бог.

Родись, смотри — не пеленая ребенка, англичане давно это бросили, а уж я — скажу тебе по секрету — второй месяц шью рубашечки и подгузнички. Ты молода, смеешься над старой теткой, а теткою и пригодится...

... Пишешь — Никита утомляется на службе, плохо спит, молчалив. Это ничего, Верочка, — обойдется. Трудновато ему, но человек он хороший. Ходите почаще в театр, говорят, Александринский театр очень интересный. Познакомьтесь с хорошими людьми, сдружитесь. Нельзя же, никого не видя, сынами сидеть на Васильевском острове да слушать, как ветер воет, — этого и у нас с Петром Леонтьевичем в Рязанке хоть отбавляй...

... А мы с Петром поскрипываем. Только я беспокоюсь — брат по ночам стал свет какой-то видеть. Поутру встает все-

торженный. Работает—выпиливает и точит—попрежнему. Недавно придумал очень полезное изобретение—машинку от комаров,—в виде пищалки. Эту пищалку нужно поставить в сад, она станет пищать, и комары все сядут на листья—не смогут летать и умрут от голоду. Жалко, что проверить нельзя—на дворе зима, комаров нет. И смех и грех... А ты, Верочка, поласковее будь с Никитой,—любит он тебя, любит и предан по проб... Мороженых куриц и масло, что я тебе послала,—ешьте: к Рождеству пошлю еще партию».

Гаснет зимний день. Лиловые студёные тени ложатся на снег, резче выступают следы от валенок. В столовой Ольга Леонтьевна и Петр Леонтьевич, сидя в конце длинного стола, пьют чай и помалкивают. Тонким уютным голоском поет самовар,—прижился к дому. Большие окна столовой запылены снегом.

— Сегодня опять письмо от Сережи получила,—говорит Ольга Леонтьевна,—прочесть?

— Прочти, Оленька.

Ольга Леонтьевна вполголоса читает:

«Вчера вернулся в Каир. Видел старичка сфинкса, лазил на пирамиды. (Петр Леонтьевич начал постукивать ногой, Ольга Леонтьевна взглянула на него,—он перестал стучать.) Пришла мне в голову блестящая идея, милая тетя: решил я здесь купить мумию, дешёвка, рублей за пятнадцать. На спине где-нибудь у нее выпилую кусочек и спрячу его. Мумию запакую и—в Россию. В нашем лесу,—помнишь, в том месте, где, говорят, был скит,—закопаю этого фараона; посыплю сверху фосфором. Пущу слух: что, мол, в скиту могила по ночам светится. Народ—валом. Монаха туда нужно какого-нибудь заманить оборотистого.—Копайте. Раскопают—мощи. Пожалуйте,—продаю место с могилами, с мощами, с подъездной дорогой. Купят. Гостиницу построят. Государю императору пошлют телеграмму. А тут-то я кусочек и представлю: извините, это мой собственный фараон, вот кусочек из спины,—счетик из магазина. Стами тысячами не отделаются от меня монахи. Вот, милая тетя, что значит—африканское небо,—боюсь, что стану финансовым гением или женюсь на негритянке. Одновременно с этим пишу дяде Мише,—деньги у меня на исходе».

— Нехорошо,—после молчания сказал Петр Леонтьевич,—нехорошо и егозливо. Всегда он был безбожником, а теперь и кощунствует. Напиши ему, чтобы он больше нам не писал про фараонов.

Однажды в сумерки в Репьевку приехал нарочный, нальмовский работник, привез Ольге Леонтьевне странное письмо. Каракулями в нем было нацарапано: «Приезжайте, Михайле Михайловичу вовсе плохо, хочет вас видеть».

Нальмовский работник сказал, что действительно барин—плох, письмо же это писала Клеопатра, девка,—никакими силами барин ее выгнать из усадьбы не мог, потом при-  
вык, ныне она за ним ходит.

Ольга Леонтьевна немедленно собралась и в крытом воз-

же поехала в Наальмово по большим снегам, по мертвой равнине, озаренной ледяной и тусклой, в трех радужных кольцах, луной.

В полночь возок остановился у наальмовского крыльца. Окна в столовой были слабо освещены. Брекали собаки.

В сенях Ольгу Леонтьевну встретила высокая тощая женщина, в черной шали, — поклонилась по-бабьи. Из дверей рычала белая борзая сука.

— Что с ним? Плох? — спросила Ольга Леонтьевна, выходя из трех шуб. — А вы кто такая? Клеопатра, что ли? Водите меня к нему.

Клеопатра пошла впереди, отворяя и придерживая двери. Сука рычала из темноты. У дверей в столовую Клеопатра сказала шопотом:

— Сюда пожалуйста, они ждут.

У круглого стола, покрытого залитой пятнами, смятой скатертью, под висячей лампой увидела Ольга Леонтьевна Мишуку. Он был страшен, — распух до нечеловеческого вида. Облезлый череп его был исцарапан, желтые, словно налитые маслом, щеки закрывали глаза, еле видны сопящие ноздри.

Под локтями и сзади, придерживая затылок, прижатые были к креслу деревянные бруски, — на них, опустив опущенные кисти рук, висел он огромной тушей. Дышал тяжело, с хрипом.

Из студенистых щек устремились на Ольгу Леонтьевну зеленые его глазки. Она в великом страхе подбежала:

— Мишенька! Что с тобой? До чего ты себя довел!

— Сестрица, — с трудом проговорил Мишука, — спасибо, — и стал глотать воздух. — Все сижу, лежать не могу, водянка.

— Гниет у них в груди, — сказала Клеопатра. — А едят беспрестанно, — не успеваем подавать.

Действительно, на нечистой скатерти стояли тарелки с едой. Усы Мишуки, щетиновые, тройной подбородок были замазаны жиром. Озираясь, Ольга Леонтьевна увидела там же на столе большую банку с водой и в ней раскрытую белопузую ящерицу.

— Крокодил, — проговорил Мишука. — Сережка из Африки прислал в благодарность живого. Сегодня подох, значит и я...

В ужасе Ольга Леонтьевна всплеснула руками:

— Доктора-то звали?

— Доктор сегодня был, — ответила Клеопатра, стоявшая, поджав губы, у буфета, — доктор сказал, что они сегодня помрут, в крайнем случае — завтра.

— Зав... зав... зав... — пробормотал Мишука, с усилием поднимая вылезшие брови.

Ольга Леонтьевна спросила:

— Что он говорит? Завтра? Ох, трудно ему помирать...

— Завещание спрашивают...

Клеопатра достала из буфетного ящика сложенный лист бумаги, подошла к лампе:

— Для этого вас и вызвали, для свидетельства.

И она стала читать:

— «Пахотную землю всю,—луга, леса, пустоши, усадьбу и прочее,—жертвую, помимо ближайших родственников, троюродной племяннице моей Вере Ходанской, по мужу Репьевой, во исполнение чего внесено мною в симбирский суд векселем на миллион пятьдесят тысяч. Деньгами пятнадцать тысяч дать девке Марье Шитиковой, по прозванию Клеопатре, за верность ее и за мое над ней надругательство. Ближайшим родственникам, буде таковые найдутся, дарю мое благословение, деньгами же и землями—шиш».

Строго поджав губы, слушала Ольга Леонтьевна странное это завещание. Когда чтение окончилось и Мишука, кряхтя и морщась, сложил действительно из трех пальцев непомерной величины шиш,—который предназначался ближайшим родственникам,—Ольга Леонтьевна всполохнулась:

— Спасибо, Мишенька, что не обидел сироту, но скажи—почему ей такая честь?..

— Обесчестить ее хотел,—проговорил Мишука,—Веру-то, за это ей и дарю.

— Через нее всех нас выгнали из дому, как собак,—сказала Клеопатра.

Тогда Ольга Леонтьевна стала совать в ридикюль очки и носовой платок и решительно подступила к Мишуке:

— Да как ты посмел! Вотчинами хочешь откупиться, пакостник. Ногой в гробу стоит, кукиши показывает, а на уме—озорство. За могилой обесчестить женщину норовит... Дай сюда завещание.

Она вырвала у Клеопатры бумагу и, скомкав, бросила ее Мишуке в лицо:

— Прощай!

Мишука, глядя, как немощная собака, задышал часто, закатил глаза, захрипел. Клеопатра полезла под стул, куда откатилось скомканное завещание. Ольга Леонтьевна рысцой дошла уже до дверей, но обернулась и ахнула:

— Батюшки, да он кончается!

Вздрогнув, тучась, Мишука стал приподниматься. Затрещали и сломались, посыпались на пол бруски, державшие его в кресле. Вдруг завыва диким голосом под столом белая сука. Клеопатра, вытянув жилистую шею, вытянув нос, глядела колюче на отходящего.

Мишука, разинув рот, вывалил язык, будто собираясь заглотить черную девку.

— По... по... по... — выдавил он из чрева. И рухнул в кресло, в заскрипевшие пружины. Повалилась голова на грудь. Из рта хлынула сукровица...

Ольга Леонтьевна только мелко, мелко крестилась:

— Упокой, господи, душу раба твоего...

Клеопатра, не торопясь, подошла и прикрыла Мишуке лицо чистой салфеткой.

## ОВРАЖКИ

### I

**Н**а степном хуторе, за семью оврагами, сидит помещик Давид Давидыч Завалишин.

Глубокие овраги между хутором и селом налились водой и набухли, на трухлявом льду сдвинулись зимние дороги; оголились невысокие курганы по сторонам; поднялись на них прошлогодние косматые репейники, и ветер, студёный еще на полях, зашумел голыми ветлами.

Все ждали—вот-вот тронутся воды: хуторяне вскакивали среди ночи, с фонарем бежали на плотину глядеть—не провало ли; на постоялых дворах третий день томились проезжие, поглядывая из окна на опасное половодье; не ходила почта; не скакали по местным делам власти. И только Давиду Давидычу было все равно.

Он успел уже и пополюдничать и попить чаю и сейчас, распустив поясок на чесучевой рубашке, лежит на кожаном диване, против окна.

В соседней комнате выставлена рама; слышно, как стонет курица на солнцепеке и вот-вот налаживается стонать, но подходит петух, и она вскрикивает не своим голосом. Потом звонко ржет жеребенок на калде. Вдоль двора несутся голоса стряпухи и веселого кучера, и, когда смолкают, сонный пес принимается колотить хвостом о собачью будку. Прыгают, чирикают, возятся, как пьяные, воробьи; закрыв глаза, урчат медовыми голосами голуби; а Давид Давидыч прикрыл подушечкой ухо, норовя заснуть...

Но заснуть ему было трудно и даже невозможно: и грело солнце, лежащее на скобленном полу, и пахла смолой новые стены, и в свету, между полом и окном, звеня, крутилась муха, и, главное, все, что происходило в комнате и на воле, было само по себе, а он был сам по себе. Муха села ему на нос. Давид Давидыч сморщился, дунул на нее, обиделся и ловко поймал муху, зажавшую в кулаке.

— Вот я тебя курице отдам, — сказал Давид Давидыч, несмотря на то, что слез с дивана, прошел в соседнюю комнату и, перегнувшись в открытое окно, позвал курицу. Степенно на зов подошла белая брамапутра, любимица, и, наклонив головку, поглядела красным глазом.

— Вот, клань, — сказал Давид Давидыч, поднося мушку, но курица отдернула голову, и муха улетела. На солнцепеке было совсем тепло и пахло землей. Но, отступя три шага, еще лежал грязной коркой снег, и, чем дальше, тем был и белее, и, поднимая глаза, увидел Давид Давидыч свой, еще под снегом, шар, курганы с репейниками, лиловую похмалу дубравы и за ней скромную белую церковь со светлым престом.

Давид Давидыч так и остался лежать животом на окошке, наморщив лоб, сдвинув концы приподнятых бровей. Крупный прямой нос его покраснел немного, курчавая светлая бородка и небольшие усы прикрывали рот, сжатый в скорбную гримасу.

## II

Три эти дня перед половодьем, когда на развалинах недавно еще крепкой зимы все, встряхиваясь, напрягло земляные силы, чтобы раскрыться, зашуметь, заголосить, — были для Давида Давидыча тяжким бременем.

Ему шел тридцатый год. В этом январе он разошелся с женой и, после многих лет, вернулся опять в небольшое свое родовое имение, где сад был порублен, старый дом сгорел и все, что он помнил и любил, даже то, чем он мог, не задумываясь, жить, оказалось словно вырубленным и сожженным.

Сгоревший дом, где родился Завалишин, был очень большой и такой путанный, что можно было постоянно открывать в нем новые комнаты и закоулки.

Сложным, темным и таинственным был и сад, где яблони жались только около балкона, отодвинутые отовсюду зарослями акации, черемухи, сирени и черной ольхи, под горой, у пруда, день и ночь шумели вековые осокори, по их дуплам жили белки и совы, и множество птиц куковало, пело и посвистывало в листве, а по ночам летали мыши и верещали жабы. На полянках же и дальних аллеях росла высокая густая трава.

Когда Давиду Давидычу нехватало еще до аршина росту, все помыслы его были заняты этой буйно растущей травой. Тюльпаны, чернобыльник, белая и желтая кашка, метелки и пупочки, могучие репейники и дудки, обвитые повилокой, казались и цвели повыше его головы; над ней же толкались неуловимые мошки и бабочки, и тудели зловещие насекомые. Живя и вырастая с травой, Давид Давидыч научился многим ухваткам — подкрадываться и ловить, уклоняться от нападения дрыгаться или бежать, нагнувшись, в зеленой глушине.

Когда же он стал опытнее и повыше, трава оказалась травой и в ней никто, кроме жуков и ежей, и не жил. К этому времени открыл он длинную и полутемную комнату, уставленную черными шкапами. Здесь были книги, мыши и запах мудрой плесени. Давид Давидыч садился вглубь дивана и читал приключения. Он полюбил веселый нрав зве-

рей, птиц и всей живой твари, траву же стал считать враждебной и сражался с ней деревянным мечом. Лазил на осокори, обшаривал гнезда, стрелял из лука и бил головастиков гарпуном.

Но с каждым летом Давид Давидыч все больше убеждался, что в саду нет ничего необыкновенного, сколько ни откровенно и ни обшаривая темных углов, и почувствовал скуку, словно впереди ожидалось таинственные события, а сейчас только было томительно, откуда себя ткнуть.

Впоследствии все чаще стало повторяться у него такое ожидание необыкновенного и таинственного, и каждый раз он думал, что настоящая жизнь тосклива, испытана и понятна. Тогда же это ожидание совпало с семейным несчастьем. Отец Давида Давидыча часто уезжал (матушка тогда бывала особенно грустной), когда же возвращался, то ходил мрачный, и Давид Давидыч иногда среди ночи просыпался от гневного его крика снизу, из спальни, и, проснувшись, плакал в своей постели. Но наутро матушка была, как всегда, бледная и печальная; отец же, едва сдерживая гневный блеск черных глаз, привлекал сына и рассеянно гладил его по голове до тех пор, пока Давиду Давидычу не становилось скучно и больно. Иногда матушка стремительно прибегала в сад и, словно сын ее спасся от несчастья, прижимала и целовала его, но Давид Давидыч не понимал и этих ласк.

Однажды отец вернулся из города вместе с маленькой черной и надушенной дамой, и матушка стала вдруг необыкновенно оживлена — смеялась, ездил верхом, теля и гуляла с приезжей. Но вскоре Давид Давидыч набежал в сад на отца, который стоял за толстым деревом, втянув голову в плечи и держа в руке револьвер; издали же по аллее неспешно шла матушка в белой шали. Давид Давидыч тронул отца за локоть, отец выронил револьвер, закрыл глаза и страшно закричал... В ту же ночь матушка разбудила Давида Давидыча, вывела на черный двор, посадила в тарантас, и они ехали до рассвета, пока на краю степи, за осенним туманом, не увидели главы церквей, водопроводную башню и дом губернского города.

Всю зиму Давид Давидыч, утруждаемый грамматиками и законом Божиим, читал Тургенева, потом Гоголя. Весною сдал экзамен на круглое два, но зато понял, какие еще таинственные встречи ждут его в старом доме и в саду.

На Фоминой в номер, где они жили, вошел отец, очень похудевший, но ласковый, поговорил с матушкой, посидел на диване, закрыв лицо рукой, и увез сына в деревню. Черная маленькая дама там больше не жила.

Но недолго веселился Давид Давидыч. Сад и дом опять опутали его новыми чарами. Пробираясь в темные кущи за прудом, заглядывая за необхватные осокори, раздвигая кусты куртин, где гнили скамейки и столы на одной ноге, поднимаясь вверх, в нежилые и пыльные комнаты, рассматривая сквозь цветные стекла дверей колонны заколоченного зала — повсюду боялся он встретить кого-то, и бродил и томился, ожидая встречи. Он похудел и вытянулся; на узком

лице легли круги под глазами, он прятался, заслышав голос отца; на вопрос—о ком скучает—краснел, и сад уже казался ему совсем волшебным, потому что в нем жило и пряталось о н о. О н о могло оказаться девушкой, как у Тургенева, и загорелой хохлушкой в маковом венке, и ведьмой с голыми ногами, и даже русалкой.

Сидя на выгнутой коленом над водой березе, подолгу глядел Давид Давидыч в пруд, на листья купавы, на отраженные камыши, на глубокую зеленую тихую воду, и ждал, когда же из глубины, плавно поводя руками, выплывет под самые борозовые корни опасная русалка.

О н о появилось после полудня, в июне, в малиннике. О н о оказалось худенькой девочкой в синей кофте, босой, просто-волосой, со смешным лицом и большими глазами. Давид Давидыч огорчился, увидев, что о н о такое смешное, но подошел все-таки, поглядел исподлобья и спросил:

— Что ты тут делаешь?

Девочка усмехнулась, посмотрела и быстро убежала, махнув черной косой.

Давид Давидыч стал приходить каждый день в малинник и опять встретил ее, уже с кошевочкой. Он сам нарвал ей малины, они сели в траву, и он спросил—как ее зовут. Девочка покачала головой и подняла к небу синие глаза, в них сейчас же отразились два облака.

— Ты, может быть, в пруду живешь?

— Нет,—ответила девочка,—я живу у моей маменьки, вдовой попады, зовут меня Оленька.

Когда кончилась малина, Давид Давидыч показал девочке весь сад, потом повел в библиотеку, где вслух принялся читать любимые повести.

Девочка сначала только смеялась, потом начала понимать и внимательно слушала и однажды даже заплакала горько над трогательным описанием малытки, заблудившейся в снежную ночь.

Давид Давидыч, увидев слезы, тут же поклялся, что сам никогда не доведет ее до подобного горя.

— Поцелуй крест,—сказала девочка и расстегнула фарфоровую пуговку, высвободив на худенькой груди медный крестик...

Давид Давидыч поцеловал его, поглядел на серьезную девочку, она тоже поглядела, оба они покраснели, и Давид Давидыч сказал:

— Что ты красная какая, как кучер?..

Девочка после этого не приходила, и он, поджидая ее, залез на дерево, откуда видна поросшая гусиным щавелем дорога, дубава вдали и церковь за ней. На дереве он сочинил свои первые стихи, которые начинались так:

Вот по дороге, с сумой и клюкой,  
Шел ясный убогий, хромой и слепой.  
Навстречу природа поналась ему,  
И ясный молил, поднимал суму...



Неожиданно отец вернулся из города с матушкой, и они, смиренные, ходили по аллеям, заложив руки, и сидели на балконе, в сумерках...

— Ну, что же, не удалась жизнь — начнем другую, — негромко повторял отец.

Давид Давидыч очень обрадовался матери и тому, что больше его не ласкала, как пропащего, но по ночам стали доносить его сны, полные стуков, шорохов и беготни, которую, просыпаясь, он слышал и наяву, думая, что не затевает ли какой беды старая крыса.

В доме издавна жила седая крыса, величиной с кошку; ее не могли ни убить, ни извести ядом — до того была умна и зла. По вечерам влезала она на стул, глядя, как едят, когда подходили, свистела и прыгала высоко и недавно укусила за голову пьяного повара.

Вскоре матушка велела затопить, с зимы еще не чищенный, камин и села с отцом около огня, в креслах...

Отец глядел на матушку, и поднятые брови его сдвигались; из-под ресниц матушки капали слезы.

Вдруг с треском разлетелись головешки, и из огня, вся в пламени, выскочила крыса и пропала в дальнем углу.

Отец бегал с каминными щипцами по дому, а матушка, схватившая сына, долго не могла успокоиться.

Наконец Давида Давидыча увели наверх, раздели, долго крестили и велели спать. Но не успел он, казалось, закрыть глаз, как в комнату вбежала горящая крыса, покрутилась на паркетке и принялась подсакивать все выше и выше — до потолка. И вдруг, доскочив, забежала по потолку кругами, обскакала стены и наконец, жалобно запищав, стала отряхивать с себя угольки и язычки пламени, которые наполнили комнату розовым светом.

«Горим», — наконец проговорили, точно издавка. Давид Давидыч сел на кровати и позвал мать. В доме было тихо и темно. Только где-то похрустывало и потрескивало.

Давид Давидыч закутался с головой и накрылся подушкой, а снизу опять, точно не по-человечески, закричали пронзительно: «Горим!» Тогда Давид Давидыч соскочил и распахнул дверь. Яркий, красный, радостный огонь кинулся на него язычками, бушуя по винтовой лестнице, как в трубе.

Давид Давидыч захлопнул дверь и стал слушать, и среди треска и шума различил голоса отца и матери: «Давид, Давид...» Тогда он побежал к окну, уцепился за ветку липы, выполз и вместе с хрустнувшими сучьями упал в траву.

— Спасибо, трава, я тебе этого не забуду, — сам не зная, зачем, проговорил он и стал глядеть, как из окон льется свет; в комнатах не зажжены ни лампы, ни свечи, но ясно в них от света, портьеры шевелятся, и по обоям пробегают язычки...

«Это крыса там бегает», — подумал Давид Давидыч и побежал по мокрой траве, пока не остановился у пруда. Из-за вершин деревьев, заслоняющих дом, шел теперь густой, чер-

ный, словно с кровью, дым; потом он посветлел, и запрыгала, затанцевала над вершинами огненная корона.

«Это крысиный царь поднимается», — подумал Давид Давидыч. А языки на короне взмахивали все выше и слились в один, завернутый наверху, откуда посыпались искры. Черные, как смола, тени легли на траву, до самого пруда; вода стала живой и зыбкой, и стволы берез с одной стороны покраснели. Сверху же, с высоты, маленькие птички, сложив крылья, падали в огонь.

Утром стало обыкновенно в саду, только по кустам и над травой лежала грязь. Осторожно раздвинув ветви, появилась невдалеке Оленька, подбежала к Давиду Давидычу, взяла за руку, сказала:

— Я говорила им, что ты здесь, — и увела из сада на двор. У конюшни, покрытые занавеской, лежали на траве две фигуры. — Стань на колени, помолись за папу и маму, — сказала Оленька.

Давида Давидыча взяла к себе петербургская тетка. Он прохворал у нее почти всю зиму, к весне же вытянулся, заговорил петушиным голосом и, казалось, совсем забыл и отца, и мать, и Оленьку, и свои клятвы. Затем пошли долгие годы учения; они вылепили, при помощи установленных средств, обыкновенного, установленного образца, молодого человека и выпустили жить.

Окончив юриспруденцию, Давид Давидыч принялся думать, куда себя принаровить, и, ничего не удумав и не разрешив, уехал в родной город: все-таки это был город знакомый.

Здесь он заметил, что точно так же, не думая и ничего не решая, живут почти все, предаваясь, по мере сил, всевозможным удовольствиям.

Давида Давидыча приняли как своего и очень легко, прямо в лоно удовольствий. Он устроился при суде; снял квартиру, соблазнил жену следователя и решил, что сам он милый, приятный и опасный для мужей человек. Весною он съездил в Завалишино. Богатое когда-то имение было разорено опекой. Рядом с пепелищем стоял новый флигель; на заросшем дворе гулял древний мерин, свидетель прошлого, бесь в укусах и шишках; опустели хозяйственные постройки, разрушались медленно, сад поросел, и Давид Давидыч от забытых, смутных, таинственных воспоминаний поспешил уехать обратно, не взяв даже отчета у приказчика.

На следующую зиму его (уговорила жениться на Анне Ивановне — богатейшей купчихе. Дворяне в уезде обезземелили, и в предводители никто не шел. Анна Ивановна была воспитана в Париже, имела обстановку в стиле ампир и желала заказать приданое с дворянским гербом. Вообще не было причин не жениться. Перед свадьбой Давиду Давидычу посоветовали привести в порядок бумаги, и он опять поехал в Завалишино.

Стояла весна. Полно множество птиц, и от земли шел пусгой запах. Увидев издали осокори на своем пруду, Давид Давидыч велел повернуть, не проезжая хутора, прямо к селу и остановился у церковной ограды. Сквозная ограда, вы-

ложенная так, что между кирпичами образовались кресты, была выкрашена в белое. За ней росла, перекидывая ветви наружу, белая сирень. Проходя влажной дорожкой, Давид Давидыч увидел под сиренью на скамье девушку в белом платье, которая глядела на подходящего странно и пристально. Давид Давидыч поклонился, спросив, где можно найти священника. Девушка встала, оправила юбку и молвила:

— Старый батюшка умер, а новый приедет из города завтра, я его невеста...

— Вот досада,— сказал Давид Давидыч и объяснил, что приехал выправить метрику, и назвал себя.

— Я знаю, я вас узнала,— сказала девушка,— а вы не узнали, я — Ольга, вдовой попадьи дочь...

— Не может быть, позвольте, вы — та самая... помните...

— Да, помню, — ответила Оленька. — А вы зайдите к псаломщику, у него церковные книги, — и она, быстро ступая, прямая и легкая, прошла впереди Давида Давидыча в церковь и, пока он рылся в книгах, стояла в стороне.

Он оглядывался, улыбаясь, она не отвечала на улыбку, и когда, уходя, он взял ее за руку и сказал: «Вот опять встретились, как странно...» — она высвободила из его ладони пальцы и так посмотрела, сияние глаза ее так гневно потемнели, что Давид Давидыч разговора не продолжал.

Переночевав на въезжей, он наутро опять пошел в церковь и расспросил дьячка об Оленьке.

Оказалось, что она училась в гимназии и, после смерти попадьи, осталась в селе учительницей. Ее много сватали, даже земский доктор, но она отказывала всем и только прошлой осенью (как раз когда Давид Давидыч заезжал на день в усадьбу) согласилась выйти за поповского сына, который ждал смерти больного отца, чтобы самому вместо него принять священство.

Из церкви Завалишин пошел к речке, где у обрыва увидел ветхий, кривобокий, прислоненный к старой ветле, домик вдовой попадьи. У окна сидела Оленька. Она посмотрела на подходящего, и опять в глазах ее появилось вчерашнее выражение, точно страх и гнев. Давид Давидыч, улыбаясь, стал кланяться: Оленькина красота взволновала его странным чувством.

— О чем вы задумались? — спросил он и опять понял, что не то сказал. Подошел к окну, под которым цвел шиповник, и увидел, что Оленька на ладони держит медный крестик.

— Замуж я выхожу,— сказала Оленька и вдруг наклонила голову и стала глядеть на Давида Давидыча исподлобья; он видел, как глаза ее заволокло слезами; она сердито тряхнула головой и отвернулась.

— И я женюсь, вот как это все вышло,— ответил он, и тупая, безнадежная скука наполнила его после этих слов, и все показалось давно известным, несущим, бездольным... — Надо как-нибудь жить,— окончил он.

Оленька помолчала. Потом сказала поспешно:

— Отойдите от окна, неудобно, люди увидят... Так-то, милый мой друг.

Она быстро поднялась и отошла в глубину комнаты

Накануне петровского поста Завалишин обвенчался, и Анна Ивановна увезла его на море, потом в Париж. Вернувшись, он пошел в уездные предводители, освободил родовое Завалишино от долгов, завел первый в городе по объядению и веселью дом и рысаков, кучу друзей, а потом и любовницу.

Когда же все, бывшее в кругу полусонных его желаний, испыталось, Давид Давидыч увидел, что Анна Ивановна — противное, злое и сладострастное существо, а сам он несчастен и нечист.

Вернувшись однажды ночью в дурном настроении, он пропел на половину жены и, услышав за дверью спальни голоса — ее и чей-то мужской, вынул револьвер и выстрелил в дверь даже не со зла, а чорт знает зачем — для гадости.

Анна Ивановна обиделась и уехала в Берлин, Давид же Давидыч, написав ей короткое и ясное письмо на обрывке модного журнала, засел в родовом своем Завалишине навсегда.

### III

Но повесть эту припоминал Давид Давидыч, лежа в окне, не о бесплодно растраченных силах думал он, а о том смутном и волнующем ожидании чего-то (события, катастрофы), чего-то огромной важности; и хотя до сих пор ожидание обманывало, все же каждый раз казалось ему, что именно теперь приходит самое важное; так и сейчас он старался заглянуть в глубь себя, потому что, казалось ему, событие, хотя и придет извне, всю силу и важность получит, только утвердившись в нем, в Давиде Давидыче.

Из конюшни в это время, стуча копытами, вылетел молодой караковый жеребец, волоча кучера на поводе. Вылетев, стал посреди двора, махнул хвостом, заржал, прыгнул на дыбки, потом он и кучер рысью пробскажи на задворки.

— Красавец, — сказал Давид Давидыч, — вот силаща, — и, когда оттопыренный конский хвост скрылся за углом, он медленно, с опущенной головой, с заложенными назад руками, отошел от окна. «Жеребец ржет и прыгает на дыбки, значит, пришла весна, и никому нет дела до того, что когда-нибудь перестанешь прыгать, ляжешь и околеешь. Почему же мне одному не все равно? — думал Давид Давидыч, шляясь по кабинету. — А оттого мне не все равно, что это — самое главное, чего я сейчас ожидаю, и будет моя смерть; вот и все».

Закрыв ладонью глаза, он представил свои похороны: вышло гаупо и не трогательно, главное — по-обыкновенному, и Давид Давидыч даже сделала подобающее грустное лицо, какое было недавно у всех на похоронах председателя суда... Тогда он вообразил самую смерть — себя, умирающим в кровати, и замотал головой — фу ты, чорт!

— Нет, нет, событие будет другим, не смертью!.. — воскликнул он тороплив — В сущности, отчего я несчастен? Все люди такие же, с изъяном. Не знаю ни одной счастливой семьи. Отчего же я должен быть другой, а не такой, как все?.. — Он хрюкнул пальцами и с отчаянием сказал: — Ах, нет, все, дол-

жно быть, верят во что-нибудь или просто живут, не думая, а я верю только в одно, что умру и что умирать не хочу...

В это время осторожно отворилась дверь, и в ней показался небольшого роста худощавый мужичок, в нагольном засезанном полушубке, с красным, много раз обернутым вокруг худой шеи, вязаным шарфом. Шапку он держал в руке и, подмигивая на барина, спросил:

— Чего ты, ась?

— Я не тебе... Ты зачем? — спросил Завалишин, немного смутясь.

— К тебе я, здравствуй, — ответил мужик и подал руку.

Пожимая ее, Давид Давидыч почувствовал все его жесткие ногти и мозоли. «Вот этот мучиться не станет», — подумал он, сел к столу, отодвинул локтем поднос с водкой и колбасой и сказал:

— Садись. По какому делу? Как зовут?

— Андрей, Андреем зовут, — ответил мужик и присел на краешек стула, умильно покосясь на водку. — Едва до тебя добрался, воды — прямо сила: овражки обязательно нонче пройдут, как уж я пробрался только... — По красному тощему лицу его пошли веселые морщины, он совсем зажмурил свои щелочки и решительно сказал, тряхнув бородашкой: — Промокли мы, как есть.

Давид Давидыч налил ему водки в стаканчик и себе в рюмку. Андрей изобразил на лице уважение, боясь раздавить, взял стакан и выпил все до капли, крикнув очень громко, чтобы показать, как это действует.

— Ешь, угощайся, — сказал Давид Давидыч, пододвигая поднос.

— Чего ее — пищу зря перегонять, — ответил Андрей, — вино ей только портить. В еде этой сытности я не понимаю. Хоть бы кашу молочную — ешь, ешь, надоест, бросишь ложку, а ну се...

Завалишин налил ему еще стакан, и после третьего Андрей размотал шарф и сказал:

— Под Хвалынским дачу мы строили; барин очень остался доволен и поставил нам угощение, всего наварил: Ели мы, ели, вот прямо надоело. Иван Косой — пильщик, мужик завистливый, мно и говорит: «Что же, Андрей, за бутылку съешь сейчас горшочек каши?» Я тут же говорю: «Ладно» — и кашу съел; ему жалко, он опять: «Каравашек ситного съешь еще за бутылку?» — «Ну, да». Каравашек этот я съел, и еще так на четверть ему и наел. Надо мной смеяться. А уж я разошелся. На бахчах арбузов нарвал, дынь, огурцов и наелся, и вот с этого сырья меня разобрало... Так что в наземе после меня восемь цыплят утонуло. Валовство. А пользы никакой нет от большой еды.

— Ну, видно, выпить я могу много больше тебя, — сказал Давид Давидыч.

— Это верно.

Помолчали. Завалишин мотнул головой, вздохнул окончательно и спросил:

— Так по какому же делу, Андрей?

— Беда у нас случилась. Давид Давидыч.

— У кого — у нас?

— Вот я давно вижу, что ты меня не признаешь. А я и папеньку твоего и маменьку покойничков, как живых вижу. У попадьи я служу, у вдовой попадьи в работниках...

Рука Давида Давидыча, лежащая на столе, так сильно задрожала, что он ее принял и спросил, не поднимая глаз:

— У какой попадьи? Ольги Петровны?

— Ну, да. Теперь она считается у нас вдовая. Поп у нее утонул, ровно тому год. Она мне наказывала: «Хоть плыви, — говорит, — а дойди до Давида Давидыча, передай письмо».

Андрей залез за пазуху, пошарил и подал теплое, помятое письмо.

Завалишин быстро всгнал, повернулся к окну и прочел:

«Я не хотела и не должна, но больше не могу... Скоро, может быть, сейчас, опять начнется... Сознание мое такое убогое и короткое... Я тороплюсь... приезжайте... может быть, поможет... все равно... очень хочется увидеть вас...»

— Я не пойму, — перечтя кос-как нацарапанное письмецо, сказал Давид Давидыч, — она больна?

— Совсем плоха попадьа, — подтвердил Андрей, — проваливается; обомрет, как провалится, и начинает ее корчить, и вопли. Нынче совсем, думали, отходит. Я и помянул, как маменька ваша, покойница, крестьян пользовала каплями; говорю это попадье, она как всполыхнется, за карандаш ухватилась. «Неси, — говорит, — записку, носи ему, скажи, мол, все равно, мол». Плохо я разобрал, чего она набормотала... Вы уж дайте, пожалуйста, капель каких, Давид Давидыч, успею до ночи добежать, чай...

— Капель, — сказал Завалишин, — нет... — и не кончил.

Андрей тоже раскрыл рот и повернулся к окошку. За разговором они не заметили, как возрос и стоял теперь в сумерках глухой сильный шум: словно по всей степи поднялись древние леса и зашумели.

— Тронулись, — сказал Андрей, — вот беда, в село теперь не попасть, а я и скотину не убрал.

Но не гул внешних вод слышал Давид Давидыч в поднимающемся шуме, а голоса всех ушедших и милых, все шорохи, топоты пролетевших лет, и свой голос будто услышал он, и все это восстало в одно мгновение, и потому странный шум был так властен, громок и торжествен.

— Поди, поди, прикажи заложить санки, — проговорил Давид Давидыч отрывисто, — я сам поеду, надо спешить, беги, прикажи скорее...

#### IV

Караковый поводил ситими глазами и рыл яму копытом, запряженный в козловые санки. Давид Давидыч быстро сошел с крыльца, застывшая романовский полушубок, взял вожжи и сел: рядом сейчас же примостился Андрей.

— Ты зачем? Оставайся, я один поеду, — сказал Завалишин...

— Нет уж, как уж, неудобно, — ответил Андрей.

Давид Давидыч ударил вожжами, караковый сразу весело и резво понос, кидая грязь и снег в передок саней.

Когда миновали плотину, Андрей сказал серьезно:

— Правее, барин, забирай, целиной, — овражки сверху надо пересекать.

Солнце к этому времени село в лиловую тучу, заслонившую закат. Ее края, как овечья волна, опушились золотом, и оттуда шли лучи. Когда они совсем удлинились, растаяли и погасли, золотая волна покраснела, стала густо-малиновой. Небо над закатом разлилось, как вода, а выше синева становилась непрозрачной, в ней открылась первая холодная звезда, и потом медлительно все небо стало осыпаться созвездиями. На равную пустую степь в унылых проталинах легла тень; снег, еще лиловый, похрустывал, и по нему, похрапывая, бодро и ровно бежал караковый.

— Послушай, Андрей, правду говорят, она не любила мужа? — спросил вдруг Давид Давидыч.

Андрей ответил не сразу; придерживаясь за барский кушак, он всматривался, видимо, не одобряя выбранного пути.

— А за что его любить: жадный да противный, — сказал он. — Придешь в храм, с души воротит, одни старухи к нему и ходили. Как утоп, мы, конечно, пошумели, и она неудовольствие показала, все-таки нехорошо тонуть так-то зря, а ей теперь много легче. Одно — обмирает она; да это, говорят, он ей не даст покоя — мертвый... А вы правее забирайте...

Но Давид Давидыч больше уж не мог забирать в верховья овражков. Со стороны, противоположной закату, появился тонкий свет, и поднялся над краем степи серп месяца. Заваливши, горяча вожжами и причмокивая, нес жеребца прямоком на овражки. Наконец впереди на снегу обозначилась темная полоса. Андрей положил руку на вожжи и сказал:

— Глина — это на том берегу, видишь, как снег осел, полегче, барин.

Давид Давидыч осадил; жеребец перебил ногами и стал, раздувая бока. Андрей побежал вперед и оттуда крикнул:

— Осело на аршин, а давеча я тут проходил совсем свободно. В санях не проедем, надо распрячь!

Жеребца распрягли; сняли хомут и седлаку и тронулись... Ближний берег был покатым, на нем, между снегом степи и овражка, открылась талая земля, покрытая мягкой травой. Андрей поскользнулся, побежал вперед и увяз.

— Не держит, — сказал он, — ну, да здесь мелко, с богом, — и скоро выбрался на тот берег.

Давид Давидыч был тяжелее и увязал глубже; караковый, у него в поводу, подвигался скачками, уходя по живот, на другой берег он вымахнул сразу и, вырвав узду, стал, отряхиваясь.

Они двинулись напрямик, различая впереди колокольню. Между овражками, на горбатых гривках, в хрустящей прошлогодней траве, лежали овальные лужи. Месяц взошел высоко, положил тени от путников и коня и кое-где засверкал в лужах.

Овражков было семь, и средний из них — самый глубокий

и опасный. По шуму воды издали было понятно, что он идет шибко, размывая снег и глину.

Но уже задолго до него пришлось вымокнуть выше пояса в колючей, со снегом смешанной воде. Когда же дошли наконец до среднего, Андрей сказал:

— Навряд переберемся, студено очень.

Борода у него тряслась, шурша сосульками по полушубку. Он весь вымок и не знал, куда сунуть окоченевшие пальцы, то сходя ими около обледенелых карманов, то согревая у рта. Давид Давидыч глядел на колокольню. Теперь она была видна вся до ограды, залитая лунным светом. И ему не было странно, что самое важное сейчас в жизни — это добраться поскорей до колокольни, а что трудно это и опасно — только хорошо.

— Возьми лошадь, вернись на хутор, я все-таки пойду, — сказал он негромко.

Андрей крикнул от холода и ответил, точно не расслышав:

— Ты за гриву-то ему цепись, если что — конь добрый, вынесет; главная вещь — нам до чистой воды добраться, она у того берега вплоть, видишь...

Действительно, за широкой пятнистой полосой снега виднелась, под глинистым обрывом, свинцовая зыбь воды; лунный свет тронул на ней текущие струи и ребра льдин. Овраг этот пошел первый и гнал воды в пруды по ту сторону села, и опаснейшим в нем местом была снеговая зыбкая каша близ этой водяной полосы... В студеной густой каше из снега не на что упереться, нет дна, нельзя ни плыть, ни ползти.

Давид Давидыч резко дернул за повод присмирившего жеребца и пошел по желтым пятнам снега... Андрей зашагал рядом, потом, повторив:

— Смотри, коня ничем не бросай! — побежал вперед на шипочках и вдруг провалился по пояс. — Дна нет, — крикнул он, побарахтался, на животе, прополз еще, поднялся, шагнул и ушел по грудь, неподалеку от воды. — Шабаш, — сказал Андрей и, раскинув руки, перестал двигаться; над снегом торчала лишь голова его в шапке.

— Держись, голубчик, пожалуйста, держись, сейчас я, сейчас, — еле выговаривая, забормотал Давид Давидыч, бросил повод и ползком задвигался к торчащей голове. Широко растопыривая ноги, запуская руки в налитый водою снег, наминал он его под себя с боков и, вертясь и упираясь, продвигался. Холода же больше не чувствовал; лицо и охваченный полушубком корпус горели; только ресницы смерзались, мешая глядеть; Андрей был уже совсем близко; повернув задранную к месяцу голову, он повел белками и принялся открывать и закрывать рот... Снег совсем стал жидким. Давид Давидыч запустил под себя руки и, застонав от боли, растегнул пряжки на полушубке, чтобы освободиться. Но сзади в это время громко заржал карачовый, завозился и плюхнулся несколько раз.

— Узда, узда, — выговорил наконец Андрей.

Завалившись оглянувшись. Жеребец, очевидно, зацепив копытом повод, глубоко опустил морду, выпучил блестящий глаз и задыхался.



— Узду, узду скинь, — проговорил Андрей.

Давид Давидыч понял, что не сможет этого сделать и что не нужно это — пусть погибнет караковый, но все же, приподнявшись, дернулся, дополз, схватил узду и сорвал; караковый вскинул морду, фыркнул и, поддав задом, сигнул; передние его копыта упали на полу распахнутой шубы, и Давид Давидыч, хватаясь окоченевшими пальцами, ушел с головой под снег, в талую воду.

Может быть, прошла минута или мгновение, пока он опускался в зеленовато-черную глубину, сдавившую дыхание, с незабываемым запахом снеговой влаги. Но времени будто не стало. Он подумал: «Конец!» Потом: «Ну, и слава богу!» И, отрешаясь от жизни, тотчас увидел, спокойно и ясно, все свои дни и себя — и мальчиком, и юношей, и взрослым. Все это появилось перед сомкнутыми его глазами одновременно и в странной перспективе, словно он — смотрящий — был не в стороне и не в центре, а вокруг всего. Будто он стал так велик и несобьятен, что включил в себя землю, и солнце, и звезды, и все... И спокойно знал, что злое, что доброе, когда он был дурным, когда хорошим, а дурным он увидел себя, живущим без любви, — слепым. И тотчас в этой вселенной пронеслась строфа глупых стихов, сочиненных им на дереве... И за ней, быстрее, чем молния, возник ровный свет, он заслонил, как будто сжег, все призраки воспоминаний и был живой, и требовательный, и радостный... Давид Давидыч понял, что жив и хочет жить. Сердце глухо боролось. Вода проникала в рот и ноздри. Он рванулся; полушубок, как шкура, соскользнул с плеч, и Давид Давидыч, ударив ногами в ледяное дно, появился на поверхности, жадно дыша колким, живым холодом.

Караковый лежал впереди, и над снегом торчала его голова и грива, в которую вцепилась рука Андрея. И конь и мужик медленно отделялись от снега, поворачивались в чистой воде, быстрый поток подхватывал их, подхватил, закружил и понес вдоль крутого берега. И за ними отделился большой остров снега, открыв Давида Давидыча, который, освободясь от каши, тоже поплыл, сносимый течением, и долго хватался и царапался о глиняную кручу. Наконец на низком месте он уцепился за чилиговый куст, грудью лег на берег, потом подтянулся, вышел и, шатаясь, пошел.

Месiac, чистый и острый, стоял над головой. В овальных лужах, в каждой, отражалось все небо со звездами и месяцем; проходя мимо, Давид Давидыч раздроблял сапогом тонкие зеркала этих луж. Потом он с трудом повернулся и стал вглядываться. Невдалеке у берега прибились Андрей и караковый.

Через силу стащил Давид Давидыч сапоги и побежал к селу. Остальные овражки были по пояс. На краю последнего, у мирского амбара, в лунном свете, сидел неподвижно седой караульщик...

— За народом беги, тонут! — сказал Завалишин, тыча пальцем в сторону, откуда пришел, и, когда караульщик, поняв наконец, затормозился, он двинулся дальше, к белой колокольне, за которой, между двух лип, стоял Оленькин дом.

Оленька сидела на покрытом кошмою сундуке, обхватив худыми руками голову. Синее полотняное платье на ней измялось; на левой ноге спущен черный чулок, на кончике висела туфля.

Свеча на ломберном столе, между двух запертых на ставни окон, отражалась в пыльном зеркале; на его поверхности проведено много запутанных линий: должно быть, смотрелась в него, думая о другом, и водила пальцем. Комната была низкая, штукатуренная, мебель в беспорядке. У глухой стены стояла двухспальная помятая кровать.

Закрыв глаза, Оленька устало покачивалась, боясь взглянуть даже на эту неубранную постель. Недавно кончился припадок — невыносимый кошмар, изнуравший ее вот уже год. Оленька отдыхала; в больном ее мозгу не было мыслей. Согнутое после борьбы, измученное тело покачивалось, как маятник, один в тишине тикавший, взад и вперед скользя между цветков на обоях. Звук часов был единственным звуком в этой комнате: молчал даже сверчок — запечный житель, добрый собеседник в долгие вечера. На огонь налетела муха, — наконец и она, опалив крылья, покружилась и затихла.

Один раз только Оленька остановилась и так вздрогнула, что слетела туфля и руки, охватившие голову, упали на колени. Но это уже вышло неволью, как запоздавшая молния после грозы...

На памяти ее, на всем сознании, лежал сейчас тяжелый туман, и только едва живая, как искра в этой темноте, надежда на ответное письмо, на то, что, может быть, еще увидит она того, кого любила всегда, и заставляла ее покачиваться, цепляясь за невыносимую больше жизнь.

В сенях резко затрепала ступени, кто-то вошел и тяжело упал на доски. Медленно похолодела Оленька, — словно игла, прешед через нее страх, она широко раскрыла огромные глаза, оттененные пепельными кругами, сорвалась с сундука, схватила свечу и выбежала в сени, придерживавшись за косяк.

В дощатых сенях ничком лежал Давид Давидыч, подвернув под себя руки. Пиджак его обледел и торчал коробом; пятки, в порванных чулках, были окровавлены.

Оленька положила руку на горло и, держа в другой танцующую свечу, закричала. Из кухонной двери, оправляя платок, боком выскочила стряпуха. Оленька присела над телом и обеими руками схватила голову Давида Давидыча, стараясь приподнять и взглянуть ему в глаза.

— Пришел, вспомнил, — сказала Оленька, оборотясь, — дышит, дышит...

— Батюшки, к соседям побегу, одним разve втащить, — завопила кухарка и кинулась на улицу.

Давид Давидыч начал стонать и силился подняться сам. Оленька помогала ему, ухватясь за плечи. Наконец он выговорил:

— Оленька!

— Что, милый? Что, родной мой? Не слажу я. Сейчас прилут...

— Оленька, слава богу... — и, не окончив, он опять лег, по-дышал и, вдруг приподнявшись, сел к стене.

Глаза его были мутные, обледенелые волосы торчали во все стороны. Он долго глядел на свечу, потом уронил голову. Оленька негромко ахнула.

Вошли, топая, соседи-мужики, три брата, поклонились, сказали друг другу деловито:

— За голову, за ноги берись, да не стукни, — легко подняли Завалишина, внесли в избу и посадили на сундук. — Одежду снять с него надо и водки влить ему две чайных чашки с солью, — сказали мужики.

Кухарка кинулась, принесла водку и чашку, и Давид Давидыч, давясь, выпил и громко, словно отлегло уже самое тяжелое, принялся охать, не открывая глаз.

— Вино действие сказывает! — сказали мужики и только вышли, как опять вбежала кухарка, крича:

— Где водка-то? Батюшки, Андрея нашего ведут...

— Вот и слава богу, — проговорил Давид Давидыч и осел..

Оленька одной рукой охватила его, другой принялась растегивать и снимать мокрую одежду, все время заглядывая в лицо и жалобно улыбаясь его стонам...

## VI

Закрытый одеялом, Давид Давидыч лежал в постели навзничь. Глаза его теперь блестели; лицо было красное и сухое. Оленька быстро и настойчиво ходила по половику. Завалишин говорил:

— Помните, как я поклялся, вот и пришел. Мне хорошо! Только, Оленька, отчего холодно?.. Точно бы лед под боком лежит. Такое было беспокойство эти дни; думаю, что же это должно случиться? Неужто — смерть? Не хотелось умирать!.. Уж никак не мог догадаться, что же это нужно сделать такое. Страшно было одну минуту, когда уходил под воду... Очень было страшно, а потом хорошо. Какой свет я видел, Оленька!.. Начался он в таких пространствах. И, знаешь, мне показалось, что свет этот был все же во мне.

Оленька подошла, постояла близко и опять заходила.

— Я не понял твоего письма, — продолжал он, — от кого тебя спасти? Кто тебя мучит? Ведь муж твой умер.

— Молчи, молчи, — торопливо перебила Оленька и быстро присела рядом к нему на кровать.

Он закрыл глаза. Она же глядела не в лицо ему, а мимо, на тот край постели, словно у стены кто-то был. Глядела она долго; в потемневших ее глазах появился ужас. Она соскользнула на пол, опять заходила, потом села на сундук, как давеча.

— Я знаю, это воображение или еще что-нибудь, — тихо и с отчаянием выговорила она, — но ведь, все равно, это ужасно: он приходит каждую ночь! Теперь даже и днем приходит. Ложится, требует, грозит. И темнота здесь, — Оленька тронула темя, — мыслей уж нет, одни обрывки. И воли нет. Боюсь, боюсь. А теперь и сил больше нет. — Она помолчала, слезла с сундука и зашептала: — Ведь не сам он умер, я его извела. Ни-

когда его женой не была. За то же он и бил меня по ночам. На колени станет, ноги целует, до утра молит. Потом сдернет на пол... Все тебя поминал. До того дошел, — смерти стал искать и грозить этим. Я говорю: «Что же, вышла за тебя со зла и не люблю тебя, как женой твоей буду? Умирай, если терпеть не можешь». А когда нашли его в реке, принесли мертвого, понял, что он от меня не отстанет. Каждый день, каждый день еще хуже, чем живой, приходит и мучит. И сейчас он здесь...

Щеки у Давида Давидыча разгорелись. Подняв под шубой колени, он пересилил себя, шумно вздохнул, улыбнулся и, высвободив руку, взял Оленькину ладонь.

— Не думай, — сказал он, — поди ляг.

Оленька стремительно охватила его голову, прижалась и жалобно воскликнула:

— Ах, он все еще здесь, посмотри.

Давид Давидыч повернул голову. Действительно, сбоку от него, у стены, на постели лежал неприятный незнакомец; толстый, темный, с длинным скверным лицом. Тело его, в сером и узком платье, было вытянуто, голова круто повернута, опухшие веки сощурены, прикрывая бог знает какие глаза...

Давид Давидыч криво усмехнулся и сказал:

— Вот он какой! Ну, что же, за нами пришел? Уводи... А я другое видел нынче. Я видел, как шел свет и поднимался обратно. Я видел Мировое Дыхание. Я не хочу идти с тобой. Выгнать бы тебя. Вытодкать. Ах, какой мерзкий!

Давид Давидыч хотел поднять руку и не мог. Тогда он закрыл глаза. Волна жара докатилась до его головы, застала глаза и распалила... Он заговорил чаще и непонятнее. А из-за незнакомца, из стены, поплыли животные, прошли над одеялом, опустились на пол, заползли под кровать, приподняли ее и заколыхали.

«Отчего так мучат?» — пронеслось в сознании у Давида Давидыча... И он, вцепясь в простыню, стал поспешно думать — отчего. Но из-под низу животные щетинами прободали тюфяк и принялись колоть спину... «А в чем же, перед кем я виноват?» — опять огнем пронеслось в сознании... Он собрал со всею силой память и совсем уже понял, что незнакомец начал скатывать с ног его одеяло, потом навалился и стал совать одеялом в рот.

Задышавшись, рванулся Давид Давидыч с постели и опрокинул свечку. И, в темноте, разводя руками, громко закричал Оленьку.

Нежные ее ладони сейчас же обхватили его, спрятали лицо в платье, на груди, и далекий родной голос проговорил:

— Не бойся, голубчик мой, я здесь, я не уйду.

— Оленька, Оленька, — говорил Давид Давидыч, — прости меня... Я понял, я ужасно виноват... Я люблю тебя, я стараюсь заслужить тебя... Нам нельзя расставаться, нельзя умирать. Пусть зовут и мучат, а мы сидим вот так, обнимемся, родная моя. Одна на всем свете. Какая наша любовь! Какой свет!

## VII

Овражки прошли, и последний холод ночных заморозков истаял под возносящимся солнцем. Давно уже разъехались по своим местам проезжие; помещики и хлебопашцы налаживали сев; попржнему скакали с колокольчиками власти; успели уже подсохнуть дороги, и трава вылезла на вершок, выпустив под самое солнце невидимых жаворонков, — а только в апреле Давид Давидыч в первый раз пришел в сознание и спросил — который час.

За все время Оленька не отходила от его постели, слушала бред и молилась, чтобы милый друг не умер, с каждым днем все глубже и нежнее любила она Давида Давидыча. Любовь ее заняла все прежние чувства, и между любовью уже не стоял никто.

Один раз только, перед вечером, когда Давид Давидыч спал, положив исхудалые руки на грудь, Оленька стояла у окна; в синем небе, невысоко, плыло единственное и странное облако. Через улицу переходил Андрей, таща на веревке теленка; черноглазая стриженная девочка, бегая с куском черного хлеба в руке, загоняла овец — черную, белую и барана; овцы не боялись и не шли, а баран, опустив рога, глядел на хлеб; наискосок, на завалинке, дремал сивый старик; из двух изб, высунувшись в окошки, бранились две бабы — и никто не смотрел на странное облако. Оно же несло прямо на окно. Оленька провела по глазам, но в это время пошeweлился Давид Давидыч и застонал, и она, вздрогнув, словно разорвала паутину, подбежала к нему, стала на колени и, всей жизнью своей, каждой капелькой крови любя и нежно жалея, спросила: не болит ли что, легче ли?.. Давид Давидыч открыл спокойно глаза, улыбнулся долгой улыбкой и спросил:

— Душенька, который час?..

И когда он опять задремал, теперь уже, наверно, выздоравливающий, она вернулась снова к окну. Облако поднялось выше над домом, — лиловое внизу, оно было белым и розоватым, плотными клубами; словно плыл воздушный остров, с церквями, куполами и снежными деревьями.

«Это наша земля, — подумала Оленька. — Как хорошо, ни воспоминаний, ни злобы».

## VIII

Давид Давидыч сидел под липой на скамейке, одетый в парусинный халат, с накинутым еще на плечи пуховым платком. Под окнами, на кустах и по всей старой липе, рассыпались бледные листья, сквозь них небо казалось синее... За плетнем, на улице, было тихо, народ ушел в поле. У калитки, ведущей на двор, прислонясь, стоял приказчик...

— Хорошо, хорошо, делай, как думаешь, а я, видишь, слаб еще, через неделю, может быть, присяду, посмотрю. Ступай, голубчик, — говорил ему Давид Давидыч.

Приказчик вздохнул почтительно и ушел. И уже за плет-

тем весело простучали его каблуки. Давиду Давидычу было все равно — посеять ли пшеницу или овес, или ничего не посеять. Он следил только, когда за ветвями, со стороны огорода, опять покажется белое платье Оленьки.

А прошлого он и не вспоминал, да и трудно было это сделать, потому что весенняя сила, убирающая зеленью землю, отгородила в нем прошлое от нынешнего дня туманной стеной... И он чувствовал только, что когда-то был за этой смутной завесой, но туда упал луч, коснулся его сердца и вывел его в нынешний день.

Платье Оленьки показалось сквозь кусты. Давид Давидыч покашлял. Можно было бы и позвать, но ему казалось приятнее, чтобы она пришла с серьезным лицом, спрашивая глазами, отчего он кашляет...

Оленька услышала и, нагнувшись под ветками, подошла и села на скамью. Худое лицо ее подернулось золотом солнца; синие глаза немного снизу вверх глядели на Давида Давидыча, на белом платье лежала темная коса, и руки испачканы землей...

— Что ты делаала? — спросил он.

Губы ее, тоже в золотом пушке, задрожали, она улыбнулась и не ответила, еще глубже заглянув в глаза. Давид Давидыч не успел ее рассмотреть хорошенько, так быстро она подошла, а хотелось поглядеть еще, как она ходит, поднимает руки, обертывая голову. Он попросил:

— Кажется, платок вот куда-то подевал... принеси...

Оленька легко встала и, легко ступая по дорожке, пошла к дому, белос платье ее разлеталось внизу; в дверях повернула голову (он понял — так легко ей ходить и обертываться, а вот сейчас отмахнется от мухи, — и отмахнулась).

«Милая», — подумал он и сказал:

— Нет, вот он, платок; Оленька, посиди со мной, что ты все в огороде копаешься!..

— Репу пересаживаем, — сказала она; села рядом, вздохнула и, немного сгорбившись, положила руку свою в его ладонь.

Давид Давидыч взял ее руку и поцеловал и, не глядя на Оленьку, стал думать, как бы лучше и понятнее выразить ей давно уже придуманную мысль. Она была такова:

«Мы вышли точно из огня и сейчас, как первые люди — влюбленные, чистые и мудрые. Но нам надо жить и очень долго. Как же сделать так, чтобы мы могли жить и остались такими, как сейчас?» Сказать все это было мудро, и, конечно, Оленька спросила бы: «А зачем нам становиться дружными?» На это бы ответить он не смог. Кроме того, всякий раз умно придуманная фраза казалась ему не такой уже умной, когда садилась Оленька около него на скамью.

«Мы должны стать мужем и женой, — подумал он, — вот это ей и скажу», и, поглядев на смирную Оленьку, он обнял ее за плечо, в другой руке расправил испачканные землей ее пальцы и сказал:

— Оленька, я тебя очень люблю.

Она кивнула головой, подтвердила и сидела все так же тихо.

— Подумай, — продолжал он, — все силы уйдут на то, чтобы думать все об одном, а если мужем и женой — какая жизнь прекрасная, — любить тебя и все любить, потом, кажется, весь мир любить...

Оленька отстранила от лица прядь волос, внимательные, серьезные глаза ее так понимали, что Давид Давидыч замолчал. Она положила его руку себе на колени, и румянец, едва заметный, все сильнее стал заливать ее лицо. Она раскрыла рот, вдохнула громко и сказала:

— О чем ты говоришь? Люби меня, как хочешь. Как нужно... А я уж не только люблю, живу этим...

В сумерках они вошли в дом и, не зажигая огня, продолжали говорить о том, что лучше любви ничего нет, о том, что можно любить один только раз, о том, что они нравятся друг другу ужасно, и о том, что небо раскрывается только перед смертным часом, хотя об этом они говорили меньше всего...

Наутро Оленька дрожащей рукой ударила в раму, окно раскрылось, и комната наполнилась запахом земли и трав, криками воробьев, голосами и дальним топотом шагов... Сквозь расцветающие кусты синело небо, чистое, лазоревое, теплое. Оленька подумала: «Ведь это небо, оно мое, оно прозрачно, оно покрыло всю землю», — и, оборотясь, она сказала нежно:

— Полно тебе спать.

Давид Давидыч раскрыл глаза и, глядя на тоненький силуэт молодой женщины в окне, подумал: «Оленька, небо, весна, радость — вот о чем всегда тосковал».

## АРХИП

### I



ад белой скатертью, растопырив лохматые ноги, висит паук, у абажура легко кружится зеленокрылая мошкара, карамора обжег длинную лапу и волочит ее по столу... Шелестит плющ у балкона и возится сонная птица в кустах.

Александра Аполлоновна Чембулатова разламывает бисвит, качая черной наколкой, которая на седых ее волосах похожа на летучую мышь.

— Сад охраняет Володя, — говорит Александра Аполлоновна и ласково взглядывает на собеседника своего, молодого помещика и соседа, Собакина, — я подарила ему пистолет.

Собакин улыбается, раздвигая розовые и полные щеки.

— Я вас уверяю, что нет никакого Оськи-конокрада. Увели у попа тройку, и по уезду полетели слухи — пришел, мол, Оська, а Оська просто собирательное имя, — народная фантазия одарила его таинственной силой и удальством.

Старушка покачала головой.

— Нет, все это верно; украл лошадей он вечером, а наутро видели его уже за триста верст...

— Разве видели?..

— В том-то и дело; говорят, он необыкновенно низкого роста, лыс, силен и с большой, до пояса, черной бородой...

Собакин чуть-чуть улыбнулся и пожал плечами.

— Появлялся он в уезде два раза, — продолжала старушка, — и наводил такой страх, что помещики приковывали лошадей, а конюхам давали дружка заряженные... И все-таки умудрялся.

— Если его знают в лицо, почему не поймают?

— Мужики никогда не выдадут, боятся, что палить будет, как сжиг он вашу Хомяковку, года за три до вашего сюда приезда.

— Право, Александра Аполлоновна, я начинаю бояться.

— Вам-то особенно надо позаботиться; имея такого жеребца, я бы ночи не спала, все караулила...

— Да, Волшебник — чудо что за лошадь; увидите, на Рождестве поведу его на бега.

— Да, нехорошо, нехорошо; тем более, что ваш Архип...



— Нет, Архип мрачный, но очень надежный; мужик косматый, глаза волчьи, но верный...

— Ох... ох... — сказала старушка.

Из сада на балкон вышел гимназист, положил пистолет на перила и застонал:

— Бабушка, чаю.

— Осторожнее с пистолетом, смотри, куда кладешь, — завоновалась Александра Аполлоновна.

— Он, бабушка, не заряжен.

— Все равно. — И бабушка, шурина широким платьем, поднялась и загородила пистолет салфеткой.

— Что, Володя, как твои разбойники? — спросил Собакин.

— Ничего, — набивая рот ватрушками, говорит Володя.

— Убил кого-нибудь?

— На плотине за ветлами кто-то, кажется, стоит, только на платину ходить страшно.

— У пруда ночью сыро, — сказала Александра Аполлоновна.

Гимназист лукаво прищурился.

— А у меня, бабушка, порох есть...

— Откуда ты взял! Отдай сию минуту... Володя, не смей убегать. Пожалуйста, Собакин, догоните его, отнимите у него порох.

Улыбаясь, Собакин сошел в сад и скоро пробегал уже мимо балкона, размахивая руками, потеряв всю солидность, а Володя, приседая, визжал, не давался в руки.

«Дети, дети», — подумала Александра Аполлоновна и стала считать, как в столовой часы били одиннадцать.

— Володя, где ты? — позвала она. — Иди спать, — одиннадцать часов...

В это время мимо изгороди проскакал верховой, встал у крыльца, и чей-то чужой голос позвал:

— Барин Собакин здесь?

— Кто спрашивает? — по-хозяйски сухо ответила Александра Аполлоновна.

— Работник их, Михайло.

На балкон, обняв за плечи гимназиста, вошел, отпыхиваясь, Собакин.

— Кто меня спрашивает? Это ты, Михайло? Что случилось?

— Несчастье у нас, барин, — сказал из-за ластяги невидимый работник, — увели Волшебника.

Когда Собакин, во весь опор скакавший по темному полю, встал, пыльный, на вспененном коне во двор, у растворенной конюшни, размахивая фонарем, галдели мужики.

— Что, Волшебника увели? — крикнул Собакин.

— Веда-то какая, не доглядели...

Собакин побежал в конюшню. Болт у стойла был сорван, и под наружной стеной у пола сквозила дыра, в которую, должно быть, и пролезли воры...

— А где Архип? — спросил Собакин.

— Будили мы его, спит, пьяный.

На вороху сена, закинув бледное в черной шапке волос лицо, ложал Архип.

— Жив, ничего, не тронули, пьяный очень, — успокаивали работники.

— Облейте его водой, вот мерзавец.

Принесли конское ведро, подняли Архипу голову и полили.

— Лейте, лейте все ведро.

Когда голова, рубаха и порты намокли, Архип приподнялся, сел и повел налитыми кровью глазами.

— А? — спросил он.

— Архип, где Волшебник?

Сутулый Архип поднялся и долго осматривал болт и обрывок недоуздки, в дыру даже заглянул и так же спокойно ответил:

— Увели, барин. Не досмотрел...

— Легли это мы спать, — шумели работники, — а Михайло и говорит: пойдуча я посмотрю лошадей, а потом прибежал и кричит: увели, увели...

— Что же вы не догнали, черти окаянные!.. — насккивал на них Собакин.

Работники всхливно посмеялись.

— Где ж догнать, разве мыслимо? Он это.

— Кто он?

— Да Оська.

— Ерунда, никакого Оськи нет...

— Очень есть, его это работа, вы, барин, не сомневайтесь.

— Ерунда, — кричал Собакин, — сию минуту на лошадей!.. Догнать!..

Работники помялись, но с места не тронулся ни единый.

— Ну?

— Нет, нельзя нам.

— Где его догнать...

— Он теперь за двести верст махает.

Собакин побежал к дому и оттуда крикнул:

— Седдайте сию минуту верхового! Да зайди ко мне хоть ты, Дмитрий, за письмом к уряднику, живо!

... Утром, на вопросы урядника, Архип отвечал, что был вчера выпивши, ничего не слышал и помнит только, как пал ему кто-то на грудь и скрутил руки, а были то двое или один и какие из себя — не помнит.

Так ничего и не добились от ртутного, косолапного Архипа и отвели его в холодную, а урядник, выпив поднесенную на тарелочке рюмку водки и крепко на прощанье пожав Собакину руку, сказал:

— Архип в сем деле причиной, с него и взыщем, — и уехал.

Затих под горой колокольчик, Собакин вышел на балкон, посвистал и, спустившись в сад, зашагал по липовой аллее.

«Следствие, — думал Собакин, — суд будет, а Волшебника не видать мне, как ушей своих. Черти, ах черти, какую лошадь увели».

Собакину с досады хотелось сейчас же куда-нибудь поехать, вообще суетиться.

— Ну нет, я разыщу лошадь, под землей достану, — бормотал он и прислушался.

Близко, словно вынырнув из-за лачаии, зазвякали сборные бубенцы, промелькнула за кустами и остановилась у дома коляска Чембулатовой.

— Как я вам благодарен, Александра Аполлоновна, — говорил Собакин, идя навстречу старушке, — поверите ли, увели Волшебника и следа не оставили...

— Я предупреждала вас, не верили, а вышло по-моему, — торжествующе говорила старушка, — всему причиной ваш Архип, вот у моего брата так было...

Оба они, заложив руки, заходили по аллее. Александра Аполлоновна объясняла:

— Сейчас в Уральске конская ярмарка. Поезжайте туда как можно скорее, нигде как там ваш Волшебник...

— В Уральск?..

— Поедете верхом — это и скорее и удобнее для дела: братец мой тоже верхом ездил, у него увели Вадима от нашей Звезды и воейковского Чорта.

— Ну и что же?

— Нашел, конечно, нашел мужика, который увел Вадима, — его арестовали, а жеребца отдали братцу.

— Я еду, Александра Аполлоновна, с вашего благословения...

— Помогли вам бог — и старушка поцеловала в лоб приложившегося к ее руке Собакина...

Долго<sup>4</sup> еще ходили они по липсовой аллее, Александра Аполлоновна в шелковом колоколом платье, Собакин в куртке пиджачке из чесучи, и старушка давала подробнейшие наставления — куда ехать и как сохранить лошадь, чтоб прошла четыреста верст в четверо суток, и где остановиться...

— С казаками будьте осторожнее, — хитрые они...

## II

Теплая темная степь, светят на дорогу звезды, и дорога, чуть серая, глушит частые удары копыт, и кричит коростель в колдобине; где-то, значит, близко степной хутор...

Безлесные, безводные, как дождевики, растут хутора на гладкой, человечьими курганами усеянной степи, вековой дороге кочевников. Потянуло сыростью и дымом. Собакин привстал на стременах, вгляделся и, увидев огонек, свернул напрямик по полю. Сначала, услышав его топот, залаяла негромко, но все дружнее и звонче собаки, забил в колотушку ночной сторож, и перед Собакиным выдвинулись из темноты амбары и хлев, крытые соломой, и под самую морду лошади, сзади и с боков, запрыгали охрипшие от ярости хуторские псы.

Подождал сторож, свистнул на собак и запахнулся в глубокий чапан...

— Здравствуй, дядя,—сказал Собакин, стараясь рассмотреть в темноте его лицо. — Чей это хутор?

— Казака Ивана Ивановича Заворыкина будет...

— А до села далече?

Сторож помолчал и тихо, в сторону, ответил:

— Далече,—словно не знал, какие тут села бывают, одна степь.

— А нельзя ли переночевать у вас? Спроси хозяина, чай, не легли еще?

— Легли,—уныло ответил сторож,—давно полетали.

— Так как же?

— Спрошу, ты погоди тут. — И он ушел.

А немного спустя зажегся свет в трех окнах, и подошедший сторож взял лошадь под уздцы, промолвив:

— Просят заехать.

Собакин прошел через сени, мимо сундуков, крытых коврами, в горницу, где пахло шалфеем, полынью,—домашнее средство от блох,—и кожей.

По стенам висели седла, уздечки, нагайки, и в красном углу стоял темный большой образ.

«Неловко,—подумал Собакин,—затесался ночью».

Из боковушки, глядя бороду, вышел высокий и костлявый старик—Заворыкин. Синий чокмень его перетянут был узким ремнем, ворот ситцевой рубахи расстегнут.

Собакин назвал себя.

— Милости просим,—густым басом приветствовал Заворыкин, — гостю всегда рады.

В свете лампы лицо его, обтянутое желтой кожей, узкий и прямой нос и темные глаза представлялись такими, какие писали на раскольничьих образах.

— Прошу садиться, куда путь держите? В Уральск.. Так...—пробасил Заворыкин, кивнул и провел ладонью вниз и вверх по лицу. — На ярмарку много коней нагнали сегодня, но в пример прочим годам.

Босая девка внесла самовар, закуску и водку.

Стесняясь и все еще не зная, как держаться, выпил Собакин водки, должно быть, с остротой, сразу захмелел и рассказал, зачем едет в Уральск— всю историю до конца.

— Из-под земли, а достану Волшебника,—разгорячась, окончил он.

Заворыкин слушал, не поднимая глаз, нахмурясь, а когда Собакин окончил, постучал пальцами и сказал:

— Я так полагаю,—ехать вам туда незачем,

— Почему?

— Убьют.

— То есть как убьют?

— Мой совет — вернуться домой, жеребца наживете еще, а жизни из-за скотины лишаться не стоит.

— Поймите, мне не жеребец дорог, а добиться своего.

— Понимаю. Молоды вы, господин Собакин, хороший бэрин, а разума в вас настоящего нет. Прислали вы ко мне, меня не знаете и рассказываете всю эту историю, а жеребец-то ваш, может быть, у меня. А?—Для примера я говорю. Ну,

вот после этого я себя позорить не дам. У нас в степи законы не писаны, колодцы глубокие, — бросил туда человека, землицей засыпал, и пропал человек. Да вы не пугайтесь, для примера говорю, бывали такие случаи, бывали. У нас в степи казак на сорока тысячах десятинах — царь, не только в чем другом, в жизни людской волен.

У Собакина от духоты, от речей Заворыкина кружилась голова, и казалось — похож старик-хозяин на древнее черное лицо образа, что глядело строго и упорно из красного угла, — те же рыжеватые усы над тонкой губой, и вытянутые щеки, и осуждающие глаза.

Казалось, две пары этих глаз глядят неотступно, и те, облеченные в потемневшие ризы, страшнее...

«Бог это их, — подумал Собакин, — степной».

— Чудно вам слушать, господин Собакин, — у вас в городе по-иному: тело вы бержете, а душу ввергаете в мерзости. А здесь душа вольна у каждого, как птица. Душа немудрая, нечем запятнать ее, степь — чистая... В степи бог ходит. Здесь нас за грехи и судить будет. Много грехов на нас, а многое и простится.

Собакин поднялся.

— Душно у вас...

И было ему страшно, хотелось уйти от стариковских глаз...

— Марья! — крикнул босую девку Заворыкин, — принеси барину студеной водицы да отведи в сени на кровать.

Плыли, качались сундуки, крытые коврами, в сенях, и все еще гудел, казалось, голос: «Бог здесь ходит, бог...»

«Страшный у них бог, — думал Собакин, лежа на сундуке, — травяной...»

Наутро он, чтобы не обидеть хозяина, поехал будто бы домой, но, когда в сизой дали утонули соломенные кровли хутора и шесты с бараньими рогами, пошел к полудню широким проездом, радостный от солнца и душистого ветра, и веселой игры горячего иноходца.

На крепком пырейном выгоне, в наскоро связанных калдах, стоят полудикие табуны злых сибирских лошадей.

Положив большие морды на спины друг другу, обмахиваются кони хвостами и жмурятся на белое солнце.

Кругом желтая степь, ни холма на ней, ни дерева, а позади гудит ярмарка и дымят железные трубы пекарен.

Вот не вытерпел рыжий конек, махнул через изгородь и частым галопом, раскинув гриву, поскакал в степь, заржав навстречу ветру.

Затараторили конюхи-башкиры, в линиях халатах, в ушастых шапках, пали на верховых, поскакали в угон. Один впереди всех размахивает арканом. Двое скачут наперерез...

Куда ни взглянет рыжий конек, мчатся на него ушастые башкиры; метнулся направо, налево, и тут захлеснул ему горло аркан, закрутили хвост, стегают нагайкой, заворачивают башкиры к табуну... Захрапел, взвился и упал рыжий конек; тогда ослабили на шее его аркан, отвели в калду.

— Что, не убежит больше? — спрашивает башкирина Собакин.

Башкирин осклабил белые на морщинистом лице зубы и забормотал:

— Не, не, умный стал, купи, господин...

— Нет, такого мне не надо, вот если бы вороной полукровный был, вершков четырех...

Подождали мужики, все в новых рубахах. Облокачась на жердь каалды, слушали, и веяло от их выцветших глаз покоем тела и отдыха.

Подслеповатый мужичок протиснулся туда же, в рваном полушубке, заморгал собачьими глазами:

— Покупасте, барин, лошадку? Извольте посмотреть, — и заторопился, побежал было и вновь вернулся...

— Какой у тебя?

— Сивонькой.

— Нет, не надо, я вороного ищу.

— Вороного продать не умеешь, — заговорил вдруг круглолицый толстый парень, — вот я продам жеребца. Или я продал. А? — и он уставился, как баран, даже рот разинул.

Мужики засмеялись.

Парень громко икнул и, подняв мозолистую ладонь, запел:

Когда я, мальчик, был свободный...

— Скрутили малого, — смеялись мужики.

— Пути нет.

Собакин улыбался, парень был пьян, лез грудью и под носом махал желтым ногтем, говоря:

— Шут его знает, хотел тебе продать, ан продал, жеребца, вороного, в чулках...

— Здорово же ты выпил, — сказал Собакин, — с чего гуляешь?

Парень замскал, и белые глаза его наливались и багровели... Собакин сжался.

— Гуляю... — сказал парень, придвигаясь.

Подслеповатый мужичок захопотал:

— Брось, милый, барину интересно, а ты ответь и отойди в сторонку, — и потянул парня за рукав.

— Не хватай! — заревел парень, и все жилистое тело его развернулось для удара; но сзади, поперек живота, ухватила его цепкая волосатая рука, увлекла из мужичьего круга.

— Иди, иди, разбушевался, — говорил лысый мужик, смешно маленького роста, на солнце лоспилась черная борода его и бежали глаза, как две мыши.

— Боюсь, пусти! — кричал парень и вырывался, взмахивая руками, но все дальше к возам увлекал его товарищ...

— Кто это? — быстро спросил Собакин. — Вон тот, лысый?

Мужики переглянулись, один-двое отошли, а старик, в расстегнутой на черной шее посконной рубахе, сказал:

— Кто, — Оська, — и прищурился.

Осипа взяли очень быстро. Собакин с понатыми нагнал его у чайной и окликнул. Осип обернулся и словно паук завро-

чался в костяных, навалившихся на него руках понятых, но веревкой скрутили его плечи, повели в холодную.

А позади, набегая, гудела толпа. Многим, должно быть, досадила Осип и боялись его сильно, а теперь улюлюкали вслед, ругали, или вывернется кто, присядет, да в глаза: «Что, вор, взял?» — и ударит.

Понятые насилу сдерживали народ, да бравый урядник, в рыжих подусниках, вырос как из-под земли и крикнул: «Разойдись!»

До вечера гудела и волновалась ярмарка. Осип сел в темную избу, за железную решетку, и на допросе отсекся:

— Осип я, это верно, а лошадей никаких не крад, понапрасну только меня томите.

Собакин решил сам выпытать, где лошадь; напугать, если можно, посулить заступиться, и, поздно вечером, один, вошел в камеру, где сидел Осип.

Остановясь посредине избы и в темноте различая только дыхание, сказал Собакин кротко и, как ему показалось, вкрадчиво:

— Осип, все знают, что ты угонял лошадей, грехов за тобой много, сознайся лучше, я за тебя похлопочу.

Осип молчал.

— Ты пойми, не дорога мне лошадь, а дорого, что выходил ее на руках, как родная она мне.

— Это верно, — сказал Осип спокойно.

— Ну, видишь, ты сам понимаешь, зачем же хочешь доставить мне еще огорчение...

— Огорчать зачем?

— А ты огорчаешь. Я за четыреста верст верхом приехал, измучился и вдруг из-за твоего упрямства лишаюсь лошади. Осип, а Осип.

И, тронутый словами, двинулся Собакин поближе.

— Не подходи, барин, — глухо сказал Осип.

Собакин остановился и от щекотного холода вздрогнул.

— Осип? — спросил он тихо, после молчания, повторил: — Осип, где же ты?

Что-то больно толкнуло Собакина в колено, распахнулась дверь, и Осип, нагнув, как бык, голову, побежал по избе, оттолкнул сонного десятского, упавшего, как мешок, и выскочил на волю.

Зашмыгали торопливые голоса: «Держи, держи!» В темноте засуетились понятые.

А вдали, как огонь, вспыхивали крики: «Держи, держи!»

Застегивая сюртук, прибежал урядник, крикнул:

— Убежал... Кто?

— Осип-конокрад, — сказал Собакин, — я сам виновен...

И скоро загудела невидимая ярмарка, низко у земли закачались железные фонари, голосила баба, лаяли собаки. Бежали, неизвестно куда и зачем, мужики, крича: «Лошадь отвязал... Да кто? Да чью? Спроси его кто... На ней и убежал... Верховых давайте, верховых!»

Над толпой, словно поднятые на руках, появились верховые и, раздвигая народ, поскакали к городу, к реке, в степь...

Собакин наскоро сам оседлал иноходца и поскакал мимо бозов на чьи-то удаляющиеся голоса и топот.

Коротко и мерно ударяли копыта его коня, гудел в ушах теплый ветер, и возникали и таяли невидимые крики... Наперерез промчался кто-то, крича: «Поймаем, не снести ему головы».

Впереди топот стал как будто тише и громче голоса...

Перепрыгивая через водомоины, похрапывая, несясь иноходец и вдруг резким прыжком стал на краю кручи, недалеко от верховых. Послышались голоса:

— Река, братцы, поворачивай назад.

— Пересдем.

— Круча, голову сломаешь.

А вдали, направо, опять возникли крики и топот.

Собакин поворотил и скоро нагнал вторых кричавших, спросив:

— Что, поймали?

Мужики в ответ захохотали.

— Теленка, милый барин, загнали, дышит сердешный, испугался, уши мокрые.

— Ну, вы и охотники.

— Ушел, больно уж ловкач, — отвечали мужики с уважением.

Иноходец тяжело поводил боками, и Собакин, отделившись от мужиков, сжал шагом вдоль реки.

Потянул теплый, смешанный с болотными цветами, ветер, и издалека долетел протяжный звериный крик и стих.

— Что это? — невольно крикнул Собакин, чутко слушая; крик не повторялся, и сердце сжалось тоскливо.

Собакин уже спал, утомленный всеми событиями, когда кто-то, громко постучав в спальню, сказал:

— Ваше благородие, Оську привезли.

Собакин спросонок вскочил, старался понять, что говорят...

— Оську привезли, — странным голосом повторил Десятский...

— Сейчас иду, подожди, иди, иди...

И, уже выйдя на воздух, понял Собакин, что случилось несчастье. В земской избе пахло крепким и кислым, у печи на полу, покрытое рогожей, лежало тело...

Десятский, присев у тела, жалостливо говорил:

— Побили его мужики наши, вон как дышит... Ах, грехи!

Собакин откинул рогожу. На боку, поджав к животу голые и содранные колени, лежал Осип, часто дыша, и глаза его сквозь полуоткрытые веки были точно стеклянные.

— Что с ним? — дрожа мелкой дрожью, спросил Собакин, боясь догадаться...

Белый зад Осипа был запачкан землей и кровью, оттуда на вершок торчал кусок дерева.

— Что это? — визгливо закричал Собакин.

Еще дальше откинул Осип серое лицо свое и запекшиеся губы быстро облизнул языком...



Плетью лежала сломанная рука его; другая, застыв, вцепилась в ягодицу и посинела.

Собакин, придерживаясь за стену, вышел в сени, дурнота подступала к горлу, и везде слышался этот кислый и крепкий запах, и вспоминался убитый на охоте тетерев, когда дробью ему вынесло весь живот...

Урядник, тербя жесткие усы, говорил:

— Вот как они расправляются по-турецки, неприятно... Осип-то признался, просил кучера вашего освободить, будто бы он в краже не замешан, и лошадь сказал, где находится...

— Бог с ней, с лошадей, ах, зачем я все это затеял, — сказал Собакин.

— Вы, что же, ни при чем, мужики давно случая ждали. Поверите ли, мы даже боялись Осипа... Ах, лошадка ваша в степи у казака Заворыкина.

Старик Заворыкин долго не выходил. Собакин, измученный дневным перегоном и волнениями прошлого дня, ходил, покачиваясь, по душевной горнице, и звенело у него в ушах, и тошнило его от набившейся в горло и в нос дорожной пыли.

— Расскажу попросту всю историю, конечно, старик отдаст лошадь, — бормотал Собакин.

Над столом, засиженная мухами, пованивала лампа...

«О, чорт, еще угоришь; что же старик не идет? А вдруг возьмет и рассвирепест, самодур; конечно, насчет колодцев он прихвастнул, но надо бы политичнее подойти к делу, исподволь. О, чорт, как лампа воняет...»

— Здравствуй, барин, — басом, громко и вдруг сказал Заворыкин, — стоял он в дверях и похлопывал себя по голенищу плетью. — За конем приехал?

— Нет, я не требую, совсем не требую, — засеменил Собакин, — вы уже знаете, какая история вышла смешная.

— История смешная, а не знай, кто смеяться будет, — сказал Заворыкин.

Молча, не сводя глаз, подсел, положил на плечо Собакину тяжелую свою руку и вдруг крикнул:

— Щенок!

И высоко поднял плеть.

— Не позволю, — пискнул было Собакин, запахло тошной пылью и кислым, зеленые круги пошли перед глазами, похолодело горло и лечь потянуло, прижаться по-ребячьи к прохладному полу...

Очнулся Собакин в постели, в сенях, и первое, что он увидел, — склоненный профиль Заворыкина, худой и резкий под сдвинутыми бровями... Собакин застонал и отодвинулся в глубь кровати.

А старик, наклонясь, зашептал:

— Очнулся... Нехорошее дело вышло, попутал меня бес, думал, приехал ты срамить меня, а ты, видишь, простой, как малое дитя. Ах, барин, прости меня, гордый я, разгорелось с обиды сердце, убить ведь могу тебя, и никто не узнает... А ты, — видишь, — прост.

Старик качал головой, и ласково глядели потемневшие его глаза.

Собакин протянул руку:

— Я не сержусь.

Заворыкин погладил его по волосам:

— Христос на нас смотрит да радуется. Вот как бы жить надо, а мы не так живем, нет...

Долго говорил Заворыкин, — туманно, сурово, истово...

— Ну ладно, спи, барин. Домой-то завтра попозже поедешь; ко времени и жеребца твоего из табуна пригонят. Избави бог, не возьму с тебя денег; да иноходец-то твой устал, ты моего возьми, сам не часто на нем выезжаю...

### III

Александра Аполлоновна разрезывает толстый журнал; в зале, где уже топили сегодня, пахнет кофе, и старые кресла заманивают развалистыми своими спинками на осенний покой.

Гимназист сидит на окошке, болтает ногами. Тусклый сад совсем беспомощен под долгим дождем.

— Расскажите еще про ваши приключения, — приставал он к Собакину.

— Я все рассказал, что ж еще...

— Коля, не приставай, — строго молвила бабушка, взглянув поверх очков на Собакина, который на чистом листе разбирал зерна пшеницы.

— Щуплое зерно, — сказал Собакин. — Что же вам рассказать?

— Ну, хоть про кучера, которого связали тогда, — он ужасно таинственный.

— Архип-то... — засмеялся Собакин, — таинственный.

— В самом деле, что с ним, выпустили его? — спросила Александра Аполлоновна.

— Кажется, да, — я ездил, хлопотал, мне сказали, что без суда не отпустят, а суд, кажется, был на-днях...

— Не любила я вашего Архипа, злой он, и глаз у него черный, придет и все по конюшне ходит, все чего-то высматривает, и непременно что-нибудь после случится...

— У Беячка, — помнишь, бабушка? — мокрецы на щетках сели, — подсказал гимназист...

— У Беячка мокрецы; чет, нет, не люблю я таких, и пусть бы сидел в тюрьме. Да невинный ли он? — старушка спяла очки. — Еще до вашего приезда в деревню он избил моего объездчика за то, что тот не позволил ехать в телеге по хлебу, — представляете, нарочно едет в телеге по хлебу...

— Я помню, — сказал гимназист, — объездчика привезли, вот страшно-то: голова болтается, и по лицу мухи ползают.

— Странно, — протянул Собакин. — Архип никогда не дрался, исполнительный всегда, тихий... Хотя был странный случай... Вот, помните, в прошлом году я ехал от вас вечером, когда еще отец Иван индюка изображал; не знаю почему, взяли мы не обычной дорогой, а напрямик по выгону, а там

за межевым столбом — глубокая водомоина; я говорю Архипу: ночь темна, помни кручу налсво. А он прикрикнул на лошадей. Тише, говорю, Архип, и знаю, сейчас круча, а он словно тройку не слержит...

— Ужасно,— вздрогнула Чембулатова,— ну и что же?..

— Лошади сами круто повернули. Я кричу: «Что ты делаешь?» — а он обернулся и глухо так говорит: «Бог спас, барин, беду отвел».

— Вот-вот, я говорила, завтра же велю загородить это место...

— Я думаю все-таки, что это случайность; чем ему мешали я и мои лошади? Наконец он сам мог убится.

— Такие, как Архип, безземельные, бессемеинные мужики на все способные, в них бес сидит. Служит он у вас, все ничего,— только угрюм да молчит, а потом возьмет да вас и сожжет...

— Бабушка, смотри, проясняет,— крикнул Володя и, не успев бабушка ахнуть, распахнул балконную дверь, и сырой, пахнувший землею и листьями, осенний ветер ворвался, растрепал книгу, брызнул капелью, и солнце в прорыве между туч блеснуло на каплях, на стеклах, на желтой листве...

А дверь уже закрыли, и в столовой застучали посудой.

— Бог с ними, с Архипами,— сказала, проплывая в столовую, Александра Аполлоновна, — только расстроишься, а причина всему, конечно, что нет настоящей опеки над крестьянами. Мужик обращается в первобытное состояние...

Собакину вспомнился фельетон, месяц назад читанный в случайно залетевшей петербургской левой газете, но думать об этом не хотелось,— так было уютно и тепло.

К вечеру ветер стих, и низкое солнце залило багровым светом лиловые у земли тучи и, протянув бледные, словно прощальные крылья в глубь желтой и мокрой степи, закатилось.

Но четко еще виднелись репы на темных курганах, лужи на глянцевитой дороге лиловели, тускнели.

Почмокивая, вертелись колеса, удалились в лицо свежей грязью, пачкали вожжи и руки.

Собакии, расстегнув кожан, потряхивался на сиденьи и думал:

«Так вот они — степные дали, неезженные дороги, забытые курганы. Нет конца им, и селения такие же серые, забытые, и люди в них как травы, молчаливые, живут бог знает зачем, из века в век одни и те же, как дикая рожь».

Ходит с дороги на дорогу, с кургана на курган, по пашням, по селам и поет унылые песни — тоска, сестра осеннему ветру...

Дребезжала железка на колесе, и топали, скользя под горку, копыта...

Одноколка скатилась, тряхнула на водомоине, и, поскользнувшись, лошадь упала на колени.

«Трудно некованой взобраться на гору», — подумал Собакин и ударил вожжами...

А сзади затопали частые шаги, как будто молча кто-то догонял...

Собакин обернулся: плохо видный в полумраке лошины, бежал к нему мужик, размахивая левой рукой.

«Странно!» — подумал Собакин и, еще не понимая того, что было уже ясно, сильно ударил лошадь кнутом.

Человек настигал, по траве бежать ему было легче, не так скользко...

«Чорт знает, гонка какая-то, что ему нужно?» — подумал Собакин и еще раз, приветав, хлестнул кнутом. Лошадь прыгала в хомуте, поскользнулась и, вздыбившись, вынесла одноколку на ровное место.

— Эх! — резко крикнул мужик и откинулся...

— Архип — ты?..

— Эх! — опять крикнул Архип, на бегу остановился, поднял руку и кинул блеснувший топор, и наклонился весь, ожидая... Топор тяжело ударил в переднюю доску козел, упал в ноги...

— Ты что это! — кричал Собакин и сдержал лошадь. Архип устало шел вслед... — Ты с ума сошел?..

— Теперь, что хочешь, со мной делай, — сказал Архип и смотрел на багровую полосу заката, — поседевший, весь обвеванный ветром.

— За что ты меня, Архип? Архип, я же не виноват...

— Сына моего убил.

— Какого сына?

— Осипа...

Темнела закатная полоса, суживаясь, закрыла багровое небо.

Собакин ехал шагом, Архип шел сбоку и немного сзади...

— Архип, я ничего никому не скажу, поклянись, что это более не повторится. Послушай, Архип. Осипа убили мужики, я бы никогда не пустил до этого.

Тогда Архип негромко засмеялся, словно конь дикий поржал, и белые зубы его впервые увидел Собакин.

#### IV

Прошло более года. Спаяя землю, пронесло золотые свои ризы новое лето, пожали хлеб, и на гумнах запахло свежей соломой; каждый день до заката гудела молотилка; на заре опускался иней и взлетал, увидев солнце; только в темном салу да на лугу, где падала тень от дома, серебрил он мелкий гусиный щавель.

Утром к Собакину опять приходили мужики жаловаться на Архипа.

Все лето Архип передохнуть не давал: то скотину загонит, то вывалит из телеги траву, что мужик на барском поле под сиденье себе накосил, и кушак с мужика снимет или шапку — приходи, мол, жаловаться, неси штрафные.

А испольного хлеба, пока деньги за него до полушки в контору не внесены, не даст свезти ни снопа. Такой уж Архип ретивый приказчик, откуда только злоба взялась.

Мужики бить его хотели, а он либо увертывался, либо

на бари́на валил: не моя в том воля. Мужики таили злобу, а осенью, когда на барском поле пшеница родилась сам-десять, а на мужицком не сняли и сам-трех, решили, каждый про себя, бари́на спалить.

Так уже стариками заведено.

К тому же на село пришла золотая грамота, читать ее не читали и не видели, пожалуй, но всякий знал, что в ней прописано: грамота старинная, давно по земле ходит.

А вслед за грамотой подкинули листки; их прочли и волновались глухо, как подземный ключ.

— Ну что, Архип, как мужики? — отдав на завтра распоряжения и позевывая, спрашивал Собакин.

Архип побел плечом:

— Что же, дурачье...

— Утром опять приходили на тебя жадоваться, нельзя так, Архип, ты портишь мои отношения с народом.

— С мужиком по-другому нельзя, — притесни, он тебе что хочешь сделает, а с доброго слова сядет на шею.

— Я слышал, палить собираются.

— Кто их знает.

— Вон у Чембулатовой спалили же гумно.

— То озорство, барыня в город уехала, они и озорничают.

— Ну, иди, Архип. Завтра позаботься, чтобы лошади с утра готовы были.

— А вы разве куда едете?

— В город.

Архип ушел, а Собакин лег и перед сном раскрыл каталог садовых цветов и овощей; но скоро цветы стали походить на дам и все на одну и ту же, со вздернутым носиком; кочан капусты, отряхиваясь, надел очки и стал старушкой Чембулатовой.

Собакин улыбался в полусне, думая, как ему хорошо, что он, вот такой здоровый и молодой, скоро опять увидит лукавые глаза, вздернутый носик, русые волосы...

Разбудил Собакина громкий шопот:

— Барин, барин, вставайте.

Собакин вскинул на пол голые ноги и, не понимая, глядел на стоящего перед ним со свечой возбужденного Архипа.

— Ты что?

— Мужики идут.

— Какие мужики, куда?

— Сюда, к вам. Как я побежал, они уже на плотине шумели...

Собакин прислушался и беспомощно взглянул на крепкого, угрюмого Архипа.

— Архип, что же делать?

— Двери, барин, я запер, а вы достаньте-ка ружья, попугать придется.

— А окна, ставней же нет.

Трясущимися пальцами, спеша, всовывал Собакин патроны в охотничьи ружья, сдернув их со стены над кроватью.

— Я бекасинником заряжаю, Архип, еще убьешь кого.

- Заряжайте картечью, не будет повадно...
- Господи, какой ужас!

В темноте стал явственнее гул голосов и крики, слышны были даже отдельные возгласы, и вдруг все стихло и стало тягостно ожидать...

- Что они?.. — прошептал Собакин.

Со звоном разбилось стекло, и камень, упав на письменный стол, опрокинул вазу с ковylем, и в разбитое звено влетели крики:

- Бей окна, пусть выходит.
- Эй, барин, выходи, говорить хотим.
- Архипа нам давай...

Архип, ловкий и гибкий, отпрыгнул к стене и с глаз отбросил густые волосы, повсалаительно сказал:

- Свет, барин, туши.

Собакин дунул на свечу, и стало невыносимо страшно, и яростнее закричали мужики:

- Выходи!..

Несколько стекол со звоном вылетели, и Архип дико вскрикнул...

Прижимаясь к пахнувшей потом его спине, шептал Собакин:

- Что же это будет?.. Боже мой.

— Не выйдешь, сами достанем, — кричали мужики, и несколько голов в шапках появилось в окне.

- Лезь, браацы, нечего глядеть...

Архип высрелил... Сразу все стихло... И часто и пронзительно застонали под окном.

Мужики отступили, совсещались, заспорили все громче...

- Неси, сена неси, соломы, — закричали голоса.

- Подпалим.

- Выкурим голубчика.

- Лови!.. Лови его!.. — разгорелись крики...

Визг, топот, глухие удары.

— Работников наших бьют, — прошептал Архип. — Теперь нам не иначе, как в сад бежать, палить сейчас будут...

- Балконная дверь замазана наглухо.

Архип помолчал, потом приложился и выстрелил. Осветилась стена, поваленное кресло и Собакин без штанов, в ночной рубашке...

Архип, не целясь, выстрелил еще, и едкий дым наполнил комнату. Собакин тоже выстрелил, сильно отдало в плечо и щеку.

Вдруг под окнами осветилось красное пламя и бойко затрещало.

Стало яснеть, мужики с радостными криками отбежали, камень ударил Собакина в лицо... Пошла кровь, и Собакин стиснул зубы, застонал. Архип, пригнув его к полу, пополз в коридор. Сквозь распахнутые двери изо всех комнат лился алый свет...

— Вот что, барин, — сказал Архип, — давно я хотел тебя поблагодарить... — И, толкнув Собакина, он сел ему на грудь и засмеялся.

- Архип, что ты, Архип... — шептал Собакин, стараясь

высвободиться, разорвал на Архипо рубашку, царапнул по телу, и Архип словно опьянел и весь налился злобой.

Надавив коленом горло, вынул он складной с костяной рукояткой нож, зубами открыл его и, глядя прямо в белые, обезумевшие глаза Собакина, занес и опустил.

Дом пылал. Молча стояли озаренные светом его мужики, серьезно глядели, как дикий огонь пожирал сухие стены, дымя, вылизывал из-под крыши... Носились розовые голуби...

Кто-то крикнул:

— Гляди-ка, у конюшни Архип...

Поспешно выводил Архип за повод Волшебника и, когда, крича, подбежали мужики, кинулся животом на конскую спину и погнался, прильнув к холке, залитый алым, в степь...

Только его и видели...

---

## ХРОМОЙ БАРИН

О престола ледяных громад,  
Родных влечет изгнанный голышый,  
Спрядает вольный водопад  
В тесный мрак и плещ юдолюбый.  
А облако, назад — горе —  
Путеводимое любовью,  
Как апиец, жертвенною кровью  
На снежном рдеет алтаре.

*(Вяч. Иванов, „Кормчие звезды“)*

## ЛУННЫЙ СВЕТ

### I



полуночи луна, взойдя над Колыванью, осветила с левой стороны нероенные стекла изб, направо погнала густые тени по притоптанному гусяному щавелю деревенской улицы и задвинулась заблудившимся в ночном небе облаком, — в это время вдоль села мчалась во весь дух с подвязанным колокольчиком тройка, впряженная в откидную коляску.

Еще не пели петухи, а собаки уже перестали брехать, и только в избе с краю села сквозь щели ставней желтел свет.

У избы этой над двухскатной покрышей ворот торчал шест с обручем, обвязанным сеном, издаലെка указывая путнику постоялый двор. За избой далеко расстилалась ровная, серая от лунного света степь, куда и уносилась взмысленная тройка с четким, гулким в ночной тишине галопом пристяжных и палкой, уходистой рысью коренника. Человек, сидящий в коляске, поднял трость и тронул кучера. Тройка осела и стала у постоялого двора.

Человек снял с ног плед, взялся за скобу козел и, прихрамывая, пошел по траве к низкому крылечку. Там, обернувшись, он сказал негромко:

— Ступай. На рассвете приедешь.

Кучер тронул вожжами, и тройка унеслась в степь, а человек взялся за кольцо двери, погрел им и, словно в раздумьи, прислонился к ветхому столбику крылечка. Его узкое лицо было бледно, под длинными глазами — тени, вьющаяся не-



большая бородка оставляла голым подбородок. Он медленно стянул с правой руки перчатку и постучал во второй раз.

По скрипящим доскам сеней послышались босые шаги, дверь приоткрылась, распахнулась быстро, и на пороге стала молодая баба.

— Алешенька! — сказала она радостно и взволнованно. — А я и не ждала. — Она несмело коснулась его руки и поцеловала в плечо.

— Принимаешь, Саша? — спросил он. — Я к тебе до утра. — И, кивнув головой, вошел в залитые лунным светом сени.

Саша шла впереди, оборачиваясь и открывая улыбкой на своем, красивом лице свое белое зубы.

— Я видела, как ты о полдень проехал по селу. Наверно, подумала, к барину Волкову. Там тебя и ночевать оставят, а ты вот как, батюшка, ко мне прибыл...

— У тебя никто не спит из приезжих?

— Нет, никого нет, — ответила Саша, входя в летнюю дощатую горницу. — Мужики с возами остановились, только все спят на воле, — и она села на широкую, покрытую доскутым одеялом кровать и улыбнулась нежно.

Свет месяца, пробираясь в горницу через небольшое окошко, осветил Сашино лицо с приподнятыми углами губ, высокую шею в вырезе черного сарафана, на груди — шевелившуюся нитку янтарных бус.

— Принеси вина, — сказал вошедший.

Он стоял в тени, держа шляпу и трость. Саша проворно соскочила и ушла. А он лег на кровать, закинул за голову руки. Понемногу лицо его сморщилось, исказилось. Он повернулся на бок и, охватив подушку, сунул в нее голову.

Саша вернулась, неся небольшой столик, покрытый салфеткой; на него она поставила две бутылки — одну с вином, другую со сладкой водкой, поднялась по лесенке в чулан и вынесла оттуда на тарелке орехи, пряники, изюм. Двигалась она быстро и легко, переходя из лунного света в тень. Лежавший приподнялся на локте, сказал:

— Поди сюда, Саша. — Она сейчас же села в ногах его, на кровать. — Скажи, если бы я тебя обидел, страшно бы обидел, простишь?

— Воля твоя, Алексей Петрович, — помолчав, дрогнувшим голосом ответила Саша. — А за твою любовь — благодарю покорно. — Она отвернулась и вздохнула.

Алексей Петрович, князь Краснопольский, долго старался в темноте разобрать лицо Саши. После молчания он сказал тихо, точно лениво:

— Все равно — ты ничего не поймешь. Рада, что я приехал, а не спросила — откуда и почему я у тебя здесь лежу?.. А то, что у тебя лежу сейчас, — отвратительно... Да, ужасно, Саша, гнусно.

— Что ты, что ты! — проговорила она испуганно. — Если бы я тебя не любя принимала.

— Поди ближе. Вот так, — продолжал князь и обхватил Сашу за полные плечи. — Я и говорю — ты ничего не понимаешь

и не старайся. Послушай, нынче вечером я досыта наговорила с одним человеком. Хорошо было, очень.

— С барышней Волковой?

— Да, с ней. Вот так — сидел близко к ней, и голова у меня кружилась больше, чем от твоего вина. Знаешь, как во сне покажется, что тебя нежно погладят, так и я о ней словно во сне вспоминаю. Сейчас ехал оттуда, и мне казалось, будто совсем все у меня хорошо и благополучно. А когда въехал в Колывань, подумал: стоит только остановить лошадей у твоего крыльца — и все мое благополучие полетит к черту. Теперь понимаешь? Нет? Нельзя мне к тебе заезжать. Хоть бы ты мне отравы какой-нибудь дала.

Сашины руки упали без сил, она опустила голову.

— Жалеешь ты меня, Саша? Да? — спросил князь, привлёк её и поцеловал в лицо, но она не раскрыла глаз, не разомкнула губ, как каменная.

— Перестань, — прошептал он. — Я с тобой шучу.

Тогда она заговорила отчаянно:

— Знаю, что шутишь, а все-таки верю. Зачем же мучаешь? Ведь в душе у меня живого места не осталось. Знаю — из милости любишь. Баба я, какой мой век, какое уж мне счастье!

За стеной в это время громко закричал петух. Лошадь спросонья ударила в доску. Понемногу в утреннем, слабом свете яснее стало видно худое, в тенях, красивое лицо князя. Большие глаза его были печальны и серьезны, на губах — застывшая усмешечка.

Саша долго глядела на него, потом принялась целовать князю руки, плечи и лицо, ложась рядом и согревая его сильным своим, взволнованным телом.

## II

На другой стороне села, за плетнем, посреди заросшего бурьяном двора, в новой избе, на полатях, лежал доктор Заботкин.

Снизу была видна только его голова, упертая в два кулака подбородком, на котором росли прямые рыжие волосы. Такие же космы во все стороны, начиная с макушки, падали на лоб и глаза, лицо было неумыто и припухло от сна.

Доктор Григорий Иванович Заботкин, прищуря глаз, сплывал вниз с полатей, стараясь попасть в сучок на полу.

Напротив, в простенке, под жестяной лампой сидел на лавке попик небольшого роста, тихий и умильный, с проседью в темной косице. Рукава его подрясника были засалены и в складках, как у гармоники. Запустив в них пальцы, отец Василий морщился и молчал, глядя, как доктор плюется.

— В три года во что себя человек обратил, — сказал наконец отец Василий.

— А что, не нравится? — лениво ответил Григорий Иванович. — А у меня с детства такая привычка: когда очень скучно, залезу в тесное место и плююсь. Не нравится — не глядите. У меня даже излюбленное местечко было — под амбаром, где

мягкая травка росла. Там наша собака постоянно щенилась. Щенята — теплые, молоком от них пахнет, собака их лижет, — они скулят. Хорошо быть собакой, честное слово.

— Дурак ты, Григорий Иванович, — помолчав некоторое время, сказал отец Василий. — Я лучше уйду.

— Вы, отец Василий, не имеете права уходить, пока не доставите мне душевного облегчения, вам за это правительство деньги платит.

— Сколько тебе лет?

— Двадцать восемь.

— Университет окончил, года молодые, занятие светское, я бы на твоём месте весь день смеялся. А ты, эх! Ну, куда ты годен с твоими идеями? Лежишь и плюешься.

— У меня, отец Василий, идеи были замечательные. — Григорий Иванович повернулся на спину, вытянул с пола тей руки, хруснул пальцами и зевнул. — Вот к водке я привыкнуть не могу. Это верно.

— Эх! — сказал отец Василий, аккуратно достал из подрысника жестяной портсигар, чиркнул спичкой, по привычке зажигать на ветру подержал ее между ладонями — шалашиком, закурил и, покатав в пальцах, бросил под лавку. — Ну, вот поверь — была бы в селе другая, кроме тебя, интеллигенция, нипочем бы не стал ходить к тебе.

Подобные разговоры происходили между доктором и отцом Василием постоянно, начиная с весны, когда сгорела колыванская больница. Григорий Иванович передал тогда все дела фельдшеру и сидел в избе, нанятой земством на время, покуда не построят новую больницу.

Три года назад Григорий Иванович был назначен на первое свое место в Колывань. Сгоряча он принялся разъезжать по деревням, лечить и даже помогать деньгами. Таскаясь в распутицу по разбухшей навозной дороге или насквозь продуваемый ледяным ветром в январскую ночь, когда мертвая луна стоит над мертвыми снегами; заглядывая в тесные избы, где кричат шелудивые ребятишки; угорая в черных банях — под горой — от воплей роженицы и едкого дыма; посылая отчаянные письма в земство с требованием лекарств, врачебной помощи и денег; видя, как все, что он ни делает, словно проваливается в бездонную пропасть деревенского разорения, нищеты и неурядиц, — почувствовал наконец Григорий Иванович, что он — один с банкой касторки на участке в шестьдесят верст, где мором мрут ребятишки от скарлатины и взрослые от голодного тифа, что все равно ничему этой банкой касторки не поможешь и не в ней дело. В это время сгорела больница, он шваркнул касторку об землю и полез на полати.

Отец Василий, на глазах которого выматывался таким образом третий доктор, очень жалел Заботкина, забегал к нему каждый почти день, стараясь как-нибудь — папиросочкой или анекдотцем — уж не утешить, — какое там утешение, когда от человека осталась одна копоть, — а хоть на часок рассмешить: все-таки посмеется.

Окончив зевать, Григорий Иванович повернулся опять на живот, спустил руку и попросил покурить.

— Сегодня табачок у Курбенева купил, — сказал на это отец Василий и, став под полатами на цыпочки, поднял портсигар, нажав у него потайную пружину.

Григорий Иванович хотя и знал, что портсигар этот «фармазонный» — с фокусом, — сделал вид, что не помнит, и потянул фальшивое дно, где папирос не было...

— Что, получил папиросы «фабрики Чужаго», — засмеялся отец Василий, очень довольный шуткой. — Ну, кури, кури. А я, знаешь, сегодня у Волкова был.

— Говорят, зверь, страшная скотина твой Волков.

— Совершенная неправда! Мало что болтают. Отличный человек, а живет... Вот бы ты, Григорий Иванович, посмотрел хорошенько на таких людей — не валялся бы тогда на полатах. А дочка его, Екатерина Александровна, поверь мне, замечательная красавица, благословенное творение божие... Был бы я живописцем — Марию бы Магдалину с нею написал, когда она перед женихом усмехается.

— Как это так — усмехается перед женихом? — внезапно перебил Григорий Иванович.

— Разре ты этого не слышал? Великие живописцы всегда эту усмешку отмечали в своих творениях. Девушка, девственница, сосуд любви и жизни, постоянно, как бы видя около себя ангела, указующего перстом на ее чрево, — дивно усмехается. Я это тебе не шутя говорю. Ты не смейся. — Отец Василий поднял брови и курил, пуская дым из носа, потом сказал: — Да, так вот как, — вздохнул, помолчал и ушел.

Но Григорий Иванович совсем не смеялся. Втянув на полати голову, лежал он тихо — закрыл глаза, стиснул челюсти, потому что подарком было ему всего двадцать восемь лет и могли еще его, как гром, поражать нечаянные слова о девичьих усмешках.

### III

Сияет в темносинем небе лунный свет, и кажется — конца не будет ему, — забирается сквозь щели, сквозь закрытые веки, в спальни, в клетки, в норы зверей, на дно пруда, откуда выплывают очарованные рыбы и касаются круглым ртом поверхности вод.

Той же ночью луна стояла над утоптанном копытами берегом пруда, — он вышел светлым крылом из густой чащи волковского сада.

У воды, в траве, на полушубке лежал широкоплечий, бородатый конюх, опираясь на локоть. Конюшонок неподалеку дремал в седле, сивый конек его спросонок мотал головой и брякал удилами. По низкому лугу, среди высоких репейников и полыни, паслись лошади. Жеребята лежали, касаясь мордой вытянутой ноги.

Вдоль берега, от высоких ветел плотины, медленно шел старичок в кафтане. Дойдя до конюха, он остановился и долго не то смотрел, не то слушал...

— Да, ночь теплая,—сказал старичок.

Конюх спросил лениво:

— Что ты все бродишь, Кондратий Иванович,—беспокоишься?..

— Брожу, не спится.

— Все думасшь?

— Думается, да... Ведь я по этим местам, как в колесе, всю жизнь прокрутился,—по дому да вокруг. Землю-то, до камня протер... Они и тянут—старые следы. Помирать, что ли, время?

— На покой тебе нужно, Кондратий Иванович, на пенсию.

— А тут еще барин давеча опять расшумелся,—вполголоса говорил Кондратий.—Князь-то опять в сумерки приезжал. Коляску оставил за прудом и, вор-вором, на лодке подъехал к беседке и с барышней — разговор... Такой влипчивый, прямо сказать—опасный.

— На то он и князь, Кондратий Иванович, это мы с тобой нанялись—продались да помалкиваем, а он что хочет, то и творит. Сказывали, он—гостей провожать—из пушки стреляет.

— Не то плохо, а зачем ездит и не сватается. На барышней нашей лица нет...

Кондратий Иванович замолчал. Конюх, привстав на полушубке, вгляделся и крикнул:

— Мишка, не спи, кони ушли!

Конюшонок очнулся в седле, дернул головой и затмокал, замаха л кнутом; сивая лошадь шагнула и стала, опустив шею. И опять задремала и она и конюшонок: такая теплая и тихая была ночь.

Постояв, помолчав, проговорив многозначительно: «Да-с, так-то вот оно все», Кондратий побрел обратно к саду.

Старая ветла, разбитая грозой, плетень, канава с лазом через нее, дорожки, очертания деревьев,—все это было знакомо и все, словно ключиками, отмыкало старые воспоминания о тяжелом и о легком, хотя если припомнить хорошенью, то легкого в жизни было, пожалуй, и не много.

Кондратий служил камердинером при Вадиме Андреевиче и при Андрее Вадимыче и помнил самого Вадима Вадимыча Волкова, о котором Кондратий даже во сне вспоминать боялся,—такой был он усатый и ужасный, не знал удержу буйствам и для унижения мелкопоместных дворян держал особенного—дерзкого шута Решето и дурку. От них-то и произошел Кондратий, получив с рождения страх ко всем Волковым и преданность.

Вадим Андреевич, отец теперешнего Александра Вадимыча, был большой любитель почитать и пописывать, издал даже брошюру для крестьян под названием «Добродетельный труженик», но был решительно против отмены крепостного права и однажды, приказав привести в комнаты кривого Федьку-пастуха, усадил его на шелковый диван, предложил сигару и сказал: «Теперь вы, Федор Иванович, самостоятельная и свободная личность, приветствую вас, можете идти, куда хотите, но если желаете у меня служить, то

распорядитесь, будьте добры, и вас в последний раз высекут на конюшне». Федька подумал и сказал: «Ладно».

При отце Вадима Андреевича—Андрее Вадимыче—Кондратий начал служить казачком. Барин был сырой, скучливый, любил ходить в баню и там часто напивался, сидя вместе с гостями и с девушками на свежей соломе нагишом. Так в бане его и сожгли дворовые.

Теперешний Александр Вадимыч Волков был уже не тот—мельче, да и вырос он на дворянском оскудении, когда нельзя уже было развернуться во всю ширь.

И не то что не боялся Кондратий Александра Вадимыча, а недостаточно уважал, и был привязан только, но зато всею душой, к дочке его Катюше, первой красавице в уезде.

Перейдя плотину, Кондратий спустился в овраг, перелез через плетень и побрел по сыроватой и темной аллее.

В саду было тихо, только птица иногда ворочалась и опять засыпала в липовых ветвях, да нежно и печально охали древесные лягушки, да плескалась рыба в пруду.

Овальный пруд обступили кольцом старые ветлы, такие густые и поникшие, что сквозь их зелень не мог пробиться мунный свет,—он играл далеко на середине пруда, где в скользящей стеклянной зыби плавала не то утка, не то грачонок еле держался на распластанных крыльях,—нахлебался воды.

Дойдя до конца аллеи, Кондратий заглянул налево, туда, где над прудом стояла кривая от времени беседка, сейчас — вся в тени.

Вглядываясь, он различил женскую фигуру в белой шали, облокотившуюся о перила. Под ногой Кондратия хрустнул сучок, женщина быстро обернулась, проговорила взволнованно:

— Это вы? Вернулись?

— Это я, Катенька,—покашляв, сказал Кондратий и двинулся к мосткам..

Екатерина Александровна легко по доскам сошла на берег, до подбородка закутанная в шаль, постояла перед Кондратием, сказала:

— Ты тоже не спишь? А у меня столько комаров налетело в комнату—не могла заснуть. Проводи меня.

— Комары комарами,—заметил Кондратий строго,—а на пруду по ночам девице одной неудобно...

Катенька, шедшая впереди, остановилась.

— Что за тон, Кондратий!

— Так, тон. Александр Вадимыч пушил меня, пушил сегодня, и за дело: разве мыслимо по ночам прогуливаться, сами понимаете...

Катенька отвернулась, вздохнула и опять пошла, задевая краем платья сырую траву.

— Ты папе ничего не рассказывай про сегодняшнее, голубчик,—вдруг прошептала она и губами коснулась сморщенной щеки Кондратия...

Он довел барышню до балкона, с которого поднимались шесть кое-где облупленных колонн, наверху синева-

осалых от лунного света; подождал, пока зашла в дом Екатерина Александровна, покашлял и повернул за угол к небольшому крылечку, где была его каморка с окном в кусты.

И только что он сел на сундук, покрытый кошмою, как по дому прокатился гневный окрик Александра Вадимыча:

— Кондратий!..

Кондратий, по привычке, перекрестил душу и стариковской рысью побежал по длинному коридору к дверям, за которыми кричал барин.

Берясь за дверную ручку, Кондратий почувствовал запах гари. Когда же вошел, то в густом дыму, где желтел огонек свечи, увидел на постели Александра Вадимыча, в одной рубашке, раскрытой на жирной и волосатой груди, с багровым лицом, — барин наклонился над глиняной корчагой, из которой валил дым от горящего торфа. Подняв на Кондратия осовевшие выпученные глаза, Волков сказал хрипло:

— Комары заели. Дай квасу. — И когда Кондратий повернулся к двери, он крикнул: — Вот я тебя, мерзавец! Зачем на ночь окошки не затворяешь?

— Виноват, — ответил Кондратий и побежал в погреб за квасом.

## НЕОЖИДАННОЕ ЧУВСТВО

### I

Григорий Иванович Заботкин долго разглядывал на полках какие-то тряпки, мусор, окурки, пыль, втянул через ноздри тяжелый воздух, потрогал болевшую голову и медленно, точно все тело его было тяжелое, без костей, полез вниз, морщась и нащупывая ногами приступки в печи.

Став на пол, Григорий Иванович поддернул штаны и нагнулся к осколку зеркала под лампой. Оттуда глянуло на него желтое сальное лицо, осовевшие мутно-голубые глаза и космы волос во все стороны.

— Ну и харя! — сказал Григорий Иванович, запустил пальцы в волосы, откинул их, сел к столу, подперся и задумался.

Бывают такие остатки мыслей, прибореженные напоследок, густые, как болотная тина, дурные, как гниль; если сможет человек их вызвать из душевных подвалов, перенести их боль и оторвать от себя, тогда все в нем словно очнется, очистится; а станет переворачивать, трогать их, как больной зуб, снова и снова дышать этой гнилью, болеть сладкой болью омерзения к себе, — тогда на такого можно махнуть рукой, потому что всего милее ему — дрянь, плевок в лицо.

Григорию Ивановичу очень не хотелось расставаться с лежалыми своими мыслями, — за три года накопилось их очень много. К тому же, очень бывает опасно для еще не окрепшего духом человека видеть только больных, только несчастных, только измученных людей. А за три года перед Григорием Ивановичем прошло великое множество истер-

занных родами и битьем баб, почерневших от водки мужиков, шелудивых детей в грязи, в голоде и сифилисе. И Григорию Ивановичу казалось, что вся Россия — такая же истерзанная, почерневшая и шелудивая. А если так и нет выхода, — тогда пусть все летит к черту. И если — грязь и гоняет, значит так нужно, и нечего притворяться человеком, когда ты — свинья.

«Все это так, и припечатано, — думал он, помахивая перед лицом тощей кистью руки. — Жизни я себя не лишу, конечно. Но зато — пальцем не повесду, чтобы лучше стало. Для утешения — девицу Волкову мне припел. Так вот что, отец Василий, потаскал бы я эту вашу девицу Волкову по сыпному тифу, — посмотрел бы тогда, как она станет «усмехаться перед женихом»...»

Григорий Иванович ядовито засмеялся, но затем почувствовал, что не совсем прав...

«Ну, скажем, эта барышня ничего не видела и не знает — тепличный фрукт... Это еще что-то вроде оправдания... Но поп возмущает меня... Да где оно, это все ваше хорошее, покажите мне? Родится в грязи, живот в свинстве, умирает с проклятием... И никакого просвета в этой непролазной грязище нет. И если я честный человек, то должен честно и откровенно плюнуть в это паскудство, называемое жизнью. И прежде всего в рожу самому себе...»

Григорий Иванович действительно плюнул на середину избы, затем повернулся к окошку и увидел рассвет.

Этого он почему-то совсем не ожидал и удивился. Затем вылез из-за стола, вышел на двор, вдохнул острый запах травы и влаги и сморщился, словно запах этот разрушал какие-то его идеи. Потом побрел вдоль плетня к луговому посму речки.

Плетень, огибая с двух сторон избу и дворик, сбегал к воде, где росли ивы; одна стояла с отрезанной верхушкой, на месте ее торчало множество веток, другая низко наклонилась над узкой речонкой.

Небо еще было ночное, а на востоке, у края земли, разливался нежный свет; в нем соломенные верхи крыш и деревья выступали ясней и отчетливей.

По селу кричали петухи. Откликнулся петух и у Григория Ивановича на дворе. А ветерок, острый от запаха травы, залетел в иву, и листья ее, качнувшись, как лодочки, нежно зашумели.

— Все это обман, все это неважно, — пробормотал Григорий Иванович и, стоя у дерева, глядел не отрываясь, как на бледнозолотом востоке, от света которого уходило ночное небо, делаясь серым, зеленым, как вода, и лазоревым, горела, невысоко над землей, большая звезда. Это было до того необычайно, что Григорий Иванович раскрыл рот.

Звезда же, переливаясь в пламени востока, таяла, и вдруг, загасив ее, поднялось за степью солнце горячим бугром.

Над рекой закурился пар. По сизой траве от ветра побежали синеватые тени. Грачи закричали за рекой в ветвях, и



повсюду — в кустах и в траве — запели, зачирикали птицы... Солнце поднялось над степью...

Но Григорий Иванович был упрям: усмехнулся презрительно, прищурил глаза на солнце и побрел обратно в вонючую избенку.

Когда же вошел — желтым светом на стене горела жестяная лампа, все было прокурено, приспособлено для головной боли.

— Фу, черт, хоть топор вешай, — пробормотал Григорий Иванович и сейчас же вернулся на дворик, где, потеряв лоб, подумал: «Пойти искупаться. Ах, со мной творится неладное».

## II

Студеная вода ознобила Григория Ивановича, и, окунувшись, с фырканьем, два раза, он быстро оделся, сунул руки в рукава и сел на ползучий ствол ивы, глядя на восток.

Лазоревые изгибы речки скрывались в камышах и, вновь разливаясь по зеленому лугу, уходили за березовый лес, вдалеке.

Напротив, на той стороне, белели, как комья снега, гуси на гусином щавеле. В затуманенной паром воде ходили пескарики, тревожа водоросли. На дне, у самых ног, лежала коряга, точно сом с усами, которого боялись мальчишки за то, что он хватает за ноги. В камышах летали серые птички и пошвыстывали.

Григорий Иванович, мелко стуча зубами, глядел на все это, а солнце уже припекало ему лицо и босые ноги.

«Конечно, это удовольствие, — думал он, — но все это скоро окончится, все это случайное». Он опустил голову, и почему-то именно сегодняшняя ночь представилась ему, как дурной сон, — лежание в грязи на полотнах, затхлый воздух и головная боль.

Вдруг его испугали гуси: гогоча, побежали они, с тусаком во главе, к берегу. Раскинув белые крылья, попрыгали в воду и — поплыли, надменно поворачивая головы направо и налево...

Григорий Иванович подавил вздох (словно душе его хотелось и нельзя было крикнуть) и стал глядеть, как от речки в небо уходит туман.

Река длинна, много в ней излучин и заводей, и отовсюду курится тонкий этот туман, собираясь за лесом в белые облака.

И, как солнцу встать, поднимается из-за березового леса первое облако, за ним по той же дороге летят еще и еще. Словно в гнезде, клубятся они над лесом. Смотришь, и синее небо уже полно облаков. Плывут они все в одну сторону, медленно, как лебеди, зная свой недолговечный срок. По степи от них скользят прохладные тени. Облака меняют обличья, прикидываются зверем, полянкой, фигурой какой-нибудь, и так играют, пока ветер не собьет их в тяжелую тучу, пронизет ее молния, и понесет она плод, чтобы пролить его на землю и самой истаять.

— Я просто щенок, — пробормотал Григорий Иванович, — упрямый и лентяй. А все-таки изумительно...

Не сдерживаясь более, обрадовался он до того, что руки стали дрожать и часто замигали глаза, пошел к плетню, взлез на него и принялся оглядываться, — нет ли удивительного, милого человека, чтобы все это ему тут же и рассказать.

В это время на улице, сбоку плетня, показались мальчишки: они шаркали ногами, поднимали мягкую пыль, побрякивали и ходили через голову колесом.

За мальчишками шли, взявшись за руки, девки в ситцевых сарафанах, в пестрых полушалках. Они пели какую-то не новую и славную песню, — незнакомую.

Позади увязались парни. Один из них, высокий, худой, в драном армяке, дул в тростяные дудки, верхняя губа его надувалась пузырем; другой, коренастый, на кривых ногах, в жилете и картузе, растягивал гармонь.

Мальчишки, девки и парни повернули за угловую избу и плетни. Песни и музыка доносились уже издали. Потом все показались еще раз, переходя вдалеке через мост, и скрылись за бугром, за обгорелыми столбами больницы.

— Изумительно, — пробормотал Григорий Иванович. — Или день сегодня такой особенный?

К плетню подошел степенный мужик, одетый в новое и красное, без шапки; волосы его были помазаны; он взялся за кол у плетня, оунул между прутьев сапог, смазанный дегтем, на который уже насела пыль и соломины, и спросил:

— Гуляете?

— Здравствуй, Никита. Куда это они пошли? — спросил Григорий Иванович. — Разве сегодня праздник?

— Троица нынче. Троица, — ответил мужик спокойно. — Эх, Григорий Иванович, дни путать стали. Девки венки пошли завивать.

Никита потрогал, — крепко ли кол стоит в плетне, и вдруг, раскрыв немного рот, обросший русой бородой в завитках, глянул в глаза Григорию Ивановичу.

И от понимающего этого взгляда выцветших под солнцем глаз мужика, от смуглого его лица, от крепкого, с хорошим запахом тела стало понятно Григорию Ивановичу, что Никита подошел к нему посмотреть на досуге, — каков такой барин и какая в нем придурь, и сразу, взглянув, как на колесо какое-нибудь, определил доктора Заботкина, который ему, Никите, ни с какой стороны не нужен, потому что хоть и доктор и читает книжки, а себя определить не может и никуда не годится.

Поняв это, Григорий Иванович засмеялся.

— А у меня к тебе просьбишка, — сказал Никита. — Доезжай со мной к бабушке, давно она помирает, да лошади все заняты и самому не оторваться... А я бы сейчас добежал, запряг.

— Вот и хорошо, — воскликнул Григорий Иванович — Сбегай, запряги.

Никита действительно живо запряг и подал к крыльцу новую телегу, полную свежего сена.

Григорий Иванович с удовольствием взлез на нее, сбил под себя сено, уселся, скрестил поджатые ноги и сказал:

— Знаешь, Никита, сегодня в самом деле праздник. Ты женат, наверное? Жену-то любишь?

Никита поднял брови, чмокнул, и они поехали. Салоги его от толчков подпрыгивали у колеса. Григорий Иванович, широко улыбаясь, тряся на волглом сене, — поглядывал. Хорошо!

Когда телега с грохотом проехала по земскому мосту, с перил попрыгали в осоку лягушки, утки из-под моста бросились их ловить...

— Лягушек-то сколько. — сказал Никита и подмигнул.

За рекой были выгоны и луга, а дальше — березовый лес. Никита оборачивался и заговаривал с доктором о пустяках, и так как Григорий Иванович больше молчал, не задавая глупых вопросов, Никита стал рассказывать ему о своих крестьянских делах, о том, что передумал за зиму, и вдруг неожиданно сказал, прищулив умные серые глаза:

— Крестьянствовать трудно стало нынче: все на деньги перевели. А мужика перевести на деньги, какая ему цена — грош. Трудиться, выходит, не из-за чего. Вот и подумашь...

Никита нахмурился, потом сразу, не ожидая ответа, тряхнул головой и, вновь усмехаясь, показал кнутом на опушку леса.

Между берез ходили девки, плетя из веток венки. Мальчишки лазили по деревьям. Парни лежали в траве, слушая гармонию.

— К вечеру все напьются, — сказал Никита, — и такие хихи заведут, — один грех. Раньше лучше было.

Телега выехала из леса на неширокую межу, между волнущих теплым ветром хлебов, от которых пахло землей и медом. Облака, теперь белые и крутые, как руно, видны были по всему синему небу. Дорога то уходила в овраг, то вилась по сткосу горы, и у края земли лежали новые огромные груды белых облаков. Что в них удивительного? Но Григорий Иванович будто не замечал раньше, а только теперь понял их красоту в первый раз.

— Посмотри, Никита, облака-то какие! — сказал он.

— Облака, действительно, — ответил Никита, посмотрев. — Только они пустые, — за водой летят, а как вернуться с водичей, — потемнеют. Вот намедни булча одна с лягушками пролетела... Много смеялись.

Он соскочил на землю и пошел у оглобеля, помахивая вожжами, — телега взбиралась на песчаный откос.

С откоса открылась глазам Григория Ивановича просторная равнина, исчерченная съетлыми, темнозелеными и желтыми квадратами хлебов, и два серебряных крыла пруда, словно венком, окаймленного ветлами. По эту сторону — деревня. За прудом — сад, и в кудрявых деревьях — красная крыша дома.

— Волково, — сказал Никита, показав кнутовищем.

И Григорий Иванович почувствовал, как теплая, словно ветер, любовная радость коснулась сердца. Захотелось ему полететь к широкой красной крыше и хоть на минутку посмотреть, как это так дивно усмешается волковская дочка.

### III

Никитова хворая бабушка жила на той стороне Волги. Лошадка еле волокла телегу по прибрежному песку между тальников, кое-где поломанных и замазанных дегтем. Наконец показалась линия крыша конторки и флаг с буквами П. О. С.

Ветра не было. Волны от пробежавшего парохода медленно взлизывались на песок, покачивая две полные воды лодки, привязанные к мосткам. Григорий Иванович через зыбкие мостки прошел на конторку и сел, глядя на тот берег, зеленый и крутой, где между деревьями на юру стоял белый дом, с куполом и колоннами, всегда забитый досками перекрыток окон, — усадьба Милос, покойной княгини Краснопольской. Григорий Иванович за частые поездки привык к этому дому и не заметил сейчас, что все окна были отворены и между колонн двигались люди, маленькие издали, как мухи.

Вдруг перед домом поднялось белое облачко, прокатился по реке выстрел, и недолго спустя от берега отчалила тяжёлая завозня.

— Как по туркам хватил, — сказал Никита, стоя у перил. — Князь гостей провожает.

— Да, да, — ответил Григорий Иванович, — я и не заметил, что в доме живут. С каких это пор?..

— С весны, Григорий Иванович, хозяин явился, хромой князек. Что тут было первое-то время! Так и думали, что дом сожгут. Князь, говорят, жениться хочет, ну, вот — и приманивает невест пушкой.

Завозня наискось пересекала реку. Гребли в ней четыре матроса, без шапок, в синих рубахах. Над лодкой покачивался красный зонт, отражаясь в воде.

Скоро уже можно было различить бритые затылки матросов и лица девушки и толстого человека, одетого в поддевку и белый картуз с большим козырьком. Он опирался подбородком о трость, — вдоль нее висели его длинные рыжие усы.

Девушка, сидевшая с ним рядом, была вся в белом. Солменная шляпа ее лежала на коленях. Две русые косы обегали вокруг головы, солнце сквозь зонт заливало розовым светом ее овальное гордое и прелестное лицо с маленьким, детским ртом.

— Серьезный барин, — сказал Никита. — По старине живет, за землю держится, а дочку за князя норовит пропить, — и то сказать — Волков...

«Так вот она какая», — подумал Григорий Иванович и, застыдившись, отошел от перил, толкнулся по палубе, ушел на корму, за мешки с мукой, и ужасно покраснел, бормоча:

— Что за глупость, мальчишество... — И пальцем принялся ковырять дыру в мешке.

Был уже слышен плеск весел. Завозня подходила, несомая течением. Скоро с лодки крикнули «держи», матрос на конторке ответил «есть» и побежал за ударившей о крышу бечевой; лодка тяжело ткнулась, и спустя мгновение Григорий Иванович услышал голос, как музыку: «Папа, дайте руку», и затем вскрик и всплеск воды.

Холод испуга проколол Григория Ивановича, он ухватился за мешок, потом кинулся к перилам...

Екатерина Александровна стояла внизу трапа, приподнимая с боков намокшую юбку, и смеялась. Волков же говорил ей сердито:

— Ты не коза, в самом деле... Нельзя же так прыгать...

И оба — отец и дочь — поднялись наверх, сошли неспеша на берег и сели в коляску, запряженную вороной тройкой.

Екатерина Александровна, обернув голову, взглянула на дом на той стороне, словно погладила его серыми своими, немного выпуклыми, как у отца, большими глазами. Волков сказал: «трогай», лошади в наборной упряжи рванулись и унесли лакированную коляску за тальники.

А Григорий Иванович еще долго стоял, глядя вслед, потом вернулся на скамейку, увидел под своим сапогом на полу влажный след от женского башмака и осторожно отодвинул ногу.

Скоро пришел пароход. Григорий Иванович съездил вниз к Никитовой бабушке и домой вернулся поздно ночью, разбитый и неразговорчивый.

В избу он не пошел, а спать лег в сенцах на сундуке. Сон его одолел сейчас же, но не надолго. От крика петуха он проснулся и глядел на четырехугольник раскрытой двери, через которую были видны звезды, потом лег на бок, повернулся ничком и, зажмурясь, принялся вздыхать и глотать слюны.

## ЯДОВИТЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

### I

Князь Алексей Петрович проснулся в глубоком кресле, перед туалетным столом, у высокого, с отдернутой шторой, окна. Другие два окна спальни были занавешены, и на камине, в темноте, постукивал неспешно маятник.

За окном видны были вершины сада; далее — лиловая река, за ней конторка, тальниковые пусторосли, заливные луга с красноватыми озерами, — в овальном зеркале их отражался печальный с сизыми тучами закат; туда, через поля и холмы, бежала дорога, узкая, чуть видная.

От закатного, гаснущего света краснели края туч, а облака, что висели повыше, казались розовыми в небе цвета морской воды; еще повыше теплилась звезда.

Алексей Петрович глядел на все это, касаясь холодными пальцами худой и бледной щеки.

Во впадине глаз у него лежала густая синева, по округлой скуле вились тонкие волосы каштановой бородки.

Только это — белая кисть руки, щека и выпуклый глаз —

отражалось в зеркале туалета; Алексей Петрович, переводя иногда взор на себя в зеркало, не шевелился.

Он знал, что, если пошевельнется, вся муть сегодняшней ночи ударит в голову, нарушив спокойное созерцание всех вещей, ясных, словно из хрусталя. Прозрачными и печальными были и мысли.

Так печалит закат над русскими реками. И еще грустнее было глядеть на убегающую на закат дорогу: бог знает, откуда ведет она, бог знает — куда, подходит к реке, словно чтобы напиться, и вновь убегает, а по ней едет.. телега ли? — не разберешь, да не все ли равно.

В этой печали неба и земли отдыхал Алексей Петрович. Ему казалось, что все бывшее не коснулось его, а то, что будет, пройдет так же ненужно и призрачно, а он — после шумных попок с друзьями, после тревожных свиданий с Екатериной Александровной в саду по вечерам, когда хочется коснуться губами хоть платья и не смеешь, после трогательных ласк Саши, после радостей и раскаяния, после, наконец, острых до холода воспоминаний о Петербурге, — снова, как усталый актер, сотрет румяна и будет всегда, всегда глядеть на этот закат, холодящий сердце, на дорогу.

Но едва только Алексей Петрович подумал об этом покое, противоречивые мысли, словно спорщики, принялись беспокоить исподтишка...

«А ведь ты, как покойник, холоден и одинок, — пришла и сказала одна мысль. — Ты только разрушал и себя, и других, и до тебя, вот такого маленького в этом кресле, никому дела нет... А ты, быть может, изо всех самый печальный и очень нуждаешься в ласке и участии...»

«Даром никто не дает ни ласк, ни участия», — ответила вторая мысль.

Третья сказала горько: «Все только брали от тебя, требовали и опустошали».

«Но ведь ты никого не любил, — опять сказала первая, — и теперь отвержен, и сердце уже высохло».

— Нет, я любил и могу, я хочу любить, — прошептал Алексей Петрович, повертываясь в кресле.

Спокойствие было нарушено. А за окном выцветал закат и тускнел, с боков заливаемый ночью.

— Боже мой, какая тоска, — сказал Алексей Петрович и крепко жаждал ладонью, до боли. Он знал, что теперь настал черед метаться по креслу, мучиться от стыда и думать о Петербурге...

Нельзя уйти от этих воспоминаний, они всегда настороже, и утолить их можно вином или разгулом.

## II

Алексей Петрович служил в ... гвардейском полку, зачислensä туда в год смерти матери и отца, восемь лет тому назад.

Небольшие деньги он старательно проживал, уверенный, что, когда разменена будет последняя сторублевка, кто-ни-

будь умрет из родственников или вообще что-нибудь случится.

Благодаря этой уверенности трудно было найти в Петербурге человека беззаботнее, чем князь Краснопольский. Он очень нравился женщинам. Связи его были всегда непродолжительные и легкие и не оставляли в нем следа, кроме разве милых или забавных воспоминаний.

Прошло шесть лет службы в полку. В шумной и угарной перспективе этих лет дни походили один на другой. И вот однажды Алексей Петрович оглянулся — и ему представилось, что он словно шел все это время по однообразному коридору, и такой же серый, глухой коридор был впереди. Это новое ощущение жизни его удивило и огорчило.

В это как раз время в скучном и малознакомом доме, в гостиной княгини Мацкой, он встретил женщину, которая неожиданно, как гроза, разбудила его дремавшие страсти.

Алексей Петрович стоял подле истощенного молодого человека из дипломатического корпуса, слушая идиотские, давно всем известные экспромпты и остроты, и уже собирався незаметно скрыться, когда лакей распахнул золоченую дверь. Шумя суконным платьем, вошла дама, очень высокая, в накинутах седом и буром мехе, и быстро села на диван.

Ее движения были стремительны и связаны платьем. Под шляпой от низкого лба поднимались волосы цвета меди. Лицо было матовое, с полузакрытыми прекрасными глазами и узким носом — тревожное, невеселое.

— Кто она? — быстро спросил Алексей Петрович.

— Мордвинская, Анна Семеновна, о ней говорят, — ответил дипломат, проливая кофе из чашки на ковер.

Такова была первая встреча. Алексей Петрович помнил ее до мелочей.

Когда его представили, Анна Семеновна, прищурясь, мимоходом взглянула, словно примерила его.

Алексей Петрович, позванивая шпорой, придерживая шапку у бедра, старался найти слова, всегда такие обычные и легкие, теперь они казались лишенными смысла.

Анна Семеновна слушала, вытянувшись, слегка приподняв розовое ухо. В черной ее юбке лежал белый платок, благоухая как-то особенно — по-женски, а быть может, от нее самой исходил этот запах. Потом она улыбнулась, словно окончила прием. Алексей Петрович не догадался сейчас же отойти, и она поднялась, шурша шелком и сильно выпрямив грудь, кивнула знакомым и прошла в другую гостиную, недоступная и необычайная.

После встречи Алексей Петрович несколько дней жил в чудесном мире запахов. Все, что не походило на аромат платочка, брошенного тогда в колени Анны Семеновны, — не существовало, и от слабого хотя бы намека на тот запах глаза Алексея Петровича темнели, сжималось сердце.

Сидя в трех комнатах холостой своей квартирки в первом этаже на Фонтанке, близ Летнего сада, Алексей Петрович рассеянно глядел на стены, простреленные кое-где во

время холостых пирушек, присаживался к столу, уставленному женскими фотографиями, лежал на кожаном диване, курил, насвистывал из Шопена — и повсюду видел бледный профиль с нежным ртом и глазами, будто подернутыми горячим теплом... Даже денщик, певший обычно на кухне бабьим голосом солдатские песни, не раздражал более.

Когда повалил за окном крупный снег, Алексей Петрович, прижав лоб к стеклу, долго глядел на зыбкое, опускающееся с неба покрывало и вдруг закричал денщику: «Скоро, шинель и шапку!»

Таков снег, когда он застилает небо и землю, и дома, когда женщины запахивают шубы, согревая плечами и грудью душистый мех, когда из вьюги вылетит рысак, с отнесенным по ветру хвостом, и пропадает вновь так быстро, что едва заметишь, кто сидит в низких санках, — тогда нужно стать за углом и караулить: кто набежит, блеснув из-под капора темными глазами на раздумянном лице? Тогда нужно самому сесть на лихача и мчаться, пряча лицо в воротник, и думать: кого встретишь в этот вечер, с кем потеряешь сердце?

Алексей Петрович быстро шел по набережной, распахнув меховую шинель. Снег таял на его щеках, и ласковый звон шпор поддразнивал. На Эрмитажном мосту он остановился, сообразив, что идет к дому княгини Мацкой.

Он вздернул плечами, усмехнулся и поглядел вокруг.

Густой снег застилал свет фонарей, ложась на все карнизы и статуи, покрывал подушками темный гранит. Прохожих не было; окна дворца были темны; часовой у подъезда стоял недвижно, закутанный в тулуп, с прилипшим к боку ружьем.

Вдруг раздался вскрик, и, взлетев на Эрмитажный мостик, промчался вороной рысак, в пене и снегу, далеко выбрасывая ноги. В узких санках за широкой спиной кучера сидела, наклонясь вперед, Анна Семеновна в темных sobо-лах...

Алексей Петрович, приложив руку к высокой бобровой шапке, так и остался стоять, глядя в пургу, где пропал рысак. Шинель сползла с его плеча, открыв золотые галуны, холод словно ожег до сердца...

Назавтра Алексей Петрович приехал к Мордвинским с визитом. Краснея и путаясь, он объяснял мужу, что имеет честь засвидетельствовать почтение Анне Семеновне, с которой встретился у княгини, и, объясняя, все ждал, не выйдет ли она из комнат. Мордвинский холодно слушал князя, приподняв брови, ни разу не вскинул глаз. Был он велик ростом, сутул и толст, и Алексей Петрович, глядя на землистое его лицо с хищным носом и усами вниз, представлял, как он будет морщиться после ухода гостя, зная, что необходимо отдать ненужный визит.

Но Мордвинский с обратным визитом не приехал, и Алексей Петрович, продав его неделю, решил при первой же встрече наговорить дерзостей и драться...

А спустя время в одной гостиной, уже уходя, встретился



с Анной Семеновной в дверях. Она подняла синие глаза на князя и усмехнулась. Он остался стоять, словно скованный великой силой.

Полтора месяца он разыскивал Мордвинскую по салонам, балам, вечерам и вечерням в светских церквях. Он и не гадал никогда, что может так страдать. Он постоянно привык думать о ней, напряженно, как о болезни. Входя в гостиные, он всегда знал, еще не видя, там ли она. Однажды, когда она неожиданно подошла сзади, он задрожал и быстро обернулся, расширив глаза...

— Вы, кажется, боитесь меня? — спросила она.

Это были первые ее несветские слова...

Анна Семеновна обращала на него, быть может, больше даже внимания, чем на других, но он считал себя ничтожным и недостойным. И не радовался более чувству: был не волен в нем, оно жгло и подтачивало. Недаром говорят в народе, что любовь как змея...

Тогда неожиданно (как поступал он всегда) Алексей Петрович признался во всем малознакомому офицеру, принятому у Мордвинских... Офицер, покусывая усы, внимательно выслушал (они сидели в кабаке, — над ухом, заглушая слова, были румыны), а на следующий день все рассказал Мордвинской.

В этот памятный вечер они встретились на балу. Алексей Петрович, похудевший и серьезный, проходил в толпе мундиров, фраков и женских платьев, поглядывая исподлобья; звякал шпорами, кланялся, сейчас же отворачиваясь, и пристально искал ее, словно боялся не узнать или ошибиться.

Анна Семеновна стояла у колонны. На ней было платье из зеленого шелка, простое и открытое, на подоле брошена большая розовая роза.

— У меня с вами длинный разговор, — сказала Анна Семеновна князю, который, касаясь губами ее руки, не слышал больше ничего, не видел... Ему было тяжело до слез, — страшно и радостно.

— Не гневайтесь на меня, — проговорил он тихо.

Они прошли через зал в зимний сад.

Анна Семеновна села на диванчик у неровной, обложенной диким камнем стены... Камни и выступы оплетал плющ, сверху висели нити ползучих растений; с боков диванчика до стеклянного потолка стояли пальмы, и ровный свет, не бросая теней, был повсюду, освещая зелень, журчащий фонтан и всю тонкую, злую Анну Семеновну. Ударяя веером по ладони, она усмехнулась, потом сказала:

— Я слышала, вы отзывались непочтительно обо мне, правда это?

Алексей Петрович вздохнул и опустил голову. Анна Семеновна продолжала:

— Вы не отвсечаете, значит, это правда?..

Он раскрыл сухие губы и вымолвил невнятное...

— Что, что?! — воскликнула она и вдруг добавила неожиданно тихо: — Видите сами — я не слишком сержусь на вас.

В словах этих показалась ему и насмешка, и участие со-

всем женское — ведь так легко исцелить печаль. У него смешались все мысли, он почувствовал, что сейчас забудется, — тогда погибло бы все.

Но в это время вошел Мордвинский; увидав князя, он сделал тошное лицо и сказал жене:

— Получена депеша, я уезжаю.

— Да, но я не читаю ваших депеш, — ответила Анна Семеновна. — Меня проводит князь.

Мордвинский, поклонившись, вышел. В коротком слове «князь» было обещание... Анна Семеновна взяла его под руку, и они пошли в зал, где были танцы. Там Алексей Петрович, словно внезапно опьянев, рассказывал, смеясь, о том, как проводил эти дни. Анна Семеновна чуть-чуть сдвигала брови, когда он слишком пристально взглядывал ей в глаза.

В три часа они ушли. Садясь в автомобиль, Анна Семеновна приподняла серую шубку, открыв до колена ногу в белом чулке, — сквозь него видна была кожа... Алексей Петрович закрыл глаза. Сидя рядом на мягко подпрыгивающем сиденье, он словно видел всю ее, от белых чулок до алмазной цепочки на шее, и молчал, откинувшись и чувствуя, как глаза ее, холодные и светлые от бегущего навстречу фонаря, следят за каждым его движением...

Наконец стало невыносимо молчать. Он засунул палец за воротник, потянул, и отскочили крючки и пуговицы на опущенном мехом мундире.

— Не нужно волноваться, — сказала Анна Семеновна. Рукой в белой перчатке потерла запотевшее стекло и добавила тихо: — Вам я все позволю...

Была ли то прихоть Анны Семеновны или зашла она слишком далеко в игре, но до пяти утра, сначала в автомобиле, потом у Алексея Петровича на дому, они ласкали друг друга, отрываясь только, чтобы перевести дух...

Анна Семеновна, как только вошла в спальню, сказала удивленно: «Какая узенькая кровать», — и это были ее единственные слова.

В спальне, освещенной лампадкой перед золотым образом, на креслах и ковре разбросала она шубу, платье и надушенное белье. Алексей Петрович трогал разбросанные эти вещи, качаясь, как пьяный, потом, торопясь, снова ложился на подушку, серьезно глядя на молодую женщину, еще более чудесную в сумраке, и, чтобы почувствовать, что она не спится ему, прикасался к ней губами и забывался в поцелуе, закрыв глаза.

Эта ночь преломила жизнь Алексея Петровича. Он познал страдание, несравненную радость и потерял волю. С каждым часом следующего дня он все нетерпеливее хотел повторить то, что было... И если бы это было нужно, сейчас бы согласился поступить к ней в кучера, в лакеи... Он бы трогал ее вещи, смотрел на нее, слушал, целовал сиденье кресла, где только что она сидела.

Но Алексей Петрович не был ни кучером, ни лакеем. Анна же Семеновна не назначила места новой встречи.

Прошли — день, бессонная ночь и новый день, полный

тревоги... Вечером был в Дворянском собрании благотворительный базар. Алексей Петрович, едва вошел в огромный зал собрания, увидел ее за прилавком. Анна Семеновна продавала грубые кружева и крестьянские вышивки. Направо стоял муж, а налево, опираясь о прилавок, вертел моноклем истощенный молодой человек из дипломатического корпуса.

Словно солнце осветило все вокруг, когда Алексей Петрович, широко улыбаясь, подходил к прилавку... Анна Семеновна взглянула на подходящего, резко сдвинула брови, опустила глаза и отвернулась к истощенному молодому человеку. У Алексея Петровича схватило дыхание... Он поклонился. Она не протянула руки. Муж едва ответил на поклон.

Весь вечер Алексей Петрович ходил, толкаясь, в толпе, покупал ненужные вещи, носил их, потом оставлял на подоконниках и каждый раз, описав круг, останавливался недалеко от киоска с кружевами. Анну Семеновну загораживали офицеры, и слышно было, как она смеялась. За час до разъезда он сошел в раздевальню и разыскал шубу Мордовинской. Когда она показалась на лестнице под руку с мужем, Алексей Петрович подошел и, не глядя, чтобы уже не видеть ее холодных глаз, заговорил о продаже кружев... Она не ответила. Швейцар, бросив ее ботинки на пол, помогал надевать шубу. Алексей Петрович нагнулся к серым ботинкам и, слегка отодвинув полу ее шубки, стал обувать, зная, что делает ужасное. Голова его наклонялась все ниже к синему прозрачному чулку, он быстро коснулся ее ноги губами, поднялся весь красный и увидел Мордовинского, который, совсем одетый, глядел на ноги жены, криво и странно усмехаясь...

Это было началом этой ужасной катастрофы, после которой Алексей Петрович оставил полк и бежал в имение «Милос», полученное по наследству от бабушки Краснопольской, умершей этой весной где-то в Германии на водах.

Катастрофой кончилась молодость Алексея Петровича, и казалось ему теперь, что нет избавления от этой жизни, — нудной и призрачной. Быть может, спасет иная любовь. Но он чувствовал, как сердце его истерзано и полуживое, а чтобы полюбить еще раз, надо родиться дважды.

### III

Алексей Петрович, чтобы не оставаться с ядовитыми воспоминаниями с глазу-на-глаз, каждый вечер звал гостей, — одних и тех же. Гости приезжали в сумерки: братья Ртищевы на двухколесной таратайке, старый Образцов в плетеном тарантасе и, после всех, в кэбе, — Цурюпа — купеческий сын, пообтертый по заграницам. Так было и сегодня.

В положенный час лакей поднялся вверх к Алексею Петровичу и, приотворив дверь спальни, увидел князя, лежащего головой на подоконнике.

Алексей Петрович не сразу расслышал, что зовут обедать и гости уже приехали. Сквозняк из отворенной двери поднял его волосы. Он оглянулся, болезненно шуря глаза на

свет задуваемого канделябра в руке лакея, и сказал: «Пусть гости садятся за стол».

Обедали обычно в большом зале. Вдоль четырех его стен и отступя от них, чтобы образовать проход, стояли два ряда круглых колонн; шесть окон за ними открывались в сад; на противоположной стене окна были фальшивые, со вставленными зеркалами; между колонн были поставлены диванчики без спинок...

Когда лакей доложил об обеде, с этих диванчиков поднялись, крикая и потирая руки, братья Ртищевы, Цурюпа и Образцов, — сели за стол и раздвинули локтями на снежно-белой скатерти хрусталь и тарелки. Братья Ртищевы всегда садились рядом, — широкие спины их были обтянуты серыми поддесками с кавказскими пуговицами, у обоих были косматые усы, курносые, отменного здоровья, лица и коровьи глаза. Братья стеснялись и ждали, когда Цурюпа, за хозяина развалившийся в конце стола, возьмет первый кусок. Лысый Образцов, сложив губы сладкой трубочкой, шарил по столу стариковскими глазами, мутными от подагры.

— Шампанское подашь вчерашней марки, — вытянув нижнюю губу, приказал Цурюпа... На нем был смокинг, а за жилет заложен красный, как для причастия, носовой платок.

— А вишнечку, душенька, ты забыл подать, я просил тебя сладенькую, — помнишь, вчера? — сказал Образцов.

— Слушаю-с, — хмуро ответил лакей.

Кухонный мальчик внес в это время суп. Ртищевы, Иван и Семен, сказали, потолкавшись:

— Полезнее всего — простая водка, от шампанского живот пучит... Передай, Семен, грибков да налей-ка...

Цурюпа ел мало и молчал, мигая веками без ресниц: он приберегал остроты к выходу князя.

Образцов с удовольствием, подвязавшись чистой салфеткой, хлебал суп, и мешочки под глазами у него вздрагивали. Он сказал, кивнув на братьев:

— Они имеют резон: у нас прокурор опасно заболел от шампанского — распучило донельзя. Но, разумеется, нельзя же все на водку напираться да на водку...

Цурюпа визгливо захохотал, катая хлебный шарик. Братья Ртищевы положили вилки, раскрыли рты и тоже засмеялись, точно из бочки.

— Вот мой брат был шутник действительно, — продолжал Образцов, — он, бывало, так скажет, что даже дамы уйдут...

Лакей и мальчик вносили блюда и вина. Над люстрой кружились бабочки, падая с обожженными крыльями на стол. Гости ели молча, иногда только Иван или Семен шумно вздыхали от неумеренности.

Наконец за стеной послышались знакомые припадающие шаги. Цурюпа поспешно вытерся салфеткой и, вынув из жилетки монокль, бросил его в плоскую впадину глаза. Вошел князь. Глаза его были красны, влажные волосы только что зачесаны наверх, а в сдержанных движениях и в покрое платья в сотый раз увидел Цурюпа необъяснимое изящество: стараясь его перенять, он покупал тройные зеркала, вы-

писывал одежду и белье из Лондона, родных своих, закупаемых купчишек, всех разогнал, чтобы не портили стили.

— О, не вставайте, не вставайте, друзья мои, — сказал князь, здороваясь. — Надеюсь, повар исправил вчерашний грешок.

Ртищевы из благовоспитанности шаркнули под столом ногами, Образцов потянулся поцеловаться, Цурюпа же вскочил и не удержался — потрепал князя по плечу.

Алексей Петрович присел к углу стола, взял хлеб и ел. Ему налили вина, которое он жадно выпил. Облокотясь, коснулся пальцами щеки:

— Расскажите, что случилось нового. Да, пожалуйста, дайте мне еще вина...

— Всегда новое — это вы сами, — сказал Цурюпа. — А вот, кстати, я привез анекдот...

Он перегнулся к уху князя и, давась от смеха, стал рассказывать. Князь усмехнулся, братья Ртищевы, посмеявшись, морщили лбы, — старались придумать интересное, но в голову им лезли собаки, потрова на покосе, захромавший коренник — все мало подходящее для такого высокого общества. Образцов же сказал:

— Если разговор пошел на девочек, то князюшке нашему и книги в руки... Он угостит.

— Да, да, непременно, — зашумели гости, — пусть князь станет хорошеньких девчонок.

— Лучше махнем в Колывань, господа!

— На въезжую! К Саше!

— Это не по-дружески — сам пользуется, а нам — шиш, — нет, в Колывань! В Колывань!

Князь нахмурился. Братья Ртищевы топтали пудовыми сапогами и, вспотев, кричали: «В Колывань!.. В Колывань!..» Цурюпа лез к уху князя, шепча: «Нехорошо, князь, нехорошо». Образцов тер салфеткой лысину и высовывал кончик языка, совершенно раскисая при мысли о Колывани. Все были пьяны. Князь, облокотясь, опустил голову. Выпитое вино, да еще на вчерашнее похмелье, отуманило голову, как душное облако. «Сегодня нужно быть пьяным больше, чем когда-либо», — подумал он, поднялся и, подхваченный под локоть Цурюпой, усмехнулся:

— Идем в сад.

Лакей тотчас распахнул балконные двери, откуда влетела вечерняя прохлада, и гости по ступеням сошли в сырой сад.

Песчаная дорожка от балкона вела к оврагу, на краю его стояла полускрытая кустами шиповника балюстрада с одной уцелевшей каменной вазой.

На вазу эту, на несколько баясин меж листы, на деревья, на дорожку падал свет из шести окон зала. Под обрывом на широкой, едва видимой реке горели красные и желтые сторожевые огни.

— Надо уговорить братьев побороться, — шепнул Цурюпа князю, который, прислонясь щекой к вазе, глядел на Волгу, думая: «Сегодня, непременно сегодня, неужели нехватит храбрости?»

— Уговорите,—ответил князь.

Винный хмель брал его не сразу. Сначала князь настораживался, как бы предчувствуя что-то, потом становилось печально до слез: все звуки казались отчетливыми, вещи — понятными, и надо всем словно тяготел роковой конец. Но вдруг, — как в туче открывается молния, — пробежала у него острая боль от сердца по спине к ступням холодеющих ног, он встряхивался: тогда начинался разгул.

Пока князь стоял у балюстрады, Цурюпа колкими словами принялся стравливать братьев, и уже Иван Ртищев косо поглядывал на Семена.

Ртищевы славилась в уезде силой и не раз на конских ярмарках вызывали какого-нибудь табунщика-татарина на борьбу, между телег, в кругу из помещиков и мужиков. Когда же не было противников, возились обыкновенно брат с братом.

— А Семен тебя уложит,—шептал Цурюпа, подталкивая Ивана.

— Конечно, брякну,—ответил Семен, а Иван уже наступал на брата, и Семен выпячивал грудь и сопел.

— Эх, трусишки!—воскликнул Цурюпа и, мигнув Образцову, который плечом стал подпихивать Ивана, со всею силою толкнул Семена между плеч.

Братья засопели и столкнулись. Иван схватил Семена под «микитки». «Не по правилам!»—воскликнул Семен, присел и поднял брата, который болтул ногами. Потом они сцепились и заходили, тяжело дыша. Цурюпа вертелся около них и хлопал в ладоши. Братья дотянулись до края оврага, Цурюпа «подставил ножку», Семен опрокинул Ивана, и оба, рухнув на землю, покатались под обрыв, ревя и ломая кусты.

Алексей Петрович громко засмеялся. Туча, давившая сердце, отошла. Хохоча, он держался за край холодной вазы.

Прибежали на зов лакей и садовник с веревкой, братьев вытащили из оврага запыхавшихся, веселых и ободранных. Тут же они принялись ловить Цурюпу, он убегал от них в лакированных башмаках по мокрой траве, пронзительно вскрикивая деревянным голосом...

А у крыльца уже стояла заложенная коляска. В ноги туда положили ящик с вином, спинами друг к другу посадили на ящик братьев. Образцов просунулся в сиденье между князем и Цурюпой. Князь надвинул шляпу. Цурюпа крикнул: «пшел», и кони под гору понесли коляску на перевоз и в Колывань.

#### IV

Саша стояла посреди чистой, теперь дымной от табака избы, сложив голые до локтя руки под грудью, перетянутой заспанным запятом.

Милое свое лицо, с прямыми бархатными бровями, она обратила на князя, заливая его любовью темных глаз. Рот ее был полуоткрыт, Саша только что пела, немного теперь запыхалась, на шее у нее двигались янтарные бусы.

— Дальше пой! Дальше, Саша!—кричали гости. Саша

улыбнулась, кивнула и низким голосом, словно в груди у нее заплакала душа, негромко запела:

Ах, полынь, полынь,  
Трава горькая.  
Не я тебя садила,  
Не я сеяла,  
Сама ты, злодейка,  
Уродилась,  
Но зеленому садочку  
Распустилась...

Князь, положив локти на некрашенный стол и охватив одурманенную голову, внимательно слушал. Образцов прохаживался по горнице, мимо Сашки, и, прищелкивая пальцами, закатывал глаза. Ртищевы сидели на лавке, расстегнув поддевки. Цурюпа же, протянув ноги, сунул руки в карманы штанов и покачивался.

Саша отпела. Князь сейчас же сказал охрипшим голосом:

— Ну, а ту, другую, Саша, помнишь?

— Нехорошая она, — молвила Саша. — Неверная, не люблю ее. Только разве для вас...

Она опустила ресницы и, вздохнув, запела печально...

Не в Москве было, во Питере,  
Во Мещанской славной улице,  
Тут жена мужа потребила,  
Вострым ножиком зарезала.

— Саша! — крикнул князь, повторяя последние слова песни. — А ведь это хорошо — «правый локоть на окошечко, горючи слезы за окошечко», и делу конец, а милый-то под окошечком ждет, смеется над старым мужем. Теперь ты вот эту спой, в ней подробности хороши...

Петельку на шею  
Накидывала,  
Милому в окошко  
Конец подавала...

— Ведь подходит как — именно сегодня. Будто для нас писано. Ну, Саша...

Саша испуганно и серьезно запела:

Толстый узник  
Не оборвется,  
У старого плеча  
Не оторвется.  
Старый захрипел —  
Будто спать захотел,  
Ногами забил —  
Будто шут задавил,  
Руки растопырил —  
Плясать пошел,  
Зубы оскалил —  
Смеяться стал.

— Я бы, Алексей Петрович, плясовую лучше, — перебила она поспешно.

Князь двинул стол и, хлопая в ладоши, стал топтать ногой. Саша закружилась, поводя руками, приговаривая чашечку.

Кумачевые юбки ее развились колоколом, и под ними ноги в белых чулках и козловых башмаках поплыли, при-топывая.

Образцов засеменял около Саши, крича: «Гляди, гляди!» Иван Ртищев, разгораясь, не выдержал, уперся в бок и пошел ходить присядкой, отбрасывая полы. Цурюпа, хихикая, сорвал с волос Саши платок.

— Не трогай ее, хам!—закричал князь.

Маленькая Сашина головка, с черными косами, вертелась на полной шее, как подсолнух к солнцу,—солнцем был князь. Он сидел бледный и пьяный, с высохшим ртом. Вдруг Саша, закружась, упала к нему на лавку и, обнимая, прижалась к плечу.

— Девоч!—заревели братья Ртищевы.—Девоч давай!

Обиженный Цурюпа ушел в светелку и лег, стараясь не помять смокинга, на Сашину кровать...

— Любопытный сюжет,—пробормотал он, вытирая платком лицо.—Интересно будет порассказать, как наш князюшка веселится... Это хваленый-то жених... «Хам». Я ему и припомню хама. Эх, сволочи вы все!

В это время распахнулась дверь, осветилась светелка, вылетел из табачного дыма и грохота Образцов, придержался за притолоку, кинулся к выходу и скрылся во дворе.

— За девками,—продолжал Цурюпа.—Погодите, теперь устрою бал—брошу вам собачий кусок,—из Москвы Шишкина хор выпишу. Да не то что Шишкина, самого Шаляпина позову... Гонор тономом, а денежки вы все любите.

Долго Цурюпа размышлял, какие сносшибательные штуки он придумает для утирания дворянского носа. Наконец со двора в светелку, шушукаясь и упираясь, вошли четыре солдатики,—их подталкивал Образцов, громко шепча:

— Дуры, чего боитесь, не съедим, а сладенького поднесем, погреемся.

Дверь за бабами закрылась. Изнутри поднялся визг и жеребячий хохот Ртищевых. И сейчас же в светелку вышли князь и Саша.

— Куда ты, голубчик? Не ездят,—говорила Саша.

Князь, не отвечая, прошел на крыльцо. Здесь, на столбике, висел глиняный рукомоийник. В сумерках сквозь дверь было видно, как князь налил воды в ладони, плеснул на лицо и вытерся. Саша, охватив другой столбик, продолжала просить:

— Она молоденькая, разлюбит тебя, а мне ничего не надо, и я пьяного тебя спать уложу. Не ездят... Завтра поедешь, если надо, миленький.

— Ах, пожалуйста, оставь, что за слова, ты сама пьяна, должно быть!—ответил князь.

Саша смолчала. Князь перевел дух, кликнул лошадей и сошел по лесенке вниз. Саша продолжала стоять у столби-



ка. На дворе затопали кони, кучер их обласкивал. Потом тяжело заскрипели ворота, и голос князя приказал:

— Волково...

Коляска укатила. Саша отошла от столбика и села на ступеньках, по которым ступал Алексей Петрович. Неподвижная и темная ее фигура с локтями на коленях и опущенной простирающейся головой и наверху неровные линии надворных крыш и шест колодца — хорошо были видны в ночном сумраке сквозь четырехугольник двери.

Все это казалось Цюрипе до того знакомым и тоскливым, что он стал морщиться, думая: «Русский ландшафт. — чорт бы все это побрал. Уеду совсем в Париж, в самом деле, денег, что ли, у меня мало?.. А про князя все будет должено, кому надо. Ну и прохвост...»

За дверью все громче топали ногами, роготали и вскрикивали, много веселясь.

## КАТЯ

### I

Александр Вадимыч перекрестил, поцеловал дочь и подошел в туфлях к дивану, где приготовлена была ему постель.

Катя притворила дверь кабинета и, закутав плечи в пуховый платок, вышла в зал. На старом паркете лежал переплетами окон лунный свет. Углы зала, где стояли диваны, были в тени. Глядя на лунные квадраты на полу, Катя поднесла к щеке ладонь и вдруг усмехнулась так нежно, что сердце у нее стукнуло и замерло.

«Еще рано! — подумала она. — Может быть, он ждет? Нет, нет, все-таки нужно обождать».

Она приподняла с боков платье и, сделав страшные глаза, стала кружиться...

Невдалеке в это время хлопнула дверь; Катя сразу присела: вдоль стены шел Кондратий, неся свечу и платье Волкова.

Увидев барышню на полу, он остановился и пожевал губами.

— Я думала — это привидение идет, — сказала Катя срывающимся на смех голосом. — А это ты, Кондратий. Кольцо потеряла, поди поищи.

Кондратий подошел и наклонился со свечой к паркету.

— Какое кольцо? Нет тут кольца никакого.

Катя засмеялась и убежала в коридор... За дверью она высунула язык Кондратию и, нарочно топая, пошла как будто к себе, но, не дойдя до конца коридора, где висел ковер, стала в нишу окна, от смеха закрывая рот.

Когда воркотня и шаги обманутого Кондратия затихли, Катя вернулась на цыпочках в зал и через балконную дверь проскользнула в сад. Там под темными деревьями она остановилась — стало вдруг грустно.

«Я наверно ему надоела, — подумала она. — А если не надоела, так надоем. Что он во мне нашел? Разве я его утешу?»

Он столько страдал, а я с глупостями пристаю. Хороша героиня!»

Она до того огорчилась, что присела на дерновую скамью. «Настоящая героиня ничего не ест, ночью разбрасывает простыни, и на груди у нее дышат розы, не то, что я — сплю носом в подушку...»

Катенька вдруг громко засмеялась. Но огорчение еще не прошло... Вдалеке ухали и квакали прудовые лягушки. За деревьями между черных и длинных теней трава от лунного света казалась седой.

Катя вдруг вытянула шею, прислушалась — и побежала по аллее, придерживая за концы платок. К щеке прилипла паутина. Катя смахнула паутину, и там, где аллея заворачивала вдоль пруда, раздвинула кусты смородины, чтобы сократить путь, и, цепляясь за них юбками, вышла к мосткам. За беседкой над прудом стоял месяц, светя в воду и на глянцевиные листья кувшинок. В беседке у откидного столика, где обычно пили с гостями чай, сидел, подперев обе щеки, Алексей Петрович. Катеньке показалось, что он широко открыл глаза, смотрит и не видит.

«Что с ним?» — быстро подумала она и позвала:

— Алексей Петрович!

Князь сильно вздрогнул и поднялся. Катя, смеясь и говоря: «Спал, спал, как не стыдно», сбегала к нему по зыбким доскам.

Алексей Петрович припал губами к ее руке и проговорил шепотом, как после долгого молчания:

— Спасибо, спасибо...

— Вы опять думали о себе? — спросила Катя ласково и села на скамью, положив локоть на ветхую балюстраду. — Ведь я просила не думать. Вы очень хороший, я все равно знаю...

— Нет, — тихо, но твердо ответил Алексей Петрович. — Катя, милая, мне очень, очень тяжело. Подумать только, что я делаю?.. Вы любите меня немножко?

Катя усмехнулась, отвернув голову, — не ответила. Князь сел рядом, глядя на ее волосы, лежащие ниже затылка, на свальную щеку, четкую на зеркале воды. Пovyше, над головой ее, в тенетах висел паук.

— По дороге сюда я думал: сказать вам или нет? Если не скажу, то никогда, быть может, не посмею больше прийти, а если рассказать — вы сами отвернетесь, будет тяжело, но постараетесь меня забыть... Что же делать?

— Сказать, — ответила Катя очень серьезно.

— А вы не подумаете, что я лгу и прикидываюсь?

— Нет, не подумаю.

— Я сделал много плохих вещей, но одна не дает жить, — с трудом, с хрипотцой сказал князь. — Вот так всегда бывает: думаешь, что забыл уже, а гадость, которую сделал давно, становится определенной гадостью, и жить от нее нельзя...

— Я прошу, рассказывайте, — повторила Катя, и руки ее, держащие концы платка, задрожали.

— Вот-вот, я так и думал, что нужно сказать. Это было очень давно. Нет, недавно, в прошлом году... Я встретил одну даму... Она была очень красива. Но не в этом ее сила... Она душилась необычайными духами, они пахли чем-то невыразимо развратным. Вот, видите, Катя, что я говорю. Так нельзя... Не оглядывайтесь... До этой встречи я не любил ни разу. Женщины казались мне такими же, как мы, той же природы. Это неправда... Женщины, Катя, живут среди нас, как очень странные и очень опасные существа. А та была еще развратна и чувственна, как насекомое. Это ужасно, когда развратна женщина. Я жил, как в чадy, после встречи... Я чувствовал точно острый ожог.

Алексей Петрович вдруг остановился и поднес пальцы к вискам:

— Я не то говорю. Я мучаю вас. Поймите — все это прошло. Я ненавижу ее теперь, как только могу... Она околдовала меня, сошлась и бросила, словно раз надетую перчатку. Я потерял рассудок и стал преследовать ее... Словно жаждал — дали воды, коснулся губами, а воду отстранили: тянешься, а рот высох, как в огне... Однажды после бала, в отчаянии, быть может, со зла, при всех я ее поцеловал. На следующий день меня встретил муж этой дамы и пригласил к себе за какими-то билетами. Я предчувствовал, зачем зовут, — и поехал. Помню, было морозное утро, и я так тосковал, глядя на снег! Муж ее сидел в кабинете у стола и, когда я вошел, тотчас опустил голову. Он держал в толстых руках серебряную папирсочницу. Я глядел, как его пальцы, короткие и озябшие, старались схватить папироску и не могли — дрожали. Такие папироски я купил потом. А на столе, поверх бумаг, увидел хлыст, окруженный белой проволокой. Я стоял перед ним, а он все глядел на папироски. Вдруг я сказал развязно: «Здравствуйте же, где ваши билетки?» — и протянул руку почти до папирсочницы, но он руки не подал, сердито замотал жирным лицом и сказал: «Ваше поведение я нахожу непорядочным и подлым...» Тогда я закричал, но, кажется, очень негромко: «Как вы смеете!» А он задрожал, как в лихорадке, лицо его затряслось, схватил хлыст и ударил меня по лицу. Я не двинулся, не почувствовал боли. Я увидел, что на жилете его две пуговицы расстегнуты, как у толстяков. Он же проговорил: «Так вот тебе», — перегнулся через стол и стегнул еще раз по воротнику, потому что я глядел в глаза. Я поспешно сунул руку в карман и вынул револьвер. У него тоже в руке появился револьвер, и он двинулся ко мне, даже улыбаясь от злости, а я смотрел на свинцовые пульки и темную дыру в его револьвере... Ужасно! Я почувствовал, что не могу умереть, не могу убить, и попятился, — задел ковер у зеркала. В зеркале отражалась раскрытая дверь, а в двери стояла та дама, в шляпке и длинных перчатках. Она сжала рот и внимательно следила за нашими движениями. «Я пришлю секундантов», — сказал я. Тогда муж топнул ногой и закричал: «Я тебе покажу секундантов, щенок! Вон отсюда!» Я закрыл глаза и поднял револьвер. А он ударил меня по руке, потом по глазам, и я упал на ковер. Потом я поднялся, в прихожей надел пальто.

А он, стоя с хлыстом в дверях, провожал меня, словно гостя, но больше не ударил...

Алексей Петрович перевел было дух, но сейчас же продолжал поспешно:

— Мне оставался один выход. Я три дня в ознобе лежал на кровати, лицом к стене. Я не мог спать и припоминал все, как было: как я пришел, а он держал папиросочницу, — все мои слова, и как он стегнул... Тут я принимался ворочаться и соображать: что нужно было сделать? Как бы я сейчас, например, расправился... Я сел на кровати и скрипел зубами... Но воля моя опустилась... Я знал, что нужно встать, поехать в магазин купить новый револьвер (старый остался у него в прихожей), поехать туда и убить. Но я не мог этого сделать, опрокидывался на постель и глядел на обои. Наконец я понял, что нужно думать о другом: я стал припоминать корпус и деревню, куда ездил в отпуск. Мне стало жаль себя, я заплакал и уснул. Пробудился я наутро с тою же жалостью к себе. Не хотелось мне верить, что случилось — зло. А я ведь должен совершить еще худшее. Так недавно я еще был свободен. Но я должен, должен, должен дойти до конца... Ужаснее всего, что я не волен... Я оделся, вышел на улицу, поднял воротник, крикнул извозчика и сказал адрес оружейного магазина, но сейчас же подумал: выбирать для этого револьвер я не могу, лучше ткну его саблей... На углу, близ его подъезда, я слез и стал ходить по тротуару.

Мимо, как сейчас помню, прошел старый генерал, с бакенбардами и багровым носом. Было ясно и морозно. «Нужно, — подумал я, — попросить у него прощения, тогда все устроится. Нет, нет. Люди совсем не любят, они злые и мстительные, нужно оскорблять их, убивать, надругиваться...» В это время на меня наскочил какой-то армейский офицер, розовый, совсем мальчик, преобильно толкнул и вежливо извинился... Но я уже потерял голову и крикнул ему: «Дурак!..» Офицер ужасно сконфузился, но, заметив, что я гляжу в упор, нахмурился и сказал, подняв курносое личико: «Милостивый государь...» — и еще что-то. Я оскорбил его и тут же вызвал на дуэль. Наутро мы дрались, он прострелил мне ногу. Бедный мальчик, он плакал от огорчения, присев около. Я лежал на снегу, лицом к небу, ясному и синему... Тогда было хорошо. Вот и все...

Катя долго молчала, спрятав руки под платком, потом резко спросила:

— А та женщина?

Алексей Петрович соскользнул со скамьи к ногам Катеньки, коснулся лбом ее колен и проговорил отчаянно:

— Катюша милая, простили вы? Поняли? Ведь это не просто... Я вам не гадож?

— Мне очень больно, — ответила Катя, отстраняя колени. — Прошу вас, оставьте меня и не приезжайте... несколько дней.

Она встала. Подавая пальцы князю, отвернулась и медленно пошла через мостки на берег к темным деревьям. За ними ее платье, белое от лунного света, ушло в тень.

Долго глядел на это место Алексей Петрович, спустился по ступенькам к воде и горстью стал поливать себе на лицо и затылок.

Катя вошла на цыпочках к себе, зажгла свечи перед зеркалом туалета, сбросила пуховый платок, расстегнула и сняла кофточку и вынула шпильки, — волосы ее упали на плечи и грудь.

Но гребень задрожал в ее руке, ладонью прижала она мягкие волосы к лицу и опустилась в полукруглое кресло.

За этот прошедший час она услышала и пережила так много, что, хотя не поняла еще ни зла, ни правды — ничего, знала уже и чувствовала, что пришло несчастье.

Всего какой-нибудь час назад ей казалось, будто она с князем — одни во всем свете и до них, конечно, никто так нежно не любил. И как тяжелые волосы оттягивают голову, так чувствовала Катя в сердце горячую тяжесть любви. До этой любви она не жила. И князь разве мог жить до нее? Он явился вдруг, и весь он — ничей, только Катин. Так было всего час назад.

— Ах, все это чудовишно, — прошептала она. — Так подробно все рассказать. Ведь грязь пристанет, ее не отмоешь... Он был всегда грустный, — так вот почему? Конечно, он и сейчас любит ту... Конечно, иначе бы не тосковал, не рассказывал бы. А эти побои по лицу, по глазам, по его глазам... Я не смела их даже поцеловать... И он ничего не сделал, не бросился, не убил... Бессильный, ничтожный... Да нет же, нет... если бы ничтожный был — не рассказывал бы. А потом лежал, один, три дня и тосковал. Глаза грустные, замученные. Я бы села на кровать, взяла его голову, прижала бы... Один, один, в тоске, в муке... И никто, конечно, не понимает, не жалеет его... Но я-то не дам в обиду... Поеду к этой женщине, скажу ей, кто она такая... Ох, боже мой, боже мой, что мне делать?

Катя провела языком по пересохшим губам и долго потемневшими, невидящими глазами всматривалась в зеркало. Затем медленным движением откинула на голую спину волосы. Покрытые ее плечи и руки и начало выпуклых грудей, полуприкрытых кружевами, были белы, как выточенные... Щеки пылали. Наконец она увидела себя и гордо усмехнулась.

«Вот я такая, — подумала она. — Меня никто не трогал и не посягнет, а он — нечистый и побитый».

Она быстро встала, освободилась от лишнего белья, неспеша заплела косу, но когда доплетала до конца, остановилась, задумалась, тряхнула головой и легла в кровать.

Второе овальное зеркало на стене отразило широкую и низкую, бабину еще, кровать на бычьих ногах и в подушках разгоревшееся лицо Кати с презрительно сжатым ртом. Губы ее дрогнули, она прошептала:

— Еще и я его обижу, — и, быстро повернувшись ничком, она, как девочка, заплакала, вздрагивая плечами.

После слез Катя забылась. В белой ее высокой комнате горели две свечи, бросая темные и теплые тени от мебели на ковер. Было так тихо, что казалось, могло само пошевеливаться платье, брошенное на стуле. В углу принялся сухо и надоедливо трещать сверчок.

Потом из-за кровати появился сухой, как соломинка, высокий и красный человечек. Не касаясь пола, он стал подпрыги-

вать и дрыгать ногами, держа в руках тонкие проволоки. Они тянулись и опутывали Катю, а человечек все подпрыгивал.

Потом одеяло стало свертываться, легло, словно камень, на грудь, и ноги застыли. И над головой завертелись, сходясь и расходясь, красненькие проволоки, кольца... Человечек прыгнул верхом на грудь и схватил за горло...

Катя крикнула, приподнимаясь на подушках. Протянутыми руками хотела столкнуть тяжесть. Свет от свечей уколол глаза, и она опрокинулась вновь... У ней начался жар.

## Д О Н О С

### I

Этой же ночью Александр Вадимыч спал очень хорошо — комары его не кусали, а проснулся он, по обычаю, рано.

Разлепив глаза, Александр Вадимыч протянул руку за кружкой с квасом, выпил, крикнул, перевернулся на спину, отчего затрещали пружины в тюфяке, сделал свирепое лицо и, сказав «пли!», сел, сразу попав ногами в войлочные туфли.

После этого он решился посидеть немного и с удовольствием оглянул комнату. Кабинет был старый и облезлый, в нем ничего не переделывалось со смерти отца: на одной стене висели хомут, расписная дуга и сбруя, подаренная еще прадеду Алексеем Орловым. У стены противоположной стояло собачье чучело и черкесское седло на подставке. В углу свалены образцовые косы, серпы и лопаты. Над диваном прибиты фотографии любимых лошадей, а на письменном столе лежали — переплетенная за много лет сельскохозяйственная газета, всевозможные семена на бумажках, счета, груды мундштуков и прочих мусор.

Александр Вадимыч, скучая зимой, когда снегом заносило крыши дворов и свистела, выла метель, придумывал разные занятия и выписывал для этого приборы из Берлина и Москвы... Так однажды понадобилась ему автоматическая машинка для чинки карандашей, и Кондратий повсюду разыскивал сломанные карандаши, относил их барину... Потом увлекся Александр Вадимыч фотографией, и тогда повсюду лежали негативы и мензурки с кислотой. Иную зиму вырезывал он из картона и клеил примерные хутора, мельницы и сельскохозяйственные машины. Однажды, узнав от заезжего землемера, что можно домашним путем провести электричество, выписал все для этого нужное и осветил, после многих трудов, кабинет; обещался даже Катеньке провести электрический свет, но лето отвлело Александра Вадимыча от этой затеи, — с первым шумом весенних вод начинал чувствовать он, как бежит в жилах кровь, и предавался лишь благородным зачатиям: в марте случал коней, в апреле гатил плотины, в мае наезжал лошадей, а там — покос, жнивьё, молотья и осень, когда все пьяным-пьяно и везде свадьбы.

Александру Вадимычу надоело сидеть на постели, и он крикнул бодро:

— Кондратий, штаны!

Кондратий вошел, держа на руке просторные штаны, поклонился и сказал:

— С благополучным вставанием.

— Ну, как, все благополучно?—спросил Александр Вадимыч.

— Ничего, слава богу, все благополучно.

— Ничего не случилось, а?

— Будто ничего.

— А мужики приходили?

— Мужики действительно приходили.

— Что же ты им сказал?

— Да сказал, что, мол, барин велел в шею гнать.

— А они что?

— Да ничего. Потеснились. Одно занятие — затылок чесать, ежели скотину выгнать некуда...

— Это еще что за разговор? Смотри, Кондрашка...

Александр Вадимыч свирепо уставился на Кондратия, который отвернулся, пожевал и молвил:

— Барышня у нас будто захворали.

— Как так?

— Так и захворали, всю ночь метались... Вот что.

Александр Вадимыч сказал «гм» и поморщился. В то, чтобы Волковы могли хворать, он не верил, а если дочь не спала ночью — значит, одолевала ее девичья дурь, от которой лечат свадьбой. Вот предстоящая свадьба и была причиной, почему Александр Вадимыч поморщился. Где найти подходящего жениха? Чорт его знает! Намечается, пожалуй, князь, но как его сосватать, когда он в дом ездит, даже по ночам, говорят, видается с Катей в саду, а не сватается — нахал. Все это канительно до тошноты, и было бы хорошо, например, заснуть с вечера, а наутро Кондратий бы сообщил: «Барышня заму жем-с...»

— А, чорт, расстроюсь я с вами,— сказал наконец Александр Вадимыч, повернул голову, кашлянул и плюнул. Потом протянул Кондратию ноги, застегнул на костяную пуговицу просторные штаны, встал и, сказав: — Распорядись Кляузницу в дрожки заложить,— подошел к умывальнику.

Умывальник был устроен в виде фаянсового кувшина, который, если коснешься его носика, перевортывался на ушках и облигал сразу и много. Александр Вадимыч, фыркая, помылся, надел парусиновый кафтан, от долгого ношения принявший форму тела, обозначив даже сосочки на грудях, и прошел в столовую.

В столовой за кофе Александр Вадимыч вспомнил о дочери, опять поморщился и направился к ней по коридору.

Катя лежала в постели, осунувшаяся и бледная. Привстав, она поцеловалась с отцом — рука в руку — и вновь опустилась на подушку, заснула обе ладони под щеку, закрыла глаза.

— Ах ты, кислятина,— сказал Александр Вадимыч, сильно потерев указательным пальцем нос.— За доктором, что ли, послать?

Катенька, не открывая глаз, медленно покачала головой. Тогда Александр Вадимыч, из упрямства, тотчас приказал

Кондратию гнать в Колывань и тащить доктора живого или мертвого. Потом потрепал дочь по щеке. Вышел на крыльцо и, упершись в бока, залюбовался гневной кобылой, запряженной в дрожки.

Кобыла Кляузница поводила налитыми глазами, прятала ушки и приседала, дожидаясь, когда ее отпустят, чтобы накуролесить.

— Шельма кобыла, — весело сказал кучер, держа под уздцы Кляузницу, — утрась конюху ужасно всю руку вырызла.

— За увечье поднести надо, Александр Вадимыч, — проговорил конюх, снимая шапку.

— Ладно, поди на кухню, — ответил Александр Вадимыч, сошел с крыльца и с удовольствием почувствовал легкую дрожь. Сдержав себя, сел верхом на дрожки, разобрал вожжи, глубже надвинул белый картуз и сказал негромко:

— Пускай.

Кучер отпустил. Кляузница не двигалась, шумно только вздохнула, раздула розовые ноздри.

Александр Вадимыч сказал: «Но, милая» и тронул вожжой. Кляузница попятилась и присела. Кучер хотел было опять схватить под уздцы, но Волков крикнул: «Не тронь!» и хлеснул обеими вожжами.

Кляузница рванулась, села и вдруг «дала свечку». Волков еще ударил, тогда она махнула задом, окатила седока и поехала... Конюх и кучер побежали вслед. Но Кляузница уже вынесла на дорогу, и Александр Вадимыч, тщетно натягивая вожжи, отплевывался только, пыхтел и выкатывал глаза. Кучер же и конюх, добежав до околицы, ударили себя по коленкам, хохоча и приговаривая: «Это тебе не квас...»

Кляузница скакала без дороги по бьющей по ногам траве, лягалась, взвизгивала и всячески старалась вывернуть дрожки, но Александр Вадимыч сидел крепко, с усами по ветру, и старался направить кобылу вверх, на холмы.

Это ему удалось, но Кляузница, выскакав на горку, за которой скрылась усадьба, выдумала новую штуку — ложиться в оглоблях на всем ходу.

Волков этого не ждал и, когда лошадь упала, слез с дрожек, чтобы помочь ей подняться.

Но Кляузница сама проворно вскочила, опрокинула Волкова и унеслась по полю, трепля дрожки...

Необыкновенно досадно стало Александру Вадимычу, побегал он было за Кляузницей, но тут же загорелся и лег отпыхаться у прошлогоднего стога.

В это как раз время, неподалеку стога, по дороге, трусцой проезжала плетушка, запряженная парой кляч в веревочной упряжи...

Сидящие в плетушке отлично видели позор Волкова, остановили клячу, и знакомый голос крикнул из плетушки:

— Александр Вадимыч, не расшиблись?

Волков посмотрел на проезжих и выругался про себя. В плетушке, повесив голову, спал Образцов, по траве к стогу бежал Цурюпа, в смокинге и лакированных башмаках...



«Увидал, мерзавец, — подумал Волков. — Теперь по всему уезду раззвонит, что меня паршивая кобылашка обошла».

Цурюпа, добежав, поддернул брюки и присел над Волковым: — Боже мой, вы без чувств!

Волков тотчас же сел:

— Что вы все пристали ко мне, в самом деле! Ездил, ездил, утомился и лег в холодке.

— А где же лошадь ваша, Александр Вадимыч?

— Ах, чорт возьми, ушла... Вот неприятность!.. Стояла все время смирно, — должно быть, мухи засли.

— Лошадь на хутор ускакала, мы с горы видели, — сказал Цурюпа. — Но это пустяки... Я очень рад, что мы встретились, я хотел сам к вам пожаловать и сообщить очень важное.

Он наклонился к уху Волкова и прошептал:

— Должен предупредить: князь Краснопольский, Алексей Петрович, прямо-таки подлец, только между нами.

— Что такое? — спросил Александр Вадимыч, вставая на четвереньки, потом во весь рост. Одернул кафтан и добавил: — Опять сплетня?

— Ах, я сам не люблю сплетен, — поспешно продолжал Цурюпа. — Это моветон, но из дружбы к вам, притом же замешана честь. Вчера, видите ли, приехали к нему обедать — я, Ртищевы и Образцов, — полюбуйте, в каком он виде сейчас. Излишество, конечно, у князька за столом — прямо непристойное. После обеда всевозможные самодурства, и предлагает вдруг ехать в Колывань к девкам. Что за манера! — но компания. Поехали. В Колывани все напились до полной потери культуры и — привели четырех голых девок.

— Голых? — переспросил Александр Вадимыч.

— В том-то и дело... Противно ужасно, но думаю — пусть покажет себя князек до конца. И, представьте, что он выкинул? — Цурюпа на миг приостановился, глядя в глаза Волкову, который внезапно крикнул и подмигнул. — Представьте — около полуночи князек выбежал на двор и кричит: «Эй, лошадей, еду в Волково...»

— Ко мне? — спросил Александр Вадимыч.

— Ну да же, поймите... Это ужасно щекотливо: конечно, он сжал к вам — Александру Вадимычу, но, как бы изящно выразиться, — люди могут подумать, что и не к вам.

Цурюпа для ясности растопырил пальцы перед носом Александра Вадимыча, который вспыхнул, вдруг поняв намек:

— Ах ты, болван!

Но Цурюпа слишком уже разошелся и поэтому, не обидясь, продолжал еще поспешнее:

— И действительно, к вам ускакал, и все, знаете ли, принялись такие штуки неприличные отмачивать, что я закричал, приказал прямо: довольно гнусных сцен, едем отсюда! Но мы своих лошадей в Милом оставили, — вот и плетемся на земских. Я давно говорил: этого князька нельзя принимать. Да и князек ли он, не еврей ли?

Но Александр Вадимыч уже не слушал Цурюпу. Подогретый к тому же афронтом с Кляузницей, освирипел он до

того, что не мог слова вымолвить, и только сопел, раскрыв рот, отчего Цурюпа даже струсил. Наконец Волков выговорил:

— Да где же этот мерзавец? Подать сюда лошадей! Запорю!

— И отлично, и отлично, доедем на клячах до меня, а оттуда вместе нагрянем в Милое и Ртищевых захватим! пусть даст отчет, — шептал Цурюпа и, завиваясь ужом, бежал за Волковым к тарантасу, радуясь, что отомстил за вчерашнего «хама».

## II

Только после обеда выехали разгоряченные вином всадники из усадьбы Цурюпы в Милое.

Впереди на косматом сибиряке, храпевшем под тяжестью всадника, скакал, раскинув локти, Волков. За ним неслись братья Ртищевы, поднимали нагайки и вскрикивали:

— Вот жизни! Вот люблю! Гони, шпарь!

Ртищевым было все равно — на князя ли итти, стоять ли за князя, — только бы ветер свистел в ушах. К тому же, после уговоров Цурюпы, они решили покарать безнравственность.

Позади всех, помятый, угасший, но в отличной визитке, рейтузах и гетрах, подпрыгивал на английской кобыле Цурюпа.

Швыряя с копыт песком, мчались всадники по тальниковым зарослям, и чем меньше оставалось пути до Милого, тем круче поднималась рыжая бровь у Волкова, другая же уезжала на глаза, и он выпячивал нижнюю челюсть, с каждой минутой придумывая новые зверства, которые учинит над князем.

Алексей Петрович, тревожно проспав остаток ночи, взял прохладную ванну, приказал растереть себя полотенцем и сидел у рояля, в малом круглом зале с окнами вверх из цветных стекол.

Рояль был в виде лиры, палисандровый, разбитый и гулкий. Князь проиграл одной рукой, что помнил наизусть, — «Chanson triste». Солнце сквозь цветные стекла заливало паркетный пол, на котором мозаичные гирлянды и венки словно ожили. На синем штофе стен висели скучные гравюры и напротив рояля — портрет напудренного старичка, в красном камзоле, со свитком в руке. Все это — и пестрые диваны, и круглые столы, и ноты в изъеденных корешках — было нежилое, ветхое и пахло тлением. Алексей Петрович, повернувшись на винтовом стуле, подумал:

«Они глядели через эти пестрые окошки, слушали вальсы, лежали на диванах, любили и целовались втихомолку — вот и все, — потом умерли. И насыженный дом, и утварь, и воспоминания достались мне. Зачем? Чтобы так же, как все, умереть, истлеть!»

Он снова перебрал клавиши, вздохнул, и усталость, разогнанная не надолго ванной, снова овладела им, согнула плечи. Он проговорил медленно:

— Милая Катя!

И закрытым глазам представилась вчерашняя Катенька, ее повернутый к лунному свету профиль и под пуховым платком покотое плечо. Прижаться бы щекой к плечу и навсегда успокоиться!

«Разве нельзя жить с Катей, как брат, влюбленный и нежный? Но захочет ли она такой любви? Она уже чувствует, что — женщина. Конечно, она должна испытать это. Пусть узнает счастье, острое, мгновенное. Забыться с нею на день, на неделю! И уехать навсегда. И на всю жизнь останется сладкая грусть, что держал в руках драгоценное сокровище, счастье и сам отказался от него. Это посильнее всего. Это перетянет. Сладко грустить до слез! Как хорошо! Вчера ведь так и кинулась, протянула руки. Зацеловать бы надо, ах, боже мой, боже мой... Рассказал ей пошлейшую гадость... Зачем? Она не поймет... Не примет!»

Алексей Петрович провел по лицу ладонью, встал от ро-  
яля, лег навзничь на теплый от солнца диван и закинул руки за голову. В дверь в это время осторожно постучался лакей, — доложил, что кушать подано.

— Убирайся, — сказал Алексей Петрович. Но мысли уже прервались, и, досадуя, он сошел вниз, в зал с колоннами, где был накрыт стол, мельком взглянул на лакея, — он стоял почтительно, с каменным лицом, — поморщился (еще бродил у него тошнотворный вчерашний хмель) и, заложив руки за спину, остановился у холодноватой колонны. За стеклянной дверью, за верхушками елей садилось огромное солнце. Печально и ласково ворковал дикий голубь. Листья осины принимались шелестеть, вертяться на стеблях, и затихали. Все было здесь древнее, вековечное, все повторялось снова.

«Я изменюсь, — думал Алексей Петрович. — Я полюблю ее на всю жизнь. Я люблю ее до слез. Милая, милая, милая... Катя смирит меня. Господи, дай мне быть верным, как все. Отними у меня беспокойство, сделай так, чтобы не было яду в моих мыслях. Пусть я всю жизнь просижу около нее. Забуду, забуду все... Только любить... Ведь есть же у меня святое... Вот Саша — пусть та отвечает. Сашу можно замучить, бросить! Она кроткая: сгорит и еще благословит, помирая».

Алексей Петрович сунул руку за жилет, точно удерживая сердце, — до того билось оно все сильнее, пока не защемило. Он крепче прислонился к колонне. На лбу проступил пот. Алексей Петрович подумал: «Надо бы брому», шагнул к широкому креслу и опустил в него, обессиленный припадком чересчур замотанного сердца.

А в это время в доме захлопали двери, затопали тяжелые шаги. Лакей с испуганным лицом пробежал к дверям, дубовые половинки их распахнулись под ударом, и в зал ввалился Волков, за ним Ртищевы и Цурюпа.

— Поддай мне его! — закричал Волков, поводя выпученными глазами. Обеденный стол он пихнул ногой так, что зазвенела посуда. — Он еще обедать смеет! — Потом шагнул к балконной двери и, увидев между колонн князя, который, ухва-

тятся за кресло, глядел снизу вверх, проговорил, выпячивая челюсть: — За такие, брат, дела в морду бьют!

— Да, бьют! — заорали Ртищевы за его спиной.

Цурюпа же, стоя у двери, повторял:

— Господа, господа, все-таки осторожнее.

Князь побледнел до зелени в лице. Он подумал, что Катя все рассказала отцу. Теперь его — битого — оскорбят еще. Так же свистнет блестящий хлыст. Опять нужно будет лечь, кусать подушку...

Но Волков под взглядом князя вдруг притих, словно стало ему совестно. Такой взгляд бывает у перешибленной собаки, когда подойдет к ней работник с веревкой, чтобы покончить поскорей — удушить, — защита ее в одних глазах. У иного и рука не поднимется накинуть петлю, — отвернется он, отойдет, кинет издали камешком.

Так и Волков попятился и проговорил, опуская бровь:

— Ну, что уставился? Так, брат, не годится поступать хоть ты и хорошего рода. Я все-таки — отец. Ты пьянствуй, а девицу марать не смей!

При этих словах он опять запыхтел и закричал, наступая:

— Нет, побью, сил моих нет!

— Что я сделал? — тихо спросил Алексей Петрович, начиная вздрагивать незаметно от острой радости, — самое страшное миновало.

— Как что? С Сашкой безобразничаешь, а потом при всех хвастаешь, что ночью ко мне ездешь. Я тебя и в глаза не видал. На весь уезд меня опозорил.

Алексей Петрович быстро поднялся, не сдержав легкого смеха. Схватил удивленного Волкова за руки.

— Идем, дорогой, милый, — увлек Александра Вадимыча на балкон и, прильнув к его плечу, пахнущему потом и лошадью, проговорил: — Я люблю Катю, выдайте ее за меня. Милый, я изменился... Теперь все перегорело...

Он задохнулся. У Волкова голова затряслась от волнения:

— Так, так, понимаю. Ты вот как обернул? Это совсем дело другое. Я и сам хотел... Только ты, братец, как-то сразу. Экий ты, братец, торопыга. — Он потер лоб и окончил упавшим голосом: — Я по саду пройдуся, — в кусты. Дело важное, не бойся, — только отойду немножко...

И Волков, тяжело ступая, спустился с балкона. Князь вернулся в зал и, крепко сжав сухие кулаки, сказал сквозь зубы Ртищевым и Цурюпе:

— Пошли вон!

Волков не любил медлить и раздумывать, если чего-нибудь ему очень захотелось. Поэтому, посидев в кустах, он вернулся и объявил князю, что этим же вечером нужно все покончить. Сам пошел на конюшню, где долго ругал конюхов, хозяйским глазом уличив их в нерадении. Походя заглянул во все стойла и в каретники и, уже идя обратно, крикнул князю, стоящему на крыльце:

— Ну, батенька, ты меня прости, а ты фефела — так запустить конюшню! Вот, слава богу, уж я у тебя порядки наведу.

Князь же только смеялся мелким смешком. Смешок этот нельзя было удержать, он боялся его и чувствовал, что не ждaть добра. Поэтому, когда Волков, выбрав лучшую коляску, велел запрячь в нее вороную тройку и повез Алексея Петровича к себе, князь держался во время дороги так странно, что, когда они проехали полпути, Волков сказал, покосясь на спутника:

— Что ты такой неудобный стал? Перестань, говорю, вертеться, — Катерина тебе не откажет.

Но в Волкове, куда они приехали на закате, ждала их неожиданная неприятность, которая, ускорив событие, отозвалась тяжело не только на князе и Катеньке, но и на докторе Григории Ивановиче Заботкине, влетевшем во всю эту историю, как муха в огонь.

### III

Утром этого дня за Григорием Ивановичем были посланы лошади.

Он в это время, растворив окна и дверь, мыл кипятком и мылом засиженную свою избенку, повсюду раскладывал чистую бумагу, найденные под печкой глубоко неинтересные книги и останавливался иногда с тряпкой в руке поглядеть на солнышко, от которого быстро высыхали и лавки и пол.

«Люблю чистоту, — думал Григорий Иванович. — От нее на душе чисто и празднично. А день-то какой! — и гуси на воде, и облака на небе. Восторг».

Забегал на минуточку поп Василий и до того удивился, что спросил озабоченно: «Да ты здоров, Гриша?» Но с первых же его слов все понял и, боясь потревожить еще непрочную (как ему казалось) радость, поулыбался и потихоньку ушел, — Григорий Иванович и не заметил его ухода.

Казалось ему, что именно сегодня придет счастье. А если не придет? Нет, иначе быть не может.

Часу во втором к докторскому домику подкатила пара вороных, запряженная в шарабан. Григорий Иванович, удивясь, высунулся с тряпкой в руке в окошко. Кучер соскочил с шарабана, подошел к окну и спросил:

— Что, садовая голова, дома доктор или уехал?.. — Заглянул в избенку и прищурил на Григория Ивановича глаза. — Расстарайся, покличь доктора, — у нас барышня нездорова. К Волкову, скажи, Александру Вадимычу.

Григорий Иванович сейчас же отошел от окна и уронил тряпку. Сердце заколотилось,хватило дух. И ему представилась Екатерина Александровна, когда, приподняв намокшее платье, всходила она по трапу: показалась сияющая ее голова, круглые плечи и высокий стан, охваченный шелком..

«А вдруг тиф? — подумал Григорий Иванович. — Нет, не может быть».

— Эй, ты! — воскликнул он, подбегая опять к окну. — Я и есть доктор, сейчас еду! — И, уже держа в руке фуражку,

взглянул в осколок прибитого между окошек зеркала, в котором криво-накосо отразилось красное, с пухом на щеках, широкое лицо, покрытое до плеч мочальными волосами.

— Что за пакость, — отступив, пробормотал Григорий Иванович. — Действительно, — «садовая голова». Нельзя, я не могу ехать.

Он быстро присел на лавку, в недоумении наморщив лоб, но тотчас вскочил, взял ножницы и, тыча в голову их концами, стал отрезать сбоку прядь волос, которая, не рассыпаясь, упала на пол. Григорий Иванович наступил на нее и, косоротясь, резал еще и еще, окорнал себя с обеих сторон и сейчас же догадался, что сзади ножницами не достанет и, вообще, сходит с ума.

Бубенчики позванивали за окном, кучер нарочно громко зевал, поминая господя, а Григорий Иванович, весь в поту, подогнув колено, скривив шею, стриг затылок. Потом швырнул ножницы, схватился за умывальник, а воды не было. Неизвестно, где лежал сюртук. Кучер постучал кнутовищем о ставню, спросив: «скоро ли?» Заботкин только ногой топнул — с ним не случилось подобного, — разве во сне, когда нужно бежать, а ступни приросли, хочешь замахнуться — и руки не поднять.

— Гони, гони во-всю, — проговорил наконец Григорий Иванович, впрыгивая в шарабан. И всю дорожку прихорашивался, тер платком лицо и отчаивался. Когда же с горы стали видны пруды, сад и красная крыша Волкова, хотел выскочить. Все, что происходило с ним в этот день, было словно во сне.

На крыльце доктора встретил Кондратий и повел в дом. Григорий Иванович, вдохнув тонкий, чуть-чуть тленный запах старых этих комнат, сейчас же пошел на цыпочках, понимая, что здесь говорить нужно деликатно и делать изящные жесты, — ведь по каждой половине прошла хоть раз Екатерина Александровна, у каждого окна стояла: это был не обыкновенный дом, а чудо.

— Вот сюда, — сказал Кондратий, останавливаясь перед ковром, покрывавшим дверь. — А вы вот что, — он пожевал, — не больно на порошки-то налегайте.

И он отогнул ковер. Григорий Иванович, пробормотав: «Погоди, погоди, ну, ладно», одернул сюртучок, повел ладью по лицу, вошел, и разбежавшиеся его глаза сразу остановились на подушках, где лежала повернутая к двери затылком девичья голова. Две косы, разделенные полоской пробора, огибали шею, поверх голубого одеяла покоилась голая до локтя рука.

Григорий Иванович зажмурился, потом поглядел на красные туфельки на ковре и краешком подумал, что он — доктор Заботкин — шарлатан и куча грязных тряпок, И сейчас же забыл об этом.

А Катя в это время вздохнула и медленно повернулась на спину. Григорий Иванович в страхе попятился. Она быстро мигнула, совсем пробуждаясь, и глаза ее с удивлением остановились на вошедшем. Потом она опустила веки и покраснела.

— Ах, это вы, доктор, — сказала она. — Здравствуйте... Простите, что вас потревожили... Но папа...

Григорий Иванович с усилием подошел, Катя протянула ему теплую еще от сна руку, и он, страшно покраснев, пожал ее, спохватился, вынул часы, но стрелок не увидел, принялся ногой отбивать секунды, сейчас же понял, что запутался, погиб, выпустил ее руку и уронил часы. Тогда Катя медленно закрыла ладонями лицо, плечи ее колыхнулись, и она, не в силах сдержаться, засмеялась.

Лютый мороз пополз по докторе Заботкине, затошнило даже, а губы раздвигались в дурацкую улыбку, — будь она проклята! Наконец Катя, с глазами, полными веселых слез, говорила:

— Не сердитесь, милый доктор, ради бога объясните, что с вашими волосами? — И уже совсем громко и звонко засмеялась.

Тогда он, в отчаянии взглянув в зеркало, увидел перекошенное свое лицо, на голове пролысины, зубцы и сзади косицу...

— Это в темноте, — пробормотал он. — Я всегда имею привычку... — и, не выдержав, попятился и выскочил за дверь.

#### IV

У дверей, в коридоре, ждал его Кондратий.

— Послушай, — с отчаянием крикнул ему Григорий Иванович. — Сбегай, вели лошадь подать, сию минуту уеду, я не могу.

— Не извольте фордыбачить, — ответил Кондратий строго. — Вы не у себя-с, пожалуйста за мной.

Григорий Иванович сказал «ага» и послушно последовал за Кондратием по коридору, под лестницу, в каморку, где и сел на сундук, покрытый кошмой.

— Меня не «послушай» зовут, а Кондратий Иванович, — после молчания сказал Кондратий, прислонясь к дверному косяку, — вот что. А вы что же — барышню уморить приехали, нарочно так остриглись, для невежества?

— Кондратий Иванович, — закричал доктор, — замолчите! Я сам все понимаю!

— Слушаться надо, а не мудрить, господин доктор. Лошадей все равно не дам. А насчет Катеньки, так я ее на руках вынянчил и мудрить над ней, пока жив, никому не позволю. Лечить ее надо не порошками, а добрым словом, — хворь у нее самая девичья. Поняли? Ну, ладно. А что вы ее дурацким видом своим насмешили — это хорошо. Я и сам — был молодой — шутки откалывал. Как расколыхается барин на доброе здоровье, так в дому сразу хозяйственно, и слуги дело свое исполняют. Дайте-ка я вам подчищу. Второй раз виться в уродливом виде — невежество, а уж не смех.

Кондратий взял ножницы, и Григорий Иванович, угодливо подставив ему голову, спросил:

— Вы, Кондратий Иванович, разве барышню на руках выносили?

— Да-с, на руках, — ответил Кондратий и вдруг опустил ножницы, прислушиваясь: кто-то ходил по коридору, пробуя ручки дверей, потом не то закашлял, не то заплакал глухс.

— Будто чужой кто? — сказал Кондратий. — А?

Шум затих, и старый слуга озабоченно вышел.

Вскоре послышался его голос: «Нельзя, уходи, уходи» и другой — женский, торопливый и умоляющий. Но Григорию Ивановичу было все равно, он помылся, пригладился, почистил скюрточек и, подумав: «Конечно, я некрасив, даже мешковат, но есть известная молодость в лице и, особенно, выражение глаз», сдержанно вздохнул и вышел в сад, ожидая, когда позовут к больной.

В саду он завернул за угол дома, пошел по траве и сел на чугунную скамью, против окон, положив руку на зеленую лейку, стоящую около.

У ног, над травой, крутились пчелы, пахла медовая кашка, и запах этот, и теплое, совсем низкое солнце, залившее сквозь листву штукатуренную стену дома, и Катенькино окно с опущенной занавеской (по занавеске он и догадался, чье это окно) волновали, как музыка, и Григорий Иванович, жмурясь и подставляя затылок солнцу, чувствовал, что все в нем слабеет (да и зачем ему это свое?): он будто растворяется в свете, в тишине и все — небо, облака на небе, вода, деревья и луг — все в нем. Или он сам это расплывается, отдавая глаза — небу, душу — облакам, кровь — воде, руки — деревьям, тело — земле? Это было похоже на смерть, на сон или на любовь. «Пусть всю жизнь буду по дорогам таскаться, по вонючим избам, — подумал он. — Пусть я урод, не способен умереть за нее, — ну, нет, умереть-то я очень способен, пусть только прикажет, — что мне нужно? Ничего! Только жить, чувствовать, вдыхать...»

На балконе в это время, между облупившихся кое-где до кирпичика колонн, появился князь Алексей Петрович. Одет он был в черный скюртук и полосатые панталоны, правой рукой опирался на трость, а левой, держа перчатки, отмахивался испуганно от пчелы. Пчела улетела. Князь поспешно сошел в сад и, не замечая Заботкина, принялся в необыкновенном волнении, поднимаясь на цыпочки, смотреть на занавешенное окно.

— Не может этого быть, — проговорил он громко. — Это слишком! — взмахнул тростью, повернулся и, увидев Григория Ивановича, выпятил нижнюю губу.

«Это еще кто?» — подумал доктор, разглядывая князя. Алексей Петрович спросил:

— Вы — доктор? Кто сейчас у Екатерины Александровны? Вы знаете что-нибудь?

— А что случилось? Разве несчастье?

— Нет, впрочем, я не знаю, — Алексей Петрович сел на скамью, коснулся руки Григория Ивановича и особенно мягко заговорил: — Перед священникам и докторами не скрываются, правда? Скажите, быть может, есть средство, чтобы сердце не так болело, чтобы им владеть?

— Бром, — ответил Григорий Иванович.



— Ну да, но я не про то. Когда узнику открывают тюрьму и он с порога видит солнце, тогда ему говорят: «А мы старый грешок вспомнили,— иди назад...» — «Но я исправился...» — «Нет, иди обратно». Доктор, муж Екатерины Александровны должен быть чист и свободен, правда?

— Вы женитесь? — спросил Григорий Иванович, всматриваясь в слишком красные губы князя и беспокойные его глаза. «Руки белые какие», — подумал Григорий Иванович, и ему стало вдруг необычайно грустно.

Князь продолжал:

— Я не враг себе, пусть и она поверит, что не враг. Я мучаюсь больше ее. Не для радости же в Колывань ездил... Впрочем, вы ничего не знаете... Я приехал просить ее руки, вот... Доктор, если выйдет несчастье — вы поможете? Сейчас за окном, я знаю, на меня донос.

Он перевел дух, вздохнул, поглядел доктору в глаза и улыбнулся жалобно.

— Екатерина Александровна достойна, чтобы из-за нее страдали, — проговорил, сам не зная для чего, Григорий Иванович и, смутившись, стал нагибать лейку, пока из дудочки не потекла вода.

В это время за Катиным окном раздался вопль и его покрыл густой бас, кто-то кинулся к раскрытому окошку, занавеска заколебалась, и простоволосая женская голова опрокинулась изнутри на подоконник. Закинулись голые руки, стараясь отодрать от торла чьи-то короткие волосатые пальцы.

Затем раздался другой отчаянный женский крик, от которого Заботкин похолодел, а князь, страшно бледный, вскочил со скамейки, мучительно повторяя: «Не трогай ее, не трогай, не трогай...» Волосатые пальцы отпустили шею, голова женщины соскользнула с подоконника. Григорий Иванович хотел встать, но на колени его, хватаясь слабейшими пальцами, склонился князь, — голова его моталась.

— Это ничего, прислонитесь, вот так, сейчас пройдет, — бормотал Григорий Иванович, смачивая лоб князю водой из лейки.

## ВОДОВОРОТ

### I

Григорий Иванович, поддерживая князя, повел его через балкон в зал, ища — где бы спокойнее уложить. Из зала правая боковая дверь вела в библиотеку. «Туда», — сказал князь, пожимая его руку. В это время изнутри дома слышались голоса, вскрики и топот ног.

И едва князь и Заботкин подошли к библиотеке, как дверь в зал из коридора распахнулась, и в сумерках было видно, как конюх и кучер вели под руки Сашу. На ней черный сарафан был порван, волосы растрепаны, заплаканное лицо с поднятыми бровями запрокинуто. Саша тихо и отчаянно повторяла:

— Что вы, что вы...

Сзади подталкивал ее Кондратий. Волков, стуча кулаком по двери, чертыхался и кричал:

— В амбар ее, мерзавку, на замок!.. — Князя и Заботкина он не заметил — они успели войти в библиотеку.

Сашу вывели. Волков звякнул балконной дверью и, ругаясь, ушел во внутренние покои.

Долго на диване у книжного шкапа молчали Григорий Иванович и князь, — у доктора тряслись коленки, князь не двигаясь, прислонясь затылком к спинке, закрыл глаза.

— За что они ее? — наконец спросил доктор шопотом и посмотрел на князя, — лицо его, едва различимое в тени сумерек, было очень красиво. «Вот как нужно любить, — подумал Григорий Иванович, — изящно и сильно, падать в обморок, переживать необыкновенные страсти! Он настоящий муж для Екатерины Александровны. О таких в книгах пишут». Доктор осторожно потянулся и погладил князя по руке, Алексей Петрович сейчас же спросил негромко:

— Доктор, вы побудете со мной?

Григорий Иванович кивнул головой.

— Ее увели? — продолжал князь. — Это ужасно. Не так-то просто жить, милый доктор. Бедная Саша!

Алексей Петрович выпрямился вдруг, словно сбросил маску.

— Я знаю, что благородно и что честно, — сказал он, — а поступаю неблагородно и нечестно, и чем сквернее, тем слаще мне... Так можно с ума сойти. А что может быть слаще, как смотреть на себя сбоку: сидит в коляске негодяй, в серой шляпе, в перчатках, и никто его не бьет по глазам, и все уважают, и сам он себе нравится. Дух захватит, когда это до глубины поймешь. И разве не странно — я возвращаюсь ночью отсюда, от Екатерины Александровны, гляжу на небо с луной (непреренно с луной) и смеюсь от счастья потихоньку, чтобы не слышал кучер. И сейчас же, глядя сбоку, вижу, что было бы чудовищно сделать мерзость. А ладонь моя еще пахнет ее духами. И когда совсем захватит дух, я останавливаю лошадей у Сашиного двора, захожу, беру за руку, прислоняю голову к ее груди и притворяюсь: «Саша милая, утешь», — и она утешает, как может. А после утешения я рассказываю, зачем приехал, — это еще высшая гадость: я опять лгу, а у ней сердце разрывается... И так накручивается все сильнее, а сейчас вот — лопнула пружина.

— Послушайте, ведь это чудовищно, вы с ума сошли, — отодвигаясь, прошептал Григорий Иванович. Он еще не совсем понял, только почувствовал, что князь, путаясь и скользя, как уж, обнажается. Григорию Ивановичу стало гадко и смутно. Он принялся теребить бородку, — встал и заходил.

— Да, это чудовищно, — продолжал князь, и голос его был ровный, словно он разглядывал себя. — Но еще хуже, что и вам сейчас нагнал... Очень трудно сказать настоящую правду; крутишься около нее, вот-вот скажешь, — смотришь, а уж правды не видно — удрал от нее по кривой дороге. Все равно, как дневник писателю... Вы пробовали? Не пытайтесь. Я перед вами сейчас себя выставил носителем чужь ли не великих тягот... Какой я там носитель! Просто человек с изъяном, с трещинкой, — вот как эта нога: пуля вот сюда вошла; кажется, совсем ногу могу выпрямить, а она пошаливает, — ви-

дела, опять в сторону увильнула... Только — чтобы свою главную сущность не обнаружить... Да, да. Нужно слишком, что ли, напиться, чтобы обнаружить... Милый доктор, поверьте, я больше жизни люблю Екатерину Александровну и, если она откажет теперь, погибну. Это правда... Я узнал это вчера: вчера было последнее испытание, его я не выдержал, хотя никакого испытания, конечно, не было, простое распутство, — ночью прискакал сюда, омылся красотой Екатерины Александровны и лунным светом, и тем, что раскрылся... Милая девушка, я на нее взвалил все, что мне плечи натерло. А наутро послал к Саше кучера и велел сказать: «О барине, мол, не смей думать, барин женится...» Саша не выдержала — пешком сюда прибежала... Я знал, что она донесет.

— Все вы лжете! — вдруг воскликнул Григорий Иванович, хотел что-то прибавить, но заикнулся и снова принялся бегать, трепля бородку.

— Доктор, — едва слышно, просительно молвил князь, — подите к Екатерине Александровне, расскажите ей все, — она поймет...

— Не пойду и не расскажу! — крикнул Григорий Иванович. — Объясняйте сами. Я ничего не понимаю, а сумасшедших терпеть не могу.

Он прислонился горячим лбом к стеклу. Было совсем темно, и за деревьями, еще не свстая, поднималась неправильным кругом оранжевая луна, словно зеркало, отразившее в себе печальный мир.

«Ну, что я ей скажу? — подумал Григорий Иванович. — Что он эгоист и сумасшедший? Но ведь он любит ее? Не знаю... не понимаю такой любви. Я бы глядел на нее и плакал, даже не говорил бы ничего.. Разве облаку скажешь, как любишь».

Пока Григорий Иванович раздумывал, луна просветлела, тронула холодным светом росу на листьях, погнала длинные тени. Над травой закрутился легкий туман. Сквозь окно библиотски лунный свет залил половину лица Алексея Петровича, руку его, зацепленную большим пальцем за жилет. На книжном шкапу заблестели медные уголки.

Вдруг Григорий Иванович вздрогнул: мимо окна быстро прошла Екатерина Александровна (он узнал ее по линии плеч, по гордой голове), оглянулась у поворота в аллею и побежала — за спиной ее надулась белая шаль...

— Она в сад побежала, — обернувшись, быстро сказал доктор. Князь вскочил и распахнул окно.

— Идем, скорее, скорее! — прошептал он.

Они поспешно вышли.

## II

Между канавой — границей сада — и длинными ометами стоял на выгоне деревянный амбар. Под навесом его были сложены сани и бороны. На двери, с квадратной дырой внизу для пролаза кошек, висел большой замок.

За дверью были слышны вздохи и негромкий плач.

От канавы по выгону до амбара пробежала Екатерина Але-

ксандровна, остановилась у двери, запыхавшись; опустилась на колени и, приблизив лицо к кошачьему лапу, окликнула:

— Саша, ты здесь? Ты плачешь?

Плач за дверью прекратился, и Катенька почувствовала на лице своем Сашино дыхание, даже различила ее глаза.

— Я бы тебя выпустила, — сказала она, — да ключа у меня нет.

Саша вздохнула. Катенька просунула руку и погладила Сашу по щеке.

— Я попрошу Кондратия, он потихоньку возьмет у папы ключ, мы тебя выпустим, только попозже. Саша, ты вот что мне скажи... Подставь-ка щеку, я тебя поцелую... Милая, голубушка, тебе очень больно? Я непременно устрою, чтобы он к тебе вернулся. Ты не поняла: он подшутил над тобой. Про меня он глупости рассказывал... Не ко мне же одной он ездил сюда, — и к папе. А ты сама провинилась... Зачем при папе все рассказывала... Сашенька, ничего плохого не случилось. Обдумай спокойно. Он завтра же к тебе вернется.

Но Саша в это время ужасно заплакала, стучась головой о дверь. Катя схватилась за виски, стала оглядываться — чем бы ее успокоить?

— Нет меня несчастнее, милая барышня, — проговорила Саша. — Я за него на пытку пойду, — и все знаю, что и врал он мне, и смеялся, и что лестно ему, когда я перед ним мучаюсь. А вот не вытерпела... Как конюх-то прискакал и говорит: «Барин тебе приказал, чтобы думать о нем забыла. Да, говорит, еще велел, чтобы со мной спать легла». А сам смеется. Обомлела я... Глупый разум помутился, выбежала за ворота, думаю: к нему бежать или в речку? А тут сестра моя двоюродная на телеге мимо ехала, да как засмеется. «Что, говорит, князя, что ли, не дожدهшься? Поди на дорогу, поклещь...» И откуда у меня столько злобы взялось, сама не знаю... Все равно, думаю, пусть и вы, барышня, узнаете, каков он, наш-то...

Екатерина Александровна резким движением поднялась с колен и села на порог, лицом к пруду. На берегу стояли темные лошади. И уже высоко теперь плыл пустынный месяц, загасивший вокруг себя звезды.

Опираясь подбородком о ладони, Катенька думала, глотая слезы: «Что за глупости! Я отлично наказана и должна забыть его, забыть». И ей казался пушистым и неясным свет месяца в голубой пустыне.

— Барышня, — позвала Саша, — милая, ягодка, стерпись с ним, слюбись, ведь ты тоже баба. Кабы я могла, не уступила бы тебе его. Трудно мне. Ну, лето мое прошло, теперь твой черед страдать...

Не дослушав, Катенька встала и посмотрела на дверь, хотела ответить, но промолчала и пошла от двери; завернув же за угол амбара, тихо вскрикнула и стала.

На сложенных вниз зубьями боронах сидел князь.

— Который теперь час? — проговорила Катенька, глядя, как вдалеке на выгоне торчал доктор, делая князю отчаянные знаки. — Я думаю, папа ждет с ужином.

Князь пошевелился. Она быстро отвернулась и пошла к дому.

Волков, кроме всего, был упрям необыкновенно. Сватовство князя неожиданно устраняло все беспокойство и льстило Александру Вадимычу: Краснопольские вели имя от Рюрика и в свое время сидели на столе. Сообразив насчет Рюрика (по дороге из Милого к себе), Александр Вадимыч обиделся, представив, что князь может зазнаться, и тут же плечом прижал его в угол коляски, чтобы сделать больно. Но Алексей Петрович не понял этой тонкости, Волков же сердиться долго не мог и, чтобы об унижении больше не думать, тут же решил выдать невиданное приданое за дочь и уже проговорился об этом, как сразу же по приезде в Волково глупая баба устроила скандал. Все пошло к чорту.

Сорвав первый гнев на Саше, Александр Вадимыч понял, что буйством помочь нельзя, но положение было действительно непереносимо, и, очень угнетенный, ушел он в кабинет, где и сел у стола.

«Разорвусь, а выдам ее за этого мошенника», — думал Александр Вадимыч и ругательски ругал князя, потом обозлился и на дочь.

Долгие размышления привели Александра Вадимыча к неожиданной мысли, что все ерунда и никакой трагедии между Катей и князем нет, — мало ли, кто блудит, на то и свет разделен пополам, и безо всего этого была бы скучища, хоть подохни.

Тогда он ударил кулаком по столу и воскликнул: «Помирю!» А чтобы привести себя для этого в легкое настроение, умышленно принялся думать о вещах, более или менее приятных.

Для этого он взял карандаш, разыскал заклеванный мухами листок бумаги и нарисовал зайца.

— Ишь, улепетывает, косой, — пробормотал Волков. — А не хочешь — я за тобой лису пушу? — И нарисовал позади зайца лису. — Охота тебе зайчатинки, — продолжал Александр Вадимыч. — Ах, шельма, а волка боишься? Вот он, толстолобый, бежит — хвост поленом. Обоих вас сожрет, голубчики. А я на тебя — собачек, с подпалинами, — густопсовые, шипчатые. Ату его, милые, ату, голубчики, не выдавай, улю-лю!

Волков, нарисовав собак, до того разгорячился, что, поднявши над стулом зад, хватил по нему пребольно рукой, думая, что это иноходец. Потом отложил карандаш, посмеялся и, довольный, вышел из кабинета, по пути приказывая звать всех к ужину.

Два кухаркиных сына помчались искать гостей. Волков же прошел к дочери. Катя, одетая, сидела на постели.

— Ну, дочка, побушевали и будет, приходи ужинать, — сказал он, и, когда Катя отказалась было, он так засопел, что она тотчас проговорила:

— Хорошо, папа, приду.

Кухаркины дети нашли гостей на выгоне, где князь и доктор ходили от амбара до канавы. Князь, когда его позвали, поспешно повернул к дому. Григорий же Иванович принялся доказывать мальчишкам, что есть не хочет, а просит дать ему лошадей. Потом рысью догнал князя.

В небольшой столовой Александр Вадимыч встретил гостей словами:

— Я, господа, полагаю, что бы там ни случилось, а вся сила в желудке,— прошу.

И, указав рукой на круглый стол, сел первый, обвязал вокруг шеи салфетку.

В это время вошла Екатерина Александровна, очень бледная, с тенью под глазами. Ни на кого не глядя, быстро села она напротив отца. Лицо ее было спокойное и гордое, только внизу, на открытой шее, на горле, чуть заметно вздрагивала и билась жилка.

— А вот и наша болящая! — воскликнул Александр Вадимыч. — Катюша, а ведь ты не здоровалась с князем...

— Здоровалась,— ответила Катя резко.

Алексей Петрович, словно ему нехватало воздуха, вытянулся на стуле. Григорий Иванович опустил лицо и вилок царапал скатерть.

Но не так-то легко было сбить с толку Александра Вадимыча. Захватив усы, оперся он о стол и обвел всех веселыми глазами. Молчание продолжалось. Кондратий, неслышно ступая, обносил блюда и лил в стаканы вино. Доктор, у которого даже ладони запотели, первый поглядел на хозяина, у Александра Вадимыча прыгали неудержимым смехом глаза.

— Ерунда! — крикнул он, хлопнув по столу. — Надулись, как мыши. Подумаешь — беда какая! Катька, подбери губы, — отдавят! А по-моему, — коли доктор здесь, то я говорю, чтобы у меня был внук! Ага, шельмецы, стыдно? Вот и все устроилось... И — никаких!

При этом он, для большего действия, раскатился таким смехом, что, казалось, все, и даже Кондратий, должны схватиться за бока. Но сощуренные глаза Александра Вадимыча отлично видели, что смех не удался. Князь напряженно улыбался. Григорий Иванович поднес было ко рту цыплячью ногу, да так с ней и застыл, мучительно сморщив лоб. Катенька подняла на отца глаза, темные от злобы и тоски, и сказала, едва сдерживаясь:

— Папа, перестаньте, я уйду. — И сейчас же щеки ее залил густой румянец. Она поднялась.

— Стой! Не смей уходить! — уже гневно закричал Волков. — Я объявляю: вот жених, а вот невеста. Подойди, князь, вались в ноги, проси прощения.

Князь, страшно побледнев, медленно снял салфетку, встал, фатовски приподняв плечи, подошел, подрагивая коленками, и сказал омерзительным голосом:

— Надеюсь, дорогая, вы простите мне все прошлое, — при этом схватил и сжал ее руку.

Катя медленно, как во сне, высвободила руку, побледнела до зелени и тяжело ударила князя по лицу.

Так внезапно оборвался хитро задуманный Волковым ужин. Князь стоял, опустив голову, лицом к двери, в которую стремительно вышла Катя. Григорий Иванович закрыл руками лицо. Волков же, держа вилку и нож, свирепел, поводя глазами.

Вдруг вошел Кондратий. Рот его был решительно сжат, глаза колючие, большим пальцем он показал через плечо и проговорил:

— Конюшонок докладывает, что баба эта — давешняя — сейчас из амбара убегла и очень нерасторопна насчет воды...

— К чорту с бабой! — не своим голосом закричал Александр Вадимыч. — Иди к чорту с своей бабой! Понял?

Кондратий, мотнув головой, скрылся. Волков сдернул с шеи салфетку, подумал, рванул салфетку и, широко расставляя ноги, побежал в коридор за дочерью.

Князь же присел к столу, налил вина, подпер покрасневшую щеку и усмехнулся.

— Все это мелочи, — сказал он.

Григорий Иванович сейчас же отошел от стола, дрожа так, что стучали зубы. Вдалеке слышно было, как Волков дотопал до конца коридора, и оттуда донесся глухой его голос.

— Как смешно: «нерасторопна насчет воды», — сказал князь. — Правда?

Он усмехнулся, дернул плечом и на цыпочках подошел к двери, на один миг припал, ослабев, к дверному косяку и вышел.

«Они все погибнут сегодня же, — подумал Григорий Иванович. — Что они делают? Все это князь... Он — как зараза. Почему не прогонят его?.. Выгнать и сказать: не огорчайтесь, Екатерина Александровна, я же люблю вас, как... Что — как? Я просто дурак! Уйду отсюда пешком, сию минуту. Не понимаю здесь ничего. Какой любви им нужно? Им нужно мучиться — вот что, а не любить. А я и без нее проживу, у меня своего много, на всю жизнь хватит... А вот она отравится сейчас, непременно отравится, а я о себе забочусь. Чему обрадовался? Да я последний мерзавец, если так. Все только о себе думают: и князь, и Волков, и я, этим и замучили ее... Святая моя, несчастная...»

Григорий Иванович запутался и в тоске не знал — уйти ли ему или ждать? А чтобы не слышать ужасных этих голосов в конце коридора, отправился в сад, постоял у темных кустов, вспоминая, что же еще случилось скверного, и вышел на выгон к амбару.

«И Саша в этот водоворот попала, — думал он, глядя на раскрытую дверь амбара. — Как завертит вода воронкой — все туда затянет...»

И сейчас же понял слова князя: «Как смешно — нерасторопна насчет воды!» Саша бросилась в пруд... Конечно... Выбежала из этой двери, кинулась по выгону и — в пруд!

Григорий Иванович охнул и побежал, болтая руками. На берегу пруда, там, где вода была черная от тени ветел, стояли Кондратий и конюх. У ног их на траве навзничь лежала Саша.

Конюшонок, сидя на корточках, глядел в ее неподвижное, с раскрытым ртом, белое лицо.

— Ничего, отойдет, — сказал конюх подбежавшему Григорию Ивановичу. — Как я ее потащил — дышала еще, отды- хается.

— Отдышитесь, — сказал Кондратий. — Обморок.

Григорий Иванович присел над Сашей, расстегнул, обрывая пуговицы, черную кофту и приложил ухо под ее твердую, высокую грудь, — она была еще теплая. Тогда он начал за- кидывать ей руки, нажимать на живот, приподнимать и опу- скать ее тяжелое тело. Конюх, помогая, рассказывал:

— Видим, баба бежит, непременно это она, говорю, и по- кликал: «Саша, а Саша». Она — ничего, подошла, только тря- сется, как больная. Я спрашиваю: «Барин выпустил тебя?» — «Выпустил». И на воду глядит. «Куда же ты, — говорю, — пой- дешь, Саша?» — «Прощайте», — отвечает, да так заплачет, и по- шла к плотине. Я еще посмеялся — очень плакала шибко. А она зашла на плотину и зовет: «Конюх, ты здесь?..» — «Иди, про- ходи плотину-то», — кричу ей, а самому уж страшно... Вдруг она — бух в воду...

— Дяденька, она с плотины не тебя звала, — сказал коню- шонок.

— А ты молчи, — цыкнул конюх и щелкнул конюшонка по стриженому затылку. — Мальчишка противный!

Григорий Иванович, наклонясь к Сашиному рту, старался вдунуть в нее воздух, руками раздвигал за плечи ее грудь. Вдруг холодноватые губы ее дрогнули, и Григорий Иванович быстро отвернулся, словно от неожиданного поцелуя. Саша пошевелилась. Ее приподняли, посадили. Из раскрытого ее рта отошла вода. Саша закатила белки глаз и застонала.

— К садовнику в теплушку отнести женщину, — сказал Кондратий. — Ах баба, дурья голова...

## V

В конце белого коридора, прислонясь затылком к двери, покрытой ковром, стояла Катя и упрямо сжимала губы на слова отца, который все старался схватить ее руку, но она заложила руки за спину. Князь стоял неподалеку под висячей лампой.

— Я тебя заставляю извиниться, — заикаясь от злости, по- вторял Волков. — Это откуда у тебя мода — по лицу драться? Ты от кого научилась? Дай-ка руку, дай! Я тебе говорю — извинись!

Но Катенька еще крепче прижалась к пестрому ковру, коса ее развилась и упала на плечо, круглое колено натянуло шелк серого платья, охватившего стан под высокой грудью.

Князь уловил это движение и, глядя на колено, почувство- вал знакомую боль в груди. Чувство было острое и ясное. Нечаянно согнутое колено будто распахнуло перед ним все покровы, и Катенька представилась женой, женщиной, лю- бовницей. Он покусал пересохшие губы и двинулся вдоль стены.



— Да ты шутишь, что ли? Или я сплю? — продолжал Александр Вадимыч, с которым никогда не случалось столько неприятностей подряд. На мгновение ему показалось, что не сон ли это, и он сейчас же затопал ногами, крича: — Отвечай, каменная! — Но дочь продолжала молчать, и он повторял, теряясь: — Проси прощенья, ну же, проси прощенья!

— Нет, лучше умереть! — быстро сказала Катенька. Она глядела на медленно подходящего князя, и брови ее сдвигались. Она не понимала, на что он глядит, зачем подходит, и, следя, вытянула даже шею и вдруг, поняв, залилась румянцем и подняла руку...

Александр Вадимыч потянулся, чтобы схватить дочь за руку, но не поймал и сердито крикнул, а князь, подойдя, проговорил глухим голосом:

— Екатерина Александровна, теперь еще почтительнее прошу вас не отказать мне в вашей руке.

Глаза его были сухие, немигающие, страшные, лицо обтянулось. Волков воскликнул:

— Ну, вот видишь, Катюшка! Эх, дети, плюньте, поцелуйтесь!

Но Катенька не ответила, только нагнула голову и, когда отец подтолкнул было к ней князя, быстро скользнула за ковер, хлопнула дверью и щелкнула ключом.

— Видели?... — закричал Волков. — Нет, врешь!

Он приналег плечом на дверь, но она не поддавалась, и он принялся колотить в нее кулаками, потом повернулся и ударил каблуком.

— Не нужно, оставьте, уйдем, — зашептал князь в необычайном волнении. — Я знаю, что она ответит, уйдем, ради бога.

Но упрямого Волкова долго еще пришлось уговаривать. Наконец он отер пот с лица и сказал:

— Вот, брат, не так-то просто дочерей замуж выдавать, — штука трудная, вспотеешь. Только уж ты, пожалуйста, молчи, не суйся. Я сам все устрою.

Когда в дверь перестали стучать и шаги затихли, Катенька легла ничком на кровать, обхватив обеими руками подушку.

«Так его и нужно, и хорошо», — повторяла она, видя (словно подушка была прозрачная) глаза Алексея Петровича, сухие и страшные. Боясь понять то, что она прочла в них, Катенька повторяла гневные слова, но они уже потеряли и остроту и смысл, словно весь ее гнев ушел в тот безобразный взмах руки, словно этим ударом она связала себя с князем так сильно, как никогда не вяжет любовь.

«Господи, сделай так, чтобы не было сегодняшнего дня», — повторяла она и не могла вздохнуть, не видела пути к освобождению. Ее ненависть, злоба, ревность, вся гордая воля разбилась, как стекло, от взмаха пощечины, и князь, конечно, захочет — и возьмет ее теперь, как с в о е, а захочет — бросит: все в его воле...

Словно огнем, обожгло ее воспоминание, как он подошел застегивая сюртук: «Надеюсь, дорогая...» «Конечно, притворство все это, — ведь мучился же он тогда в беседке, рассказывая. А быть может, ага! Ведь ни слова тогда не сказал

про Сашу... Нашел, кого любить!.. И не любовь это, конечно, а ужас, невыносимое распутство! Ведь недаром отец едва не задудил Сашу». В ушах Катеньки опять повторился давешний крик. Она быстро села на кровати. «Да кто же он такой, если по нем такая мука? В чем он лжет? Кого надо ему? Для чего он и ту, и Сашу, и меня?.. Кого любит? Для чего ему я? Значит, нужна для чего-то? Чужой он? Никогда меня не любил? Что делать? Знаю, знаю, — он будет настаивать, и я выйду за него, знаю. И выйду, выйду, и отомщу, назло всем выйду за него. Пусть он не смеет равнять меня с теми... Нарочно на муки пойду. Не удалось любить, и не надо... Не хочу никакой любви».

Катенька спустила с кровати ноги в белых чулках, подперла щеки, и на платье ей, на колени, закапали частые слезы. И с новой остротой почувствовала, что нет ей теперя жизни, нет выхода, и подавила крик, и — пуще заплакала.

Наконец долгие слезы облегчили ее. Еще вздыхая и вздрагивая плечами, Катенька медленно расстегнула смятое платье и подошла к зеркалу. В глубоком зеркале, освещенном с боков, увидела она свое лицо, совсем новое. «Красавица-то какая, милая, бедная Катюша», — прошептала она в отчаянии, вглядываясь. И потом, далеко за полночь, сидя перед зеркалом, думала о себе, грустно и тихо, как будто сегодняшним днем кончилась в жизни ее радость.

## СУДЬБА

### I

Князь остался в Волкове. Ему были отведены парадные комнаты, куда из Милого перевезли нужные для обихода вещи. Из парадных этих комнат Алексей Петрович не выходил никуда. С утра ложился он, тщательно одетый и выбритый, на софу и проводил на ней время, разглядывая ногти и думая. Когда в дверь просовывалась голова Александра Вадимыча, приносившего известие о судьбе переговоров с дочерью, князь показывал вид, что дремлет.

Алексей Петрович отлично сознавал, что только здесь, близ Кати, последнее его спасение. Он понимал также, что с каждым днем его пребывания в Волкове увеличивается надежда на согласие Кати: уже по всему уезду говорили о пощечине и о Саше, добавляя такие подробности, от которых дамы выбегали из комнат. Да и для самого Александра Вадимыча подобное положение вещей казалось самым подходящим. Он с утра отправлялся к дочери, садился в кресло у окна и говорил:

— Фу ты, как пудрой здесь воняет. Прихорашиваешься? — И в ответ на равнодушный взгляд Кати фыркал и продолжал: — Чего этим девкам надо, не понимаю, — ангела, что ли, тебе надо? Вот твоя мать покойная, — уж на что была женщина деликатная, с английским воспитанием, а приналег я на нее — и вышла за меня замуж, хотя плакала действительно много. Вот какие дела, дочка, поплачешь, а будешь княгиня.

От дочери он шел к Алексею Петровичу и, если тот не при-

творялся спящим, садился у него в ноги на кушетке, трепал его за коленку и говорил:

— Сдается. Бес-девка. И надо же было тебе так наблудить мерзко! Ну уж, ошибся,—должен молчать. Одного не пойму, почему ты до сих пор не сватался? Повенчали бы уж вас,—за границу бы уехали.

— Действительно, не понимаю, отчего я раньше не сватался,— отвечал князь и, после ухода Волкова, смеялся про себя.

Первое свидание жениха и невесты произошло в саду, на скамейке. Волков привел сначала князя, потом Катю, сам же, воскликнув: «Батюшки, телята в малинник ушли»,—убежал.

Князь и Катя долго сидели молча. Катя перебирала концы платка, князь курил. Наконец он бросил папироску и сказал, отворачиваясь:

— Если бы вы своей охотой шли за меня, любили,—я бы на вас не женился.

Катенька побледнела страшно, пальцы ее запутали бахромку платка. Она продолжала молчать.

— Давайте кончим это, повенчаемся,—сказал он тихо и печально.

Тогда краска стыда и гнева залила Катины щеки, она резко повернулась к нему.

— Я вас ненавижу! — крикнула она. — Вы мучаете меня! Вы губите меня нарочно! Другой вы разве не нашли на свете?

— Катя, вы страшно умны, вы все должны понять,—пересбил князь поспешно. — На будущей неделе мы венчаемся? Да?

— Да,—ответила она едва слышно, поднялась, постояла мгновение и ушла, не оборачиваясь.

## II

Употребление так называемой «щетки» — очень древнего происхождения. «Щетка» готовится из капусты, хрена, тертой редьки и огуречного рассола, едят же ее после пиров.

Но никакой «щеткой» нельзя было выгнать угара волковской свадьбы, на которую собрался почти весь уезд. Словно на веселую ярмарку скакали, поднимая пыль по проселочным и почтовым дорогам, коляски, шарабаны, тарантасы,—даже трудно было понять, откуда вдруг взялось столько дворян в уезде.

Только старики, дамы и девицы поместились в небольшой колыбанской церковке, остальные гости расположились на паперти, держа цветы и овес, чтобы осыпать князя и княгиню.

Отец Василий, в золотом облачении, читал медовым голосом, молодые стояли рядом на пушцовом платке, около них мальчик в голубой рубашке держал образ. Вокруг шел легкий говор и шопот нарядных дам. Екатерина Александровна, со свечой в руках, глядела на огонь спокойно и серьезно.

— Ужасно мила! Ангел! — шептали дамы.

Князь, очень маленький от черного фрака, серьезный и бледный, внимательно исполнял торжественный обряд.

Когда священник поднес вино, князь едва коснулся краев корца, а Катя выпила все до дна, не отрываясь, словно жаждала. На клиросе запели «Исаия ликуй», священник соединил руки жениха и невесты. Катя, ударом колена преодолевая упругость шелка и бочола шлейф, быстро пошла вокруг аналоя, и все увидели, что князь сильно прихрамывает, стараясь поспеть за невестой.

— Нет, все-таки он мелок перед ней, — решили дамы.

Из церкви гости, с молодыми во главе, двинулись в Волково. При выезде из Колывани Катенька увидела доктора Заботкина, — он взлез на плетень и махал носовым платком. Она быстро отвернулась.

В большом зале Александр Вадимыч встретил молодых с иконой древнего письма — Нерукотворным Спасом, благословил и при гостях приказал внести приданое. Четыре парня в малиновых рубашках внесли большой серебряный поднос, на котором столбиками стояли червонцы.

— Вот, не осуди, князь, чем богаты, — сказал Волков.

Князь и княгиня после благословения вышли в разные двери, переоделись и, найдя друг друга в саду, просидели у пруда до тех пор, пока им не подали лошадей. Гости высыпали на крыльцо, набились в окна и громкими криками проподили молодых. Волков прослезился. Пир продолжался до заката. В сумерках, в соседнем зале, где месяц назад в лунном свете кружилась Катенька, грянули с хор музыканты...

Но уже мало было кавалеров, способных двигать ногами, — девицам пришлось танцевать «машерочка с машерочкой». Весельчаки заперлись в курительной и там грохотали. Старик сел за зеленое сукно. К полуночи капельмейстер, махая палочкой, до того намахался, что мотнул носом, ухватился за барабан и вместе с ним повалился, как мертвый.

Этим окончились танцы, и дамы с дочерьми уехали, а молодежь и мужья без дам остались ночевать, и до утра — иные бились в карты, иные бушевали по дому. Ртищевы в саду показывали силу, Александр Вадимыч уже давно потерял голову и то разнимал буянов, то присаживался к карточному столу, без толку глядя на карты и свечи, и все что-то вспоминал.

Ни бледный рассвет, ни знойный июльский день не утомили гостей, и только на третьи сутки разъехались последние из них от Волкова и мчались на застоялых конях без дорог, в перегон и угон, завывая колокольчиками на страх мужикам, которые, сняв шапки, долго еще глядели вслед прокатившему, говоря:

— Ишь ты, как пропылил, дьявол гладкий!

### III

Доктор Заботкин висел на заборе и махал платком вслед поезду новобрачных, выражая искреннее удовольствие тому, что все наконец устроилось по-хорошему. Все это время Григорий Иванович жил в умилении от себя и от людей. Умиление началось с того часа, когда, перенеся Сашу в сторожку

садовника на деревянную кровать, он остался сидеть один около заснувшей молодой женщины.

Огарок в бутылке, поставленной на бочке, освещал дощатые стены сторожки, паутину в углах, разбитое окно, заросшее черным и глянцевым плющом, и между печью и стеной лежащую под полушубком Сашу.

Она вздрагивала иногда в ознобе, натягивала полушубок, отчего открывались голые ее ноги, или сползала пола, — тогда Григорий Иванович вставал и заботливо поправляла одежду.

Наклонясь, он подолгу глядел ей в лицо, — оно было кроткое и во сне, и казалось, что он где-то уж и видел и любил эти ясные, родные черты. На душе было тихо, весь сегодняшний день отошел далеко в память, и было бы странно подумать сейчас о каком-то другом еще мире, кроме этой ветхой избенки и спящей Саши.

Григорий Иванович вновь подсаживался к свече и, заслонив свет ее ладонью, слушал, как дышит Саша, или как птица, просыпаясь, ворочается в кусту, или вдруг принимается шедестеть листочки осины. Ветерок, влетев в окно, колебал огонь свечи, — тогда Сашино лицо от скользящих теней во впадинах глаз точно хмурилось. Григорию Ивановичу казалось, что только эту тишину, полную таинственного значения, он и должен любить, и самому теперь нужно стать таким же тихим и ласковым, как тени на Сашином лице.

«До какого же отчаяния дошла, какая же мука была у нее, если, но жалуюсь, побежала скорее, скорее и — в пруд, в воду, и — конец. Кто я перед этими муками? Комар, мразь, — думал Григорий Иванович. — Полез к богатым, до тошноты счастливым людям, явился со своим самомненьишком, с красной рожей... Очень, очень противно! А она проснется и спросит: как теперь жить? Что ей ответу? Служить буду вам до конца дней. — вот что ей надо ответить. Вот задача — простая и ясная, вот в жизни и долг: послужи такой женщине, сделай так, чтобы забыла она...»

Григорий Иванович не замечал, что разговаривает вслух. Саша пошевелилась, — он обернулся и увидел, что она, приподнявшись, глядит на него большими темными глазами. Испугалась ли Саша этого бормотания; или вспомнила давешнее, или была еще слишком слаба, — только она подобрала ноги, натянула полушубок до подбородка и застонала.

Григорий Иванович тотчас присел у ее изголовья и, глядя ее волосы, стал рассказывать про все, о чем только что думал.

— Барин, милый, оставьте лучше меня. Ничего, ничего мне не надо, благодарю вас покорно, — ответила Саша, и заплакали и она и Григорий Иванович, она горько, он — от радостной жалости.

Первые дни, возвратясь домой, на постоялый двор, Саша жила так, словно забыла обо всем. Григорий Иванович заходил ежедневно, спрашивал, не может ли ей чем помочь, и с папирской садился на крылечке. Саша, проходя мимо, говорила: «Защи бы, Григорий Иванович, в светелку, а то здесь блох наберется», — и все что-то делала, работала по двору и по

дому. Однажды он застал Сашу на огороде, у плетня. Она глядела в степь, лицо ее было спокойное и важное, глаза мрачны, голова повязана черным платком.

— Уйти хочу, сил больше нет, думается,— сказала она.

Тогда Григорий Иванович почувствовал, что жить ему больше незачем. Он до того растерялся и упал духом, что мог проговорить только:

— Саша, если не счешь уж я противен, вышла бы за меня замуж.

Саша помнила смутно, что рассказывал ей тогда ночью Григорий Иванович, и сейчас поняла: «он несчастный», и пожалела его, и он стал ей вдруг мил, как ребенок.

Теперь каждый день она стала забегать к доктору. Вымыла его избу, окна и двери, чинила его белье, сама поправила печь в баньке, что стояла полуразвалившаяся на обрыве над речкой. Баньку она истопила и велела Григорию Ивановичу пойти попариться. Когда же он вернулся, распаренный, усталый и счастливый, Саша ждала его с самоваром,— в избе было чисто, пахло вымытым полом, шалфеем, восковой свечечкой, зажженной в углу.

Но когда он заговорил о свадьбе, Саша качала головой.

— Не нужно нам этого, Григорий Иванович,— грешно, нехорошо.

А потом увидела, что он плохо спит, и страдает, и вздрагивает, когда она нечаянно к нему прикоснется, и согласилась.

Плакала до того, что голову всю разломило, но согласилась: видно, против человеческого не пойдешь. Отец Василий, всем этим очень довольный, перевенчал их в конце лета. А на свадьбе выпил три рюмочки и даже сплясал: Григорий Иванович бил в ладоши, а отец Василий топтался, приговаривая: «Ходи изба, ходи печь».

#### IV

Двумя свадьбами как будто благополучно окончилось лето. Григорий Иванович вместе с Сашей жил пока в избенке, ожидая, когда отстроят земскую больницу.

Въезжую Саша сдала и все время теперь отдавала мужу, стараясь понять его, угодить, не раздражать бабьим своим видом, и, хотя на ссле тотчас прозвали ее докторшей, она продолжала носить платочек и темные ситцевые платья. Григорий Иванович понял это и не настаивал на ином. Каждый день он читал ей вслух что-нибудь и старался также ни одного дела и ни одной мысли не скрывать от Саши, быть с ней — как один человек.

Молодые князь и княгиня Краснопольские катались по Европе, посылая открытки из разных городов, чему Волков, географию знавший слабо, много дивился: сегодня, например, пришло письмо из Италии, а завтра — из Франции. «Как блохи скачут», — говорил он Кондратию, который из вежливости произносил: «Тсс...»

Кончив уборку хлеба, Александр Вадимыч принялся отделывать в Милом княжеский дом. Партии штукатуров, обойщиков и столяров стучали молотками по высоким залам, по-

всюду воняя клеем, известкой и стружками. Сам Волков с утра являлся в Милое, причем для порядка до того громко кричал, что рабочие прозвали его «пушка-барин» и нисколько не боялись.

В конце сентября, когда, с открытием в губернии конской ярмарки, оживает весь уезд, начинаются вечера, охоты и свадьбы, стал поджидать Александр Вадимыч молодых и быстро закончил работы в Милом. Вдруг письма из-за границы прекратились. «Неужели в Америку махнули?» — подумал Волков и через несколько дней получил телеграмму: «Еду, Катя».

Всполошился Александр Вадимыч, выбрал лучшую тройку белых, как снег, коней (это был подарок молодым по случаю приезда) и долго колебался: уж очень хотелось самому выехать на вокзал, но сдержался, только строго наказал кучеру, стуча пальцами в его лоб: «Смотри у меня, духом лети, а как отвезешь князя и княгиню, сыпь обратно. Да не забудь сказать, что лошади — презент». Но едва тройка скрылась за горой, Александр Вадимыч расстроился, пригорюнился, сел у окна. Стало ему почему-то жалко дочь, Катю: «Выдал замуж сгоряча. А девица хорошая, кроткая, сирота... И какого чорта я тогда думал? Ах, боже мой, боже мой, вот ведь как это все не того... Не такого бы ей надо мужа...»

Вечером вернулся кучер, верхом на меринке из княжеской конюшни. Соскочил у крыльца и вошел прямо к Александру Вадимычу, у которого даже голова затряслась от волнения...

— Ну, что? Привез?

— Привез, Александр Вадимыч, слава богу, благополучно.

— Веселые приехали?

— Ничего, все слава богу...

— А что барин, князь?

— Вот его будто я и не видал...

— Как не видал? Да что ты молчишь?.. Говори, голову оторву.

— Да так, князь-то, видишь ты, не приехал. Одну нашу барышню я привез.

Александр Вадимыч только рот разинул. Вошел Кондратий со свечами. Волков, сидя в кресле, перевел на него глаза и сказал:

— Беда случилась, Кондратий Иванович...

— Что такое?

— Поезжай-ка ты туда сейчас, да и разузнай... Ах, боже мой, чуяло мое сердце...

## V

Екатерина Александровна приехала действительно одна, без мужа. Встреченная управляющим, Катя прошла в зал, сняла дорожное пальто, шляпу и вуаль. Стоя у окна, долго глядела на парк, на Волгу внизу, на луга Заволжья. Глядела долго. Вздохнула и обернулась к управляющему, который, стянув на животе, сколько мог, синюю куртку, чтобы не так уж лезть в глаза утробой, почтительно ждал.

— Князь вернется через некоторое время, — нахмурясь, проговорила Екатерина Александровна. — Его задержали дела. Отчет по хозяйству и дому вы дадите мне, покажете все книги...

— Желаете, ваше сиятельство, сначала осмотреть дом или же принести книги? — спросил управляющий.

— Нет, нет, книги потом, — и она пошла по всем комнатам, спрашивая, где кабинет князя, где спальня, где больше всего любил он сидеть...

Залы внизу были холодные и высокие. Катенька поднялась наверх, в покои князя, но только заглянула туда и приказала все комнаты внизу и наверху, кроме столовой-зала, наглухо закрыть до весны; для себя же выбрала зальце с цветными стеклами и роялем и рядом небольшую, совсем белую комнату, где около изразцовой и круглой, как башня, печи поставили кровать и умывальник...

Когда управляющий, скрипя сапогами, ушел, Катенька вернулась в зал, села за колоннами у столика, облокотилась на зеркальную его поверхность (в ней опрокинулись красивые ее руки в узких до локтя рукавах), прикоснулась щекой к скрещенным пальцам и опять стала глядеть на парк, реку, луга.

Лицо у нее похудело, потемнели пышные волосы, окрученные короной вокруг головы, и дорожное темное платье, с кружевами вокруг шеи, было строгое и теплое, как у женщины, которая не разрешит себе ни резкого движения, ни опасной мысли, если это может нарушить покой.

Сад за окном увядал и осыпался. Между темных конусов елей нежно желтели поредевшие, поникшие березы, сквозь тонкие их веточки сквозило небо. Старый клен на поляне разлапился, весь налился пурпуром, вот-вот готовый хмуро уснуть. Еще зеленели липы, но высокие тополя совсем облетели, и бронзовые листья их устилали дорожки и скошенную траву. Глядя на это увяданье, на синюю реку внизу, где полз перевоз, думала Катенька, что теперь наступает долгий, страшно долгий покой.

Три прошедших месяца она твердо решила не вспоминать — запереть их на ключ и жизнь построить разумную, суровую.

Вдохнув запах увядания, вместе с ветром проникший сквозь полуотворенную раму окна, она почувствовала горячую каплю на щеке.

— Ну, вот, этого не надо, — сказала она. — Раз решила, так и будет.

Она быстро обернулась, ища платок, встала, взяла сумочку, вынула платок, отерла глаза, налила на пальцы духов, смочила виски и позвонила. Вошел лакей, и Катенька приказала ему достать из чемодана бьюар.

Настали сумерки — их-то и боялась Катенька больше всего. Стоя спиной к окнам, ждала она, когда зажгут свет. Лакей принес бьюар из красного сафьяна, взлез на стул и одну за другой зажег свечи в люстре над столом.

Тотчас теплый свет залил лепной потолок, белые стены и погнал синеватые тени за колонны, затеплив позолоту на их завитках.



Катенька села к большому столу, подумала и написала: «Алексей, я вас прощаю. Я много думала за эту дорогу и решила, что вы должны жить со мной, это необходимо для моего спокойствия. Мы будем как брат и сестра, как друзья».

Она перечла, постучала каблучком о паркет, подняла хрустящий листок письма, чтобы разорвать, но раздумала и запечатала.

В это время высокая дубовая дверь в глубине потихоньку начала раскрываться, и между половинок показалось морщинистое бритое лицо.

— Кондратий! — воскликнула Катенька.

Он, всхлипнув, подбежал и припал к плечу.

— Здравствуй, милый, голубчик, — проговорила она, взяв старика за виски и целуя. — Что у нас? Папа что?..

— Ненаглядная Катюшенька, истосковались мы, какое наше стариковское житье — все о тебе думали.

— Правда? Я так и знала. Конечно, надо было сейчас же к папе поехать, а я сюда. Но мне очень тяжело было, Кондратий.

— А князюшка где? — спросил он шопотом.

— Не знаю, Кондратий, ничего не знаю. Озлобилась я немного.

Она опять вынула из сумки платок и заплакала. Кондратий коснулся ее волос, заглядывая в лицо.

— Кондратий, ведь муж меня бросил, — сказала Катя.

— Батюшки-светы!..

Когда она успокоилась немного, рассказала все, как было. Кондратий долго молчал, поджимал трясущиеся губы, потом проговорил, грозя пальцем:

— Вот он каков! Нет, Катюша, это ему так не пройдет.

Катенька не захотела ночевать в Милом, и к полуночи она и Кондратий въезжали в Волково. Уже на плотине Катенька начала волноваться, вдыхая родимый запах прудов и грачиных гнезд. Фонари коляски освещали то лаз через канаву, то угол амбара у крыльца (оно показалось маленьким и тесным). В двух первых окнах был свет, и Катенька различила в окне склоненную голову отца.

— Смотри, ничего не говори, понял? — торопливо прошептала она, дергая Кондратия за рукав.

## VI

Когда Александр Вадимыч, поддерживая халат, выбежал в сени и припал к дочери, спрашивая: «Дочурка, радость моя, что случилось?» — Катенька солгала, — сказала, что князя задерживает в Петербурге неотложное дело.

Волков поверил — не такой он был человек, чтобы не верить, — хитростей не понимал, а какое дело задерживало князя — не спрашивал подробно: бог их разберет, чужие дела, примешься расспрашивать, да и влезешь, как шмель в паутину.

Катеньку он сразу обозвал «княгинюшкой» и повел в малую столовую, где валял до потолка паром большой самовар.

— Хороша, ей-богу, породиста, Катерина, — говорил Александр Вадимыч, повертывая дочь за плечи. Сам налил ей чаю и предлагал всякой еды. У Катеньки даже слезы навернулись, но она прогнала их, крепко зажмурясь.

— А я все хандрил без тебя, — говорил отец. — Отвык, знаешь, один жить... Не езжу никуда. Все на меня рассердились. А тут еще беда: купил я паровик, — потащили мы его через Колыванку, он через мост и провалился. До сих пор из воды труба торчит. Ну, а ты, душа моя, как съездила? Я вас блохами обозвал. А князь? Ах, да. Что же, на старой кровати ляжешь спать? Утомилась, я чай, с дороги. Знаешь, Катюша, я весьма рад тебя видеть.

После чая Александр Вадимыч, болтая и суетясь, повел дочь в девичью ее комнату. Катеньке становилось все тоскливее: так радовалась она, подъезжая, — но отец и слова его и все вокруг — все потускнело. Или отвыкла она от всего, или выросла? Прощаясь с Александром Вадимычем у двери, завешенной ковром, особенно поняла она, что одинока и ничем этому одиночеству помочь.

В комнате не было перемен. Катенькино сердце ужасно билось, когда, войдя, увидела она туалет, карельские кресла, кровать, даже туфельки свои на ковре. Но не прежний уют, запах духов или свежесть пролитой воды, а нежилой холодок охватил ее плечи, когда, сняв платье, села она на кровать и стала глядеть в темное окошко.

Как будто жила здесь другая Катенька, веселая и невинная, и умерла, и ее было очень жалко. Жалостным вспомнился и Александр Вадимыч, — уж очень желал угодить: и суетился, и болтал о мелочах, а сейчас, обиженный ее равнодушием и тем, что ушла она рано спать, даже не поцеловалась с ним на прощанье, наверно, вздыхает у себя в кабинете.

Катенька встала и хотела пойти к отцу — сказать, что очень любит его и сама нуждается в ласке. Но, покачав головой, легла под влажные простыни.

«Жаль, что у меня нет сестры, — подумала она. — Я бы ее с собой сейчас положила, поцеловала бы милые волосы, объяснила, что «женщине очень трудно жить, очень трудно».

Все следующие дни у нее была ровная и тихая грусть. Катенька ходила медленно по дому, с улыбкой слушая отца, который повеселел и показывал разбираемые им теперь письма и дневники (новое чудожество), сидела на скамейке в саду, подняв голову, глядела, как увядший лист, зацепившись за паутину, покачивается — не может упасть. Деревья были словно из золота на темносинем небе, — так бывает в хрустальные дни бабьего лета.

Потом она уехала в Милое. Ей слишком тяжело было скрывать от отца правду. Время пошло однообразно, не нарушаемое ничем. Разлетелись было помещики с визитом к молодой княгине, но всем было сказано, что Екатерина Александровна больна.

Помещики обиделись, а Цурюпа стал из-под полы распускать разные слухи.

Катя ждала ответа от мужа и, чтобы не думать, не очень скучать, ходила по хозяйству каждый день, надевая бархатную шубку, отороченную серым мехом.

Надвигалась осень. По утрам на пожелтевшей траве лежал иней, от чего зелень казалась сизой. Иней подолгу лежал и на скатах крыш, и у колодца, откуда черпали в глубокие колоды студеную воду, пахнущую илом, и на перилах балкона, и на листве.

Каждое утро заходила Катенька на конюшню, и конюхи весело отвечали ей на вопросы, улыбаясь, словно она была маленькой. Управляющий, завидев на дворе княгиню, кланялся издали и озабоченно уходил куда-нибудь в амбар, гремя ключами (Катенька не влюбилась управляющего, а он, не приглашаемый к ее столу, обижался). Спросив у пастуха об овцах, — не унес ли какую-нибудь волк этой ночью, — заглядывала она и на скотный двор, покрытый навозом. Скотница, сидя на скамейке, под коровой, доила парное молоко в звенящую дойницу; оставив соски, вытирала рот и наклоняла одну голову, — кланялась подошедшей барыне. Однажды скотница спросила, сколько Катеньке лет, и назвала ее при этом барышней и ягодкой.

На дворе, около людской, восемь поденщиц-девок начали рубить капусту в коротком корыте, — весь день бойко стучали тяпками. Кочаны лежали на пологе, и, сидя тут же на корточках, два чумазых мальчика грызли острыми зубами студеные черыжки.

Завидев барыню, девки повертывали к ней румяные лица и перешептывались. Катенька заглядывала в корыто, — пахло сладким и чесночным духом капусты, — спрашивала, много ли нарубили, и улыбалась здоровым девушкам, спрашивая:

— Вы ведь все девки — незамужние?

— Вот Фроську косую у нас пропивать будут, только женихи все разбежались, боятся — с косого глаза впотьмах мужа не признает.

Они звонко смеялись над некрасивой Фроськой. Катенька, отойдя, думала с грустью, что нужно будет опять провести этот день одной.

Дома она, заложив за спину руки, ходила по комнате или, присев у печи и касаясь спиной и затылком теплых изразцов, глядела через окна на небо, по которому с севера шли облака, полные снега.

Снег выпал сразу, — наутро покрыл всю траву, садовые скамейки, лег подушками на пнях. Деревья стояли в инее. Белый, словно опаловый, прохладный свет разлился по высоким комнатам. Топились печи. На полу разостланы были половики, у выходной двери наделили валенками.

В это утро Катенька, проснувшись, до того обрадовалась чистому этому свету, снегу на окне и горящим печам, что, поспешив надеть шубку и валенки, побежала через стеклянную дверь в сад.

Мороз ущипнул ее за щеки. В снегу от валенок остались

глубокие следы до мерзлой травы. Катенька, захватив горсти снега, засмеялась:

— Как хорошо, господи, как хорошо!

И словно от этого снега, от веселых белых деревьев, поднявшихся из-под косогора неподвижные, залитые солнцем, снежные верхушки, почувствовала она, что горе пройдет.

Как прежде, бывало, у себя в Волкове, подобрала она шубку и юбку и, выбрав гладкое место, скатилась вниз к реке по снежному скату. Смеясь, полезла было опять наверх, но запыталась и подошла к воде. У берега подмерзло, а дальше, по всей реке, пенясь и шурша, шло свинцово-серое сало. Катенька вздрогнула от холода и села под деревьями лицом к реке. Потом наверху затыкала собака, и голос лакея позвал к столу.

Услышав лай, неподалеку из куста выскочил заяц. Катенька опять засмеялась, глядя, как собака, скатившись с горы комком, пошла за кссым зверем.

Все в этот день радовало Катеньку, и она ждала, что по первопутку придет отец, но он не приехал, и пришлось одной провести вечер в кресле у печи.

Голова ли слишком разгорелась от мороза или натопили непомерно печь, только начался у Катеньки легкий озноб, и от затылка по спине пробежали мурашки... Она глубоко ушла в кресло, щеки у нее вспыхнули, Катенька усмехнулась, глядя на огонь, и положила ногу на ногу... Представился ей Алексей Петрович, когда, настойчивый и бледный, в первый раз (это было в Москве) стал ее целовать, говоря слова, о которых не нужно было, конечно, в этом одиночестве думать.

Спихватилась Катенька, хотела было встать, но истома легла на нее, не дала двинуться, и — словно кто-то принялся открывать и закрывать перед ней свет, показывая картинки, — понеслись в ее памяти воспоминания и волнующие запахи, все, что долго сдерживала она суровым смирением. Она крепко закрыла глаза, положила руку на грудь, и мечты, как метель, обожгли ее и ослепили.

## VIII

Пришла коренная зима. Вдоль застывшей реки проносились метели, свистя голыми тальниками, перебрасывались в поля, крутили снегом и насыпали сугробы на замерзший куст, на стожок в степи, на упавшего путника.

Эту зиму Григорий Иванович много читал, выписывая из Петербурга книги и журналы. В журналах он сначала просматривал статьи, отмечая иные строки карандашом, и много раздумывал над всем этим, потом прочитывал Саше рассказы, ища в них ответа: как жить?

Принеся этим летом жертву, Григорий Иванович успокоился, но не надолго: жертва была, пожалуй, и не настоящая, а похожа на удовольствие, ему же хотелось многого.

Время было тревожное, не то, что прежде. В газетах попадались прямо-таки дерзкие статьи, от которых дух захватывало, и студенческие годы в Казани казались мальчишеством.

Одна газетная статейка (в провинцию она попала только подписчикам, в Петербурге же продавали этот номер за пятьдесят рублей) словно открыла Григорию Ивановичу глаза: он увидел, что есть верный путь для совестливого человека. Да какой путь! Можно голову положить за него.

Много тогда пришлось Саше не спать ночей, слушая Григория Ивановича, который бежал по избенке и доказывал ей, как должен честный человек жить. За ним по стене металась тень, на которую Саша со страхом поглядывала, внимая мужу. Доктор был очень горяч и решил, не откладывая, начать новую жизнь, но все это неожиданно плохо окончилось.

В студеную, вьюжную ночь Григорий Иванович сидел у соснового стола, читая. Саша возилась за перегородкой, и доктор по звону посуды знал, что скоро будет чай.

Снаружи, в углу избы, посвистывала метель, будто на крыше, поджав лапки, сидел чорт, жалуясь на стужу.

— Вьюга-то какая, господи, кого еще занесет в степи, — сказала из-за перегородки Саша.

Доктор, заслонив ладонью лампу, поглядел в обледенелое окно. Иглистый лед и перья мороза на стеклах загорались иногда синим светом, — это в страшной вышине, между обрывков туч, сыпавших снегом, нырял и летел месяц...

— А знаешь, — сказал Григорий Иванович, — я все думаю: в Петербурге, где-нибудь у стола, сидит умный и честный человек и пишет, а я здесь, за две тысячи верст, переживаю его мысли, — удивительно!.. Какое же я имею право оставаться в бездействии!

— Кто такой? — спросила Саша. — Здешний он или так где встретились?

— Ах, ты не понимаешь, — ответил доктор, положив руки на книгу. — Ты, Саша, пойми, я не так живу, — слишком уютно и много покоя: бессовестно живу! Понимаешь?.. Так нельзя. Я не имею права жить с удовольствием, когда там за меня погибают. Нужно «поднять голову», — вот здесь об этом говорится... И твоя обязанность — не тянуть меня назад в тину, а ободрить и зажечь. Так поступают настоящие женщины...

У Григория Ивановича от раздражения задрожал даже голос. Саша вышла из-за перегородки, стала близко за стулом мужа, сложила руки, опустила глаза, сказала негромко:

— Виновата, Григорий Иванович...

И надо было ему тогда засмеяться, объяснить Саше, — она бы все поняла. Но он не сделал этого и, сердясь на себя за слабость, винил жену, создавшую, как он сейчас думал, «мещанский уют».

В это время за окном зазвенели подхваченные метелью бубенцы, закрипел снег, и было слышно, как близко задышали лошади.

— Неужто поедешь, Григорий Иванович? Занесет ведь, вот беда, — сказала Саша, уходя опять за перегородку.

— Удовольствия мало, — проворчал он. — Кто-нибудь из помещиков животом валяется. — Откинул волосы, захлопнул книгу, встал и, с трудом толкая коленом, открыл набухшую дверь.

В сенях, от повалившегося клубами пара, ничего нельзя было

разобрать, но кто-то уже вошел. Григорий Иванович вгляделся, отступил и ахнул: на дороге стояла Катя.

Черную шубку на ней запорошило снегом, под капором раскраснелось лицо, ресницы были белые. Она притворила дверь, сняла рукавички, потопала ногами и сказала:

— Не ждали? А я чуть не заблудилась. Поехала к папе, а буря такой, что не пробраться через ваши мосты. Увидела свет и завернула. Принимаете?

Она расстегивала большие пуговицы. Григорий Иванович опомнился наконец, снял с нее шубку, которая была теплой внутри, пахла мехом и духами, взял ее капор.

Под капором волосы слежались, Катенька поправила их и села к столу.

— Где Саша? — спросила она.

— Там, — ответил Григорий Иванович, кивнув головой на перегородку. — Мы читали, собирались пить чай. — И сбоку поглядел на Екатерину Александровну, словно готовый спрятаться или удрать.

— Саша, это я, выходите, — сказала Катенька, оправляя кружево на темном платье, и вдруг усмехнулась.

Григорий Иванович раскрыл рот и с трудом вздохнул.

Саша наконец вышла, держа руки под черной кофтой, и достойно, медленно поклонилась одною головой. Катенька охватила ее рукой за шею и сказала, целуя:

— Все такая же красавица! Ну, как ты живешь, хорошо?

— Благодарю вас, все слава богу, — медленно ответила Саша, не поднимая глаз.

Катенька еще раз поцеловала ее, но Саша была как каменная, и Катя сняла руку с ее плеч. Григорий Иванович глядел на обеих женщин и мучительно морщился, понимая, как тяжела для Саши эта встреча. А, морщась, все-таки сравнивал: Саша казалась грубой и тяжелой, у Екатерины Александровны все было изящно — и движения, и высоко подобранные тонкие волосы, и голос был особенный, как музыка, и платье — мягкое и прелестное...

Григорий Иванович возмущился этими мыслями, но, сколько ни старался придать себе равнодушный вид, глаза сами видели то, чего не нужно и грешно было видеть, — завитки волос, приподнятый уголок рта,двигающиеся от дыхания складки платья на ее груди.

Наконец под коленкой у него начала дрожать какая-то жилка, как мышца. Это было так противно, что он проговорил грубым голосом:

— Что же, самовар наконец будет?

Саша медленно повернулась и ушла за перегородку. Было слышно, как она дула в самовар, гремела трубой. Запахло угарцем. Катенька перелистывала журнал, затем бросила книгу на стол, облокотилась и сказала.

— Я писала вам два раза, просила приехать, — была нездорова. Почему вы не приехали?

— Да я не мог, — ответил Григорий Иванович.

Саша внесла самовар и вытирала посуду, не поднимая головы, спокойная и сосредоточенная.

— А я все одна целые дни. Слушаю, как ветер воет... Думаю, думаю... Боже, во всю жизнь столько не передумала! А вет у вас даже ветер уютный, право... Мне нравится у вас.. Даже завидно.—Катенька вдруг усмехнулась и прямо в глаза взглянула Григорию Ивановичу,—он даже голову втянул в плечи, не в силах оторваться от ее серых, холодных, странных глаз. Она проговорила: — А помните, как вы остриглись так смешно? Мне потом Кондратий рассказывал, как он вам косичку отстригал ножницами..

Григорий Иванович почувствовал, что багровеет, погибает. Наконец Саша сказала, оборачиваясь к дверям:

— Григорий Иванович, сходи-ка в сени, принеси молока, крайнюю кринку, я-то в чулках.—И обратилась к Катеньке:—У нас две коровы, пестрая и красная, и бычок. Полное хозяйство.

«Вы видите, вы понимаете»,—глазами сказал доктор и тотчас вышел. В холодных сенях он пошарил на полке; он знал, где стоит кринка, но хотел нарочно, чтобы упала какая-нибудь дрянь, но ничто не упало, взял ее и, стоя в темноте, прошептал:

— Ах, черт!—и хотел расшибить проклятый горшок, но сморщился только и цыкнул языком, зная, что подлость уже сделана и несчастье (или счастье?) подошло.

— Этот, что ли, горшок?—грубо сказал он, ставя перед Сашей кринку, и сел в тень.

В избе после сеней сильно пахло духами. Григорий Иванович подумал, что это не духи, а волосы пахнут Катенькины, ее руки, платье.

Она неспеша пила чай, ее губы были красные, очень красные. Саша хоронила за самоваром, перетирая чашки. Григорий Иванович подумал, что Саша потолстела, упряма и зла.

«А потом еще расплывется. Собственностью меня считает. Думает—сделала мне большую честь. Сидит—ненавидит, а я горшки носи! Ах, гадость, ах, гадость!.. Да и я-то—просто мерзавец в конце концов!»

Катенька спросила, много ли у него работы. Григорий Иванович, глядя в сторону, вкось, ответил, что много:

— Ездишь, ездишь по уезду, на человека не похож. Жизнь, знаете, у нас не княжеская. Живем по колено в навозе. Не разжиреешь.

У Саши в это время выскользнуло блюдце из рук и разбилось. Катенька ахнула:

— Ах, какая жалость! — и сказала это с таким участием притворным, что Григорий Иванович задыхался и вдруг проговорил дрожащим голосом:

— Нищеты вы не видели, что ли? Так вот она, глядите!

— Что ты, что ты!—испуганно подняв глаза, прошептала Саша.

У Екатерины Александровны задрожала ложечка в руке, задребезжала о стакан. Григорий Иванович отбежал к печке, повернулся, поджал губы.

— Убожества сколько угодно, больше, чем даже нужно, а дух все-таки горит, этим вы его не потушите, да-с! Не оби-

деть вас хочу, Екатерина Александровна, а мне больно, что вы смеяться над нами приехали. Так позвольте вам заявить, что смеяться-то и не над чем. Кроме этих вот горшков, есть кое-что поважнее, чем мы живем. И живем, как в огне горим, да-с! Идеями живем! А перед ними все это убожество — пустяки. И мне наплевать, что личная жизнь не удалась. Не удалась — вот вам новый боец!

Много еще в этом роде говорил Григорий Иванович. Катенька слушала, опустив голову. Наконец, когда он сел вдруг на лавку, словно сам стараясь разобраться во всей путанице слов, Екатерина Александровна поднялась из-за стола и проговорила:

— Вы не так поняли меня. Я живу совсем одна, не с кем слова сказать. Сегодня вот вспомнила вас и Сашу, вы мне показались близкими, приехала подружиться. Ну, видно, из этого ничего не вышло. Прощайте, друзья мои. Не судьба.

Она надела шубку, медленно застегнула шпиговицы, натянула пуховые белые варежки, улыбнулась грустно, простилась и вышла.

Григорий Иванович не в силах был вымолвить слово, — все, только что сказанное им, будто вихрем вылетело из головы. Саша, сложив опять руки под кофтой, проговорила негромко:

— Все-таки гостя, Григорий Иванович, обижать-то не надо бы.

Тогда он, как был, в черной рубашке, без шапки выбежал на двор.

Месяц окончил небесную погоню и медленно теперь плыл в морозной высоте, круглый и ясный. Сивая тройка, запряженная в возок, позванивала бубенчиками. У крыльца наметало голубоватый снег крутым сугробом. Увязая в нем по колено, Григорий Иванович подбежал к Катеньке, — она глядела на него, стоя у возка.

— Екатерина Александровна, я не хотел вас обидеть... Господи, боже мой, поймите меня.

— Я вас понимаю, — она подняла глаза и глядела на месяц.

— Екатерина Александровна, могу я вас проводить?

— Да.

Григорий Иванович богом вернулся в избу, накиннул полушубок и испуганно-торопливо проговорил Саше:

— Проводить хочу Екатерину Александровну, нельзя отпустить одну, к тому же обидели. Вернусь поздно, может, утром, — и он замялся в дверях. Саша не отвечала, убирая посуду.

— Что же ты молчишь? — спросил он. — Не хочешь, чтобы провожал?

— Воля твоя, Григорий Иванович, делай, как знаешь.

— Какая там моя воля, — он отошел от двери, голос его дрожал. — Терпеть не могу таких ответов... Что же, и проводить даже не могу? Ну?

— Какие мои ответы, Григорий Иванович, на что сердиться?



Он тотчас сел на лавку, прижал кулаки к вискам:

— Непереносимо!

За окном звякнули бубенцы, — это Катенька садилась в возок, Григорий Иванович вскочил и сказал отчаянно:

— Не сердись ты, Христа-ради, не могу оставить тебя такой.

— Ничего, потерплю, — ответила Саша и ушла за перегородку.

— Ну, и к черту! — гаркнул он. — Не поеду! — И тотчас высочил за ворота.

Лошади уже тронулись.

— погоди, погоди! — закричал Григорий Иванович и, увязая в снегу, побежал за широким задком саней.

## IX

В окно возка сквозь морозные зерна светил месяц и была видна тусклая, сливающаяся с небом равнина снегов. Скрипели полозья. Как стеклянные, звенели однообразно бубенцы. При поворотах возка выплывало из темноты тонкое Катенькино лицо, опущенное седым мехом, и в глазах ее загорались лунные искорки.

Григорий Иванович глядел на нее и чувствовал, что вот для этой минуты он и протачился через всю жизнь. Теперь — только глядеть на это волшебное лицо, только вдыхать кружащий голову запах снега, духов, теплого меха.

— Вы знаете, что меня бросил муж? — сказала Екатерина Александровна, появляясь в синеватом свету.

Григорий Иванович вздрогнул, подумал, что нужно ответить ему на это, и внезапно, точно ждал только знака, начал рассказывать негромким и каким-то новым, особенным, но — он чувствовал — истинно своим, голосом о том, что этим летом видел, как из реки поднимались облака и уходили за лес, и тогда его сердце наполнилось любовью, о том, как он увидел Катеньку, подъезжавшую к берегу в лодке, и понял, что любовь — к ней. Он рассказал о пчелах, крутившихся в траве, и о том, что его любовь была так велика и так светла, — казалось — человеку невозможно вынести такую любовь, хотелось отдать ее небу, земле, людям.

— А как же Саша? — вдруг тихо спросила Катенька. Лицо ее было такое странное в эту минуту, такой мучительной красоты, что Григорий Иванович застонал, откинувшись в глубь возка. Катенька погладила его по плечу. Он схватил ее руку и прижался губами к мягкой, надушенной варежке.

— Люблю вас, — проговорил он. — Дайте мне умереть за вас...

Он держал ее за руку, повторяя эти слова глухим голосом, и на ухабах, когда возок подбрасывало, все словно кланялся. Лицо у него было некрасивое, — взволнованное.

И Катенькой овладела тоска. Хотела было она посмеяться над Григорием Ивановичем, сказать, что не к отцу сегодня ехала, а к нему, — нарочно, со зла и скуки, поехала мучить. Что он — жалок ей. А любовь его, как вот эти покло-

ны, — смешная, и действительно за такую любовь только и можно, что умереть. Но ничего этого она не сказала. Хотелось горько, надолго заплакать.

— Взгляните на меня... Полюбите меня на минутку, — говорил Григорий Иванович.

Тогда Катенька выдернула у него свою руку. Он не сопротивлялся, только сполз к ее ногам, коснулся лицом ее коленей. От этого ей стало еще темнее и тоскливее.

И оба они не заметили, что возок начало валять на стороны, клонить и вдруг помчало вниз. Кучер, не в силах повертнуть молодых лошадей при спуске вбок, на дорогу, пустил тройку напрямик с горы на речной лед.

Вздымая снег, раскидывая грудью сугробы, вынеслись кони на реку. Лед затрещал, возок качнулся, осел, и хлынула в него черная вода.

Катенька закричала. Григорий Иванович живо распахнул правую, не залитую водой дверцу. Между тонких льдин полыньи, в синей, с мунными бликами, текучей воде бились белые лошади. Коренник держался передними копытами о лед — и вдруг заржал протяжно, жалобно. Левая пристяжка мрапела, — только морда ее была видна над водой. Правую затягивало течением.

— Тоне-см! — вытянувшись на козлах, закричал кучер.

Григорий Иванович впотьмах обхватил Катеньку, как со-кровище, высунул ее из возка, говоря: «Не бойтесь, не бойтесь...» Она ухватилась за решетку наверху кузова, подтянулась, возок сильно накренило, и Григория Ивановича залило по пояс.

## ВОЗВРАТ

### I

Алексей Петрович ехал на самолетском пароходе по второму классу от Рыбинска и вот уже несколько дней, не выходя из каюты, лежал, даже не от расстройства какого, а просто — незачем было двигаться и разговаривать, — только пил и спал.

В кармане помятого его пиджачка были завернуты в газету последние сто рублей. Алексей Петрович притворялся, что сам не знает, зачем сел на пароход и едет: казалось, точно с большой собаки лезет с него шерсть клоками, до того было нечистого, гнусно и тоскливо.

После года беспутной жизни Алексей Петрович опустился на последнюю ступень, — дальше была только смерть в ночлежном доме, и он чувствовал теперь некоторое удовлетворение, даже приятную остроту: не мучила совесть, ничто не вспоминалось, да и не было времени вспоминать. Проснувшись в каюте, откашливался он, выпивал водки и, присев к столу у зеркала, зевал или раскладывал пасьянс, пока от хмеля опять не одолеет сон...

Перед свадьбой, объясняясь в саду на скамейке, Алексей Петрович сказал Катеньке, что, если бы она охотой шла за

него, он бы не женился. Тогда же Катенька поняла, что ему нужна «жертва». Алексею Петровичу, действительно, нужна была «жертва», но особого рода (это она не совсем себе уяснила): живая, теплая, вечная. Бывают жертвы глухие и бесповоротные, когда человек отдаст всего себя, пропадет и исчезнет, при воспоминании об этом мучает совесть и сам себе кажешься недостойным. Бывают жертвы огненные, радостные, мгновенные, при воспоминании о них жалеешь, что не повторяются они еще раз. Алексей же Петрович мог жить только так: если близ него находилась любящая женщина, с измученным сердцем, без воли, всегда готовая отдать всю себя за ласковое слово. Он должен был чувствовать постоянный нежный укор, милую тяжесть, грусть оттого, что не в силах дать ей всего счастья, которое заслужила она, и в эту любовную меланхолию он погружался с головой, пил ее, как восхитительный, горький, дьявольский напиток.

Таковы были его отношения с Сашей. Когда же она от тихой жертвы перешла к бесповоротной, он пришел в ужас, и Катя тогда показалась ему единственным спасением. Она была любящая, нежная, прекрасная. Князь полагал, что их союз будет — как печальная осенняя заводь, — грустный, последний приют на земле.

Но после пощечины в нем вспыхнула злоба и страсть: пощечина напоминала прошлое, с той лишь разницей, что здесь властвовал, решал судьбу — он.

В первые дни свадебного путешествия Алексей Петрович, словно боясь, что Катенька опомнится и поймет весь ужас их союза, был до оскорбительности всжлив и предупредителен. Но она, сама не ожидая, став женщиной, внезапно и пылко влюбилась в мужа, точно из сумерек вышла на ослепительный свет. Это было жгучее ощущение самой себя, своей женственности, огнем закипевшей крови. Перед этим чувством все прошлое померкло, сгорело, — не стоило вспоминать.

И Катенька втянула мужа в водоворот женского первого чувства. Для Алексея Петровича, так же неожиданно, наступили дни забвения, взволнованной радости, счастливых забот о милых мелочах. Казалось — настала вторая жизнь, когда он видел только глаза Катеньки, полные восторга, почти безумия, когда для него не было ни прошлого, ни будущего, лишь этот взволнованный, безданный женский взор.

Кружащее голову счастье продолжалось недолго. Алексей Петрович начал понимать, что не выдержит такого напряжения, и растерялся. Произошла первая ссора. Катеньке было оскорбительно и стыдно, что ее влюбленность встретила холод, почти насмешку. Она почувствовала, как они далеки с мужем, точно два чужих человека. Это было вечером в старом отеле в Венеции. Алексей Петрович стоял у окна, выходящего в узкий канал, красноватый от дождевого заката. Катенька лежала на диване и плакала.

— Ради бога, Катюша, перестань, никакого несчастья не произошло, — негромко говорил Алексей Петрович. — Ты хотела меня поцеловать, — я был рассеян. Вот и все. Я думал,

что мы в конце концов ничего, кроме ресторанов, так и не осмотрели толком в этой Венеции. Ты согласна? Просто, я думаю, в сумерки тебе взгрустнулось. Или мы устали...

Все это было верно, и плакать не стоило.

Но Катенька сама не знала, отчего ей так печально, словно солнце ушло навсегда за далекий край моря и теперь всю жизнь будет вот так же безнадежно и сумеречно.

Внизу бесшумно скользила черная гондола. Князь, облокотясь о подоконник, глядел, как узкий нос лодки разрезает красноватую воду. Сидящая в гондоле дама опустила лорнет и, подняв лицо, обернулась к лодочнику. Алексей Петрович узнал Мордвинскую.

Он отшатнулся от окна и взглянул на Катю. Она сидела теперь, опустив лицо. В сумерках белел платочек на ее коленях. Алексей Петрович почувствовал острую жалость к этой чистой и милой, так ничего и не понявшей молодой женщине. Он опустился на колени перед диваном, взял ее руку и прижался губами, но рука ее была неподвижна и губы его холодны. Ему стало ясно, что не ее он любил, а ту, и никакой жертвой не затопить той любви.

На другой день Краснопольские уехали в Рим, потом в Геную, в Ниццу, в Париж.

Алексей Петрович не мог достоверно сказать, была ли то Мордвинская, скользнувшая, как призрак, в черной гондоле, обмануло ли его случайное сходство. Но, все равно, в нем распахнулась дверь в тайник, наглухо запертый и позабытый с той ночи, когда Анна Семёновна опутала его паутиной ласк, отравила поцелуями. Он знал теперь, что все это время обманывал себя, и обман, так ловко возведенный, рухнул от одного взгляда женщины; что все, даже удар хлыста по глазам, он простит и забудет за встречу с Мордвинской; что нет у него ни воли, ни гордости, только измученное сердце, каждую минуту готовое залиться смертельным пламенем любви.

Ему стало вдруг безразлично, уйдет ли Катенька от него или до конца дней будет страдать под боком, или, как Саша, принесет глухую жертву. Она молчала, грустила, но еще не решалась спросить, отчего он так внезапно переменился.

В Париже Алексей Петрович иногда на целые дни оставлял Катеньку одну в отеле. Она садилась к окну и ждала. Внизу, на площади Оперы, скрещивались потоки экипажей, пересбегали люди, слышались гудки, свистки, шумы колес, говор. Только малое пространство отделяло ее от этой суеты, но одиночество, обида чувствовались еще острее.

Алексей Петрович возвращался несколько раз очень поздно. Катенька с тоской глядела в его похудевшее лицо, с измученными и словно невидящими глазами. «Не люблю, не люблю, все равно, пускай пропадает», — повторяла она, стискивая пальцы. Князь просил извинить его, объяснял, что бродил весь день по городу, и слова его были смутные, сбивчивые, непонятные.. Потом он ложился в постель, про-

тягивал руки поверх одеяла и закрывал глаза, притворяясь, что засыпает.

Катенька уловила из этой путаницы только одно — что муж настойчиво пытается встретить кого-то, заходит в рестораны, театры, кабачки, магазины, сидит в людных кофейнях, бродит по бульварам. Катенька пыталась узнать, кого он ищет, умоляла, грозилась и плакала, но князь молчал. Однажды под утро, глядя в позеленевшее от рассвета лицо его с ввалившимися, тусклыми глазами, Катенька села на постели, обхватила голову, проговорила:

— Не понимаю, ничего не понимаю... Все это безумие как-то-то... Ложь, ложь, ложь!..

— Да, — безумие и ложь, Катя...

Катенька более не сдерживалась, гордость ее была сломлена. Соскочив с постели, она босиком подбежала к окну и крикнула, что, если он еще хоть раз оставит ее одну в этой комнате, она выкинется на улицу под экипажи. Отчаяние ее было так велико и неожиданно, что Алексей Петрович будто опомнился, начал успокаивать Катеньку и сказал, с усилием, что пора, — нужно ехать домой, в Россию.

Произошло все это оттого, что по приезде в Париж Алексей Петрович пошел в посольство и там ему сказали: «Мордвинская здесь и одна, но адрес ее не известен». Тогда он стал искать Анну Семеновну по всему городу и действительно видел ее два раза издали, но подойти не мог: она была с каким-то рослым молодым человеком, по виду — держателем скаковой конюшни.

За последнюю неделю Алексей Петрович не встречал ее больше нигде: должно быть, уехала на юг, в Биарриц или Ниццу, где начинался сезон.

В Петербурге была уже осень. Над городом тащились мокрые облака. В воздухе пахло железом. Прохожие, деловитые и злые, с испитыми от неврастения лицами, не раскрывали даже зонтиков, — до того все привыкли к мокроте: пусть льет.

В один из таких дней Краснопольские с Варшавского вокзала проехали на Морскую в гостиницу. Катенька не хотела было останавливаться, но Алексей Петрович сослался на дела, и начались томительные и однообразные дни. Лил дождик, весь день горело желтое электричество в номере, князь отлучался не надолго, остальное время проводил на диване, — то молчал, то раздражался на мелочи, то уговаривал Катеньку поехать с визитами к родным, но от этого она отказалась наотрез. Однажды Алексей Петрович ушел поутру и не вернулся ни днем, ни ночью, ни на следующий день.

Случилось вот что. Выйдя утром из гостиницы, Алексей Петрович, как всегда, взял извозчика и поехал на Шпалерную. Поровнявшись с домом Мордвинских, он от волнения закрыл глаза: вчера еще замазанные мелом, окна были вычищены, подняты шторы, и в глубине залы светилось несколько электрических лампочек. Алексей Петрович отпустил извозчика на углу и вернулся к подъезду. Сердце у него билось так,

что надо было придерживать его рукой. Он позвонил, вошел в дом и передал лакею карточку. О том, что будет дальше, — выйдет муж или она сама и как он в том или ином случае поступит, — князь не думал.

Лакей долго не приходил. «Негодяй, нарочно держит меня в прихожей», — подумал князь. Лакей появился в глубине комнаты и оттуда поглядел на князя — нагло, конечно, — и скрылся. Кровь бросилась в голову Алексею Петровичу, он взял с подзеркала черную женскую перчатку и, дернув, разорвал пополам. Лакей снова появился, с пестрой метелкой, смахивая походя пыль. «Дурак!» — закричал Алексей Петрович, и голос его покатился по комнатам. Откуда-то позвонили, лакей исчез, и князь, со всей силой махнув парадной дверью, выбежал вон.

На улице моросил дождь, облака тумана тащились по крышам, и ржавый воздух проникал в кости. Алексей Петрович медленно двигался по тротуару. Он предвидел все, но только не лакея с метелкой.

«Теперь поскорее забыться, — подумал он. — Но только куда-нибудь погрязнес». Он ясно понял теперь, что это — конец, полтора года страшного напряжения разрешились метелкой и ржавым дождем. Иного, конечно, и нельзя было ожидать, потому что сам он — маленький, хилый, ничтожный, и, если пойдет дождь посильнее, смоет его дождем в канавку, сбоку тротуара, унесет в подземную трубу. Тогда он вспомнил о Кате: «Нет, нет, до нее далеко. Нельзя. В трактир куда-нибудь».

На перекрестке оглянулась на него страшная, точно обсыпанная мукой, женщина в мокром боа.

— Что вы какой серьезный, миленочек? — прохрипела она и позвала к себе.

Князю стало до тошноты противно, и он сейчас же пошел за ней.

Женщина привела его в ободранную, затхлую комнату. Алексей Петрович, не снимая пальто и шапки, сел у непокрытого стола и глядел на фотографии каких-то вольноопределяющихся, прибитые над красным рваным диванчиком. Сквозь щель в двери была видна вторая женщина, полураздетая, с распущенными волосами. Заметив, что князь на нее смотрит, она показала изъеденные зубы и вышла. За ней появился рослый парень в малиновой рубаше, кудрявый, с мешками под глазами. На ремне через плечо у него висела гармонь. Он поклонился, тряхнул кудрями и, поставив ногу в лаковом сапоге на стул, перебрал лады.

— Да, да, пойте, — сказал князь. — Я заплачу.

Женщина с распущенными волосами подобрала сзади канареечный капот, щелкнула пальцами и запела, — неожиданно басом. Князь оглянулся на нее и взялся за бутылку, неизвестно как попавшую на стол. Набеленная женщина под села к нему и стала глядеть в рот. Глаза у нее были без ресниц, слезящиеся. Она поправила слезавшуюся прическу, и из-под накладных волос у нее вылез клоп.

Князь гадливо усмехнулся, сказал: «хорошо» — и выпил

полный стакан. Вино сильно ударило в голову. Женщина гудела басом: «Не разбужу я песней удалую роскошный сон красавицы молодой...» Князь пил стакан за стаканом сладковатое и тошное вино. Звуки гармони звучали все отдаленнее. Он привстал было, чтобы сорвать наконец этот страшный шиньон, полный клопов, но пошатнулся и, хватаясь за женщину, повалился на пол.

Проснулся он в незнакомой, но не вчерашней комнате, на железной кровати. Голова мучительно болела. Долго, сидя на грязном тюфяке, вспоминал он вчерашнее, потом, пошатываясь, вышел в прихожую. Там валялись узлы, баулы и на стуле стоял портрет какого-то генерала. На шаги князя отворилась кухонная дверь, в щель высунулась сморщенная старушка, поглядела и скрылась. Князь вышел на парадное, — дом был многоэтажный и каменный, а тот — деревянный. «Чорт знает, что такое», — сказал он и долго брел пешком, не в силах ни позвать извозчика, ни сообразить, куда идти. Пробежал впереди фонарщик, и один за другим зажглись фонари. Алексей Петрович, глядя на желтые отблески под ногами, замотал головой и в тоске прислонился к сырой стене. Потом полез в карман за папиросами, но ни папиросочки, ни бумажника не оказалось.

Второй раз вспомнил он о жене. И теперь отметил с удивлением: до того уж загажен, измят и нечист, что думать о ней стало легко и сладко. Мордвинская же словно исчезла из памяти, образ ее расплылся в уличной грязи; должно быть, все, что было связано с ней, отжило в эту омерзительную ночь. И это наполнило его радостью, точно была окончена часть тяжелого пути, самое трудное и мучительное миновало.

Забрызганный грязью, промокший, но спокойный, Алексей Петрович добрался наконец до гостиницы. Швейцар не узнал его, и князь рассмеялся, — значит, сильно переменился за эту ночь. Перед дверью номера он снял помятый цилиндр, ладонью пригладил волосы и постучал.

Катенька, закутанная в белый пуховый платок, стояла посреди комнаты. Лицо ее было совсем бледное, глаза огромные, сухие.

— Где ты пропадал? — спросила она, оглядела его и отвернулась. — Какой ужас!

Не отходя от двери, князь проговорил:

— Милая Катя, я весь мокрый, сесть не могу, испачкаю все у тебя... Но это, именно, очень хорошо, что так все случилось. — Он переступил с ноги на ногу и усмехнулся. — Встречу ли я тебя еще когда-нибудь — не знаю. Но теперь я спасен, Катя.

— У вас бред, вам нужно в постель, — поспешно проговорила она.

— Нет, нет, ты думаешь — я пьян? Я сейчас все тебе объясню.

Князь, вздохнув, оглядел комнату, посмотрел на грязные свои сапоги, потом, на одно мгновение, с огромной нежностью, почти с мольбой, взглянул Катеньке в лицо, опустил

лаза и стал рассказывать все по порядку, начиная с видения на венецианском канале.

Слушая, Катенька подошла к дивану и села, — ноги не держали ее. Она поняла все, вплоть до сегодняшнего утра. Но то, почему и как исчез из сознания князя образ Мордовинской, осталось для нее неясным. Алексею же Петровичу только это и было важно сейчас. Он говорил о себе так, словно был уже новым человеком, а тот, вчерашний, чужой и враждебный, отошел навсегда. Ему все это представилось до того ясно и хорошо и было так ясно и хорошо на душе, что он никак не мог понять, почему Катенька с такой злобой смотрит ему в лицо.

— Ну, а обо мне-то вы подумали? — крикнула наконец она, и лицо ее порозовело. — Мне что теперь делать? Мне как жить с вами?

— Тебе? Ах, да...

Действительно, весь этот разговор клонился к тому, что Катенька вот сейчас, в это мгновение, должна была принести огненную жертву, отдала бы всю свою чистоту, всю чудесную силу женщины, наполнила бы ею опустошенную душу князя.

Алексей Петрович понял это. Стало противно, как никогда: кто же в самом деле он, — упырь? Только и жив чужой кровью, — нажрется и отвалится.

— Катя, я уйду от тебя, навсегда. Потом ты все, все поймешь, — проговорил он, и вдруг страшный восторг охватил его, голос оборвался. — Милая моя... Помни, помни, что бы ни было, — я всегда верен, верен, верен тебе до смерти. Прощай.

Алексей Петрович поклонился низко и вышел. В тот же день он выдал жене векселей на всю стоимость именья и полную доверенность на ведение дел. Себе же взял только несколько тысяч. И в ту же ночь уехал в Москву.

Алексей Петрович не знал хорошенько, что будет делать в Москве. Поселился он в плохонькой гостинице и первые дни ждал, что та минута страшного восторга повторится, разольется в чудесную долгую радость. Но понемногу становилось ясно, что чуда неоткуда ждать, а прошлая жизнь, на минуту отпустившая, висит над головой, каждую минуту готовая снова придавить. Тогда настали дни невыносимой тоски, тем более острой, что не виделось иного выхода, кроме смерти. Вернуться к жене было невозможно. Да князь и не знал, где Катенька, что случилось с ней после его ухода.

Тоска усиливалась. Можно было почти указать, где находится она — посреди груди, под средней косточкой. В этом месте с утра начинало сосать, к вечеру же словно наваливался жернов. От рюмки вина боль ослабевала. Князь начал пить коньяк, потом перешел на водку. Тогда появились знакомые, довольно странные по виду, но все хорошие люди. Имен их князь не запоминал, а лица под конец дня все равно расплывались, трудно было отличить мужчин от женщин, да и не все ли это равно. Часто играли в карты. Князь проигрывал, и денег у него осталось не много.

Во время этого чада — забвения всего — мелькнула одна встреча, незначительная, но запомнившаяся. Князь проходил



днем около Иверской. Часовня была словно островом, где на минутку отдыхали прохожие, снимая шапку, крестились, глядели на темный лик, на свечи. Князь тоже остановился и начал вспоминать молитвы, но ни одной не вспомнил, только смотрел на переливающиеся огоньки, на теплые отблески ризы. Сзади в это время веселый голос произнес: «Христу ради прохожему, милый человек». Князь достал мелочь и обернулся. Перед ним стоял монашек и улыбался, лицо его было рябое, тощее, и на нем — светлосиние ясные глаза. Князь посмотрел в них и тоже улыбнулся, — показалось, будто монашек знает что-то очень важное, что и ему непременно нужно узнать.. «Вот медяки, — сказал Алексей Петрович, — а приходи ко мне — я тебе рубль дам».

Приходил ли монашек к нему, князь не помнил хорошенько, но, кажется, мелькнули на одно мгновенье среди играющих в карты, за облаками табачного дыма, пытливые синие глаза.

Настала весна. Князю очень хотелось думать о Катеньке, и, чтобы не делать этого, он еще сильнее, беспробуднее пил. Однажды к нему в номер явился купчик, назвался волжанином, будто бы знавшим князя по имению, бойко выпросил про положение Алексея Петровича и рассказал между прочим о происшедшей зимою напротив Милого катастрофе.

Из путанного рассказа купчика все же можно было понять, что произошло тогда, зимней ночью, на берегу Волги.

Возок слетел с горы в полынью, погрузился до половины, но не опрокинулся, поддерживаемый коренником, который уперся передними ногами о лед. Кучер успел перерезать вальки, одна пристяжная ушла под воду, другая еще билась. Кучер по оглоблям пробрался на коренной лед, ухватив за хвост, помог выбраться пристяжной, вскочил на нее и погнал через реку за народом в Милое.

Катенька лежала на верху возка в забытьи. Григорий Иванович, стоя на отводе, по пояс в воде (козлы тоже были затоплены, а взлезть наверх он побоялся, должно быть), обхватил Катеньку, положил голову на ее грудь и глядел в открытые ее глаза.

Снег погалил опять, окреп ветер. Вдоль реки дымом несло пометку, и снежной пылью стало засыпать у Катеньки словно мертвое лицо. Это было так страшно, что Григорий Иванович поднял голову и закричал. Забился и коренник, ослабевая. Возок раскачивало ледяным ветром. Катенька вдруг привсталала, спустив ноги в тонких чулках, огляделась, всплеснула руками, обхватила голову Григория Ивановича и прижала к себе, словно боясь отпустить. Так просидели они молча, покуда из Милого не прискакали с веревками и шестами работники. Спешась у полыньи, они думали, что княгиня и доктор застыли, но потом заметили, что Екатерина Александровна немного поворачивает голову, следя, как накладывают шесты, закидывают веревки за возок и тянут на лед верного коренника. Но вдруг произошло непонятное: совсем уже у края коренного льда, когда крепкие руки мужиков ухватили княгиню, Григорий Иванович поднял голову, рас-

крыл рот, и все слышали, как проговорил он коснеющим языком: «Не надо, не трогайте», — потянулся за Катенькой, застоялся, не сгибаясь, рухнул, с воплем, в воду и сейчас же ушел, будто каменный, под лед.

Княгиню положили в сани, завалили тулупами и доставили в Милое. На другой день Александр Вадимыч перевез дочь к себе.

В этой истории Алексея Петровича особенно поразила гибель доктора Заботкина. Чем больше он раздумывал, тем ясней становилось, что гибель была не простая, не случайность, а восторг смерти, жертва.

Все эти мысли очень волновали. Князь не был даже уверен, жива ли Катенька. Оставаться в Москве казалось невыносимым. Он завернул в обрывок газеты последние сто рублей и поехал на Ярославль. Там сел на пароход.

Одно время он решил было пробраться в село близ Милого и там разузнать о Кате, но потом раздумал. Просто нужно было проехать мимо Милого, вздохнуть один раз тем воздухом, а потом — наплевать, хотя бы смерть от белой горячки.

## II

Алексей Петрович лежал на боку в одноместной каютке, обитой жестью и выкрашенной под орех. Около двери бежала вода в раковину. Дрожали жалюзи. Солнечный свет, отражаясь в реке, проходил сквозь щели жалюзей, играл на белом потолке зыбкими зайчиками.

На столике перед зеркалом стоял графин с водкой и тарелки да еще табак в газетной бумаге, на полу — раскрытый чемодан, почти пустой, и пальто в ногах.

Усыпителен в летний зной мерный стук машины, и легко дремать на мягкой койке, обдуваемой ветром через окно. Алексей Петрович похрапывал, лицо его было розовое, как у пьяниц. Он почти ничего не ел за последнее время, только пил, щипля невкусную пищу. Когда же слишком начинал жечь алкоголь и пересыхало во рту, он, морщась, просыпался, протягивал руку за бутылкой с квасом, отхлебывал и повертывался к стене, подогнув колени.

На реке есть хочется ужасно, и, кажется, не успели отобедать, а уже зовут к полднику. «Недурно бы теперь соленьенького», — подумал князь, когда услышал стук в дверь каюты, и сказал спросонок:

— Ау, — и приоткрыл глаз.

В дверь опять постучались. Князь проговорил дребезжащим голосом:

— Приготовь-ка мне, цорогой, похолоднее графинчик да что-нибудь там...

«Что-нибудь соленькое — это хорошо», — подумал он, — подтешку малосольную с хреном можно выпить».

Но стук в дверь продолжался.

— Что тебе нужно, чорт? — воскликнул Алексей Петрович, спуская с койки ноги, и отомкнул задвижку.

Дверь осторожно раскрылась, и вошел монашек с косицей

и в скуфейке. Кончики пальцев он держал в рукавах подрысника.

— А ты говоришь — чорт, — проговорил монашек. — Здравствуй! — и низко поклонился, потом с улыбкой осмотрел беспорядок в каюте.

Князь с испугом глядел ему в синие-синие ясные глаза на рябоватом и мелком лице. Да и весь вид монашка был мелкий и не то что потрепанный, а, казалось, трепать-то в нем нечего было.

— Я за милостыней, — продолжал монашек. — Капитан у нас хороший человек: ладно, говорит, проси, только не воруй. А мне зачем воровать, когда и так дадут. Про тебя он сказал — запойный. А ведь ты не совсем запойный, а? Уж тебя-то я хорошо знаю.

Он сел рядом и руку положил на колени Алексею Петровичу; князь отодвинулся, тараща припухшие глаза.

— Кабы не тоска, человек должен в свинью обратиться. Ведь так, милый? — спросил вдруг монашек.

Алексей Петрович кивнул головой, коротко вздохнул и ответил:

— Хуже, чем я, жить нельзя! — Потом спохватился и сказал сердито: — Послушай, я тебя не звал, ты зачем затесался? Уйди, пожалуйста, и без тебя скучно.

— Ни за что не уйду, — ответил монашек. — Ты, я вижу, совсем поспел. Нет, я от тебя не отстану.

Алексей Петрович тряхнул головой, все у него перепуталось и поплыло. Потом проговорил тоскливо:

— Неужели ты мне представляешься? Да, значит, очень плохо. Послушай, ты водку пьешь?

— Зачем ее пить?

Алексей Петрович опять поднял мутные глаза, — лицо монашка словно плавало по каюте.

— Пей! Убью! — зорал Алексей Петрович не своим голосом. Но монашек продолжал улыбаться. Князь, обессилив, лег и закрыл глаза.

— Ай-ай-ай! Дошел же человек до чего! — Помолчав, монашек проговорил неожиданно громким и резким голосом: — А я тебя другим хмелем напою. От моего хмеля сыт будешь, и сыт, и жив... Слушай меня... Много тебе было дано, а ты все растерял. Но ты для того растерял, чтобы не многое найти, а вечное. Встань и, куда прикажу, туда пойдешь.

«Не кричи, все сделаю, ушел бы лучше», — подумал князь. Монашек нагнулся над Алексеем Петровичем и погладил его по голове. Князь опять зажурился.

— Милый, идем со мной, — продолжал монашек. — Верно говорю — обрекись. Скоро к Ундорам подойдем, там и слезешь; меня найдешь на берегу. Подумай хорошенько да приходи. Понял?

Он постоял тихоенько, потом, должно быть, вышел — шелкнула дверная щеколда.

Алексей Петрович продолжал лежать, с натугой собирая мысли, чтобы сообразить — действительно ли говорил с ним сейчас человек или только привиделся?

Так прошло много времени. Зайчики на потолке давно погасли, в каюте становилось все темней, и скоро над зеркалом, раскаляясь, сама зажглась лампочка.

— Ерунда, — сказал князь. — Вчера вот тоже мне жокей какой-то мерещился в желтом картузе.

Он слез с койки, взглянул на себя в зеркало и, с трудом волоча ногу, поплелся в рубку второго класса, где и сел в угол, ни на кого не глядя, а чтобы не слышать разговоров, облокотился о стол, прикрыл уши ладонями. Лакей принес холодный графин с водкой и севрюжку. Князь налил запотевшую рюмку, поперчил, медленно выпил и, выдыхая из себя винный дух, покосился на рыбу.

Пароход в это время заревел и стал поворачивать. Штору в окне надуло, за соседним столом сказали уверенно:

— У н д о р ы...

Алексей Петрович сейчас же вскочил и спросил негромко: — Не правда? — Потом вышел на темную палубу.

Поворачивая к пристани, пароход взволновал черную воду. Из-под борта, освещенная иллюминатором, вынырнула лодка с двумя мальчишками: один греб, другой играл на балалайке. Лодка скрылась в темноте.

Князь, прислонясь к столбику перил, глядел, как приблизилась конторка, как бросили чалки на загремевшую крышу, как матрос и трое оборванцев навели мостки и, широко ступая, сбегали по мосткам грузчики, в мешках, накинутах, как клобуки, на голову.

Потом из пароходного нутра повалил народ с котомками и сундучками за спиной, суя матросу билетики.

Алексей Петрович внимательно вглядывался и вдруг вздрогнул, приметив среди мужиков и баб знакомые глаза, но их сейчас же заслонил тук с шерстью.

Князь поспешно сошел вниз, втерся в толпу и, кусая губы, нетерпеливо оглядывался.

С конторки он поспешил на берег, где с фонариками перед лотками сидели бабы, крича и тыкая в проходящих то жареным поросенком, то булкой.

На прибрежном песке Алексей Петрович совсем запутался в толкотне среди мешков и поклажи. Он помнил только, что необходимо ему найти кого-то и спросить: что делать дальше? Один раз показалось, будто кто-то очень знакомый наклонился над лотком. Потом вдалеке, между телег, будто помахали ему рукой.

— Заманивасшь, — прошептал Алексей Петрович и обходом, нагнувшись, побежал к возам.

Пароход в это время заревел и, отвалив, потушил огни.

### III

— Эй, подождите, постойте! — ковыляя к мосткам, кричал Алексей Петрович уходящему пароходу.

Дорогу ему преградил коренастый крячок.

— Ай, баринок, пароход-то ушел!

Подошел матрос, бабы-торговки и озабоченный мужичок

с козлиной бородкой. Окружив князя, все стали спрашивать: куда он и откуда едет? Не оставил ли денег на пароходе? Женатый ли? Охали, качали головами. Озабоченный мужичок всех больше хлопотал, будто он-то и остался, а баба одна, подсунувшись к самому носу Алексея Петровича, заявила вдруг, радостно удивясь:

— Да он пьяный!..

Тогда все успокоились и уже душевно начали относиться к Алексею Петровичу.

Но князю тошно стало от этих бестолковых расспросов, и он, протиснувшись сквозь народ, пошел прочь по берегу.

«Упаду где-нибудь и умру, и хорошо, — подумал он. — Никому я не нужен, пойду, куда сил хватит. Как жалко, ах, как жалко! Вот чем окончилась жизнь».

Алексей Петрович шел сначала вдоль песчаного берега, на который медленно находили невидимые волны, поднятые парходом. Но скоро стрелки изрезали песок, князь споткнулся и повернул от реки на холм и в луга.

Только теперь, с трудом взобравшись наверх, увидел он частые звезды над головой. Трава была уже покосена и собрана в копны. Он постоял, слушая бульканье перепела невдалеке, и пошел быстрее, — не то, что у реки, где в песке увязали ноги.

«Куда я тороплюсь, будто гонятся», — наконец подумал он и вдруг сообразил, что ни разу еще не оглянулся. Он до того испугался, что тотчас присел и медленно, из-за плеча, поглядывал назад.

Позади, из-под холма, на сероватое от ~~земли~~ поле поднималась темная фигура монашка в остром ~~капюшке~~ капюшке.

«Гонится, — подумал Алексей Петрович. — Надо спрятаться», — и, пригибаясь к земле, быстро пробежал до первой копны и лег в сено, поджал ноги, стараясь не дышать. От увядающего сена пахло беленой и диким луком. Алексей Петрович задыхался. Вдруг монашек быстро прошел мимо, — его глаза словно блеснули синим светом.

«Вот так черт, — подумал князь в страхе. — Я пропал! Увидит или нет? Прошел, слава богу... Нет, опять повернул. Обходит, как зверя... Только бы не закричать... А может, опять представляется: я в каюге лежу и вижу сон?... Нет, вот земля, вот сено... А вот звезды. Милые звезды, — я всегда вас любил... Господи, вот я сейчас верю в тебя».

Алексей Петрович, схватясь за сердце, повернул голову и застонал. А в это время монашек, выйдя из-за копны, присел над ним и погладил по плечу. С воплем вскинулся князь и тотчас упал навзничь. Широко открытые глаза его были безумны.

— А ты не бойся, — негромко сказал монашек. — Видишь, как тебя перекорячивает. Зачем от меня прятался, а?

— Не буду больше, — с трудом проговорил Алексей Петрович. — Теперь я вижу, что это ты, от Иверской. Как ты всел, так я и сделал...

Монашек улыбнулся, а князю опять показалось, будто

усики у него раздвинулись и выскочил из-под них язык, как у ящерицы, — выскочил и спрятался...

Князь тотчас поднялся и побежал было, но монашек словил его — и, вновь уложив на копну, сказал:

— Вот дурашный, ей-богу. Нечего делать, поспим и на траве. А я было сначала норовил с возами устроиться, на возах бы и выспались... Ну-ну, подремли, голубчик, а я тебе спою.

Он лег в сено рядом с князем и немного погодя запел тонким, протяжным голосом:

Задремал я, маменька,  
В пору вещей снов.  
Видел — будто по степи  
Конь меня рванес.  
Спала моя шапочка,  
Сам я не живой...  
Видно, не уйти мне  
От судьбы лихой...  
Отвечает матушка:  
— Чей-то скачет конь,  
На коне невеста,  
В белом уброна,  
В белом уброна.  
Не твой ли жена?

#### IV

Когда утреннее солнце забралось под закрытые веки, Алексей Петрович проснулся и, приподнимаясь на руках, застонал — до того всего разломало.

Рядом в сене сидел монашек, разложив перед собой на полотенце ножик, хлеб и две луковицы.

Белыми зубами он грыз третью луковку. По рябоватому лицу его, у голубых глаз и под ошипанными усами, играли смешливые морщинки.

— Прошла одурь-то? — спросил он. — На, хлебни, для тебя припас, — больше не дам, ей-ей.

Он снял скуфейку, вынул оттуда и подал Алексею Петровичу пузырек, где было на глоток теплой водки. Алексей Петрович взял пузырек, с натугой вспоминая, что случилось. Когда хлебнул — память прояснилась, побежала быстрее кровь. Князь поднялся, оправляя измятое платье, потрогал шсю, натертую воротничком, расстегнул его и бросил.

— Душе легче, — сказал монашек. — Ну-ну, похлебай теперь вольного воздуха, — видишь, какой ты желтый.

— Постой, — спросил Алексей Петрович, — ты меня с парохода увел?

— Я.

— Зачем? Ведь я по делу сжал.

— Пустяки, какие у тебя дела.

— Зачем же ты меня увел?

— Жить. Чего же другое летом-то делать. А работать — ты не работник, — хилый и хромой. Вот зимой холодно. Зимой,

милый, я норовлю в острог попасть. Пачпорт запрячу, явлюсь и говорю: «Не помнящий, мол, родства, и места жительства нет!» Меня и кормят, — а к весне объявлюсь. Тоже били не раз за такие дела. Так-то.

Алексей Петрович слушал внимательно, сдвинув брови: неприятным казался ему монашек, но была в его словах ясность и сила. «Ну его к чорту, — думал князь. — А что дальше, если и его к чорту? Опять на пароход? Да куда же ехать? И зачем? С ним разве пойти? Смешно все-таки: мне вдруг — и шататься по дорогам».

— А знаешь ли ты, с кем говоришь? — спросил Алексей Петрович, прищурясь.

Монашек подмигнул лукаво:

— Да будь ты хоть король турецкий, мне все равно.

«Чорт знает, ерунда какая, — подумал князь. — Кажется, действительно пойду с ним бродить. Где-нибудь и сдохну. Король турецкий!» И он сказал вяло:

— Ну, Расскажи еще что-нибудь. Как же мы бродить будем?

Так они и пошли по скошенному полю, направляясь за дальний лес, над которым высоко клубились белые облака.

Облака медленно выплывали из-за леса, поднимались над полем, гоня под собою прохладную тень, и, обогнув небо, ложились кучами у противоположного края земли. Солнце стояло уже на девятом часу. В сизой дали играла искрами по всему водному простору синяя река, уходя за меловые холмы.

— Поди, меня отсюда выгони, — сказал монашек, оберты-ваясь к реке, потом к лесу. — Ничего не выгонишь, я, как суслик, имею законное право жить где угодно. А знаешь, как суслики живут?

И он принялся рассказывать, как живут суслики. Поймал кузнечика и попросил у него дегтю. На вылетевшего из-под ног перепела захлопал в ладоши.

— Вот я тебя, кургузы!

Алексей Петрович шел, немного отставая, и шурился: ему начало казаться, что скоро кончится земля и они пойдут по хрустальному воздуху до облаков и еще выше, туда, где только — ветер и солнце.

Скоро он устал идти и, присев у дороги, попросил есть.

«Удивительно, удивительно, — думал Алексей Петрович, после еды ложась навзничь. — Небо какое голубое. Пойти и странствовать в самом деле, — ведь бродят же по свету люди... Ветром выдует все лишнее, да, да, — ветер и облака! А что били меня, так и монашка били. Постой, постой, что он мне сказал у Иверской? Конечно: это странствие тогда же и началось, и свобода эта, и легкость, и весь мир как хрустальный. Удивительно — ничего не помнить, ни к чему не привыкать...»

К вечеру они вошли в лес, а ночевали на соломе в клети у бабы, которая спросила только: «А вы не жулики будете?»

Утром они опять побрели в поля. С обеих сторон волнилась спеющая рожь, — в лес из-под ног прыгали кузнечики. Алексей Петрович стал жаловаться на ноги. Монашек снял с него башмаки, спрятал в мешок, а ноги князю обмотал шерстяными

опущками, — в них идти было легко и мягко. Алексей Петрович делал все, что говорил ему монашек, и, прихрамывая, с палочкой, шел и думал, что вся жизнь теперь осталась позади, в той желтой каюте, а здесь перед лицом только ветер шумит по хлябу, ходят вдалеке столбы пыли, на меже — телега и около нее — дымок, а за сизой, волнующейся, как призрачное море, далью, невидимая отсюда, живет Катя.

— Знаешь, у меня здесь сестра живет, зовут — Катя, — сказал однажды князь, лежа во ржи и поглядывая, как в небе над головой покачиваются золотые колосья.

— И к ней, и к ней зайдем, — ответил монашек. — Лето долгое, а человек, милый, подобен облаку; сказано: возьми посох и ходи, — чтобы ты к дому не привыкал, не набирался подлости.

Но Алексей Петрович не дослушал до конца этого рассуждения, — он повторял только про себя, что «к ней, и к ней» они зайдут — и непременно вместе.

Монашек избегал больших сел, где живут становой или урядник, и князю приходилось ночевать то в овраге, где поутру над головой кричат острокрылые стрижи, то на гумнах хуторов или под телегой в поле.

И дивился сам себе Алексей Петрович, почему не противно ему ни вшей, ни грязи, ни конского навоза, когда, усталый, галился он куда ни попало и наутро вставал веселый и свежий.

Повсюду путников принимали попросту, не спрашивали, кто они, а больше слушали рассказы монашка и понимали их по-своему: кто засмеется, не поверив; кто подивится, «как свет велик»: кто только голозой покачает; а баба какая-нибудь вздохнет, сама не зная отчего. Князя называли «баринком» и жалели, и Алексей Петрович удивлялся также, как много этой жалости на свете у простых людей.

— Много так-то нашего брата по дорогам шляется, — однажды сказал монашек. — Живет человек, все у него есть, а скучно. Я сам через это прошел. Водку пил — ужаси. Лежу, бывало, на полу, около меня четверть и стакан, не ем ничего, только пью, и весь черный. До того допился, видеть стал — лезет из-под кровати лошадь с рогами, морда птичья, а сама голая. Долго я маялся. Многие было. А другой до того дойдет, — бац себя из пистолета, — здорово живешь! Сколько их на себя руки накладывают. А то с тоски есть которые и людей рожут, сй-богу. Представится ему, что уж, как и сегодня будет: поест, поспит и помрет потом. Остается блудить без ума, чтобы проняло, как иголкой, блудом. Отчего же в таком положении человека ножом не пырнуть?.. Очень просто, коли захотелось до смерти. Ну, а иные, которым себя-то уж больно жалко, уходят. Не мало и я увел. Со мной прошлое лето, вроде тебя, товарищ увязался. Походил, походил, а потом взял да на себя и донес в убийстве.

— Верно все это, верно, — ответил Алексей Петрович (разговаривали они под прошлогодним ометом, на пригорке, глядя вниз на село, обозначившее темную линию крыш, скворечен и труб на закате). — Я вот, кажется, понимаю теперь, зачем



хожу. Может быть, чище стану, и тогда... — Он вдруг замолчал, отвернулся, и глаза его наполнились слезами. Чтобы скрыть волнение, он окончил, тихо смеясь: — А ведь ты весь век бродишь, как лодырь, настоящий лодырь.

— Я считаю за пустяки подобные разговоры, — ответил монашек. — Всякому свое: бывают и такие, что, сидя у себя на стуле, большое веселье чувствуют, а есть и такие, что по городу на извозчике с гармоньей ездят и тоже много веселятся. Не это плохо, а то, что у человека муть в голове. А я, может быть, тоже от своей совести бегая? Ты почему знаешь?

На десятые сутки подошли они опять к Волге. После разговора под ометом не пел больше монашек песен, а все думал, глядя под ноги. Думал и Алексей Петрович, ясно и радостно. Казалось ему, что все прошлое было наваждением, как душевный бред, а вот сейчас он идет во ржи, под солнцем, и любит, любит так, как никогда не любил...

В приречном селе, в тридцати верстах от Милого, монашка задержал урядник, а у князя посмотрел паспорт, покачал головой и сказал:

— Ну, ладно, ступай. Только у нас не разрешается без занятия гулять... Да смотри, сукин сын, если еще попадешься, — в остроге сгною.

Алексей Петрович взял паспорт и ушел за село в дубовую рощу, на речной берег. Когда настала ночь, на той стороне по горам, как звезды, засветились огни губернского города.

Тишина в роще, шелест и шорох реки и эти мигающие огни были знакомые и короткие. Лежа в темноте на траве, Алексей Петрович плакал, думая:

«Милая Катя, родная моя жена».

## ГЛАВА ПОСЛЕДНЯЯ

### I

Вечером следующего дня у гостиницы Краснова, где помещался городской театр, был большой разъезд. Дождик смочил асфальтовый тротуар, освещенный матовым фонарем. Из подъезда, как в трубу, валил народ, разделяясь на тротуаре: кто спешил домой, кто в ресторан, кто оставался еще поглядеть на дам и на барышень.

Помещики из медвежьих углов распахивали публику крутыми локтями, говоря: «Виноват-с»; помещики-земцы вежливо сторонились, толкая об идее пьесы; когда вышел предводитель, образец английского воспитания, соединенного с дородностью, швейцар, покинув двери, крикнул отчаянно: «Коляску!»

Чиновники, стоя по бокам подъезда, с любопытством разглядывали знать; гимназисты, в картузах прусского образца, сбились у самых дверей, чтобы видеть лучше барышень и знаменитой актрисе, которая давала спектакль, крикнуть «бис».

Дамы и барышни, чиновницы и купчихи, накинув шарфы и шали, ступали, приподнимая юбки, на сырой тротуар.

Наконец в дверях появились Волков и Катя.

— Краснопольская, Краснопольская, — зашептали гимназисты.

Мушинкин, чиновник малого роста, с четырехвершковыми усами, шарахнулся даже как-то из-под Катиных ног, задрал голову.

Действительно, Катенька была необычайно красива в белом пальто и маленькой шапочке из фиалок. Матовое, как слонобая кость, лицо ее было строго, рот надменно сложен, глаза пылали, — лихорадочные и большие.

Катеньку взволновала пьеса, где каждое слово было написано о ее прошлом. Мужчины из лож и партера, как нарочно, глядели на Краснопольскую нагло и бессовестно, ее мучили эти взгляды.

Швейцар, сняв картуз, спросил Волкова:

— Ваше превосходительство, как закричать?

— Кричи, братец, Петра да погромче, — ответил Волков.

И швейцар гаркнул на всю площадь:

— Пет-а-а-р-р, тройку!

Ступая в коляску вслед за отцом, Катенька задела платьем за медную скобку и обернулась. «Катя!» — услышала она голос неподалеку, вздрогнула, вгляделась, потом сейчас же поднесла ладонь к глазам, опустилась в глубокое сиденье, и лошади тронули.

У фонаря стоял князь — оборванный, без шапки и в опорках. Вытянув шею, глядел он на уезжавшую коляску и повторял одно слово: «Катя...»

— Что стоишь? Пошел, пошел, — сказал ему городской.

Князь отошел от фонаря и сейчас же увидел Цурюпу, который с неистовым любопытством глядел на него в лорнет.

— Князь, что за маскарад? — воскликнул Цурюпа, схватывая Алексея Петровича под руку, затем крикнул свой кэб и, сколь князь ни вырывался, бормоча: «Так нужно, оставьте, я не хочу», силой посадил его в лакированный экипаж и велел гнать под гору, чтобы с последним паромом попасть за реку.

Алексей Петрович притих, согнувшись в экипаже, и на вопросы отвечал коротко, сдерживаясь только, чтобы не стучали зубы от неудержимой дрожи. Князь понял: Цурюпа и все, конечно, естественно и просто сделают то, на что сам он никогда бы не отважился.

— Преглупая вещица, скажу тебе, — покачиваясь в коляске, говорил Волков дочери. — Не понимаю, о чем кричат, я даже вздремнул. А тебе, душа моя, не надо бы волноваться. Ты не устала?

— Нет, нет, папочка, — сжимая незаметно руки, ответила Катя. — Только мне не хочется ночевать в городе, поедемте домой.

— Ты прямо, Катя, без ума! Нас тетка Ольга с ужином ждет. Как можно обидеть старуху? Ну-ну, не волнуйся, перекусим, извинимся делами какими-нибудь и уедем. Ах, Катенька, не понимаю я теперешней молодежи. Суeta у вас в голове, вертуны. Раньше проще жили.

## II

Недаром упомянул о «вертунах» Александр Вадимыч, или «вертиже», как выражалась тетка Ольга. Туго пришлось Волкову этот год. Катенька прохворала всю зиму, а едва поправилась, как проговорился ей нечаянно Кондратий, что доктор утонул тогда в полынье, и у Катеньки в голову начался «вертиж». Александр Вадимыч даже уйти хотел одно время к черту, до того стало ему это несносно.

По ночам Катенька, полураздетая, приходила к отцу; дрожала, вглядывалась в темные углы, садилась на диван, подбирала ноги и не двигалась, уставясь на свечу. Потом по лицу ее проходили судороги, и она начинала биться, стиснув зубы, и рассказывала отцу в сотый раз все, что случилось в ту ночь. Чтобы как-нибудь сдвинуть ее с этих рассказов, Александр Вадимыч придумал и сказал дочери:

— Григорий-то Иванович не сам, по-моему, погиб, и ты тут ни при чем: так ему было назначено, обречено.

— Что ты говоришь? — словно вся затрепетав, спросила Катенька. — Обреченный? Значит, он — жертва?

И вдруг она успокоилась. И однажды заговорила о князе, просто, с одною горькой умешкой на губах. Александр Вадимыч выругался. Она разговора не продолжала, но, должно быть, много думала, догадывалась о чем-то. Настала весна. Александр Вадимыч сказал однажды:

— Катюша, а съездим, друг мой, к тетке Ольге.

Катенька только пожала плечиком:

— Поседемте...

По-другому отозвалось несчастье это на Саше. Когда Григорий Иванович уехал с княгиней, Саша поняла, что он не вернется. А если и придет, то чужой. Поняла она также, что ее жизнь с доктором была неверной и еще тогда, на огороде, надо было не поддаваться и уйти. Лежа за перегородкой, она думала, как наденет старушечий сарафан и побредет по дорогам, прося христовым именем. Саша чуяла, что не в страсти будет она жить, как теперь, а в постоянном этом умилении перед небом, перед землей и перед людьми.

На рассвете в дверь постучались. Саша вся задрожала, как осиновый лист, оправилась и пошла отпирать. В избу вошел отец Василий, взглянул строго и сказал:

— Утоп он, утонул, Григорий-то Иванович.

Саша наклонила голову, молвила:

— Господи помилуй, — перекрестилась, села на лавку — ноги не сдержали.

Отец Василий рассказал все, что ему передал колыванский мужичок, выручавший вместе с княжескими рабочими княгиню на полыньи. Саша выслушала все спокойно и сказала под конец:

— Вот тебе, отец, деньги, отслужи панихиду по рабу Григорию, не утоп он, а его утопили.

Всю зиму прожила Саша в избе, так же ходила за скотиной, смотрела, чтобы все было чисто и в порядке, по вечерам при-

саживалась к столу и глядела на книжки, которые любил Григорий Иванович. Когда очень сильно свистела вьюга на крыше, сдвигала Саша брови, — казалось: не вьюга это вост, а плачет непокаянная душа Григория Ивановича.

По весне она ушла из села, подвизав по-монашески ситцевый черный платок. С тех пор никто ее не встречал.

### III

Сколько отец ни подмигивал круто, а тетка Ольга ни уговаривала, Катенька настояла, чтобы сейчас же после ужина ехать домой. На рассвете она уже сидела в своей постели, разбитая и перевозмозванная, дожидаясь, когда придет Кондратий, прибиравший Александра Вадимыча ко сну.

Катеньке всегда казалось, что князь еще устроит ей какую-нибудь последнюю обиду, она ждала этого и готовилась к защите. В ее представлении он всегда появлялся издевателем, она — безвинно обиженной. Вернейшая защита была, конечно, — выказать равнодушие, презрительное, «ледяное» спокойствие при встрече. Но сейчас все эти глупые выдумки никуда не годились.

Князь, оборванный, несчастный, худой, смутил ее воображение, разжег любопытство. Он был не торжествующий, не издеватель, а просил милости, умолял, словно ее взгляд был для него жизнью или смертью. Так ей казалось теперь. И сердце разрывалось от горя. И всего страннее, что не чувствовала Катенька — хотя и хотела — злой, как прежде, обиды.

Наконец пришел Кондратий, притворил осторожно дверь и спросил таинственно:

— Что угодно-с?

— Кондратий, я видела князя. (Кондратий только кашлянул.) Я ничего не понимаю... Он просил милостыню. Несчастный. худой.. Убил он, что ли, кого-нибудь?.. Почему скрывается?

— Очень просто, и убил, — сказал Кондратий.

— Ради бога, ничего не говори папе. Сейчас же поезжай в Милос или в город... куда хочешь... — На минуту голос ее оборвался. — Увидишь его, не говори, что я послала... Ах, все равно — скажи, что хочешь... Только бы не мучил он больше меня.

Кондратий ушел. Катенька сидела на кровати, глядя, как солнце сквозь листву положило отблески на старый паркет. В саду, за раскрытым окном, свистела иволга, грустил голубь, чирикали воробьи, сад был еще в росе, пышный и зеленый. В комнате о верхнее звено окна, не догадываясь опуститься ниже, билась глупая муха. Мухе казалось, должно быть, что голубое небо за ее носом, скользящим по стеклу, и деревья, и белые, как цветы, бабочки, и птицы, и роса — только сон, куда проникнуть можно, лишь забившись головой до-смерти.

— Как надоела муха! — сказала Катенька, соскользнула с постели и, полотенцем ударяя по стеклу, выгнала муху в сад, потом заложила руки за спину и принялась ходить.

В ее памяти прошел весь этот тяжелый, страстный год

жизни. Все было безотраднo. Но сейчас ни безнадежности, ни боли не чувствовала она, вспоминая. Словно все, что было, завершилось и отошло в туман, в сладкую печаль. Осталось чувство свободы и той необъяснимой радости, которая бывает еще у очень молодых, сильных и страстных людей.

Катенька крепко провела ладонями по лицу и по глазам, встряхнула головой и вдруг с необычайной ясностью заглянула в самую глубь души.

А заглянув, забылась, нежно усмехнулась, ясная и свежая.

— Ну, что же, — проговорила она. — Я готова.

#### IV

В Милом вся прислуга княжеского дома собралась на кухню, слушая, как лакей Василий рассказывал о его сиятельстве князе, неожиданно прибывшем этой ночью неизвестно откуда.

— Вижу я, — бродяжка лезет в дом, я ему: куда, небритая морда? А он кланяется: «Здравствуй, — говорит, — Василий. Ну, что у нас — все благополучно?» Обмер я — вижу, он. А на нем слежда хуже, как у нашего пастуха Ефимки. Ну-с, повел я его наверх, в спальню. Он на кресло показывает: «Здесь, — спрашивает, — барыня сидела?» Сидела, отвечаю, везде сидела. А он на кресло глядит, будто оно — баба. Я едва со смеху не лопнул. «Теперь, — говорит, — уйди, я сам справлюсь, да приготовь ванную». А я в щель вижу — вот до чего он дошел: лег на барыню кровать и подушки обнимает. Наголодался. Обищали его в городе разные мадамки. Сейчас спит, суток двое проспит, если не будить. Да-с, жил я на многих местах, а таких чудес не видал.

Василий одернул жилет с двумя цепочками, достал княжеский (дареный) портсигар, закурил и завернул ногу за ногу:

— Как он теперь с княгиней раздается — не знаю. Очень будет ему трудно. Большие будут чудеса.

На кухне всех грызло любопытство. Прибегали и из людской слушать Василия. А князь все спал. И вдруг с черного хода появился Кондратий, в пыли, хмурый, и спросил отрывисто:

— Князь приехал?

— Приехать-то он приехал, — ответил Василий, — да будить не приказано.

— Ну, нет, придется разбудить.

Кондратию пришлось долго покашливать около двери в спальню, постукивать пальцем. Наконец князь проговорил спрoсoнoк: «Что? Встаю, да, да...» И, должно быть, долго сидел на постели, приходил в себя, потом иным уже голосом сказал: «Войдите».

Кондратий, поджав губы, вошел. Алексей Петрович несколько минут смотрел на него, соскочил с постели, подбежал, усадил его на стул и так побледнел, так затрясся, что старый слуга забыл все обидные слова, какими хотел попотчевать его сиятельство, отвернулся, пожевал ртом и сказал только:

— Княгиня приказали спросить о здоровьи. Сами они едва по зиме не померли. А вас видеть не желают ничем.

— Кондратий, она сама тебя послала?

Князь схватил его за руку.

— А вы сами понимаете. Мне нечего вам отвечать, когда поступили бесчестно. Приказано спросить о здоровье и больше ничего.

Князь долго молчал. Потом, облокотясь о столик, заплакал. Сердце перевернулось у Кондратия, но он все-таки сдержался.

— Вот, все-с.— И попятился к двери.

— Не уходи, подожди,— прогворил князь, потянувшись через столик,— я напишу.

И он, брызгая ржавым пером, принялся писать дрожащими буквами:

«Милая Катя... (он зачеркнул). Я ничего не прошу у вас и не смею... Но вы одна во всем свете, кого я люблю. У меня был спутник, он теперь в тюрьме, он научил меня любить... Когда я думаю о вас — душа наполняется светом, радостью и таким счастьем, какого я никогда не знал... Я понимаю, что не смею видеть вас... Все же — простите меня... Если вы можете простить... я приду на коленях...»

## V

К вечеру в Волково приехал Цурюпа (он частенько стал наезжать за это лето), прошел прямо в кабинет к Александру Вадимычу и, ужасно возмущенный, стал рассказывать о князе. Но Волков обрезал гостя:

— Знаю все-с, считаю большим несчастьем и сам даже поседел, а о стрикулисте прошу мне больше не напоминать-с.— И, подойдя к окну, перевел разговор на сельское хозяйство.

В это время на двор въехал Кондратий на двуколке.

«Куда это старый хрен мотался?» — подумал Волков и, перегнувшись через подоконник, закричал:

— Ты откуда?

Кондратий покачал головой и, подъехав к окну, объяснил, что привез письмо для барыни. «Угу!» — сказал Волков и, закрыв окно, пошел к дочери.

Цурюпа впал в необыкновенное волнение, догадываясь, что письмо от князя.

Но не прошло и минуты, как вбежал Волков, тяжело дыша, красный и свирепый.

— Чернил нет! — закричал он, толкая чернильницу. — Куда карандаш завалился? — И, схватив быстро подсунутый карандаш, с размаху написал: «М. Г.» — на том листе бумаги, где на оборотной стороне год назад были нарисованы заяц, лиса, волк и собачки, потом откинулся в кресло и отер пот.

Цурюпа спросил осторожно:

— Что случилось? Посвятите меня, не могу ли помочь?

— Ведь это наглость! — заорал Александр Вадимыч. — Нет, я ствечу. Вот пошлый человек! «М. Г.», не нахожу слов объяснить столь дерзкий поступок», — написал он. — Понимаете ли, просит извинения, письмецо прислал, будто ничего не случилось. Вот я отвечаю: «Моя дочь не горничная, чтобы ей посы- лать записки. Не угодно ли вам действительно на коленях

(он подчеркнул) прийти и все-таки под се окном просить прощения...»

— О, не слишком ли резко? — сказал Цурюпа, с моноклем в прыгающем глазу, читая через плечо Волкова. — Хотя таких нечутких людей не проймешь иначе. Я бы посоветовал передать дело адвокату. А что с Екатериной Александровной? Расстроена она?

— Что! — заорал еще пуще Волков. — Плачет, конечно. Да вам-то какое дело? Убирайтесь отсюда ко всем чертям.

Но Катенька не плакала. Ожидая, когда вернется Кондратий, она то стояла у окна, сжимая руки, то садилась в глубокое кресло, брала книгу и читала все одну и ту же фразу: «Тогда Юрий, полный благородного гнева, поднялся во весь рост сной и воскликнул: — Никогда в жизни». Откладывала книгу и повторяла про себя: «Нужно быть твердой, нужно быть твердой». А мысли уже летели далеко, и опять она видела электрический шар, под ним на мокром асфальте жалкого человека и его глаза — огромные, безумные, темные... Катенька закрывала ладонью лицо, поднималась и опять ходила, брала книгу, читала: «Тогда Юрий, полный благородного гнева...» Боже мой, боже мой, а Кондратий все не ехал, и день тянулся, как год.

Наконец по коридору раздались грузные шаги отца, дверь с треском распахнулась, и вошли Кондратий и Александр Вадимыч с письмом.

Катенька поблоднела, как полотно, сжала губы. Отец разорвал конверт и сунул ей листик. Она медленно стала читать. И, не дочитав еще до конца, поняла все, что чувствовал князь, когда царапал эти жалостные каракули. На душе у нее стало тихо и торжественно. Она передала письмо отцу. Он быстро пробежал его и спросил пересымающим от волнения голосом:

— Сама ответишь?

— Не знаю. Как хочешь. Все равно...

— Ну, тогда я отвечу, — рявкнул Александр Вадимыч. — Я ему отвечу... Пускай на коленках ползет... Хвалится — на коленках приползти... Ползи!

— Его сиятельство не в себе-с, — осторожно вставил слово Кондратий. — Они весьма расстроены.

— Молчать!. Я сам знаю, что делать! — заревел Александр Вадимыч, сунул письмо князя в штаны и выбежал из комнаты..

Катенька крикнула:

— Папа, нет, я сама.. Подождите! — И побежала было к двери, но остановилась, опустила руки. — Все равно, Кондратий, пусть будет что будет.

— Приползут, на коленях за тобой приползут, — сказал Кондратий. — Они в таком состоянии, что приползут-с.

Письмо отправили князю на другой день, чуть свет. Катенька знала, что написал отец, но сердце ее было спокойно и ясно.

С утра поползли серые, как дым, облака на Волково, от хлебов и травы шел густой запах, вертелись по дорогам столбы, уходя за гору, погромыживал гром, поблескивало, а дождь все еще не капал, собираясь, должно быть, сразу окатить крышу и сад, и поля теплым ливнем.

В мезонинном окне барского дома, над крыльцом, за ветками березы, сидел Александр Вадимыч с подозрительной трубкой и, закрыв один глаз, глядел на дорогу.

Дворовые мальчишки залезли на крышу каретника и глядели туда же, где дорога, опоясывая горку, пропадала между хлебов.

В раскрытых воротах каретника стоял серый жеребец, запряженный в шарабан. Кучер сидел тут же у стены, на бревне, похлопывая себя по сапогу кнутовищем. Скотница, выйдя из погреба, поставила ведро с молоком на траву и тоже принялась всматриваться, сложив под запястьем руки.

Приехал мужик на телеге, снял шапку, поклонился барину з окошке и слез, стоял неподвижно. Все ждали.

Катенька, одетая, лежала на постели, зарывшись головой в подушки. Нарочный, возивший в Милое письмо, прискакал с ответом, что князь уже пополз.

Часа три назад навстречу ему выехал Кондратий. Сейчас, по расчету Александра Вадимыча, князь должен был взлезать на песчаную гору, откуда начинаются прибрежные тальники и куда даже лошади с трудом втаскивают экипаж.

Вдруг мальчишки на крыше закричали: «Идет, идет!» Волков, шлепая туфлями, поспешил к дочери. Но Катенька была уже на крыльце. Косы ее развились и упали на спину. Держась за колонну на крыльчке, она пронзительно глядела на дорогу, вдаль.

Мужик, стоявший у телеги, спросил скотницу:

— Тетка, губернатора, что ли, ждут?

— Кто его знает, может, и губернатора, — ответила баба, подняла ведро и ушла.

На дороге из-за горки появился пеший человек, и мальчишки опять закричали с крыши:

— Женщина, женщина идет, нищенка...

Тогда Катенька оторвала руку от колонки, сошла на двор и крикнула:

— Скорее, лошады!

Серый жеребец с грохотом вылетел из каретника. Катенька вскочила в шарабан, вырвала у кучера вожжи, хлеснула ими по жеребцу и умчалась, — подняла пыль.

Облако пыли долго стояло над дорогой, потом завернулось в столб, и побрел он по полю, пугая суеверных, — говорят, что, если в такой бродячий вихрь бросить ножом, столб рассыплется, а на ноже останется капля крови.

На песчаной горе, поднимающейся из тальниковых пустошей, на середине подъема, стоял на коленях Алексей Петрович, опираясь о песок руками. Голова его была опущена,



с лица лил пот, горло дышало со свистом, жилы на шее на-  
пряглись до синевы.

Позади его, держа за уздечку рыжего мерина, который  
мотал мордой и отмахивался от слепней, стоял Кондратий,  
со вздохами и жалостью глядел на князя.

Слепни вились и над Алексеем Петровичем, но Кондратий  
не допускал их садиться.

— Батюшка, будет уж, встаньте, ведь горяща, — говорил  
он. — Я на мерина вас посажу, а как Волково покажется, опять  
поползете, там под горку.

Алексей Петрович с усилием выпрямил спину, выбросил  
сбитое до запекшихся ссадин колено, в разодранной штанине,  
быстро прополз несколько шагов и вновь упал. Лицо его было  
серое, глаза полузакрыты, ко лбу прилипла прядь волос, и  
резко обозначились морщины у рта.

— А ползти-то еще сколько, — повторял Кондратий, — сди-  
тесь на мерина, Христом-богом прошу!

С тоской он взглянул на песчаную гору — и обмер.

С горы, хлеща вожжами серого жеребца, мчалась Катенька.  
Она уже увидела мужа, круто завернула шарабан, выпрыгнула  
на ходу, подбежала к Алексею Петровичу, присела около и  
торопливо стала приподнимать его лицо. Князь вытянулся,  
крепко схватил Катеньку за руки и близко, близко стал  
глядеть в ее полные слез, изумительные глаза...

— Люблю, люблю, конечно, — сказала она и помогла мужу  
подняться.

*Моему сыну  
Никите Алексеевичу Толстому  
с глубоким уважением  
посвящаю.*

*Автор.*

## ДЕТСТВО НИКИТЫ

### СОЛНЕЧНОЕ УТРО

**Н**икита вздохнул, просыпаясь, и открыл глаза. Сквозь морозные узоры на окнах, сквозь чудесно расписанные серебром звезды и лапчатые листья светило солнце. Свет в комнате был снежно-белый. С умывальной чашки скользнул зайчик и дрожал на стене.

Открыв глаза, Никита вспомнил, что вчера вечером плотник Пахом сказал ему:

— Вот я ее смажу да полью хорошенько, а ты утром встанешь, — садись и поезжай.

Вчера к вечеру Пахом, кривой и рябой мужик, смастерил Никите, по особенной его просьбе, скамейку. Делалась она так:

В каретнике, на верстаке, среди кольцом закрученных, пахучих стружек Пахом выстрогал две доски и четыре ножки; нижняя доска с переднего края, — с носа, — срезанная, чтобы не заедалась в снег; ножки точеные; в верхней доске сделаны два выреза для ног, чтобы ловчее сидеть. Нижняя доска обмазывалась коровьим навозом и три раза поливалась водой на морозе, — после этого она делалась, как зеркало, к верхней доске привязывалась веревочка — возить скамейку, и когда едешь с горы, то править.

Сейчас скамейка, конечно, уже готова и стоит у крыльца. Пахом такой человек: «Если, — говорит, — что я сказал — закон, сделаю».

Никита сел на край кровати и прислушался — в доме было тихо, никто еще, должно быть, не встал. Если одеться в минуту, безо всякого, конечно, мытья и чищения зубов, то через черный ход можно удрать на двор. А со двора — на речку. Там на крутых берегах намело сугробы, — садись и леги...

Никита вылез из кровати и на цыпочках прошелся по горячим солнечным квадратам на полу...

В это время дверь приотворилась и в комнату просунулась голова в очках, с торчащими рыжими бровями, с ярко-рыжей бородкой. Голова подмигнула и сказала.

— Встаешь, разбойник?

### АРКАДИЙ ИВАНОВИЧ

Человек с рыжей бородкой — Никитин учитель, Аркадий Иванович, все пронюхал еще с вечера и нарочно встал пораньше. Удивительно расторопный и хитрый был человек этот Аркадий Иванович. Он вошел к Никите в комнату, посмеиваясь, остановился у окна, подышал на стекло и, когда оно стало прозрачное, — поправил очки и поглядел на двор.

— У крыльца стоит, — сказал он, — замечательная скамейка.

Никита промолчал и насунился. Пришлось одеться и вычистить зубы, и вымыть не только лицо, но и уши и даже шею. После этого Аркадий Иванович обнял Никиту за плечи и повел в столовую. У стола за самоваром сидела матушка в сером теплом платье. Она взяла Никиту за лицо, ясными глазами взглянула в глаза его и поцеловала.

— Хорошо спал, Никита?

Затем она протянула руку Аркадию Ивановичу и спросила ласково:

— А вы как спали, Аркадий Иванович?

— Спать-то я спал хорошо, — ответил он, улыбаясь, непонятно чему, в рыжие усы, сел к столу, налил сливок в чай, бросил в рот кусочек сахара, схватил его белыми зубами и подмигнул Никите через очки.

Аркадий Иванович был невыносимый человек: всегда веселился, всегда подмигивал, не говорил никогда прямо, а так, что сердце екало. Например, кажется, ясно спросила мама: «Как вы спали?» Он ответил: «Спать-то я спал хорошо», — значит это нужно понимать: «А вот Никита хотел на речку удрать от чая и занятий, а вот Никита вчера вместо немецкого перевода просидел два часа на верстаке у Пахома».

Аркадий Иванович не жаловался никогда, это правда, но зато Никите все время приходилось держать ухо востро.

За чаем матушка сказала, что ночью был большой мороз, в сенях заморзла вода в кюльке, и когда пойдут пугать, то Никите нужно надеть башлык.

— Мама, честное слово, страшная жара, — сказал Никита.

— Прошу тебя надеть башлык.

— Щеки колет и душит, я, мама, хуже простужусь в башлыке.

Матушка молча взглянула на Аркадия Ивановича, на Никиту, голос у нее дрогнул:

— Я не знаю, в кого ты стал неслухом.

— Идем заниматься, — сказал Аркадий Иванович, встал решительно и быстро потер руки, будто бы на сзете не было большего удовольствия, как решать арифметические задачи и диктовать пословицы и поговорки, от которых глаза слипаются.

В большой пустой и белой комнате, где на стене висела карта двух полушарий, Никита сел за стол, весь в черниль-

ных пятнах и нарисованных рожицах, Аркадий Иванович раскрыл задачник.

— Ну-с,—сказал он бодро,—на чем остановились?—И отточенным карандашиком подчеркнул номер задачи.

«Купец продал несколько аршин синего сукна по 3 рубля 64 копейки за аршин и черного сукна...»—прочел Никита. И сейчас же, как и всегда, представился ему этот купец из задачника. Он был в длинном пыльном сюртуке, с желтым унылым лицом, весь скучный и плоский, высохший. Лазочка его была темная, как щель; на пыльной плоской полке лежали два куса сукна; купец протягивал к ним тощие руки, снимал куски с полки и таядел тусклыми, неживыми глазами на Никиту.

— Ну, что же ты думаешь, Никита? — спросил Аркадий Иванович. — Всего купец продал восемнадцать аршин. Сколько было продано синего сукна и сколько черного?

Никита сморщился, купец совсем расплущился, оба куса сукна вошли в стену, завернулись пылью...

Аркадий Иванович сказал: «Ай, ай!»—и начал объяснять, быстро писал карандашом цифры, помножал их и делил, повторяя: «Одна в уме, две в уме». Никите казалось, что во время умножения — «одна в уме» или «две в уме» быстро прыгали с бумажки в голову и там щекотали, чтобы их не забыли. Это было очень неприятно. А солнце искрилось в двух морозных окошках классной, выманивало: «Пойдем на речку».

Наконец с арифметикой было покончено, начался диктант. Аркадий Иванович заходил вдоль стены и особым, сонным голосом, каким никогда не говорят люди, начал диктовать:

«...Все животные, какие есть на земле, постоянно трудятся, работают. Ученик был послушен и прилежен...»

Высунув кончик языка, Никита писал, перо скрипело и брызгало.

Вдруг в доме хлопнула дверь и послышалось, как по коридору идут в морзлых валенках. Аркадий Иванович опустил книжку, прислушиваясь. Радостный голос матушки воскликнул неподалеку:

— Что, почти привезли?

Никита совсем опустил голову в тетрадку,—так и подмывало засмеяться.

— Послушен и прилежен,—повторил он нараспев,—«прилежен» я написал.

Аркадий Иванович поправил очки.

— Итак, все животные, какие есть на земле, послушны и прилежны... Чего ты смеешься?... Кляксу посадил?... Впрочем, мы сейчас сделаем небольшой перерыв.

Аркадий Иванович, поджав губы, погрозил длинным, как карандаш, пальцем и быстро вышел из классной. В коридоре он спросил у матушки:

— Александра Леонтьевна, что—письмца мне нет?

Никита догадался, от кого он ждет письмецо. Но терять времени было нельзя. Никита надел корсетный полушубок, валенки, шапку, засунул башлык под комод, чтобы не нашли, и выбежал на крыльцо.

## СУГРОБЫ

Широкий двор был весь покрыт сияющим, белым, мягким снегом. Синели на нем глубокие человечески и частые собачьи следы. Воздух, морозный и тонкий, защипал в носу, иголочками уколол щеки. Каретник, сарай и скотные дворы стояли приземистые, покрытые белыми шапками, будто вросли в снег. Как стекающие, бежали следы полозьев от дома через весь двор.

Никита сбегал с крыльца по хрустящим ступеням. Внизу стояла новенькая сосновая скамейка с мочальной витой веревкой. Никита осмотрел — сделана прочно, попробовал, — скользит хорошо, взвалил скамейку на плечо, захватил лопатку, думая, что понадобится, и побежал по дороге вдоль сада, к плотине. Там стояли огромные, чуть не до неба, широкие ветлы, покрытые инеем, — каждая веточка была точно из снега.

Никита повернул направо, к речке, и старался идти по дороге, по чужим следам, в тех же местах, где снег был неглубокий, чистый. — Никита шел задом наперед, чтобы отвести глаза Аркадию Ивановичу.

На крутых берегах реки Чагры намело за эти дни большие пушистые сугробы. В иных местах они свешивались мысами над речкой. Только стань на такой мыс — и он ухнет, сядет, и гора снега покатится вниз в облаке снежной пыли.

Направо речка вилась синеватой тенью между белых и пустынных полей. Налеву, над самой кручей, чернели избы, торчали журавли деревни Сосновки. Синие выскские дымки поднимались над крышами и таяли. На снежном обрыве, где желтели пятна и полосы от золы, которую сегодня утром выгребли из печек, двигались маленькие фигурки. Это были Никитины приятели — мальчишки с «нашего конца» деревни. А дальше, где речка загибалась, едва виднелись другие мальчишки, «кончанские», очень опасные. Никита бросил лопату, опустил скамейку на снег, сел на нее верхом, крепко взялся за веревку, оттолкнулся ногами раза два, и скамейка сама пошла с горы. Ветер засвистал в ушах, поднялась с двух сторон снежная пыль. Вниз, все вниз, как стрела. И вдруг, там, где снег обрывался над кручей, скамейка пронеслась по воздуху и скользнула на лед. Пошла тише, тише, и стала.

Никита засмеялся, слез со скамейки и потащил ее в гору, увязая по колено. Когда же он взобрался на берег, то не вдалеке, на снежном поле, увидел черную, выше человеческого роста, как показалось, фигуру Аркадия Ивановича. Никита схватил лопату, бросился на скамейку, слетел вниз и побежал по льду к тому месту, где сугробы нависали мысом над речкой.

Взобравшись под самый мыс, Никита начал копать пещеру. Работа была легкая, — снег так и резался лопатой. Вырыл пещерку, Никита вошел в нее, втащил скамейку и изнутри стал закладывать комьями. Когда стенка была заложена, в пещерке разлился голубой полусвет, — было уютно и приятно.

Никита сидел и думал, что ни у кого из мальчишек нет такой чудесной скамейки. Он вынул перочинный ножик и стал вырезать на верхней доске имя — «Вевит».

— Никита! Куда ты провалился? — услышал он голос Аркадия Ивановича.

Никита сунул ножик в карман и посмотрел в щель между комьями. Внизу, на льду, стоял, задрав голову, Аркадий Иванович.

— Где ты, разбойник?

Аркадий Иванович поправил очки и полез к пещерке, но сейчас же увяз по пояс.

— Вылезай, все равно я тебя оттуда вытащу.

Никита молчал, Аркадий Иванович попробовал лезть выше, но опять увяз, сунул руки в карманы и сказал:

— Не хочешь, не надо. Оставайся. Дело в том, что мама получила письмо из Самары... Впрочем, прощай, я уйду...

— Какое письмо? — спросил Никита.

— Ага! Значит, ты все-таки здесь.

— Скажите, от кого письмо?

— Письмо насчет приезда одних людей на праздники.

Сверху сейчас же полетели комья снега. Из пещерки выгнулась голова Никиты. Аркадий Иванович весело засмеялся.

## ТАИНСТВЕННОЕ ПИСЬМО

За обедом матушка прочла наконец это письмо. Оно было от отца.

— «Милая Саша, я купил то, что мы с тобой решили подарить одному мальчику, который, по-моему, вряд ли заслуживает того, чтобы эту прекрасную вещь ему подарили. — При этих словах Аркадий Иванович страшно начал подмигивать. — Вещь это довольно большая, поэтому пришли за ней лишнюю подводу. А вот и еще новость, — на праздники к нам собирается Анна Аполлосовна Бабкина с детьми...»

— Дальше не интересно, — сказала матушка и на все вопросы Никиты только закрывала глаза и качала головой:

— Ничего не знаю.

Аркадий Иванович тоже молчал, раздвигая руками: «Ничего не знаю». Да и вообще весь этот день Аркадий Иванович был чрезмерно весел, отвечал невпопад и нет-нет — да и рытаскивал из кармана какое-то письмецо, прочитывал строчки две из него и морщил губы. Очевидно, и у него была своя тайна.

В сумерки Никита побежал через двор к людской, откуда на лиловый снег падал свет двух замерзших окошек. В людской ужинали. Никита свистнул три раза. Через минуту появился его главный приятель, Мишка Коряшонок, в огромных валенках, без шапки, в накинутах полушубке. Здесь же, за углом людской, Никита шепотом рассказал ему про письмо и спрашивал, какую такую вещь должны привезти из горска.

Мишка Коряшонок, постукивая зубами от холода, сказал: — Непременно что-нибудь громадное, лопни мои глаза.

Я побегу, холодно. Слушай-ка, — завтра на деревне кончанских ребят бить хотим. Пойдешь, а?

— Ладно.

Никита вернулся домой и сел читать «Всадника без головы».

За круглым столом под большой лампой сидели с книгами матушка и Аркадий Иванович. За большой печью — тр-тр, тр-тр — пилил деревяжечку сверчок. Потрескивала в соседней темной комнате половица.

Всадник без головы мчался по прерыви, хлестала высокая трава, восходил красный месяц над озером. Никита чувствовал, как волосы у него шевелятся на затылке. Он осторожно обернулся — за черными окнами пронеслась какая-то сероватая тень. Честное слово, он ее видел. Матушка сказала, подняв голову от книги:

— Востер поднялся к ночи, будет буран.

## СОН

Никита увидел сон, — он спился ему уже несколько раз, все один и тот же.

Легко, неслышно отворяется дверь в зал. На паркете лежат голубоватые отражения окон. За черными окнами висит луна — большим светлым шаром. Никита влез на ломберный столик в простенке между окнами и видит:

Вот напротив, у белой, как мел, стены качается круглый маятник в высоком футляре часов, качается, отсвечивает лунным светом. Над часами, на стене, в раме висит строгий старичок с трубкой, сбоку от него — старушка, в чепце и шали, и смотрит, поджав губы. От часов до угла, вдоль стены, вытянули руки, присели, на четырех ногах каждое, широкие полосатые кресла. В углу расселся раскорякой низкий диван. Сидят они без лица, без глаз, выпучились на луну, не шевелятся.

Из-под дивана, из-под бахромы, вылезает кот. Потянулся, прыгнул на диван и пошел, черный и длинный. Идет, опустил хвост. С дивана прыгнул на кресла, пошел по креслам вдоль стены, пригибается, пролезает под ручками. Дошел до конца, спрыгнул на паркет и сел перед часами, спиной к окошечкам. Маятник качается, старичок и старушка строго смотрят на кота. Тогда кот поднялся, одной лапой оперся о футляр и другой лапой старается остановить маятник. А стекла-то в футляре нет. Вот-вот достанет лапой.

Ох, закричать бы! Но Никита пальцем не может пошевелинуть, — не шевелился, — и страшно, страшно, — вот-вот будет беда...

Лунный свет неподвижно лежит длинными квадратами на полу. Все в зале затихло, присело на ножках. А кот вытянулся, нагнул голову, прижал уши и достает лапой маятник. И Никита знает, — если тронет он лапой, — маятник остановится, и в ту же секунду все треснет, расколется, зазвенит и как пыль, исчезнет, не станет ни зала, ни лунного света.

От страха у Никиты звенят в голове острые стекляшечки. Ссыпался песок мурашками по всему телу... Сбрав всю силу, с отчаянным криком Никита кинулся на пол! И пол вдруг ушел вниз. Никита сел. Оглядывается. В комнате — два морозные окна, сквозь стекла видна странная, больше обыкновенной, луна. На полу стоит горшок, валяются сачоги.

«Господи, слава тебе, господи!» — Никита наспех перскрестился и сунул голову под подушку. Подушка эта была теплая, мягкая, битком набита снами.

Но не успел он зажмурить глаза, видит — опять стоит на столе в том же зале. В лунном свете качается маятник, строго смотрит стеричок со старушкой. И опять из-под дивана рысзает голова кота. Но Никита уже протянул руки, оттолкнулся от стола и прыгнул и, быстро-быстро перебирая ногами, не то полстел, не то поплыл над полом. Необыкновенно приятно лететь по комнате. Когда же ноги стали касаться пола, он взмахнул руками и медленно поднялся к потолку и летел теперь неровным полетом вдоль стены. Ближе у самого носа был виден лепной карниз, на нем лежала пыль, серенькая и славная, и пахло уютно. Потом он увидел знакомую трещину в стене, похожую на Волгу на карте, потом — старинный и очень странный гвоздь с обрывочком веревочки, обсаженный мертвыми мухами.

Никита толкнулся ногой в стену и медленно полетел через комнату к часам. Наверху футляра стояла бронзовая вазочка, и в вазочке, на дне, лежало что-то — не рассмотреть. И вдруг Никите ~~то~~но сказали на ухо: «Возьми то, что там лежит».

Никита полетел к часам и сунул было руку в вазочку. Но сейчас же из-за стены, из картины живо высунулась злая старушка и худыми руками схватила Никиту за голову. Он вырвался, а сзади из другой картины высунулся старичок, замахал длинной трубкой и так ловко ударил Никиту по спине, что тот полетел на пол, ахнул и открыл глаза.

Сквозь морозные узоры сияло, искрилось солнце. Около кровати стоял Аркадий Иванович, тряс Никиту за плечо и говорил:

— Вставай, вставай, девять часов.

Когда Никита, протирая глаза, сел на постели, Аркадий Иванович подмигнул несколько раз и шибко потер руки.

— Сегодня, братец ты мой, заниматься не будем.

— Почему?

— Потому, что потому оканчивается на у. Две недели можешь бегать, высуня язык. Вставай.

Никита вскочил из постели и заплясал на теплом полу:

— Рождественские каникулы! — Он совсем забыл, что с сегодняшнего дня начинаются счастливые и долгие две недели. Притопывая перед Аркадием Ивановичем, Никита забыл и другое: именно — свой сон, вазочку на часах и голос, шепнувший на ухо: «Возьми то, что там лежит».



## СТАРЫЙ ДОМ

На Никиту свалилось четырнадцать его собственных дней, — делай, что хочешь. Стало даже скучно немного.

За утренним чаем он устроил из чая, молока, хлеба и варенья тюрю и так наелся, что пришлось некоторое время посидеть молча. Глядя на свое отражение в самоваре, он долго удивлялся, какое у него длинное, во весь самовар, уродское лицо. Потом он стал думать, что если взять чайную ложку и сломать, то из одной части выйдет лодочка, а из другой можно сделать ковырялку, — что-нибудь ковырять.

Матушка наконец сказала: «Пошел бы ты гулять, Никита, в самом деле».

Никита не спеша оделся и, ведя вдоль штукатуренной стены пальцем, пошел по длинному коридору, где тепло и уютно пахло печами. Налево от этого коридора, на южной стороне дома, были расположены зимние комнаты, натопленные и жилые. Направо, с северной стороны, было пять летних, наполовину пустых комнат, с залом посредине. Здесь огромные изразцовые печи протапливались только раз в неделю, хрустальные люстры висели, окутанные марлей, на полу в зале лежала куча яблок, — гниловатый, сладкий запах их наполнял всю летнюю половину.

Никита с трудом приоткрыл дубовую двухстворчатую дверь и на цыпочках пошел по пустым комнатам. Сквозь полукруглые окна был виден сад, заваленный снегом. Деревья стояли неподвижно, опустив белые ветви, заросли сирени с двух сторон балконной лестницы пригнулись под снегом. На поляне синели заячьи следы. У самого окна на ветке сидела черная головастая ворона, похожая на чорта. Никита постучал пальцем в стекло, ворона шарахнулась боком и полстела, сбивая крыльями снег с ветвей.

Никита дошел до крайней, угловой комнаты. Здесь вдоль стен стояли покрытые пылью шкапы, сквозь их стекла поблескивали переплеты старинных книг. Над изразцовым очагом висел портрет дамы удивительной красоты. Она была в черной бархатной амазонке и рукою в перчатке с раструбом держала хлыст. Казалось, она шла и обернулась и глядит на Никиту с лукавой улыбкой пристальными длинными глазами.

Никита сел на диван и, подперев кулаками подбородок, рассматривал даму. Он мог так сидеть и глядеть на нее долго. Из-за нее, — он не раз это слышал от матери, — с его прадедом произошли большие беды. Портрет несчастного прадеда висел здесь же над книжным шкапом, — тощий, востроносый старичок с затравленными глазами; рукою в перстнях он придерживал на груди халат; сбоку лежал полуразвернутый папирус и гусиное перо. По всему видно, что очень несчастный старичок.

Матушка рассказывала, что прадед обыкновенно днем спал, а ночью читал и писал, — гулять ходил только в сумерки. По ночам вокруг дома бродили караульщики и трещали в трещотки, чтобы ночные птицы не летали под окнами, не пугали прадедушку. Сад в то время, говорят, зарос

высокой густой травой. Дом, кроме этой комнаты, стоял заколоченный, необитаемый. Дворовые мужики разбежались. Дела прадеда были совсем плачевны.

Однажды его не нашли ни в кабинете, ни в доме, ни в саду, — искали целую неделю, так он и пропал. А спустя лет пять его наследник получил от него из Сибири загадочное письмо: «Искал покоя в мудрости, нашел забвение среди природы».

Причиной всех этих странных явлений была дама в амазонке. Никита глядел на нее с любопытством и волнением.

За окном опять появилась ворона, осыпая снег, села на ветку и принялась нырять головой, разевать клюв, каркала. Никите стало жутковато. Он выбрался из пустых комнат и побежал на двор.

## У КОЛОДЦА

Посредине двора, у колодца, где снег вокруг был желтый, обледенелый и истоптанный, Никита нашел Мишку Коряшонка. Мишка сидел на краю колодца и макал в воду кончик голицы — кожаной рукавицы, надетой на руку.

Никита спросил, зачем он это делает. Мишка Коряшонок ответил:

— Все кончанские голицы макают, и мы теперь будем макать. Она зажохнет, — страсть ловко драться. Пойдешь на деревню-то?

— А когда?

— Вот пообедаем и пойдем. Матери ничего не говори.

— Мама отпустила, только не велела драться.

— Как не велела драться? А если на тебя наскочат? Знаешь, кто на тебя наскочит, — Степка Карнаушкин. Он тебе даст, ты — брык.

— Ну, со Степкой-то я справлюсь, — сказал Никита, — я его на один мизинец пушу. — И он показал Мишке палец.

Коряшонок посмотрел, сплюнул и сказал грубым голосом:

— У Степки Карнаушкина кулак заговоренный. На прошлой неделе он в село, в Утевку, ездил с отцом за солью, за рыбой, там ему кулак заговаривали, лопни глаза — не вру.

Никита задумался, — конечно, лучше бы совсем не ходить на деревню, но Мишка скажет — трус.

— А как же ему кулак заговаривали? — спросил он.

Мишка опять сплюнул:

— Пустое дело. Перво-наперво возьми сажу и руки вымажи и три раза скажи: «Тани-бани, что под нами под железными столбами?» Вот тебе и все...

Никита с большим уважением глядел на Коряшонка. На дворе в это время со скрипом отворились ворота, и оттуда плотной серой кучей выбежали овцы, — стучали копытцами, как костяшками, трясли хвостами, роняли орешки. У колодца овечье стадо сгрудилось. Блея и теснясь, овцы лезли к колоде, проламывали мордочками тонкий ледок, пили и кашляли. Баран, грязный и длинношерстый,

установился на Мишку белыми, пегими глазами топнул ножкой, Мишка сказал ему: «бездельник», — и бараб бросился на него, но Мишка успел перескочить через колоду.

Никита и Мишка побежали по двору, смеясь и дразнясь. Баран погнался за ними, но подумал и заблеял:

— Саааами безде-е-е-ельники.

Когда Никиту с черного крыльца стали кричать — итти обедать, Мишка Коряшенок сказал:

— Смотри, не обмани, пойдем на деревню-то.

## БИТВА

Никита и Мишка Коряшенок пошли на деревню через сад и пруд короткой дорогой. На пруду, где ветром сдуло снег со льда, Мишка на минутку задержался, вынул перочинный ножик и коробку спичек, присел и, шмыгая носом, стал долбить синий лед в том месте, где в нем был внутри белый пузырь. Эта штука называлась «кошкой» — со дна пруда поднимались болотные газы и вмерзали в лед пузырями. Продолбив лед, Мишка зажег спичку и поднес к скважине, «кошка» вспыхнула, и надо льдом поднялся желтоватый бесшумный язык пламени.

— Смотри, никому про это не говори, — сказал Мишка, — мы на той неделе на нижний пруд пойдем кошки поджигать, я там одну знаю — огромаднеющая, целый день будет гореть.

Мальчики побежали по пруду, пробрались через поваленные желтые камыши на тот берег и вошли в деревню.

В эту зиму занесло большие снега. Там, где ветер продувал вольно между дворами, снега было немного, но между избами поперек улицы намело сугробов выше крыш.

Избенку бабыля, дурачка Савоськи, завалило совсем, одна труба торчала над снегом. Мишка сказал, что третьего дня Савоську всем миром выкапывали лопатами, а он, дурачок, как его завалило за ночь бураном, затопил печь, сварил пустых щей, поел и полез спать на печь. Так его сонного на печке и нашли, разбудили и оттаскали за виски — за глупость.

На деревне было пусто и тихо, из труб кое-где курился дымок. Низко, над белой равниной, над занесенными ометами и крышами, светило мглистое солнце. Никита и Мишка дошли до избы Артамона Тюрина, страшного мужика, которого боялись все на деревне, — до того был силен и сердит, и в окошечке Никита увидел рыжую, как веник, бородину Артамона, — он сидел у стола и хлбал из деревянной чашки. В другое окошечко, приплюснув к стеклу носы, глядели три конопатых мальчика, Артамоновы сыновья: Семка, Ленка и Артамошка-меньшой.

Мишка, подойдя к избе, свистнул, Артамон обернулся, жуя большим ртом, погрозил Мишке ложкой. Трое мальчишек исчезли и сейчас же появились на крыльце, подносящая кушаками полусубки.

— Эх, вы, — сказал Мишка, сдвигая шапку на ухо, — эх, вы — девчонки... Дома сидите, — забоялись.

— Ничего мы не боимся, — ответил один из конопатых, Семка.

— Тятка не велит валенки трепать, — сказал Ленка.

— Давеча я ходил, кричал кончанским, они не обижаются, — сказал Артамошка-меньшой.

Мишка двинул шапку на другое ухо, хмыкнул и проговорил решительно:

— Идем дражнить. Мы им покажем.

Конопатые ответили: «ладно», и все вместе ползли на большой сугроб, лежащий поперек улицы, — отсюда за Артамоновой избой начинался другой конец деревни.

Никита думал, что на кончанской стороне кишмя-кишит мальчишками, но там было пусто и тихо, только две дорожки, обмотанные платками, втащили на сугроб салазки, сели на них, протянув перед собой ноги в валенках, ухватились за веревку, завизжали и покатались через улицу мимо амбарушки и — дальше по крутому берегу на речной лед.

Мишка, а за ним конопатые мальчишки и Никита начали кричать с сугроба:

— Эй, кончанские!

— Вот мы вас!

— Попрыгались, бояться!

— Выходите, мы вас побьем!

— Выходите на одну руку, эй, кончанские! — кричал Мишка, хлопая рукавицами.

На той стороне, на сугробе, появилось четверо кончанских. Похлопывая, поглаживая рукавицами по бокам, поправляя шапки, они тоже начали кричать:

— Очень вас боимся!

— Сейчас испугались!

— Лягушки, лягушата, ква-ква!

С этой стороны на сугроб влезли товарищи — Алешка, Нил, Ванька — черные уши, Петрушка — бобылев племянник и еще совсем маленький мальчик с большим живостом, закутанный крест-накрест в материнский платок. С той стороны тоже прибыло мальчишек пять-шесть. Они кричали:

— Эй, вы, конопатые, идите сюда, мы вам ототрем веснушки!

— Кузнецы косоглазые, мышь подковали! — кричал с этой стороны Мишка Коряшонок.

— Лягушки, лягушата!

Набралось с обеих сторон до сорока мальчишек. Но начинать — не начинали, было боязно. Кидались снегом, показывали носы. С той стороны кричали: «Лягушки, лягушата!», с этой: «Кузнецы косоглазые!» То и другое было обидно. Вдруг между кончанскими появился небольшого роста, широкий курносый мальчик. Растолкал товарищей, с развалцем спустился с сугроба, подбоченился и крикнул:

— Лягушата, выходи, один-на-один!

Это и был знаменитый Степка Карнаушкин с заговоренным кулаком.

Кончанские кидали кверху шапки, свистели пронзительно. На этой стороне мальчишки притихли. Никита оглянулся. Конопатые стояли, насупясь. Алеша и Ванька — черные уши подались назад, маленький мальчик в мамином платке тарашил на Карнаушкина круглые глаза, готовился дать рыву, Мишка Коряшонок ворчал, оттягивая кушак под живот:

— Не таких укладывал, тоже — невидаль. Начинать неохота, а то — рассержусь, я ему так дам — шапка на две сажени взовьется.

Степка Карнаушкин, видя, что никто не хочет с ним биться, махнул рукавицей своим:

— Вали, ребята!

И кончанские с криком и свистом посыпались с сугроба.

Конопатые дрогнули, за ними побежал Мишка, Ванька — черные уши и наконец все мальчишки, побежал и Никита. Маленький в платке сел в снег и заревел.

Наши пробежали Артамонов двор и двор Черноухова и взобрались на сугроб. Никита оглянулся. Позади на снегу лежал Алешка, Нил и пять наших, — кто упал, кто лег сам со страха, — лежачего бить было нельзя.

Никите стало, — хоть плачь, — обидно и стыдно: трусили, не приняли боя. Он остановился, сжал кулаки и сейчас же увидел бегущего на него Степку Карнаушкина, курносого, большеротого, с вихром из-под бараньей шапки.

Никита нагнул голову и, шагнув навстречу, изо всей силы ударил Степку в грудь. Степка мотнул головой, уронил шапку и сел в снег.

— Эх, ты, — сказал он, — будя...

Кончанские сейчас же остановились. Никита пошел на них, и они подались. Перегоняя Никиту, с криком: «Наша берет!» — всею стеною кинулись на кончанских наши. Кончанские побсжали. Их гнали дворов пять, покуда все они не полегли.

Никита возвращался на свой конец, взволнованный, разгоряченный, посматривая, с кем бы еще схватиться. Его окликнули. За амбарушкой стоял Степка Карнаушкин. Никита подошел, Степка глядел на него исподлобья:

— Ты здорово мне дал, — сказал он, — хочешь дружить?

— Конечно, хочу, — поспешно ответил Никита.

Мальчишки, улыбаясь, глядели друг на друга. Степка сказал:

— Давай поменяемся.

— Давай.

Никита подумал, что бы отдать ему самое лучшее, и дал Степке перочинный ножик с четырьмя лезвиями. Степка сунул его в карман и вытащил оттуда свинчатку — бабку, налитую свинцом:

— На. Не потеряй, дорого стоит.

## ЧЕМ ОКОНЧИЛСЯ СКУЧНЫЙ ВЕЧЕР

Вечером Никита рассматривал картинки в «Ниве» и читал объяснения к картинкам. Интересного было мало.

Вот нарисовано: стоит женщина на крыльце с голыми до локтя руками; в волосах у нее — цветы, на плече и у ног — голуби. Через забор скалит зубы какой-то человек с ружьем за плечами.

Самое скучное в этой картинке то, что никак нельзя понять — для чего она нарисована. В объяснении сказано:

«Кто из вас не видал домашних голубей, этих истинных друзей человека? (Далее про голубей Никита пропустил.) Кто туттру не любил бросать зернышки этим птицам? Талантливый немецкий художник, Ганс Вурст, изобразил один из таких моментов. Молодая Эльза, дочь пастора, вышла на крыльцо. Голуби увидели свою любимицу и радостно летят к ее ногам. Посмотрите — один сел на ее плечо, другие клуют из ее руки. Молодой сосед, охотник, любит украдкой на эту картину».

Никите представилось, что эта Эльза покормит, покормит голубей и делать ей больше нечего — скука. Отец ее, пастор, тоже где-нибудь в комнатке — сидит на стуле и зевает от скуки. А молодой сосед оскалился, точно у него живот болит, да так и пойдет, оскалясь, по дорожке, и ружье у него не стреляет, конечно. Небо на картинке серое и свет солнца — серый.

Никита помуслил карандаш и нарисовал дочери пастора усы.

Следующая картинка изображала вид города Бузулука: верстовой столб и сломанное колесо у дороги, а вдалеке — дощатые домики, церковка и косой дождь из тучи.

Никита зевнул, закрыл «Ниву» и, подпершись, стал слушать.

Наверху, на чердаке, посвистывало, подвывало протяжно. Бог затынуло басом, — «уууууууууууу», — тянет, хмурится, надув губы. Потом завитком перешло на тонкий, жалобный голос и засвистело в одну ноздрю, мучится до того уж тонко, как ниточка. И снова спустилось в бас и надуло губы.

Над круглым столом горит лампа под белым фарфоровым абажуром. Кто-то тяжело прошел за стеной по коридору, — должно быть, истопник, и под лампой нежно зазвенели хрусталики.

Матушка склонила голову над книгой, волосы у нее пельшые, тонкие и вьются на виске, где родинка, как просяное зерно. Время от времени матушка разрезывает листы вязальной спицей. Книжка — в кирпичной обложке. Таких книжек у отца в кабинете полон шкаф, все они называются «Вестник Европы». Удивительно, почему взрослые любят все скучное: читать такую книжку — точно кирпич тереть.

На коленях у матушки, положив мокрый свиной носик на лапки, спит ручной еж — Ахилка. Когда люди лягут спать, он, выпавшись за день, пойдет всю ночь топотать по комнате, стучать когтями, похрюкивать, понюхивать по всем углам, заглядывать в мышиные норы.

Истопник за стеной застучал железной дверцей, и слышно было, как мешал печь. В комнате пахло теплой штукатуркой, вымытыми полами. Было скучновато, но уютно. А тот, на чердаке, старался, насвистывал: «ю-ю-ю-ю-ю-ю».

— Мама, кто это свистит? — спросил Никита.

Матушка подняла брови, не отрываясь от книги. Аркадий же Иванович, линозавший тетрадку, немедленно, точно того только и ждал, проговорил скороговоркой:

— Когда мы говорим про неодушевленное, то нужно употребить местоимение что.

«Бууууууууу», — гудело на чердаке. Матушка подняла голову, прислушиваясь, передернула плечами и потянула на них пуховый платок. Еж, проснувшись, задышал носом сердито.

Тогда Никите представилось, как на холодном темном чердаке нанесло снегу в слуховое оконце. Между огромных потолочных балок, засиженных голубями, валяются старые, продранные, с оголенными пружинами, стулья, кресла и обломки диванов. На одном таком креслице, у печной трубы, сидит «Ветер»: мохнатый, весь в пыли, в паутине. Сидит смиренно и, подперев щеки, вост: «Скуууучно». Ночь долгая, на чердаке холодно, а он сидит один-одинешенек и вост.

Никита слез со стула и сел около матушки. Она, ласково улыбнувшись, привлекла Никиту и поцеловала в голову:

— Не пора ли тебе спать, мальчик?

— Нет, еще полчаса, пожалуйста.

Никита прислонился головой к матушкину плечу. В глубине комнаты, скрипнув дверью, появился кот Васька. — хвост кверху, весь вид — кроткий, добродетельный. Разинув розовый рот, он чуть слышно мяукнул. Аркадий Иванович спросил, не поднимая головы от тетрадки:

— По какому делу явился, Василий Васильевич?

Васька, подойдя к матушке, глядел на нее зелеными, с узкой щелью, притворными глазами и мяукнул громче. Еж опять запыхтел. Никите показалось, что Васька что-то знает, о чем-то пришел сказать.

Ветер на чердаке завыл отчаянно. И в это время за окнами раздался негромкий крик, скрип снега, говор голосов. Матушка быстро поднялась со стула. Ахилка, хрюкнув, покати́лся с колен.

Аркадий Иванович подбежал к окну и, вглядываясь, воскликнул:

— Приехали!

— Боже мой! — проговорила матушка взволнованно. — Неужели это Анна Аполлосовна?.. В такой буран...

Через несколько минут Никита, стоя в коридоре, увидел, как тяжело отворилась обитая войлоком дверь, влетел клуб морозного пара и появилась высокая и полная женщина в двух шубах и в платке, вся запорошенная снегом. Она держала за руку мальчика в сером пальто с блестящими пуговицами и в башлыке. За ними, стуча морозными валенками, вошел ямщик, с ледяной бородой, с желтыми сосульками вместе с усов, с белыми мохнатыми ресницами. На руках у него лежала

девочка в белой, мехом наверх, козьей шубке. Склонив голову на плечо ямщика, она лежала с закрытыми глазами, личико у нее было нежное и лукавое.

Войдя, высокая женщина воскликнула громким басом:

— Александра Леонтьевна, принимай гостей, — и, подняв руки, начала раскутывать платок. — Не подходи, не подходи, растужу. Ну и дороги у вас, должна я сказать — прескверные... У самого дома в какие-то кусты заехали.

Это была матушкина приятельница, Анна Аполлосовна Бабкина, живущая всегда в Самаре. Сын ее, Виктор, ожидая, когда с него снимут башлык, глядел исподлобья на Никиту. Матушка приняла у кучера спящую девочку, сняла с нее меховой капор, — из-под него сейчас же рассыпались светлые, золотистые волосы, — и поцеловала ее.

— Лилечка, приехали.

Девочка вздохнула, открыла синие большие глаза и вздохнула еще раз, просыпаясь.

## ВИКТОР И ЛИЛЯ

Никита и Виктор Бабкин проснулись рано утром в Никитиной комнате и, сидя в постелях, насупясь глядели друг на друга.

— Я тебя помню, — сказал Никита.

— И я тебя отлично помню, — сейчас же ответил Виктор, — ты у нас в Самаре был один раз, ты еще тогда уткой с яблоками объелся, тебе касторки дали.

— Ну, этого что-то не помню.

— А я помню.

Мальчики помолчали. Виктор нарочно зевнул. Никита сказал пренебрежительно:

— У меня учитель, Аркадий Иванович, страшно строгий, задушил учением. Он какую угодно книжку может прочесть в полчаса.

Виктор усмехнулся.

— Я учусь в гимназии, во втором классе. Вот у нас так строго: меня постоянно без обеда оставляют.

— Ну, это что, — сказал Никита.

— Нет, это тебе не что. Хотя я могу тысячу дней ничего не есть.

— Эх, — сказал Никита. — Ты пробовал?

— Нет, еще не пробовал. Мама не позволяет.

Никита зевнул, потянулся:

— А я, знаешь, третьего дня Степку Карнаушкина победил.

— Это кто Степка Карнаушкин?

— Первый силач. Я ему как дал, он — брык. Я ему ножик перочинный подарил с четырьмя лезвиями, а он мне — свинчатку, — я тебе потом покажу.

Никита вылез из постели и не спеша начал одеваться.

— А я одной рукой Макарова словарь поднимаю, — дрожащим от досады голосом проговорил Виктор, но было ясно, что он уже сдастся. Никита подошел к изразцовой печи с



лежанкой, не касаясь руками, вспрыгнул на лежанку, поджал ногу и прыгнул на одной ноге на пол.

— Если быстро, быстро перебирать ногами, — можно летать, — сказал он, внимательно поглядев в глаза Виктору.

— Ну, это пустяки. У нас в классе многие летают.

Мальчики оделись и пошли в столовую, где пахло горячим хлебом, сдобными лепешками, где от светло вычищенного самовара шел такой пар до потолка, что запотели окна. У стола сидела матушка, Аркадий Иванович и вчерашняя девочка, лет девяти, сестра Виктора, Лиля. Из соседней комнаты было слышно, как Анна Аполлосовна гудела басом: «Дайте мне полотенце».

Лиля была одета в белое платье с голубой шелковой лентой, завязанной сзади в большой бант. В ее светлых и вьющихся волосах был второй бант, тоже голубой, в виде бабочки.

Никита, подойдя к ней, покраснел и шаркнул ногой. Лиля повернулась на стуле, протянула руку и сказала очень серьезно:

— Здравствуйте, мальчик.

Когда она говорила это, верхняя губа ее поднялась.

Никите показалось, что это не настоящая девочка, до того хорошенькая, в особенности глаза — синие и ярче ленты, а длинные ресницы — как шелковые. Лиля поздоровалась и, не обращая больше на Никиту внимания, взяла обеими руками большую чайную чашку и опустила туда лицо. Мальчики сели к столу рядом. Виктор, оказывается, пил чай, как маленький, согнувшись над чашкой, — тянулся в нее длинными губами. Украдкой он подкладывал себе сахар до тех пор, пока в чашке стало густо, тогда темным голосом он попросил разбавить чай водичкой. Толкнув Никиту коленкой, он сказал шопотом:

— Тебе нравится моя сестра?

Никита не ответил и залился румянцем.

— Ты с ней осторожнее, — прошептал Виктор, — девчонка постоянно матери жалуется.

Лиля в это время окончила пить чай, вытерла рот салфеточкой, неспеша слезла со стула и, подойдя к Александру Леонтьевне, проговорила вежливо и аккуратно:

— Благодарю вас, тетя Саша.

Потом пошла к окну, влезла с ногами в огромное кормиловое кресло и, вытащив откуда-то из кармана коробочку с иглами и нитками, принялась шить. Никита видел теперь только большой бант ее в виде бабочки, два висящие локон и между нимидвигающийся кончик чуть-чуть высушенного языка, — им Лиля помогает себе шить.

У Никиты были растеряны все мысли. Он начал было показывать Виктору, как можно перепрыгнуть через спинку стула, но Лиля не повернула головы, а матушка сказала:

— Дети, идите шуметь на двор.

Мальчики оделись и вышли на двор. День был мягкий и мглистый. Красноватое солнце невысоко висело над длинными, похожими на снеговые поля, слоистыми облаками. Э

саду стояли покрытые инеем розоватые деревья. Неясные тени на снегу были пропитаны тем же теплым светом. Было необыкновенно тихо, только у черного крыльца две собаки, Шарок и Каток, стоя бок о бок и повернув головы, рычали друг на друга. Так они могли рычать, оскалась и захлебываясь, очень долго, покуда проходящий рабочий не бросит в них рукавицей, тогда они, кашляя от злобы, вставляли на дыбки и дрались так, что летела шерсть. Других собак они боялись, ненавидели нищих и по ночам, вместо того чтобы караулить дом, спали под каретником.

— Что же мы будем делать? — спросил Виктор.

Никита глядел на косматую недовольную ворону, лезшую от гумна на скотный двор. Ему не хотелось играть, и было, непонятно почему, грустно. Он предложил было пойти в гостиную на диван и почитать что-нибудь, но Виктор сказал:

— Эх ты, я вижу, тебе с девчонками только играть.

— Почему? — спросил Никита, краснея.

— Да уж потому, сам знаешь, почему.

— Вот тоже пристал. Ничего я не знаю. Пойдем к колодцу.

Мальчики пошли к колодцу, куда из открытых ворот выходили на водопой коровы. Вдалеке Мишка Коряшонок хлопал, как из ружья, огромным пастушьим кнутом и вдруг закричал:

— Баян, Баян, берегись, Никита!

Никита оглянулся. Отделившись от стада, к мальчикам шел Баян, розово-серый длинный бык с широким кудрявым лбом и короткими рогами.

«Му-у», — отрывисто замычал Баян и ударил хвостом себя по боку.

— Виктор, беги! — крикнул Никита и, схватив его за руку, побежал к дому.

Бык рысью тронулся за мальчиками. «Му-ууу!»

Виктор оглянулся, закричал, упал в снег и закрыл голову руками. Баян был шагах в пяти. Тогда Никита остановился, стало вдруг горячо от злобы, сорвал шапку, подбежал к быку и шапкой стал бить его по морде:

— Пошел, пошел!

Бык стал, опустил рога. Сбоку подбегал Мишка Коряшонок, щелкая кнутом. Тогда Баян замычал жалобно, повернулся и пошел назад к колодцу. У Никиты от волнения дрожали губы. Он надел шапку и обернулся. Виктор был уже около дома и оттуда махал ему рукой. Никита невольно поглядел на окно, — третье слева от крыльца. В окне он увидел два синих удивленных глаза и над ними стоящий бабочкой голубой бант. Лиля, взобравшись на подоконник, глядела на Никиту и вдруг улыбнулась. Никита сейчас же отвернулся. Он больше не оглядывался на окошко. Ему стало весело, он крикнул:

— Виктор, идем с гор кататься, скорее!

Все время до обеда, катаясь с гор, хохоча и «бесясь», Никита крошечком мыслей думал:

«Когда буду возвращаться домой и пройду мимо окна, — оглянуться на окно или не оглядываться? Нет, пройду, не оглянусь».

## ЕЛОЧНАЯ КОРОБОЧКА

За обедом Никита старался не глядеть на Лилю, хотя если бы и старался, все равно из этого ничего бы не вышло, потому что между ним и девочкой сидела Анна Аполлосовна в красной бархатной душегрейке и, размахивая руками, разговаривала таким громким и густым голосом, что звенели стеклашки под лампой.

— Нет и нет, Александра Леонтьевна, — гудела она, — учи сына дома. В гимназии такие безобразные беспорядки, что взяла бы директора своими руками да и выгнала за дверь... Виктор, — вдруг воскликнула она, — нечего тебе слушать, что мать говорит про взрослых, ты должен уважать начальство. А возьми-ка ты, Александра Леонтьевна, наших учителей, — олухи царя небесного. Один глупее другого. А учитель географии? Как его фамилия, Виктор?

— Синичкин.

— А я тебе говорю, что не Синичкин, а Синявкин. Так этот учитель до того глуп, что однажды в прихожей, уходя из гостей, взял вместо шапки кошку, которая спала на сундуке, и надел ее на голову... Виктор, как ты держишь вилку и нож?... Не чавкай... Придвинься ближе к столу... Так вот, Александра Леонтьевна, что бишь я хотела сказать тебе?... Да: привезла я целый чемодан разной дребедени для елки... Завтра надо заставить детей клеить.

— А по-моему, — сказала матушка, — надо начать клеить сегодня, иначе всего не успеем.

— Ну, делайте, как хотите. А я пойду письма писать. Спасибо, друг мой, за обед.

Анна Аполлосовна вытерла салфеткой губы, с шумом отодвинула стул и пошла в спальню с намерением писать письма, но через минуту в спальне так страшно затрещали пружины кровати, точно на нее повалился слон.

С большого стола в столовой убрали скатерть. Матушка принесла четыре пары ножниц и стала заваривать крахмал. Делалось это так: из углового шкапчика, где помещалась домашняя аптечка, матушка достала банку с крахмалом, насыпала его не больше чайной ложки в стакан, налила туда же ложки две холодной воды и начала размешивать, покуда из крахмала не получилась кашка. Тогда матушка налила в кашку из самовара крутого кипятку, все время сильно мешая ложкой, крахмал стал прозрачный, как желе, — получился отличный клей.

Мальчики принесли кожаный чемодан Анны Аполлосовны и поставили на стол. Матушка раскрыла его и начала вынимать: листы золотой бумаги, гладкой и с тиснением, листы серебряной, синей, зеленой и оранжевой бумаги,

бристольский картон, коробочки со свечками, с елочными подсвечниками, с золотыми рыбками и петушками, коробку с дутыми стеклянными шариками, которые нанизывались на нитку, и коробку с шариками, у которых сверху была серебряная петелька, — с четырех сторон они были вдавлены и другого цвета, затем коробку с хлопучками, пучки золотой и серебряной канители, фонарики с цветными стеклянными окошечками и большую звезду. С каждой новой коробкой дети стонали от восторга.

— Там еще есть хорошие вещи, — сказала матушка, опуская руки в чемодан, — но их мы пока не будем разворачивать. А сейчас давайте клеить.

Виктор взялся клеить цепи, Никита — фунтики для конфет, матушка резала бумагу и картон. Лиля спросила вежливым голосом:

— Тетя Саша, вы позволите мне клеить коробочку?

— Клей, милая, что хочешь.

Дети начали работать молча, дыша носами, вытирая крахмальные руки об одежду. Матушка в это время рассказывала, как в давнишнее время елочных украшений не было и в помине и все приходилось делать самому. Были поэтому такие искусники, что клеили, — она сама это видела, — настоящий замок с башнями, с винтовыми лестницами и подъемными мостами. Перед замком было озеро из зеркала, окруженное мхом. По озеру плыли два лебедя, запряженные в золотую лодочку.

Лиля, слушая, работала тихо и молча, только помогала себе языком в трудные минуты. Никита оставил фунтики и глядел на нее. Матушка в это время вышла. Виктор развешивал аршин десять разноцветных цепей на стульях.

— Что вы клеите? — спросил Никита.

Лиля, не поднимая головы, улыбнулась, вырезала из золотой бумаги звездочку и наклеила ее на синюю крышечку.

— Вам для чего эта коробочка? — исполголоса спросил Никита.

— Это коробочка для кукольных мерчаток, — ответила Лиля серьезно, — вы мальчик, вы этого не поймете. — Она подняла голову и поглядела на Никиту синими строгими глазами.

Он начал краснеть все гуще и жарче и наконец побагровел.

— Какой вы красный, — сказала Лиля, — как свекла.

И она опять склонилась над коробочкой. Лицо ее стало лукавым. Никита сидел, точно прилип к стулу. Он не знал, что теперь сказать, и он бы не мог ни за что уйти из комнаты. Девочка смеялась над ним, но он не обиделся и не рассердился, а только смотрел на нее. Вдруг Лиля, не поднимая глаз, спросила его другим голосом, так, точно теперь между ними была какая-то тайна и они об ней говорили:

— Вам нравится эта коробочка?

Никита ответил:

— Да. Нравится.

— Мне она тоже очень нравится, — проговорила она и

покачала головой, отчего закачались у нее и бант и локоны. Она хотела еще что-то прибавить, но в это время подошел Виктор и, просунув голову между Лилей и Никитой, проговорил скороговоркой:

— Какая коробочка, где коробочка?.. Ну, ерунда, обыкновенная коробочка. Я таких сколько угодно наделаю.

— Виктор, я, честное слово, пожалуюсь маме, что ты мне мешаешь класить, — проговорила Лиля дрожащим голосом. Взяла клей и бумагу и перенесла на другой конец стола.

Виктор подмигнул Никите.

— Я тебе говорил, с ней надо поосторожнее: ябеда.

Поздно вечером Никита, лежа в темной комнате в постели, закрывшись с головой, спросил из-под одеяла глухим голосом:

— Виктор, ты спишь?

— Нет еще... Не знаю... А что?

— Слушай, Виктор... Я должен тебе сказать страшную тайну.. Виктор... Да ты не спи.. Виктор, слушай...

— Угум — фюю, — ответил Виктор.

## ТО, ЧТО БЫЛО ПРИВЕЗЕНО НА ОТДЕЛЬНОЙ ПОДВОДЕ

Еще на рассвете, сквозь сон, Никита слышал, как по дому мешали в печаж и хлопала в конце дверь, — это истопник вносил вязанки дров и кизяку.

Никита проснулся от счастья. Утро было ясное и морозное.

Окна замерзли густым слоем лапчатых листьев. Виктор еще спал. Никита бросил в него подушкой, но тот, замычав, потянул на голову одеяло. От счастья Никита поскорее вылез из постели, оделся, подумал, — куда? — и побежал к Аркадию Ивановичу.

Аркадий Иванович только еще проснулся и, лежа, читал все то же самое, тридцать раз им читанное, письмо. Увидев Никиту, он поднял ноги вместе с одеялом, ударил ими по кровати и закричал:

— Несбыкновенный случай! Встал раньше всех!

— Аркадий Иванович, какой день сегодня хороший.

— День, братец ты мой, замечательный.

— Аркадий Иванович, я вот что хотел спросить, — Никита поковырял пальцем притолоку, — вам ючень нравятся Бабкины?

— Кто именно из Бабкиных?

— Дети.

— Так, так... А кто именно из детей желаешь ты, чтобы мне нравился?

Аркадий Иванович говорил это хотя обыкновенным голосом, но чересчур поспешно. Он облокотился о подушку и глядел на Никиту без улыбки, это правда, но чересчур внимательно. Он тоже, очевидно, что-то знал. Никита вдруг отсвернулся, выбежал из комнаты, подумал и пошел на двор.

Над людской, над баней в овраге и дальше за белым полем надо всей деревней стояли столбами синие дыммы. За ночь на

деревьях еще гуще лег иней, и огромные осокори над прудом совсем свесили снежные ветви, отчетливо видные на синем мерзлом небе. Снег сиял и хрустел. Щипало в носу и слипались ресницы.

У крыльца на слегка дымившейся куче золы Шарок и Каток рычали друг на друга. Увязая в снегу, напрямик через двор к Никите шел Мишка Коряшонок с дубинкой, — собирался гонять котяти на льду. А на дороге в это время правое деревни появились воза. Один за другим они выползли из ображка и плелись, низкие и темные на снегу, вдоль нижнего пруда к плотине.

Мишка Коряшонок, приставив большой палец рукавицы к носу, высморкался и сказал:

— Наш обоз пришел из города, гостинцы привезли.

Воза шли теперь по плотине, под огромным сводом снежных ветел, и уже был слышен хруст снега, визжание полозьев и дыхание лошадей.

Первым въехал на двор во главе обоза, как всегда это бывало, старший рабочий Никифор на большой рыжей кобыле Весте. Никифор, коренастый старик, легко шел в мерзлых, обмотанных веревками, валенках сбоку саней. Тулуп его был распахнут, поднятый бараний воротник, шапка, борода его и брови были в инее. Веста, потемневшая от пота, широко дышала боками и вся дымилась паром. На ходу Никифор обернулся и простуженным, крепким голосом крикнул задним возам:

— Эй, заворачивай к амбарам. Слухай! Последний воз к дому.

Всего в обозе было шестнадцать саней. Лошади шли бодро, сильно пахло конским потом, визжали полозья, хлопали кнуты, пар стоял над обозом.

Когда последний воз покинул плотину и приблизился, Никита не сразу разобрал, что на нем лежит. Это было большое, странной формы, зеленое, с длинной красной полосой. У Никиты забилось сердце. На санях, с припряженными сзади вторыми салазками, лежала, скрипя и покачиваясь, двухвесельная крутоносая лодка. Сбоку лодки из саней торчали два зеленых весла и мачта с медной маковкой на конце.

Так вот что был за подарок, обещанный в таинственном письме!

## ЕЛКА

В гостиную втащили большую мерзлую елку. Пахом долго стучал и тесал топором, прилаживая крест. Дерево наконец подняли, и оно оказалось так высоко, что нежно-зеленая верхушечка согнулась под потолком.

От ели веяло холодом, но понемногу слезавшиеся ветви ее оттаяли, поднялись, распустились, и по всему дому запахло хвоей. Дети принесли в гостиную вороха цепей и картонки с украшениями, подставили к елке стулья и стали ее убирать. Но скоро оказалось, что вещей мало. Пришлось опять сесте клеить фунтики, золотить орехи, привязывать к пряникам и крымским яблокам серебряные веревочки. За этой работой де-

ти просидели весь вечер, покуда Лиля, опустив голову с измятым бантом на локоть, не заснула у стола.

Настал сочельник. Елку убрали, опутали золотой паутиной, повесили цепи и вставили свечи в цветные зашпички. Когда все было готово, матушка сказала:

— А теперь, дети, уходите, и до вечера в гостиную не заглядывать.

В этот день обедали поздно и наспех, — дети ели только сладкое — шарлотту. В доме была суматоха. Мальчики слонялись по дому и ко всем приставали — скоро ли настанет вечер? Даже Аркадий Иванович, надевший черный долгополый сюртук и коробом стоявшую накрахмаленную рубашку, не знал, что ему делать, — ходил от окна к окну и посвистывал. Лиля ушла к матери.

Солнце страшно медленно ползло к земле, розовело, застилавшись мглистыми облачками, длиннее становилась лиловая тень от колодца на снегу. Наконец матушка велела итти одеваться. Никита нашел у себя на постели сияющую шелковую рубашку, вышитую елочкой по вороту, подолу и рукавам, витой пояс с кистями и бархатные шаровары. Никита оделся и побежал к матушке. Она пригласила его гребнем волосы на пробор, взяла за плечи, внимательно поглядела в лицо и подвела к большому красного дерева трюмо.

В зеркале Никита увидел нарядного и благонравного мальчика. Нсуужели это был он?

— Ах, Никита, Никита, — проговорила матушка, целуя его в голову. — если бы ты всегда был таким мальчиком.

Никита на цыпочках вышел в коридор и увидел важно идущую ему навстречу девочку в белом. На ней было пышное платье с кисейными юбочками, большой белый бант в волосах, и шесть пышных доконов с боков ее лица, тоже сейчас неузнаваемого, спускались на худенькие плечи. Подойдя, Лиля с гримаской оглядела Никиту.

— Ты что думал — это привидение, — сказала она. — чего испугался? — и прошла в кабинет и села там с ногами на диван.

Никита тоже вошел за ней и сел на диван, на другой его конец. В комнате горела печь, потрескивали дрова, рассыпались угольками. Красноватым мигающим светом были освещены спинки кожаных кресел, угол золотой рамы на стене, голова Пушкина между шкапами.

Лиля сидела не двигаясь. Было чудесно, когда светом почти освещались ее щека и приподнятый носик. Появился Виктор в синем мундире со светлыми пуговицами и с галунным воротником, таким тесным, что трудно было разговаривать.

Виктор сел в кресло и тоже замолчал. Рядом, в гостинной, было слышно, как матушка и Анна Аполлосовна разговаривали какие-то свертки, что-то ставили на пол и переговаривались вполголоса. Виктор подкрался было к замочной щелке, но с той стороны щелка была заложена бумажкой.

Затем в коридоре хлопнула на блоке дверь, послышались голоса и много мелких шагов. Это пришли дети из деревни.

Надо было бежать к ним, но Никита не мог пошевелиться. В окне на морозных узорах затеплился голубоватый свет. Лиле проговорила тоненьким голосом:

— Звезда взшла.

И в это время раскрылись двери в кабинет. Дети соскочили с дивана. В гостиной от пола до потолка сияла елка множеством, множеством свечей. Она стояла, как огненное дерево, переливаясь золотом, искрами, длинными лучами. Свет от нее шел густой, теплый, пахнущий хвоей, воском, мандаринами, медовыми пряниками.

Дети стояли неподвижно, потрясенные. В гостиной раскрылись другие двери, и, теснясь к стенке, вошли деревенские мальчишки и девочки. Все они были без валенок, в шерстяных чулках, в красных, розовых, желтых рубашках, в желтых, алых, белых платочках.

Тогда матушка заиграла на рояле польку. Играя, обернула к елке улыбающееся лицо и запела:

Журавлины долги ноги  
Не нашли пути, дороги...

Никита протянул Лиле руку. Она дала ему руку и продолжала глядеть на свечи, в синих глазах ее, в каждом глазу горело по елочке. Дети стояли не двигаясь.

Аркадий Иванович подбежал к толпе мальчишек и девочек, схватил за руки и галопом помчался с ними вокруг елки. Полы его сюртука развеивались. Бежая, он прихватил еще двоих, потом Никиту, Лиле, Виктора, и наконец все дети закружились хороводом вокруг елки.

Уж я золото хорошу, хорошу,  
Уж я серебро хорошу, хорошу...—

запели деревенские.

Никита сорвал с елки хлопушку и разорвал ее. В ней оказался колапак со звездой. Сейчас же захлопали хлопушки, запахло хлопущечным порохом, зашуршали колапки из папиросной бумаги.

Лиле достался бумажный фартук с карманчиками. Она надела его. Щеки ее разгорелись, как яблоки, губы были измазаны шоколадом. Она все время смеялась, поглядывая на огромную куклу, сидящую под елкой на корзинке с кукольным приданым.

Там же под елкой лежали бумажные пакеты с подарками для мальчишек и девочек, завернутые в разноцветные пакеты. Виктор получил полк солдат с пушками и палатками. Никита — кожаное настоящее седло, уздечку и хлыст.

Теперь было слышно, как щелкали орехи, хрустела скорлупа под ногами, как дышали дети носами, развязывая пакеты с подарками.

Матушка опять заиграла на рояле, вокруг елки пошел хоровод с песнями, но свечи уже догорали, и Аркадий Иванович, подпрыгивая, тушил их. Елка тускнела. Матушка закрыла рояль и велела всем идти в столовую пить чай.

Но Аркадий Иванович и тут не успокоился, — устроил



цепь и сам впереди, а за ним двадцать пять ребятешек, побежал обходом через коридор в столовую.

В прихожей Лилия оторвалась от цепи и остановилась, переводя дыхание и глядя на Никиту смеющимися глазами. Они стояли около вешалки с шубами. Лилия спросила:

— Ты чего смеешься?

— Это ты смеешься, — ответил Никита.

— А ты чего на меня смотришь?

Никита покраснел, но подошел ближе и, сам не понимая, как это вышло, нагнулся к Лиле и поцеловал ее. Она сейчас же ответила скороговоркой:

— Ты хороший мальчик, я тебе этого не говорила, чтобы никто не узнал, но это секрет. — Повернулась и убежала в столовую.

После чая Аркадий Иванович устроил игру в фанты, но дети устали, наелись и плохо соображали, что нужно делать. Наконец один совсем маленький мальчик, в рубашке горошком, задремал, свалился со стула и начал громко плакать.

Матушка сказала, что елка кончена. Дети пошли в коридор, где вдоль стены лежали их валенки и полушубки. Оделись и вывалились из дома всей гурьбой на мороз.

Никита пошел провожать детей до плотины. Когда он один возвращался домой, в небе высоко, в радужном бледном круге, горела луна. Деревья на плотине и в саду стояли опромные и белые, и казалось, выросли, вытянулись под лунным светом. Направо уходила в невероятную морозную мглу белая пустыня. Сбоку Никиты передвигала ногами длинная большеголовая тень.

Никите казалось, что он идет во сне, в заколдованном царстве. Только в зачарованном царстве бывает так странно и так счастливо на душе.

## НЕУДАЧА ВИКТОРА

Виктор подружился в эти дни с Мишкой Коряшонком и ходил с ним на нижний пруд зажигать «кошки». Одну «кошку» они запалили такую, что огонь вылетел изо льда выше человека. Затем на канаве, за прудом, они построили крепость — башню из снега и кругом нее стену с амбразурами и воротами. После этого Виктор написал кончанским письмом:

«Вы, кончанские, кузнецы косогазые, мышью подковали, мы вас так отколотим, что будете помнить. Приходите, мы вас дождемся в крепости. Комендант, гимназист второго класса Виктор Бабкин».

Письмо это прибили к палке, Мишка Коряшенок понес его на деревню и воткнул в сугроб у Артамоновой избы. Семка, Ленка и Артамошка-меньшой Алешка, Ванька — черные уши и Петрушка, бобылев племянник, влезли на сугроб около палки и долго грозились кончанским, кидали на их сторону котят и потом пошли с Мишкой Коряшонком и сели с ним в крепость.

Виктор велел катать комья и шары. Все это разложили внутри крепости вдоль стен, воткнули на башне палку с пучком камыша и стали ждать.

Пришел Никита, осмотрел укрепление, заложил руки в карманы:

— Никто к вам не придет, крепость ваша никуда не годится, я с вами играть не буду, пойду домой.

— С девчонкой связался, — крикнул ему Виктор со стены, — кавалер!

Артамоновы сыновья громко засмеялись, Ванька — черные уши засвистал в согнутый палец.

Никита сказал:

— Была бы охота, я бы вас всех раскидал с вашей крепостью, рук не стоит марать, — показал Виктору язык и пошел через пруд к дому.

Вслед ему полетели комья снегу, — он даже не обернулся.

В крепости ждали недолго: из-за занесенных ометов, со стороны деревни, показались кончанские. Они шли прямо на крепость, увязая по колено в снегу. Кончанских было человек пятнадцать.

Виктор стал говорить, что наколотит дров из кончанских, пошмыгивал покрасневшим от мороза носом. Глаза у него бегали. Кончанские подошли и расположились перед воротами крепости, иные сели на снег. Припелся с ними и маленький мальчик в мамкином платке. Кончанских привел Степа Карнаушкин. Оглядев крепость, он подошел к самой стене и сказал:

— Дайте нам этого мальчишку со светлыми пуговицами, мы ему уши снегом натрем...

Виктор озабоченно шмыгнул. Мишка шепнул: «Кидай в ного глыбой, кидай!» Виктор поднял ком снега, кинул и промахнулся. Карнаушкин отступил к своим. Кончанские вскочили и начали катать снег. Из крепости в них полетели комья. Артамоновы сыновья кидались очень ловко. Они сразу же сшибли с ног маленького мальчика в мамкином платке. Кончанские стали отвечать. Снежки полетели с обеих сторон тучей. На башне повалился шест со значком. Ванька — черные уши упал со стены и сдался кончанским. Вдруг с Виктора сбили фуражку и другим комом ударили в лицо. Кончанские завывали, завизжали, засвистали, пошли на приступ...

Стена была проломлена, защитники крепости побежали через камыши по льду пруда.

## ЧТО БЫЛО В ВАЗОЧКЕ НА СТЕННЫХ ЧАСАХ

Никита сам не понимал, почему ему скучно играть с мальчишками. Он вернулся домой, разделся и, проходя через комнаты, услышал, как Лиля говорила:

— Мамочка, дайге мне, пожалуйста, чистенькую тряпочку. У новой куклы, Валентины, разболелась нога, я беспокоюсь за ее здоровье.

Никита остановился и снова, как во все дни, почув-

ствовав счастье. Оно было так велико, что казалось, будто где-то внутри у него вертится, играет нежно и весело музыкальный ящичек.

Никита пошел в кабинет, сел на диван, на то место, где позавчера сидела Лиля, и, прищурившись, глядел на расписанные морозом стекла. Нежные и причудливые узоры эти были, как из зачарованного царства, — оттуда, где играл неслышно волшебный ящик. Это были ветви, листья, деревья, какие-то странные фигуры зверей и людей. Глядя на узоры, Никита почувствовал, как слова какие-то сами собой складываются, поют, и от этого, от этих удивительных слов и пения, волосам у него стало щекотно на макушке.

Никита осторожно слез с дивана, отыскал на столе у отца четвертушку бумаги и большими буквами начал писать стихотворение:

Уж ты лес, ты мой лес,  
Ты волшебный мой лес,  
Полный птиц и зверей  
И веселых дикарей...  
Я люблю тебя, лес...  
Так люблю тебя, лес...

Но дальше про лес писать было трудно. Никита грыз ручку, глядел в потолок. Да и написанные слова были не те, что сами напевались только что, просились на волю.

Никита перечел стихотворение. Оно все-таки ему нравилось. Он сложил бумажку в восемь раз, сунул ее в карман и пошел в столовую, где у окна шила Лиля. Рука его, державшая в кармане бумажку, вспотела, но он так и не решился показать стихов.

В сумерки вернулся Виктор, посиневший от холода и с распухшим носом. Анна Аполлосовна всплеснула руками:

— Опять нос ему разбили! С кем ты дрался? Отвечай мне сию минуту.

— Ни с кем я не дрался, просто нос сам распух, — мрачно ответил Виктор, ушел к себе и лег на кровать.

К нему явился Никита и стал у печки. В зеленоватом небе зажглись, точно от укола иголкой, несколько звезд. Никита сказал:

— Хочешь, я тебе один стишок прочту про лес?

Виктор дернул плечом, положил ноги на спинку кровати:

— Ты этому Степке Карнаушкину так и скажи, — пусть он мне лучше не попадается.

— Знаешь, — сказал Никита, — в этих стихах лес один описывается. Этот лес такой, что его нельзя увидеть, но все про него знают... Если тебе грустно, прочти про этот лес, и все пройдет. Или, знаешь, бывает, во сне привидится что-то страшно хорошее, не поймешь, что, но хорошее, — проснешься и никак не можешь вспомнить... Понимаешь?

— Нет, не понимаю, — ответил Виктор, — и стихов твоих не хочу слушать.

Никита вздохнул, постоял у печи и вышел. В большой прихожей, освещенной горячей печью, против печи, на сундуке, покрытом волчьим мехом, сидела Лиля и глядела, как пляшет огонь.

Никита сел рядом с ней на сундук. В прихожей пахло печным теплом, шубами и сладковато-грустным запахом старинных вещей из ящиков огромного комода.

— Давайте с вами разговаривать, — задумчиво проговорила Лиля, — расскажите мне что-нибудь интересное.

— Хотите, я расскажу, какой я недавно сон видел?

— Да, про сон расскажите, пожалуйста.

Никита начал рассказывать сон про кота, про ожившие портреты и про то, как он летал и что видел, летая под потолком. Лиля внимательно слушала, держа на коленях куклу, у которой был сделан компресс.

Когда он кончил рассказывать, она повернулась к нему, глаза ее были раскрыты от страха и любопытства. Она спросила шепотом:

— Что же было в вазочке?

— Не знаю.

— Наверное, там было что-нибудь интересное.

— Но ведь это я во сне видел.

— Ах, все равно, — надо было посмотреть. Вы — мальчик, вы ничего не понимаете. Скажите, а такая вазочка у вас есть на самом деле?

— Часы у нас есть на самом деле, а вазочку я не помню. Часы в кабинете у бабушки стоят, сломанные.

— Пойдемте, посмотрим.

— Там темно.

— Мы фонарик с елки возьмем. Принесите фонарик, ну, пожалуйста.

Никита побежал в гостиную, снял с елки фонарик со слюдяными цветными окошечками, зажег его и вернулся в прихожую.

Лиля накинула на себя большой пуховый платок. Дети, крадучись, вышли в коридор и прошмыгнули на летнюю половину. В темном высоком зале густым инеем были запущены окна, на них от лунного света лежали тени ветвей. Было холодновато, пахло гнилыми яблоками. Дубовые половинки дверей в соседнюю темную комнату были приотворены.

— Часы там? — спросила Лиля.

— Еще дальше, в третьей комнате.

— Никита, вы ничего не боитесь?

Никита потянул дверь, она жалобно заскрипела, и звук этот гулко раздался в пустых комнатах. Лиля схватила Никиту за руку. Фонарик задрожал, и красные и синие лучи его полетели по стенам.

На цыпочках дети вошли в соседнюю комнату. Здесь лунный свет сквозь окна лежал голубоватыми квадратами на паркете. У стены стояли полосатые кресла, в углу — диван раскорякой. У Никиты закружилась голова, — точно такую он уже видел однажды эту комнату.

— Они смотрят, — прошептала Лиля, показывая на два темные портрета на стене, — на старичка и старушку.

Дети перебежали комнату и открыли вторую дверь. Кабинет был залит ярким лунным светом. Поблескивали стеклянные дверцы шкапов и золото на переплетах. Над очагом

вся в свету, глядела на вошедших дама в амазонке, улыбаясь таинственно.

— Кто это? — спросила Лиля, придвигаясь к Никите.

Он ответил шопотом:

— Это она.

Лиля кивнула головой и вдруг, отялдываясь, вскрикнула:

— Вазочка, смотрите же, Никита, вазочка!

Действительно. — в глубине кабинета, на верху старинных, красного дерева, часов с неподвижным диском маятника, стояла между двух деревянных завитушек бронзовая вазочка со львиной мордой. Никита никогда ее почему-то не замечал, а сейчас узнал: это была вазочка из его сна.

Он подставил стул к часам, вскочил на него, поднялся на дыпочки, засунул палец в вазочку и на дне ее ощупал пыль и что-то твердое.

— Нашел! — воскликнул он, зажимая это в кулаке, и прыгнул на пол.

В это время из-за шкапа фыркнуло на него, блеснули лиловые глаза, выскочил кот, Василий Васильевич, ловивший мышей в библиотеке.

Лиля замахала руками, пустилась бежать, за ней побежал Никита, — точно чья-то рука касалась его волос, так было страшно Перегоняя детей, по лунным квадратам неслышно пронесся Василий Васильевич, опустив хвост.

Дети вбежали в прихожую, сели на сундук у огня, едва переводили дыхание со страха. У Лили горели щеки. Глядя Никите прямо в глаза, она сказала:

— Ну?

Тогда он разжал пальцы. На ладони его лежало тоненькое колечко с синеньким камешком. Лиля молча всплеснула руками

— Колечко!

— Это волшебное, — сказал Никита.

— Слушайте, что мы с ним будем делать?

Никита, нахмурившись, взял ее руку и стал надевать ей колечко на указательный палец. Лиля сказала:

— Нет, почему же мне, — посмотрела на камешек, улыбнулась, вздохнула и, обхватив Никиту за шею, поцеловала его.

Никита так покраснел, что пришлось отойти от печки. Собрав все присутствие духа, он проговорил:

— Это тоже вам, — вытащил из кармана смятую, сложенную в восемь раз бумажку, где были написаны стихи про лес, и подал ее Лиле.

Она развернула, стала читать, шевеля губами, и потом сказала задумчиво:

— Благодарю вас, Никита, эти стихи мне очень нравятся.

## ПОСЛЕДНИЙ ВЕЧЕР

За вечерним чаем матушка несколько раз переглядывалась с Ажной Аполлосовной и пожимала плечами Аркадий Иванович с ничего не выражающим лицом сидел, уткнувшись в свой стакан, так, будто режьте его, — он все равно

не скажет ни слова. Анна Аполлосовна, окончив пятую чашку со сливками и горячими сдобными лепешками, очистила от чашек, тарелок и крошек место перед собою, положила на скатерть большую фуку, ладонью вниз, и сказала густым голосом:

— Нет, и нет, и нет, мать моя, Александра Леонтьевна. Я сказала, — значит, ножом отрезано; хорошенького понемножку. Вот что, дети, — она повернулась и ткнула указательным пальцем Виктора в спину, чтобы он не горбился, — завтра понедельник, вы это, конечно, забыли. Кончайте пить чай и немедленно идите спать. Завтра, чуть свет, мы уезжаем.

Виктор молча вытянул губы дальше своего носа. Лиля быстро опустила глаза и стала нагибаться над чашкой. У Никиты сразу застало глаза, пошли лучи от язычка лампы. Он отвернулся и стал глядеть на Василия Васильевича.

Кот сидел на чисто вымытом полу, выставил заднюю ногу пистолетом и вылизывал ее, щуя глаза. Коту было не скучно и не весело, торопиться некуда, — «завтра, — думал он, — у вас, у людей, — будни, начнете опять решать арифметические задачи и писать диктант, а я, кот, праздников не праздновал, стихов не писал, с девочкой не целовался, — мне и завтра будет хорошо».

Виктор и Лиля кончили пить чай. Взглянув на густые, начавшие уже пошевеливаться брови матери, простились и вместе с Никитой пошли из столовой. Анна Аполлосовна крикнула вдогонку:

— Виктор!

— Что, мама?

— Как ты идешь!

— А что?

— Ты идешь, как на резинке тащишься. Уходи бодро. Не колеси по комнате, дверь — вот она. Выпрямись... На что ты будешь годеи в жизни, не понимаю!

Дети ушли. В теплой и полутемной прихожей, где мальчикам нужно было поворачивать направо, Никита остановился перед Лилей и, покусывая губы, сказал:

— Вы летом к нам приедете?

— Это зависит от моей мамы, — тоненьким голосом ответила Лиля, не поднимая глаз.

— Будете мне писать?

— Да, я вам буду писать письма, Никита.

— Ну, прощайте.

— Прощайте, Никита.

Лиля кивнула бантом, подала руку, кончики пальцев, и пошла к себе, не оборачиваясь; пряменькая, аккуратная. Ничего нельзя было понять, глядя ей вслед. «Очень, очень сдержанный характер», — как говорила про нее Анна Аполлосовна.

Покуда Виктор ворчал, укладывая в корзинку книжки и игрушки, отклеивал и прятал в коробочку какие-то картиночки, лазил под стол, разыскивая перочинный ножик, — Никита не сказал ни слова; быстро разделся, закрылся с головой одеялом и притворился, что засыпает.

Ему казалось, что всему на свете — конец. В опускающейся на глаза дремоте в последний раз появился, как тень на стене, огромный бант, которого он теперь не забудет во всю жизнь. Сквозь сон он слышал какие-то голоса, кто-то подходил к его постели, затем голоса отдалились. Он увидел теплые лапчатые листья, большие деревья, красноватую дорожку сквозь густую, легко расступающуюся перед ним заросль. Было удивительно сладко в этом красноватом от света, странном лесу, и хотелось плакать от чего-то небывало грустного. Вдруг голова краснокожего дикаря в золотых очках высунулась из лопухов: «А, ты все еще спишь», — крикнула она громовым голосом.

Никита раскрыл глаза. На лицо его падал горячий утренний свет. Перед кроватью стоял Аркадий Иванович и хлопотал себя по кончику носа карандашом.

— Вставай, вставай, разбойник.

## РАЗЛУКА

В январе отец Никиты, Василий Никитьевич, прислал письмо.

«...Я в отчаянии, что дело о наследстве задерживает меня еще надолго, милая Саша — выясняется, что мне придется поехать в Москву хлопотать. Во всяком случае, великим постом я буду с вами...»

Матушка сильно загрустила над письмом и вечером, показывая его Аркадию Ивановичу, говорила:

— Бог с ним, с этим наследством, если из-за него столько неприятностей; всю зиму живем в разлуке. Вот мне даже кажется, что Никита уже начал забывать отца.

Она отвернулась и стала глядеть в черное замерзшее окно. За ним была глухая ночь, такая морозная, что в саду трескали деревья и громко, так, что все вздрагивало, трескались балки на чердаке, а поутру на снегу находили мертвых всорбьев. Матушка легонько вытерла глаза платком.

— Да, разлука, разлука, — проговорил Аркадий Иванович и задумался, должно быть, о своей собственной разлуке, — его рука потянулась в карман за письмом.

Никита в это время рисовал географическую карту Южной Америки. — сегодня с матушкой было долгое объяснение, она волновалась и доказывала ему, что за праздники он обленился и опустился, готовит из себя, очевидно, волостного писаря или телеграфиста на станции Безенчук. «Вечером, вместо глупых картинок, — сказала она, — будешь у меня рисовать Южную Америку».

Никита рисовал Америку и думал, — неужели он забыл отца? Нет. На месте реки Амазонки, там, где скрестились долгота и широта, он видел краснощекое, с блестящими глазами и блестящими зубами, веселое лицо отца — темная борода на две стороны, промкий похотывающий голос. Можно было часами глядеть ему в рот, помирая со смеха, когда он рассказывает. Матушка частенько упрекала его

в беспечности и легкомыслии, но это происходило от его слишком живого характера. Вдруг, например, отцу придет мысль, что лягушки, которыми были полны все три усадебные пруда, пропадают даром, и он целыми вечерами говорит о том, как их нужно откармливать, выращивать, холить и в бочках отсылать в Париж. «Вот ты смеешься, — говорил он матушке, смеявшейся до слез над этими рассказами, — а вот увидишь, что я разбогатею на лягушках». Отец велел городить в пруду садки, варил месиво для прикорму и приносил пробных лягушек домой, откуда матушка не заявила, что либо она, либо лягушки, которых она боится до смерти и что ей противно жить, когда этой гадости полон дом. Однажды отец поехал в город и прислал оттуда с обозом старые дубовые двери и оконные рамы и письмо: «Милая Саша, случайно мне удалось очень выгодно купить партию рам и дверей. Это тем более кстати, что, помнишь, ты мечтала построить павильон на тополевой горке. Я уже говорил с архитектором, он советует павильон строить зимний, чтобы жить в нем и зимой. Я заранее в восторге, ведь наш дом стоит в такой колдобине, что из окон — никакого виду». Матушка только расплакалась; за эти три месяца не заплачено до сих пор жалованья Аркадию Ивановичу, и вдруг новые расходы... От постройки павильона она отказалась наотрез, и рамы и двери так и остались гнить в сарае. Или вдруг на отца нападет горячка — улучшать сельское хозяйство, — тоже беда: выписываются из Америки машины, он сам привозит их со станции, сердится, учит рабочих, как нужно управлять, на всех кричит: «Черти окающие, осторожнее!»

По прошествии небольшого времени матушка спрашивает отца:

— Ну, что твоя необыкновенная сноповязалка?

— А что? — отец барабанит в окно пальцами. — Великолепная машина.

— Я видела, — она стоит в сарае.

Отец дергает плечом, быстро разглаживает бороду на две стороны. Матушка спрашивает кротко:

— Она уже сломана?

— Эти болваны американцы, — фыркнув, говорит отец, — выдумывают машины, которые ежеминутно ломаются. Я тут ни при чем.

Рисуя реку Амазонку с притоками, Никита с любовью и нежным весельем думал об отце. Совесть его была спокойна, — матушка напрасно сказала, что он его забыл.

Вдруг в стене треснуло, как из пистолета. Матушка громко ахнула, уронила на пол вязанье. Под комодом хрюкнул и задышал со злости еж Ахилка. Никита посмотрел на Аркадия Ивановича, который притворялся, что чихает, на самом деле глаза его были закрыты, хотя он не спал. Никите стало жалко Аркадия Ивановича: бедняк, все думает о своей невесте, Вассе Ниловне, городской учительнице. Вот она, разлука-то!

Никита подпер щеку кулаком и стал думать теперь о



своей разлуке. На этом месте у стола сидела Лилия, и сейчас ее нет. Какая грусть, — была, и нет. А вот — пятно на столе, где она пролила гуммиарабик. А на этой стене была когда-то тень от ее банта. «Пролетели счастливые дни». У Никиги защипало в горле от этих необыкновенно грустных, сейчас им выдуманных слов. Чтобы не забыть их, он записал внизу под Америкой: «Пролетели счастливые дни» и, продолжая рисовать, повел реку Амазонку совсем уже не в ту сторону. — через Парагвай и Уругвай к Огненной Земле.

— Александра Леонтьевна, я думаю, вы правы: этот мальчик готовит себя в телеграфисты на станцию Безенчук, — спокойным голосом, от которого полезли мурашки, проговорил Аркадий Иванович, уже давно смотревший, что выделывает с картой Никита.

Морозы становились все крепче. Ледяными ветрами осыпало иней с деревьев. Снега покрылись твердым настом, по которому иззябшие и голодные волки, в одиночку и по-двое, подходили по ночам к самой усадьбе.

Волки переходили пруд и стояли в камышах, нюхая жилой запах усадьбы. Осмелев, пробирались по саду, садились на снежной поляне перед домом и, глядя светящимися глазами на темные замерзшие окна, поднимали морды в ледяную темноту и сначала низко, будто ворча, потом все громче, забирая голодной глоткой все выше, начинали выть, не переводя духу, — выше, выше, пронзительнее...

— О, господи, господи, грехи наши тяжкие.

В доме стучали печными дверцами. На кухне еще горела керосиновая жестяная лампа. Пахло самоваром и теплым хлебом. За утренним чаем не засиживались. Матушка очищала в столовой стол и ставила швейную машину. Приходила домашняя швея, выписанная из села Пестравки, — кривобокенькая, рябенькая Соня, с выщербленным от постоянного перестрывания нитки передним зубом, и шила вместе с матушкой тоже какие-то будничные вещи. Разговаривали за шитьем вполголоса, с треском рвали коленкор. Швея Софья была такая скучная девица, словно несколько лет валялась за шкапом, — ее нашли, почистили немного и посадили шить.

Уча арифметику, по крайней мере можно было думать о разных бесполезных, но забавных вещах: о заржавленных, с дохлами мышами бассейнах, в которые втекают три трубы, о каком-то, в клеенчатом сюртуке, с длинным носом, вечном «некто», смешавшем три сорта кофе или купившем столько-то золотников меди, или все о том же несчастном купце с двумя кусками сукна. Но в алгебре не за что было зацепиться, в ней ничего не было живого, только переплет ее пахнул столярным клеем, да, когда Аркадий Иванович объяснял ее правила, наклоняясь над стулом Никиты, в чернильнице отражалось его лицо, круглое, как кувшин.

Рассказывая по истории, Аркадий Иванович вставал спиной к печке. На белых изразцах его черный сюртук, рыжая борода и золотые очки были чудо как хороши. Рассказывая, как Пипин Короткий в Суассоне разрубил кружку, Аркадий Иванович с размаху резал воздух ладонью.

— Ты должен себе усвоить, — говорил он Никите, — что такие люди, как Пипин Короткий, отличались непоколебимой волей и мужественным характером. Они не отлынивали, как некоторые, от работы, не таращили поминутно глаз на чернильницу, на которой ничего не написано, они даже не знали таких постыдных слов, как «я не могу» или «я устал». Они никогда не крутили себе на лбу вихра, вместо того чтобы усваивать алгебру. Поэтому вот, — он поднимал книгу с засунутым в середину ее пальцем, — до сих пор они служат нам примером..

После обеда обычно матушка говорила Аркадию Ивановичу:

— Если сегодня опять двадцать градусов — Никита гулять не пойдет.

Аркадий Иванович подходил к окну и дышал на стекло в том месте, где снаружи был привинчен градусник.

— Двадцать один с половиной, Александра Леонтьевна.

— Ну вот, я так и знала, — говорила матушка, — поди, Никита, займись чем-нибудь.

Никита шел к отцу в кабинет, залезал на кожаный диван, поближе к печке, и раскрывал волшебную книгу Фенимора Купера.

В теплом кабинете было так тихо, что в ушах начинался едва слышный звон. Какие необыкновенные истории можно было выдумывать в одиночестве, на диване, под этот звон. Сквозь замерзшие стекла лился белый свет. Никита читал Купера; потом, насупившись, подолгу, без начала и конца, представлял себе зеленые, шумящие под ветром травяными волнами, широкие прерии; пегих мустангов, ржущих на всем скаку, обернув веселую морду; темные ущелья Кордильеров; седой водопад, и над ним — предводителя гуронов — индейца, убранного перьями, с длинным ружьем, неподвижно стоящего на вершине скалы, похожей на сахарную голову. В лесной чащобе, в корнях тигантского дерева, на камне сидит он сам — Никита, подперев кулаком щеку. У ног дымится костер. В чащобе этой так тихо, что слышно, как позванивает в ушах. Никита здесь — в поисках Лили, похищенной коварно. Он совершил много подвигов, много раз увозил Лилу на бешеном

мустанге, карабкался по ущельям, ловким выстрелом сбивал с сахарной головы предводителя гуронов, и тот каждый раз снова стоял на том же месте; Никита похищал и спасал и никак не мог окончить спасать и похищать Лилю.

Когда мороз и матушка позволяли высовывать нос из дома, Никита уходил бродить по двору один. Прежние игры с Мишкой Коряшонком надоели ему, да и Мишка теперь сидел больше на людской, играл в карты — в носы или в хлюст, когда проигравшего таскали за волосы.

Никита подходил к колодцу и вспоминал: вот отсюда он увидел в окне дома единственный на свете голубой бант. Окно сейчас пусто. А вот у каретника Шарок и Каток распотопали под снегом дохлую галку, — это была та самая галка: присев около нес, Лиля говорила: «Как мне жалко, Никита, посмотрите — мертвая птичка». Никита отнял галку у собак, отнес за погребницу и закопал в сугробе.

Проходя по плотине, Никита вспомнил, как он шел здесь ночью, после елки, под огромными, прозрачными в лунном свете ветлами, и сбоку скользила его тень. Почему тогда он так мало дорожил тем, что с ним случилось? Надо было бы тогда внимательно, закрыв глаза, почувствовать, — какое было счастье. А сейчас: колющий ветер шумит в мерзлых, черных ветлах, на пруду совсем замело ледяную горку, с нее он и Лиля скатились тогда на салазках, — Лиля молчала, зажмурилась, крепко вцепилась в бочки салазок. Все следы замело снегом. ✱ Никита уходил по хорошо державшему насту за двор, туда, где с севера намело сугробы вровень с соломенными крышами. Отсюда было видно все ровное белое поле, — пустыня, сливающаяся морозной мглой с небом. Тянуло, как дымком, поземкой. Отдувало полу бараньего полушубка. С гребня сугроба поросило снегом. Никита и сам не знал, почему хочется ему стоять и глядеть на эту пустыню.

Матушка стала замечать, что Никита ходит скучный, и говорила об этом с Аркадием Ивановичем. Решено было отменить занятия по алгебре, пораньше отсылать Никиту спать и «закатить ему», как очень неумно выразился Аркадий Иванович, — касторки.

Все эти меры были приняты. По наблюдению Аркадия Ивановича, Никита повеселел. Но настоящий целитель пришел через три недели: сильный сырой ветер с юга, закутавший поля, сад и усадьбу серой мглой, с бешено несущимися над самой землей рваными облаками.

## ГРАЧИ

В воскресенье на людской играли в карты рабочий Василий, Мишка Коряшонко, Лекся-подпасок и Артем — огромного роста сутулый мужик с длинным кривым носом. Он был бо-быль, безлошадный, весь век в батраках, и все хотел жениться, а девки за него не шли. На-днях он стал приглядываться к Дуняше, румяной красивой девушке, смотревшей за молочным хозяйством. Она целый день летала со скотного двора на по-

гребницу, на кухню, гремела узкими цинковыми ведрами, от него всегда хорошо пахло парным молоком, и когда шел снег, то казалось, — на щеках у нее шипели снежинки. Девушка она была смешливая. Артем, где бы он ни был, — вез ли с гумна мякину или чистил овцам ясли, — завидев Дуняшу, втыкал вилы и шел к ней, вышагивая на длинных ногах, как верблюд. Подойдя к Дуняше, снимал шапку и кланялся:

— Здравствуй, Дуня.

— Здравствуй, — Дуняша ставила ведра, закрывала фартуком рот.

— Все насчет молока бегаешь, Дуня?

Тогда Дуняша приседала, — сил не было, смешно, — подхватывала ведра и по обледелой тропке в снегу летела на гребницу, бухала ведра на пол, говорила сксроговоркой ключнице Василисе: «Верблюд опять просит, чтобы за него замуж ягги, вот, матушки мои, умру!» — и так звонко смеялась, — по всему двору было слышно.

Никита пришел на людскую. Сегодня варили похлебку из бараньих голов, хорошо пахло бараниной и печеным хлебом. У дверей, где над шайкой висел глиняный рукомойник с носиком, натопали с улицы сырого снега. У печи на лавке сидел Пахом, черные волосы его падали на рябой лоб, на сердитые брови. Он подшивал голенище: осторожно шилом протыкал кожу, отнеся голову, шурился, нацеливался свиной щетинкой на конце дратвы, протыкал и, зажав голенище между колен, тянул дратву за два конца. На Никиту он покосился из-под бровей, — очень был сердит: сегодня поругался со стряпухой, — она повесила сушить и прожгла его портянки.

У стола сидели игроки в чистых, по воскресному делу, рубашках с расчесанными маслом волосами. Один Артем был в дырявом армяке и нечесаный: некому за ним было присмотреть, простирать рубашки. Игроки сильно щелкали липкими, пахучими картами, приговаривая:

— Замирил, да под тебя — десять.

— Замирил, да под тебя еще полсотни.

— А вот это видел?

— А ты это видел?

— Хлюст.

— Эх!

— Ну, Артем, держись!

— Как так я держись? — говорил Артем, удивленно глядя в карты — Неправильно, ошибка.

— Подставляй нос.

Артем брал в каждую руку по карте и закрывал ими глаза.

Василий, рабочий, тремя картами начинал бить с оттяжкой по Артемину длинному носу. Остальные игроки глядели, считали носы, сердито кричали на Артема, чтобы он не ворочался.

Никита сел играть и сейчас же проиграл, — ему всыпали пятнадцать носов. В это время Пахом, положив голенище и сапожный инструмент под лавку, сказал сурово:

— Иные бы уж от обедни вернулись, а эти, — лба не перекрестили, — в карты. Только и глядят скоромное жрать... Степанида, — закричал он, поднимаясь и идя к рукомойнику, — собирай обедать!

На кухне Степанида, стряпуха, с испугу уронила крышку с чугуна. Рабочие собрали карты. Василий, повернувшись в угол, к бумажной, в тараканьих следах, иконке, стал креститься.

Степанида внесла деревянную чашку с бараньими черепами; от них, застывая отвороченное лицо стряпухи, валил пахучий пар. Рабочие молча и серьезно сели к столу, разобрали ложки. Василий начал резать хлеб длинными ломтями, раздавал каждому по ломтю, потом стукнул по чашке, и началась еда. Вкусна была похлебка из бараньих голов.

Пахом к столу не сел, взял только ломоть и пошел опять к печи, на лавку. Стряпуха принесла ему горячей картошки и деревянную солоницу. Он ел постное.

— Портянки, — сказал ей Пахом, осторожно разламывая дымящуюся картошку и окуная половину ее в соль, — портянки сожгла, опять-таки ты баба, опять-таки — дура. Вот что...

Никита вышел на двор. День был мгlistый. Дул мокрый, тяжелый ветер. На сером, крупчатом, как соль, снегу желтел проступивший навоз. Навозная, в лужах, завораживающая к плотине, санная дорога была выше снега. Бревенчатые стены дворов, потемневшие соломенные крыши, голые деревья, большой деревянный некрашеный дом, все это было серое, черное, четкое.

Никита пошел к плотине. Еще издали слышался шум мокрых деревьев, будто вдалеке шумела вода в шлюзах. Качающиеся вершины ветел были закутаны низко летящими рваными облаками. В облаках, среди мотающихся сучьев, взлетали, кружились, кричали горловыми тревожными голосами черные птицы.

Никита стоял, задрал голову, раскрыв рот. Эти птицы будто взялись из сырого, густого ветра, будто их нанесло вместе с тучами, и, цепляясь за шумящие ветлы, они кричали о смутном, о страшном, о радостном, — у Никиты хватывало дыхание, билось сердце.

Это были грачи, прилетевшие с первой весенней бурей на старые места, к разоренным гнездам. Началась весна.

## ДОМИК НА КОЛЕСАХ

Три дня дул мокрый ветер, съедая снега. На буграх оголились черными бороздами пашня. В воздухе пахло талым снегом, навозом и скотиной. Когда отворяли ворота на скотном дворе, коровы выходили к колодцу, тесня друг друга, стуча рогами и громко мыча. Бык Баян свирепо ревел, нюхая весенний ветер. Едва-едва Мишка Коряшонок и Лекся в два кнута загоняли скотину обратно в разбухшие навозом дворы. Отворяли ворота конского загона, — лошади выходили сонные, будто пьяные, с потемневшей, линявшей шерстью, с отвислыми грязными гривами, с раздутыми животами. Веста жеребилась в клетке, рядом с конюшней. Без толку суетясь и крича, летали над крышами мокрые галки. На задах, за погребницей, вороны ходили вокруг обнажившейся из-под снега падали. А деревья все шумели, шумели тяжелым, тре-

возным шумом. Над платиной, в ветлах, в тучах, летали, кричали грачи.

У Никиты болела голова все эти дни. Сонный, встревоженный, бродил он по двору, по разбухшим дорогам, уходил на гумно, где от початых ометов мякины пахло хлебной пылью и мышами. Ему было мутно и тревожно, точно что-то должно произойти страшное, то, чего нельзя понять и простить. Все — земля, животные, скот, птицы перестали быть понятными ему, близкими, — стали чужими, враждебными, зловещими. Что-то должно было случиться, — непонятное, такое грешное, что хоть умри. И все же его, сонного и одурелого от ветра, запаха падали, лошадиных копыт, навоза, рыхлого снега, мучило любопытство, тянуло ко всему этому.

Когда он возвращался домой, мокрый, одичавший, пахнущий собакой, матушка глядела на него внимательно, неласково, осуждающе. Он не понимал, за что сердится она, и это еще более подбавляло мути, мучило Никиту. Он ничего плохого не сделал за эти дни, а все-таки было тревожно, будто он тоже виноват в каком-то ни с того, ни с сего начавшемся во всей земле преступлении.

Никита шел вдоль омета, с подветренной стороны. В этом омете еще остались норы, выкопанные рабочими и девками поздней осенью, когда домолачивали последние скирды пшеницы. В норы и пещеры в глубине омета люди залезали спать на ночь. Никита вспомнил, какие он слышал разговоры там, в темноте теплой пахучей соломы. Омет показался ему страшным.

Никита подошел к стоящей недалеко от гумна, в поле, плугарской будке. — дощатому домику на колесах. Дверца его, мотаясь на одной петле, уныло поскрипывала. Домик был пустынный. Никита взобрался в него по лесенке в пять жердочек. Внутри было маленькое окошечко в четыре стеклышка. На полу еще лежал снег. Под крышей, у стены, на полочке еще с прошлой осени валялись изгрызанная деревянная ложка, бутылка из-под постного масла и черенок от ножа. Посвистывал ветер над крышей. Никита стоял и думал, что вот он теперь один-одинешенек, его никто не любит, все на него сердятся. Все на свете — мокрое, черное, зловещее. У него застлало глаза, стало горько: еще бы, — один на всем свете, в пустой будке...

— Господи, — проговорил Никита вполголоса, и сразу по спине побежали холодные мурашки, — дай, господи, чтобы было опять все хорошо. Чтобы мама любила, чтобы я слушался Аркадия Ивановича... Чтобы вышло солнце, выросла трава.. Чтобы не кричали грачи так страшно.. Чтобы не слышать мне, как ревет бык Баян... Господи, дай, чтобы мне было опять легко..

Никита говорил это, кланяясь и торопливо крестясь. И когда он так помолился, глядя на ложку, бутылку и черенок от ножа, — ему на самом деле стало легче. Он постоял еще немного в этом полутемном домике с крошечным окошком и пошел домой.

Действительно, домик помог: в прихожей, когда Никита

раздевался, проходившая мимо матушка взглянула на него, как всегда в эти дни, — внимательно строгими серыми глазами и вдруг нежно улыбнулась, провела ладонью Никите по волосам и сказала:

— Ну, что, набегался? Хочешь чаю?

## НЕОБЫКНОВЕННОЕ ПОЯВЛЕНИЕ ВАСИЛИЯ НИКИТЬЕВИЧА

Ночью наконец хлынул дождь, ливень, и так застучало в окно и по железной крыше, что Никита проснулся, сел в кровати и слушал, улыбаясь.

Чудесен шум ночного дождя. «Спи, спи, спи», — торопливо барабанил он по стеклам, и ветер в темноте порывами рвал тополи перед домом.

Никита перевернул подушку холодной стороной вверх, лег опять и ворочался под вязаным одеялом, устраиваясь как можно удобнее. «Все будет ужасно, ужасно хорошо», — думал он и проваливался в мягкие теплые облака сна.

К утру дождь прошел, но небо еще было в тяжелых сырых тучах, летевших с юга на север. Никита взглянул в окно и ахнул. От снега не осталось и следа. Широкий двор был покрыт синими, рябившими под ветром лужами. Через лужи, по измятой бурой траве, тянулась навозная, не вся еще съеденная дождем дорога. Разбухшие лиловые ветви тополей трепались весело и бойко. С юга между разорванных туч появился и со страшной быстротой летел на усадьбу ослепительный лазурный клочок неба.

За чаем матушка была взволнована и все время поглядывала на окна.

— Пятый день нет почты, — сказала она Аркадию Ивановичу, — я ничего не понимаю... Вот — дождался половодья, теперь все дороги станут на две недели... Такое легкомыслие, ужасно!

Никита понял, что матушка говорила про отца, — его ждали теперь со дня на день. Аркадий Иванович пошел разговаривать с приказчиком. — нельзя ли послать за почтой верхового? — но почти тотчас же вернулся в столовую и сказал громким, каким-то особенным голосом:

— Господа, что делается!.. Идите слушать, — воды шумят.

Никита распахнул дверь на крыльцо. Весь острый, чистый воздух был полон мягким и сильным шумом падающей воды. Это множество снеговых ручьев по всем бороздам, канavam и водомоинам бежало в овражки. Полные до краев овраги гнали вешние воды в реку. Ломая лед, река выходила из берегов, крутила льдины, выдранные с корнем кусты, шла высоко через плотину и падала в омуты.

Лазурное пятно, летевшее на усадьбу, разорвало, разогнало все тучи, синевато-прохладный свет полился с неба, стали голубыми, без дна, лужи на дворе, обозначились ручьи сверкающими зайчиками, и огромные озера на полях и текущие овраги снопами света отразили солнце.

— Боже, какой воздух, — проговорила матушка, прижимая к груди руки под пуховой шалью. Лицо ее улыбалось, в серых глазах были зеленые искорки. Улыбаясь, матушка становилась краше всех на свете.

Никита пошел кругом двора посмотреть, что там делается. Всюду бежали ручьи, уходя местами под серые крупчатые сугробы, — они ухали и садились под ногами. Куда ни сунься, — всюду вода: усадьба как остров. Никите удалось пробраться только до кузницы, стоящей на горке. По уже провявшему склону он сбежал к оврагу. Приминая прошлогоднюю траву, струилась, текла снеговая, чистая, пахучая вода. Он зачерпнул ее горстью и напился.

Дальше по оврагу еще лежал снег в желтых, в синих пятнах. Вода то прорывала в нем русло, то бежала поверх снега: это называлось «наслус», — не дай бог попасть с лошадей в эту снеговую кашу. Никита шел по траве вдоль воды: вот хорошо бы поплыть по этим внешним водам из оврага в овраг, мимо просыхающих вялых берегов, плыть через сверкающие озера, рябые от весеннего ветра.

На той стороне оврага лежало ровное поле, местами бурое, местами еще снеговое, все сверкающее рябью ручьев. Вдалеке, через поле, медленно скакали пятеро верховых на неоседланных лошадях. Передний, оборачиваясь, что-то видимое, кричал, взмахивая связкой веревок. По пегой лошади Никита признал в нем Артамона Тюрина. Задний держал на плече шест. Верховые проскакали по направлению Хомяковки, деревни, лежащей по ту сторону реки, за оврагами. Это было очень странно, — скачущие без дороги по полой воде мужики.

Никита дошел до нижнего пруда, куда по желтому снегу широкой водной пеленой вливался овраг. Вода покрывала весь лед на пруду, ходила коротенькими волнами. Налево шумели зеты, обмякшие, широкие, огромные. Среди голых их сучьев сидели, качаясь, грачи, измокшие за ночь.

На плотине, между корявыми стволами, появился верховой. Он колотил пятками мухрастую лошаденку, заваливался, взмахивая локтями. Это был Степка Карнаушкин, — он что-то крикнул Никите, проскакивая мимо по лужам; комья грязного снега, брызги воды полетели из-под копыт.

Ясно, что-то случилось. Никита побежал к дому. У черного крыльца стояла, широко поводя раздутыми боками, карнаушкинская лошаденка, — она мотнула Никите мордой. Он вбежал в дом и сейчас же услышал короткий страшный крик матушки. Она появилась в глубине коридора, лицо ее было искажено, глаза — побелевшие, раскрытые ужасом. За ней появился Степка, и сбоку, из другой двери, выскочил Аркадий Иванович. Матушка не шла, а летела по коридору.

— Скорее, скорее, — крикнула она, распахивая дверь на кухню, — Степанида, Дуня, бегите в людскую!.. Василий Никитович около Хомяковки тонет...

Самое страшное было то, что «около Хомяковки». Свет потемнел в глазах у Никиты: в коридоре вдруг запахло жареным луком. Матушка впоследствии рассказывала, что



Никита зажмурился и, как заяц, закричал. Но он не помнил этого крика. Аркадий Иванович схватил его и потащил в классную комнату.

— Как тебе не стыдно, Никита, а еще взрослый, — повторял он, изо всей силы сжимая ему обе руки выше локтя. — Ну что, ну что, ну что?.. Василий Никитьевич сейчас придет... Очевидно, — просто попал в канаву, вымок... А маму твою балбес Степка напугал... Честное даю слово, я ему уши надеру...

Все же Никита видел, что у Аркадия Ивановича тряслись губы, а зрачки глаз были, как точки.

В то же время матушка в одном платке бежала к людской, хотя рабочие все уже знали и около каретника, суетясь и шумя, закладывали злого, сильного жеребца Негра в санки без подрезов; ловили на конском загоне верховых лошадей; кто тащил с соломенной крыши багор, кто бежал с лопатой, со связкой веревок; Дуняша летела из дома, держа в охапке бараний тулуп и доху. Пахом подошел к матушке:

— Расстарайтесь, Александра Леонтьевна, пошлите Дуньку на деревню за водкой. Как привезем, ему сейчас — водки...

— Пахом, я сама с вами поеду.

— Никак нет, домой идите, застудитесь.

Пахом сел бочком в санки, крепко взял вожжи. «Пускай!» — крикнул он ребятам, державшим под уздцы жеребца, Негр присел в оглоблях, храпнул, рванул и легко понес санки по грязи и лужам. За ним вслед поскакали рабочие, крича и колотя веревками лошадей, сбившихся в кучу.

Матушка долго глядела им вслед, опустила голову и медленно пошла к дому. В столовой, откуда было видно поле и за холмом — ветлы Хомяковки, матушка села у окна и позвала Никиту. Он прибежал, обхватил ее за шею, прильнул к плечу, к пуховому платку...

— Бог даст, Никитушка, нас минует беда, — проговорила матушка тихо и раздельно и надолго прижалась губами к волосам Никиты.

Несколько раз в комнате появлялся Аркадий Иванович, поправлял очки, потирал руки. Несколько раз матушка выходила на крыльцо смотреть: не едут ли? — и снова садилась к окну, не отпускала от себя Никиту.

Свет дня уже лиловел перед закатом, оконные стекла внизу, у самой рамы, подернулись тоненькими слочками: к ночи подмораживало. И неожиданно у самого дома зачмокали копыта и появились: Негр с мыльной мордой, Пахом — бочком на облужке санок, и в санках, под ворохом тулупа, дохи и кошмы, — багровое, среди бараньего меха улыбающееся лицо Василия Никитьевича, с двумя большими сосульками вместо усов. Матушка вскрикнула, стремительно поднимаясь, — лице ее задрожало.

— Жив! — крикнула она, и слезы брызнули из ее засиявших глаз.

## КАК Я ТОНУЛ

В столовой, в придвинутом к круглому столу оттоманном кожаном кресле, сидел отец, Василий Никитьевич, одетый в мягкий верблюжий халат, обутий в чесанные валенки. Усы и влажная каштановая борода его были расчесаны на стороны, красное веселое лицо отражалось в самоваре, самовар же по-особенному, как и все в этот вечер, шумно кипел, щелкая искрами из нижней решетки.

Василий Никитьевич шурился от удовольствия, от выпитой водки, белые зубы его блестели. Матушка хотя и была все в том же сером платьице и пуховом платке, но казалась совсем на себя не похожа, — никак не могла удержаться от улыбки, морщила губы, вздрагивала подбородком. Аркадий Иванович надел новые, для особенных случаев, черепаховые очки. Никита сидел на коленях на стуле и, наваливаясь животом на стол, так и лез отцу в рот. Поминутно вбегала Дуняша, чего-то хватала, приносила, таранилась на барина. Степанида внесла на чугунной сковородке большие лепешки «скороспелки», и они шипели маслом, стоя на столе, — объяденье! Кот Василий Васильевич, задрав торчком хвост, так и ходил, так и кружил около кожаного кресла, перся об него и спиной, и боком, и затылком — урлы-мурлы, — неестественно громко мурлыкая. Еж Ахилка глядел свиной мордой из-под буфета, иголки у него пригладились со лба на спину; значит, тоже был доволен.

Отец с удовольствием съел горячую лепешку, — ай да Степанида! — съел, свернув трубочкой, вторую лепешку, — ай да Степанида! — отхлебнул большой глоток чая со сливками, расправил усы и зажмурил один глаз.

— Ну, — сказал он, — теперь слушайте, как я тонул. — И он стал рассказывать. — Из Самары выехал я третьего дня. Дело в том, Саша, — он на минуточку сделался серьезным, — что мне подвернулась чрезвычайно выгодная покупка: пристал ко мне Позднюнин, — купи да купи у него каракового жеребца Лорда Байрона. Зачем, говорю, мне твой жеребец? «Поди, — говорит, — посмотри только». Увидел я жеребца и влюбился. Красавец. Умница. Косится на меня лиловым глазом и чуть не говорит — купи. А Позднюнин пристает, — купи и купи у него также и сани и сбрую... Саша, ты не сердись на меня за эту покупку? — отец взял руку матушки. — Ну, прости. — Матушка даже глаза закрыла: разве сегодня она могла сердиться, хотя бы он купил самого председателя земской управы Позднюнина. — Ну, так вот, — велел я отвести к себе на двор Лорда Байрона и думаю: что делать? Не хочется мне лошадь одну оставлять в Самаре. Уложил я в чемодан разные подарки, — отец хитро прищурил один глаз, — на рассвете заложили мне Байрона, и выехал я из Самары один. Вначале еще кое-где был снежок, а потом так развело дорогу, — жеребец мой весь в мыле, — с тела начал спадать. Решил я заночевать в Колдыбани, у батюшки Воздвиженского. Поп меня угостил такой колбасой, — умопомраченье! Ну, хорошо. Поп мне говорит: «Василий Никитьевич, не доедешь, увидишь —

непременно ночью овраги тронутся». А я, во что бы то ни стало, — ехать. Так поспорили мы с попом до полночи. Какой он утостил меня наливкой из черной смородины! Честное слово, — если привезти такую наливку в Париж, — французы с ума сойдут... Но об этом как-нибудь после поговорим. Лег я спать, и тут припустился дождик, как из ведра. Ты представляешь, Саша, какая меня взяла досада: сидеть в двадцати верстах от вас и не знать, когда я к вам попаду... Бог с ним и с попом и с наливкой..

— Василий, — перебила матушка и строго стала глядеть на него, — я серьезно тебя прошу больше никогда так не рисковать...

— Даю тебе честное слово, — не задумываясь, ответил Василий Никитьевич. — Так вот... Утром дождик перестал, пошел к обеду, а я велел заложить Байрона и выехал. Батюшки родимые!.. Одна вода кругом. Но жеребцу легче. Едем мы без дороги, по колену в воде, по озерам... Красота.. Солнце, ветерок.. Сани мои плывут. Ноги промочены. Необыкновенно хорошо! Наконец вижу издалека наши ветлы. Проехал Хомяковку и начал пробовать — где бы легче перебраться через реку... Ах, подлец! — Василий Никитьевич ударил кулаком по ручке кресла: — покажу я этому Поздюнину, где мосты нужно строить! Пришлось мне подняться версты три за Хомяковку, и там пересekali речку вброд. Молодец Лорд Байрон, так и вымахнул на крутой берег. Ну, думаю, речку-то мы пересекли, а впереди три оврага, — пострашнее. А податься уж некуда. Подъезжаю к оврагу. Представляешь, Саша: вровень с берегами идет вода со снегом. Овражище, — сама знаешь, — сажени три глубины.

— Ужас, — побледнев, проговорила матушка.

— Я выпряг жеребца, снял хомут и седлку, положил их в сани и не догадался снять дохи, — вот это меня и погубило. Влез на Байрона верхом, — господи, благослови! Жеребец сначала уперся. Я его огладил. Он нюхает воду, фыркает. Попятился, да и махнул в овраг, в наслус. И ушел по самую шею, бьется и — ни с места. Я слез с него и тоже ушел, — одна голова торчит. Начал я ворочаться в этой каше, не то вплавь, не то ползком. А жеребец увидел, что я ухожу от него, заржал жалобно — не покидай! — и стал биться и сгаты за мной вслед. Нагнал и передними копытами ударил сзади в раскрытую доху и потянул меня под воду. Бьюсь изо всей силы, а меня затягивает все глубже, подо мной нет дна. Счастье, что доха была растегнута и, когда я бился под водой, она слезла с меня. Так она и сейчас там, в овраге.. Я вынырнул, начал дышать, лежу в каше растопыркою, как лягушка, и слышу — что-то булькает. Оглянулся, — у жеребца полморды под водой, — пузыри пускает: он наступил на повод. Пришлось к нему вернуться. Отстегнул пряжку, сорвал с него узду. Он вздернул морду и глядит на меня, как человек. Так мы барахтались больше, должно быть, часу в этом наслусе. Чувствую, — нет больше сил, застываю. Сердце начало леденеть. В это время смотрю — жеребец перестал сгаты, — его повернуло и понесло: значит, выбились мы все-

таки на чистую воду. В воде легче было плавать, и нас прибило к тому берегу. Байрон вылез на траву первый, я — за ним. Взял его за гриву, и мы пошли рядом, — оба качаемся. А впереди — еще два оврага... Но тут я увидел — скачут мужики...

Василий Никитьевич проговорил еще несколько неясных слов и вдруг уронил голову. Лицо его было багровое, зубы мсак и часто постукивали.

— Ничего, ничего, это меня разморило от вашего самовара, — сказал он, откинулся на спинку кресла и закрыл глаза.

У него начался озноб. Его уложили в постель, и он пошел ко сну...

## СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ

Отец пролежал три дня в жару, а когда пришел в себя, первое, что спросил, — жив ли Лорд Байрон? Красавец-жеребец был в добром здравии.

Живой и веселый нрав Василия Никитьевича скоро поднял его на ноги: валяться было не время. Начиналась весенняя сушта перед севом. В кузнице наваривали лемеха, чинили плуги, перекозывали лошадей. В амбарах лопатами перегоняли задохшийся хлеб, тревожа мышей и поднимая облака пыли. Под навесом шумела веялка. В дому шла большая чистка: вытирали окна, мыли полы, снимали с потолка паутину. На балкон выносили ковры, кресла, диваны, выколачивали из них зимний дух. Все вещи, привыкшие за зиму лежать на своих местах, были потревожены, вытерты от пыли, поставлены по-новому. Ахилка, не любивший суеты, со злости ушел жить в кладовую.

Матушка сама чистила столовое серебро, серебряные ризы на иконах, открывала старинные сундуки, откуда шел запах нафталина, пересматривала весенние вещи, помятые в сундуках и от зимнего лежания ставшие новыми. В столовой стояли лукошки с вареными яйцами; Никита и Аркадий Иванович красили их наваром из луковой кожуры, — получались яйца желтые, заворачивали в бумажки и опускали в кипяток с уксусом, — яйца пестренькие с рисуночками, красили лаком «жук», золотили и серебрили.

В пятницу по всему дому запахло ванилью и кардамоном, — начали печь куличи. К вечеру у матушки на постели уже ложало, отдыхая под чистыми полотенцами, штук десять высоких баб и приземистых куличей.

Всю эту неделю дни стояли неровные, — то нагоняло черные тучи и сыпалась крупа, то с быстро очищенного неба, из синей бездны, лился прохладный весенний свет, то лопала мокрая снежная буря. По ночам подмораживало лужи.

В субботу усадьба опустела; половина людей из людской и из дому ушли в Колокольцовку, в село за семь верст, — стоять великую заутреню.

Матушка в этот день чувствовала себя плохо — умучилась за неделю. Отец сказал, что сейчас же после ужина завалится спать. Аркадий Иванович, ждавший все эти дни

писыма из Самары и не дождавшийся, сидел под ключом у себя в комнате, мрачный, как ворон.

Никите было предложено: если он хочет ехать к завтра-не, пусть разыщет Артема и скажет, чтобы заложили в двуколку кобылу Афродиту, она кована на все четыре ноги. Выехать нужно засветло и остановиться у старинного приятеля Василия Никитевича, державшего в Колокольцовке бакалейную лавку, Петра Петровича Девятова. «Кстати, у него полон дом детей, а ты все один и один, это вредно», — сказала матушка.

На вечерней заре Никита сел в двухколесную таратайку сбоку рослого Артема, низко подпоясанного новым кушаком по дырявому армяку. Артем сказал: «Но, милая, выручай», — и старая, с провислой шеей, широкозадая Афродита пошла рысцой.

Проехали двор, миновали кузницу, переехали свраг в черной вводе по ступицу. Афродита для чего-то все время поплядывала через оглоблю назад, на Артема.

Синий вечер отражался в лужах, затянутых тонким ледком. Похрустывали копыта, встряхивало таратайку. Артем сидел молча, повесив длинный нос, — думал про несчастную любовь к Дуняше. Над тусклой полосой заката, в зеленом небе, теплилась чистая, как льдинка, звезда.

## ДЕТИ ПЕТРА ПЕТРОВИЧА

Под потолком, едва освещая комнату, в железном кольце висела лампа с подвернутым синим вонючим огоньком. На полу, на двух ситцевых перинах, от которых уютно пахло жильем и мальчишками, лежали Никита и шесть сыновей Петра Петровича — Володя, Коля, Лешка, Ленька-нытик и двое маленьких, — имена их было знать неинтересно.

Старшие мальчишки вполголоса рассказывали истории, Леньке-нытику попадало, — то за ухо вывертом, то за виски, чтобы не ныл. Маленькие спали, уткнувшись носом в перину.

Седьмой ребенок Петра Петровича, Анна, девочка, ровесница Никиты, — веснушчатая, с круглыми, как у птицы, безо всякого смаха, внимательными глазами и темненьким от веснушек носиком, неслышно время от времени появлялась из коридора в дверях комнаты. Тогда кто-нибудь из мальчиков говорил ей:

— Анна, не лезь, — вот я встану...

Анна так же неслышно исчезала. В доме было тихо.

Петр Петрович, как церковный староста, еще засветло ушел в церковь.

Марья Мироновна, жена его, сказала детям:

— Пошумите, пошумите, — все затылки вам отобью...

И прилегла отдохнуть перед завтраней. Детям тоже велено было лежать, не возиться. Лешка, круглолицый, зихрастый, без передних зубов, рассказывал:

— В прошлую Пасху в подкучки играли, так я двести яиц наиграл. Ел, ел, потом живот во — раздуло.

Анна проговорила за дверью, боясь, чтобы Никита не поверил Лешке:

— Неправдычка. Вы ему не верьте.

— Ей-богу, сейчас встану,— пригрозил Лешка.

За дверью стало тихо.

Володя, старший, смуглый курчавый мальчик, сидевший, поджав ноги, на перине, сказал Никите:

— Завтра пойдем на колокольню звонить. Я начну звонить,— вся колокольня трясется. Лево́й рукой в мелкие колокола — дирлянь, дирлянь, а этой рукой в большущий — бум. А в нем — сто тысяч пудов.

— Неправдычка,— прошептали за дверью.

Володя быстро, так, что кудри отлетели, обернулся.

— Анна!.. А вот папаша наш страшно сильный,— сказал он,— папаша может лошадь за передние ноги поднимать... Я еще, конечно, не могу, но зато, лето придет, приежайте к нам, Никита, пойдем на пруд. У нас пруд — шесть верст. Я могу влезть на дерево, на самую верхушку, и оттуда вниз головой — в воду.

— А я могу,— сказал Лешка,— под водой вовсе не дышать и все вижу. В прошлое лето купались, у меня в голове червяки и блохи завелись и жуки — во какие...

— Неправдычка,— едва слышно вздохнули за дверью.

— Анна, за косу!..

— Противная какая девчонка уродилась,— сказал Володя с досадой,— к нам беспрестанно лезет, скука от нее страшная, потом матери жалуется, что ее бьют.

За дверью всхлипнули. Третий мальчик, Коля, лежа на боку, подпершись кулаком, все время глядел на Никиту добрыми, немного грустными глазами. Лицо у него было длинное, смиренное, с длинным расстоянием от конца носа до верхней губы. Когда Никита оборачивался к нему, он улыбался глазами.

— А вы плавать умеете? — спросил его Никита.

Коля улыбнулся глазами. Володя сказал пренебрежительно:

— Он у нас все книжки читает. Он у нас летом на крыше живет, в шалаше: на крыше — шалаш. Лежит и читает. Папаша его хочет в город определить учиться. А я пойду по хозяйственной части. А Лешка еще мал, пускай побегает. Нам горе вот с этим, с нытиком,— он дернул Ленку за петушинный вихор на макушке,— такой постылый мальчишка. Папаша говорит — у него глисты.

— Ничего это не у него, а это у меня глисты страшные,— сказал Лешка,— потому что я лопухи ем и стрючки с акации ем, я могу головастиков есть.

— Неправдычка,— опять простонали за дверью.

— Ну, Анна, теперь держись,— и Лешка кинулся по перине к двери, толкнул маленького, который, не просыпаясь, захныкал. Но по коридору точно листья полстели,— Анны, конечно, и след простыл, только вдалеке скрипнула дверь. Лешка сказал, возвращаясь: — К матери скрылась. Все равно не уйдет от меня: я ей полну голову рпсьев набью.

— Оставь ее, Алеша,— проговорил Коля,— ну что к ней привязался?

Тогда Алешка, Володя и даже Ленька-нытик накинудись на него:

— Как это мы к ней привязываемся! Она к нам привязывается. Уйди хоть за тысячу верст, оглянись, она обязательно сзади треплется... И все ей не терпится, — что неправду говорят, делают, что не велено...

Алешка сказал:

— Я раз целый день в воде в камышах просидел, только чтобы ее не видать, — всего пиявки съели.

Володя сказал:

— Сели мы обедать, а она сейчас матери докладывает: «Мама, Володя мышь поймал, она у него в кармане». А мне, может, эта мышь дороже всего.

Ленька-нытик сказал:

— Поспоянно уставится, смотрит на тебя, покуда не заплачешь.

Жалуюсь Никите на Анну, мальчики совсем забыли, что велено было лежать тихо, помалкивать перед заутреней. Вдруг издалека послышался густой, угрожающий голос Марьи Мироновны:

— Тыща раз мне [вам] повторять...

Мальчики сейчас же заихли. Потом, шепчась, толкаясь, начали натягивать сапоги, надели полушубки, обмотались шарфами и побежали на улицу.

Вышла Марья Мироновна в новой плюшевой шубе и в шали с розанами. Анна, закутанная в большой платок, держалась за руку матери.

Ночь была звездная. Пахло землей и морозцем. Вдоль порядка темных изб, по хрустящим лужам с отражающимися в них звездами, шли молча люди: бабы, мужики, дети. Вдалеке, на базарной площади, в темном небе проступал золотой купол церкви. Под ним в три яруса, один ниже другого, горели плошки. По ним пробегал ветерок и ласкал огоньки.

## ТВЕРДОСТЬ ДУХА

После заутрени вернулись домой к накрытому столу, где в пасхах и куличах, даже на стене, приколотые к обоям, краснели бумажные розаны. Попискивала в окне, в клетке, канарейка, потревоженная светом лампы. Петр Петрович, в длиннополом черном сюртуке, посмеиваясь в татарские усики, — такая у него была привычка, — налил всем по рюмочке вишневой наливки. Дети колупали яйца, облизывали ложки. Марья Мироновна, не снимая шали, сидела усталая, — не могла даже разговляться, только и ждала, когда наконец орава, — так она звала детей, — угомонится.

Едва только Никита улегся под синим огоньком лампы на перине, закрылся бараньим полушубком, в ушах у него запели тонкие, холодноватые голоса: «Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ...» И снова увидел белые дощатые стены, по которым текли слезы, свет множества

свечей перед сусальными ризами и сквозь синеватые клу-бы ладана, сверху, под церковным, в золотых звездах, си-ним куполом — голубя, простершего крылья. За решетчаты-ми окнами — ночь, а голоса поют, пахнет овчиной, кумачом, эти свечей отражаются в тысяче глаз, отворяются запад-ные двери, наклоняясь в дверях, идут хоругви. Все, что было сделано за год плохого, — все простилось в эту ночь. С вес-нущатым носиком, с двумя голубыми бантами на ушах, Ан-на тянется к братьям целоваться...

Утро первого дня было серенькое и теплое. Звонил бла-гост во все колокола. Никита и дети Петра Петровича, даже самые маленькие, пошли к мирскому амбару на су-хой выгон. Там было пестро и шумно от народа. Мальчиш-ки играли в чижики, в чушки, ездили верхом друг на дружке. У стены амбара на бревнах сидели девки в разных пестрых полушалках, в ситцевых новых, растопорченных платьях. У каждой в руке — платочек с семечками, с изю-мом, с яйцами. Грызут, лукаво поглядывают и посмеиваются.

С краю, на бревнах, вытянул наборные сапоги, развалил-ся, ни на кого не глядит, хахаль Петька — старостин, пере-бирает лады гармони, да вдруг как растянет ее: «Эх, что ты, что ты!»

У другой стены стоит кружок, играют в орлянку, у каж-дого игрока в ладони столбиком сшитые семишники, трешники. Тот, кому очередь метать, бьет пятаком об землю, подошвой притопнет в пятак, шаркнет его, поднимает и ме-чет высоко: орел или решка?

Здесь же на землю, на прошлогоднюю траву, из-под ко-торой лезет куриная слепота, сели девки, играют в подкуч-ки: прячут в мякинные кучки по два яйца, половина кучек пустая, — угадывая.

Никита подошел к подкучкам и вынул из кармана яйцо, но сейчас же сзади, над самым ухом, Анна, подоспевшая непонятно откуда, шепнула ему:

— Слушайте, вы с ними не играйте, они вас обманут, обиграют.

Анна глядела на Никиту круглыми, без смеха, глазами и шмыгнула веснущатым носиком. Никита пошел к мальчи-кам, игравшим в чушки, но Анна опять взялась откуда-то и углом поджатого рта зашептала:

— С этими не играйте, они вас обмануть хотят, я слы-шала.

Куда бы Никита ни пошел, — Анна летела за ним, как лист, и напоптывала на ухо. Никита не понимал, — зачем она это делает. Ему было неудобно и стыдно, он видел, как мальчики уже начали посмеиваться, поглядывая на него, один крикнул:

— С девчонкой связался!

Никита ушел к пруду, синему и холодному. Под глини-стым обрывом еще лежал талый грязный снег. Вдали, над высокими голыми деревьями рощи, кричали грачи...

— Слушайте, знаете что, — опять зашептала за спиной Анна, — я знаю, где суслик живет, хотите, пойдем его по-смотрим?



Никита, не оборачиваясь, сердито мотнул головой. Анна опять зашептала:

— Ей-боженьки, лопни глаза, я вас не обманываю. Почему не хотите суслика посмотреть?

— Не пойду.

— Ну, хотите, — куриную слепоту нароем и глаза ею натрем, и ничего не будет видно.

— Не хочу.

— Значит, вы играть со мной не хотите?..

Анна поджала губы, глядела на пруд, на синюю рябившую воду, ветерок отдувал у нее сбоку тугую косицу, острый кончик веснушчатого носика ее покраснел, глаза налились слезами, она мигнула. И сейчас Никита все понял: Анна бегала за ним все утро потому, что у нее было то же самое, что у него с Лилей.

Никита быстро пошел к самому обрыву. Если бы Анна и сейчас увязалась за ним, — он бы прыгнул в пруд, так ему стыдно и неловко. Ни с кем, только с одной Лилей у него могли быть те странные слова, особенные взгляды и улыбки. А с другой девочкой — это уж было предательство и стыдно.

— Это вам на меня мальчишки наговорили, — сказала Анна, — уже мамыньке на всех нажалуюсь... Одна буду играть... Не очень надо... Я знаю, где одна вещь лежит... И эта вещь очень интересная...

Никита, не оборачиваясь, слушал, как ворчала Анна, но не поддался. Сердце его было непреклонно.

## ВЕСНА

На солнце нельзя было теперь взглянуть, — лохматыми ослепительными потоками оно лилось с вышины. По синему-синему небу плыли облака, словно кучи снега. Весенние востерки пахнули свежей травой и птичьими гнездами.

Перед домом лопнули большие почки на душистых тополях, на припеке стонали куры. В саду, из разогретой земли, протыкая зелеными кочетками догнивающие листья, лезла трава, весь луг подернулся белыми и желтыми звездочками. С каждым днем прибывало птиц в саду. Забегали между стволами черные дрозды — ловкачи ходить пешком. В липах завелась иволга, большая птица, зеленая, с желтой, как золото, подпушкой на крыльях, — суетась, свистела медовым голосом.

Как солнцу вставать, на всех крышах и скворечниках просыпались, заливались разными голосами скворцы, крипели, насвистывали то соловьем, то жаворонком, то какими-то африканскими птицами, которых они наслушались за зиму за морем, — пересмешивались, фальшивили ужасно. Сереньким платочком сквозь прозрачные березы пролетел дятел, садясь на ствол, оборачивался, дыбом поднимал красный хохолок.

И вот в воскресенье, в солнечное утро, в еще не просохших от росы деревьях, у пруда закуковала кукушка: печальным, одиноким, нежным голосом благословила всех, кто жил в саду, начиная от червячков:

— Живите, любите, будьте счастливы, ку-ку. А я уж одна проживу, ни при чем, ку-ку..

Весь сад слушал молча кукушку. Божьи коровки, птицы, всегда всем удивленные лягушки, сидевшие на животе кто на дорожке, кто на ступеньках балкона, — все загадали судьбу. Кукушка откуковала, и еще веселее засвистал весь сад, зашумел листьями.

Однажды Никита сидел на гребне канавы, у дороги, и, подпершись, глядел, как по берегу верхнего пруда по ровному зеленому выгону ходит табун. Почтенные мерины, опустив шеи, быстро рвали еще короткую траву, обмахивались хвостами; кобылы оборачивали головы, поглядывая — здесь ли жеребенок; жеребята на длинных, слабых, толстых в коленках ногах бегали рысью кругом матерей, боялись далеко отходить, то и дело били матери под пах, пили молоко, отставляя хвост; хорошо было напиться молока в этот осенний день.

Кобылы-трехлетки, отбиваясь от табуна, взбрыкивали, визгивали, носились по выгону, брыкаясь, мотая мордой, иная начинала валяться, иная, ощерясь, визжа, норовила хватить зубами.

По дороге, миновав плотину, ехал на дрожках Василий Никитыч в парусиновом пальто. Бороду его отдувало набок, глаза были весело прищурены, на щеке — лепешка грязи. Увидав Никиту, он натянул вожжи и сказал:

— Какая из табуна больше всего тебе по душе?

— А что?

— Безо всякого «а что»!

Никита так же, как отец, прищурился и показал пальцем на темнорыжего меринка Клопика, — он ему уже давно приглянулся, главным образом за то, что конь был вежливый, кроткий, с удивительно доброй мордой.

— Вот этот.

— Ну и отлично, пускай нравится.

Василий Никитыч крепко прищурил один глаз, чмокнул, шевельнул вожжами, и сильный жеребец легко понес дрожки по накатанной дороге. Никита глядел вперед отцу: нет, этот разговор не проста.

## ПОДНЯТИЕ ФЛАГА

Никиту разбудили воробьи. Он проснулся и слушал, как медовым голосом, точно в дудку с водой, свистит изюга. Окно было раскрыто, в комнате пахло травой и свежестью, свет солнца затенен мокрой листвой. Налетел ветерок, и на подоконник упали капли росы. Из сада слышался голос Аркадия Ивановича:

— Адмирал, скоро глаза продерете?

— Встаю! — крикнул Никита и с минуту еще полежал: до того было хорошо, проснувшись, слушать свист иволги, глядеть в окно на мокрые листья.

Сегодня был день рождения Никиты, одиннадцатое мая, и назначено поднятие флага на пруду. Никита, не спеша, — не хотелось, чтобы скоро уходило время, — оделся в новую рубашку из голубого с цветочками ситца, в новые чортовой кожи штаны, такие прочные, что ими можно было зацепиться за какой угодно сучок на дереве — выдержат. Умиляясь на самого себя, он вычистил зубы.

В столовой, на снежной свежей скатерти, стоял большой букет ландышей, вся комната была наполнена их запахом. Матушка привлекла Никиту и, забыв его адмиральский чин, долго, словно год не видала, глядела в лицо и поцеловала. Отец расправил бороду, выкатил глаза и отрапортовал:

— Имею честь, ваше превосходительство, донести вам, что по сведениям грегорианского календаря, равно как по исчислению астрономов всего земного шара, сегодня вам исполнилось десять лет, во исполнение чего имею вручить вам этот перочинный ножик с двенадцатью лезвиями, весьма пригодный для морского дела, а также для того, чтобы его потерять.

После чая пошли на пруд. Василий Никитьевич, особенным образом отдувая щеку, дудел морской марш.

Матушка ужасно этому смеялась, — подбирала платье, чтобы не замочить подол в росе. Сзади шел Аркадий Иванович с веслами и багром на плече.

На берегу огромного, с извилинами, пруда, у купальни, был врыт шест с яблоком на верхушке. На воде, отражаясь зеленой и красной полосами, стояла лодка. В тени ее плавали прудовые обитатели — водяные жуки, личинки, крошечные головастики. Бегали по поверхности паучки с подушечками на лапках. На старых ветлах из гнезд глядели вниз грачихи.

Василий Никитьевич привязал к нижнему концу бечевы личный адмиральский штандарт, — на зеленом поле красная, на задних лапах, лягушка. Задудев в щеку, он быстро стал перебирать бечеву, штандарт побежал по флагштоку и у самого яблока развернулся. Из гнезда и с ветвей поднялись грачи, тревожно крича.

Никита вошел в лодку и сел на руль. Аркадий Иванович взялся за весла. Лодка осела, качнулась, отделилась от берега и пошла по зеркальной воде пруда, где отражались ветлы, зеленые тени под ними, птицы, облака. Лодка скользила меж небом и землей. Над головой Никиты появился столб комариков, — они толкались и летели за лодкой.

— Полный ход, самый полный! — кричал с берега Василий Никитьевич.

Матушка махала рукой и смеялась. Аркадий Иванович налег на весла, и из зеленых, еще низких камышей с кряканьем, в ужасе, полулетом по воде побежали две утки.

— На abordаж, лягушиный адмирал. Урррра! — закричал Василий Никитьевич.

## ЖЕЛТУХИН

Желтухин сидел на кустике травы, на припеке, в углу, между крыльцом и стеной дома и с ужасом глядел на подходившего Никиту.

Голова у Желтухина была закинута на спину, клюв с желтой во всю длину полосой лежал на толстом zobу. Весь Желтухин нахохлился, подобрал под живот ноги. Никита нагнулся к нему, он разинул рот, чтобы напугать мальчика. Никита положил его между ладонями. Это был еще серенький скворец — попытался, должно быть, вылететь из гнезда, но не сдержали неумелые крылья, и он упал и забился в угол, на прижатые к земле листья одуванчика.

У Желтухина отчаянно билось сердце: «Ахнуть не успеть, — думал он, — сейчас слопают». Он сам знал хорошо, как нужно лопать червяков, мух и гусениц.

Мальчик поднес его ко рту. Желтухин закрыл пленкой черные глаза, сердце запрыгало под перьями. Но Никита только подышал ему на голову и понес в дом: значит, был сыт и решил съест Желтухина немного погоды.

Александра Леонтьевна, увидев скворца, взяла его так же, как и Никита, в ладони и подышала на головку.

— Совсем еще маленький, бедняжка, — сказала она, — какой желторотый, Желтухин.

Скворца посадили на подоконник раскрытого в сад и затянутого марлей окна. Со стороны комнаты окно также до половины занавесили марлей. Желтухин сейчас же забился в угол, стараясь показать, что дешево не продаст жизнь.

Снаружи, за белым дымком марли, шелестели листья, дрались на кусту презренные воробьи — воры, обидчики. С другой стороны, тоже из-за марли, глядел Никита, глаза у него были большие, двигающиеся, непонятные, очаровывающие. «Пропал, пропал», — думал Желтухин.

Но Никита так и не съел его до вечера, только напустил за марлю мух и червяков. «Откармливают, — думал Желтухин и косился на красного безглазого червяка — он, как змей, извивался перед самым носом. — Не стану его есть, червяк не настоящий, обман».

Солнце опустилось за листья. Серый, сонный свет затягивал глаза, — все крепче вцеплялся Желтухин коготками в подоконник. Вот глаза ничего уже не видят. Замолкают птицы в саду. Сонно, сладко пахнет сыростью и травой. Все глубже уходит голова в перья. Нахохлившись сердито — на всякий случай — Желтухин качнулся немного вперед, потом на хвост и заснул.

Разбудили его воробьи — безобразничали, дрались на сириновой ветке. В сереньком свете висели мокрые листья. Сладко, весело, с пощелкиванием засвистал вдалеке скворец. «Сил нет — есть хочется, даже тошнит», — подумал Желтухин и увидел червяка, до половины залезшего в щелку подоконника, подскочил к нему, клюнул за хвост, вытащил, проглотил: «Ничего себе, червяк был вкусный».

Свет становился синее. Запели птицы. И вот сквозь листья

на Желтухина упал теплый яркий луч солнца. «Поживем еще», — подумал Желтухин, подскочив, клюнул муху, проглотил.

В это время загремели шаги, подошел Никита и просунул за марлю огромную руку; разжав пальцы, высыпал на подоконник мух и червяков. Желтухин в ужасе забился в угол, растопырил крылья, глядел на руку, но она повисла над его головой и убралась за марлю, и на Желтухина снова глядели странные, засасывающие, переливающиеся глаза.

Когда Никита ушел, Желтухин оправился и стал думать: «Значит, он меня не съел, а мог. Значит, он птиц не ест. Ну, тогда бояться нечего».

Желтухин сытно покушал, почистил носиком перья, попрыгал вдоль подоконника, глядя на воробьев, высмотрел одного старого, с драным затылком, и начал его дразнить, вертеть головой, пересвистывать: фюють, чилик — чилик, фюють. Воробей рассердился, распушился и с разинутым клювом кинулся к Желтухину, — ткнулся в марлю. «Что, достал, вот то-то», — подумал Желтухин и вразвалку заходил по подоконнику.

Затем снова появился Никита, просунул руку, на этот раз пустую, и слишком близко поднес ее. Желтухин подпрыгнул, изо всей силы клюнул его в палец, отскочил и приготовился к драке. Но Никита только разинул рот и закричал: ха-ха-ха.

Так прошел день, — бояться было нечего, еда хорошая, но скучновато. Желтухин едва дождался сумерек и выспался в эту ночь с удовольствием.

Наутро, поев, он стал выглядывать, как бы выбраться из-за марли. Обошел все окошко, но щелки нигде не было. Тогда он прыгнул к блюдечку и стал пить, — набирал воду в носик, закидывал головку и глотал, — по горлу катился шарик.

День был длинный. Никита приносил червяков и чистил гусиным пером подоконник. Потом лысый воробей вздумал подраться с галкой, и она так его ткнула, — он камешком нырнул в листья, глядел оттуда ошестинясь.

Прилетела зачем-то сорока под самое окно, трещала, сутилась, трясла хвостом, ничего путного не сделала.

Долго, нежно пела малиновка про горячий солнечный свет, про медовые кашки, — Желтухин даже загрустил, а у самого так и kloкoтaлo в горлышке, хотелось запеть, — но где, не на окошке же, за сеткой!..

Он опять обошел подоконник и увидел ужасное животное: оно шло, кралось на мягких коротких лапах, животом ползло по полу. Голова у него была круглая, с редкими усами дыбом, а зеленые глаза, узкие зрачки горели дьявольской злобой. Желтухин даже присел, не шевелился.

Кот Василий Васильевич мягко подпрыгнул, впился длинными когтями в край подоконника — глядел сквозь марлю на Желтухина и раскрыл рот... Господи... во рту, длиннее Желтухиного клюва, торчали клыки... Кот ударил короткой лапой, рванул марлю... У Желтухина нырнуло сердце, отвисли крылья... Но в это время — совсем во-время — появился Никита,

схватил кота за отставшую кожу и швырнул к двери. Василий Васильевич обиженно взвыл и убежал, волоча хвост.

«Сильнее Никиты нет зверя», — думал после этого случая Желтухин, и, когда опять подошел Никита, он дал себя погладить по головке, хотя со страху все же сел на хвост.

Кончился и этот день. Наутро совсем веселый Желтухин опять пошел осматривать помещение и сразу же увидел дыру в том месте, где кот рванул марлю когтем. Желтухин просунул туда голову, осмотрелся, вылез наружу, прыгнул в текущий легкий воздух и, мелко-мелко трепеща крылышками, полетел над самым полом.

В дверях он поднялся и во второй комнате, у круглого стола, увидел четырех людей. Они ели, — брали руками большие куски и клали их в рот. Все четверо обернули головы и, не двигаясь, глядели на Желтухина. Он понял, что нужно остановиться в воздухе и повернуть назад, но не мог сделать этого трудного, на всем лету, поворота, — упал на крыло, перевернулся и сел на стол, между вазочкой с вареньем и сахарницей... И сейчас же увидел перед собой Никиту. Тогда, не раздумывая, Желтухин вскочил на вазочку, а с нее на плечо Никиты и сел, нахохлился, даже глаза до половины прикрыл пленками.

Отсидевшись у Никиты на плече, Желтухин вспорхнул под потолок, поймал муху, посидел на фикусе в углу, покружился под люстрой и, проголодавшись, полетел к своему окну, где были приготовлены для него свежие червяки.

Перед вечером Никита поставил на подоконник деревянный домик с крылечком, дверкой и двумя окошечками. Желтухину понравилось, что внутри домика — темно, он прыгнул туда, поворочался и заснул.

А тою же ночью, в чулане, кот Василий Васильевич, запертый под замок за покушение на разбой, орал хриплым мявом и не хотел даже ловить мышей, — сидел у двери и мяукал так, что самому было неприятно.

Так в доме, кроме кота и ежа, стала жить третья живая душа — Желтухин. Он был очень самостоятелен, умен и предприимчив. Ему нравилось слушать, как разговаривают люди, и, когда они садились к столу, он вслушивался, нагнув голову, и выговаривал певучим голоском: «Саша», — и кланялся. Александра Леонтьевна уверяла, что он кланяется именно ей. Завидев Желтухина, матушка всегда говорила ему: «Здравствуй, здравствуй, птицын серый, энергичный и живой». Желтухин сейчас же вскакивал матушке на шлейф платья и ехал за ней, очень довольный.

Так он прожил до осени, вырос, покрылся черными, отливавшими вороньим крылом, перьями, научился хорошо говорить по-русски, почти весь день жил в саду, но в сумерки неизменно возвращался в свой дом на подоконник.

В августе его сманили дикие скворцы в стаю, обучили летать, и, когда в саду стали осыпаться листья, Желтухин — чуть зорька — улетел с перелетными птицами за море, в Африку.

## КЛОПИК

Весенние полевые работы были закончены, фруктовый сад перекопан и полит, — настало пустое время до Петрова дня, до покоса. Рабочих лошадей выгнали в табун, и они ходили за прудом, на сочных лугах, где по утрам стоял голубоватый туман и огромные одинокие осоки, казалось, росли из мглистого воздуха, — висели над землей.

При табуне конюшонком состоял Мишка Коряшонок. Он ездил на высоком казацком седле, вдев в стремяна босые ноги, заевливаясь и болтал локтями.

Скача по зеленому лугу за отбившейся от табуна кобыленкой, Мишка кричал: «азат!» — и хлопал кнутом, как из пистолета. Потом, соскочив с разнузданной лошади, которая, позвякивая удилами, принималась рвать траву, Мишка либо садился на гребне канавы и строгал палочку, либо, закатав выше колена портки, заходил в пруд и из парной воды вытаскивал луковичи камыша и камышевые корни, черные и длинные, как змеи; луковички были кисленькие и хрустящие, а корни — мучнистые и сладкие. Если их много съесть, сильно начинал болеть живот.

Никита на весь день уходил за пруд к Мишке Коряшонку и обучался у него верховой езде.

Влезать в седло было не трудно: старый сивый, в гречку, мерин стоял смирно, лишь подбивал себя в брюхо задней ногой, отгоняя слепня. Но, усевшись, взяв поводья и пустив сивого рысью, Никита начинал валиться то на правый бок, то на левый. Когда же сивый, пройдя шагов тридцать, сразу останавливался и опускал в траву губастую морду, Никита судорожно вцеплялся в переднюю луку, а иногда и скатывался через шею под ноги сивому, к чему тот относился спокойно.

Мишка говорил:

— Ты не робей, падать не больно, шею только втягивай и руками избави тебя бог за землю хвататься, — вались кубарем. Вот я тебе покажу, как без седла, без узды — вскочил и лети.

Мишка побежал к неезженным еще трехлеткам и, протянув руку, начал их звать:

— Хлеба, хлеба, хлеба...

К нему подошла хлебница, тонконогая балованная кобыла Звезда, караковая в яблоках, наставила ушки и бархатными губами искала хлеба. Мишка стал чесать ей шею. Звезда закивала строгой головкой — было приятно, и, чтобы доставить Мишке удовольствие, тоже стала хватать его зубами за плечо.

Мишка оглядела ее, провел ладонью вдоль атласной спины, — Звезда тревожно переступила, — он схватился за холку и вспрыгнул на нее. Удивленная, разгневанная, Звезда шаркнулась ебок, замотала головой, взбрыкнула, присела, взвилась на дыбы и во весь мах поскакала вдоль табуна.

Мишка сидел на ней, как клещ. Тогда она на всем скаку остановилась и поддала задом, Мишка клубком покотился в траву. Вернулся он к Никите прихрамывая, выгирая с исцарапанной щеки кровь.

— Прямо в хворост скинула проклятая кобылешка, — сказал он, — а ты так не можешь, в тебе жиру много.

Никита промолчал. Подумал: «Голову сломаю, научусь ездить лучше Мишки».

За обедом он рассказал про Звезду, матушка разволновалась.

— Слышишь, — сказала она, — я тебя прошу даже близко не подходить к неезженным лошадям, — и она с мольбой взглянула на Василия Никитьевича. — Вася, поддержи хоть ты меня... Кончится тем, что он сломает себе руки и ноги...

— Вот и отлично, — сказал на это Василий Никитьевич, — запрети ему ездить верхом, запрети ходить пешком, — тоже ведь может нос разбить, — посади его в банку, обложи ватой, отправь в музей...

— Я так и знала, — ответила матушка, — я знала, что этим летом мне ни часу не будет покоя...

— Саша, пойми, что мальчику десять лет.

— Ах, все равно...

— Прости, пожалуйста, я вовсе не хочу, чтобы из него вышел какой-нибудь несчастный Слюнтяй Макаронович.

— Да, но это не значит, что ему нужно немедленно же дарить Клопика.

— Во-первых, на Клопике может ездить грудной ребенок.

— Он кованый.

— Нет, я его велел расковать.

— Ах, в таком случае делайте все, что хотите, садитесь на бешеных лошадей, ломайте себе головы, — у матушки наплыли слезами глаза, она быстро встала из-за стола и ушла в спальню.

Василий Никитьевич шибко разгладил бороду на две стороны, швырнул салфетку и пошел к матушке. Аркадий Иванович, все время сидевший так, точно этот разговор его не касался, взглянул на Никиту, поправил очки и проговорил шопотом:

— Да, брат, плохо твое дело.

— Аркадий Иванович, скажите маме, что я не буду падать... Честное слово, что я...

— Терпение, выдержка и твердость характера, — Аркадий Иванович ловко поймал муху, упорно норовившую сесть ему на нос, — эти три качества важны также для умения хорошо сидеть верхом...

В спальне в это время шел крупный разговор. Голос отца гудел: «В его возрасте мальчишки совершенно самостоятельны...» — «Где, где они самостоятельны?» — отчаянным голосом спрашивала матушка... «В Америке они самостоятельны...» — «Это неправда...» — «А я тебе говорю, что в Америке десятилетний мальчишка так же самостоятелен, как я, например». — «Боже мой, но мы не в Америке...»

Целую неделю продолжались разговоры о самостоятельности. Матушка уже сдавалась и с грустью поглядывала на Никиту, как на подлежащего на слом, надеялась только, что сохранит он хоть голову.

Никита за эту неделю старательно учился за прудом верхо-



вой езде, — Мишка его одобрял и показал лихацкую штуку — прыгать на лошадь с разбегу, сзади, как в чехарду.

— Она тебя сроду брыкнуть не успеет, брыкнет, а ты уж у ней на холке.

Наконец за утренним чаем, на балконе, где вьющиеся по бечевкам настурции бросали движущиеся тени на скатерть, на тарелки, на лица, матушка подозвала Никиту, поставила его перед собой и сказала печальным голосом:

— Ты знаешь, тебе уже десять лет и ты должен быть самостоятелен, в твои годы другие мальчики вполне, вполне... — у нее дрогнул голос, она чуть-чуть нахмурилась в сторону отца. — Словом, папа прав, что ты уже не ребенок. — Василий Никитьевич, опустив глаза, барабанил пальцами по краю стола. — Завтра мы собираемся в гости к Чембулатовой, и ты, если хочешь, можешь поехать верхом на Клопике... Я только прошу, прошу тебя...

— Мапочка, честное, понимаешь, расчестное слово, со мной ничего не случится, — и Никита целовал матушку в глаза, в щеки, в подбородок, в пахнущие ягодами руки.

Назавтра, после раннего обеда, Василий Никитьевич велел Никите взять седло, — английское, из серой замши, подаренное на Рождество, — и говорил, шагая по траве к конюшням:

— Ты должен выучиться чистить лошадь, взнуздывать, седлать и после езды — вываживать... Лошадь должна быть в хале, в чистоте, тогда ты — хороший кавалерист.

В раскрытом настежь каретнике закладывали тройку в коляску. Кучер Сергей Иванович, в безрукавке, в малиновых рукавах, но в простом картузе, — шапочку с перьями он надевал, только садясь на козлы, — выправлял на пристяжной шлею и ругал помогавшего ему Артема:

— Куда ты ей под грудь ремень суешь, невежда! Ведь эта упряжь выездная. Оставь супонь, не касайся. Тебе kota запрягать в лукошко.

— Я безлошадный.

— То-то за тебя и девки не идут, что ты — невежа. Поддай мне новые вожжи.

Коренник Лорд Байрон, растянутый на ремне в широких дверях, грыз удила, топал по деревянному полу и не больно хватал зубами за плечо Сергея Ивановича, выправлявшего ему чолку из-под наборной узды. В каретнике пахло кожей, здоровым конским потом и голубями. Когда тройка была заложена, Сергей Иванович с улыбочкой обратился к Никите:

— Сами желаете седлать?

Клопика вывели из конюшни. Никита с волнением оглядел его.

Клопик был рыжий, хорошо вычищенный, курбятенький, плотный меринок, в чулках, с темным густым хвостом и темной же привой. Большая чолка закрывала ему глаза, и он помахивал головой, весело поглядывая из-за волос. Вдоль спины у него шел черный ремешок.

— Конь добрый, — сказал Сергей Иванович и поднес ему ведро с водой. Клопик выпил и поднял морду — вода текла у него с серых губ.

Никита взял узду и, как его учили, завел удила сбоку в рот и взнуздal. Клопик похватал зубами железо. Никита наложил потник, серую с вензелем попону, поверх нее — седло и стал затягивать подпруги, — дело было не легкое.

— Надувается, — сказал Сергей Иванович, — хитрое животное, брюхо надувает, — и он шлепнул ладонью Клопику по животу; мерин выдохнул воздух, Никита затянул подпруги.

Подождал Василий Никитьевич и начал командовать:

— В левую руку поводья, заходи спереди лошади, с левого плеча. Садись. Бери ее в шенкеля. Не запускай ноги в стремя, не подворачивай носки.

Никита сел, дрожащей ногой нашел правое ускользавшее стремя, тронул, и Клопик рысью пошел прямо в конюшню.

Василий Никитьевич закричал:

— Стой! стой! Работай правым поводом, разиня!..

В конюшне, в холодке, Клопик остановился. Никита, горячий от стыда, соскочил, взял его за повод и повел к выходу, шепча хитрому меринку:

— Свинья, настоящая свинья, дурак несчастный!..

Клопик весело кивал чолкой. Сергей Иванович сказал, подходя:

— Садитесь, я его проведу. Меринишка какой хитрящий. Не хочется ему работать, а хочется в холодке стоять.

Наконец Клопика обуздали, и Никита гарцовал на нем собачьим галопом вдоль скотных дворов.

Сергей Иванович надел шапочку с перьями, обсыпанные мукой перчатки, сел на козлы и крикнул сурово:

— Пускай!

Артем, державший под уздцы Лорда Байрона, отскочил в сторону, и тройка, рванувшись и стуча по доскам, вылетела из каретника, сверкая лаком и медью коляски, кидая свежими комьями с копыт пристяжных, заливаясь подобранными бубенцами, — описала по зеленому двору полукруг и стала у дома.

С крыльца спустилась Александра Леонтьевна в белом платье и, раскрывая белый зонтик, с тревогой смотрела на гарцовавшего вдалеке Никиту. Отец посадил матушку в коляску, вскочил сам.

— Пошел!

Сергей Иванович приподнял вожжи. Караковые великолепные звери, просясь на тугих удилах, легко понесли коляску, протучали по мостику, пристяжные пошли в галоп, завились. Лорд Байрон, зная, что все это — шутки, прядал ушами. Матушка поминутно оглядывалась. Никита, пригнувшись, бросив поводья, во весь мах догонял тройку.

Он хотел лихо пролететь мимо, но Клопик рассудил, что это — лишнее, и когда поровнялся с коляской, то свернул на дорогу и пошел рысью, ровненько позади колес, в облаке пыли. Никакими силами его нельзя было ни приостановить, ни свернуть в сторону: все это он считал излишним, — ехать, так ехать по дороге, зря не задираться.

Матушка оглядывалась. Никита трясся, сжав рот, напряженно глядя между ушей лошади. От пыли тошнило, от клопной рыси перебултыхался живот.

— Хочешь в коляску?

Никита упрямо замотал головой. Отец, засмеявшись, сказал Сергею Ивановичу:

— Дай ходу!

Лорд Байрон наставил уши и пошел выкидывать железными ногами, притяжные разостлались над травой, Клопик перешел в галоп, но коляска уходила, и он, рассердившись, сказал теперь, что было силы — старался ужасно.

Отвратительное ощущение ровной рыси прошло, Никита сидел легко и крепко, свистел ветер в ушах, сбоку дороги ходили волнами зеленые хлеба, невидимо в солнечном свете пели простенькими голосами жаворонки... Это было почти так же хорошо, как у Фенимора Купера.

Коляска пошла шагом. Никита догнал ее и, отпыхиваясь, радостно глядел на отца.

— Хорошо, Никита?

— Чудесно... Клопик — удивительная лошадь...

## В КУПАЛЬНЕ

Рано поутру Василий Никитиевич, Аркадий Иванович и Никита шли гуськом по тропинке, в сизой от росы траве, на пруд — купаться.

Утренний дымок еще стоял в густых чащах сада. На поляне, над медовыми желтыми метелками, над белыми кашками, толкались легкими листиками бабочки, летела озабоченная пчела. В чаше сада ворковал дикий голубь, — закрыв глаза, надув грудку, печально, сладко ворковал о том, что точно так же все это будет всегда, и пройдет, и снова будет.

Пройдя по длинным хлопающим по воде мосткам в дощатую купальню, Василий Никитиевич раздевался в тени на лавке, похлопывал себя по белой волосатой груди, по гладким бокам, щурился на ослепительные отблески воды и говорил:

— Хорошо, отлично!

Его загорелое лицо с блестящей бородой казалось приставленным к белому телу. От отца особенно хорошо пахло здоровьем. Когда на ногу или на плечо садилась муха, он звонко шлепал ее ладонью, и на теле оставалось розовое пятно. Остывнув, отец брал душистое мыло, очень легкое, не тонущее в воде, осторожно сходил по скользкой от зеленой плесени лесенке в купальню, — вода была ему по грудь, — и начинал шибко мылить голову и бороду, фыркая и приговаривая:

— Хорошо, отлично.

Вверху, над купальней, в солнечном синем свете, стояли мушки. Залетело коромысло, трепеща глядело изумрудными выпученными глазами на мыльную голову Василия Никитиевича и уносилось боком. Аркадий Иванович в это время поспешно и стыдливо раздевался, поджимая длинные пальцы на ногах, несколько кривоватых, отворял наружную дверцу купальни, оглядывался, — не видит ли его кто-нибудь с берега, — басом говорил: «Ну-с, хорошо-с», — и бросался животом в пруд. Вода с плеском расступалась, взлетали с ветел испуган-

ные грачи, а он плыл саженками, вилял под синеватой водой худым рыжеволосым телом.

Заплыв на середину пруда, Аркадий Иванович начинал перекувыркиваться, нырял и ухал, как водяное чудовище: «Ух-бrrrrr...»

Никита сидел калачиком на смолистой лавке и поджидал, когда отец кончит мыться. Василий Никитьевич клал на лезенку мыло и мочалку, затыкал уши и окунался три раза — мокрые волосы у него прилипали, борода отвисала клином, весь вид становился несчастный, это так и называлось: «делать несчастного Васю».

— Ну, поплыли, — говорил он, вылезал на наружные мостки, тяжело кидался в пруд и плыл по-лягушину, медленно разводя руками и ногами в прозрачной воде.

Никита кувырком летел в пруд и, догнав отца, плыл рядом с ним, ожидая, когда отец похвалит: за это лето Никита лозко научился плавать, купаясь с мальчиками в Чагре, — умел бок-ком, и на спине, и стоя, и колесом под водой. Отец говорил шопотом:

— Аркадия топить.

Они разделялись и плыли с двух сторон к Аркадию Ивановичу, который по близорукости не замечал окружения. Подплыв, они кидались к нему на саженках. Аркадий Иванович, взревев, начинал метаться, высовываясь по пояс, и нырял. Его ловили за ноги, — он больше всего на свете боялся щекотки. Но поймать его было не легко, — чаще всего он уходил, и, когда Василий Никитьевич и Никита возвращались в купальню, Аркадий Иванович уже сидел на лавке в белье и очках и говорил с обидным хохотом:

— Плавать, плавать надо учиться, господа.

Возвращаясь с пруда, обычно встречали Александру Леонтьевну в белом чепчике и в мохнатом халате. Матушка, щуря глаза от солнца и улыбаясь, говорила:

— Чай накрыт в саду, под липой. Садитесь, не ждите меня, — булочки остынут.

## СТРЕЛКА БАРОМЕТРА

Василий Никитьевич вот уже несколько дней стучал ногами по барометру и шопотом чертыхался, — стрелка стояла: «сухо, очень сухо». За две недели не упало ни капли дождя, а хлебам было время зреть. Земля растрескалась, от зноя выцвело небо, и вдали, над горизонтом, висела мгла, похожая на пыль от стада. Погорели луга, потускнели, стали свертываться листья на деревьях, и, сколько Василий Никитьевич ни стучал в стекло барометра, — стрелка упорно показывала: «сухо, очень сухо».

Собираясь за столом, домашние не шутили, как прежде, — лица у отца и матушки были озабоченные; Аркадий Иванович тоже молчал, глядел в тарелку и время от времени поправлял очки, стараясь скрыть этим сдержанный вздох. Но у него была своя причина: Васса Ниловна, городская учительница, обещавшая приехать погостить в Сосновку, написала, что

«прикована к постели больной матери» и надеется повидаться с Аркадием Ивановичем только осенью в Самаре.

Никита так и представлял эту Вассу Ниловну: сидит длинная унылая женщина в серой кофточке, со шнурком от часов, и одна нога ее прикована цепью к ножке кровати. В особенности в эти тусклые от сухой мглы, душные дни тоскливо было представлять себе городскую учительницу, сидящую у голой стены, у железной кровати.

За обедом Василий Никитьевич, выбивая пальцами полечку по краю тарелки, сказал:

— Если завтра не будет дождя, — урожай погиб.

Матушка сейчас же опустила голову. Слышно было, как точно в бреду звенела муха в огромном окне, в том месте, где наверху полукруглые двойные стекла, никогда не протиравшиеся, были затянуты паутиной. Стеклянная дверь на балкон была закрыта, чтобы из сада не несло жаром.

— Неужели — опять голодный год, — проговорила матушка, — боже, как ужасно!

— Да, вот так: сиди и жди казни, — отец подошел к окну и глядел на небо, засунув руки в карманы чесучевых панталон, — еще один день этого окаянного пекла, и — вот тебе голодная зима, тиф, падает скот, мрут дети... Непостижимо.

Обед кончился в молчании. Отец ушел спать. Матушку позвали на кухню — считать белье. Аркадий Иванович, чтобы уж совсем стало скверно на душе, отправился один гулять в раскаленную степь.

В комнатах, в полуденной зловещей тишине, только звенели мухи, все вещи были слозно подернуты пылью. Никита не знал, куда приткнуться. Пошел на крыльцо. Под мглистым, но особенно каким-то ослепительным белым светом солнца широкий двор был пустынен и тих, — все заснуло, замерло. От тишины, от зноя звенело в голове.

Никита пошел в сад, но и там не было жизни. Прожужжала сонная пчела. Не шевелясь, висели пыльные листья, как жестяные. На пруду, врезанная в тусклую воду, стояла лодка, грачи засидели ее белыми пятнами.

Никита побрел домой и прилег на пахнувший мышами диванчик. Посредине зала стоял оголенный от скатерти со множеством противных тонких ножек обеденный стол. Ничего на свете не было скучнее этого стола. Вдалеке на кухне негромко пела кухарка, — чистит, должно быть, толченым кирпичом, ножи и вост, вост вполголоса от смертной тоски.

Но вст в полуоткрытом окне, на подоконнике, появился Желтухин, клюв у него был раскрыт, — до того жарко. Подышав, он пролетел над столом и сел Никите на плечо. Повертел головой, заглянул в глаза и клюнул в висок, в то место, где у Никиты была черненькая родинка, как зернышко, — ущипнул и опять заглянул в глаза.

— Отстань, пожалуйста, убирайся, — сказал ему Никита и лениво поднялся, налил скворцу водицы в блюдечко.

Желтухин напился, прыгнул в блюдечко, выкупался, расплескал всю воду, повеселел и полетел искать места, где бы

отряхнуться, почиститься, и сел на карнизик деревянного футляра барометра.

— Фюить, — нежным голосом сказал Желтухин, — фюить, бурря.

— Что ты говоришь? — спросил Никита и подошел к барометру.

Желтухин кланялся, сидя на карнизике, опускал крылья, бормотал что-то по-птичьи и по-русски. И в эту минуту Никита увидел, что синяя стрелка на циферблате, далеко отделившись от золотой стрелки, дрожит между «переменчиво» и «буре».

Никита забарабанил пальцами в стекло, — стрелка еще передвинулась на деление к «буре». Никита побежал в библиотеку, где спал отец. Постучал. Сонный, измятый голос отца спросил поспешно:

— А, что? что такое?..

— Папа, поди — посмотри барометр...

— Не мешай, Никита, я сплю.

— Посмотри, что с барометром делается, папа...

В библиотеке было тихо — очевидно, отец никак не мог проснуться. Наконец зашлепали его босые ноги, повернулся ключ, и в приоткрытую дверь просунулась включенная борода:

— Зачем меня разбудил?... Что случилось?..

— Барометр показывает бурю.

— Врешь, — испуганным шопотом проговорил отец и побежал в залу, и сейчас же оттуда закричал на весь дом: — Саша, Саша, буря!.. Ура!.. Спасены!

Томление и зной усиливались. Замолкли птицы, мухи осоловели на окнах. К вечеру низкое солнце скрылось в раскаленной мгле. Сумерки настали быстро. Было совсем темно — ни одной звезды. Стрелка барометра твердо указывала — «буря». Все домашние собрались и сидели у круглого сорокожечного стола. Говорили шопотом, оглядывались на раскрытые в невидимый сад балконные двери.

И вот в мертвенной тишине, первыми, глухо и важно зашумели ветлы на пруду, долетели испуганные крики грачей. Отец ушел на балкон, в темноту. Шум становился все крепче, торжественнее, и наконец сильным порывом ветра примяло акации у балкона, пахнуло пахучим духом в дверь, внесло несколько сухих листьев, мигнул огонь в матовом шаре лампы, и налетевший ветер засвистал, завыл в трубах и в углах дома. Где-то бухнуло окно, зазвенели разбитые стекла. Весь сад теперь шумел, скрипели стволы, качались невидимые вершины. Появился с балкона растрепанный Василий Никитыч, рот его был раскрыт, глаза расширены. И вот — бело-синим ослепительным светом раскрылась ночь, на мгновение черными очертаниями появились низко наклонившиеся деревья. И — снова тьма. И грохнуло, обрушилось все небо. За шумом никто не услышал, как упали и потекли капли дождя на стеклах. Хлынул дождь, — сильный, обильный, потоком. Матушка стала в балконных дверях, — глаза ее были полны слез. Запах влаги, прели, дождя и травы наполнил зал.

## ПИСЬМЕЦО

Никита соскочил с седла, привязал Клопика за гвоздь у полосатого столба и вошел в почтовое отделение в ссале Утсвке на базарной площади.

За открытой загородкой сидел всклокоченный, с опухшим лицом, почтмейстер и жег на свечке сургуч. Весь стол у него был заканан сургучом и чернилами, засыпан табачным пеплом. Накапав на конверт кучу пылающего сургуча, он схватил волосатой рукой печать и стукнул ею так, будто желал проломить череп отправителю. Затем полез в ящик стола, вынул марку, высунул большой язык, лизнул, наклеил, с отворачиванием сплюнул и уже только тогда покосился заплавшими глазами на Никиту.

Почтмейстера этого звали Иван Иванович Ландышев. У него было обыкновение читать все газеты и журналы: читал от доски до доски и, покуда не прочтет, ни за что не выдаст. Неоднократно на него жаловались в Самару, но он только хуже сердился, чтения же не прекращал. Шесть раз в год он запиывал, и тогда в почтовое отделение боялись даже заходить. В эти дни почтмейстер высовывался в окошко и кричал на всю площадь: «Душу мою съели, окайнные!»

— Меня папа прислал за почтой, — сказал Никита.

Почтмейстер ничего не ответил, опять разжег сургуч, но, капнув себе на руку, вскочил, зарычал и сел опять.

— Почему я должен знать — кто такой папа? — проговорил он крайне недоброжелательно. — Тут каждый — папа, тут все — папы...

— Что вы говорите?

— Что у вас тысячу пап — говорю, — почтмейстер даже плюнул под стол. — Фамилия, фамилия, спрашиваю, этому папе-то как? — Он швырнул сургуч и только после ответа Никиты вытащил из стола пачку писем.

Никита положил их в сумку, спросил робко:

— А журналов, газет разве нет?

Почтмейстер начал надуваться. Никита, не дожидаясь ответа, скрылся за дверью.

У почтового столба Клопик топал ногой и обхлестывал себя хвостом, — до того его облепили мухи. Два маленьких, измазанных квасною гущей мальчика, с льняными волосами, глядели на лошадь.

— Посторонись! — крикнул им Никита, садясь в седло.

Один из мальчиков сел в пыль, другой повернулся и побежал. В окошко было видно, как в руке у почтмейстера опять пылаал сургуч.

Выехав из ссала в степь, золотисто-желтую и горячую от спелых хлебов, пустив Клопика итти вольным шагом, Никита раскрыл сумку и пересмотрел почту.

Одно из писем было маленькое в светлолиловом конвертике, написанное большими буквами — «Передать Никите». Письмецо было на кружевной бумажке. Мигая от волнения, Никита прочел:

«Милый Никита, я вас совсем не забыла. Я вас очень люб-

лю. Мы живем на даче. И наша дача очень хорошенюкая. Хотя Виктор очень пристаёт, не даёт мне жить. Он отбилёсь у мамы от рук. Ему в третий раз обстригли машинкой волосы, и он ходит весь расцарапанный. Я гуляю одна в нашем саду. У нас есть качели и даже яблоки, которые ещё не поспели. А помните про волшебный лес? Приезжайте осенью к нам в Самару. Ваше колечко я ещё не потеряла. До свидания. Лиля».

Несколько раз перечёл Никита это удивительное письмо. Из него пахнуло вдруг прелестью отлетевших рождественских дней. Затеплились свечи. Покачиваясь тенью на стене, появился большой бант над внимательными синими глазами девочки, зашуршали слочные цепи, заискрился лунный свет в замерзших окнах. Призрачным светом были залиты снежные крыши, белые деревья, снежные поля... Под лампой, у круглого стола, снова сидела Лиля, облокотившись на кулачок... Колдоество!..

Никита привстал на стременах, взмахнул плетью, — Клопик, от неожиданности, шарахнулся в сторону и поскакал собачьим галопом. Вековечно засвистал ветер в ушах. Над широкой степью, над спелыми, кое-где уже сжатыми хлебами, высоко над глиняным обрывом речки — плавал орёл. В лощине, у солончакового озерца, кричали чибисы — жалобно, пустынно. «Скачи, скачи, скачи! — думал Никита. Сердце его радостно, сильно билось. — Свисти, свисти, ветер!.. Лети, лети, птица орёл!.. Кричи, кричи, чибис, — я счастливее тебя. Ветер да я, ветер да я...»

## ЯРМАРКА В ПЕСТРАВКЕ

Третий день Василий Никитьевич и матушка ссорились: отцу очнь хотелось поехать на ярмарку в Пестравку, матушка же была решительно против этой поездки:

— В Пестравке прекрасно, мой друг, и без тебя обойдутся.

— Странно, — отвечал отец, захватывая всю горсть бо-  
роду, кусая её и пожимая плечом, — это очень странно!

— Ну пусть, мой друг, тебе странно.

— Нет, это в высшей степени странно!

— А я ещё раз повторяю, — говорила матушка, — что нам новые лошади не нужны: слава богу, выездных — полна конюшня.

— Пойми наконец, что я еду, чтобы продать эту проклятую кобылу Заремку.

— Напрасно, Заремка — прекрасная кобыла.

— Что ты мне говоришь! — отец расставлял ноги и выпучивал глаза, — Заремка кусается и бьёт задом.

— Нет, — твердо отвечала матушка, — Заремка не кусается и не бьёт задом.

— В таком случае, — отец даже расшаркивался, — я прямо заявляю: или эта проклятая кобыла в хозяйстве или я!

В конце концов матушка, как и догадывался Никита, предпочла отца. Спор кончился примирением и уступками: кобылу решено было продать, отец же дал честное слово «не тратить сумасшедших денег на ярмарке».



Чтобы не тратить денег, Василий Никитьевич придумал послать в Пестравку два воза яблок — падалицы — и продать их в развес.

Никита отпросился ехать на возах вместе с Мишкой Коряшонком.

С утра начались препятствия. Оказалось, что лошади не были приготовлены, и Мишка Коряшонок залился на пристяжной в табун, который едва виднелся на дымящейся утренним паром низине за прудами. Затем, когда из конюшни вывели рыжую в чулках Заремку и начали чистить ее скребницей, кобылахватила зубами Сергея Ивановича, — едва не заела. Отец увидел это из окна и в ночном белье побежал в конюшню:

— Ага, кусается!.. Что, говорил я вам, черти окаянные!..

Заремка начала пятиться, садиться, тащила Сергея Ивановича за недоузок, завизжала, вырвалась и, опустив морду и брыкаясь так, что копыта с копыт ее полетели выше каретника, поскакала к табуну. Затем пропал Артем, который должен был ехать с возами. Кинулись искать — оказалось, что он еще со вчерашнего вечера сидит при волостной избе, в клоповке: подошло время платить недоимки, а их у Артема набралось лет за пять неплаченных, поэтому, — где бы он ни находился, — начальство брало его и сажало в клоповку, пока его кто-нибудь не выкупит.

Василий Никитьевич послал к старосте верхового. Артема выпустили на поруки, и он явился запрягать воза, очень веселый. Воза запрягли, к задней телеге в распрялах привязали Заремку. Никита и Мишка Коряшонки сели на переднюю телегу. Артем замахал концами вожжей, воза тронулись... «Чокушка, чокушка», — нарочно, для смеху, закричал Сергей Иванович, указывая на колесо. Артем слез, осмотрел, — чокушки были в порядке. Почесался, покачал головой... Наконец вышли.

Ехать было очень славно. Подувал ветерок, пахнувший пылью и пшеничной соломой, раскачивал на меже высокие репейники. Со скирдов, стоявших, куда хватал глаз, на ровной степи, поднимался ястреб и медленно уходил в небо. Вдали синел дымок — это у плугарской будки варили кашу.

Доехав до стана — домика на колесах, Артем остановил лошадей, и он и мальчики пошли к бочке пить прудовую, пахнущую бочкой, полную инфузорий воду. Древний старик, варивший плугарям кашу, подошел к возам, положил руку на нахлестку телеги и сказал, тряся непокрытой головой:

— Яблочки продавать везете? — Никита подал ему яблоко. — Нет, юнкер, мне жевать нечем.

Отъехав от стана, встретили четыре цабана; за быками, покачивающимися в ярмах, тащились перевернутые вверх лемехами плуги, шли лохматые, в заскорузлых рубахах плугаря — есть кашу. Артем опять остановился и долго расспрашивал — какой будет поворот на Пестравку.

К полдню ветер затих, и вдали по краю степи заходили волны жара. Вглядываясь, Никита различал в этой волнующей синеве то плывущий дом, то дерево, висевшее над землей, то

корабль без мачт. Воза шли. Трещали кузнечики. И вот по степи послышался ровный заливной звон. Заремка заплакала бочком в коновязи, заржала звонко. Артем обернулся и сказал, подмигнув:

— Наш пылит!

Скоро мимо возов пролетела тройка с увалистой рысью Лорда Байрона, задиравшего морду, с вислосадыми пристяжными, грызущими землю от злости. В коляске сидел отец в чесучевой поддевке, подбоченясь; борода его летела на две стороны по ветру; поведя веселыми глазами, он крикнул Никите:

— Хочешь кс мне? — И тройка умчалась.

Наконец из-за края степи начали подниматься два купола белой церкви, журавли колодцев, верхушки редких ветел, дымки, крыши, и за степной, глинисто-желтоватой, сверкающей на солнце рекой открылось все село Пестравка, а за ним на выгоне — парусиновые балаганы и темные пятна табунов.

Воза рысью проехали по зыбкому, над самой водою, мосту, миновали церковную площадь, где в розовом доме, в крайнем окошке, играл толстый поп на скрипке, завернули по выгону к балаганам и стали близ горшечного ряда.

Никита стоял на телеге и видел: вот заросший от самых глаз черной бородою цыган, в раскрытом на голой груди синем кафтане с серебряными пуговицами, глядит в зубы больной лошаденке, а хилый мужичок, ее хозяин, с удивлением глядит на цыгана. Вот хитрый старичок уговаривает испуганную бабу купить горшок, расписанный травками, — стучит по нему ногтем. «Да мне, батюшка, горшок не такой нужен», — говорит баба. «Ты, красотка, такого горшка — обыщи весь свет — не найдешь». Вот пьяный мужик сердится около лукошка с яйцами и кричит: «Какое это яйцо? Разве это яйцо, — это яйцо шуплое. Вот у нас в Колдыбани — яйцо, у нас в Колдыбани куры по шею в зерне ходят». Вот идут девки в розовых, в желтых кофтах, в пестрых полушалках и сворачивают к парусиновым балаганам, где, перегибаясь через прилавки, кричат продавцы, хватают проходящих: «К нам, к нам, у нас покупали...» Пыль, крик, лошадиное ржанье над ярмаркой. Свистят глиняные свистульки. Повсюду торчат поднятые оглобли возов. Вот, колеся ногами, толкаясь, идет парень в разодранной на плече голубой рубаше и растягивает со всей силой гармони: «Эх, Дуня, Дуня, Дуня!..»

Артем отпряг лошадей и начал расшпильвать воза. В это время к нему подошел человек в военном сюртуке, с шашкой на ременной портупее, поглядел на Артема и покачал головой. Артем тоже на него поглядел и снял шапку.

— Вот ты мне когда попался, бродяга, — сказал усатый человек, — безусловно, я тебя сгною теперь.

— Воля ваша, — ответил Артем.

Усатый человек взял его под локоть и потащил. Вслед им засмеялся хитрый старичок, продававший горшки. Мишка Коряшонок озабоченно зашептал Никите:

— Сбегай, найди отца, скажи — Артема урядник в клоповку взял, а я воза посторожу.

Никита выбрался из толчи и побежал по утопанному ковыльному полю к конским загонам, где он еще издали увидел отцовскую коляску. Отец, очень веселый, стоял у одного из загонів, заложив руки в карманы поддевки. Никита начал было рассказывать о происшествии с Артемом, но Василий Никитьевич сейчас же перебил:

— Видишь гнедого жеребчика... Ах, жеребчик, ах, шельма!..

По загону между лошадей ходили три башкира в вылинявших стеганых халатах и ушастых шапках и старались арканом поймать рыжего шустрого жеребчика. Но он, прикладывая уши, показывая зубы, шараялся, увертывался от аркана и то кидался в гущу табуна, то выбегал на просторное место. Вдруг он опустился на колени, пролез под жердь загороди, приподнял ее, вскочил уже по той стороне и веселым галопом помчался в ковыльную степь, отдувая гриву и хвост по ветру. Отец даже затопал ногами от удовольствия.

Башкиры, переваливаясь косолапо, побежали к верховым лошадям, косматым и низкорослым, легко ввалились в высокие седла и поскакали — двое в угон за караковым жеребчиком, третий — с арканом — наперерез ему. Жеребчик начал вертеться по полю, и каждый раз наперерез ему выскакивал башкир, визжа по-звериному. Жеребчик заматался, и тут-то ему накинута аркан на шею. Он взвился, но его с боков стали хлестать плетями, душить арканом. Жеребчик зашатался и упал. Его привели к загону, дрожащего, в мыле. Сморщенный старый башкир мешком скатился с седла и подошел к Василию Никитьевичу:

— Купи жеребца, бачка.

Отец засмеялся и пошел к другому загону. Никита опять начал рассказывать про Артема.

— Ах, досада, — воскликнул отец, — в самом деле, что мне с этим болваном делать? Вот что, — возьми двугривенный, купи колач, рыбы какой-нибудь и дожидайся меня на возах... А Заремку я, знаешь, продал Медведеву, — недорого, зато без хлопот. Ступай, я сейчас приду.

Но «сейчас» оказалось очень долгим временем. Большое бледно-оранжевое солнце позисло над краем степи, золотистая пыль встала над ярмаркой. Зазвонили к вечерне. И только тогда появился отец. Лицо у него было смущенное.

— Совершенно случайно купил партию верблюдов, — сказал он, не глядя Никите в глаза, — страшно недорого... А что, за кобылой еще не прислали? Странно. Ну, а яблок вы много продали? На шестьдесят пять копеек? Странно. Так вот что: чорт с ними, с этими яблоками, — я Медведеву сказал, что продаю их ему в придачу к кобыле... Пойдем выручать Артема...

Василий Никитьевич обнял Никиту за плечи и повел его по затихшей ярмарке, между возов, от которых в сумерки пахло сеном, легтем и хлебом. Кое-где слышалась песня с высоким тающим в степи подголоском. Ржала лошадь.

— А знаешь, — отец остановился, глаза его лукаво блесну-

ли, — достанется мне дома на орехи... Ну, да ничего. Завтра пойдем тройку одну смотреть -- сырые, в яблоках... Все равно — один ответ.

## НА ВОЗУ

Вечером, на возу свежей пшеничной соломы, Никита возвращался с молотбы. Узкая полоса заката, тусклого и по-осеннему багрового, догорала над степью, над древними курганами — следами прошедших здесь в незапамятные времена кочевников.

В сумерках на пустынных сжатых полях виднелись борозды пашни. Кое-где у самой земли краснел огонек костра плугарского стана, и тянуло горьковатым дымком. Поскрипывала, покачивалась телега. Никита лежал на спине, закрыв глаза. Усталость сладко гудела во всем теле. Он полусонно вспоминал этот день...

...Четыре пары сильных кобыл ходят в круге молотильного привода. Посредине, на шкворне, на сиденьице медленно крутится Мишка Коряшенок, покрикивает, пощелкивает кнутом.

С деревянного маховика, хлопая, убегает бесконечный ремень к красной, большой, как дом, молотилке, бешено трясущейся соломотрясами и решетами. Воеет, западая, ухает, свирепо ревет барабан, далеко слышный в степи, — жрет раскинутые снопы, гонит в пыльные недра молотилки солому и зерно. Задает сам Василий Никитыч, в глухих очках, в голцах по локоть, в прилипшей к мокрой спине рубашке, — весь пыльный, с мякиной бородой, с черным ртом. Подъезжают скрипучие воза со снопами. Раздвигая ноги, бежит за возилом парень, захватив огромный ворох соломы, становится на доску и рысью волочит солому к ометам. Старые мужики мечут ометы длинными деревянными вилами. Кончатся заботы, труды и тревоги целого года. Весь день раздаются песни, шутятся шутки. Артема, кидавшего с воев снопы на полати молотилки, девки поймали между телег, защекотали, — он боялся щекотки, — повалив, набили его под одеждой мякиной. Вот было смеху!..

...Никита открыл глаза. Покачивался, поскрипывал воз. В степи было теперь совсем темно. Все небо усыпано августовскими созвездиями. Бездонное небо переливалось, словно по звездной пыли шел ветерок. Разостлался светящимся туманом Млечный путь. На возу, как в колыбели, Никита плыл под звездами, покойно глядел на далекие миры.

«Все это — мое, — думал он, — когда-нибудь сяду на воздушный корабль и улечу...» И он стал представлять летучий корабль с крыльями, как у мыши, черную пустыню неба и приближающийся лазурный берег неведомой планеты, — серебристые горы, чудесные озера, очертания замков и летящие над водой фигуры и облака, какие бывают в закате.

Воз стал спускаться под горку. Забрехали вдалеке собаки. Потянуло сыростью с прудов. Въехали во двор. Теплый уютный свет лился из окон дома, из столовой.

## ОТЪЕЗД

Пришла осень, земля клонилась на покой. Позднее солнце вставало, не греющее, старое, — ему уже дела не было до земли. Улетели птицы. Опустел сад, осыпались листья. Из пруда вытащили лодку, — положили в сарай кверху днищем.

По утрам теперь, в местах, где падали тени от крыш, трава была седая, тронутая инеем. По инею, по осенне-зеленой траве хаживали гуси на пруд, — гуси разжирили, переваливались, как комья снега. Двенадцать девок из деревни рубили капусту в большой колоде около людской, — пели песни, стучали тылками на весь двор. С погребицы, где пахтали масло, прибегала Дуняша, грызла кочерыжки, — еще больше расхорошлась за осень, так и заливалась румянцем, и все знали, что бегают она к людской не за тем, чтобы грызть кочерыжки и смеяться с девками, а за тем, чтобы видеть ее из окошка молодой рабочий Василий, то же самое — кровь с молоком. Артем совсем нос повесил — чинил в людской хомуты.

Матушка перебралась на зимнюю половину. В доме затопили печи. Еж Ахилка натаскал тряпок и бумажек под буфет и норовил завалиться спать на всю зиму. Аркадий Иванович посвистывал у себя в комнате. Никита видел в дверную щелку, — Аркадий Иванович стоит перед зеркалом и, держа себя за кончик бородки, задумчиво посвистывает: ясно — человек задумал жениться.

Василий Никитевич послал обоз с пшеницей в Самару и сам выехал на следующий день. Перед отъездом у него были большие разговоры с матушкой. Она ждала от него письма.

Через неделю Василий Никитевич писал:

«Хлеб я продал, представь — удачно, дороже, чем Медведев. Дело с наследством, как и надо было ожидать, не подвинулось ни на шаг. Поэтому, само собою, напрашивается второе решение, которому ты так противилась, милая Саша. Не жить же нам врозь еще и эту зиму. Я советую торопиться с отъездом, так как занятия в гимназии уже начались. Только в виде отдельного исключения Никите будет разрешено держать вступительный экзамен во второй класс. Между прочим, мне предлагают две изумительные китайские вазы — это для нашей городской квартиры; только страх, что ты рассердишься, удержишь пока меня от покупки».

Матушка колебалась недолго. Тревога за нахождение в руках Василия Никитевича больших денег и, в особенности, опасность покупки им никому на свете не нужных китайских ваз заставили Александру Леонтьевну собраться в три дня. Нужная для города мебель, большие сундуки, боченки с засолом и живность матушка отправляла с обозом. Сама же налегке, на двух тройках, с Никитой, Аркадием Ивановичем и Василисой-кухаркой, выехала вперед. День был серый и ветреный. Кругом пустынные жнивья и пашни. Матушка жалела лошадей, ехала трусцой. В Колдыбани заночевали на постоялом дворе. На другой день, к обеду, из-за плоского края степи, из серой мглы поднялись купола церквей, трубы паровых мельниц. Матушка молчала: не любила города, городской жизни. Аркадий Иванович от нетерпения покусывал бородку.

Долго ехали мимо салотопенных вонючих заводов, мимо складов леса, миновали грязную слободу с кабаками и бакалейными лавками, переехали широкий мост, где по ночам шалили слободские ребята, горчичники; вот мрачные бревенчатые амбары на крутом берегу реки Самарки, — усталые лошади поднялись в гору, и колеса загремели по мостовой. Чисто одетые прохожие с удивлением оглядывались на залепленные грязью экипажи. Никите стало казаться, что обе коляски неуклюжи и смешны, что лошади — разномастные, деревенские, — хоть бы своротить с главной улицы! Вот мимо, сильно цокая подковами, пролетел вороной рысак, запряженный в лакированный шарабан.

— Сергей Иванович, что вы так едете, поскорее, — сказал Никита...

— И так доедем.

Сергей Иванович сидел степенно и строго на козлах, придерживая тройку рысцей. Наконец свернули в боковую улицу, проехали мимо пожарной каланчи, где у калитки стоял мордастый парень в греческом шлеме, и остановились у белого одноэтажного дома с чугунным через весь тротуар крыльцом. В окошке появилось радостное лицо Василия Никитичевича. Он замахал руками, исчез и через минуту сам открыл парадное.

Никита вбежал в дом первым. В небольшом, оклеенном белым, совершенно пустом зале было светло, пахло масляной краской, на блестящем крашеном полу у стены стояли две китайские вазы, похожие на умывальные кувшины. В конце зала, в арке с белыми колонками, отражавшимися в полу, появилась девочка в коричневом платье. Руки ее были заложены под белый фартучек, желтые башмачки тоже отражались в полу. Волосы были зачесаны в косу, за ушами на затылке черненький бант. Синие глаза глядели строго, даже немножко прищурившись. Это была Лиля. Никита стоял посреди зала, прилип к полу. Должно быть, Лиля глядела на него точно так же, как на главной улице прохожие глядели на сосновские тарантасы.

— Письмо мое получили? — спросила она. Никита кивнул ей. — Где оно? Отдайте сию минуту.

Хотя письма при себе не было, Никита все же пошарил в кармане. Лиля внимательно и сердито глядела ему в глаза...

— Я хотел ответить, но... — пробормотал Никита.

— Где оно?

— В чемодане.

□

— Если вы его сегодня же не отдадите, — между нами все кончено... Я очень раскаиваюсь, что написала вам... Теперь я поступила в первый класс гимназии.

Она поджала губы и стала на цыпочки. Только сейчас Никита догадался: на лиловенькое письмо он ведь не ответил... Он проглотил слюни, отлепил ноги от зеркального пола... Лиля сейчас же опять спрятала руки под фартучек — носик у нее поднялся. От презрения длинные ресницы совсем закрылись.

— Простите меня, — проговорил Никита, — я ужасно, ужасно... Это все лошади, жнитво, молотья, Мишка Коряшонок...

Он побагровел и опустил голову. Лиля молчала. Он почувствовал к себе отвращение вроде как к коровьей лепешке. Но в это время в прихожей загудел голос Анны Аполлосовны,

раздались приветствия, поцелуи, застучали тяжелые шаги кучеров, вносивших чемоданы... Лиля сердито, быстро прошпала:

— Нас видят... Вы невозможны... Примите веселый вид... может быть, я вас прощу на этот раз...

И она побежала в прихожую. Оттуда по пустым гулким комнатам зазвонел ее тоненький голос:

— Здравствуйте, тетя Саша, с приездом!

Так начался первый день новой жизни. Вместо спокойного, радостного деревенского раздолья — семь тесноватых, необжитых комнат, за окнами — громыхающие по булыжнику ломовики и спешащие, одетые все, как земский врач из Пестравки, Вериносов, озабоченные люди бегут, прикрывая рот воротниками от ветра, несущего бумажки и пыль. Суэта, шум, взволнованные разговоры. Даже часы шли здесь иначе, — летели. Никита и Аркадий Иванович устраивали Никитину комнату, — расставляли мебель и книги, вешали занавески. В сумерки пришел Виктор, прямо из гимназии, рассказал, что пятиклассники курят в уборной и что учитель арифметики у них в классе приклеивался к стулу, вымазанному гуммиарабиком. Виктор был независимый и рассеянный. Выпросил у Никиты перочинный нож с двенадцатью лезвиями и ушел «к одному товарищу, — ты его не знаешь», — играть в перышки.

В сумерки Никита сидел у окна. Закат за городом был все тот же — деревенский. Но Никита, как Желтухин за марлей, чувствовал себя пойманным пленником, чужим — точь в точь Желтухин. В комнату вошел Аркадий Иванович, в пальто и в шапке, в руке он держал чистый носовой платок, распространяющий запах одеколона.

— Я ухожу, вернусь часам к девяти.

— Вы куда уходите?

— Туда, где меня еще нет. — Он хохотнул. — Что, брат, как тебя Аиля-то приняла, — прямо в вилы... Ничего, обтешешься. И даже это отчасти хорошо — деревенского жирку спустить... — Он повернулся на каблуке и вышел. За один день сделался совсем другим человеком.

Этой ночью Никита видел во сне, будто он в синем мундире с серебряными пуговицами стоит перед Лилей и говорит сурово:

— Вот ваше письмо, возьмите.

Но на этих словах он просыпался и снова видел, как идет по отвечающему полу и говорит Лиле:

— Возьмите ваше письмо.

У Лили длинные ресницы поднимались и опускались, независимый носик был гордый и чужой, но вот-вот и носик и все лицо перестанут быть чужими и рассмеются...

Он просыпался, оглядывался, — странный свет уличного фонаря лежал на стене... И снова Никите снилось то же самое. Никогда наяву он так не любил эту непонятную девочку...

Наутро матушка, Аркадий Иванович и Никита пошли в гимназию и говорили с директором, худым, седым, строгим человеком, от которого пахло медью. Через неделю Никита выдержал вступительный экзамен и поступил во второй класс...

## ЧЕЛОВЕК В ПЕНСНЕ

**Р**анней весной на дачном поселке, разбросанном по морскому берегу, две дачи были заняты приезжими почти одновременно. К деревянному с башенкой дому, который звался в поселке «замком», подъехала нагруженная корзинами линейка. Приезжий, худой и невеселый господин, с русой бородкой, в плаще и надвинутой низко широкополой шляпе, взошел на крыльцо и ждал, покуда отзорят дверь. Оглядываясь на холодное море, на низкие облака, летящие растерзанными клочьями над серой водой, он поморщился и поправил пенсне. Плащ его надувало ветром, и голые ветви тополя свистели жалобно, как розги.

Затем он вошел в сырую и нетопленную дачу, взглянул на несколько пейзажиков с камнями и лодками, на прошлогодний календарь, пожелтевший на двадцать третьем августа, и, не снимая шляпы, сел на оттоманку, с нее сейчас же поднялась пыль. Немного погодя он сказал:

— Затопите печи!

Дворник-татарин, бухнувший в столовой на пол последнюю корзинку с книгами, ответил: «Хорошо» — и ушел. Приезжий остался один. Подвернув под себя ногу, закурил и принялся глядеть в пыльное окно, за которым качалось голое дерево. Моря не было видно, но глухой шум его наполнял весь дом. Наступали сумерки. Папироска между пальцами, лежащими на колене, погасла. Приезжий зевнул холодным, сдержанным зевком так, что чуть-чуть стукнули зубы.

Часами тремя раньше в соседнюю одноэтажную дачку въехала молодая женщина с няней и двумя девочками, одетыми в синие полущубки. Часа три продолжалась суeta и беготня на даче. Сейчас там был уже зажжен свет, постланы детские постели, в столовой кипело молоко; к девочкам в натопленную детскую явилась старая рыжая собака. Она подавала лапу и криво улыбалась, доказывая новоприезжим бескорыстие и преданность.

Дама, закутав голову и плечи в оренбургский платок, сидела на подветренном балконе. Перед ней за двумя столбиками, глубоко внизу, лежало море, оно было точно в театре, — такое новое, незнакомое, выразительное; дама была уверена, что и завтра, и еще много, много дней будет видеть это море,



и в ненастье, и в теплые дни, когда все вокруг зацветет и волны из свинцово-синих станут лазурными.

Приезжего звали Николай Иванович Стабесов; он был москвич, холостяк, с некоторыми средствами. Читал в университете необязательный курс. Девятьсот пятый год, недолгая ссылка, затем тревожное, бесстыдное, оголтелое десятилетие, когда, в дурмане роскоши и греха, готовился взрыв мировой ненависти, и, наконец, война — совсем расшатала здоровье Николая Ивановича; он вдруг почувствовал, что бесконечно одинок, затерян, не нужен, и точно крепкий, пахнувший ворванью солдатский сапог уже занесен над его теменем. Николай Иванович перестал спать, работать, видаться с друзьями. Доктора послали его в Крым.

Соседка по даче, Екатерина Васильевна Болотова, приехала в Крым из-за младшей девочки, у которой доктора нашли рахит. Госпожа Болотова докторов не любила и боялась, но детей в Крым все-таки повезла и всю дорогу мечтательно радовалась новой перемене жизни. Муж ее умер несколько лет назад. От этой потери осталась большая грусть, но жизнь все-таки не казалась ни безнадежной, ни одинокой; муж не взволновал ее любви, и она оторвалась от него без ущерба. К тому же была молодость, дети, немного денег, немного свободы и радостная способность мечтать о неопределенном и прекрасном, о море, о зеленых полях, о летней жаре, когда гудят пчелы и вся земля в избытке.

Вот этим двум людям, поселившимся вблизи друг друга почти на пустом побережье, и надлежало встретиться. И здесь, в уединении, они, вероятно, не смогут разминуться так равнодушно, как двое прохожих на улице большого города, где Стабесов и Екатерина Васильевна были, кажется, знакомы и даже разговаривали, но когда и о чем, конечно, никто из них не помнил.

Посыпанная серым гравием дорожка прямо от балкона спускалась к морю. Ниже шли ступени с перилами. Здесь, лицом к морю, надвинув шляпу и пенсне, сидел Николай Иванович с книгой, а когда «моряк» крепчал и пена, разбиваясь о подводные камни, взлетала пенными хлопьями на пригорок, — пересаживался повыше.

И чем сильнее дул ветер, чем глуше и тревожнее гудели внизу камения и выше взлетала пена, тем определеннее было чувство у Николая Ивановича, которое он и выражал довольно неясными словами, сказанными сквозь зубы: «Дуй, дуй, голубчик, оба мы «явление природы».

Затем, померзнув, Николай Иванович шел на дачу, ложился на диван, курил, брал в руки книгу, разглядывал корешок, прочитывал последние строки заключительной страницы и, пробормотав что-нибудь вроде: «Ага, вы в этом уверены, завидую, завидую вам», — бросал томик на окно. К книжкам было чистое отвращение, точно на голодный желудок жевать вату. «Да, пора, пора приступать к изданию своей книжицы», — говорил он, подойдя к окну и барабанив в стекла. И эта «собствен-

ная книжища» и поза у окна были омерзительны. «Экая пошлятина», — думал Николай Иванович.

И только по ночам, лежа в сыроватой постели, подогнув худые ноги (он чувствовал — худые, нужные только мне, мне и никому больше), Стабесов испытывал, пожалуй, единственное честное чувство: жалость к себе. Это была горькая, бесплодная, упоительная жалость в пустой даче, под враждебный шум моря, плывущего пеной до самого балкона. Плевание, равнодушие и утомительный шум, шум, шум — казались основой всего, законом мира.

Однажды ночью, надумавшись и нажалевшись, Николай Иванович захотел есть. Татарин с татаркой спали далеко. Стабесов, со свечой, в кальсонах, наступая на завязки, пошел к буфету, где оказались хлеб, крутые яйца и соль в бумажке. Он вернулся на постель и, сидя, уставясь на огонь свечи, принялся лупить яйцо, держа его в горстке, обмакнул в соль и медленно съел. И вдруг навернулись слезы. Николай Иванович быстро задул свечу, завернулся с головой и, кусая губы, повторял:

— Ах, чорт, ах, чорт, возьми!

У Екатерины Васильевны всегда была слабость: гуляя, она любила заглядывать в освещенные окна. Между нею, стоящей на снежном тротуаре, и «теми» людьми была лишь тонкая пелена стекла, заглушавшая звуки, и все же «та» жизнь казалась чем-то неуловимо преображенной. Вот женщина облокотилась о кресло, подперев щеку, и даже не задумалась, а затихла, ее муж, в очках и без воротничка, помуслил палец, чтобы перевернуть страницу, и надолго устоялся на зеленым абажур лампы. Вот в полуподвале чистая комната с паркетным полом, и трое мужчин, один — у рояля, другой, зажав между колен виолончель, водит смычком, третий сидит на диванчике, и у него, у третьего, серьезное, почти вдохновленное лицо. Звуков не слышно, движения медленны, неловки, будто люди, сами того не сознавая, застывая на мгновение, прислушиваются к полету времени, уносящему минуты. Печален вид человека, когда он остается самим собой.

Екатерину Васильевну очень тянуло заглянуть в освещенное окно Стабесова, но было неловко. От татарина она узнала подробности жизни Николая Ивановича и думала, что он «страшно гордый».

Однажды после сумерек, возвращаясь с моря, она все-таки решилась, перебежала дорожку и, поднявшись на цыпочки, заглянула. Стабесов, стоя у стола в одном жилете, пришивал перед свечой пуговицу на пиджаке.

«Господи, вот несчастный!» — подумала Екатерина Васильевна. Гравий под ногами ее захрустел. Стабесов поднял голову и долго еще вглядывался сквозь стекла, покада Екатерина Васильевна спешила к себе. Вернувшись, она сказала няньке:

— Вот, Марья Капитоновна, ужасно, когда мужчина беспризорный, ничего нет грустнее на свете.

На это почтенная Марья Капитоновна, знавшая, как сама уверяла, мужчин «вдоль и поперек», ответила с неодобрением:

— Чего их жалеть, — жалости нехватит.

В этот вечер Екатерина Васильевна с особенной благодарностью чувствовала, что у нее есть дом, девочки и Марья Капитоновна, «преданная детям, как пес». И несколько раз невольно вздохнула, вспоминая, как Стабесов протыкал иголку вместо наперстка крышкой от чернильницы.

На склоне, между корявыми сосенками, зацвел куст рододендрона. Он покрылся за одну ночь, точно весь запыла, жесткими ненастоящими цветами. Стабесов увидал его из окна и вышел в садик. Около, на скамейке, сидела Екатерина Васильевна. Он поклонился, она подала руку и сказала, что они были знакомы; его удивил взгляд ее длинных карих глаз, — внимательный и ласковый, точно она что-то уже знала про него.

Николай Иванович понюхал куст, цветы были без запаха. Екатерина Васильевна заговорила о дурной весне и о море, нашла его прекрасным даже в пасмурную погоду. Стабесов подумал и согласился, и, обернувшись, оба некоторое время смотрели на взлохмаченную массу воды, ходившую на горизонте огромными волнами.

Встреча, как встреча. Екатерину Васильевну она немного разочаровала, главное — тон Стабесова: независимый, слишком самостоятельный (а пуговицы? — подумала она). Николай же Иванович внезапно почувствовал некоторую теплоту, и наклон мыслей в этот вечер был не так безнадежен. На следующий день ему спешно понадобилась почтовая бумага, и он пошел на дачу госпожи Болотовой и, конечно, был оставлен пить чай.

Екатерина Васильевна рассказывала ему о детях, как им здесь вольно и здорово: за неделю девочки прибавились в весе каждая на полфунта, и щеки у них теперь как персики (з ее рассказах дети казались вкусными, как персики); плоховато насчет провизии, но она думает купить козу. Похвалилась также Марьей Капитоновной, которая в это время пришла за кипятком и, цедя его из самовара в эмалированную кастрюлю, покосилась на барина и достойно поджала морщинистые губы. «Злая баба», — подумал Стабесов. В низкой штукатуренной комнате было тепло. На потолке дрожала тень от самоварного пара и бегала больнобогая мушоловка. В детской какие-то совершенные пустяки рассказывали друг другу девочки; Марья Капитоновна, вернувшись в детскую и поваживая, укладывала их спать. Стабесов звенел ложечкой, кивал, одобрил покупку козы, несколько раз пытался положить ногу на ногу, но мешала доска стола, и думал, что все это очень мило. Екатерина Васильевна проводила его до рододендрона, где была граница их дач; здесь некоторое время постояли, в молчании глядя в темноту земли, выразили предположение, что завтра будет хорошая погода, и разошлись. Остаток вечера и ночь (наполовину бессонная) были проведены Стабесовым недурно — немного томно, немного скучно.

Через день Екатерина Васильевна пришла к Стабесову за «какой-нибудь книжицей почитать». Стабесов пришел в от-

чаяние, роясь в специальных сочинениях, оттисках, журналах.

— Вот, пожалуй, это еще так-сяк, довольно популярно, — сказал он, подавая ей серенькую брошюрку. Екатерина Васильевна свернула книжечку трубкой (видно, что мало читает книг), села на подоконник и, постукивая туфелькой о стену, принялась болтать.

На ней было синее мягкое платье. Кисти рук и шея казались удивительно нежными. В этот день солнце то закрывалось плотными облаками, то, выглянув, спешило гнать и без того улепетывающие тени, бросаясь всем своим жаром на мокрую землю, на море, застигнутое врасплох. И каждый раз, когда свет появлялся сбоку окна, волосы Екатерины Васильевны тсчно наливались старым золотом и тонкая раковина уха просвечивала.

Вспоминая нашумевшую в Москве пьесу (госпожа Болотова очень любила театр), она подняла руки и долго поправляла на затылке узел волос; рукава, натянувшись, обрисовали локти. И Николай Иванович, плохо понимавший смысл слов, начал чувствовать, как мягкой ткани платья касаются изнутри то плечо, то грудь, то колено.

С каждым мгновением Екатерина Васильевна превращалась во что-то все менее понятное, вернее — она переходила в иное состояние, которое можно усвоить чем-то необычным, непостижимым. Ее улыбки, движения губ, волночки лукавства, прсбегающие от углов рта на щеки, движения, голос становились (он вдруг это остро почувствовал) неповторяемыми, единственными. И все эти прелести совершались с глазу-на-глаз, между ними двоими только.

Это было страшно, и веселый холодок уже наигрывал в жилах какую-то странную музыку.

Екатерина Васильевна, тоже, должно быть, чувствуя, неспеседневность, раскраснелась и словно давала понять Николаю Ивановичу — вот это движение, эта улыбка, эта складочка, усмешка — только ваши, и не были ничьи, и никому больше не подарятся.

Николай Иванович тряхнул головой и, усмехнувшись, сказал:

— Я бы мог вам рассказать довольно банальную историю... Не знаю, быть может, вам скучно меня слушать.

Он устроил пренеприятную гримасу, но все же затаил дыхание. Екатерина Васильевна проговорила вдруг очень серьезно:

— Я слушаю вас.

— Все сплошной обман, Екатерина Васильевна, — воскликнул он и засунул пальцы в жилетные карманы, — вы поймите, как мерзко; даже самая прекрасная минута радости мгновенно стравлена: на кой мне чорт эта минута, когда я все равно уму. Мне тридцать два года, значит — осталось всего еще лет двадцать, — то есть двадцать минут! Разве так жить можно? Я слышу — время летит, как ветер над крышей. Мне хочется — сесть в кресло, стиснуть зубы и ждать — когда конец. Мне больно от моря, от яркого неба, от цветов, от всего,

что хочет притянуть меня к земле. Все это обман, я на эти крючки не клюю. Я смотрю на свою руку, год тому назад она не была такой сморщенной. Вот это настоящая правда. А все остальное — книги, философия, искусство, гуманизм, чорт его возьми, все — обман. На мне лежит целая пирамида этого мусора. Я самое несчастное, самое низкое, что есть на земле. Потому что я — понял. И я все еще лозу из-под этой кучи, как дождевой червяк.

Стабесов приостановился и поглядел в немигающие глаза Екатерины Васильевны. Она даже побледнела от внимания. Вся жалость к этому заброшенному человеку словно напिता-лась его словами. Не сомневаясь, что он так именно чувствует, но ни минуты не веря в безвыходность его отчаяния, едва сдерживая слезы, она схватила Николая Ивановича за руку: его пальцы были совсем холодными; торопливо, почти шопотом она проговорила:

— Вы знаете — все это неправда. Зачем вы так говорите? Вспомните, у меня есть дети, не могу же я на них смотреть, как на мертвых...

Он нагнулся к ее руке и поцеловал несколько раз. От прикосновения губы его становились все теплее. Последним поцелуем он прильнул к ее руке надолго.

Она видела его склоненное темя, на котором раздвоенные волосы были совсем редкими, и слишком широкий по шее воротник. «Какой же он дорогой», — подумала она и прошептала:

— Ну, вот видите.

Разумсется, этими словами она хотела сказать, что ее никакими мертвыми словами нельзя убедить, будто ее ребенок рождается для смерти и что человек, сохнувший от смертельной тоски, — прав, и что одинокий ум, не питаемый горячими волнами чувств, не станет под конец жалким и скудным.

Но ничего этого она сказать не умела и только в чудесном порыве, — сжав его руки, глядя в глаза и еще раз повторив: «Ну, вот видите», — она словно отдала Николаю Ивановичу весь свой избыток жалости и нежности.

Стабесов во всем этом разобрался только впоследствии, теперь же ему казалось — ужасная пустота наполняется живой и влажной прелестью. Он почувствовал такую слабость, что подошел к дивану и присел.

— Я ни перед кем еще в жизни так не высказывался, — сказал он, — и вот что странно, — да, да, да, очевидно — есть какая-то другая правда. А вы — чудесная умница, вы какой-то одной фразой так верно меня опровергли, как не могли сделать тысячи томов.

(Впоследствии ни он, ни она так и не могли припомнить этой странной фразы).

Николай Иванович закурил, улыбаясь; глаза его блеснули. Екатерина Васильевна, пероволнованная и смущенная, спохватилась наконец, что пора кормить детей, и ушла. Он совсем лег на диванчик и продолжал курить и улыбаться. Так началась их дружба.

Дни становились жарче и пленительнее. Зазеленели полосы виноградников на южных склонах; закурчавились клейкой зеленью изгороди; по вечерам пахло цветами и морем.

В небе поднимались из-за гор плотные груды сияющих облаков и неподвижно стояли до заката. В море отражались облака и чайки.

Стабссов и Екатерина Васильевна все время проводили вместе то на песке, где играли девочки, то поднимались в горы, разыскивая дикую спаржу. Она росла на канавах, между колючими кустами; потом, лежа на разостланном плеле, глядели с высоты на огромное пространство воды, по которой бежали синеватые дорожки от встречных течений, на плотную грудку облаков за мысом.

Казалось, там, страшно далеко, стоит жертвенник и над ним клубятся огромные дымы. Это была немного не настоящая выдумка, но они повторяли ее каждый раз, глядя на небо.

За несколько дней здоровье Николая Ивановича сильно поправилось. Он был весел, подвижен, остроумен. Рассказывая о своей скудной жизни, приводил цитаты из книг — так тесно переплелось его прошлое с книгами и образами чужих вдохновений. Теперь он говорил:

— Я был обыкновенной библиотечной крысой, «интеллектом», и до ужаса боялся свежего воздуха. Я даже не мог представить, какое наслаждение — лежать и глядеть на облака... Что-то случилось, что-то случилось...

Екатерина Васильевна, захваченная во всю силу этой близостью, похорошела и была задумчива. Лицо ее покрылось нежным загаром. Она думала о Стабсове все время, с нежностью, со страхом, с недоумением. Иногда, лежа в постели, плакала. Но объяснить, что тревожило, какие предчувствия печалили ее, — Екатерина Васильевна не могла. И чем проще, дружественнее и веселее бывал с нею Николай Иванович, тем в большем смятении оканчивался ее длинный, сияющий, полный волнующих радостей день.

В камнях появились крабы, шустрые, как пауки. Девочки, брызгая голыми ножками, бегали за ними по ленивым волнам прибой, но крабы не давали себя поймать.

Николай Иванович лежал на песке навзничь. Из-под нагнутой шляпы виднелись только кончик носа, рот, раздвинутый в улыбку, и борода. Екатерина Васильевна следила за девочками, сердце ее билось — так хороши были плеск воды, запах морского ветерка, солнце, тоненькие голоса девочек, одетых в белые платица до колен.

Краба так и не удалось поймать. Девочки кричали: «Мама, помоги!» Екатерина Васильевна сбросила туфли, полные песку, стянула чулки и, подобрав белое платье, вошла в воду. Присмеиваясь от веселого страха. Влага нежной прохладой лизнула ее ноги. Большой краб, вытаращив трагические глаза, притаился за камнем. Она живо протянула руку, он скользнул и исчез в мути донца. Разбрызгивая воду, она пошла дальше и в увлечении охотой замочила подол и рукава.

Одного краба, маленького, все-таки удалось схватить, и он топорщился, щекоча ладонь.

— Вот он, смотрите, какой страшный, — сказала она, выходя из воды.

Стабесов, приподнявшись на локте, глядел на нее пристально, как чужой. У нее упало сердце.

«Фу, как неловко, как глупо», — подумала она, поспешно опуская платье, села на песок, раскрыла зонтик и за его защитой до слез покраснела.

Девочки с крабом убегали далеко вдоль воды. Стабесов поворочался на песке и проговорил, растягивая слова:

— Я глядел на вас и думал: когда-то поэты называли женщину совершенным созданием природы. Это, конечно, банально, но доля истины есть (он так и выразился: «доля истины»). Когда женщина входит в пейзаж, то природа меняется мгновенно: для зрителя она из чисто созерцательной делается, я бы сказал, игривой, ударяет по нервам, возбуждает иные эмоции.

Он вдруг захохотал, показав в углу рта золотой зуб, и поспешно добавил:

— Я шучу, конечно, милая моя Екатерина Васильевна.

Но отвечая, Екатерина Васильевна с ужасом поспешно поджала под юбку голые ноги. Когда же Стабесов потянул зонтик, чтобы взглянуть на ее лицо, она воскликнула гневно:

— Оставьте меня! — подобрала чулки, башмаки и убегала.

В этот вечер они не виделись. На другой день Стабесов серьезно говорил с Екатериной Васильевной, объясняя вчерашнюю шутку своей косолопостью, смущением и прочее. Кончилось все, конечно, примирением, о размолвке не поминали.

Николай Иванович сидел на лестнице, там же, где месяц тому назад с таким неудовольствием морщился от ветра и соленой воды. Теперь море чуть рябило, и гребень каждой волны отливал синеватым цветом; по всему водному пространству раздробился этот блеск солнца, и казалось, в такой именно час в головокружительном восторге Икар привязал крылья, скрепленные воском, и полетел над морем к истоку жизни, к солнцу.

Сзади подошла Екатерина Васильевна и сказала:

— Смотрите, парус.

Наклонившись слегка, скользя по отблескам черным силуэтом, двигался к берегу баркас под косым татарским парусом. Николай Иванович сказал:

— Можно целыми часами сидеть, и в глаза, в уши, через все поры льется эта вечная жизнь. Я понимаю — «царствие божие на земле»: бессмертие должно осуществиться здесь на земле, — каждая минута станет вечностью в моем переживании.

Екатерина Васильевна села на ступеньку рядом и, облокотясь на колени, опустила подбородок на кулачки. За эти три дня, должно быть, после ловли крабов, у нее появилось новое выражение — строгость, точно она вся была вымыта студеной водицей. Она избегала длинных бесед с Николаем Ивановичем

или слушала его рассеянно. Он долго глядел на ее изящный профиль; несколько веснушек делали ее совсем юной.

— Как это ни смешно, а я вас побаиваюсь, — проговорил он, — если бы не было во мне этого смешного страха, я бы сказал вам одну вещь.

Тогда она сердито затрясла головой, продолжая глядеть на приближающийся парус. Николай Иванович усмехнулся:

— Это находится в связи с моим ощущением всей жизни. Все равно я должен сказать, это необыкновенно важно для меня.

Екатерина Васильевна вдруг перебила его, все еще не поворачивая головы:

— Вы эгоист, самый отчаянный, какого я только видела, — ее голос зазвенел, — даже не эгоист, а неслепый книжный человек.

Николай Иванович изумился, спросил, что это значит; не получив ответа, пожал плечами и сидел, притворяясь обиженным. — руки у него понемногу начали дрожать. Прошло несколько минут, Екатерина Васильевна сказала весело:

— Теперь я знаю, чья это лодка, — брата вашего караульщика, татарина Мамай-хана, хотя он никакой не хан, а просто рыбац. Поедем кататься.

Она быстро поднялась и сбегала вниз к морю. Николай Иванович следил за ее легкой походкой, за батистовым белым платьем, разлетающимся на ветру; она говорила с рыбаком, погом обернулась, подняла руку и помахала. Стабесов проворчал: «Скажите, пожалуйста, то эгоист, а то.. Ах ты, господи», — и пошел вниз, придерживаясь за перила.

Мамай-хан ослабилась, увидев его, положил доску с кормы на берег и помог обоим взойти на баркас.

Сначала нужно было итти на веслах. Отъехав от берега, поставили парус, лодка наклонилась, и волны, журча, забились о борт.

Мамай-хан, сдвинув на затылок барашковую шапочку, сидел у руля. Ватные, с курдюком, штаны его были закатаны на жилистых ногах до колен, через жилет — пущена медная цепочка с амулетами, изрытое оспой, дочерна загорелое лицо — равнодушно ко всем превратностям; когда ветер покрепче натянул парус и мачта закрипела, он оскалил белые зубы и цикнул в воду. Говорят, до ройны Мамай-хан возил на баркасе контрабанду из Константинополя — табак, шелк, оружие. Он был сыном этой скалистой, омываемой морем, сейчас цветущей и равнодушной к смерти земли, которая в последние дни открылась глазам Стабесова.

Николай Иванович потрогал бороду; было мимолетное чувство горечи, точно его не хотят принять в игру, обозвали эгоистом; но опять близость Екатерины Васильевны перевесила все эти сложности.

Она лежала ничком на носу лодки, скрестив ноги в белых чулках, подперев растрепавшуюся голову, мечтательно глядя на волны. На спине, около шеи, там, где кончался загар, две пуговицы платья расстегнулись. Стабесов подумал: «Какое же все-таки у меня распущенное воображение». Затем прилег



рядом и сказал: «Ну-с?» Она, конечно, не ответила. Чувство было совершенно точное: нагнуться и поцеловать ее в губы. С величайшим напряжением он стал придумывать начало хоть какого-нибудь разговора. В голове, из уха в ухо, посвистывал ветерок. Стабесов щипал бороду, опершись о локоть. Пролетела совсем низко чайка; волна, побольше других, плеснувших о борт, обдала свежей пылью. И казалось — это волна так нежно пахнет, и море, и парус, и ветер пахнут теплой гвоздикой, пропитавшей платье и волосы Екатерины Васильевны.

— Милая, милая женщина, — проговорил Стабесов неестественным голосом.

У Екатерины Васильевны вздрогнули плечи — и только.

Он взял ее руку и коснулся ее холодным носом, потянувшись поцеловать в щеку, тоже пахнувшую гвоздикой. Екатерина Васильевна высвободила руку и молча продолжала глядеть на волны. Он заметил, что ее глаза полны слез.

Николай Иванович зажег две свечи в подсвечниках на столе и другие две поставил на верху комода, чтобы было светлее и праздничнее. Опустил шторы и сам накрыл чайный столик свежей простыней, потому что скатерти не оказалось. В чемодане нашлось печенье и мармелад. Татарин принес самовар и прикрыл его заглашкой.

Окинув взглядом комнату, Николай Иванович принялся шагать, останавливаясь, чтобы закурить папиросу; он мерил худыми ногами наискось некрашенные половицы, прислушивался, усмекаясь, откидывая пальцами прядку волос, лезшую в глаза.

На нем был надет чистый воротник и черный галстук мягким бантом. Пенсне он снял совсем и положил на чернильницу. В близоруких глазах огоньки свечей расплывались желтыми пятнами, как сквозь банный туман. Все же глаза, он знал, были гораздо выразительнее без пенсне.

Давеча, на лодке, после неудачного поцелуя, Стабесов позвал Екатерину Васильевну «выпить чашку чая сегодня вечером». Она ответила коротко: «Приду». И больше ничего существенного не произошло на лодке. Сейчас было уже поздно. Екатерина Васильевна, очевидно, уложила детей и с минуты на минуту должна постучать в окно.

Цель этого приглашения была: «провести вечерок в дружеской беседе», — так формулировал Николай Иванович свое приглашение, — может быть, даже допустив мысленно небольшие какие-нибудь вольности, как развитие беседы, но и только. Всякие же «дальнейшие» мысли он сознательно обрывал, потому что «пошляком не был еще никогда» и заманивать женщин при помощи чая с мармеладом — считал гнусным.

И все же сейчас было немного противно от всех приготовлений, стыдно и за мармелад и, в особенности, за то, что снял пенсне. «Но не всегда же быть на высоте», — подумал он и вымыл руки одеколоном.

У него не было сомнения, что Екатерина Васильевна придет. Вообще Стабесов не представлял ее помимо себя; когда

думал о ней, то рядом был он сам; его воображение не удалялось вместе с нею в домик с черепичной крышей; отойдя, она словно исчезала совсем; но зато ее слова, улыбки, движения, залахи, все недосказанные прелести повторялись в памяти утомительно часто, тревожили все новой и новой остротой.

Пробило девять часов. Николай Иванович круто остановился и посмотрел в темноту смежной комнаты, где тикали часы; затем отогнул штору и выглянул в окно. Слышался мягкий шум прибоа, сильно пахло цветами и морем. На ее даче все окна были темны. «Очень странно», — пробормотал он, чувствуя, как застучало и замерло сердце, надел пенсне и вышел на волю.

Короткий закат давно отгорел, а ночь еще не вся вызвездела, не окрепла У обрыва, на лестнице, смутно белелась сидящая фигура. Николай Иванович подошел. Она быстро повернула к нему голову, точно затрепетала, или это только показалось.

— Вот вы где, — проговорил он негромко, — а я вас жду, самовар давно остыл.

Вглядываясь в его лицо, она медленно протянула руку к перилам и поднялась. Только что она горько плакала над тем, что Николай Иванович свел всю сложность и тревогу их отношений к чашке чая, и над тем, что она согласилась пойти, и пойдет, и выпьет эту горькую чашечку, и над тем еще, что сейчас сидит она у моря, темного и вечного, которое все так же будет шуметь и после ее смерти и после смерти всех людей.

Засылав шагн, она едва не сорвалась со ступеней, не убежала. Николай Иванович остановился совсем близко и что-то проговорил глуховатым, взволнованным голосом. У нее упало сердце. Она пронзительно вглядывалась в этого человека — его глаза были прикрыты пенсне, в стеклышках отсвечивали звезды... И вдруг ей показалось, что в этом году он умрет — худой, жалкий, одинокий, и то, что он заманивал ее к себе пить чай, показалось очевидной, жалобной хитростью. Настала та минута, когда строгий ангел отходит от дверей. Екатерина Васильевна ждала только хоть скупого слова л ю б в и к с е б е... Пусть только он постучится, — хоть негромко, нежно постучится, и дверь ее радостно откроется настежь.

Екатерина Васильевна думала об этом так: «Возьмет сейчас за руку, скажет: «Милая душа моя, люблю тебя», — и я отдам все, буду верной перед ним, перед собой, перед детьми...»

Она молчала, опустив голову. Ее рука, соскользнув с перил, повисла вдоль бедра. Но Николай Иванович в это время с огромным усилием складывал в уме фразы, в которых хотел выразить чистые намерения. Язык его точно прирос. Молчание было гибелью, — он это чувствовал и не мог двинуться с места, потому что не понимал, что происходит. И минута прошла бесплодной. Внезапно Екатерина Васильевна спросила дрогнувшим, почти суровым голосом:

— Николай Иванович, вы любите меня?

Он подвинулся, задышал и взял ее за кисть руки:

— Как вы можете спрашивать! Я перестал спать, я все зрел, я думаю о вас, я болен от этого чувства, сегодня я ждал вас, как сумасшедший... Почему вы так странно держитесь со мной? Я неумел, конечно, но во мне все горит! Вы мучаете меня, не хотите понять...

Она перебила:

— А меня вы любите?

Он выпустил ее руку, упавшую, как плеть, и потер лоб. Екатерина Васильевна тихонько начала смеяться. Николай Иванович пробормотал:

— Вы способны задушить всякое чувство. От вас, точно из погребца, такой холод.

Тогда она взяла его под руку и, увлекая к даче, сказала, все с тем же смехом:

— Вот видите, милый друг, трудные разговоры нужно вести всегда в темноте, когда не видно глаз и не стыдно, — тогда люди договариваются до самого главного. Я только спросила — любите ли? Совсем невинный вопрос, а вы рассердились. Мы с вами плахие любовники, а друзья будем хорошие. Теперь пойдемте к вам — пить чай.

Войдя в комнату, Екатерина Васильевна рассмеялась совсем уже громко; заметила и свечи на комодике и простыню, все мелочи. Затем села к самовару и принялась хозяйничать, называя Стабсцова «холостяк несчастный». Он сидел с застывшей кривой улыбкой и отвечал невпопад. Он был уязвлен, растерян, обижен, взволнован... Наконец он возмутился:

— Мне приходится понять, что вы считаете меня за ничтожнейшего пошляка, — сказал он, глядя с омерзением на свои худые руки, — так вами истолковано мое поведение... Это ложь и чушь. Вы сбили меня с толку. Так нельзя обращаться с... с... — он мотнул бородой и пришел в ярость, — с тем, кто вас любит. Да. Я вас люблю!

Екатерина Васильевна села к нему на диван, поджала ноги и прикрыла их юбкой.

— Вот так объяснение! Хорошо, если бы я не понимала по-русски, — ответила она и откинула голову на подушки, — давайте лучше молчать.

Стабсцов пофыркал носом, вытащил пустую коробку спичек и сейчас же швырнул ее к стенке, одернул жилет, повозился, затаил и наконец покосился на Екатерину Васильевну. Она сидела с откинутой головой, красивая и грустная. Ни малейшей усмешки не чудилось на ее нежных губах. После молчания она проговорила чуть слышно:

— Ну, вот и помирились.

Всматриваясь в ее лицо, он снова почувствовал теплый запах гвоздики. Тогда он потихоньку, несмело коснулся руки Екатерины Васильевны и спросил:

— Ну, что же?

— Как все это грустно, — прошептала она.

— Что именно?

Она не ответила... Тогда он стал думать: «Ну да, я понимаю — тебе нужен красивый зверь, чтобы схватил тебя за эти

руки, сломал, измучил... Тебе и грустно, что у меня нет воловьих мускулов...»

— Ах, как это все грустно, — с неожиданным вздохом повторила она, ее губы дрожали...

Тогда Стабесов приподнялся и неловко и больно поцеловал ее в губы. Взор ее изумленных длинных глаз стал вдруг диким.

— Слушай, слушай, — зашептал Стабесов сквозь зубы и обхватил ее за плечи...

Ее взволнованный голос смешался с его бормотаньем. Зеленый валик дивана соскользнул и покатился по полу. Екатерина Васильевна оторвала наконец от себя его руки, соскочила, подошла к столу... Ее лицо, залитое румянцем, точно мгновенно похудело. Светлые холодные глаза пристально и зло глядели на Стабесова... Такой прекрасной она еще не была никогда.

— Вы дурак, — сказала она звонким голосом. — вы омерзительны... Я вам этой обиды не прощу...

Она вдруг крепко зажмурилась, из-под ресниц выступили крупные капли слез... Она стремительно подошла к двери и обернулась, уже гневная, горящая:

— Вы запомните, что вы обидели меня?

Стабесов глухо, не слыша себя, преговорил:

— У меня смертельная тоска. Не уходите. Пожалейте меня.

Тогда она даже платье подобрала, кивнула растрепанной головой:

— Теперь я вас ненавижу. Теперь мы не увидимся больше никогда...

И ушла. Он долго слушал, как хрустит гравий. Потом он отыскал пенсне в жилетном кармане и побрел к откосу.

Созвездия пылали по всему небу студеными синими огнями. И далеко, до самого края, отражался в морской темной воде Млечный путь.

Стабесов сел на ступени и подпер подбородок... Земли, погруженной в темноту, не было видно. Он был здесь совсем один. Земля словно улетела туда, к звездам, и от земли, от жизни, на мгновение только поманившей прелестью и теплотой, отделяло его непостижимое пространство эфира.

## ПОД ВОДОЙ

### I

**М**илый друг, вы оказались правы, я — просто искатель приключений. Понял это сию минуту за письмом к вам, в кабачке, на краю стола, залитого джином. Сколько здесь надписей, вырезанных ножами, — любовные признания и клятвы на всех языках! Напротив меня сидит Тоб, первая красавица в гавани, черная и злая, как обезьяна. Тянет через соломинку ликер, то поправляет гребенки, то с яростью одергивает кофточку; платье на ней шелковое и краденое, поэтому узко. Она сказала, что если я ее брошу, — будет беда.

На рассвете я выхожу на подводной лодке, в арьергарде субмарин. Лодочку мою зовут «Кэт». Наконец-то я попадаю на дно моря. А вы странствуете по иным местам, более призрачным, и только.

Помните год назад нашу беседу в подмосковном парке? Куковала кукушка, и запах меда был повсюду — с полян, от лип и вашего платья. Вы сказали, что есть две породы людей. — как ночь и день в вечном круговороте: одни ищут покоя, другие — волнений. Как видите, — я второй породы.

За этот год я исколесил полсвета. На три месяца приземлился в этой гавани, где дерусь на кулачках из-за Тоб, вооружаю лодку, и вот в такие ветреные ночи, перед пустой бутылкой от джина, начинаю отчаянно желать приключений... Ау, Татьяна Александровна...

До рассвета еще далеко, но если погода не переменится, — нас потреплет. За окошком видна вся гавань, в лужах и дождевых пузырях. Качаются фонари. Ветром сорвало брезент с целой горы мешков. Пляшут огни на мачтах. Завывает сирена, как обманутая дева. Ветер и дождь гонят по мостовой пьяньего матроса в резиновом плаще.

Тоб говорит, что если бы умела, то написала бы вам, что я скот. Она вырывает у меня перо.

Без огней и сигналов субмарины вышли в открытое море. Ровно в половине четвертого Андрей Николаевич поднялся на мостик «Кэт»; матросы и два помощника спустились внутрь лодки.

Огромные тучи, озаренные огнями гавани и уже пропитанные бледным рассветом, грудились над портом и морем. Резкий дождь хлестал в стекла и стены кирпичных домов, по бочкам с керосином, по брезентам, покрывавшим мешки, шумел вязами сквера, барабанил по стальной обшивке лодки и лепил к спине Андрея Николаевича плащ.

Неподалеку за завесой дождя краснело окошко кабачка. Там все так же, за окном, с края стола, сидела Тоб, оперши острый подбородок о кулачки.

Андрей Николаевич усмехнулся радостно и тревожно: он снова покидал навсегда и этот берег. В жизни не было слаще чувства разлуки и свободы.

Он взглянул на часы и скомандовал полный ход. Остов «Кэт» задрожал, и она скользнула навстречу пологим волнам, покрытым бликами огня и прибрежным мусором.

Огни гавани, холодеющие в утреннем свете, остались далеко позади, погрузились в воду и скрылись. Дул резкий ветер. Наискосок, навстречу ходу, поднимались валы и обрушивались за лодкой.

Обрывки облаков проносились над пеной океана. Внезапно в разорванной длинной щели появился бугор солнца. Протянулись вверх и в стороны широкие лучи. Море стало зеленым. Заблестела сталь на мокром мостике.

Теперь вогнутая поверхность набегающей волны казалась прозрачной, как стекло. «Кэт» подлетала под ее покров и одним взмахом возносилась на бурлящий гребень, наклонялась затем и скользила вниз. Винт дрожал в воздухе, грохотала рухнувшая справа громада. Впереди, у края неба и воды, покачивались две радиотелеграфные мачты передней субмарины.

Из нутра «Кэт» появилось безусое лицо старшего помощника, Яковлева.

— Андрей Николаевич, пора, — сказал он, подняв брови, — у нас у всех голова кругом. Какой приказ?

Он вылез на мостик и закурил. Андрей Николаевич определил секстантом положение судна, расстегнул куртку и достал конверт с пятью красными печатями. На нем были обозначены долгота и широта, где вскрыть тайный приказ. Он сломал печати и, прикрыв от ветра плащом, развернул тонкий листок. В нем стояло краткое и невероятное приказание — итти... в Ганге, через Скагеррак и Зунд.

Яковлев проговорил упавшим голосом:

— Андрей Николаевич, куда же мы на рожон полезем?

— Это — не ваше и не мое дело.

Передав командование, Андрей Николаевич спустился по отвесной лесенке в узкий коридор, куда выходили каютки. С потолка матовые полушария освещали выкрашенные в белое железные стены, линии медных труб, ряды заклепок, провода, тяги и толстый половик на полу.

Теплый сладковатый воздух, насыщенный запахом бензина и масла, сильными струями проносился над головой. Шумели вентиляторы, и глухо и мерно, как пульс, работал мотор.

Конец коридора, с дверью в машинное отделение, то возно-

сился, то падал вниз. Придерживаясь за стены, Андрей Николаевич вошел в каюту с тремя, одна над другой, койками. На самой верхней спал второй помощник, Белопольский, качаясь, как в люлке. Лицо у него было восковое от плохо залеченной лихорадки. Вдоль наружной выгнутой стены журчали водяные струи. Свежий ветерок подавался снизу, отдувая уголки карты на столе, шевеля волосы спящего. Спертый воздух высасывался через решетку в сферическом потолке, залитом сильным электрическим светом. На откидном чистеньком столе стояла початая бутылка коньяку.

Андрей Николаевич, посвистывая, присел к столу и обхватил колено. Приказ был выполнен, конечно, но с большим риском. Известно, что субмарина, погружаясь в воду, оставляет на поверхности перископ — свой глаз, всегда заметный днем по водяному следу. Опускаясь еще глубже, то есть скрываясь совсем, лодка оказывается слепой и идет ощупью, по компасу, рискуя налететь на мель, на рифы. Но, в сравнении с лодками старой конструкции, у «Кэт» было преимущество: в носовой части ее находились особые оптические иллюминаторы, уничтожавшие преломление воды. Поэтому «Кэт» не была слепой, даже погрузившись на значительную глубину. На эти иллюминаторы Андрей Николаевич и рассчитывал, обдумывая трудное прохождение через проливы, занятые неприятельским флотом.

В каюту вошел вахтенный, Курицын, широкоскулый, плотный матрос, — доложил, что требуют к телеграфу. Радио было запросом, — прочтен ли приказ? Андрей Николаевич ответил шифром:

«Есть. Идем согласно приказу».

Двое суток «Кэт» ныряла в волнах. Прочная и быстрая, соединенная голосами со всем миром, она везла сердце Андрея Николаевича. Ему не представлялось, как можно разрушить такое сокровище ударом мины или бомбы, и у «Кэт», казалось, есть более высокое назначение, чем топить корабли.

Команда, выходявшая по очереди на палубу, покуривала после духоты кают на легком ветру. Дни стояли ясные, и множество рыб раздалось перед лодкой, подскакивало на гребнях.

Курицын ухитрился ловить рыбу сачком на ходу. Матросы гоготали, глядя, как он, засучив штаны, доходит до самого края лодки, запускает сачок, вытаскивает и по вновь опускающемуся носу бежит обратно и вертится, как бес.

Появились дельфины и погнались за лодкой. Из зеленой воды, из-под самого носа, выскальзывали они крутым побегом на воздух, опустив хвост, описывали дугу и вновь погружались без плеска. И с боков, сзади, повсюду вертелись, как колеса, их скользкие коричневые тела с белыми животами.

Днем Андрей Николаевич спал или сидел на телеграфе. Закрыв глаза, откинувшись на стуле, он слушал обрывки донесений о боях в Шампани и на Западной Двине, на границе Австрии, в Дарданеллах.

Весь мир сосредоточился в тиканье, долгом и коротком, в

шорохе и шуме аппарата. Прошлое — земля и встречи — было как сон, будущее упиралось в мины. Не осталось ни страха, ни радости, ни сожаления, — только вода, стальная эта корсб-ка, набитая, как сардинами, людьми, да черточки беспроводного телеграфа в мозгу.

Когда склянка била к ужину, Андрей Николаевич поднялся на мостик, сменял помощника, надвигал картуз на глаза и с удовольствием стмечал, что все на том же расстоянии на границе неба и воды покачиваются две коротких мачты.

Море было лиловым. След от лодки по водяным буграм отливал багровым стеклом. Закатный свет заливал полнеба. Из раскаленных туч выскользнуло солнце, сплусилось и медленно кануло в море.

А на востоке уже возникало небольшое зарево, будто от горящего корабля, поднималась луна, оранжевая и огромная. Когда, линия, бледнея, светясь все ярче, достигла она звезд, по воде побегал серебристый след. Эти минуты были тяжелыми для Андрея Николаевича. В его уверенном спокойствии начинала дрожать нестерпимая какая-то жилка. От таких ненужных вещей, как закат, начинал он чувствовать, что не все еще испытано или самое важное, самое нужное впереди.

На третий день, после полудня, Андрей Николаевич вышел из телеграфной рубки и приказал готовиться к спуску. Команда стала к аппаратам, нагнетающим воду. Осмотрели кислородные резервуары, озонаторы, опреснители, все люки. Артиллеристы прошли в минное отделение. Было приказано, по возможности, лежать, двигаться как можно меньше, не разговаривать. Яковлев, стоявший на вахте, крикнул сверху в трубу, что на севере — дым, затем сошел вниз, и выходной люк герметически был завернут.

Пройдя в рулевое отделение, Андрей Николаевич скомандовал спуск. Зашумела вода в кингстонах, нутро лодки отяжелело, и качка уменьшилась. «Кэт» погрузилась и пошла под водой по перископу. Андрей Николаевич нажал кнопку, электричество погасло, из трубы перископа полился конус голубоватых лучей.

Поверхность зеркала ожила. Заходили по ней крошечные волны с гребнями, возникли облака, протянулся дымок.

Подперев голову, он всматривался в море, лежащее перед ним на площади квадратного фута. Дымок исчез, и вскоре справа появилась черточка земли. К ночи он решил опять подняться на поверхность и идти без огня.

До утра он простоял на мостике. Воды были тихими, только вал мертвой зыби всплескивал иногда под носом лодки. Тонкая пленка затянула звезды. На юге, в страшной дали, скользнул по облакам голубоватый луч прожектора.

Внимание было так напряжено, что Андрей Николаевич слышал тиканье часов в кармане. Перед зарей невысоко со свистом прслетели утки. Пришло известие, что первая субмарина погрузилась совсем. Вскоре телеграфировала вторая, что погружается. Приближался пояс мин. Одна за другой исчезали под ними лодки, — быть может, навсегда.



Рассвет был долгий; зеленоватый и оранжевый свет его разливался по перистым облакам. Андрей Николаевич различил наконец неясное очертание скал над молочной поверхностью залива и командовал: «Стоп!» Сошел вниз и сам завернул лук.

«Кэт» на точно обозначенном месте начала опускаться на большую глубину, потом медленно, руководясь только лагом, компасом и картой, двинулась под минами, сдавленная сотнями тысяч пудов воды.

Вертушка лага, крутясь на шнуре позади «Кэт», определяла скорость, хронометр показывал время поворота, а компас — его точное направление. Яковлев наблюдал за приборами, Белопольский по таблицам вычислял поправки и погрешности хода и доносил старшему механику, стоящему у моторов. Андрей Николаевич, склонясь над картой, командовал рулевому: вправо столько-то градусов, минут и секунд, влево — столько-то.

Не чувствовалось ни качки, ни движения. Матросы лежали неподвижно. Все же воздух был тяжелый, густой, звенело в ушах. Но временем кто-нибудь пробормочет: «О, господи, господи!» и вздохнет, припомнив, должно быть, три десятины свои где-нибудь под Бугурусланом, гречиху, ржущего жеребенка да ветер в ракитовых кустах.

— Стоп! Стоп! — закричал Андрей Николаевич, выскакивая из рулевой будки. Послышался звук, будто днище лодки дарапало обо что-то. Корпус заскрипел и накренился... — Стоп!

Завыли шестерни, и моторы перестали биться. В тишине тяжело дышали люди. Сразу стало жарко, как в бане.

Андрей Николаевич пробрался в герметическую камеру, куда через иллюминаторы проливался жидкий зеленоватый свет, и прильнул к стеклу.

В подводном сумраке обозначились тени и очертания, расплывчатые и неясные. Одна из теней, дрогнув, двинулась вдоль стекла. На Андрея Николаевича уставились круглые рыбы глаза.

Рыба скользнула наискосок, глубоко вниз. Значит, «Кэт» сидела не на мели и вряд ли здесь могли быть рифы. Андрей Николаевич приказал подняться на несколько футов. Тогда множество теней шарахнулось, и ясно теперь стали видны обрывки проволочных лестниц, канатов и зацепившаяся за них полуобглоданная человеческая фигура. Раскинув руки, она покачивалась вниз головой. Андрей Николаевич откинулся, зазвенело в мозгу. «Кэт» наскочила и остановилась на останках взорванного корабля.

Остановка эта могла оказаться роковой. Равномерное движение лодки было нарушено, направление утеряно. «Кэт» в одно мгновение заблудилась во времени.

Андрей Николаевич забарабанил пальцами по стеклу. Остаться под водой было невозможно, появиться на поверхности — значит, выдать себя и подвергнуться обстрелу. Все же это был единственный выход определить точно место нахождения. Он командовал медленным подъемом и вернулся к иллюминатору. Тени ушли вниз. Вода заметно светлела. И вдруг

сверху, навстречу, стал опускаться темный шар. «Мина... Сейчас коснемся...» — подумал Андрей Николаевич и, преодолев давящее мозг оцепенение, крикнул: «Левее, как можно левее». Шар отдалился, а слева приближался второй. Не поднимаясь, продвинулись вперед. Но и там, в зеленоватом полумраке, возникали чугунные шары, поджидая, когда их коснется стальная обшивка лодки. «Кэт» заблудилась в минных заграждениях.

## II

С большой высоты морская вода прозрачна. Как впоследствии выяснилось, «Кэт» была замечена неприятельским гидропланом в то время, когда стремилась выбиться между минами на поверхность залива. Самолет выследил под водой ее тень и, кружась над тем местом, телеграфировал сторожевым судам. Но лодка, описав круг, вновь опустилась на большую глубину.

Теперь она шла вслепую. Моторы были пущены во всю силу. Сотни бесов, именуемых лошадиными силами, бились в них, бешено вращая рычаги поршней, шестерни, фрикционы и вал. Корпус дрожал. Полуголые механики ползали около машин, трогая раскаленные, гудящие части. Было жарко и душно: в свинцовых резервуарах оставалось кислороду всего на час, не больше.

Яковлев сидел все там же, около аппаратов, облокотясь о колени, охватив руками помутившуюся голову. В минных погребах, в каютах, в проходах у стен лежали и стояли матросы молча, задыхаясь. И каждого, как поплавок, неудержимо тащило кверху — вынырнуть, глотнуть ветра, глянуть на небо. Белопольский, все еще наклоняясь над бесполезными сейчас табличками, то и дело вытирал лицо, точно убирая паутину; наконец поднялся, но упал на руки и стошнил. Его поднимали без сознания.

Андрей Николаевич держался одним страшным возбуждением. Голос его раздавался во всех концах лодки... «Полчасика, еще полчасика», — повторял он... Пустив лодку полным ходом, он рассчитывал миновать минный пояс. Хватило бы только кислорода...

Наконец, присев около мотора, он увидел багровый свет и ударился затылком. «Эх, нельзя», — пронеслось в сознании. Он подполз к кислородному баку, с усилием отвернул кран и потянул благовонную струю газа. Закружилась голова, сладкий огонь вошел в легкие. Андрей Николаевич поднялся, пошатываясь. Все предметы стали отчетливыми. Все лица повернулись к нему, молча спрашивая, прося одними глазами. Скуластые, бородатые молодые лица матросов представились ему особенно человеческими... А придется, видно, умереть, ничего не поделаешь, надо!

В проходе он наткнулся на Курицына, — матрос стоял, прижавшись к стене, и глотал, как рыба, воздух. Жилы на лбу напрыгали, рябое лицо посинело.

— Угорел маленько, — сказал он хрипло.

Андрей Николаевич, наклоняясь к нему, увидел, что глаза

Курицына застланы смертной пеленой, и, вдруг повернувшись, скомандовал подъем... «Кэт» понеслась вверх. Четыре с половиной минуты продолжался подъем. Словно четыре с половиной года длилось ожидание столкновения, удара, треска, огня, гибели. Вдруг «Кэт» стала. На перископный столик упал свет. Матросы поползли к люку, отвинтили его, и полился холодный соленый воздух, раздирая грудь, туманя голову. За шумели вентиляторы и насосы.

Андрей Николаевич выпрыгнул на мостик, вскрикнул, зажмурился. Над вознесенными, как дым, горами теплых облаков висело вечернее солнце. Ни ветра, ни зыби, и воды — как зеркало.

Дрожащими пальцами держа секстант, Андрей Николаевич начал измерение. За спиной появились Яковлев, матросы. В небе слышалось сильное жужжание, затем высоко где-то раздался стук пулемета, и, будто от просыпанного гороха, звякнула обшивка лодки. Это падал, описывая широкие круги, гидроплан с заостренными крыльями.

Покосясь на него, Андрей Николаевич продолжал измерение. Матросы защелкали затворами карабинов. Гидроплан, почти достигнув воды, взмыл полого и с резким шипением — «фррр» — понесся над лодкой. Неподвижно в нем сидел летчик, держа рули. Пониже его — наблюдатель с маленькой головой в шлеме, с черными усами, перегибался, глядел вниз, ожидал. Откинувшись, поднял обеими руками бомбу и спустил ее между ног в трубу. Снаряд метнулся на мгновение и канул в воду у борта лодки. Курицын выстрелил. Усатое лицо сморщилось, поднялись кожаные руки с растопыренными пальцами. Самолет проскользнул и полого, кругами, пошел наверх. Матросы открыли щелкотню вдгонку.

— Ранен, ранен! — закричал Яковлев.

Над грядой красноватых гор появился второй аппарат, различимый как черточка. «Кэт» легко, как по стеклу, летела в молочных, оранжевых водах.

Андрей Николаевич надвинул картуз и, пройдясь по мостику, сказал (на щеках его и в глазах блеснул красноватый свет заката):

— Ну-с, Яковлев, мины пройдены, что теперь будем делать?

— Андрей Николаевич, здесь рифы и мели...

— В том-то и дело, что здесь рифы и мели, итти под водой не рискну... Подождите, — он поднял руку.

Солнце село в облака, и они, насытаясь его огнем, озаряли воды. Оттуда, из багрового света, стремительно налетал надрывающий свист.

— Прибавь ходу! — Андрей Николаевич направил бинокль на закат.

Просвистала вторая граната по другую сторону, поднялся водяной столб. «Кэт» круто повернула к потемневшей полосе гор. Позади, над ее лиловым следом, лопнул третий снаряд.

«Кэт» повернула было опять на восток, но теперь спереди, с боков, повсюду лопались, брызгали огнем шары, и, наконец, по всему тускнеющему горизонту появились дымы. Круг их смыкался.

Наблюдающий гидроплан пронесся тенью над «Кэт», два бледных лица глянули сверху и скрылись.

Затем невысоко над кормой разорвалось пламя, и чернооко-родый артиллерист. Шубин, выронил карабин и, переваливаясь через перила, скрылся под водой.

— Все вниз! — крикнул Андрей Николаевич и, не отрывая рта от рупора, поглядывал исподлобья, где гуще падают снаряды.

«Кэт» вертелась как затравленная. Повсюду теперь густо дымили трубы миноносцев. Дымовое кольцо смыкалось. Вдруг, настигая, налетел снаряд, дунул жаром; Андрея Николаевича кинуло навзничь. Радиотелеграфная мачта рухнула в воду.

«Кэт», погруженная по самый мостик, мчалась к скалистому берегу.

В сумраке под обрывами метнулись подряд шесть огненных искр, раскатясь по воде, и низко свистнули над лодкой шесть демонов, закованных в стальные цилиндры. Вдоль скал двигалась длинная тень судна.

«Кэт» дрогнула на ходу, и, отделяясь от нее, под водой, навстречу тени, скользнула мина. Прошло долгое мгновение, и там, где были трубы миноносца, поднялась лохматая гора огня и воды. Рухнула. И тени не стало. «Кэт» вошла между скал в один из глубоких заливчиков, погрузилась и легла на песчаное дно.

### III

«Нас, я знаю, считают погибшими. Лежим на дне, на глубине пяти сажен, с величайшими предосторожностями каждую ночь поднимаемся за воздухом. Поправить мачту нет возможности. Да и все равно нельзя тратить горючий материал на электрическую энергию — телеграфировать. Еды тоже мало. Но все-таки держимся; опреснители работают отлично».

Так, через неделю после морского боя, записал Андрей Николаевич на полях судового журнала.

«Отделались мы одним убитым (Шубин) да мачтой. Сами потопили миноносец и легли в фиорде, — пропали, как иголка. Противник подходить близко боится, но сторожит: нас не считают погибшими, как я надеялся вначале».

Здесь, на дне, в тишине, события недавнего прошлого ото-двинулись в глубокое прошлое. Мы не живые и не мертвые. Спим весь день. Никто не разговаривает, — разве только во сне бормочут, вздыхают.

Плох Белополюский. После обморока не может оправиться. Я приказал ему не сходить с койки, он и лежит целыми днями лицом к стене. Гнетет его отсутствие звуков.

Тишина действительно ужасная. Сверху нас слой воды толщиной с четырехэтажный дом.

И только, когда наступает время подъема, все оживают. с тревогой поглядывают на часы, — ждут, как воскресения из мертвых. Но вот ворвался в вентиляторы свежий воздух, стук-каю пальцем по обшивке и чувствую, что от неба отделяет ме-

ня только дюйм железа, — приятно. Вчера были отдаленные выстрелы, — нас сторожат.

Накачаем воздух, ложимся на дно, и людьми снова овладевает сонливость. Время обрывается. Заваливаешься на койку. Темнота не та, что бывает на земле, а бархатная, совершенная... Яковлев бормочет и вскрикивает. Ему снятся сражения, гавани, разукрашенные флагами, и женщины. Спросонок он napiбается с койки и рассказывает всю эту чепуху.

Я начинаю понимать мух, что дремлют между замерзшими окнами. Лежу с открытыми глазами, — ни сон, ни явь, нет мыслей и воспоминаний, только чувствую, — и никогда с такой силой, — бытие. Оно не представляется мне случаями или отдельными картинками, а вне времени, по всей полноте, где-то надо мной, по ту сторону водной толщи, простирается бытие. Точнее определить не могу. Иногда начинает биться сердце, точно в предчувствии еще более ясного понимания. Странно, и жутко, и, пожалуй, жаль, что не вижу попросту снов, как Яковлев».

. . . . .

«Белопольский совсем ослаб. Сегодня, на одиннадцатый день, начал бредить и свалился сверху, мы уложили его на нижней койке.

Курицын потихоньку его подкармливает. Я делаю вид, что не замечаю. Еды у нас осталось на неделю при расчете почти на голод. Матросы отощали; у большинства, кажется, такое же состояние, что и у меня, — мухи за окном. Белопольского жалуют очень. Старший наводчик сказал, что его надо напоить шалфесом. Жалко, шалфея у нас нет. А травка, говорят, хорошая. Чудесная трава растет на земле.

Белопольский бредит про какую-то Танечку, будто качается с ней на качелях, над речкой, и тошно ему от речки. «Хоть бы мелкая, а то она глубокая, уйдемте подальше от речки». Перестанет, вздохнет и опять про то же. Затем появились у него какие-то два особенных человека, с деревянными руками.

До вечера он боролся с ними, жаловался, что под ногтями — занозы. Наконец начал булькать, барахтаться и затих.

Яковлев, совсем измученный, заснул. У меня началась тоска, смертельная, невыносимая. Когда слез посмотреть, отчего Белопольский молчит, он был уже холодный.

На тридцатые сутки, в полночь, с величайшими предосторожностями мы поднялись. Тело было завернуто в холст, к ногам привязана граната. Команда пропела «Вечную память».

Первое, что увидел я, взойдя на мостик, — звезды: огромные и частые, сияли они по всему небу и точно дышали в водах залива. Направо поднимался отвесный берег, чернея высоко зубцами скал и ветками низкорослых деревьев. Оттуда шел запах полыни и цветов.

Из люка подняли Белопольского, под холстом обозначался его острый профиль. Тело скользнуло по борту и скрылось в воде без всплеска.

Не понимаю, не понимаю, где грань живого и мертвого, — разве там, где кончается мука и наступает тишина.

За входом в залив прошла тень чetyрехтрубного судна.

«Они» еще не успокоились. Из-за воды возник луч прожектора и уперся за нами в обрыв, где проступили корявые ветви, камни и трещины. А луч уже метнулся в небо, упал и начал шарить в заливе. Пискнули птицы. Загорелась вода. Луч, скользая, остановился в нескольких саженях от нас и замер. Застыли и мы.

Где-то в версте от нас человек замедлил свою работу; повернул он сейчас на волозок левее, — мы были бы открыты.

Голубоватый свет освещал воду и на глубине стаю рыб. Их было столько, что Курицын крикнул. Опять метнулась мышьякошалаемым полетом, и мошки, и ночные бабочки толкались в свете.

Луч закачался и внезапно прыгнул на вершину скалы; зубчатая верхушка ее засветилась, и оттуда заискотал ослепший, неподвольный орел. Мы вновь погрузились в темноту, в небытие.

«Белопольский умер!» — повторяю это по многу раз и не могу понять. Умереть там, на земле, — значит, перестать видеть, слышать, чувствовать. Там говорят: «ушел от нас». Умереть — значит, остаться одному, в совершенном одиночестве. Так сознаю и я, запаянный в стальную коробку, погруженный на морское дно. Лежу не шевелясь, в темноте, в мертвой тишине, сдавленный со всех сторон водою. Если бы я похолодел совсем, перестал двигаться, — много ли бы изменилось? Почти ничего.

Еда мне противна. С большими усилиями заставляю себя проглотить несколько ложек бурды. Тащусь к матросам и слежу, чтобы все были за столом и ели. Оказывается, что чувство голода мучительно лишь первое время, затем наступает перелом, и тело начинает точно подтаивать. Это чувство физического угасания необычайно странно. Бывают удивительные минуты, — они начинаются с легкого озноба, затем холодок пронизывает все тело, и перестаешь его чувствовать. В напряженном сознании возникает чувство свободы и печали. Действительно, весь мир, вместе с травой и звездами, — во мне. Я растворен в нем тончайшим холодком. Я свободен от всего. Но все же мне печально, точно я не выполнил последнего, самого важного долга. Исполнив его, мой дух не разостался бы этим холодком, а познал бы что-то иное, — не знаю, совершеннее ли, но более простое, земное, милое. Но какой долг? И что познать?

Сказал об этом Яковлеву. Он помолчал и заплакал. Лежит теперь все время лицом к стенке и больше уже не рассказывает снов...

Подобными пространными рассуждениями наполнял теперь Андрей Николаевич листы журнала. Происшествий почти не было никаких. Сторожевые суда продолжали зорко следить за побережьем, освещая по ночам берега.

Консервы подходили к концу и кончились. Остался неприкосновенный запас на одни сутки, но тронуть его можно было

только тогда, когда уже самой «Кэт» грозила бы неминуемая гибель. Андрей Николаевич даже прикинул в уме, что человек шесть, если останутся в живых, еще смогут повести лодку, рискнуть и прорваться, а в случае неудачи взорвать «Кэт». Но пока жива почти вся команда, нужно отлеживаться на дне и ждать.

«Четверо уже больны цынгой, а пятый умирает, — писал затем Андрей Николаевич, — но никто из них не попрекнул меня в том, что подводная лодка ценится дороже человеческой жизни. В самом деле, умирают за знамя, за шельк, прибитый к древку, а «Кэт» и знамя — лишь символ, суровое напоминание о том, чтобы даже в час упадка человек не считал себя свободным от долга.

Мучительно трудно согласовать с собой с ними, с людьми. Я хочу быть свободным, не должным, о н и требуют уплаты. Хочу жить, а им нужна моя смерть. Но если перестану бороться, отдам им себя всего и сразу стану негоден, ненужен, как труп; а если откажусь от долга, закрою глаза, уединюсь, — ведь это тоже смерть...

Курицын разрешает все эти вопросы гораздо проще: «надо, значит — надо, и — все». Сейчас явился ко мне в одних закрученных выше колена штанах, вокруг головы обернуты лоски с крючками, за спиной — сетка, сказал: «Дозвольте, пойду — насчет рыбы попытаюсь». Пусть попробует: удастся — продержимся лишние сутки.

На рассвете поднялись. Был густой туман; по нему ползали, шупали его огни прожекторов. Курицын скользнул без шума и поплыл в молочной, дымящейся воде. Через минуту его не стало видно. Я обещал назавтра, в тот же час, подняться.

Весь день думал: если останусь жив, чего бы я хотел? Опять странствий? Приключений? Как все ничтожно! Должно быть, я на много лет постарел под водой. Мне ничего не нужно, и все же никогда с такою силою не хотел снова вернуться туда, на землю...

Всматриваюсь в туман, вдруг слышу всплеск, и на палубу лезет мокрая голова Курицына; за спиной у него — сетка, полная рыбы. Отерся, говорит: «Конячку бы». И едва сошел вниз и выпил стаканчик, свалился и заснул. Рыбу вытащили на палубу, — хватит на трое суток.

Оказывается, Курицын попросту пробрался днем по кустам и можжевельнику вдоль берега и опустошил рыбацкие сети. Обещался завтра пойти на улов за барашком. Лицо у него, спина, руки ободраны, худ так, что ребра торчат, как у лошадиной падали; при этом невероятно доволен. Попросил еще стаканчик коньяку и опять принялся рассказывать команде свои похождения; под конец же до того заврался, что старший механик плаюул.

История с Курицыным волнует меня ужасно. Я в чем-то глубоко неправ и повинен. За все это время, пока лежим на дне, умер Белопольский, томится Яковлев, угасают матросы. А я только рассуждаю о добродетелях, о долге и смерти. Все это — неверно, неверно.

Быть не одному — вот! Одиночество — вот смертельнейший

из грехов. Пойти и наловить рыбы важнее, чем впотьмах решить проблему смерти... Чорт с ней!

Писать больше не буду.

Сейчас поднимаемся. Слышна глухая, мощная канонада. В море идет бой».

#### IV

...На этом оборвался дневник. Далее Андрею Николаевичу писать не было возможности: события пошли стремительно, да и он сам, выйдя из душевных подвалов, почувствовал себя не более, как быком, выскочившим на арену.

«Кэт» вынырнула в белый клубящийся туман. От гула и грохота дрожали берега. Мощные круглые залпы и взрывы чередовались с частой трескотней. Казалось, кашляли, дули друг на дружку, ревели морские черти. Над «Кэт» пронеслась ошалевшая чайка.

— Андрей Николаевич, скорее, пора, прорвемся! — повторял Яковлев, держась за перила, стуча зубами.

Приготовления были окончены. Сильный ветер заколебал туман и погнал его клочьями, обнажив мокрый выступ скалы. Из люка поднялось опухшее лицо Курицына.

— Готово! — крикнул он с такой силой, что напряглись жилы, но голос едва был слышен.

Андрей Николаевич махнул рукой, и «Кэт» полным ходом выслетала из залива на волю. Выстрелы были сзади и с правой стороны, путь в Ганге свободен.

Все, что вынесли за эти две недели, лежа на морском дне, Андрей Николаевич и команда, — отчаяние, оцепенение, смерть наяву и примиренность, — все это преобразилось сейчас в одну волю, и казалось, мало было стремительного бега лодки, разрезающей туманные воды на две волны.

Прорваться, провести «Кэт» невредимой в порт, исполнить только долг — теперь это было слишком ничтожно. Воля требовала о щ у т и м о г о. Так бык, что стоит посреди арены, медлит и дышит тяжело — и вдруг бросается на всадника, чтобы всадить рога.

Андрей Николаевич еще колебался; но теперь не отвага руководила им, не расчет, не увлечение, а только ж а д н о с т ь. Корабли, люди, земля, показавшееся в желтом тумане огромное медное солнце — все это было «мое», ощутимое, желанное. И то, чего желала душа, — разрушить, не казалось разрушением. Нужно было излить бешеную живую силу в эту дивную, страшную жизнь. Только одна эта воля бушевала в нем — жажда, жадность, о щ у щ е н и е всего.

Солнце поднималось, ясно, и под туманом еще неясно зашевелилась оранжевая вода. Где-то близко, слева, гнались, грохотали невидимые корабли. Ветер усилился. И вдруг выступила в облаках и дыму серая громада; закуталась, прогрехотала, и яснее стали видны очертания башен, труб, мачт, весь профиль, над которым плескало знамя с черным орлом.

Не сдерживаясь больше, видя, что м о ж н о, с перехваченным от волнения горлом, Андрей Николаевич прыгнул в люк,



сбил с ног Яковлева и сам стал заряжать минный аппарат. «Кэт» опустилась и шла теперь под перископом «наперерез».

Тень неприятельского корабля, покачиваясь, скользила по перископному зеркалу и поминутно покрывалась облаком, с мелькающими в нем иглами выстрелов. «Кэт» выпустила мину, но она прошла у того за кормой. Наклонясь, закусив до крови губу, Андрей Николаевич разглядывал маленький этот теневой кораблик, один снаряд с которого бил в неприятельский борт с силою тридцати миллионов пудов. «Кэт» и корабль сближались, тень его занимала половину стола и вдруг начала поворачивать....

— Вторую! — крикнул Андрей Николаевич.

И в это время на «Кэт» рухнул удар, раздался треск и зеркальный столик погас. Андрей Николаевич, выскочив из рулевой рубки, крикнул:

— Перископ сбит! Полный ход вперед!

Механик, ухвативший рычаг, не оборачиваясь, переспросил:

— Куда?

— Вперед, вперед, к чорту!

У минного аппарата на короточках сидел Яковлев, крикнул что-то и выплюнул кровью. Андрей Николаевич прильнул к стеклу иллюминатора...

За ним крутились пенные струи. И вот, заслоняя свет, показалось темное корабельное днище. Оно было не дальше, как в десяти саженях. Андрей Николаевич скомандовал: «Стоп! Пускай вторую мину. Ход назад, самый полный!» И закрыл глаза. Это был конец всему. Как жаль, что пришлось упереться в днище, а сил хватило бы на большее...

...Андрея Николаевича швырнуло в коридор, приподняло, ударило в стену и потащило вниз. Крики и треск обшивки покрылись глухим грохотом падающей воды. Свет потух. «Кэт» закрутилась и пошла на дно.

Силой взрыва и воды «Кэт» далеко отшвырнуло от тонущего корабля и затянуло на большую глубину. Обшивка дала трещины; текло сквозь сальники разбитого перископа. Моторы не работали. В общем, лодка больше походила на поплавок, внутри которого в темноте стонали и хрипели оглушенные, израненные люди. На глубине она пробыла недолго: освобожденная от тяжести двух мин, медленно всплыла, немного не дошла до поверхности, остановилась и незаметно, по мере того как наливалась в нее сквозь трещины вода, начала тонуть.

Первым очнулся Курицын, упавший на половик в пустом коридоре; осторожно поднялся на четвереньки, прислушался и пополз в машинное отделение, где, чиркая спичками, отыскал механика и стал тереть ему уши.

Когда это не помогло, он подтащил кислородный бак и открыл кран ему прямо в лицо.

Механик первым делом ухватился за разбитую коленку.

— Тонем, — в самое лицо прошептал ему Курицын, — машину наладить можешь?

— А кто ее знает.

Курицын зажег свечу и пустил кислород изо всех резервуа-

ров. От живительного, как грозовой воздух, газа зашевелились матросы: кто лез из люка, держась за голову; кто силился подняться и опять падал.

Андрея Николаевича нашли в узком проходе, едва вытащили оттуда, но привести в сознание не могли, отнесли на койку.

Посутились было около Яковлева и прикрыли куртками и его, и еще двух артиллеристов. Курицын поставил всех, кто могли, к ручным помпам. Ими до починки машины можно было бороться только с поступавшей в трещины водой. Механик и двое подручных возились с мотором, стучали ключами, все с тоской прислушивались к этому лязгу.

«Кэт» была где-то недалеко от поверхности, но где — узнать нельзя, потому что перископ и указатель разбиты. Отвинтить же люк и выглянуть было слишком опасно, — могла хлынуть вода.

Наконец механик сказал, что надо менять цилиндр, — хватило бы свечей. Курицын принялся ругать механика, свечные заводы, моторы и того, кто их выдумал. Затем напустился на команду у насосов и приказал околеть, а поднять лодку хоть на аршин. Матросы молчали угрюмо. Механик плюнул, выругался и бросил ключ. Кто-то сказал: «Шабаш, ребята!» — и помпы остановились.

Теперь слышался только мокрый однообразный, смертельный плеск воды, падающей на перископный стол.

Хрипловатым голосом Курицын проговорил:

— Идите-ка двое кто за мной, отвинтить над люки, чем так-то ждать.

Двое, кажется, или трое вслед за ним пробрались ощупью. Влезли по отвесной лесенке к выходному люку и ухватились за скобы. Кто-то сказал: «Да, пришлось». — «Молчи, знай свое дело», — ответил Курицын. И еще кто-то вздохнул: «Водищи-то, чай, над нами, — вот хлынет!»

И в это время наверху раздались стук и шаги. Там были люди. Курицын скороговоркой сказал:

— Марш к кингстонам! Выстрелю — открывать!

Затем, держа револьвер в зубах, нажал на скобы, крыша подалась, и в щель хлынул резкий свет и воздух.

— Эй, кто там ходит? — крикнул Курицын. — Какие люди?

— Свои, свои.

— О, господи!

Андрей Николаевич, ударившись давеча головой о железную стенку, увидел ослепительный сноп искр. Затем стало темно и глухо. Но одна искорка осталась в глазу и понемногу стала разливаться в немигающий свет.

Он был ровный и голубоватый. Андрей Николаевич долго созерцал его.

Затем началось беспокойство о том, что в свете находится что-то постороннее. Хорошо, если бы оно исчезло и растворилось, но оно не пропадало и было как камень.

Не уменьшался и свет, но не доставлял уже прежней радости; постороннее мешало ему; приходилось уделять много вни-

мания, чтобы узнать, что это такое. И вот однажды он с удивлением, с тоской понял, что постороннее — это он сам. Тогда свет превратился в простую синеватую лампочку над койкой, а тело Андрея Николаевича начало болеть во многих местах. Когда же он почувствовал крутую качку миноносца и стук его машины, то попробовал повернуться, застонал и погрузился в живую темноту сна.

Так началось медленное его возвращение к жизни.

«Кэт» шла на буксире за миноносцем. В кубрике его Курицын, держа осторожно стаканчик, рассказывал разинувшим рот матросам про битвы и подвиги; старался не хвастать, но это ему не удавалось, — слишком крепок был в стаканчике ром, да и, кроме того, давеча командир миноносца, Громобоев, хлопнул Курицына по плечу, некоторое время поминал всех чертей, затем своих и Курицына родителей и сказал под конец самую суть: «Молодец! Представляю!»

С высоких носилок, качавшихся на плечах матросов, Андрей Николаевич глядел на влажное синее небо, на черепичные крыши домиков, на кудрявые деревца с обеих сторон чистенькой мостовой.

Большая толпа окружала девять носилок. Все были мирные, казалось — все добрые лица.. Кто-то заглянул в глаза, сказал удивленно-радостно: «Живой...» Толпа шелестела головами, как листья от ветра. На грудь Андрея Николаевича упала белая гвоздика. Он опустил веки, утомленный теплым, печным запахом земли. «Дорогу, дорогу, дорогу!» — покрикивали матросы.

Когда улица, ведущая в гору, завернула, он опять открыл глаза и, преодолевая под повязкой боль, раздвинул губы в улыбку. На овальном, темнее неба, заливе лежали военные корабли; недалеко от схода виднелись остатки мачты и разбитый мостик «Кэт». День был синеватый, хрустальный. Это была уютная старая земля.

Андрея Николаевича положили в лазарете, задержав на длинном окне белые занавеси. Они пропускали молочный свет и швелились от ветра. Улица — тихая, редко протарахтит экипаж, пройдет неспешно прохожий. Да слышно, как вдалеке, в гавани, бьют склянки или рожок играет зорю.

Просыпаясь, Андрей Николаевич слушал звуки, отдаленный говор, шелест листьев, умоляющий вальс шарманки; глядел на теплую штору, — и без мыслей, без волнений чувствовал только блаженный покой...

Он видел много снов: то усадьбу с прудами и подсолнухами, то ветряные мельницы на бугре, то шалаш караульщика и кругом желтые, спелые дыни. Разбуженный, пил бульон и снова дремал под звуки и шорохи.

Затем сны перешли в воспоминания не близкого прошлого, а давно забытых маленьких случаев, получивших теперь особенное значение. И воспоминания, как и сны, были пронизаны голубоватым светом, отнимавшим у вещей грубость и тяжесть.

Наконец ему позволили сесть на постели и в первый раз

отдернули штору. На той стороне улицы он увидел два тополя; между ними — одноэтажный домик и синюю вывеску — «Табачная лавка». У дверей стоял финн в коричневом жилете и курил трубку. Мимо шла девочка в веснушках и грызла яблоко — должно быть, кислое.

Андрей Николаевич окликнул ее. Она взлезла с яблоком на подоконник, раскрыла рот, глаза и подняла рыжие брови. Он попросил сбегать в лавочку, купить бумаги и конверт.

«Милый, добрый человек, Татьяна Александровна, — писал он на следующий день, — теперь начинаю понимать, что я совершил кругосветное путешествие и вновь возвратился к вам. Казалось, я не думал о вас все это время, но вы присутствовали незримо, были со мной и на дне моря, и в битве, и в последнем отчаянии; я угадывал вас в утренней заре, и в закате, и в веселом прыжке дельфина из волны в волну. Во всем: и в жажде, и в тоске по близкому и утерянному вы (или, вернее, то, что возникло между нами в липовой аллее, от чего, не поняв, я легкомысленно бежал в поисках приключений) указывали мне единственный путь — заглянуть в себя, измерить призрачную, смертельную пустоту одиночества и откatzься от себя навсегда; покуда я один, — меня нет, я — глухой, ослепший, бескровный призрак! Милый друг, я только сейчас начинаю жить, а уже сердце полно невыразимым чувством, -- каким, еще не знаю. Благодарю вас за все, за все...»

## ПРЕКРАСНАЯ ДАМА

**П**акет, содержащий тайные, чрезвычайной важности, военные документы, был передан Никите Алексеевичу Обозову, — и передача документов и посылка Обозова произошли втайне.

Поручение — долгая и опасная поездка за границу — обрадовало его; штатское платье, зеленый, на трех языках, паспорт, чемодан, бойко под конец укладки щелкнувший замком, — все это были вестники чудесных дней (они наступят — это ясно, когда в руке плед и чемодан).

Рано утром Обозов приехал на вокзал, выпил кофе и, не беря носильщика, занял купе первого класса.

Пакет лежал сначала в чемодане; затем, когда поезд отошел, Обозов переложил парусиновый мешочек в боковой карман пиджака, прикрепил его английскими булавками и с удовольствием растянулся на бархатной койке. Под боком лежали дорожные книги и журналы; он перелистывал их, курил и, поглядывая в окошко, предчувствовал дни, когда несколько стран и тысячи людей проплывут перед глазами.

Экспресс летел мимо дач, хвойных лесов и моховых болот Финляндии, еще покрытых снегом. В назначенные часы в вагоне появлялся лакей, приглашая к столу. Пассажиры, придерживаясь за шаткие стены, брели в ресторан. На площадках резкий ветер крутил снежную пыль. Никита Алексеевич садился в углу вагона-ресторана за столик и оглядывался.

Вот семейство простоватых англичан, с тремя белокуроми девочками и няней-японкой, — семья едет из Владивостока третью неделю. Вот четыре чернобородых француза, низенькие, багровые; они спросили бутылку красного вина и, гутюря, причмокивают. Затем огромный бритый швед — директор предприятия; добродетельные финны из Гельсингфорса; скуластый купчик-москвич, едущий за товаром в Харпанду и напустивший европейского вида, с явным ущербом для своего самолюбия; широкоплечий, угрюмый юноша в вязаном колпаке, какой носят лыжники; и еще несколько неясных, серых лиц. Были и женщины, конечно, но в них Никита Алексеевич старался не вглядываться: в некрасивых — не находил основания, красивых — боялся.

С женщинами счеты у него были трудные. В юные годы он мечтал издаалека о знаменитой куртизанке, Маше Хлебниковой, милой и прелестной женщине, не пожелал приблизиться к ней, хотя и были случаи, переносил издевательства товарищей юнкеров, и это двойное чувство отразилось на всей его жизни. Он с отвращением относился к «знатокам», которые, довольствуясь немногим, находят в каждой женщине одно, и только то, что им удобно и нужно.

Давеча на вокзале, спеша с чемоданчиком к своему вагону, Обозов мимоходом приметил высокую даму в изящной бархатной шубке. Ее небольшая шляпа, с черными крыльшками, сбилась набок. Дама казалась рассерженной, невыспавшейся и ссорилась с кондуктором.

На пути он опять встретил ее в соседнем вагоне, затем на площадке, где она боролась с ветром, придерживая шляпу и шубку, и, наконец, увидел ее у окна около своего купе. Касаясь лакированной рамы плечом, дама глядела, как скользят мимо снежные поля, деревья, столбы, домики. Ее узкое лицо, обращенное к унылым равнинам, казалось печальным. Открытая шея тонка и нежна. На отворотах вязаной шелковой кофточки белело кружево.

Оидя в углу купе, Обозов видел ее затылок с поднятыми пышными темнорусыми волосами, ее спину, вздрагивающую от толчков поезда, ловкую суконную юбку, касающуюся высоко зашнурованных лаковых башмаков. И когда ему наконец показалось необходимым знать, куда и зачем она едет одна в это тревожное время, Никита Алексеевич спохватился и, вытащив из-под себя томик каких-то приключений, погрузился в чтение.

В дверь купе проникал свежий воздух, и вдруг запахло духами, горьковатыми и нежными. Обозов увидел складки синей юбки, волнующейся под давлением ног. Он вновь перечел страницу. Дама стояла теперь прямо у окна, спиной к двери.

Тогда он повернулся к снежной пыли за окном и, усмехаясь, подумал, что — вот и струсил, хоть и тридцать три года и выдержка... Что-то в этой красивой женщине было пронзительное, и жалкое, и волнующее... Кто она? Просто-искательница приключений? Нет, пожалуй — не то... Или, как птица, подхваченная страшной бурей войны, мчится чорт ее знает куда?.. Во всяком случае, все это надо бы выяснить... Когда он выглянул в коридор, дамы уже не было у окна. За завтраком она не появлялась.

Сейчас, ожидая на угловом столике вагона-ресторана, когда официант в синем фраке и гуттаперчевом воротничке поднесет ему поднос с едой, Никита Алексеевич чувствовал себя покойно и радостно. Нет большего счастья, как после трудов разлечься на мягких подушках вагона, в отдохновении и бездельи следить за людьми, за маленькими их волнениями, за странами, проплывающими мимо окна. Все кажется немного ненастоящим. Сейчас почему-то особенно остро Никита Алексеевич припомнил одно поле, вспаханное и мерзлое, с гуляющим по нем ледяным ветром; ко-

рявые спины солдат за бугорками: песок и ледяная пыль режут глаза; одинокие выстрелы, безделье, скука, ожидание ночи и нескончаемые вереницы тяжелых, как горы, облаков. Это была ужасная спячка перед смертью. Человек казался придавленным последним унижением, нищим и мерзлым, как земля.

Обозов вздрогнул и быстро поднял глаза, — у столика стояла прекрасная дама и в третий раз, уже с улыбкой, спрашивала, может ли она занять место напротив.

Обозов вскочил, пододвинул ей стул, смутился от своей поспешности, сел опять и, наконец, вспомнив давешнее решение, прямо взглянул даме в глаза. Она ответила взором почти мрачных темносерых глаз. На мгновение закружилась голова, и точно исчез весь этот вагон, где трещали голоса, над бутылкой чмокали французы и дымил швед сигарой.

Дама положила на стол у мерзлого окна перчатки, раскрыла сумочку, взглянула на себя в зеркальце, — без любопытства, но внимательно, — мизинцем провела по губам, по очертаниям тонких ноздрей, щелкнула замочком и спросила:

— Вы ели рыбу, не опасно?

Голос ее был низкий, почти суровый. Никита Алексеевич ответил с готовностью:

— Рыба превосходная, треска.

И подвинул блюдо. Она поблагодарила. Он принялся думать, что еще можно сказать о треске: рыба эта большими массами плывет на север в теплых водах Гольфштрема, отбывает север Норвегии и быстро растет; у Мурмана она достигает чудовищных размеров.

Дама перебила его мысли:

— Я — русская по фамилии и по рождению, но бегу из России, как от чумы, — и подняла на него мрачные ясно-серые глаза. — Ненавижу Россию.

Никита Алексеевич, усмехнувшись, спросил:

— Отчего так? — Затем поклонился и назвал себя.

Дама продолжала:

— Мое имя — Людмила Степановна Павжинская. Вы спрашиваете, почему я бегу. — Откинув голову, она глядела на собеседника, словно оценивая, достоин ли он откровенности. — Я ненавижу Россию, правда, правда, — и она засмеялась, держа не донсенный до рта кусочек хлеба.

Ее испытующий взгляд, странное начало разговора, затем смех, умный и невеселый, словно наметили сложность ее духа. Обозов так это и воспринял, и насторожился.

— Мое эстетическое чувство оскорблено, — говорила дама, — если я люблю красоту, поэзию, картины, мрамор, музыку, то я прежде всего хочу любоваться людьми. Меня раздражает мысль, что где-то на земле в эту минуту ходят великодушные люди. А я в Москве принуждена ежедневно видеть нечто неуклюжее, слабое, с желтой бородкой, в очках, со слабительными лепешками в жилетном кармане, существо, развинченное нравственно, с несвежим бельем и визгли-

вым голосом, ежеминутно наклонное к истерике. Жить в такой стране? Нет, еду в Америку.

— Будто вы там найдете людей!

— Людей изящных и смелых, первого сорта, уж, конечно не таких, как в России.

— И у нас водятся смелые люди.

— Ах, полноте, у нас все ничтожно, как в лакейской, все как на барине, только похуже, с пунцовым галстуком, со скуластой рожей. Будем искренни: наша с вами страна — нелестный курьез, случайность...

Никита Алексеевич сдержался, краска хлынула и отлила от лица его. Опустив глаза, он проговорил:

— Разговор мне, простите, неприятен,— и, когда дама удивленно повернулась к нему, добавил:— Я был на войне и видел отважных людей. То, о чем вы говорили, это— не Россия. А впрочем, Россию мало кто знает. Я хочу сказать, что ваша ненависть не по адресу.

Он зажег папиросу. Обед кончился, и крылья вентилятора разогнали над головой табачный дым. Иногда за спущенными шторами в темноте ночи расстился унылый длинный свист поезда.

Никита Алексеевич заметил, что даме точно немоглось. Медленно отряхивая пепел с египетской папиросы, она сидела, положив ногу на ногу, оглядывая мрачного юношу в лыжном колпачке, финнов, опять чем-то уязвленного купчика,— и углы губ ее приподнимались презрительной усмешкой.

Вскоре они перешли в вагон и молча стояли в проходе, гораздо более далекие, чем до первого разговора.

Людмила Степановна чутьем поняла это и равнодушие своего собеседника. Он стоял, заложив по-военному большой палец за пуговку жилета, и глядел на завитушку прессованных обоев. Рот его уже несколько раз силился сдержать зевок. Толстая опрятная женщина-проводник принесла бутылочки содовой и поставила против каждого купе. В конце прохода приоткрылась наружная дверь, возникло морозное облако, и на мгновение появился обветренное лицо юноши в лыжном колпачке. Людмила Степановна посмотрела на ручные часы, поставила ногу на решетку щелкающего отопления и сказала негромко, со вздохом:

— Мне хочется, чтобы вы простили меня: вы первый, кто при мне не позволил ругать Россию. Я тоже бы всякого обрывала. Но мы так разнузданы. От вашего резкого слова мне стало вдруг тепло.

— Ну, и вы меня простите за резкость,— ответил Никита Алексеевич добродушно. — А вы в самом деле в Америку едете?

— Я подписала контракт на тридцать концертов.

— А, это другое дело, а я думал...

— Что вы думали?— спросила дама, немного слишком поспешно.

— Что вы так... для забавы...

— Я— одинокий человек,— шомолчав, проговорила она и опустила глаза,— мне тоскливо подолгу жить на одном месте.



Женщине в тридцать лет, без семьи и привязанностей, очень трудно. — Она передернула плечами. — Как колодно, я плохо сплю в дороге. А вы меня фастревожили, уж не знаю чем. Я буду думать всю ночь... — она грустно улыбнулась. — Хотите сделать доброе дело? Пожертвуйте мне несколько часов, пойдете.

Она открыла купе, где сильно пахло духами, висела сумка и в сетке лежал крошечный чемодан, — весь ее багаж, — усадила Никиту Алексеевича на бархатный диван, сама села у окна на столик, охватила поднятое худое колено и сказала:

— Можете курить и дремать...

Это было сказано хорошо. После этого они молчали довольно долго. Щелкало отопление. Стучали колеса: «Путь далек, путь далек». Никита Алексеевич следил за сизой струйкой дыма, потом за женской ногой, тонкой в приколотке, заткнутой в черный чулок, покачивающейся совсем близко.

— Мы оба холостяки, — сказал он, — встретились, а через день исчезнем друг для друга, как два перекасти-поля. А что может быть ближе и нужнее, как человек человеку? Правда, самая грустная вещь на свете — короткая встреча в пути.

Он взглянул на Людмилу Степановну. Наткнув к нему голову, она слушала внимательно, встревоженно. Полуприкрытый прядью волос, лоб ее наморщился.

— Бывают минуты, которых не забудешь во всю жизнь, — проговорила она медленно.

— Не знаю, не испытывал. Вот юношеские бредни не забываются, вы правы.

— Нет, нет. Минуты безумия, страсти, налетевшей, как вихрь...

Тогда Никита Алексеевич поморщился: «Эх, что она как сразу, — даже слишком...» Опустил глаза и чувствовал, что весь насторожен враждебно. Дама соскользнула со столика. Он не видел, что она делала, услышал только несколько легких вздохов и крепко поджал губы. Ясно, что беседа соскочила с плавного хода, и все чувства ринулись к ближайшему выходу, наиболее простому и короткому, за которым — пустота, равнодушие, досада, усталость. Зажигая спичку, он взглянул. Людмила Степановна стояла у стенки, заложив руки за спину.

— Вы очень пугливы, — сказала она.

— Да, вы правы.

— Поблуднели от шороха юбки. Бедняжка.

— Как вам сказать, если бы вы мне не нравились, было бы все проще...

— Я вам нравлюсь? Странно. А мне показалось, вы считаете меня просто настойчивой бабой, и трусились, — она опустила брови на сердитые глаза и постучала каблук. — Уверяю вас, что вы ошибаетесь.

— Ну, хорошо. — Никита Алексеевич рассмеялся. — Прошу очень, очень извинить меня.

— За что? Вы, кажется, вели себя на редкость скромно.

Тоненькие ноздри ее раздувались, каблучок потопывал, тень от опущенных ресниц дрожала на щеках. Он подумал: «Лошадка с шуровом», и вдруг стало тепло от нежности. Протянул руку. Она сердито качнула головой.

— Секрет-то в том, — сказал он душевно, — я всегда боялся женщин. Обжегся в молодости... Ваши соблазны женские и злекут и страшат... (Она презрительно фыркнула.) Людмила Степановна, вы помните: «Любови роскошная звезда...» Об этой звезде роскошной я мечтал, помню, на том мерзлом поле, среди луж крови... У меня был приятель, до-смерти влюбленный в какую-то девочку... «Меня, — говорит, — убить нельзя, — попробуй, выстрели в звездное небо! Так же в меня...» Конечно, его убили, в конце концов, но так размахнуться — до звезд — хорошо... И мне страшно всегда — подменить: вместо роскоши — почти то же самое, но — то, да не то... Заторопиться, загорячиться, обормотать и взглянуть в уже пустые женские глаза... (Вы понимаете? Нет?.. Что же вы подаете с человеком, когда нужна ему любви роскошная звезда.

Он засмеялся, силой взял руку Людмилы Степановны и нежно поцеловал. Она не отняла руки. Вдохнула, села рядом. Он продолжал рассказывать о себе, о товарищах, о смерти на мерзлом поле. Она затихла, успокоилась. Когда же русая голова ее, клонясь, коснулась его плеча, он замолк с улыбкой, осторожно поднялся и, проговорив: «Я вас утешаю, спите, спите», на цыпочках вышел из купе.

Дверь за ним затворилась. Людмила Степановна открыла глаза, сжала кулачок и ударила по бархатной подушке.

В полночь к ней вошел широкоплечий юноша в кофачке, сел на диван, уперся огромными башмаками в лакированную стену и, закутавшись дымом из трубки, сказал:

— Надо бы порастерпнее.

Людмила Степановна смолчала. Отправляя волосы высоко поднятыми руками, она держала шпильки в зубах, и сонные глаза ее и щеки казались увядшими, а все движения резкими и злыми. Задом локтем юношу, она прошипела сквозь шпильки:

— Вы мне мешаете. Уходите с трубкой.

Он отодвинулся и, лениво спрятав трубку в карман, сказал:

— Надо все дело кончить до границы. Мне будет трудно переходить. Вы рискуете ехать дальше одна.

— Перейдете. Я одна не поеду. Вам это известно лучше меня.

— Ну-с, а если подстрелят?

Людмила Степановна дернула плечами. После некоторого молчания юноша спросил еще ленивее:

— Что же, вы ему не нравитесь, что ли?

Тогда дама пришла в ярость. Волосы ее рассыпались, лицо передернулось, стало безобразным. С прекрасных губ посыпались бессмысленные фразы, то заносчивые, то жалкие. Юноша, боясь шума, выскользнул из купе.

На площадке, раскурив трубку, он прислонился к железному столбику; ветер и снег резали его квадратное, твердое

лицо; прищуренные глаза различали в неясной мгле ровные белые поля, темные конусы чахлах елей; на севере над землей полыхал белый свет полярного сияния.

Через несколько минут на площадку вышла Людмила Степановна, закутанная в шубку и платок. Морщась, она сказала:

— Его дверь закрыта изнутри на цепочку. Он осторожен. Юноша заслонил даму от ветра, и они стали созвещаться.

Никита Алексеевич спал долго и крепко. Виделись ему, кажется, хорошие сны. Одолеваясь, он с улыбкою снял с пуго-ницы пиджака светлый женский волос. Как хорошо, что вчера все обошлось благополучно. Иначе бы сидел сейчас с растрепанной головой, курил папиросы. Сейчас было сознание хоть и маленькой, но победы. Голова ясная, все мускулы напряжены, сердце бьется резко и сильно. И впереди несколько дней прелестной близости, бесед, в которых с каждым словом открываются новые заслоночки в человеке. Утро было морозное и солнечное.

За весь этот день Обозову мало удалось видеть прекрасную даму. Она встретила его утомленная, под вуалью, в шапочке с крылышками, сказала, что очень беспокоится о батяе и страдает мигренью. Действительно, на пограничном вокзале она сидела за клеенчатым столом среди пассажиров, сундуков, свертков и прыжных тарелок, такая печальная, так подпирала кулачком щеку, что Никите Алексеевичу стало ее жаль. Он глядел на нее издали и думал: «Едет в Америку, но по всей вероятности, врет; болят все нервы, и поутру прячет лицо; говорит пошлости, а глаза мрачные; и нельзя ее ни приласкать, ни успокоить, потому что и сама она не захочет ни ласки, ни успокоения; а кончит или в клинике для нервных больных, или отравится от злости».

Ему очень хотелось подсесть и заговорить, но мешали суэта с багажом, паспортами, затем переезд на санках через праницу, осмотр. В седьмом часу его вещи перенесли в низенький и теплый ресторанчик близ шведского вокзала. Здесь было чисто, бело, пахло крапкой, на спиртовке варился кофе, и шипел, как шмель, керосиновый фонарь под потолком. За переплетом квадратных окон простиралась полярная ночь. Подъезжали на санках пассажиры. Обозов надвинул шапку и вышел. У края земли на севере мерцал свет. Тонкий и мертвенный, он охватил звездное небо голубоватым сектором. Выше его горели ясные созвездия Морозный, едва светящийся снег покрывал ровные поля с чернеющими зубцами елей. Все это казалось мертвым, точно бывшим когда-то, и в этой темной пустыне он ясно чувствовал, как бьется комочек живого сердца. Невдалеке заскрипел снег. Обозов взгляделся: из неясного сумрака выскользнул на лыжах высокий человек, в фуфайке и колпаке, пролетел мимо и скрылся за низким строением. Лица его не было видно, только блеснули зрачки.

«Что бы это значило?» — подумал Никита Алексеевич, приподняв блеснувшие, словно кошачьи, глаза. Потом ему ста-

до казаться, что жизнь у Людмилы Степановны пустынная и лютая, как эта равнина, и ее жалкое сердчишко в тоске трепещет смерти. И что он, Никита Алексеевич, не такой уж герой, чтобы уберечь ее от соблазнов. Он жестоко обидел ее вчера глубочайшим своим превосходством! Пустился в расчуждения, стишки даже читал... Фу!

Он крикнул и полез в карман за папиросами. Теперь мысли его бродили тревожно вокруг чего-то неисполненного. Позади хлопнула дверь, и от желтоватого света, льющегося сквозь квадратное окно ресторана, отделилась женская фигура. Никита Алексеевич широко зашагал ей навстречу.

— Возьмите левее, — крикнул он, — здесь сугроб, — и, подобрав к Людмиле Степановне, взял ее еще теплую руку без перчатки и поцеловал.

Она стояла совсем близко, доверчиво подняв к нему лицо.

— Я вас искала, — проговорила она тихо.

Он глядел, как на ее печальном и тонком лице лежал отблеск северного сияния. Большие глаза окружены тенью, и в зрачках — искорка звезд. Она показала ему чудесной. Ее маленькая рука неподвижно лежала на рукаве его шубы.

— Милая, бедняжка!

Ее лицо не изменилось. Прелестный рот был серьезен. Он наклонился и поцеловал ее губы. Она вздохнула. Серый мех ее шубки был приоткрыт, видна шея и ниточка жемчуга. Никита Алексеевич осторожно застегнул ее воротник и повторил: «Бедняжка!» Вдалеке протяжно засвистел поезд.

Снова лежал в купе, с темносиней лампочкой над койкой, Никита Алексеевич повторял шепотом про себя:

— Волшебство! Колдовство!

Давеча на снегу не сказано было больше ни слова. Сейчас Людмила Степановна, должно быть, спит. Все мысли и чувства Никиты Алексеевича в необычайном напряжении сосредоточились на этой, спящей за стенкой, чужой ему жонгине. Это ли было не колдовство?

Неожиданно он вскочил, распаковал чемодан, вынул бритву и побрился. Спать ничуть не хотелось. Припомнилось опять: «Любови роскошная звезда, ты закатилась навсегда. О, мой Ратмир». Он засмеялся, застегнул жилет и вышел в коридор. Поезд стоял на первой остановке у маленькой, занесенной снегом станции, где вдоль вагонов прохаживался розовый солдат в белом козырьке, воротнике и таких же наушниках, похожий на куклу. На перрон из-за снежных елей быстро вышел широкоплечий человек в фуфайке, взглянул на окно и прыгнул в вагон. У него были те же глаза, что у давешнего лыжника, и вообще лицо страшно знакомое. «Странно», — подумал Никита Алексеевич, потрогал парусиновый пакет на груди и вновь почувствовал нелепую, смешную радость.

Среди ночи он несколько раз просыпался и повторял: «Любови роскошная звезда», ударял кулаком в подушку и со смехом засыпал вновь. Однажды развил злой мужской голос, упрекающий кого-то в медлительности и трусости. «Кон-

тинент, континент...» — повторял голос и наконец расплылся, смешался со стуком колес.

Как сон промелькнул весь следующий день. Людмила Степановна была молчалива и особенно трогательна какой-то почти робкой покорностью. Когда Обозов звал ее к завтраку, она отвечала: «Хорошо» и сейчас же шла впереди него, придерживая платинную шубку. Несколько раз он ловил ее пристальный, недоумевающий взгляд, и сейчас же она отводила глаза с испугом. Все это было непонятно, восхитительно и тревожно...

Поезд летел в лесистых горах, покрытых снегом. За окном ресторана проплывали красные домики из эбеновских пней, обмерзшие водопады, черные стены леса, мосты...

Людмила Степановна взглянула на расписание (через несколько минут должна быть остановка), придвинулась к стеклу и проговорила:

— Вон на горе краснеет крыша. Прожить в том домике до весны... Быть может, вам покажется странным, но я очень люблю уединение, снег, чистые комнаты. Никто так и не догадался использовать меня как добрую подругу.

Она покачала головой, глядя в окно, и спустя немного поморщилась. Поезд засистел, подходя к остановке.

— И вы бы не соскучились в уединении? — спросил Никита Алексеевич.

Тогда с ней произошло странное: она резко повернулась к сидящим в вагоне-ресторане, затем отчаянно, почти не видя, взглянула в глаза Никите Алексеевичу и низко наклонила голову, ища что-то в сумочке на коленях: волосы скрыли ее лицо.

— Выскочить тайно от всех, без багажа, остаться на зиму, безумство, конечно... — прошептала она.

Поезд остановился. Беспорядочные молниеносные идеи овладевали мозгом Никиты Алексеевича. Но он продолжал сидеть. За окошком швед в каракулевой шалке с бляхой поднял руку. В самый мозг вошел дикий свист паровоза. Поезд тронулся. Людмила Степановна разжала руки и точно спустилась.

Затем они в сотый раз стояли в проходе, сидели в купе, произнося слова, не имеющие никакого смысла, боялись своих движений, прикосновений рук. Никита Алексеевич глядел на нее не отрываясь, и все обольстительнее казался ему каждый ее волосок. Когда встречались их глаза, — пропадал шум поезда и останавливалось время.

Мимо их открытого купе проходил толстяк в помятом мышинном жакете. Взглянув на красивую даму, он неожиданно сползнулся, выронил сигару и сказал: «Виноват». У Людмилы Степановны задрожал подбородок. Обозов закрыл стеклянную дверь и дернул занавеску. Она продолжала смеяться. Тогда он притянул ее к себе, обнял и стал целовать. Она, молча и вдруг вскочив, сопротивляясь, воскликнула отчаянно:

— Только не это. Ради бога. Не здесь. Не сейчас. — Лицо ее искажилось.

Никита Алексеевич взялся за голову и выпал из купе; в

коридоре столкнулся с кем-то, живо отскочившим; прошел к себе и лег ничком...

Пробудила его уверенность, что она здесь, и он быстро сел на койке. У двери стояла Людмила Степановна, прижимая что-то обеими руками к груди; синяя лампочка светила над ее головой. Всем телом он потянулся было к ней, но тутчас опустил руки, — такой ужас мерцал в ее расширенных глазах.

— Что вы делаете? — прошептал он и вдруг понял все, что произошло и сейчас, и за эти три дня. — Положите пиджак, — сказал он отрывисто. Когда же она качнулась к двери, быстро схватил ее за худую, бессильную руку у локтя и повторил криком: — Вы с ума сошли... Вы с ума сошли...

С бессильным стоном она бросила его сжеду:

— Я хотела только посмотреть... Мне не нужно... Я не могла иначе... Он приказал... Он не пожалеет... Выдаст... Убьет... Я ничего не трогала... Возьмите...

Она дрожала, глядя на Обозова, торопливо и неловко натягивающего пиджак.

Затем он встал и замкнул дверь, сделав это почти бессознательно, вынул револьвер, но тутчас сунул его в карман:

— Вам придется сойти на первой же станции.

Она ответила шопотом:

— Спасибо...

— Подождите, — резко перебил он, — я вас не пущу, сами понимаете, — не я, так другой попадется. Сидите!

И она сейчас же присела, продолжая глядеть в глаза. Тогда он, совсем уже не зная для чего, спросил:

— Зачем вы врала?

— Я не врала... Я вас люблю...

Это было неожиданно, дико, натло. Обозов пробормотал:

— Не смейте говорить об этом...

— Клянусь вам...

Она даже привстала, чтобы всмотреться, и, поняв, что он ничему теперь не поверит, все же повторила чужим, нерсным голосом, что любит. Ему захотелось прибить ее, но даже горло перехватило от отворачивания. Тихим, точно сонным, голосом она проговорила:

— Ударьте меня или убейте, не все ли равно. Когда вы меня поцеловали в снегу, — я в вас влюбилась. Я вас люблю два дня. Ни один человек не был мне так дорог. Я продажная, воровка, я шпионка. Вы моей жизни не знаете. Но перед вами я ни в чем не виновата. Милый, любимый, страсть моя...

У нее стучали зубы.

— Что вы там бормочете?.. Я запрещаю, слышите! Молчите! — крикнул он, сжимая кулак.

Людмила Степановна спустила голову, и он услышал звуки, — она глотала слюну...

— Вы не одна, с вами спутник? — спросил он. — Она кивнула. — Вы должны были передать ему украденные документы? Он в нашем поезде? Мальчишка в вязаной шапке? Я так и знал.

Он нарочно спрашивал громко, решительным голосом. Дышать было нечем в купе. От синего, неясного света Людмила Степановна, сидящая комочком, казалась еще меньше и беззащитнее... Откашлявшись, он сказал:

— Я выйду, а вы тут посидите.

И, очутившись в коридоре, стал вытираться платком. «Ну, конечно, врет! И вздохи, и слезы, и тот дурацкий поцелуй! Просто—ловкая баба. Еще бы минутка... И, боже мой, непоправимо! Уф!..» Бормоча и спотыкаясь, он пошел подалее от купе. «Нет, матушка, с такими, как вы, не церемонятся... Другой бы прямо — бац из револьвера, потом — пожалуйте, вяжите меня, и был бы прав».

С площадки неожиданно открылось Никите Алексеевичу изумительное зрелище: поезд огибал крутой склон горной гряды, лежащей подковой, и глубоко внизу, куда отвесно падали скалы, расстилалось огромное и длинное озеро, залитое лунным светом. Круглая луна невысоко висела над щетинистым хребтом. Изгибы гор чередовались черными и ослепительно-снежными планами.

Вдруг вагон нырнул в тоннель, темнота ударила по глазам. Никита Алексеевич невольно отшатнулся от железной двери открытой площадки, и в это время крепкие руки сзади охватили его шею и с силой пригнули вниз.

Нападавший был тяжел, мускулист, сильно дышал, наваливаясь, и пальцы его с бешеной торопливостью мяли и сдавливали горло. Обозов на секунду потерял сознание, затем почувствовал, как тот, продолжая одною рукою душить, другою шарит в кармане. Он крепко схватил эту руку выше запястья, свернул, и она хруснула. Нападавший замычал и рванулся, увлекая за ноги и Никиту Алексеевича. В темноте они продолжали борьбу, отбрасывая друг друга к входной решетке; грохот колес заглушал вскрики.

Очевидно, у нападавшего была повреждена рука, он слабел. Тоннель так же внезапно окончился, и сильный лунный свет ударил в лицо. Обозов увидел знакомые светлые, без зрачков, глаза, и с яростью, той яростью, когда кричишь и не слышишь крика, когда выкатываются глаза, и—только лютая, дикая, пьяная злоба. — так и сейчас он приподнял противника, швырнул его спиною о железную решетку и разжал руки. Юноша ахнул, перевалился и упал на камни; сейчас же тело его, подхваченное землей, перевернулось, подскочило и уже неживым мешком покапилось по обрыву в озеро. Никита Алексеевич, перегнувшись, глядел на него. За поворотом все скрылось.

Поезд остановился на разъезде. Обозов, покачиваясь, вошел в вагон: дверь купе была открыта. Людмила Степановна исчезла. Он тяжело опустился на койку, положил на столик локти, сжал лицо ладонями и застыл.

Не спавший всю ночь, с болью в висках, помутый и желтый, Обозов сел в Бергене на пароход, грузивший бумагу и кожи.

Дул сильный ветер с моря. На набережной по снегу и грязи хлюпали прохожие, гремели окованные колеса фур;

моряки, в негнувшихся сапогах и кожаных шляпах, топтались у скрежеставших лебедек, катали боченки, и ветер отдувал полы их ватных курток. Несколько дам, с детьми и няньками, дрожали от холода около изящных чемоданов, брошенных в грязь. Юркий агент Кука, неизменно улыбаясь, приставал к сердитому господину в очках, борющемуся с ветром, с агентом, с одышкой, с грязью, летящей с автомобильных шин. Над северным мокрым городком, расположенным по склонам горной подковы, волоклись серые облака, задевали за шпильки киров, за сосны, бурые скалы, ползли вверх по лесным гребням.

То стоя на палубе, то забредая внутрь парохода, морщась от боли в виске, Никита Алексеевич ждал только, — поскорее бы отвалить, закачаться на волнах, лечь, забыться и спать до самой Англии.

В это время в кают-компании две поджарые пожилые женщины, в крахмальных фартуках и чепцах, и солидный лаковой накрывали белоснежный стол серебром, хрусталем, багровыми омарами, глыбами сыра, кусками холодной свинины и мяса.

Наверху, в курительном салоне с окнами, где были вставлены диапозитивы с норвежских курортов, десятка два мужчин курили сигары и трубки, пили аперитив. Здесь были шведы, датчане, широкоплечие североамериканцы, норвежцы, со щеками, обветренными в горах. Все одеты в крепкую обувь, с свободное сукно, имели отменный аппетит, веселый нрав и неизменное душевное равновесие.

На палубе звенел колокол, скрежетали цепи лебедек, гремели катящиеся боченки, и слова команды раздавались коротко и резко. В вантах сильно свистел ветер. Это был иной мир, бодрый и свежий, бесконечно далекий от вагонных переживаний. И вспоминать, копаться в своих чувствах казалось здесь просто стыдным. Хотелось быть вымытым, крепким, свежим, как этот ветер.

Пароход вышел из гавани и повернул на юго-запад, навстречу сильной зыби. Началась качка. Тяжелые волны били в правый борт, поминутно заливая иллюминаторы зеленоватой пенистой влагой. Каюта вместе с койкой, занавесками и лакированным умызальником кренилась, трещала и не успевала оправиться, как обрушивался новый вал.

Никита Алексеевич вышел на верхнюю палубу. Он плаотно, как и все, пообедал, выпил несколько стаканов вина и, возбужденный густым соленым ветром, терпким бургундским и движением высокого пароходного носа, ходил по мокрой палубе, подняв воротник, приседая во время крена или придерживаясь за фальшборт. Ему было вольно стоять под ледяными брызгами, на ветру. То, что он убил, не мучило его: человек, вчера сброшенный им под откос, был не его враг или соперник, а враг армии, народа, и вина смерти словно разлагалась на всех, да и не было вины, а только чувство удачи, взятого верха. По-иному обстояло с Людмилой Степановной; здесь уже выручали ветер и величие Северного моря. Он понимал, что виноват ужасно, и спрадал от от-



вращения и жалости. Когда вспоминалась измученная страхом, полоумная, изолгавшаяся женщина, комочком сидящая в углу дивана, ее острые плечи и сдавленные звуки, точно она глотала слюну, Никита Алексеевич тряс головой, отгоняя этот призрак, подолгу глядел на свинцовый бурый океан.

Мутные волны, пронизанные поною во всю толщину, громоздились, как холмы, одна на одну, пучились, шипели; ветер срывал и стаал их белые гребни; треща, пароходный корпус поднимался наискосок на эту живую гору, мачты и реи клонились, нос повисал над бездной и спустя мгновение уже падал вниз, в водную долину, а громада воды обрушивалась за кормой. И снова громоздились холмы на холмы, загораживая небо. Низкие рваные тучи проносились над водой, словно зарывались в нее, и косыми полосами сыпались из них крупа и ледяной дождь. Холодное серое небо, взлохмаченное море, и ветер, и невольная печаль севера оковывали душу.

«Либо отравится,—думал он,—либо повесят... И сама знает, что кончит скверно. А как метнулась тогда к уединенному домику.. «Пожить бы здесь до весны...» На большее и не рассчитывала,—до весны...»

Солнце, невидимое весь день, проглянуло не надолго из-за клубящихся туч, залило их багровым светом, осветило косые полосы града, гребни волн, ставших еще больше и будто бесшумнее, и закатилось. На мачтах зажгли огни. Море померкло и приблизилось. Дрожа от холода, Обозов пошел в курительную.

Здесь только два норвежца, красные от духоты, играли в домино, да сердитый господин в очкахпил виски, держа бутылку содовой между колен. Обозов перелистал журналы, покосился на сердитого господина, боровшегося с тошнотой, зевнул и побрел вниз.

В коридоре его остановила горничная, проговорив шепотом:

— Вас желает видеть одна дама. Пожалуйста за мной.

— Какая дама? Что за вздор? — ответил он, берясь за медную штангу, — и вдруг почувствовалась качка, и головокружение, и духота. —Какая дама, спрашиваю я?..

И сейчас же пошел вслед за улыбающейся горничной, отворившей дверь крайней каюты. Здесь с порога он увидел Людмилу Степановну, лежащую в кружевном растерзанном капоте на каком-то титровом одеяле. К голове ее — прислонен пузырь с горячей водой, рука бессильно свесилась до пола, и только глаза горели, сухие и жадные.

— Я безумно страдаю,—проговорила она хрипловатым голосом,—сядьте в ногах. Я хотела вас еще раз видеть. В Англии меня арестуют. Но я ничего не прошу у вас. Пожалейте меня.

Никита Алексеевич, сев в ноги, держа шапку, проговорил сквозь зубы:

— Жалею...

— Я вас люблю безумно. Я схожу с ума. Мне так не жить. Вы, вы, вы во всем виноваты. О, как я страдаю.

Она схватилась за сердце, потом за горло и страшно по-

баеднела. Припадок слабости миновал, и опять глаза ее загорелись.

— Только чтобы отвязаться, я решила украсть ему документы. Да, да, — она подняла руку и погрозила, — я его ненавидела. Он зарезал бы вас во сне, если бы не я. Вы все это и без меня знаете... Вы притворяетесь, вы лжете, вы любите меня. Вы не уйдете от меня.

Ею овладела слабость, лицо покрылось потом. Никита Алексеевич сильно почесал за ухом у себя.

— Да поймите же вы, смешная женщина, — сказал он, — я не могу вас любить. Ничего у нас не выйдет.

— Вы не смеее так говорить о любви.

— А мне противно, когда вы употребляете это слово. — Он поднялся.

— Боже, какой мрак! — закричала Людмила Степановна, цепляясь за его рукав. — Почему вы меня разлюбили? Разве я хуже, чем третьего дня? Я — лучше. Я всем пожертвовала, все отдала. Я — ваша, ваша, ваша!

Кружевной капотик сполз с талого ее плеча. Она закатывала глаза. Никита Алексеевич глядел на нее. Она была слишком жалкой. Сердце его холодело.

— Ну, прощайте, — сказал он, освобождая рукав.

Тогда Людмила Степановна сунула руку за подушку, вытащила маленький револьвер, — он дрожал и вертелся у нее в пальцах, — приподнялась и стала целиться. Обозов, стоя в дверях, пожал плечами:

— Подымите предохранитель.

Тогда Людмила Степановна швырнула револьвер, ткнулась головой в подушку, стиснула ее зубами. Обозов постоял, наклонился над дамой, осторожно прикрыл углом тигрового одеяла ее ноги и вышел.

Когда на следующее утро пароход подвалил к пустынной набережной Нью-Кеслэ и из ворот железного амбара вышли агенты полиции, чтобы подняться на палубу для проверки документов, Обозов увидел в толпе пассажиров Людмилу Степановну. Кутаясь в шубку, с расгербанной улыбкой, она пробиралась к трапу; здесь ее остановили, и чиновник долго со всех сторон оглядывал паспорт. От амбара отделились два равнодушных «бобби» и взошли на пароход. Никита Алексеевич продолжался к чиновнику, показал свою карточку и, положив руку на пышную муфту Людмилы Степановны, сказал:

— Эта дама едет со мной. Я за нее ручаюсь.

В тот же день он сам отвез ее на «Авраама Линкольна», — пароход транс-атлантической линии, отходящий ночью в Нью-Йорк, — и, прощаясь, сказал единственную фразу за весь день:

— Я не прошу простить меня. Я тоже никогда вам не прошу. Когда вам понадобятся деньги, — сообщите. Будьте счастливы.

Людмила Степановна молча заплакала. Он сошел по сходням вниз и, не оборачиваясь, пропал в толпе.

## ДРЕВНИЙ ПУТЬ

**Т**емной весенней ночью по отвесному трапу на бак океанского парохода поднялся высокий человек в военном плаще. Поль Торен поднимался медленно, со ступеньки на ступеньку, — с трудом. От света мачтового фонаря на его кепи три золотых галуна. Он обогнул облепленную илом якорную цепь и остановился на самом носу, — облокотился о перильца и так застыл, не шевелясь. Лишь край его плаща отдувался встречным слабым движением воздуха.

На пароходе светили только отличительные огни — зеленый и красный, да два топовых на мачтах терялись вверху в незаметной пелене тумана. Задернутыми были и звезды. Ночь темна. Внизу, на большой глубине, железный нос с тихим плеском разрезал воду.

Прислонившись к перилам, Поль Торен глядел на воду. Лихорадка жгла глаза. Ветерок проходил сквозь все тело, и это было не плохо. О каюте, горячей койке, о заснувшей под колючей лампочкой сестре милосердия — болезненно было подумать: белая косынка, кровавый крест на халате, пергаментное лицо унылого спутника страдающих. Она провожала Поля Торена на родину, во Францию. Когда она задремала, он потихоньку вышел из каюты.

В черной, как базальт, воде проплыло светящееся животное — какой-то длинный розоватый крючок с головой морского конька. Лениво шевеля плавниками, оно с юмором поглядывало на надвигающееся днище корабля, покуда встречные струи не увлекли его в сторону. Вода была прохладна, глубина блаженна... Пусть сестра с кровавым крестом сердится. Вытис, — Поль чувствовал это с печальным волнением, — скоро окончится для него, как тропинка, обрывающаяся в ночную пропасть, и оттого неизмеримо важнее микстур, койки, безвкусной еды была эта ночная тишина, где тлели величественные воспоминания.

Путь, которым шел пароход, был древней дорогой человечества из дубовых аттических рощ в темные гиперборейские страны. Его называли Геллеспонтом в память несчастной Геллы, упавшей в море с золотого барана, на котором она вместе с братом бежала от гнева мачехи на восток. Несомненно, о мачехе и баране выдумали пелазги, пастухи.

бродившие со стадами по ущельям Арголиды. Со скалистых побережий они глядели на море и видели паруса и корабли странных очертаний. В них плыли низенькие, жирные, большеносые люди. Они везли медное оружие, золотые украшения и ткани, пестрые, как цветы. Их обитые медью корабли бросали якорь у девственных берегов, и тогда к морю спускались со стадами пелазги, рослые, с белой кожей и голубыми глазами. Их деды еще помнили ледниковые равнины, бег оленей лунной ночью и пещеры, украшенные изображениями мамонтов.

Пелазги обменивали на металлическое оружие животных, шерсть, сыр, вяленую рыбу. Они дивились на высокие корабли, украшенные на носу и корме медными гребнями. Из какой земли плыли эти низенькие носатые купцы? Быть может, знали тогда, да забыли. Спустя много веков ходило предание, будто бы выдали пастухи, как мимо берегов Эллады проносились гонимые огненной бурей корабли с истерзанными парусами и пловцы в них поднимали руки в отчаянии, и будто бы в те времена страна меди и золота погибла.

Правда ли это было? Должно быть, что так: память человеческая не лжет. Передавали в песнях, что с тех пор стали появляться в пустынной Элладе герои, закованные в медь. Мечом и ужасом они поработали пелазгов; называя себя князьями, заставляли строить крепости и стены из циклопических камней. Они учили земледелию, торговле и войне. Они сеяли драконовы зубы, и из них рождались воины. Они внесли дух тревоги и жадности в сердца голубоглазых. Над Элладой поднималась розовоперстая заря истории. Медный меч и золотой треножник, где дымилось дурмящее курево, стояли у колыбели европейских народов.

Потомок пелазгов Поль Торен на тех же берегах Средиземного моря был пронзен пулей в верхушку легкого, отравлен газом, брошенным с воздушного корабля, и, умирая от туберкулеза и малярии, возвращался из пылающей Гипербореи в Париж той же дрезней дорогой купцов и завоевателей, — дорогой, соединяющей два мира — Запад и Восток, — дорогой, текущей между берегов, где под холмами лежат черепки исчезнувших царств, — дорогой, где глубоко на дне дремлют среди водорослей ладьи ахейцев, триремы Митридата, пышные корабли Византии, а на отмелях у глинистых обрывов валяются заржавленные днища подорванных и выбросившихся пароходов.

Казалось, — это казалось Полю, — он завершает сейчас круговорот тысячелетий. Его ум, растревоженный лихорадкой и ощущением своей близкой смерти, силился охватить всю борьбу, расцвет и гибель множества народов, прошедших по этому пути. Воспоминания вставали перед ним, как ожившее бытие. Через несколько дней, быть может, погаснет его мозг, вместе с ним погибнет то, что он нес в себе, — погибнет мир. Какое ему дело, — будет ли мир существовать, когда не будет Поля Торена? Мир погибнет в его сознании — это все. Прислонясь к перилам, покрытым росой, глядя в темноту, он заканчивал круговорот.

Прозвенели склянки. Сменялась вахта. Наверху, над капитанским мостиком, стояла бессонная фигура рулевого. Освещалось только его широкое лицо, склоненное над колонкой, где трепетала душа корабля — черная стрелка компаса. Темнота ночи густела. Воды внизу не было уже видно. Теперь казалось, что корабль летит в бесплотном пространстве. Это был предутренний мрак.

Лицо и руки Поля покрылись росой. Он содрогнулся. Сколько рук человеческих, раскинутых по земле с последней судорогой смерти, в эту ночь, — во все эти ночи, — будут покрыты такой же росой.. Каждый, вонзая зубы в землю, смешанную с кровью, железом и калом, унесет с собой тысячелетия отжитого, в каждом простреленном черепе с унылым грохотом рухнут и исчезнут тысячелетия культуры. Какая нелепость! Какое отчаяние! Если бы голубоглазому пращуру показать книгу жизни, перелистать все страницы грядущего, все цветные картинки, — «Это просто глупая и жестокая книжка, — сказал бы веселый пращур, почесываясь под бараньей шкурой. — Здесь какая-то ошибка: смотрите, сколько хорошего труда затрачено, сколько развелось народу, сколько построено отличных городов, а на последней картинке все это горит с четырех концов, и трупов столько, что можно неделю кормить рыбу в Эгейском море..»

«Где-то ошибка, где-то допущен неверный ход в шахматной партии, — думал Поль Торен, — история свернула к пропасти. Какой прекрасный мир погибает!»

Он закрыл глаза и с отчаянной жалостью вспомнил Париж, свое окно, голубоватое утро, голубые тени города, аллею бульвара и полукруглые крыши, теряющиеся в дымке, непросохшие капли дождя на подоконнике, внизу поныкание извозчика, везущего тележку с морковью, веселые голоса тех, кто счастливы тем, что живут в такое прекрасное утро. Вспомнил свой стол с книгами и рукописями, пахнущими утренней свежестью. И свой опьяняющий подъем счастья и доброты ко всему... Какую превосходную книгу он писал тогда о справедливости, добре и счастье! Он был молод, здоров, богат. Ему хотелось всем обещать молодость, здоровье, богатство. И тогда казалось — только идеи добросердечия, новый общественный договор, обогащенный завоеваниями физики, химии, техники, протянет эти дары всему человечеству.

Какой сентиментальный вздор! Это было весной накануне войны. Сгоряча и вправду показалось, что немцы — черти, дети дьявола, идущего приступом на божественные твердыни гуманизма. Сгоряча показалось, что над Францией развернуто старое знамя Конвента и за правду человека, за свободу, равенство и братство гибнут скошенные пулеметами французские батальоны.

Как хотелось Полю снова поверить в то утро, когда он от избытка счастья открыл окно на туманный Париж! Но если это счастье растоптано солдатскими сапогами, разорвано снарядами, залито нарывным газом, то что же остается? Зачем были Эллада, Рим, Ренессанс, весь железный гро-

кот девятнадцатого века? Или удел всему — холм из черепков, поросший колючей травкой пустыни? Нет, нет, — где-нибудь должна быть правда. Не хочу, не хочу умереть в такую безнадежную ночь!

— Мосье, вы опять вышли на воздух. Мосье, вам будет хуже, — проговорил за спиной заспанный голос сестры.

Поль вернулся в каюту, лег не раздеваясь. Сестра заставила его принять лекарство, принесла горячего питья. В глубине мягко постукивала машина. Позвякивали пузырьки с микстурами. Пожалуй, это было даже приятно, — точно капала-то надежда на спасение; теплый свет абажура, мягкая койка, куда, как в облако, ушло его костявое тело, горящее в лихорадке. Поль задремал, но, должно быть, на минуту. И снова горячечной вереницей поползли мысли. Бессонница сторожила его: нельзя спать, осталось немного часов, слишком драгоценно то, что проходит в его мозгу...

Одно из воспоминаний задержалось дольше других. Поль беспокойно заворочался, всунул холодные пальцы в пальцы, хруснул ими. Два месяца назад в Одессе он получил знакомый длинный конверт. Писала Люси, кузина, его невеста:

«Дорогой и далекий друг, мне бесконечно одиноко, бесконечно грустно. От вас нет вестей. Вы пишете матери и брату, но никогда — мне. Я знаю ваше угнетенное состояние и потому еще раз пытаюсь писать... Тяжело вам, тяжело мне. Четыре года разлуки — четыре вечности пролетели над моей бедной жизнью. Только мысль о вас, надежда, что, быть может, вам еще будут нужны остатки моей молодости, моего истерзанного сердца и вся моя огромная любовь, — заставляют меня жить, двигаться, делать все то же, все то же: лазарет, ночи около умирающих, вязание солдатских напульсников, чтение по утрам списков убитых... Франция — сплошное, всемогущее кладбище, где потребно целое поколение молодости, разбитых сердец, несбывшихся ожиданий... Мы, живые плакальщицы, монахини, преследующие мертвых. Париж становится чужим. Поль, вы помните, как мы любили старые камни города, они рассказывали нам беличественную историю? Камни Парижа замолчали, их попирают какие-то новые, чужие люди... И только старики у каминов еще воинственно размахивают руками, рассказывая о былой славе Франции... Но мы их плохо понимаем...»

В воспоминании оборвался текст письма, тысячу раз прочитанного Полем. Но он так и не ответил Люси. Не мог. О чем бы он написал дезушке, все еще пытающейся отдать ему свою печальную любовь? Что бы он стал делать с этой любовью? Что бы стал делать труп, которому в скрюченные руки всунули букет роз? Но почему-то его преследовала память о жалко, как у ребенка, дрожащих губах глупенькой Люси. Год тому назад он был в Париже (на один день) и тогда же, муча себя и ее, обидел Люси. Он сказал: «Вы видели жолда-нибудь, как с лестницы парижской биржи спускается буржуа, потерявший в одну минуту все состояние? Предложите ему букетик фиалок в виде компенсации»

ции... Вот! Ужасно, Люси. Я разорен, мне остается вернуться к погасшему костру в палеолитическую пещеру и отыскать среди хлама мой добрый каменный топор...» Тогда-то и задрожали еще невинные губы Люси... Но — жалеть ее, — вздор, вздор... Жалость — все тот же вздор из той же неоконченной книги, которую писало слепое счастье, а перелистывал весенний ветер... И жалость выжжена военным газом...

Под утро Поль снова не надолго задремал. Разбудил его хриплый рев парохода. Нервы натянулись. В иллюминатор был столб света, и отвратительными в нем казались желтые складки на лице сестры. Она взяла плед и повела Поля на палубу, усадила в шезлонг, прикрыла ему ноги.

Ревя всею глоткой, пароход выходил из Дарданелл в Эгейское море. На низких глиняных берегах виднелись обгоревшие остатки казарм и взорванных укреплений. На отвали лежал с утопленной кормой заржавленный пароход. Война была прервана на время, силы, ее вызвавшие, перестраивались, народам дано разрешение ликовать и веселиться. Чего же лучше!.. Утро было влажно-теплое. Пароход, немного завалившись на левый борт (реквизированный у немцев и перевозивший войска, беженцев и портящиеся грузы, пароход южноамериканской линии «Карковадо» в шесть тысяч тонн), все дальше уходил от земли в лазоревую пустыню. За его кормой косматое солнце все выше взбиралось на ужасную высоту безоблачного неба. Впереди вылетела колесом из солнечной воды черно-блестящая, с ножом плавника, спина дельфина. «Мама, мама, дельфин!» — по-русски закричал белокурый ребенок, стоя у борта и указывая худенькой ручкой на море. Перед кораблем резвилось стадо дельфинов. И стало понятно, что именно в такое утро в Эгейском зеркальном море под пляску дельфинов из белой пены поднималась, раскрывая светлые глаза, краса жизни — Афродита. «Ну, что же, попробуем ликовать и веселиться», — подумал Поль.

Белокурый ребенок висел на перилах, наслаждаясь водяными играми спугников Афродиты; его поддерживала мать в пуховом прыжном платочке на плечах, в стоптанных башмаках. На ее исплаканном лице застыл ужас пожаров России. В руке, давно немойтой, она сжимала морской сушарик. Какое ей было дело до того, что в солнечном мареве прищуренные глаза Поля как будто увидели тень «Арго», крутобокого, с косым парусом, сверкающего медью щитов и брызгами с весел дитяного корабля аргонавтов — морских разбойников, искателей золота... Он пронесся по тому же древнему пути из ограбленной Колхиды...

По широкой палубе прошла пожилая женщина в поддельных соболях поверх капота, сшитого из крестоной занавески. Лицом и движениями она напоминала жабу. За ней бежали две чрезвычайно воспитанные болонки с розовыми бантами. Эта ехала тоже из Одессы, везла в третьем классе четырех проституток, обманув их золотыми горами: «Доберитесь, цыпочки, только до Марселя». Вот она заспешила, на-

гнула голову к плечу и показала фальшивые челюсти, приветствуя знакомя — высокого, дрянно одетого мужчину с галтым лицом и закрученными усами. Этот сел в Константинополе, говорил по-польски, гордо разгуливал, куря длинную трубку, по которой текла слюна, и стремился найти аристократических партнеров, чтобы засесть в картишки. Проходя мимо Поля, он затрепетал ляжками из почтительности.

«Перед тибелью дома из всех щелей выползают клопы», — подумал Поль. Пароход поворачивал на юго-запад. Направо из-за моря поднимались острые лиловые вершины. Над ними клубились тучи. Грядой гигантских гор поднимался остров. Кругом — зеркальное море, пронизанная солнцем лазурь, а вдали гребнистый остров весь был покрыт мраком. Грозные тучи висели над ним, опускалась пелена дождя, и — как будто там и вправду был трон Зевса — разорванной нитью по тучам блеснула молния... До парохода долетел вздох грома.

— Это Имброс, курьезный островок, над ним всегда грозы, — проговорил за спиной Поля небритый черномаз в феске. Он еще вчера в перту предлагал Полю разменять любые деньги на любые или устроить знакомство с жабой, везущей четырех девочек, и советовал, между прочим, не садиться играть с усатым поляком в карты.

Поль закрыл глаза, чтобы kostявое лицо в феске не заслонило видения славы бога богов — Зевса. С левого борта приближался низкий берег Малой Азии, где каждый холм, каждый камень воспет гекзаметром, — земля героев, Трояда. За прибрежной полосой песка распустилась бурая равнина, изрезанная руслами высохших потоков. Вдали, на востоке, облачной грядой стояли вершины Иды, кое-где еще покрытые жилами снега.

Поль встал с шезлонга, подошел к борту. На этой равнине шумели некогда поля пшеницы и маиса, благоухали сады, бесчисленные стада спускались с Фригийских гор. Вот — кремнистое устье Скамандра: желтый ручей уходит полосой далеко в море. Налево — курганы, могилы Гектора и Патрокла. Здесь были вытащены на песок черные корабли ахейцев, а там, на выжженной равнине, где изрыта земля и курится дымок бедной хижины, — поднимались циклопические стены Трои с нависшими карнизами, квадратными башнями и золотой многогрудой статуей Афродиты азиатской.

С незапамятных времен эолийские греки плыли к берегам Троицы, селились там и занимались земледелием и скотоводством. Но скоро сообразили, что место хорошо, и стали строить крепость Трои у ворот Геллеспонта, чтобы захватить путь на Восток И Троя стала сильным и богатым царством. В торговые дни на базар — перед высокими стенами города — ехали скрипучие арбы с хлебом и плодами; вероломные славяне с границ Фракии везли бешеных коней, знаменитых быстротой бега; приезжали на богатых колесницах хетты из Богачея с товарами, сделанными по лучшим египетским образцам; фригийцы и лидийцы в кожаных колпаках



гнали стада круторунных баранов; финикийские купцы с накладными бородами, в синих войлочных одеждах, подгоняли бичами черных рабов с тюками и глиняными амфорами; почтенные морские разбойники, вооруженные обоюдоострыми секирами, приводили красивых рабынь и соблазнительных мальчиков, жрецы раскидывали палатки и ставили алтари, выкрикивая имена богов, грозясь и зазывая приносить жертвы. Со стен на суету базара глядели воины, охранявшие ворота. В городе были собраны неисчислимые сокровища, и слух о них шел далеко.

Эллада в те времена была бедна. Давно миновали пышные времена Микен, Тиринфа и Фив, построенных героями. Циклопические стены поросли травой. Земля неплодная; население редкое — пастухи, рыбаки да голодные воины. Цари Ахеи, Аргониды, Спарты жили в мазанках под соломенными крышами. Торговать было нечем. Грабить у себя нечего. Торговля шла мимо Эллады. Оставались легендарная слава прошлого, кипучая кровь, кидающаяся в голову, и необыкновенная предприимчивость. Цель была ясна: ограбить и разбить Трою, овладеть Геллеспонтом и повернуть купеческие корабли в гавани Эллады. Стали искать предлога к войне, а найти его, как известно, нет ничего проще. Впугали Прекрасную Елену. Подняли крик по всему полуострову, позвали Ахиллеса из Фессалии, нагав, что отдадут половину добычи. Спросили Додонского оракула и поплыли на черных кораблях, чтобы начать медными звуками гексаметра трахтысячелетнюю историю европейской цивилизации...

С тех пор и поныне не нашлось, видимо, иного средства поправлять свои дела, кроме меча, грабежа и лукавства. Герои Троянской войны были, по крайней мере, великолепны в привистых шлемах, с могучими ляжками и бычьими сердцами, не разведенными идями торжества добра над злом. Они не писали у открытого окна книг о гуманизме.

Пароход повернул к западу, низкий берег стал отдаляться. Паль снова сел в шезлонг. «Суррогат, — подумал он и повторил это слово: — ложь, которой больше не хотят верить... Гибель, гибель неотвратима... Историю нужно начинать сызнова... или...»

Он усмехнулся, слабо пожал плечом: это «или» давно уже насматывалось в минуты раздумий. Но за «или» следовало противосостояние: мир выворачивался наизнанку, как шкура, содранная со зверя.

На палубе появилась кучка русских эмигрантов. Один, молодой, с наглыми, страшными глазами, дергаясь и почесываясь, следил за игрой дельфинов.

— Попаду. Пари — хочешь? — спросил он хрипловатым баском и потащил из кармана ржавый наган.

Другой, бледный, с раздвоенной бородакой, остановил его руку:

— Брось. Здесь тебе не Россия. И вообще, брат, брось шпалер в море.

— Эге, брось... Сто двадцать душ отправлено им к чертовой матери... Его в музей надо...

Двое захохотали невесело, третий зашипел:

— Не орите... Капитан, кажется, задремал...

Русские офицеры оглянулись на Поля и на цыпочках отошли подальше. Солнце легло на палубу, на лицо, — Поля задремал. Сквозь веки спящие глаза его видели красноватый свет... Как странно, куда же девалось море? (Так подумалось) Как жалко, как жалко... (И он увидел...) Унылая осенняя равнина, телеграфные столбы, оборванные проволоки... Напастает зябкий ветерок... А лицу жарко... Внизу, под горкой, горят крытые соломой хаты — без дыму, беззвучно, как свечи. Беззвучно стреляет батарея по деревне, — ослепительны вспышки из жерл. Мрачны лица у артиллеристов... Это все свои — парижские... Дерутся за права человека... О, чорт! (Поля слышит, как скрипит его зубы...) «Вы должны исполнить свой долг!» — кричит он солдатам и чувствует, как лошадь под ним прогибается, спина ее — будто сломанная, без костей... И тут же, на батарее, между людьми вертится этот — с наглыми, страшными глазами, с наганом... Новыноσιμο лобезит, все чешется, похохатывает... И вдруг руками начинает быстро-быстро рыть землю — по-собачьи. Вытаскивает из земли, встряхивает двоих в матросских бескозырьках, подводит под морду прогнувшейся лошади: «Господин капитан, вот — большевики!» У них — широкие лица, странной усмешкой открыты зубы, а глаза... Ах, глаза их таинственно закрыты... «Ты застрелил их, негодяй!» — кричит Поля наглому вертуну и силится ударить его стожком, но рука будто ватная... Неистово бьется сердце. Если бы только матросы открыли глаза, он впился бы в них, разгадал, понял...

Поля разбудил обеденный звонок. И снова сияло молочно-голубое море. Вдали проходили гористые острова. Изодранный за войну, ржавый «Карковадо» плыл, как по небесам, накренившись на левый борт, по этой зеркальной бездне. Солнце клонилось к закату. Редко из-за края воды и неба поднимался дымок. Под вечер михорадка отпускала Поля, и слабость наваливалась на него ступидовым тюфяком. Холдели руки, ноги. Это было почти блаженно.

Ранним утром «Карковадо» бросил якорь у Салоник в грязно-желтые воды залива. Город, видный, как на ладони, между бурыми и меловыми холмами, был сожжен. Развалины древних стен четырехугольником ограничивали унылое пожарище, где иглами поднимались белые минареты. Жарко пекло солнце. Меловые холмы, казалось, были истоптаны до камня подошвами племен, прошедших здесь в поисках счастья. От набережной отделилась барка с солдатами. Маленький буксирчик, пыхтя в солнечной тишине, подвел к «Карковадо» барку. Со скрипом опустили трап. И попарно побежали наверх зуавы в травяного цвета френчах, — красных штанах, красных туфлях. Смесь и кидая мешки и флажки, они легли на теневой стороне верхней палубы. Запахло потом, пылью, пополз табачный дым. Зуавам было на чорта наплевать: их пытались было перебросить в Россию, на одес-

ский фронт. В Салониках они заявили: «Домой!» — и выбрали батальонный совет солдатских депутатов. Тогда сочли за лучшее отправить их по домам. «Вот это — дело! — ржали зуавы, катаясь от избытка сил по палубе. — К чорту войну! Домой, к бабам!..»

До полудня грузили уголь. Сгибаясь под тяжестью корзин, поднимались по зыбкому трапу оборванцы, — головы их были обвязаны тряпками, — греки, турки, левантинцы; все они были одинаково черны от угольной пыли, каплями ваксы капал пот с их аттических носов. Пустые корзинки летели вниз, в барку. С мостика ругался в рупор помощник капитана. Лениво висели пассажиры на бортах. Наконец «Карковадо» заревел, запенилась грязная вода за кормой. Зуавы замахали фесками берегу. И — снова лазурь, древняя тишина.

Вдали, справа, проплыл Олимп снеговой шапкой с лиловыми жилками. Зевс был милостив сегодня — ни одно облачко не затеняло сверкающей вершины. Вот и Олимп ушел за море. Зуавы храпели в тени под висящими лодками. Иные играли в кости, выбрасывая их из кожаного стаканчика на палубу. Один, широкоплечий, с бровями и ресницами светлее загара, посадил на колени маленького русского мальчика и нежно, лапой глядя его волосы, расспрашивал на незнакомом и дивном языке о существенных событиях жизни. Мать издали с тревогой и радостной улыбкой следила за первым успехом сына среди европейцев... Нет, нет, ни один из этих людей не хотел вместе с Полем лезть в могилу, кончать историю человечества.

Близко теперь — то с правого, то с левого борта — проплывали острова высокими караваями, с каменистыми проплатинами, покрытые низкорослым леском. Море у их подножия было зеленое, они зеркально отражались в нем, и там не было дна, — опрокинутое небо. У одного островка прошли так близко, что были видны черноголовые дети, копошившиеся у порога хижины, сложенной из камней и прислоненной к обрыву. Женщина, работавшая на винограднике, заслонилась рукой — глядела на пароход. Полосы виноградников занимали весь склон. С незапамятных времен здесь кирками долбили шифер, чтобы из каменной пыли, впитавшей свет и росу, поднималась на закрученной лозе золотистая гроздь — сок солнца. Вершина горы была гола. Бродили рыжие козы, и стоял человек, опираясь на палку. На нем была войлочная шляпа, какую рисовали кирпично-красным на черных вазах гомеровские греки. И пастух, и женщина в полосатой юбке, и дети, играющие со щенком, и беловолосый старик внизу в лодке — проводили равнодушными взглядами истерзанной войною пароход, где постукивал зубами от лихорадки и озноба смертных мыслей Поль Торен, лежа под пледом в шезлонге.

Когда раздался звук трубы — тра-та-та-таааа, — зуавы горохом посыпались с палубы на корму. Там у открытого дощатого камбуза высокий негр в белом колпаке черпал из дымящихся котлов, разливал суп в солдатские котелки. «Полней, горячее!» — кричали зуавы, смеясь и толкаясь.

Вонзали зубы в хлеб, со звериным вкусом хлебали бобовую похлебку, запрокинув голову, лили красной струей в рот вино из манерок. Еще бы: в такой горячий, лазурный день можно съесть гору хлеба, море похлебки! За камбузом, привязанный к стреле подъемного крана, стоял рыжий старый бык, взятый в Салониках. Он мрачно озирался на веселых солдат. «Съедят,—очевидно, думалось ему,—завтра непременно съедят...» Зуав с пушком на губе, с длинными глазами, взмахнув манеркой, закричал ему: «Не робей, старина, завтра принесем тебя в жертву Зевсу!»

На солдатский обед смотрело с верхней палубы семейство сахарозаводчика, бежавшее из Киева. Здесь были сам сахарозаводчик, похожий на лысого краба в визитке; его сын, лирический поэт с книжечкой в руке; мама в корсете до колен и в собольем меху, из которого торчал седоватый кукиш прически; модно одетая невестка, боящаяся прубостей; трое детей и нянька с грудным ребенком. Папа-краб негромко хрипел, не вынимая изо рта сигары:

— Мне эти солдаты мало нравятся, я не вижу ни одного офицера, у них мало надежный вид.

— Это какие-то грубияны,—говорила мама,—они уже косились на наши сундуки.

Сын-поэт глядел на полосу пустынного берега Эвбеи. «Хорошо бы там поселиться с женой и детьми, не видеть окружающего, ходить в греческом хитоне»,—так, должно быть, думал этот богатый молодой человек с унылым носом.

Зуавы снизу отпускали шуточки:

— Смотри, вон тот, пузатый, наверху, с сигарой...

— Эй, дядя краб, брось-ка нам табачку...

— Да скажи невестке, чтоб сошла вниз, мы с ней пошутим...

— Он сердится... О, ля-ля! Дядя краб, ничего, потерпи,—в Париже тебе будет не плохо.

— Мы напишем большевикам, чтобы вернули тебе заводы...

Шумом, хохотом, возней зуавы наполнили весь этот день. Горячая палуба трещала от их беготни. Им до всего было дело, всюду совали нос,—будто взяли «Карковадо» на abordаж вместе с пассажирами первого класса. Папа-краб ходил жаловаться капитану, тот только развел руками: «Жалуйтесь на них в Марселс, если угодно...» Дама с собачками, сильно обеспокоенная за участь своих четырех девушек, заперла их на ключ в каюте кочегара. Русские офицеры не показывались больше на палубе. Поляк, возмущенный хамским засилием, тщетно искал приличных партнеров. Выполз из трюма русский общественный деятель, англофил, в пенсне, с растрепанной бородой, где засела солома, и стал наводить панику, доказывая, что среди зуавов—переодетые агенты чека и не миновать погрома интеллигенции на «Карковадо».

Ночью огибали Пелопоннес — суровую, каменистую Спарту. Над темным зеркалом моря сияли крупные созвездия, как в сказке об Одиссее. Сухим запахом полыни тяну-

ло с земли. Полю Торен припоминал имена богов, героев и событий, глядя на звезды, на их бездонные отражения. Снова ночь без сна. Он измучился дневной суетой. Но странное изменение произошло в нем. Глаза поминутно застилало слезами. Какое величие миров! Как мала, быстролетна жизнь! Как сложны, многокровны ее законы! Как он жалел свое сердце—больной комочек, отбивающий секунды в этой блистающей звездами вселенной! Зачем вернулось желание жить? Он уже примирился, уходил в ничто печально и важно, как развенчанный король. И вдруг — отчаянное сожаление... Зачем? Какие чары заставили снова потянуться к солнечному вину? Зачем это нагромождение мучений?.. Он старался сызнова восстановить ткань недавних мыслей о гибели цивилизации, о порочном круге человечества, о том, что, уходя, он уносит с собой мир, существующий постольку, поскольку его мыслит и одухотворяет он, Полю Торен... Но ткань порвалась, лохмотья исчезали, как туман. А в памяти переключались веселые голоса зуавов, стучали их варварские шаги. Вспомнил пастуха на вершине острова, женщину, срезающую виноград, черных грузчиков, с хохотом швыряющих вниз угольные корзинки...

«Так будь же смелым, Полю Торен! Тебе терять нечего. Есть твоя культура, твоя правда, то, на чем ты вырос, то, из-за чего считаешь всякий свой поступок разумным и необходимым... А есть жизнь миллионов... Ты слышал толот их ног по кораблю?.. И жизнь их не совпадает с твоей правдой. Они, как те синеглазые пелагги, смотрят с дикого берега на твой гибнущий корабль с изодранными парусами. Взывай с поднятыми руками к своим богам. В ответ с неба только огонь и грохот артиллерийской канонады...»

. . . . .

Эту ночь Полю провел на палубе. Утренняя заря разлилась коралловым, розовым сиянием, теплый и влажный ветер заполоскал солдатское белье на вантах, замычал рыжий бык, и из воды, как чудо, поднялся шар солида. Ветер затих. Пробили склянки. Раздались хриповатые голоса просыпающихся. Начался жаркий день. Зуавы босиком, подтягивая штаны, побежали мыться, с диким воем обливали друг друга из брандспойта. Задымился дощатый камбуз. Высокий негр в белом колпаке скалил зубы.

Сквозь пену бессонницы Полю Торен увидел, как за кормой парохода потонула густой кровавый след, окрашивая пену. Это в жертву Зевсу был принесен бык. Он лежал на боку с раздутым животом, из перерезанного горла текла кровь по желобу в море. Туда же бросили его синие внутренности. Ободранную тушу вздернули на мачте. Размахивая опромной ложкой, негр держал зуавам речь о том, что на реке Замбези — его родине — еду называют кус-кус, и что эта туша — великий кус-кус, и хорошо, когда у человека много кус-куса, и плохо, когда нет кус-куса!..

— Браво, шоколад!.. Свари нам великий кус-кус! — топая от удовольствия, кричали зуавы.

Пылало солнце. Через море лежал сверкающий путь. Воздушные волны зноя колебались на юге. Казалось—там, у берегов Африки, бродят миражи. В полдень из раскаленного дугра парохода послышался короткий пронзительный женский крик. Затем засмеялось несколько мужских голосов. Жаб с собачками, выкатив глаза, перекосившись, пробежала по палубе, за ней—собачки с бантами. Оказываются—жавы пронюхали, где сидят четыре девчонки, и пытались распахнуть дверь в кочегарке. Были приняты какие-то меры. Все успокоилось. Первый класс казался вымершим. Зуавы лежали в одних тельниках на раскаленной палубе. Поль Торен мучительно хотел согреться, но солнце не прожигало озноба, постукивали зубы, красноватый свет заливал глаза.

— Плохо, старина?—спросил за спиной чей-то голос, негромкий, суровый.

Не удивляясь, не оборачиваясь, Поль пошевелил ссохшимися губами:

— Да, плохо.

— А зачем заваривали кашу? А зачем варите эту кашу? Теперь понимаешь—что такое ваша цивилизация? Смерть...

Ледяной холодок перебежал по сухой коже, гудело в ушах, как будто гудели мажовые колеса. Полю показалось, что от его шезлонга кто-то отошел... Быть может, почудилось, потому что хотелось услышать звук человеческих шагов. Но нет, он даже чувствовал запах солдатского сукна того человека, кто сказал ему дерзкие слова... Значит—правда, что на пароходе агенты чека... Жаль, что прервался разговор...

И сейчас же на глаза Поля спустилась зыбкая картина воспоминаний. Он увидел...

...Глиняные стены жаркой хаты, большая белая печь с нарисованными на углах птицами и цветками. На земляном полу лежит на боку человек в коротком полушубке, руки завязаны за спиной. В кудрявых волосах запеклась кровь. Лицо, бледное от ненависти и страдания, обращено к Полю. Он говорит по-французски с трубоватым акцентом:

— Откуда приехал, туда и уезжай... Здесь не Африка; мы хоть и дикие, да не дикари... Свободу свою не продадим, а последнего человека будем драться... Слышишь ты—России колоний не бывает! Врешь, брат, под твоими красивыми словами—плантатор.

— Какой вздор!—Поль страшно искренен.—Какой вздор! Мы не о колониях думаем. Мы спасаем величайшие ценности. Однажды было нашествие гуннов, мы разбили их на Рейне. Теперь разобьем их на Днестре.

Лежащий нагло усмехнулся:

— Ты что же—из идеалистов?

— Молчать!—Поль стучит перстнем по дощатому столу.—Говорить вежливо с офицером французской армии!

— Чего мне молчать, все равно расстреляешь,—говорит связанный человек.—И напрасно... Ох, пожалеешь... Лучше развяжи мне руки, я уйду. А ты уезжай во Францию, да револьвер—не позабудь—по дороге брось в море... Все равно—ваше дело проиграно. Нас—полмиллиарда. Твои руки—это мы, твои ноги—мы, брюхо твое—мы, голова—мы... А

что твое? Ценности? Культура? — Наша... Хранителей других поставим, и — наша. (Раненый подполз к столу. Глаза его, расширенные, дикие, страшные — овладевали, давили...) Я вижу — ты честный человек, ты, может быть, один из лучших... Зачем же ты на их стороне, не на нашей?.. Они отравили тебя газом, заразили лихорадкой, пронзили твою грудь... Они растлали все святые... Так зачем же ты с ними? Кусок хлеба и мы тебе обещаем... Проведи рукой по глазам, сними паутину веков... Проснись... Проснись, Польш...

Польш Торен со стоном открыл глаза. Когда кончится эта пытка? Колющие, перепутанные осколки воспоминаний, дневная суэта перед глазами, гул стекающих маховиков в ушах... Скорее бы темнота, тишина, небытие!

Погас и этот день. Снова над морем — пылающие миры, потоки черного света, в фокусах их скрещений возникающие из квантов энергии клубки первичной материи, и, гонимые светом из конца в конец по чечевице вселенной, летят семена жизни. Из одной такой микрожизни возник Польш Торен. И снова когда-нибудь его тело, его мозг, его память раскинется пылью атомов в ледяном пространстве.

В эту ночь, как в предыдущую, сестра не могла увести его в каюту. Когда она от досады заплакала, он поднял дрожащий, сухой, как сучок, палец к звездам:

— Это мне нужно ваших микстур.

Ранним утром проходили мимо Калабрии: дикий берег, острые зубья скал, нагромождения лилово-серых камней. Редкие кусты в трещинах. Выше — террасы бурых плоскогорий. Кое-где кучки овец. На мысу — такой же, как камни, замок, — башня, развалины стен: старое разбойничье гнездо, откуда выезжали грабить корабли, заносимые штормом к этому чортову месту. Налево в мгlisto-солнечном тумане курился дым над снежной вершиной Этны, голубели берега Сицилии. «Карковадо» несся по коротким волнам пролива, которого так боялся Одиссей. На палубу вышло семейство сахарозаводчика — все в спасательных поясах. Оказывается, здесь была опасность встретиться с блуждающей миной. Зуавы плевали в пролив. Но стремнину миновали благополучно. Ржавым носищем «Карковадо» резал теперь бирюзово-голубые воды Тирренского моря.

Общественный деятель с соломой в бороде, пройдя по палубе, громко сказал, ни к кому не обращаясь:

— Барометр падает, господа!

Действительно, жара усиливалась. Небо было металлического оттенка. На юге воздух ходил мгlistыми волнами, как будто там кипятили воду. От праздности, от зноя, от нестерпимого света на пароходе стало твориться неладное. Говорили, что одну из жабиных девочек этой ночью отвели наверх, в каюту капитана. Со вчерашнего дня капитан не показывался на мостике. Обнаружилось, что и остальные девочки удрали из кочегарки. Одну удалось отыскать в трюме, где она ходила по рукам, кричала и царапалась. Ее заперли в аптеке под надзором фельдшера. Зуавы волновались, перешоптывались. То

один, то другой вскакивал с раскаленной палубы и исчезал где-нибудь в черных недрах парохода, где пахло крысами, плесенью и железные стены скрипели от вздохов машины.

Барометр падал. Под лодкой сидела русская дама, пригорюнившись. Мальчик спал, положив мокрую от пота голову на ее коленки. Затих даже стук ножей в камбузе. И вдруг где-то внизу произошла короткая возня, удары, рычание... На палубе появились двое, с волосами торчком, голые по пояс, в замазанных парусиновых штанах. Оглянувшись, они побежали. Передний показывал вытянутую окровавленную руку.

— Откусил палец, откусил палец, — повторял он надрыгающимся, глухим голосом. Остановился, неистово стащил с ноги деревянный башмак (другая нога — босая), швырнул его в море. Легко побегал дальше: — Откусил палец!

Другой, выше его ростом, бежал за ним молча. На жилистой спине его под лопаткой был виден кровавый желвак со следами зубов. Едким плотом и кровью пахло по палубе. Сейчас же за стими двумя выскочил на палубу третий — с узким лицом, черноволосый, в разорванной бязевой рубашке. Раздвинув ноги, он пронзительно свистнул — как будто ночью на пустыре. Зуавы вскочили. Глаза их дичали, усы топорщились. Быстро, плотно они окружили раненых кочегаров. Шумно дышали груди. Высокий, с желваком на спине, проговорил душераздирающе:

— Обе девчонки у него в каюте...

— У кого?

— У шоколада...

С откушенным пальцем крикнул:

— У него нож... У него огромный нож и вертел... Откусил мне палец... наших всех зарежут здесь... Живым не доехать...

Снова свист. И тогда все — и солдаты и кочегары — побежали по трапам вниз... Немного спустя там грозно загудели голоса. На палубу выскочила из кают-компаний жаба с обеими собачонками на руках, — заметалась, как слепая. В каютах первого класса захлопали опускаемые жалюзи. Пробежал с испуганным лицом помощник капитана.

Кок-негр появился наконец в крутящейся толпе. Он здорово отбивался длинными руками. Белая куртка на нем — в клочьях, в пятнах крови. Он пытался к трапу. Вдруг фыркнул, зашипел наседающих, в два прыжка взлетел на палубу и помчался по ней, выкатив белки глаз, как лупленые яйца. «Лови, лови!» — кричали зуавы, устремляясь за ним. Он вскарабкался еще выше, на капитанский мостик, и оттуда — головой вниз — медькнуло его лакированное тело, упало в воду. Далеко от корабля, отфыркиваясь, вынырнула черная голова.

На «Карковадо» остановили машину. В море полетели спасательные круги. Негр подплыл к борту и ухватился за конец. Весело скалясь, он поглядывал на свешенные через перила головы зуавов. Было ясно, что бить его уже больше не станут.

А барометр продолжал падать. Небо нависло раскаленным свинцом. Задыхаясь, стучала пароходная машина, стучала кровь в головы. И на палубе снова закружился вихрь: солдаты перешоптывались, перебегали, сбивались в кучу. Раздался по-



высокий, певуче-четкий (видимо, парижанина) панический голос:

— На нас идет шторм. Все, кто на палубе, будут смыты в море. Нас не пускают даже в кают-компанию. А в первом классе пружинные койки для спекулянтов. Серебряные плевательницы, чтобы им рвать. Неужели нам и здесь еще умирать за буржуа?... В трюм спекулянтов!

— В трюм спекулянтов! — закричали голоса. — Богачей, буржуа — в трюм!

Зуавы, завывая, кинулись через обе двери в кают-компанию. Но там никого не было. На столе — неоконченный обед. Двери кают заперты. Здесь было душно, как в духовом шкафу, где жарят гуся. Иные из солдат повалились на диваны, вытирая ручки пота. Те, кто позлее, стали стучать в двери кают:

— Алло! Эй, вы, детки, — в трюм, в трюм! Очистить каюты!

Из одной каюты, куда грохнули кованым башмачищем, высунулся папа-краб, с прыгающими лиловыми губами, весь в поту:

— Ну? В чем, собственно, дело? Что вы так шумите?

Уже чья-то чумазая рука сгребла его за визитку, десятки пышащих лиц, расширенных глаз приблизились к нему.. Не одобровать бы папе-крабу с его семейством и сундуками... Но в это время раздался пронзительные боцманские свистки. Свистали: «Все наверх!» И сейчас же треснуло, раскололось небо над пароходом, ударил такой гром, что люди сели. Полыхнула молния во все иллюминаторы. И жалобно запели ванты, снасти. «Карковадо» сильнее повалило на левый борт. Налетел шторм. Стало темно. Пятнами различались испуганные лица.

Рваные тучи мчались над самой водой. Море ослепло привастым, свинцово-мрачным, и волны все злее, все выше били в ржавые борта. Вода уже хлестала на палубу. Раскачивало шляпки на стрелах. Одну запарусило, рвануло, сорвало, и она унеслась, кувыряясь среди бешеной пены. Тут бы надо бочку с сокровищами бросить морскому царю, заколоть ему быка, чтобы смилостивился! Невдомек! Трещал, зарываясь, валился, гудел винтами, густо дымил «Карковадо». Ураган шел с юго-востока, гнал его к родным берегам.

Поля Торен, возбужденный, сидел на койке в подушках. Сви́репо бил трезубцем Нептун в задраенный иллюминатор. Какой великодушный конец пути! Глаза Поля блеснули трагическим юмором! Вот удар — так удар, — в борт! Корабль содрогнулся, тяжело начал валиться. Попадали склянки, потекли вещи и вещицы к каютной двери. Как на качелях на последнем взмахе, каюта становится торчком. Замирает сердце. Не выпрямится.

— Мы погибли, погибли! — закричала сестра, схватившись за столбик у койки.

Нет, оправилась старая посуди́на. Каюта поползла вверх. Выпрямилась. Сестра, опустившись на колени, плача, подбирала разбитые склянки. И — снова бьет в борт трезубец морского царя.

— Сестра, — говорит Поль, улыбаясь обтянутым, как у трупа, лицом, — это ураган времен обрушился на нас...

Больше суток мотало «Карковадо». Изломало и смыло все что было на палубе. Унесло в море двух зуавов. Унесло собачек несчастной жабы и кожаные сундуки — большой багаж — киевского сахарозаводчика. Кто-то хватился общественного деятеля с соломой в бороде, — так и не нашли.

Настал последний вечер. Поль сказал сестре:

— Попросите солдат, чтобы вынесли меня на палубу.

Пришли зуавы, покачали головами в красных фесках, пощелкали языками. Подняли Поля вместе с тюфячком и отнесли в шезлонг на палубу. Он сказал:

— Желаю вам счастья, дети.

Там, на западе, — куда, поднимаясь и опускаясь, устремлялся тяжелый нос корабля, — в оранжевую пустыню неба опускалось солнце, еще гневное после бури. Опускаясь, оно проходило за длинными полосами вуалевых облачков, раскаялая их — багровело. Снизу вверх по его диску пробегали красноватые тени.

Море было мрачно-лиловое, полное неприглядного ужаса. По верхушкам волн скользили красноватые, густые наощупь отблески солнечного шара. Гребень каждой волны отливал кровью.

Но это длилось недолго. Солнце село. Погасли отблески. И в закате стали твориться чудеса. Как будто неведомая планета приблизилась к помрачневшей земле, и на той планете в зеленых теплых водах лежали острова, заливы, скалистые побережья такого радостно-ялого, сияющего цвета, какого не бывает, — разве приснится только. Какие-то из огненного золота построшенные города... Как будто крылатые фигуры над зеленеющим заливом.

Поль стиснул холодеющими пальцами поручни кресла. Восторженно билось сердце... Продлись, продлись, дивное видение!.. Но вот пеплом подергиваются очертания. Гаснет золото на вершинах. Разрушаются материки... И нет больше ничего. Тускнеющий закат...

Такова была последняя вспышка жизни у Поля Торена. Долго спустя равнодушным взором он различил белую звезду низко над морем: она то вспыхивала, то исчезала. Это был марсельский маяк. Древний путь окончен. Зуавы мурлыкали песенки от удовольствия, навьючивали мешки на спины, переобувались... Один, проходя мимо Поля, сказал вполголоса:

— А по этому заплачет кто-то...

Поль уронил голову. Потом холодноватый тяжелый тюфяк начал ползти на него — снизу, с ног на грудь. Дополз до лица. Но еще раз пришлось ему почувствовать дыхание жизни. Над ним кто-то наклонился, его губ коснулись чьи-то прохладные, дрожащие губы, и женский голос, голос Люси, звал его по имени. Его подняли и понесли по зыбким ступеням, по скрипучим доскам на шумный берег, пахнущий пылью и людьми, залитый огнями.

12 января 1927 года.

## ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА

### ПЕРВОЕ ПОЯВЛЕНИЕ



В семейном пансионе вдовы коммерции советника фрау Штуле произошло незначительное на первый взгляд событие: за столом появился новый пансионер — плотный, большого роста, громогласный человек.

Он шумно ел, выпил шесть полубутылок пива. Он хохотал, рассказывая племяннице фрау Штуле фрейлейн Хильде пресмешные «вицы», во рту у него блестели два ряда крепких зубов из чистого золота.

Он сообщил соседкам справа, Анне Осиповне Зайцевой и дочери ее Соне, о последних парижских модах: черный цвет, короткую юбку — долой, носят только полосатое, черное с красным. (У Сони стало сползать платье, оголяя роскошное плечо, на котором она поминутно поправляла бретельки.)

Он поговорил коротко и веско с соседом слева, Павлом Павловичем Убейко, полковником, о хороших делах с печатной бумагой.

Он налил две рюмочки ликеру «Кюрасао Канторовиц» и выпил с напротив сидящим японцем Котомарой за самую твердую из валют — японскую иену. (Котомара открыл желтые, в беспорядке торчащие зубы и сощурился под круглыми очками.)

Он обещался выпить полдюжины шампанского в кабаре «Забубенная головушка», где служил сидевший рядом с японцем озлобленный актер Семенов-второй.

Он неожиданно и громко похвалил обедавшего за тем же столом писателя Картошина: «Вся эмиграция очарована вашим чудным русским языком, господин Картошин». Это вогнало Картошина в густую краску; потупившись, он принялся наливать себе пива, у него покраснела даже рука.

Он обратился бы также и к другим пансионерам фрау Штуле, если бы не дальность стола. Он говорил по-немецки и по-русски. Засопев, обгрыз и закурил сигару в два пальца толщины. Он был брит, совершенно лыс и подвижен. Его звали Адольф Задер.

После обеда часть общества перешла в уютный уголок, отделенный аркою от столовой. Там, за кофе и ликером, Адольф

Задер рассказал Анне Осиповне Зайцевой и дочери ее Соне свою первую автобиографию.

— Я родился в лучшей семье в городе Кюстрине, — так начал Адольф Задер, плотно глядя на Сонины плечи. — Мои почтенные родители пророчили меня к коммерческой деятельности. Но я был озорной парнишка. Младший сын герцога Гессенского был мой ближайший друг.

Однажды я говорю: «Папа и мама, я хочу ехать в Мюнхен, хочу сделаться знаменитым художником». Папа был умный человек; он видит — я, как дикий конь, грызу удила, он сказал: «Ну, что же, Адольф, поезжай в Мюнхен».

В Мюнхенской академии меня носили на руках. Что за чудные картины я писал! Со слезами на глазах вспоминаю то время. Кутежи, балы. В меня влюбилось одно высокопоставленное лицо... но не будем об этом. Родители посылали мне каждый месяц двести марок. (Тут все общество радостно засмеялось, иные только покачали головами.) Да, это были золотые марки.

Отнеся в сторону мизинец с огромным ногтем, Адольф Задер выпил узенькую рюмочку ликеру и стряхнул пепел прямо себе на мохнатый костюм.

— Ничто не вечно под луной, как говорится. Отца хватил удар, мать умерла с горя. Мне на плечи свалилось крупное состояние. Я рыдал, как ребенок, бросая академию. Тяжело, господи, — зачем мне это дело? Зачем мне эти деньги, когда во мне кричит артист? Я даже до сих пор не успел обзавестись семьей: как белка в колесе. Тяжело. Но я не теряю надежды. Я все брошу, расшвыряю деньги (волнение среди слушателей), — на что мне одному столько денег? Я закушу удила. Я опять возьмусь за кисти и палитру. Только еще не знаю, где поселиться: здесь, в Берлине, или вернуться в Мюнхен? Мне надоела политика, вот что. Пока шла война, я был совсем болен. А вы думаете — теперь лучше? Ах, оставьте! Кавардак! Сегодня доллар — три тысячи марок, а завтра полторы, а после завтра пять. Может быть, я совсем покину Европу. Я уеду на Тихий океан. (Соня тревожно оглянулась на мать, Анна Осиповна поправила пенсне.)

Извините, медам, заболтался... Еду в банк...

## ПИСАТЕЛЬ КАРТОШИН

После обеда Картошин и жена его, Мура, пошли к себе в комнату. Картошин по пути от нечего делать вел пальцем по обоям темного коридора. Он споткнулся на ступеньке и, как всегда, обругал фрау Штуле: «Сволочь вонючая, немка».

Они вошли к себе в комнатку с одним, во двор, окошком, за которым моросил дождь. Мура забралась на плюшевый диванчик и стала глядеть на мокрые стекла. Картошин повалился на постель и лежал, длинный, худой, с большими ступнями, с вялым носом, — курил папиросу.

Такое времяпровождение можно было объяснить только отсутствием денег. Картошин был молодой писатель. Его слава началась в Ростове-на-Дону с газетного фельетона «Рассказ

очевидца». Даже в те дни гражданской войны он царапнул по нервам читателей. С тех пор царапанье стало его специальностью. В Берлине о нем напечатали статью, где сравнивали его с Эдгаром По.

Картошин переживал свою славу спокойно и трезво, оценивая ее не литературную, а главным образом денежную сторону. Он не был романтиком. Литература приносила скудные доходы. Хотя за неимением иного не плохое было и это занятие.

Так, лежа с огромными башмаками на кровати, посасывая немецкие папироски, воняющие прелыми листьями, он выдумывал рассказы из времен революции. По ночам, когда Мура спала, засунув голову под подушку, Картошин наедался пирамидону, так что сердце трепетало, как мышь в кулаке, и писал.

Мура сама носила продавать его рассказы, торговалась, как цыган, брала авансы. Мура была худая, с нервной спиной, помятая женщина. Замечательными были у нее расширенные глаза, она не смотрела ими, а всасывалась. Она истступленно ревновала Картошина ко всем проституткам. Иногда среди ночи он посылал ее на улицу за горячими сосисками. Мура накидывала пальто прямо на рубашку и бежала вниз, на угол, где всю ночь стоял бойкий малый с медной кухонкой, окруженный подтрогшими и толодными девушками.

Она покупала четыре горячих сосиски на картонной тарелочке с горчицей, булочку-шриппе и с тоской вглядывалась в мутно-бледные под шляпками с розами, тощие лица проститутток. «Которая? — думала она, — которая — смертный враг?»

Картошин положил огромные подошвы на спинку кровати.

— Мура?

— Что тебе нужно?

— А этот — с деньгами, с золотыми-то зубами. Хорошо бы подбить его на издательство. (Мура неопределенно передернула плечами.) Ты бы с ним поговорила как-нибудь. А? Взяла бы аванс. Знаешь, я хочу начать писать что-нибудь крупное, листов на десять. Психологический роман. (Картошин зевнул.) По-моему, его подбить можно. Мурка?

— Что тебе?

— Сбсгай за папиросами.

— Не хочу.

— Почему?

— Скучно.

— А ты не гляди в окошко. Мура, а Мура! Он сказал, — у него два вагона бумаги куплено здесь. Надо ему объяснить, чорту, — гораздо выгоднее издательство, чем просто спекулировать на бумаге. Устроили бы ярко-антисоветское издательство. Купили бы типографию. При ней — журнал. А потом, глядишь, через год — переносим дело в Москву.

Часа полтора, лежа на постели, Картошин развивал планы деятельности. Мура молчала, потому что, точка в точку, эти разговоры повторялись каждый день. Наконец лежать без папирос надоело, Картошин надел непромокаемый плащ и вышел на улицу.

В этот час на Фридрихштрассе притутки шли густыми толпами. Их было столько, что исчезало даже любопытство к этим промокшим женщинам с бумажными розами на шляпах или просто на животе. Но, видимо, эти остатки доброй, старой романтики все еще привлекали сизобритых господ в котелках, с тросточками, и озабоченных семейственных немцев, запиравших конторы и меняльные лавки, и оборванных молодых людей с небритыми щеками, — они появлялись на перекрестках, у табачных лавок, глядя куда-то мимо свинцовыми глазами.

Картошин остановился перед витриной с шикарными дорожными вещами. Сейчас же его ущипнули через пальто ниже спины. Он обернулся. Плечистая и костлявая женщина лет сорока глядела на него желтыми глазами и вдруг принялась хмыкать, вытягивая губы трубкой, хихикать, — прельщала. Картошин попятился, людской поток увлек его.

У ювелирного магазина другая женщина, полная, под вуалью, в упор сказала ему: «Алло, я очень развратна». Картошин миновал и это обошлось. Он зашел купить папирос.

Он долго выбирал, — «Манолы», «Мурати», «Бочари» — все это была одинаковая труха из липовых листьев, — купил десять папирос и сигару почернее, для работы. Затем вошел в пассаж посмотреть на пенковые трубки. Давно уже было решено, как только получит аванс, купить пенковую трубку.

Пассаж, построенный еще в восьмидесятих годах, когда-то был бойким местом развлечения берлинцев. Здесь находился знаменитый паноптикум, лавки «парижского шика» и модные кафе. Счастливое, полное надежд было время. Крыша блестела, яркие фонари освещали нарядных людей, построивших прочную жизнь на долгие века. Эти люди верили в добро, в любовь и в безгрешность золотой марки, когда в длинных сюртуках, с бакенами, с брелоками на цепочках, пробегали по пассажиру поглядеть на модную новинку.

Надежды обманули. Мир оказался изменчивым и непрочным. Плодилось злые поколения. Беспечность и радость жизни отошли в туман прошлого вместе с сюртуками, баками и брелоками. Пассаж обветшал, тускло горели фонари под грязной крышей. Пыль легла на окна и карнизы. Истлела материя на куклах в паноптикуме, мошь источила их волосы. И только мрачный юноша, иностранец, да изыбшая девка приходили сюда погреться, не веря ни в бьют президента Карно, ни в каску Бисмарка, ни в дремлющих в банках спирта раздутоголовых младенцев.

Все же, когда Картошин вошел в пассаж, множество молчаливых людей брело мимо окон, где выставлена дрянь и дребедень. Пыльный свет был холоден, лица — серые, унылые. Шли, глядели на никому в этот час не нужный хлам, зевали...

Картошин прилип к окну с трубками. В это время его хлопнули по плечу, и хохотливый голос прокричал:

— Трубочки? Это — навоз. Я вам привезу трубочку из Голландии. Идет?

Это говорил в свете витрины Адольф Задер. От золотых зубов его шли лучи. Картошин крепко пожал ему руку и сей-

час же пожал еще раз, — так ему показалась заманчивой эта встреча.

— Идемте, я хочу угостить вас хорошим вином, — сказал Адольф Задер и покрутил тростью.

## АДСКИЕ МУКИ

«Ушел за папиросами. К обеду не явился. Полночь, его нет...»

Мура металась по комнате, не зажигая света. Ледяными пальцами сжимала то горло, то лицо. Прижималась лбом к ледяной печке и тогда видела:

...Гнусный свет газа... Картошин сидит, — красный, взволнованный... На коленях у него — женщина в черном модном корсете. Волосы взбиты, шея в жилах, нос — туфлей, в пудре... Оба хохочут, курят, целуются...

Мура стонала, металась, прижималась лбом к зеленым изразцам печки и слышала...

К а р т о ш и н. Ты — чудная, ты — моя мечта, целуй меня, целуй...

О н а (хохочет). Ужасно приятный мужчина...

О н. А вст у меня дома так — драная кошка.

О н а. Жена твоя? Ха-ха-ха. Почему она драная кошка?!

О н. Нервная, волосы висят. Никакого влечения. Не женщина, а понедельник...

О н а. Какая она странная. Как я ее жалею... Хи-хи...

О н. Давай над ней смеяться. Хо-хо-хо, она думает, я за папиросами пошел. Ха-ха-ха...

(Целуются, смеются, она гордится красотой, белым, он — красный, счастливый — обещает ей книгу с надписью.)

О н а. Твоя жена бумазейное белье носит, конечно?

О н. Бумазейное. Ху-ху-ху.

О н а. Чулки сваливаются?

О н. Английскими булавками прикалывает. Хм-хм-хм...

О н а. Из корсета кости торчат? Рубашка желтая?

О н. У, ты, моя радость, счастье!

О н а. А ты жену брось, брось, брось...

Мура кидалась на кровать, ничком. Кусала подушку. Кабы дома быть, в России, — в прислуги бы пошла. А здесь — некуда, никому не нужна, все — чужие, каменные. Мечись по комнате. Весь твой мир — кровать, печка, диван, стол... За окном — ночь, дождь, немцы.

Мура соскакивала с кровати, вплотную придвигалась к зеркалу, всасывалась в свое отражение и не видела ничего, как слепая.

## ВТОРАЯ АВТОБИОГРАФИЯ

В это время Картошин и Адольф Задер сидели у «Траубе», ели шницель по-гамбургски и пили мозельское вино. Адольф Задер говорил:

— Уж если я поведу, — будьте спокойны: напою и накормлю. Я кутил во всех городах Европы.

— Я сразу понял, Адольф Адольфович, когда увидел вас за обедом, — вот, думаю, человек, который умест жить...

— Живем, хлеб жуем, как говорится. Вы слышали, что я рассказывал этим двум дурам? Оставьте. Я взглянул на роскошные плечи Сони Зайцевой, и мне точно кто-то сразу продиктовал мою биографию. Эти плечи нужно целовать! Чего она ждет, о чем думает ее мамаша? Чокнемся. Я не художник. Я родился в Новороссийске, в семье известного хлеботорговца, — вы, наверно, слышали: знаменитый Чуркин. Я его приемный сын. Это была такая любовь ко мне со стороны хлеботорговца, что вы никогда не поверите. Он говорил постоянно: «Адольф, Адольф, вот мои амбары, вот мой текущий счет, бери все, только учись». Широкая, русская душа. Но я презирал деньги, я был и я умру идеалистом. Чокнемся. В гимназии я — первый ученик, я — танцор, я — ухажер. Вы могли бы написать роман из моего детства. Незабываемо! У меня был лучший друг, князь Абамелек, — не Лазарев, а другой, его отец — осетинский магнат. Половина Кавказа, это — все его. Эльбрус — тоже его. Дворец-рококо в диких горах. Я там гостил каждое лето. Бывало, скачу вихрем на коне. Черкеска, газыри, кинжал, — удалая голова. Находили, что я красив, как бог. Старый князь меня на руках носил. «Адольф, Адольф, ты должен служить в конвое его величества. Поди спорь со стариком. Так и зачислили меня в конвой. А там — Петербург, салоны, приемы... Николай Второй постоянно говорил среди придворных: «У меня в Петербурге две кутилки — Грицко Витгенштейн и Адольф». Наконец я опомнился (после дуэли на Крестовской из-за одной аристократки). Зачем я гублю лучшие силы? Двор мне опротивел, — дегенераты. Чуркин — ни слова упрека, но постоянно пишет: «Адольф, займись полезным делом». Тогда я кинулся в издательскую деятельность. Я основываю издательства, журналы, газеты, Маркс, Терщенко, Гаккебуш со своей «Виржевкой»... Наконец, между нами — Суворин... Я организую, я даю деньги, я всюду, — но я — инкогнито... Бывало, — Куприн кричит в телефонную трубку: «Адольф, выручай: не выпускают из кабака». Пошлешь ему двадцать пять рублей. Великий князь Константин Константинович... Но об этом я буду писать в своих мемуарах... Я все потерял в революцию, но у меня колоссальные деньги были переведены в английский банк. Сейчас я приехал в Берлин осмотреться. Хочу навести порядок среди здешних издательств... Что вы на это скажете?

У Картошина вспотели даже глаза. Он отставил стакан с вином и, царапая скатерть, стал развивать план небольшого, но красивого издательства, с ярко-антисоветским направлением. Адольф Задер, не слушая, барабанил ногтями...

— Бросьте, — сказал он, — это мелочь. Мы будем издавать учебники. Не вытягивайте физиономии. Я поставлю дело на миллионный оборот. А вы извольте организовать мне художественный отдел. Издавайте хоть чорта, дьявола, но чтобы это было нарядно, денег не пожалую...

— Я бы мог начать писать роман, захватывающая тема...

— Я вижу — вы хотите аванс. Вы не знаете Адольфа За-



дера. Обер, чернила и бумагу. Пишите, — вы продасте мне роман... Условия... — поставьте цифру сами, я погляжу после того, как подпишу... Обер, еще вина.. Можете этим мозельвейном вымыть себе ноги. Дайте нам шампанского. Картошин, скажите прямо — сколько вам нужно на ближайшие два дня? Возьмите двести долларов. Проглотите вашу расписку. Ну, идем, я хочу спать.

Адольф Задер, отдуваясь, повалился в автомобиль. Картошин, растерянно и блаженно улыбаясь, сел рядом с этим чудо-человеком. Всю дорогу он говорил об организации дела, но Адольф Задер не слушал. Он сразу заснул на ветру, шляпа сползла ему на нос.

## КИПУЧАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Адольф Задер проснулся от треска будильника в без четверти девять. С закрытыми глазами вылез из постели, вставил золотые зубы, натянул шелковые носки и лакированные штилеты, сопя, пошел к умывальнику и вылил на голый череп графин воды.

Затем со спущенными подтяжками сел пить кофе, но, отхлебнув глоток, погрузился в чтение каких-то цифр на бумажке. Пошел к двери и крикнул: «Эмилия, мои газеты!» Взял протянутую в щель пачку газет, вернулся к кофе, отхлебнул еще и развернул биржевые бюллетени. Повторяя: «А! а! а!», сильно ладонью потер череп, пошел к зеркалу, и в это время ему удалось пристегнуть одну из половинок подтяжек. Шепча ругательства, надел воротник и галстук, — синий с золотыми диагоналями. Вернулся к газетам... И так далее, до половины десятого, Адольф Задер непрерывно боролся с закоренелой неврастением.

К десяти ему удалось привести себя в волевое состояние. Он надел широкое пальто, закурил сигару и спустился на улицу, где крикнул автомобиль.

Шофер повез его на биржу и ждал его там два часа, затем ждал около банкирской конторы, около парикмахерской, затем повез его за Александерплац и ждал около прокопченного кирпичного здания, от первого до пятого этажа занятого типографиями и складами бумаги; затем Адольф Задер приказал повернуть к Моабиту и ехать не шибко, причем опустил окно автомобиля и все время оглядывал проезжие унылые улицы, точно что-то выискивал. Затем крикнул адрес пансиона. Но по пути вдруг застучал в стекло, выскочил из автомобиля, взял под руку какого-то прохожего с морщинистым, прокисшим лицом, зашел с ним в кафе. Шофер видел через окно, как прокисший человек развернул крошечный узелок и Адольф Задер рассматривал, щурясь от дыма сигары, камни и перстни, надел два кольца на палец, бросил пачку денег и вышел, поспысывая.

В пансионе Адольф Задер появился в час, когда ударил гонг к обеду. За столом все уже знали, что Адольф Задер швырнул огромный куш на издательство и вообще, видимо, швыряет деньги.

Фрау Штуле положила перед его прибором вместо бумажной камчатную салфетку с серебряным кольчиком покойного коммерции советника Фрейлейн Хильда вышла к обеду в цыплице-желтом джемпере. Полковник Убейко, мрачный человек, похожий на льва с коробки спичек, не сводил во все время обеда с Адольфа Задера выпуклых фронтовых глаз, — взял его на прищел, с силой разглаживал на две стороны черную бороду. Картошины счастливо и растерянно улыбались, ели бессознательно. Вчерашнюю замученность Муре постаралась скрыть под пудрой, которая сыпалась ей на платье. Соня Зайцева поминутно вставала из-за стола к телефону. — ее теряющие свои бретельки плечи и роскошные бедра двигались гораздо больше, чем нужно для перехода через комнату.

После обеда Анна Осиповна подошла к Адольфу Задеру и предложила выпить у себя чашечку кофе. Картошин сказал Муре сквозь зубы: «Иди к себе», взял газету и сел в прихожей в пластеное кресло, откуда была видна дверь Зайцевых. Три четверти часа он слушал за дверью громкий голос Адольфа Задера и платком вытирал себе ладони. Время от времени в другом конце прихожей неслышно появлялась черная, раздвоенная борода полковника, выпученные глаза его медленно мигали и исчезали вместе с бородой. Когда раздавался серебряный хохот Сони, Картошин быстро опускал локти на колени и голову в руки, а густой голос за дверью говорил, говорил, вытичавая, как песок, у Картошина всю душу.

Наконец зазвенели ложки, задвигались стулья. Адольф Задер вышел и не удивился, что к нему мгновенно придвинулись Картошин и Убейко.

— Помещение для редакции найдено? Что же вы все утро дремаете? — сказал он, таща с вешалки пальто... У Картошина мелко зазвенело в голове. — Обегайте весь город, две комнаты под контору, третья под склад, завтра я хочу иметь редакцию.

Он пошел к двери. Убейко осторожно преградил дорогу:

— Беру на себя смелость спросить: могли бы вы уделить мне четверть часа беседы? Весьма важно.

— Шесть часов, кафе «Кёнигши».

Адольф Задер вышел на улицу и купил сигар. На углу к нему подошел сутулый старик в золотых очках и, не здороваясь, сказал:

— Я готов, если вы настаиваете.

Адольф Задер шелкнул языком и, покачиваясь, поглядывая, двинулся по правой стороне тротуара. Он видел, как на верху автобуса проехал в незастегнутом пальто и криво надевшей шляпе Картошин. Он прищурился на чудовищные, с иглолки, автомобили, — целые потоки этих новеньких машин лежали по зеркальному асфальту. Он бросил мелочь слепому, с изорванным ртом солдату, который шел через улицу, держась за ременную лямку большой собаки с эмалевым красным крестом. — она подвела слепого к углу и лаяла на проходящих, протягивала им лапу, просила милостыню. Таких собак правительство дарило патриотам, ослепшим на войне.

Адольф Задер остановился около русского книжного магазина и презрительно произнес: «Пф, мы им покажем» Непроизвольно сами ноги поднесли его к другой, блестящей витрине,

куда глядела шикарная женщина: мягкое платье, черный длинный обезьяний мех на шее и подол, подмышкой — ручка зонтика из слоновой кости толщиной в полена, маленькая шляпа парижской соломки — на семьдесят пять долларов без обману, и — роскошь форм, любовно колышущихся под чудным платьем.

Мутно взглянул было Адольф Задер на эту носительницу прелестей, но попятился и сейчас же перешел улицу; он не был охотник до сорокапятiletних женщин, да еще жен знакомых дельцов.

На углу к нему подошел молодой человек, одетый как картинка, и, не здороваясь, пошел рядом:

— Я согласен, если вам нужно.

— Завтра на этом углу, — коротко ответил Адольф Задер и вошел в универсальный магазин. Выбрал две шелковых пижамы, дюжину рубашек и еще некоторую мелочь и прошел в салон-парикмахерскую. Здесь он уселся в квадратное кожаное кресло и положил большие свои руки на подушку барышне-блондинке с потасканным личиком. Барышня проворно принялась за маникюр. Беседа с ней была содержательнее знакомства с вечерней газетой. Адольф Задер вынул из жилетного кармана серебряную коробочку и угостил барышню карамелькой. Затем, не спеша, он пошел в «Кёнигин», — небольшое модное кафе, все в зеркалах рококо, шелковых диванчиках. Там оживление было на исходе, но еще пар десять танцевали на огненно-красном ковре в слоях сигарного дыма. Адольф Задер сел подальше от музыки, спросил кофе. Почти сейчас же подошел Убейко.

— Садитесь. Я вас слушаю, — сказал Адольф Задер, придвинув золоченый стульчик, протянул ноги, засунул пальцы в жилетные кармачики и, закусив сигару, прищурился на двух купидонов на потолке...

## ЧТО МОЖНО РАССКАЗАТЬ В ПЯТНАДЦАТЬ МИНУТ

— Положение крайне тяжелое, — отчетливо сказал Убейко, сложил короткие пальцы на потертом жилете, уперся выпученными глазами в стол и сидел прямо. Львиное лицо его было красное, измятый воротничок врезался в шею, заросшую жестким волосом. — Ответственность перед членами семьи удерживает от короткого шага. Смерти не боюсь. Был в шестнадцати боях, не считая мелочей. Смерть видел в лицо. Расстрелян, закопан и бежал.

— Мой принцип, — сказал Адольф Задер, — никогда не оказывать одновременной помощи.

— Не прошу. Не в видах гордости, но знаю, с кем имею дело. Хочу работать. Разрешите вкратце выяснить обстановку. В тридцати километрах от Берлина у меня семья, — супруга и четыре дочки, младшей шесть месяцев, старшая слабосильная, в чахотке, две следующие хороши собой, в настоящих условиях только счастливой случайностью могут избежать института проституции. Не строю розовых надежд. Семья пи-

тается продуктами своих рук, как-то -- картофелем и овощами. Духовной пищи никакой — девчонки малограмотны.

Адольф Задер потянулся в карман за спичками; полковник молниеносно выхватил бензиновую зажигалку и подал прикурить. И снова сел прямо.

— Все мои сверстники, однополчане — в генеральских чинах. В Берлинах, Прагах, Парижах присосались к горячему довольствию. На мою судьбу выпало — строй, строй и строй. В гражданской войне только слышал о тыловой жизни, — видеть, повеселиться не пришлось: бои, поход, эвакуация; сапоги снимать на ночь научился только за границей. Обманут кругом. В Константинополе варил халву, состоял букмекером при тараканьих бегах. В Болгарии варил халву. В Берлине варил тянучки. В настоящее время занимаюсь комиссионной деятельностью, преимущественно по подысканию квартир. По ночам пою в цыганском хоре в «Забубенной головушке». Вчера смотрю — в зале сидит генерал Белов; в училище я его цукал, заставлял приседать. Пьет с дамами шампанское. Заказал хор. Я с гитарой принужден ему петь: «Любим, любим, никогда мы не забудем». Обидно.

— Ваши политические убеждения? — спросил Адольф Задер.

— В настоящее время исключительно только борьба за существование. Иной раз действительно примешься думать и — сразу собьешься. Кругом неправда. Злая судьба.

— Работать не отказывается?

— При условии ночного отдыха в три с половиной часа и час на еду, остальное в вашем распоряжении.

На потолке в это время погасили лампочки. Отравленные табачным дымом кулидоны ушли в тень. Музыканты укладывали в футляры свои инструменты. Адольф Задер поднялся.

— Вы меня растрогали. Пойдемте и поговорим за бутылкой доброго вина.

### ТРЕТЬЯ АВТОБИОГРАФИЯ

— Вы знаете — приятно делать добро, — сказал Адольф Задер, сидя напротив Убейко в уютном, отделанном резным дубом, уголке в старом готическом ресторанчике. Кончали тростью бутылку вина.

— Несомненно, Адольф Адольфович, приятное чувство.

— Когда я могу помочь человеку, у меня слезы навертываются на глазах. На что мне деньги? — как сказал поэт. Ну, хорошо — заработай я в десять раз больше Моргана — оттяну я мою смерть на четверть минуты? Скажите, полковник?

— Никак нет, не оттянете.

— То-то. Четыре раза я был богат. Все раскидал. Я философ. Я люблю человечество. Хотя люди — сволочь. Но надо снисходить к слабостям. Разве они виноваты, что они — сволочь? Полковник, — скажите, — виноваты?

— Никак нет, Адольф Адольфович, не виноваты.

— Вы умный человек. Вы меня понимаете. Сколько раз бывало: придет дамочка, плачет и все врёт. Ну, хорошо, — я ее выгоню, а что из этого? Лучше я ей дам денег, — и мне при-

ятно, и ей приятно.. Надо вам сказать, что я незаконный сын одного лица. Взгляните на меня внимательно, — вы ничего не догадываетесь? Ну, тогда не будем об этом. Если кто-нибудь скажет, что я получил высшее образование, — плюньте на этого человека. С двенадцати лет я — на своих ногах. В России мне стало скучно. Я поехал в Америку. Вы сами можете представить, с чего я начал, — не стыжусь. Я мазал себе лицо патентованной ваксой и на улице мылся щеткой и мылом. Собиралась толпа, я не плохо торговал. Тут был, конечно, маленький обман, хотя вакса — как вакса, ничего особенного. Но у меня по лицу пошли прыщи. Ой! Я подумал и сделался журналистом. Я писал громовые статьи. Вот где паршивая сволочь — это газеты! Я узнал людей. Тянул лямку два года, плюнул, поехал в Техас. Я мог бы стать недурным кводем, но меня расшибла лошадь, выбила все зубы. Это остатки варварства — человеку ездить на животных, — мы не кентавры. В это время началась русско-японская война. Один человек предложил мне заняться поставками. Мы начали с грошей, а через год у меня лежало в банке полтора миллиона долларов.

— Полтора миллиона, — задумчиво повторил Убийко.

— Во второй раз я занялся поставками во время болгаро-турецкой войны. Я скупал кукурузу. Продолжись эта война еще полгода — я бы стал самым богатым человеком в Европе. Кроме того, умному человеку не советую ездить в Монте-Карло. Затем — война на Балканах, я опять поправил дела. Вам может показаться странным, что в четырнадцатом году я уже играл в Харбине в драматической труппе. Да, разнообразные шалости устраивает с нами онкольный счет. Я изображал характерных стариков, — находили, что талант. Но началась война. Я взял поставку прессованного сена. В шестнадцатом году я организовал в Москве бюро всероссийской антрепризы с капиталом в два миллиона рублей золотом. Я давал авансы направо и налево. Бывало, Шаляпин звонит: «Адольф, что ты там..» Я собирался купить все газеты в европейской и азиатской России. Это — власть. Я бы сумел провалить любую антрепризу. Я законтрактовал сто двадцать театров в провинции. Мои труппы, концертанты и лектора должны были разъезжать от Минска до Владивостока. Всем известно, чем это кончилось. После октябрьского переворота, меня искали с броневиками и пулеметами, меня хотели схватить и расстрелять, как пареню цыпленка. Я спрятался в деревянном подвале, я жил на чердаке, я спал в царской ложе в Мариинском театре. Я не растерялся, мои агенты не дремали, — за две недели я совершил купчие крепости на двадцать четыре дома в Москве и на тридцать девять домов в Петербурге. Я купил пакет банка Вавельберга. После этого я перешел финляндскую границу. Я хохотал.

— Удивительная энергия, — пробормотал Убийко.

— Европейская война испортила мне печенку, — сказал Адольф Задер, закуривая новую сигару. — Я заскучал.. Не надо мне ни денег, ни товаров, ни людей. Деньги — бумага, товары — дрянь, а люди, а женщины — мышеедина, как говорится. В Берлине, бывало, идет немец, — семь футов ростом, румяный, штаны белые, того и гляди, тебя на дуэль вызовет — такой гордый. К такому человеку попасть в дом — сто пудов

земли выраешь лапами, раньше чем прийдешь к нему в гости. А сейчас какой-нибудь граф, — мелкий, лицо нездоровое, в глазах — сок, слеза, и он сам норовит с тобой познакомиться, прибежит к тебе в пансион. Скучно. Вот я и надумал устроить здесь несколько предприятий, — пускай вокруг них кормятся люди. Издательское дело. Типографское дело. Хочу купить газету, побороться с большевиками. На-днях организую учетный банк. Что бы такое для вас придумать?

— Не за страх, а за совесть, Адольф Адольфович, готов работать.

— У меня есть идея. Вам известно, средний обыватель в Берлине держит мелкую валюту, — один, два, пять долларов. Настанет черный день, они продают свои доллары безвозвратно. Я хочу пойти на встречу мелкому обывателю, рабочему, бедному чиновнику: зачем вам продавать валюту, когда я даю за нее небольшую ссуду. Вы всегда можете выкупить вашу пару долларов. Понятно? Я открою ряд маленьких ссудных контор. Мы не будем вешать вывески, — зачем нам эта официальность? Но нужно заслужить доверие населения. Мы будем им отцами родными. Я вас посажу в лавчонке, вы познакомитесь с кварталом, вы будете ходить на рынок, говорить, внушать... К вам понесут доллары. Вы поняли или не поняли?..

— Но если недоразумения с полицией?

— Вы будете торговать ваксой, спичками, гвоздями, — вы продасте дрянь. Разве я виноват, что само правительство обирает население как лишку. Мы будем бороться с государственным ажиотажем. Помяните мои слова: Шейдеман вгонит немцев в гроб. Ну, идем, я должен ехать выручить одну аристократку из тяжелого положения.

## С ПТИЧЬЕГО ПОЛЕТА

В какие-нибудь две недели пансион фрау Штуле нельзя было узнать. Куда девались сон и уныние за столом, бутылочки желудочной воды, патентованные пилюли, подвязанные зубы, мучные супчики, кремы брюле, дождливые окна в столовой, низкие серые облака над улицей, где под деревьями присаживаются знаменитые берлинские собаки да по асфальту катаются на колесиках золотушные мальчики, бледные от голода!

Оживление и бодрый тон витали над столом фрау Штуле. Шумные разговоры, хохот, звон стаканов. Пили в изобилии пиво и ликер «Кюрасао Канторовиц». Золотые зубы Адольфа Задера, как прожектором, освещали повеселевшие лица.

Полковник Убейко завел новый галстук и сл и пил за троих, катая глаза в сторону Адольфа Задера; дела в Моабите шли не плохо. Картошин постукивал о пивной бокал золотым перстнем с печаткой, снисходительно рассказывал о процессе творчества. Мура стала носить в волосах огромный испанский гребень. Семенов-второй рассказывал курьезы из жизни актеров в провинции. У него уже был разговор с Адольфом Задером по поводу расширения дела с «Забубенной головешкой». Соня Зайцева сидела теперь рядом с Адольфом Задером. Она душилась парижскими духами «Безумная девиственница» и

вся была пропитана грозovým беспокойством этих духов. Фрейлейн Хильда похудела как москит, стала прозрачной.

Часто приходили с улицы бойкие, шикарно одетые знакомцы Адольфа Задера. Всем чудились между слов грандиозные планы этого человека. Фрау Штуле подняла цены на пансион, и это было принято без ропота.

Адольф Задер слегка располнел за это время. От него никто не уходил с отказом. Дел было по горло. Но он с непостижимой легкостью справлялся с ними. Он гонял из одного конца города в другой на собственном теперь автомобиле, входил в редакцию, в конторы, в банк, шумно разговаривал, приказывал, подписывал. Лучи от его зубов, казалось, намагничивали жизнерадостностью всех его сотрудников. Дела были в периоде организации и разбега.

Убийко начал уже ежевечерне приносить выручку, — вещественную пачку долларов, перехваченную резинкой. Но его работа обложена была тайной.

После трудового дня Адольф Задер водил сотрудников освещаться в кафе. Шли пешком. После дождя пахло бензином, листьями и грозой. На сырые тротуары лился свет из ярких окон. Восковые женщины в черных корсетах, в кружевном белье глуповато улыбались за стеклами, навевая жуткие мечты. Длинной тенью с пылающим глазом проносился автомобиль, вереницы автомобилей. Выше — сыро шумели липы бульвара. Еще выше — в разорванные облачка, в летящий, никому не нужный месяц падали две готические башни церкви. Из зарослей плюща, из красного света ресторанов вырывались оборванные, как клочки шелковой юбочки, синкопы фокстрота и шимми, проеденные тайными болезнями. Это была сторона, куда не забредали немцы.

Хотя немцы попадались. У выхода из театрика сидел на тротуаре человек, — бритый череп в белых шрамах, глаза вытекли, на военной куртке — крест. Подняв лицо, он был глухим, диким голосом песню, — протягивал к проходящим алюминевые руки.

## НОЧНЫЕ БЕЗУМСТВА

- А, Картошин, ну как?
- То есть что «как»?
- Говорят — вы стали гордый. Скоро журнал?
- Выходит через две недели.
- Пальто это новое сшили? Ишь, хорошую палочку завел. Настоящая слоновая кость?
- Кажется.
- Так через две недели? Напишем. А издательство?
- В печати два сборника моих рассказов. Собираю материал для альманаха. Талантливого мало.
- Вот повезло человеку. Ну, пока.

Картошин несуетливо раскланялся со знакомцем и пошел дальше, постукивая тросточкой. На нем было новое пальто и обтяжку, новая шляпа, внутри которой находилась особая машинка, защемлявшая верхнюю складку. На носу — круглые роговые очки (немцы надевали такие очки лишь по воскрес

ным дням). Он шел в учетный банк к Адольфу Задеру, — назавтра предстояли платежи.

— Картошин, здравствуйте. Я к вам заходил.

— Я принимаю в редакции от трех до пяти.

— Загляну. Я только что написал повесть, замечательно любопытную. Сочно, густо... В центре — любовь. Петербург, вывески с буквами ять. Треуголки лицеистов. Гранит. Она любит мужа. Революция, чрезвычайки, расстрелы. Муж пропадает без вести. Она бежит с другим, сходится. Берлин. Радость от белого хлеба, — вспоминайте! Кружка холодного пива! Вдруг — муж появляется. Психологический клубок. Два листа. Мне уже предлагали в нескольких местах по восьми долларов за лист.

— Хорошо, принесите, я прочту.

Переходя улицу, Картошин увидел несущийся пыльный зеленый автомобиль. Он круто свернул к дверям учетного банка. С сиденья стремительно поднялся Адольф Задер, сбросил пыльник и вбежал в банк.

Картошина словно укололо в сердце. Но он сейчас же отогнал неясную тревогу и вошел. Комната с низким потолком была полна клиентов банка. Они жестикулировали, ссорились. Адольф Задер стоял у кассы, как тигр, осердив зубы.

Картошин долго протискивался к нему и фамильярно взял за рукав. Он обернулся, но не увидел Картошина. Когда же тот сказал: «Я за деньгами, Адольф Адольфович, завтра платить — мы уже условились», — Адольф Задер проговорил быстро: «К чорту, к чорту». Картошин обиделся и ушел.

Он прождал весь день, сначала в редакции, затем — дома... Адольф Задер к обеду не появился. У Картошина начало пусто звенеть в голове. Он лег на кровать. Мура сидела с расширенными глазами на диванчике, затем разрыдалась. Картошин вскопчил, принялся швырять на пол книжки и кричал, что его «сводит с ума бабьей истерикой», что он «не может писать крупных вещей, когда у него под ухом под бабья истерика». Он схватил было знаменитую трость, чтобы сломать, но Мура стянула.

Раздался стук. В комнату вошел Адольф Задер. Он был красен, потрепан, но весел.

— Чепуха, — сказал он, сдвигая шляпу на затылок. — Ничего не случилось. В чем дело? Дураки устроили небольшую панику. Какие-то люди ходят по городу и уверяют, что надо покупать марки. Идиоты. Испугались доллара... В общем сегодня я не заработал, но и не потерял ни пфеннига. Едем кушать, я хочу жрать.

В ресторан поехали — кроме Задера — супруги Картошины, Убейко и Семенов-второй. У всех камень свалился с души, — Адольф Задер был цел, весел и полон бурных планов. Пили водку и французское вино. Чувствовалось, что этот вечер кончить просто нельзя.

В ресторане просидели до закрытия, затем взяли автомобиль и поехали на угол Иоахимсталерштрассе и Курфюрстендамм. Картошин, сидевший с шофером, поманил пальцем стоящего под липой человека в котелке. Тот подбежал и шопотом вступил в разговор.



- Только неделю тому назад открыт, останетесь довольны.
- Девочки будут?
- Первые красавицы. Абсолютно голые. Роскошный оркестр. Посетители исключительно американцы и русские.
- Едем.

Незнакомец встал на подножку. Автомобиль свернул в боковую улицу, в другую и остановился на углу. Все вышли. На пустынном тротуаре (немцы все уже спали, наевшись картошки) появился второй незнакомец в котелке. Первый указал на него:

- Не шумите. Спокойно. Он вас доведет.

Подождали к воротам, над которыми была надпись: «Воскресная школа». Вторым незнакомцем прошептал: «Тсс!» и открыл под воротами дверку в темное помещение, где Семенов-второй споткнулся о пустые бутылки. Здесь разделись, светя карманным фонариком. Затем поднялись в длинную, оклеенную грязно-зелеными обоями комнату. У стен стояли столы и детские парты, под потолком лампочки, обернутые розовой бумагой. На стене — карта обоих полушарий. У изразцовой печки сидел старичок-гитарист, перед ним сизый скрипач в смокинге — человек с провалившимися щеками, — они играли полечку так тихо, как во сне.

Когда компания Задера разместилась за столом, украшенным бумажным цветком и двумя лепельницами с надписью: «Пиво, Берлинер Киндл», — с одной из детских парт поднялись две женщины и, не производя шума, принялись танцевать, ходить под едва слышные синкопы фокстрота. Их черные кисейные шляпы покачивались. Гитарист сонно трогал басы, скрипач поворачивал за танцующими мертвенно-бледное лицо.

Подскочивший к Адольфу Задеру хозяин сказал с польским акцентом:

— У нас художественная постановка дела, посмотрите до конца, сейчас начнется съезд, я выпущу лучших девушек Берлина...

Действительно, внизу послышались голоса, и в воскресной школе появилась новая компания — знакомцы Адольфа Задера. Сдвинули столы. Спросили шампанского. Появились новые девушки, без шляп, сели ближе к гостям. Хозяин говорил:

— Вы не думайте, что это какие-нибудь проститутки, это девицы из лучших домов.

— А голые? Скоро голые? — крикнул Картошин.

— Тсс, пожалуйста, говорите немножко тише... Голые женщины с половины третьего...

Появилась третья компания, тоже знакомцы, — они привели знаменитую московскую цыганку, от песен которой плакал еще Лев Толстой. Адольф Задер, багровый, в каплях пота, поднялся навстречу:

— Вошло солнце красное!

Он целовал у цыганки жесткие руки в кольцах, спросил про Льва Толстого и начал было рассказывать четвертую автобиографию, но вскочил, плеснул ладошами:

— Давайте петь. Чем мы не цыгане! Гей, Кавказ, ты наш родимый!..

Цыганка сделала сонные глаза и запела про Кавказ. Адольф Задер, а за ним все гости подхватили припев, плеща в ладоши... Хозяин обмер от страха. Но ему крикнули: «Дюжину Матеус Мюллер!» А цыганка пела: «К нам приехал наш родимый, Адольф Адольфович дорогой». Начали славить. Картошкин поставил бокал на ладонь и подал его Задеру. «Пей до дна, пей до дна!» — ревели гости. Барышни из лучших домов липли к столу, как мухи.

— Чем не Яр! — закричал Адольф Задер. — А знаете, у меня у Яра был собственный кабинет. Отдывали лучшие художники. Ха-ха! Бывало, — генерал-губернатор, командующий войсками, вся знать у меня. Два хора цыган... Всем подарки, — золотые портсигары, брошки с каратами, кому деньгами.. Эх, матушка Москва!

Он покачнулся, выпучил глаза и пошел в уборную. Шел грузно по каким-то пустым комнатам. Пахло мышами. Надо было пройти еще небольшой темный коридорчик. Адольф Задер вдруг остановился и закрутил головой. Непроизвольно, как бывает только во сне, закричал зубами. Но все же вошел в коридорчик. У двери в уборную явственно невидимый голос проговорил: «Продавай доллары». Адольф Задер сейчас же прислонился в угол. Ледяной пот выступил под рубашкой. Стены мягко наклонились. Он напрасно скользил по ним ногтями. Невыносимая тоска подкатывала к сердцу. Ужасна была опускающаяся на глаза пыль.

Когда Адольф Задер вернулся в зал, томный и мутный, около стола танцевала голая женщина, делала разные движения руками и ногами.

У нее было мелкое личико в веснушках, локти и колени синие. Музыка еле-еле слышно наигрывала вальс «На волнах Рейна». Все глядели на девственный живот этой женщины. Она поднимала и опускала руки, переступала на голых цыпочках, но на животе не шевелился ни один мускул. Живот казался почему-то голодным, зазявшим, набитым непереваренным картофелем.

Адольф Задер сел спиной к ней, уронил щеки в ладони:

— Уберите от меня эту — с кишками!

Появилась вторая танцовщица, — полненькая, с перевязанными зеленой лентой соломенными волосами; она тоже была голая, две медные чашки прикрывали ее грудь, как у валькирии. Музыка заиграла «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан» (из уважения к русским гостям). Голая женщина села на пол и принялась кувыряться, показывая наиболее красивую часть тела. Так она докувыркалась до ног Адольфа Задера. Он повернулся и долго глядел, как внизу, на полу перекатывались — соломенная голова, медные чашки, толстые колени и пышный зад. На лице Адольфа Задера вдруг изобразился ужас, губы перековились, запрыгали.

— Зачем? — закричал он. — Не хочу! Не надо!

Он стал пить из бутылки шампанское, покачнувшись на стуле и потянул за собой скатерть. Мура закричала, мелко закудала, слезы хлынули у нее по морщинкам напудренных щек. (Тоже напилась.) Надо было кончать веселье.

## ПОХМЕЛЬЕ

Адольфа Задера втащили под руки в пансион фрау Штуле. К обеду никто из участников кутежа не вышел. Начали вылезать только к трем часам — на угол, через улицу, в кафе Майер — пить содовую и шорли-морли. Выяснилось, что утром приходило много народа — спрашивали Адольфа Задера, звонили из типографии, из банка. Но он даже не поинтересовался — кто звонил, о чем спрашивали. На него нашло странное оцепенение.

Так игрок, пойдя по банку, где сейчас — вся его жизнь, — вдруг положит застывшие пальцы на две карты... Судьба уже выкинута: вот они — синий и красный крап... Лица их повернуты к сукну. Но приподнять уголок — рука застыла, сердце стиснуто...

Адольф Задер пил шорли-морли за плюшевой стеной на террасе у Майера. Нехватало решимости купить вечернюю газету, заглянуть в биржевой бюллетень. Пришел Картошин; прихлебывая пиво, счел долгом понести чушь про издательство, журнал, альманахи. Он напомнил о платежах. «Завтра», — сквозь золотые зубы пропустил Адольф Задер. Он взял автомобиль и поехал за город в Зеленый лес.

В рот ему дул с природы сильный ветер. Природа, видимо, существовала как-то сама по себе. Под соснами сидели немки в нижних юбках. Дети собирали сучочки и еловые шишки. Промчался поезд по высокой насыпи...

«Очнись, опасность, очнись, Адольф Задер... Но разве я знаю — что нужно: покупать или продавать?.. Я потерял след... Это началось... Это началось... Не помню, не знаю... Это началось около уборной, мне кто-то сказал... Нет, раньше, вчера... Когда я вбежал в банк, у дверей стояла женщина в смешной шляпке пирожком, худая, старая... Да, да, тогда я подумал: это одна из клиенток Убийко... У нее тряслась голова.. Вот и все... Нет, не то, не она....»

— Шсфер, какой сегодня день?

— Четверг.

— Как, завтра — пятница?.. Вы с ума сошли!

— Что поделаешь, господин Задер; пятница — день действительно тяжелый, да зато другие шесть легкие...

Адольф Задер вернулся в пансион за полчаса до обеда. В прихожей дверь в комнату Зайцевых была отворена. У окна стояла Соня и глядела внимательно и странно. Адольф Задер вошел в комнату. Соня продолжала молча глядеть. Не здороваясь, он сел на диванчик.

— Что вы скажете, Соня, если бы я сделал вам предложение? (Она только мигнула медленно три раза.) Мне нужен друг. Ах, эти все мои друзья, — пошатнись я, — разбегутся, как паршивые собаки. Я не жалею. Я только смотрю правде в лицо. Соня, мне нужен друг.

Он говорил очень серьезно и тихо, но Соне почему-то стало смешно, она быстро повернулась к окну. Он не понял ее движения.

— Я отношусь к вам и к вашей мамаше с глубоким уважением, не считайте меня за нахала. Сейчас я пройду к себе

Когда вернется ваша мамаша, я сделаю вам формальное предложение.

За ужином Зайцевых не было. Адольф Задер после второго блюда пошел к ним. У Сони было заплаканное, припудренное лицо. У Анны Осиповны из-под пенсне текли жидкие слезы. Адольф Задер поклонился и вполголоса, как говорят у постели больного, сделал предложение. Соня подошла и холодными губами поцеловала его в череп.

## ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА

На следующий день, в полдень, Картошин, сидевший у себя за столом в редакции, взяв телефонную трубку. Послышался голос Убейко, торопливый, срывающийся:

— Где Задер? У вас?

— Нет. А что?

— Разве ничего не знаете?

— Нет. А что?

— На бирже паника. Доллар летит вниз. Кошмар. На улицах кричат, что это — Черная пятница.

— Какая пятница?.. Не понимаю...

— Сегодня пятница, тринадцатого. Бегу его искать. Приезжайте на биржу.

Этот голос из черной гуттаперчевой трубки был так страшен, что Картошин на несколько минут ослеп. Он ушел из редакции без трости и черепаховых очков. За квартал до биржи был слышен шум голосов, напоминавший дни революции.

На верху широкой лестницы кричали несколько сотен человек, лезли к черным доскам. Проворные руки стирали губками меловые цифры, и мгновенно на черном возникали новые цифры. Из дверей выходили люди с остановившимся взором. Один, тучный, в визитке, сел на ступенях и закрыл лицо. Другой, засунув руки в карманы, глядел перед собой с глупой, застывшей улыбкой.

Наконец из главных дверей биржи медленно вышел Адольф Задер. Голова его была опущена, в руке — обломок трости. Он спустился к своему автомобилю, потрогал крыло, потряс кузов.

— Скажите-ка, шофер, это хорошая машина?

Шофер усмехнулся, вскочил с сиденья, завел мотор, сел, бросил окурки:

— Машина новая, хорошая, сами знаете.

— Новая, хорошая, — закричал тонким голосом Адольф Задер, — так берите ее себе!.. Я вам ее дарю... Поняли вы, дурень?..

Прежде чем шофер опомнился, прежде чем Картошин успел подбежать, Адольф Задер вскочил в проходивший с адским визгом по завороту двойной трамвай. Люди, автобусы, автомобили заслонили дорогу, и Картошин еще раз только увидел его в окне трамвая: он, гримасничая, нахлобучивал шляпу.

А доллар продолжал лететь вниз. Бешеные руки стирали и писали меловые цифры. На скамьях перед досками ревели и толкались, — стаскивали стоящих за ноги. Рысью подъехала

карета скорой помощи. Из дверей четверо вынесли пятого с мотающейся головой. Зеленые полицейские проходили попарно по площади, удовлетворенно улыбаясь.

За завтраком у фрау Штуле к столу явились только японец да студенты-португальцы. Все уже знали о биржевой грозе, разразившейся над Берлином. Даже в прихожей пахло вале-риановыми каплями. В комнате Зайцевых было, как в могиле. У телефонной будки шопотом совещались, курили Картошин и Убейко. Несколько раз в прихожей появлялась Мура, умоляюще глядела на мужа, точно хотела сказать: «Пока я тебя люблю — ничего не бойся». Но он гневно отворачивался.

В пятом часу позвонили в парадной. Вошел Адольф Задер, весь обсыпанный сигарным пеплом. Картошин и Убейко рванулись к столу. Он ответил спокойно:

— Сейчас я ложусь спать. Это самое лучшее.

Слышали, как он затворил дверь на ключ и опустил шторы. Убейко побледнел, покрылся землей:

— Если он пошел спать, значит — скверно. Он крупно играл. На онкольном счету были не его деньги.

Спустя некоторое время вдруг яростно протопали каблуки, щелкнула ключ, и голос Задера спросил с ужасной тревогой в пустоту коридора:

— Никто не звонил? Что?

Подождал. Дыхнул. Запер дверь. Каблуки заходили, заходили. Стали. Убейко мгновенно вытянул шею, прислушиваясь. В комнате Задера полетели на пол башмаки. Заскрипела кровать. Картошин, с отвисшей губой, с прилипшей к губе папироской, сказал:

— В Прагу надо уезжать. Зовут. Говорят, там возрождается литература.

Он несколько раз пересчитал деньги в бумажнике.

— Пойдемте пиво пить.

Не получив ответа, он ушел, едва волоча ноги, как от желтой лихорадки. Убейко остался один в прихожей. Глаза у него горели от сухости и табаку. В столовой часы пробили половину десятого. Сейчас же в комнате Задера грузно соскочили с постели, голыми пятками подошли к двери, задыхающийся, шамкающий, не похожий на Задера голос спросил:

— Не звонили? Никто мне не звонил?

Убейко лег, — головой в руки, — на камышевый столик перед зеркалом. Ему показалось, будто в комнате Задера поспешно, шопотом спорят, бормочут. Он думал о четырех своих дочерях, но знающих грамоты, о жене. Чтобы подавить жалость, кусал большой палец. Когда часы окончили бить десять, в комнате Адольфа раздался револьверный выстрел. Сейчас же у Зайцевых закричали пронзительно, упали на пол. Из всех дверей выскочили жильцы. Один Убейко остался спокоен и звонил уже в комендатуру.

Явилась полиция. Взломали дверь. Адольф Задер, в ночном белье, лежал ничком на кровати, мертвый. На ночном столике, под электрическим ночником, сверкали двойным рядом крепкие золотые челюсти, все тридцать два зуба — все, что от него осталось.

## ПОВЕСТЬ СМУТНОГО ВРЕМЕНИ

(Из рукописной книги князя Туренева)



а седьмом десятке жизни случилась со мной великая беда: руки, ноги опухли, образ божий — лицо сделалось безобразное, как бабы говорят, — решетом не покросшь. Одолели смертные мысли, взял страх, — волосы поднялись дыбом. Ночью слез я с лежанки, пал под образа и положил зарок — потрудиться, чем бог меня вразумит.

Как внешним водам сойти, — послал я нарочного в Москву, к знакомцу, к дьяку Щелкалову, с подарками: два десятка гусей копченых, полбоченка меду да боченок яблок моченых, кислых, чтобы выдал мне из дворцовой кладовой тетрадь в сто листов бумаги доброй и чернил — чем писать.

И вот ныне, во исполнение зарока, припоминаю все, что видела грешные мои глаза в прошедшие лютые годы. Из припомненного выбираю достойное удивления: неисповедим путь человеческий. А как стал припоминать, вначале-то, — господи боже. Пякнул, положил тетрадь за образ заступницы: дрянью люди, хуже зверя лесного. Злодейству их нет сытости. Тьфу...

Но отойдя и поразмыслив, положил я все же начать труд грешный и начинаю неторопливым рассказом о необыкновенном житии блаженного Нифонта. Его еще и по сию пору помнят в нашем краю.

В миру Нифонта звали Наумом. Отец его, Иван Афанасьевич, уроженец села Поливанова, при церкви был в попах и в давних летах умер. Наума взял к себе матернин дядя его, дьякон Гремячев; у дьякона Наум научился грамоте, и читал псалтырь, и был в дьячках, и через небольшое время посвящен в городе Коломне, при церкви Николая-чудотворца, в попы. Там-то я его и увидел в первый раз.

Стоял у нас в Коломне наш, князей Туренских, осадный двор, куда бежали мы из деревень и садились в осаду, когда с Дикого поля шел крымский хан, с большими людьми. А дороги хану не было другой, как между Донцом и Ворсклой — либо на Серпухов, либо на Коломну. Здесь по берегу Оки сторожи стояли, а в горстах — береговые полки. Ока так и звалась тогда — Непрелазной стеной.

Старики говорили, — велик при царе Иване был город Коломна, а я его помню, — уж запустел: в последний раз крымский хан перелезал Оку через Быстрый брод, — с тех пор лет двадцать о крымцах не было слышно, и стали вольные людишки разбегаться из города, — кто на промыслы, кто в Москву, кто в степь — воровать. Остались в Коломне церковные да монастырские служители, да на осадных дворах — дворники, да на посаде среди пуста, — заколоченных лавок, бурьяна на огородах, — жило стрельцов с полсотни, сторожа Гулай-города да казенные ямщики.

В пустом городе — скука. Одни гаалки да голуби ворошатся на гнилой кровле, на деревянной городской стене.

Был в те времена великий голод по всей земле. Три лета земля не родила. Скот весь съели. Пашню не пахали и не сеяли. Бродили люди по лесам, по дорогам: кто в Сибирь тянул, кто на север, где рыбы много, кто бежал за рубеж на литовские, на днепровские украины. В Москве царь Борис даром раздавал хлеб, и такое множество народа брело в Москву — дикие звери белым днем драли на дорогах отсталых, тех, кто с голоду ложился.

Разбойников завелось больше, чем жителей. Сельский дом наш сожгли бродячие люди, и мы с матушкой от великого страха жили в Коломне за стеной.

Помню, мы с матушкой сидим на дворе, на крыльце на солнцепеке. Около стоит толстая, как бочка, попадья, босая, в лисьей рваной шубе, и говорит:

— Наступает кончание веку, матушка княгиня: иду я сейчас через мост, а на мосту безместные попы сидят, восемь попов, и все они драные, исчесанные, и бранятся матерно, а иные борются и на кулачки дерутся. Я их срамить. А один мне поп, Наум, нашего приходу, говорит: «Царь Борис, слышь, дьяволу душу продал, знается с колдунами и службы не стоит, и быть нам под Борисом нельзя, — мы все, попы, уйдем в Дикую степь к казакам, к атаману Ворону Носу. Вы еще нас помните».

Матушка испугалась, увела меня в светлицу. А вечером поп Наум подошел к нашим воротам и стал бить в них рукой, покуда его не впустили.

Наум сел на лавку в избе, где мы ужинали, сам худой, борода спутанная, глаза беловатые, дикие, из подрясника полбока выдрано, — тело видно. И стал он говорить дерзко:

— Теперь по ночам звезда с хвостом всходит. В Серпухове на торгу все слышали — скачут кони, а ни коней, ни верховых не видно, одни подковы видны да пыль. Я теперь поп безместный, протопоп мне по шее дал: «Николай-чудотворец, — говорит, — и без тебя обойдется». Дайте мне нагольный полушубок да шапку баранью, — я уйду в степь — воровать. А не дадите мне шапку да полушубок — наложу на вас епитимью, — я еще не расстриженный, — или еще чего-нибудь сделаю. Все равно теперь пропадать. Мы, русские люди, все проклятые. У нас дна нет.

Сейчас же дали полушубок, и шапку, и пирогов на дорогу. Наум всех нас благословил: «В остатный, — говорит, — раз».

Глаза кулаком вытер крепко и ушел — бухнул дверь. И слышим — засеистел в темноте, на улице, из слободы ему безместные попы откликнулись. Матушка заплакала, — так стало нам всем страшно.

Прошло с тех пор более года. Голод, слава богу, кончился, но в народе покою не было. В Коломне, бывало, соберется торг на площади у пустого гостиного двора, и пойдут разговоры: никому не до торга. Собыются в круг и слушают рассказы: про то, как знающие бабы вынимают человеческий след, и след тот сушат в печи, и толкут, и бросают на ветер, и про то, как вышли из Волыни колдуны, разбрелись по русской земле, — напускают порчи, засушь, гнилой ветер, наводят марево на хлеба, а быйти тем колдунам велел польский король, и про то, как по деревням шатаются лихие люди — скоморохи и домраччи — бренчат, скачут, крутятся, на дудках дудят, а придут на деревню — раскинут рогожную палатку, поставят в ней «Египетские врата» и заманивают народ глядеть: пятерых за копейку. Ну, как не пойти, не поглядеть! А посмотришь в «Египетские врата», засосет, затянет — закружится голова, и летит человек через те врата в место без дна, в пропасть, где ни земли, ни солнца, ни звезд — бездна. Так все село и выведут лихие люди.

Московские наезжие купчишки кричали на торгу воровские слова про царя Бориса. На Петров день стольник Мясев, наш воевода, велел одного купчишку схватить, его схватили и били на площади кнутом, и полъязыка ему резали. Рухлядишку его, что была на возу, велено всем народом грабить, а самого выбить из города.

Но народ не унимался. И вот пошли слухи про царевича Димитрия, что не зарезан он в Угличе, а скрыт был князьями Черкасскими, и увезен в Литву, и ныне, войдя в возраст, собирает войско в Самборе — итти воевать отцов престол и опоганенную православную веру.

Помню — великим постом вышел я за ворота послушать, как звонят у Николая-чудотворца, — звонили хорошо, унывно. Денек, — тоже помню, — был серый. За рской галки летали: поднимались под небо и тучей падали вниз, на черные избы, — птиц этих было видимо-невидимо. Думаю — «к чему бы столько птиц над слободой?»

В это время проходит мимо нашего двора странный человек, в сермяге, в лохмотьях, а сам гладкий, румяный. Идет, руками болтает, — прямо к площади, где толчется народ на навозе у взов. Остановился этот человек, засмеялся и стал указывать на птиц:

— Глядите, — кричит, — воронья-то, воронья... Не простые птицы — вороны... Народ православный! — шапку с себя, войлочный колпак, содрал, — народ православный!.. Кто в бога верует, читайте истинного царя нашего грамоту!..

Кинулся этот человек к столбу, у которого у нас на торгу воров казнили, и на гвоздь нацепил грамоту — в полполотенца, внизу на ней печать, и другая печать — на шнуре. Народ побросал воза, лотки, зашумел, сбился кучей к столбу, и дьячок Константинов стал читать:



— «Во имя отца и сына и святого духа. Не погиб я воревским промыслом злодея Годунова, ангел божий отвел руку убийцы, зарезали иного отрока, не меня. Ныне я собрал не-счетные полки... После Петрова дня выйду из Поляков на русскую землю воевать отцов престол... А вам, всем православным, крепко стоять за истинную веру и за Бориса не стоять, а кто захочет — бегите к казакам на Дон».

Тут все сразу увидели, что прелестная грамота была от царевича Димитрия. В народе закричали: «Постойм, не выдадим!» — и шапки кверху начали кидать. И шапки летят, и вороны летают — жуть.

В то же время приезжает на площадь воевода, стольник Мясев. Стегнул плетью по жеребцу, прелестную грамоту со столба рукой сорвал и велит стрельцам народ разогнать. Началась великая теснота. Стрельцы ударили на крикунов, стали рвать одежду, а народ знай лезет к воеводиному коню «Говори, — кричит, — правду: кто истинный царь — Годунов или Димитрий?.. Животы хотим положить за истинного царя».

Дьяка Грязного стащили за ногу с верха, и били безвинно топтунками, и волокли по навозу, — хотели топить в полынне под мостом. Воевода воровства не унял, — ни с чем уехал на свой двор, велел затворить ворота.

Так шумел народ на торгу до сумерек. А ночью занялась слобода, загорелась сразу с двух концов. Забил набат. Говорили потом — колокола сами звонили на колокольнях.

Весь город проснулся, вышел на стены. Видели — снег был красный, как кровь. Птицы — вороны — тучей поднялись над пожарищем, над великим огнем. И еще видели в небе, над дымом, над тучей птиц, простоволосую женщину: волосы у нее торчали дыбом, на руке держала она мертвого младенца.

В ту же ночь стрельцы разбили воеводины ворота и бежали по двору, ругаясь матерно, искали воеводу убить и, не найдя, сорвали замок в подклети, выкатили бочку вина, и пили сами, и поили земских людей: много их в ту ночь пришло в Коломну из деревень.

Всему этому воровству был зачинщик и голова пришлый человек, подкинувший на торгу прелестную грамоту. На другой день коломенские спохватились, что этот человек был всем ведомый Наум, безместный поп. А его и след простыл, ушел и увел с собой холостых стрельцов, пропойного дьячка Константинова и немало слободских ребят. Ушли они на телегах, взяли с собой наряд — единорог — и двухфунтовую пушку, пушечного зелья и рухлядишки, что успели напирать.

Еще минуло более году. Всех бед и не запемнишь. Царь Борис умер: сел ужинать и лопнула у него утроба, изо рта потекла грязь. Воевода Басманов со всем войском передался на сторону царевича Димитрия. В Москве на Болоте царевичевы тайные послы, Плещеев и Пушкин, читали перед народом грамоту, — сулили великие милости. Народ взял тех послых, повел на Красную площадь, и там они читали грамоту во второй раз, и боярин-князь Василий Иванович Шуйский кричал с Лобного места, что убит в Угличе поповский сын. Народ закричал: «Сыты мы Годуновыми!» Ударили в набат. Кинулись

в Кремль, побии кольями стрельцов у Красного крыльца, порвались в Палаты, схватили царя Федора с царицей и поволокли через крыльца и переходы в старый годуновский дом. Скинули царя.

Всю ночь горели костры в Кремле и на Красной площади. Грабили лавки на Варварке, и на Ильинке, на Моросейке. На плувучем мосту через Москва-реку резали купчишек, кидали в воду. Из боярских дворов, из-за ворот, стреляли из пищалей. Много было разбито кабаков, выпито вина. И такие последние людишки скакали меж кострами, трясли отрепьями, скалили зубы, — московский народ только крестился, плевался, дивился много: ну, и нечисть!

На другой день приехали от царевича князя Голицына и Масаальский с товарищами, и убили они царя Федора и царицу мать, и народ выкрикнул царем Димитрия.

Мы с матушкой тогда все еще жили в Коломне. Приезжие из Москвы говорили, будто в Москве — смутно, и в народе шажость: сулили большие милости, а до сих пор милостей не видать. Царь Димитрий своих людей сторонится и знается больше с поляками. В мыльню не ходит каждый день, а в храм входит рысью, обедню стоит не бережно. Ноги у него короткие, травая рука короче левой руки, а нос длинный, и на нем большая бородавка, волосы носит торчком, бороду недавно только запустил, да и та у него растет скудно. На самое Крещение, на Москва-реке, на льду, построили потешную крепость и посадили туда стрельцов. У той башни сделана морда с пастью и с клыками и выкрашена красками. Башню стали пихать с тылу, она пошла, из пасти палили из пушки и из пищалей. А когда докатили ее до ледяной крепости, царь Димитрий выскочил из башни и закричал не по-русски: «виват!»

Народ московский глядел на эту потеху с обоих берегов, и на многих в тот день нашло сомнение: кого царем посадили? Не Гришка ли то Отрепьев, беглый холоп князей Ромодановских, глаумится над русской землей?

В мае месяце матушка моя собралась ехать в Москву. Ее надоумили протопол от Николая-чудотворца и толстая попадьа — бить государю челом на деревнишке, — просить землишки, черных людишек и животов и просить — сколько даст.

Собрали мы десять подвод — птицы, солонины, засолов, капусты квашеной, пирогов, полотна беленого. Мая двенадцатого числа отстояли молебен и тронулись. Матушка всю дорогу плакала, молилась, чтобы нам живыми доехать.

Въехали мы в Москву в обед четырнадцатого мая и стали в слободе на Никольском подворье, у Арбатских ворот. Пообедали. Матушка легла почивать, а я вышел на двор, где стояли воза. Сел на крылечко и гляжу. Въезжают на двор три казака, передний, — смотрю, — Наум, я сразу его узнал, в черном добром кафтане, о сабле, и сам красный, злой, пьяный, — едва сидит в седле.

— Эй, дьявол! — кричит Наум. — Хозяин, пива...

Баулин, коломенского кожевника Афанасия кум, нашего подворья хозяин, гладкий, лысый посадский, вышел на крыльцо, улыбается.

— Можно, казачки, — отвечает, — можно, любезные, пиво у меня студеное, сытное, кому и пить, как не вам.

И сейчас же рябая девка с бельмом выбегла со жбаном пива, поднесла Науму. Он сдвинул шапку, испил из жбана, отдулся и слез с коня, — сел на бревнышко у крыльца.

— Из Дмитриевых али за истинного царя? — спросил он у хозяина со злобой.

Баулин усмехается, поглаживает бороду:

— Мы люди посадские, — отвечает, — мы — как мир. Тот нам царь хорош, кто миру хорош. Наше дело торговое.

— Ах ты, сума переметная, сукин ты сын! — говорит ему Наум. — Да разве Дмитрий царь: расстрига, польский ставленник, Отрепьев, самый вор последний. Он у Вишневецких в Самборе конюшни мел. Я-то уж знаю, — я сам за него кровь проливал под Новгородом-Северским, когда били мы, казаки, князя Мстиславского, я знамя взял... Я бы самого воеводу Мстиславского взял, да ушел он в степь, — конь под ним был добрый, ах, конь... Князя три раза я бил саблей по-железному колпаку, — всего окровавил... Господи прости, сколько мы русских людей побили... А за что? Чтобы нас в Москве поляки бесчестили и лаяли... Пороху, свинца нам продавать не велят... Придешь в кабак, из-за стола тебя выбивают вон... Ну, погоди...

Наум стащил с себя шапку, бросил ее под ноги и стал топтать.

— Мы знаем, за кем пойдем. Мы за веру постоим... Ни одного поляка живого из Москвы не выпустим!

— Будет тебе, Наум, нехорошо, — сказал ему Баулин, — поди на сеновал, отоспись.

— Нет, я не пьяный... А — пьян, не от твоего вина... Подожди, подожди, — ужом ты нам запустим ерша...

Тут Наум схватил шапку, вздел ногу в стремя, конь его кинулся в сторону. Наум поскакал за ним на одной ноге, позалился брюхом в седло. Казаки заржали, и все трое выскочили, как без ума, из ворот, запустили вскачь по слободе к Воробьевым горам, — только пыль да куры полетели в сторону.

На другой день нам запрягли возок, и мы с матушкой поехали в Кремль, в Успенский собор, и стояли обедню; а отстояв, пошли к Шуйскому на двор, — кланяться, просить заступиться перед царем за нас — сирот: не дадут ли землишки.

Боярин-князь Василий Иванович Шуйский вышел к нам на крыльцо, и матушка кланялась ему в пояс, а я — в землю, хотя и невдомек нам было, что уже не князь, — плотный, низенький старичок в собольей зеленой шубе, — стоит перед нами, а без двух дней царь. Борода у него была редкая, мужицкая, лицо одутловатое, щекой дергает, а глаза — щелками — большого ума, не давал только в них взглянуть.

Сказал нам боярин-князь тонким голосом, со вздохом:

— Заступлюсь перед кем нужно за твое сиротство, матушка княгиня, но обожди, обожди, ох, обожди. Ныне все мы под богом ходим... А мужа твоего, князя Леонтия Туренева, помню хорошо, — при царе Федоре он на три места ниже меня сидел: я, да князь Мстиславский, да князь Голицын, да Тверской князь, Патрикеева рода, а после него место Туреневу, и ему

завоудой место в сторожевом полку, а в большом полку — третьим воеводой. Мальчику-то вели это заучить.

Князь погладила меня по голове и отпустил нас.

На другой день, как солнце встало, пошли было мы с матушкой на Красную площадь, на торг. Куда там — не протолкаться. Народ так и лезет стеной, — боярские дети, стрельцы, персьюки, татары — в пестрых халатах, поляки — в голубых, в белых кафтанах, иныо с крыльями, а наши — в зеленой, в коричневой, — все в темной одеже.

По бревнам громяхают телеги. Или проскачет боярин в модной греческой шапке с гребешком, — впереди него стремянные расчищают плетью дорогу, — опять давка.

У кремлевской стены стоят писцы, кричат: «Вот, напишу за копейку!» Попы стоят, дожидаются натошак — кого хоронить или венчать, и показывают калач, кричат. «Смотри, закушу». Кричат сбитенщики, калачники. Дудят на дудках слепцы, Между ног ползают безногие, безносые, за полы хватают. А в палатках повешено товару, — так и горит. Из-за прилавков купчишки высовываются, кричат: «К нам, к нам, боярин у нас покупал!» Пойдешь к прилавку, — вцепится в тебя купец, в глаза прыгает, а захочешь уйти ни с чем, начинает ругать и бьет тебя куском полотна, чтобы купил. Подалье, на Ильинке, на улице, сидят на лавках люди, на головах у них надеты глиняные горшки, и цыгане стригут им волосы, — Ильинка полна волос, как кошма.

От этого шума напал на матушку великий страх, сделалось трясение в ногах. Вернулись мы на подворье и рано легли спать. Ночью матушка меня будит, шепчет: «Одевайся скорей». На столе горит свеча, лицо у матушки как мукой посыпанное, губы трясутся, шепчет: «Хозяин прибежал, велел схорониться: говорит, чье-то войско на Москву идет, уже в город входят».

И мы слышим — топот множества ног и скрип телег многих, а голосов не слышно, — входят молча. Вдруг застучали в ворота, — отворяй. Матушка меня схватила, спрятались мы на сеновале и до утра слушали, — нет-нет, да и ломятся к нам на двор.

А утром узнали: в Москву вошло восемнадцать тысяч войска с князем Голицыным, и в Кремле уж бунт — стрельцы жалованья просят за три месяца вперед и грозят перекинуться от царя к Голицыну, и Шуйский будто сказался больным, а иныи говорят, — видели его ночью у Арбатских ворот на коне.

В самый завтрак к нам на подворье забежал божий человек, голый, в одних драных шортах, на шее у него, на цепи, висят замки, подковы и крест чугунный. Матушка взглянула на него, — вся в лице переменялась и положила ложку. А божий человек смеется, морщится, шею вытянул — и начал топтаться, как гусь, забормотал:

— В Угличе-то кого зарезали, а? Знаете?.. Его же и ныне его зарезали, сам, сам видал, — вот она. — И протягивает тряпочку, всю в крови. — Понюхайте, не жалко, царская кровушка медом пахнет... А когда еще раз, в третий раз, резать-то его станете, опять меня позовите...

Матушка, смотрю, цепляется ногтями по столу и повалилась на скамейку. Спрыгнули се с уголька, она вскинулась.

— Царя убили! — кричит. — А вы тут ложками стучите... Идем, идем скорее, — и тащит меня за руку из-за стола, и мы побежали в город.

В Боровицкие ворота нас не пустили, — в воротах и у моста через Неглинную стояли казацкие воза, кони у коновязей, кипели котлы на кострах, казаки кричали с того берега:

— Поляки причастие из Успенского собора выкинули... Из Чудова монастыря мощи выкинули... Весь народ будут в польскую веру перегонять...

Вдоль Неглинной бежали люди, — крик, давка, визг бабий... Смотрим, — сбились в кучу: бьют кого-то. Выскочил из кучи поляк, отбивается саблей и прыгнул в Неглинную, поплыл. С той стороны казаки бьют по нему из ружей.

Добежали мы до Красной площади, и здесь толпа понесла нас вдоль стены к Василию Блаженному. Все маковки его, алые, зеленые, витые, так и горели на солнце. Звонили колокола тревожно, гудел Иван Великий.

В толпе докатились мы до пригорка, — Лобного места, — кругом него теснился народ, молча, без шапок. На Лобном месте, на дубовой лавке, лежал голый человек с раздутым животом, нога левая перебита, срам прикрыт ветошью, руки сложены на пупе, а лица не видно. — на лицо надета овечья сушеная морда, — личина.

— Кто это лежит, кто лежит? — спрашивает матушка.

Ей отвечают многию голоса:

— Царь.

— Русский православный царь лежит.

— Не царь, а расстрига, вор...

— Нет, это не он, ребята, лежит.

— Господи, помилуй!

— Он много тощее, а этот — плотный...

— А он где же?

— Он ушел...

Из толпы к Лобному месту выбивается человек, всходит к мертвому телу, — гляжу: опять это Наум. Рот у него разбит, глаз и щека в крови, волосы — растерзаны.

— Вот вам крест святой, — закричал Наум и перекрестился на румяные главы храма, — этот на лавке лежит: царь Димитрий, расстрига, вор... Мне верьте... Я кровь за него проливал, будь он проклят... Его мало мучили... Надо еще мучить...

В руке Наума откуда-то появилась дудочка деревянная, крашенная, и он вставил дудочку мертвецу в руки... Вставил, всплеснул ладонями, разинул разбитый рот, — хотел, видно, засмеяться, — но пошатнулся, повалился навзничь...

Народ зашумел, закликали бабы дурными голосами. А в это время ударили с кремлевской стены из пушки, зазвонил благовест, отворились ворота, и выехали бояре, — впереди всех Василий Шуйский в золотой шубе, как в ризах царских. Нас затеснили, затоптали, кое уже как пробивались мы к Москвареке. На той стороне по Замоскворечью шла стрельба, — казаки и посадские резали поляков, разбивали их осадные дворы.

Так мы с матушкой ни с чем вернулись в Коломну. Плохое началось житье. Тяглые и черные людишки с нашей вотчины почти все разбежались — иных сманивали казаки, иные от оборов, от кормовых, от государева тягла разбредались ровню — куда глаза глядят.

Когда узнали, что в Москве выкрикнули царем Василия Ивановича Шуйского, народ говорил: «То дело Шуйских да Голицыных, а нам на Василия наплевать, какой он царь, мы ему крест не целовали, а мы крест целовали Димитрию, он тогда из Москвы ушел в женском платье, и надо опять его ждать к Покрову дню».

Так и вышло. Осенью князь Шаховской, сосланный Шуйским на воеводство в Путивль, поднял город за царя Димитрия, а воевода Телятевский поднял Чернигов. Встали холопы. Вышли из лесов шиши. Двинулась мордва на Нижний-Новгород. Взбунтовался в Астрахани воевода, князь Хворостин. Войска Шуйского разбиты были под Тулой и под Рязанью. Началась смута.

А к Покрову дню и объявился Димитрий живой. Шел он из литовской украины с казаками. За ним из Рязани двинулось ополчение с воеводой Прокопием Ляпуновым, а из Тулы вышел Истом Пашков с ополчением же. Под Москвой они соединились с названным Димитрием и стали обозом в селе Коломенском.

У нас в Коломне один только протопоп не верил в названного Димитрия, кричал:

— Дьявол вас мутит, мужичье недотепанное! Царя Димитрия зарезали. А нынешний Димитрий — вор, я его знаю. Зовут его Болотниковым. Он в холопах был у князя Телятевского, и бежал, и попал в плен к татарам, а татары продали его туркам, и работал у них на галерах. А от турок бежал в Венецию-город, а оттуда пробрался на Русь, будь он проклят... И ныне кидает по городам воровские письма.

Болотникова прелестные письма протопоп показывал на торгу и читал их:

— «Во имя отца и сына и святого духа... Велим мы вам, холопам и тяглым людям, побивать своих бояр, и жен их, и вотчины их, и поместья брать на себя. И велим вам, слободским тяглым и черным людям, гостей и всех торговых людей побивать, и животы их грабить, и жен их и дочерей брать за себя. И за это мы вам, всем безыменным людям, хотим давати боярство, и воеводство, и околичество, и дьячество...»

На святки ночью ворвались в Коломну воры на ста двадцати саях. Матушка услышала набат, оделась, одела меня, сняла образа, завязала их в скатерть, и мы вышли за ворота. Мороз был лютый, луна высокая, ясная. Мимо, по улице, скакали сани, полные воров. На ворах шубы, на иных ризы. Хлещут по лошадям, ноги задирают, орут — все пьяные... У Николая-чудотворца часто-часто страшно били в большой колокол. Воры доскакали до площади и сбились у восводина двора, — стучат в ворота, ломают ставни. Мы с матушкой вернулись в избу.

В избе даже нашей было слышно, как начал кричать человек на площади. Ах, душегубы... Толстая попадья нам по-

том рассказывала, — сама видела, как вытащили воры воеводу из избы на снег, однородку, рубаху содрали и ножами резали у него из спины ремни, — допытывались, где казна зарыта.

Ворота мы так и не заперли, — все равно воры выломают. Матушка поставила на стол образ заступницы, зажгла перед ней свечечку. Мы сидим на лавке, дожидаемся смерти. Вдруг заскрипел снег, — идут!

— Прощай, сыночек, голубчик, прости меня христа-ради, — сказала матушка, перекрестила и прижала меня к себе.

В дверь ударили ногой, в избу вошли воры. Впереди — Наум. Шапки не снял, не помолился и говорит застуженным голосом:

— Ну, поели нашего хлеба досыта, — ступайте...

— Наум, — спрашивает матушка со слезами, — ты ли это?

— Звали Наумом... Нынче я вам голова... Бери щенка своего, уходи куда глаза глядят... Счастье твое, что я здесь.

Так мы с матушкой захватили узел с благословенными иконами и вышли из своего дома на трескучий мороз.

На площади горел, как свеча, двор воеводы. Куда идти? Снег по колено. Господь надоумил нас постучаться к протопопу. Долго нас не выпускали, потом, глядим, — над воротами высовывается растрепанная голова. Это был сам протопоп, — узнал нас и впустил.

С той поры жили мы у протопопы в черной подклети. От горя, от дыма горького, от черствого хлеба столько слез пролила, — на всю жизнь хватило.

К весне стало нам легче. Болотникова у деревни Котлов разбил наголову Скопин-Шуйский. Вор бежал в Тулу и сел в осаду вместе с самозванным царевичем Петрушей. Много таких царевичей тогда объявлялось по всей земле: был и Ерощка-царевич, и царевич Гаврилка, и царевич Мартынка, — погуляли, потешились в свое время.

Шуйский осадил Тулу, затопил город. В Москве вздохнули, стали подвозить хлеб, рассылать по городам голов и ценовальников — править государеву казну. Но огнедыхательный дьявол, лукавый змей, поедатель душ наших, воздвиг на нас нового вора. Кто был тот вор, — никто не знал, знали только, что сидел одно время в остроге, в Пропойск, за разбой. Однако в Стародубе на воскресном торгу его признали за царевича, помогли деньгами, пристали к нему поляки и казаки, двинулся он на Москву, при Волхове разбил царское войско и стал обозом в селе Тушине, окопался земляным валом, загородился частоколом.

Поначалу вор хотел с босм овладеть Москвой, — подбивали его к тому поляки. Дрались они с москвичами на реке Химке у деревни Иваньково, дрались на Яузе, на Ходынском поле захватили у москвичей Гуляй-город, а Москвы взять не смогли. Тогда тушинские стали грабить кругом деревни. Лисовский осадил Троицу. Санега разбил Ивана Шуйского и открыл дорогу на север, — грабить северные города.

В Москве опять начался голод, а в Тушине — раздолье. И стали простые людишки из Москвы к вору перелетать. А за

простыми потянулись служилые и дворяне — просить у вора деревнишек. Кланялись ему и Салтыков, и Рубец-Масальский, Хворостин, и Плещеев, и Вельяминов. Вор жаловал — иным отчины, иным околичество, а иным и боярство.

Протопоп опять стал подбивать матушку ехать в Тушино, кланяться вору на деревнишке:

— Вот всю землю раздаст, останешься ты с дитем, как обожженный куст.

А ехать было страшно. Как тогда, весной, Болотникова разбили, — Наум с товарищами убежал из Коломны и теперь бегал в окрестностях, хвалился, что скоро будет с Волги атаман Баловень, — тогда они сделают пустоту.

Так мы и прождали до осени. А осенью вор поругался с поляками, зажег Тушино, и бежал в Калугу, и там стал набирать новое ополчение. А поляки и русские, что остались в Тушине, послали боярина Салтыкова с товарищами к польскому королю — просить королевича Владислава на Московское царство. А царь Шуйский послал брата, Димитрия, с большим войском под Смоленск — бить поляков, и то русское войско поляки разбили под Клушиным и пошли на Москву помогать тушинским полякам. А вор из Калуги тоже пошел на Москву и стал в селе Коломенском. Такая поднялась смута — разобрать ничего было нельзя.

На Фоминой неделе в Коломну прилетел польский полковник с гусарами, дворяне, что остались целы, выграбил, много народа порубил, посеки и порохом взорвал городскую стену. Мы в погреб отсиделись. Протопоп сгорел на сеновале. Толстую попадью гусары увели с собой. Остались мы с матушкой без кола, без двора, взяли по мешку и пошли куда глаза глядят, — христовым именем.

Помню, — поутру вышли мы из лесочка и увидели: внизу, под горой, вьется лазоревая река, и на реке, на зеленых холмах, стоят храмы, белые и золотые, три стены идут кругом города, за стенами — сады и улицы, изба к избе, высокие, бревенчатые. Матушка глядит на Москву, молчит, и слезы у нее полились.

К полудню мы подошли к Серпуховским воротам. На лугу, у ворот, у Земляного вала толпился народ, казаки, стрельцы, а посреди них на возу стоял смуглый, как цыган, человек в черной однорядке, могучий в плечах, большого роста, глаза запавшие, лицо гордое, с кудрявой бородкой, на шее жилы надуты. На весь народ человек этот кричал сиповатым голосом:

— Под Клушиным лучшие русские люди побиты. Долго еще нам терпеть?.. У царя Шуйского нет счастья. Шуйского надо ссадить. Нам царь нужен молодой, — простой царь. Чтоб он лучших людей слушал, чтобы нам тому царю верить и за том царем за веру православную, за русскую землю души наши положить. Храмы наши поруганы. Поляки животы наши последние грабят, жен наших себе берут. Опустела русская земля...

— Ссадить, ссадить Шуйского! — загудел народ.

Матушка спрашивает у одного посадского, — кто таков человек — кричит на возу?



— Да ты разве не видишь, — отвечает, — Прокопий Ляпунов.

В тот же день, — мы узнали, — народ ссадил Шуйского. Ссадили, и пошла резня. Черные люди хотели вора на царство, Ляпуновы со стрельцами и торговые люди — Михаила Романова, бояре — королевича Владислава. А вор из села Коломенского подскакивал уже к самой Москве.

Чаяли все тогда, — скоро смута кончится. А она только еще разгоралась. Опять начался голод. Пахать, сеять — и думать было нечего. От розни, от нищеты народ вконец отупел, — рукой махнули: хоть чорта царем.

Матушка в то время занемогла, и нас приютили в Замоскворечьи добрые люди. Мы видели, как вошел в Москву гетман Жолкевский с поляками, как поляки стали русский народ разорять и грабить, стала Москва короля польского вотчиной. Погибала русская земля. Одни бояре терпели срам, а народ затаился, закаменел лютой ненавистью, ждал срока. Видели мы, как подошло из Нижнего и северных городов мужицкое ополчение с князем Пожарским, — осадили Москву. Слободы все погорели, от Замоскворечья остались пожарища да пустоши. Стали мы жить в погребах, по ямам, обросли коростой. Теперь руками разводишь, — как на семья-то осталось русско-го народа.

Но, видимо, наступал предел муки человеческой. Помощи ждать было неоткуда. Не в кого верить, не на что надеяться. Ожесточились сердца. И русские люди взяли наконец Москву и вошли в опоганенный Кремль. Я сам видел, как со стены скидывали в Москву-реку бочки с человечесей солониной. А когда в храмы вошли — только рукой махнули, заплакали. Смута кончилась. Но радости было мало: кругом, куда ни поедь, — ни сел, ни городов, — пустыня, погост.

И еще помню я, как в осеннюю ростепель, в ветреный, серый денек, вышел народ на московские заставы в поле и стоял без шанок. Дул ветер, летели мокрые птицы. По черной, топкой дороге ехал возок. Тянули его две пары разнопегих лошадей в веревочной сбруе, с подвязанными хвостами. За возком ехали бояре, гости и выборные лучшие люди. В окошечко из возка на косматый, драный, угрюмый народ глядел худенький отрок с опухшими глазками. Боязно было принимать венец Михаилу Романову, тяжело, уныло.

Вдруг к возку кинулся человек в рубище, — упал в грязь на колени и грудь себе ногтями рвет... Вижу, — опять это Наум. Возок проскал, и Наум побежал за возком, не отставал от него до самого Кремля. Бежал, зыл, — юродствовал.

С Романовыми были мы в дальнем свойстве, матушка была молодцом царю челом на деревнишке, и царь пожаловал нам селцо Архангельское, что близ Кагополя. А ехать туда было, как на верную смерть: по всему северному краю бродил разбойничий атаман Баловень с черкасами, литовскими и русскими ворами, никому не давал пощады: поймает человека, набьет ему порохом рот и уши и поджигает. Лишь года через три загнали тех воров к Олонцу и всех истребили на заонсж-

ских погостах, самого Баловня привезли в Москву, повесили за ребро.

Так до времени и жили мы с матушкой в Кремле, при царском дворе, в баньке.

В день архистратига Михаила, после обедни, позвали меня к царскому столу, — в то время было мне лет семнадцать, и я сидел с детьми дворянскими у дверей, там, где стол заворачивал глаголем.

Царь, — худощавый отрок, — вышел к нам в ризах и в бармах, сел к столу, снял венец, по обе руки его сели Салтыковы. Царь кушал мало, все больше на руку облакачивался. Волосы у него были светлые, тонкие, реденькие, над губой пушок, лицо усталое. Борис Салтыков наклонился и шептал ему, царь поднимал лазоревые глаза и улыбался, — и то одному боярину, то другому посылаал чашу.

Зато бояре ели сытно, — наголодались, захудели: иной был в нагольную шубу одет, иные просто в сермяге. Ели час и другой, и царь совсем заскучал. Тогда Салтыков приказал позвать скоморохов и дудошников.

Привели скоморохов. Они робеют, жмутся в дверях близ нашего стола. И я смотрю, — один, в бабьем сарафане, с лукошком на голове, вместо кики, — Наум: сытый, и борода расчесана, а глаза мутные, снулые. У меня сердце захолонуло. Салтыков кричит:

— Что же вы, дураки, входите, не бойтесь, государь вас пожалует — кого петлей, кого кнутом, кого столбом с перекладиной...

Бояре засмеялись. Царь закивал головой. Тогда Наум выскочил вперед, ударил себя по ляжкам и начал приговаривать, гнусить:

— Вот я и здесь. Зовут зовуткой, величают уткой. Нынче девок никто замуж не берет, развелось их как тараканов, а мужиков мало, все побиты. Только я невеста богатая. Хочешь — бери, хочешь — не надо. За мной приданого: восемь дворов крестьянских, промеж Лебедяни, на старой Казани, да восемь дворов бобыльих, в них полтора человека с четвертью, четверо в бегах да двое в бедах. А хоромного строения — два столба вбито в землю, третьим прикрыто. Да с тех дворов сходитя на всякий год насыпного хлеба восемь амбаров без задних стен да четыре пуда каменного масла. Да в тех дворах сделана конюшня, а в ней четыре журавля стоялых, один конь гнед, а шерсти на нем нет. Да с тех же дворов сходитя на всякий год запаса — по сорока шестов собачьих хвостов да по сорока кадушек соленых лягушек...

Дальше ничего нельзя было разобрать, так загромыхали бояре, — тряслись на лавках.

Вдруг один дворянин встает и говорит злобно:

— Государь, прикажи взять этого человека под стражу. В прошлый год он меня на Серпуховской дороге мучил, и грабил, и бил даже до смерти... Он — шиш, воровской атаман.

Царь встал, сложил руки, оглядывается на Салтыковых.

— Ну, хорошо, хорошо, — говорит, — мы его возьмем... Я сам дело разберу. — И он опять засмеялся. — Ведь дурак прав-

ду сказал, бояре, четыре журавля стоялых в нашем государстве всего богатству...

Наума взяли под стражу, и на другой день царь велел его сослать в Преображенскую пустынь. Там Наум постригся и принял имя Нифонта. Прошли с той поры многие годы.

Я женился, родил семерых детей и похоронил матушку. Жили мы большой семьей в орловской вотчине. Царь Михаил умер. Начались опять войны: воевали и со счастьем и без счастья. Отстраивали Москву, укрепляли стены, строили кремлевские башни и палаты, заводили ночные порядки. Москва богатела, но в государстве не было покою: холопы, тяглые люди, вотчинные мужики опять стали бежать на Дон и на Волгу, — искали воли. Царь искал крепости, бояре и служилые люди — богатства и чести, а народ — своей воли. И ныне, говорят, на низовьях Волги опять неспокойно, — шалит казачий атаман Разин. А может быть, и так — зря — болтают.

Вот уже сколько лет богомольцы и странные люди, заходя по пути, говорили нам:

— Сходите, христа-ради, в Преображенскую пустынь, поклонитесь блаженному Нифонту.

Мы говорили богомольцам:

— Того Нифонта мы знавали и хотим его видеть, — расскажите нам про его подвиги.

Прохожие рассказывали:

— Был он великий душегуб и злодей. В пустыне принял великий постриг, и лег в гроб, и не принимал пищи и питья, чтобы скорее умереть — преставиться. Лежал в келье, в гробу, долго. Раз ночью вся пустынь всполошилась: слышат — Нифонт кричит дурным голосом. Зашли к нему и увидели: Нифонт сидит в гробу, и хулит Христа и божью мать, и ругается черно, и скрипит зубами. В великом страхе убежала от него братия. Ударили в колокол. Собрались в храм и молились всю ночь. А Нифонт ходил круг церкви и тряс дверь, — не мог ее выломать, кидался к окнам, к решеткам и кричал простые слова. А к утру затих.

В полдень его нашли в роще, в болоте: Нифонт лежал навзничь, голый, и комары и слепни покрыли его и язвили. Игумен хотел с ним говорить, но Нифонт вскочил, и убежал, и лег по другой край болота, и гнусы опять облепили его.

Игумен велел принести ему хлеба и положить около его головы. И Нифонт хлеба стал есть малую толику, чтобы не умереть и дольше мучительствовать. Все тело его покрылось язвами и коростой, и гнусы больше не садились на него, и он не мог умереть. Тогда Нифонт пошел к игумену и просил благословить его на работу. Игумен велел ему взять волов и плуг. Нифонт взял волов и вспахал большой клин за рекой. Всю зиму он рубил и возил лес на постройку келий, брался за самую тяжелую работу. Весною взборонил клин и засеял овсом. За весь год не сказал ни слова и по ночам истязал себя. Говорили, будто овес не взойдет на Нифонтовом клину. Но овес взошел и всколотился, — буйный вышел овес. Нифонт собрал его и повеселел. Но уст не раскрыл и не облегчил себе трудов. Молчит он уже двадцать лет. Теперь стал стар и све-

тел. Часто приносят ему богомольцы детей, он берет их на руки, и целует, и гладит, и глядит им в глаза, и детям оттого легче.

Вот что рассказывали нам странные люди о Нифонте. В прошлый петровский пост я с семьей пошел на богомолье. Постелили мы и Преображенскую пустынь. Место чудесное: пустынь — на речном берегу, в березовом лесу, за высокой белой стеной, — покой и тишина.

Служка монастырский, ходивший с нами, указал нам на Нифонта. Блаженный шел из березовой рощи, был худ, высок и прям, в черной, до земли, рясе, в клобуке с белым крестом. Шел легко. Из-под клобука глядел на нас светлыми, как свет, уже не этой земли жильца, блаженными глазами.

Подойдя к нам, остановился, поклонился низко и прошел, будто травы не касаясь ногами.

## ГРАФ КАЛИОСТРО

### I

**В** Смоленском уезде, среди холмистых полей, покрытых полосами хлебов и березовыми лесками, на высоком берегу реки стояла усадьба Белый ключ, старинная вотчина князей Тулуповых. Дедовский деревянный дом, расположенный в овражке, был заколочен и запущен. Новый дом с колоннами, в греческом стиле, обращен на речку и на заречные поля. Задний фасад его уходил двумя крыльями в парк, где были и озера, и островки, и фонтаны.

Кроме того, в различных уголках парка можно было наткнуться на каменную женщину со стрелой, или на урну с надписью на цоколе: «Присядь под нею и подумай—сколь быстротечно время», или на печальные руины, оплетенные плющом. Дом и парк были окончены постройкою лет пять тому назад, когда владелица Белого ключа, вдова и бригадирша, княгиня Прасковья Павловна Тулупова, внезапно скончалась в расцвете лет. Именье по наследству перешло к ее троюродному братцу, Алексею Алексеевичу Федяшеву, служившему в то время в Петербурге.

Алексей Алексеевич оставил военную службу и поселился тихо и уединенно, в Белом ключе вместе со своей теткой, тоже Федяшевой. Нрава он был тихого и мечтательного и еще очень молод,—ему исполнилось девятнадцать лет. Военную службу он оставил с радостью, так как от шума дворцовых приемов, полковых попоек, от смеха красавиц на балах, от запаха пудры и шороха платьев у него болел висок и бывало колотье в сердце.

С тихой радостью Алексей Алексеевич предавался уединению среди полей и лесов. Иногда он выезжал верхом посмотреть на полевые работы, иногда сиживал с удочкой на берегу реки под дулистой ветлой, иногда в праздник отдавал распоряжение водить деревенским девушкам хороводы в парке вокруг озера и сам смотрел из окна на живописную эту картину. В зимние вечера он усордно предавался чтению. В это время Федосья Ивановна раскладывала пасьянс; ветер завывал на высоких чердаках дома; по коридору, скрипя половицами, проходил старичок-истопник и мешал печи.

Так жили они мирно и без волнений. Но скоро Федосья Ивановна стала замечать, что с Алексисом,—так она звала

Алексея Алексеевича, — творится не совсем ладное. Стал он задумчив, рассеянный и с лица бледен. Федосья Ивановна намекнула было ему, что:

— Не пора ли тебе, мой друг, собраться с мыслями да и жениться, не век же в самом деле на меня, старого гриба, смотреть, так ведь может с тобой что-нибудь скверное сделаться...

Куда тут! Алексис даже ногой топнул:

— Довольно, тетушка... Нет у меня охоты и не будет погрязнуть в скуке житейской: весь день носить халат да играть в тресет с гостями... На ком же прикажете мне жениться, вот бы хотел послушать?

— У Шахматова-князя пять дочерей, — сказала тетушка, — все девы отменные. Да у князя у Патрикеева четырнадцать дочерей... Да у Свиных — Сашенька, Машенька, Варенька...

— Ах, тетушка, тетушка, отменными качествами обладают перечисленные вами девицы, но лишь подумать, — вот душа моя запылала страстью, мы соединяемся, и что же: особа, которой перчатка или подвязка должна приводить меня в трепет, особа эта бегаёт с ключами в амбар, хлопочет в кладовых, а то закажет лапшу и при мне ее будет кушать...

— Зачем же она непременно лапшу при тебе будет есть, Алексис? Да и хотя бы лапшу, — что в ней плохого?..

— Лишь нечеловеческая страсть могла бы сокрушить мою печаль, тетушка... Но женщины, способной на это, нет на земле...

Сказав это, Алексей Алексеевич взглянул длинным и томным взором на стену, где висел большой, во весь рост, портрет красавицы, Прасковьи Павловны Тулуповой. Затем, со вздохом запахнув китайского рисунка шелковый халат, набил табаком трубку, сел в кресло у окна и принялся курить, пуская струйки дыма.

Но, видимо, он о чем-то проговорился, и тетушка что-то поняла, потому что, с удивлением поглядывая на племянника, она проговорила:

— Если ты человек, — люби человека, а не мечту какую-то бессонную, прости господи...

Алексей Алексеевич не ответил. За окном, куда он смотрел со скукой, на дворе, поросшем кудрявой травкой, стоял рыжий теленок и сосал у другого теленка ухо. Двор полого спускался к речке, на берегу ее в лопухах сидели гуси, белые, как комья снега; один поднялся, взмахнул крыльями и опять сел. Было знойно и тихо в этот полуденный час. За рекой над полосами хлебов колебались и дрожали прозрачные волны жара. По дороге, выбегающей из березового леса, ехал верхом мужик; вот он спустился к броду, — лошадь зашла по брюхо в речку и стала пить; потом он, испугав гусей, болтая локтями и пятками, поскакал в гору и крикнул что-то дворовой девке, тащившей охапку соломы, засмеялся, но, заметив в окошке барина, спрыгнул с лошади и снял шапку. Это был нарочный, посылаемый раз в неделю на большой тракт за почтой. Он привез Федосью Ивановну письмо, а барину — пачку книг.

Федосья Ивановна ушла за очками. Алексей Алексеевич принялся просматривать книги. Внимание его привлекла, в двадцать восьмом выпуске «Экономического магазина», статья о причинах ипохондрии. «Первый несчастный источник ипохондрии есть жестокое и продолжительное любострастие и такие страсти, которые содержат дух в непрерывном печальном положении; человек, обеспокоенный такими пристрастиями, коим выхода он не находит, ищет уединения, погружается отчаянно в глубочайшую печаль, покуда наконец нервы желудка и кишок его не придут в изнеможение...»

Прочтя эти строки, Алексей Алексеевич закрыл книгу. Итак, его ожидает ипохондрия: страсти, сжигающей его душу, нет выхода.

## II

Полгода тому назад Алексей Алексеевич, заканчивая отделку некоторых комнат, посетил в поисках за вещами старый дом. Как сейчас он вспоминает эту минуту. Солнце садилось в морозный закат. По холодеющим полям уже закурилась поземка. Древняя ворона, каркая, снялась с убранной инсем березы и осыпала снегом Алексея Алексеевича, идущего в лиственном тулупчике по дорожке, только что расчищенной в снегу вдоль берега.

На речке, присев у проруби, деревенская девушка черпала воду; подняла ведро на коромысло и пошла, оглядываясь на барина, круглолицая и чернобровая. На деревне между сугробами зажигался кое-где свет по замерзшим окошечкам; слышался скрип ворот да ясные в морозном вечере голоса. Унылая и мирная картина.

Алексей Алексеевич, взойдя на крыльцо старого дома, велел отбить дверь и вошел в комнаты. Здесь все было покрыто пылью, ветхо и полуразрушено. Казачок, идущий впереди, освещал фонарем то позолоту на стене, то сваленные в углу обломки мебели. Большая крыса перебежала комнату. Все ценное, очевидно, было унесено из дома. Алексей Алексеевич уже хотел вернуться, но заглянул в низкое пустое зальце и на стене увидел висевший косо, большой, во весь рост, портрет молодой женщины. Казачок поднял фонарь. Полотно было подернуто пылью, но краски свежи, и Алексей Алексеевич разглядел дивной красоты лицо, гладко причесанные пудренные волосы, высокие дуги бровей, маленький и страстный рот с приподнятыми уголками и светлое платье, открывавшее до половины девственную грудь. Рука, спокойно лежащая ниже груди, держала указательным и большим пальцем розу.

Алексей Алексеевич догадался, что это портрет покойной княгини Прасковьи Павловны Тулуповой, его троюродной сестры, которую он видал только будучи ребенком. Портрет сейчас же был унесен в дом и повешен в библиотеке.

Много дней Алексей Алексеевич видел перед собой этот портрет. Читал ли книгу, — он очень любил описания путешествий по диким странам, — или делал заметки в тетради

куря трубку, или просто бродя в бисерных туфлях по наводщенному паркету, Алексей Алексеевич подолгу останавливал взгляд на дивном портрете. Он понемногу награждал это изображение всеми прекрасными качествами доброты, ума и страстности. Он про себя стал называть Прасковью Павловну подругой одиноких часов и вдохновительницей своих мечтаний.

Однажды он увидел ее во сне такую же, как на портрете, — неподвижной и надменной, лишь роза в ее руке была живой, и он тянулся, чтобы вынуть цветок из пальцев, и не мог. Алексей Алексеевич проснулся с тревожно бьющимся сердцем и горячей головой. С этой ночи он не мог без волнения смотреть на портрет. Образ Прасковьи Павловны овладел его воображением.

### III

Федосья Ивановна вернулась в комнату с письмом в руке, с очками на носу и, усевшись напротив Алексея Алексеевича, сказала:

— Павел Петрович мне пишет...

— Какой Павел Петрович, тетушка?

— Да ты что, Алексис, батюшка мой, — Павел Петрович Федяшев, секунд-майор... Так он пишет разные разности, а вот — для тебя: «...Много у нас в Петербурге наделал шуму известный граф Феникс, или, как его называют, — Калиостро. У княгини Волконской вылечил больной жемчуг; у генерала Бибикова увеличил рубин в перстне на одиннадцать каратов и, кроме того, изничтожил внутри его пузырек воздуха; Костицу, игроку, показал в пуншевой чаше знаменитую талию, и Костич на другой же день выиграл свыше ста тысяч; камер-фрейлине Головиной вывел из медальона тень ее покойного мужа, и он с ней говорил и брал ее за руку, после чего бедная старушка совсем с ума оторнулась... Словом, всех чудес не перечесать... Императрица даже склонилась, чтобы призвать его во дворец, но тут случилось препотешное приключение: князь Потемкин воспыла свирепой страстью к жене графа Феникса, родом чешке, — сам я ее не видел, но рассказывают — красotka. Потемкин передавал графу много денег, и ковров, и вещей; увидав же, что деньгами от него не откупишься, замыслил красавицу похитить у себя на балу. Но в этот же день граф Феникс вместе с женой скрылся из Петербурга в неизвестном направлении, и полиция их понапрасну по сей день ищет...»

Алексей Алексеевич прослушал письмо с большим вниманием и перечел его сам. Легкий румянец выступил у него на скулах.

— Все эти чудеса — проявление непонятной магнетической силы, — сказал он. — Если бы мне встретиться с этим человеком... О, если бы только встретиться... — Он заходил по комнате, издавая восклицания. — Я бы нашел слова умолить его... Пусть бы он произвел на мне этот опыт... Пусть воплотил всю мечту мою... Пусть сновидения станут жизнью, а жизнь развееся, как туман. Не пожалеоу о ней.



Федосья Ивановна со страхом круглыми выцветшими глазами глядела на племянника. И действительно, было чего испугаться: Алексей Алексеевич бросился в кресло и с длинной улыбкой глядел в окно на подошедших двух девок с лукошком грибов, не видя ни грибов, ни девок, ни поля, по которому, по меже между хлебов, закрутился высокий столб пыли и побрел, вертясь и пугая птиц на придорожной березе.

## VI

Наутро Алексей Алексеевич проснулся с сильной головной болью. Небо было знойно, несмотря на ранний час. Листы висели неподвижно на деревьях, — все застыло, и цвет зелени отдавал металлическим отблеском, как на могильном венке. Молчали куры; на скате к реке, неподвижно и не жуя, лежала, точно раздувшись, красная корова. Присмирели даже воробьи. Цвет неба на северо-востоке, у земли, был темный, глухой и жестокий.

В столовой появился с докладом приказчик. Алексей Алексеевич оставил его беседовать с Федосьей Ивановной, сам же, морщась от ломоты в висках, пошел в библиотеку и раскрыл книгу, но скоро заскучал над нею, взялся было за перо, но, кроме росчерков своего имени, написать ничего не мог.

Тогда он стал глядеть на портрет Прасковьи Павловны, но и портрет, как и все вокруг, казался жестоким и зловещим. На лице ее сидели три мухи. Алексей Алексеевич почувствовал, что зарывает, если еще продолжится это состояние необыкновенной отчетливости и грубости всего окружающего. Душа его изнывала от тоски.

Вдруг в доме бухнула оконная рама, посыпались стекла и раздались испуганные голоса. Алексей Алексеевич подошел к окну. Опромяная и густая, как ночное небо, туча низко, над самыми полями, ползла на усадьбу. Вода в реке по-синела, стала мрачной. Замотались, смялись и легли камни. Сильный вихрь подхватил гусиный пух на берегу, сорвал с дуплистой ветлы воронье гнездо, раскидал ветви, погнал по двору кур, распушивших хвосты, закачал деревянный забор, задрал юбку на голову бабе и со всей силой налетел на дом, ворвался в окно, завыв в трубах. В туче появился свет и пробежал извилинами, ослепляющими корнями от неба до земли. Раскололось, затрещало небо, рухнуло громовыми ударами. Задрожал дом. Печально зазвенела в ответ часовая пружина в часах на камине.

Алексей Алексеевич стоял у окна, ветер рвал его длинные волосы и развевал полы халата. Вбежавшая тетушка схватила его за руку и оттащила от окна и что-то закричала, но второй, более ужасный удар грома заглушил ее слова. Через минуту упали тяжелые капли дождя, и дождь полил серой завесой, застучал и зацепился о стекла закрытого окна. Стало совсем темно.

— Алексис, — тетушка все еще тяжело дышала, набравшись страха, — говорю тебе: гости к нам приехали.

— Гости? Кто такие?

— Сама не знаю. Карета у них поломалась, и грозы бо-  
ятся, просят переночевать.

— Просить, конечно.

— Да уж я распорядилась. Они мокрое снимают. А ты  
сам-то пошел бы оделся.

Алексей Алексеевич спохватился и пошел из библиоте-  
ки, но в дверь в это время вскочила Фимка, комнатная де-  
вка, простоволосая, в облитшем сарафане:

— Матушка, барыня, приезжие-то, провалятся мне,—  
один из них черный, как дьявол.

## V

Дождь лил весь остаток дня, и пришлось рано зажечь  
свечи. Настала тишина. Растворили окна и двери в сад, а  
там в темноте падал несильный, теплый и отвесный дождь,  
тихо шумя о листья.

Алексей Алексеевич в шелковом кафтане, в камзоле,  
тканном по палевому полю незабудками, при шпаге, зави-  
той и напудренный, стоял в дверях. Мокрая трава на лужай-  
ке, в тех местах, где падал свет, казалась седой. Пахло сы-  
ростью и цветами.

Алексей Алексеевич глядел на освещенные окна право-  
го крыла дома, полукругом уходящего за липы. Там, в ок-  
нах, на спущенных белых занавесах появлялись тени:  
то мужская, в опромном парике, то женская—изящная, то  
высокая тень в тюрбане—слуги.

Это и были приезжие. Они давно уже и переоделись, и  
отдохнули и теперь, видимо, прибирались к ужину. Алек-  
сей Алексеевич с нетерпением следил за движением  
теней на занавеске. От запаха ночного дождя, цветов и вос-  
ка горящих свечей кружилась голова.

Вот опять появилась длинная тень слуги, поклонилась  
и исчезла, и в доме послышались ровные шаги. Алексей  
Алексеевич отступил от двери в комнату. Вошел большого  
роста, совершенно черный человек с глазами, как яичные  
белки. Он был в длинном малиновом кафтане, перепоясан-  
ном шалью, и другая шаль была обмотана у него вокруг  
головы. Почтительно, но достойно поклонившись, он ска-  
зал по-французски, ломанно:

— Господин приветствует вас, сударь, и просит передать,  
что с отменным удовольствием принимает приглашение от-  
ужинать с вами.

Алексей Алексеевич улыбнулся и спросил, близко по-  
дойдя к нему:

— Скажи-ка мне, пожалуйста, как имя и звание твоему  
барину.

Слуга со вздохом наклонил голову:

— Не знаю.

— То есть, как—не знаешь?

— Его имя скрыто от меня.

— Э, братец, да ты, я вижу,—плут. Ну, а тебя, по край-  
ней мере, как зовут?

— Маргадон.

— Ты что же—эфиоп?

— Я был рожден в Нубии, — ответил Маргадон, спокойно, сверху вниз глядя на Алексея Алексеевича, — при фараоне Аменхозирисе взят в плен и продан моему господину.

Алексей Алексеевич отступил от него, сдвинул брови:

— Что ты мне рассказываешь?.. Сколько же тебе лет?

— Более трех тысяч...

— А вот я окажу твоему барину, чтобы тебя высекали покрепче, — воскликнул Алексей Алексеевич, вспыхнув гневным румянцем. — Пошел вон!

Маргадон поклонился так же почтительно и вышел. Алексей Алексеевич хрустнул пальцами, приводя себя в душевное равновесие, затем подумал и рассмеялся.

Казачок в это время распахнул обе половинки резных дверей, и в комнату вошли под руку кавалер и дама. Начались поклоны и представление.

Кавалер был средних лет, плотный мужчина. Багрово-красное лицо его с крючковатым носом было погружено в кружева. Огромный, с локонами, парик, какие носили в начале столетия, был неряшливо напудрен. Синий жесткого шелка кафтан расшит золотыми мордами и цветами. Поверх надета зеленая шуба на голубых песцах. Золотом же были вышиты черные чулки. На пряжках бархатных башмаков сверкали брильянты, и на каждом пальце коротких волосатых рук переливалось по два, по три драгоценных перстня.

Хриповатым баском приезжий проговорил приветствие, затем, отойдя на шаг от дамы, представил ей Алексея Алексеевича.

— Графиня, — наш хозяин. Сударь, — моя жена.

После этого он занялся табакеркой, нюхая, сморкаясь и задирая голову. Алексей Алексеевич выразил графине сожаление по поводу дурной погоды и живейшую радость по поводу их неожиданного знакомства. Он предложил ей руку и повел к столу.

Графиня отвечала односложно и казалась утомленной и печальной. Но все же она была необыкновенно хороша собой. Светлые волосы ее были причесаны гладко и просто. Лицо ее, скорее лицо ребенка, чем женщины, казалось прозрачным, — так была нежна и чиста кожа; ресницы скромно опущены над синими глазами, изящный рот немного приоткрыт, — должно быть, она с наслаждением вдыхала свежесть, идущую из сада.

У стола, уставленного холодными и горячими закусками, гостей встретила Федосья Ивановна. По-французски она изъяснялась плохо, приезжие совсем не говорили по-русски, поэтому заниматься их пришлось одному Алексею Алексеевичу. Выяснилось, что они едут из Петербурга в Варшаву на драгих и в дороге уже вторую неделю.

— Прошу великодушно простить меня, — сказал Алексей Алексеевич, — знакомясь, я не совсем расслышал ваше имя.

— Граф Феникс, — отвечал приезжий, жадно белыми крепкими зубами вонзаясь в курячую ногу.

Алексей Алексеевич быстро поставил задрожавший в руке стакан и побелел, стал блее салфетки.

— Так вы и есть знаменитый Калиостро, о чудесах ваших говорит весь свет? — спросил Алексей Алексеевич.

Феникс поднял косматые, с проседью, брови, налил вина в стакан и опрокинул его в горло, не глотая.

— Да, я Калиостро, — сказал он, с удовольствием приоткрыв большими губами, — весь мир говорит о моих чудесах. Но происходит это от невежества. Чудес нет. Есть лишь знание стихий природы, а именно: огня, воды, земли и воздуха; субстанций природы, то есть — твердого, жидкого, мягкого и летучего; сил природы: притяжения, отталкивания, движения и покоя; элементов природы, коих тридцать шесть, и, наконец, энергий природы: электрической, магнетической, световой и чувственной. Все сие подчинено трем началам: знанию, логике и воле, кои заключены вот здесь, — при этом он ударил себя по лбу. Затем положил салфетку и, вынув из камзолного кармана золотую зубочистку, принялся решительно ковырять в зубах.

Алексей Алексеевич глядел на него, как кролик. Ужин кончился, и гости перешли в библиотеку, где, прогоняя вечернюю сырость, пылали в очаге дрова. Федосья Ивановна, ни слова не понявшая из разговора, осталась хлопотать в столовой.

Калиостро сел в сафьяновое кресло и, нюхая табак, говорил о том, какую пользу оказывает человеку хорошее пищеварение. Графиня опустилась на стульчик близ огня и глядела на пламя, задумавшись. Ее руки, скрещенные на коленях, тонули в голубоватом шелку платья.

— Мой друг, доктор философии, умерший в Нюрнберге, в тысячу четыреста... вот проклятая память, — пробормотал Калиостро стуча пальцами по табакерке, — мой друг доктор Бомбастр Теофраст Парацельсус, не раз говаривал мне: жуй, жуй, жуй, — сие есть первая заповедь мудрого: жуй...

Алексей Алексеевич дико взглянул на прафа, но тотчас, как это бывает во сне, немыслимое и действительность сами собой совместились, слились в его представлении, лишь слезка закружилась голова, но это сейчас же прошло.

— Я также не раз слышал, ваше сиятельство, — проговорил Алексей Алексеевич, — что хорошее пищеварение вселяет веселые мысли, а дурное повергает в скорбь и даже вызывает ипохондрию. Но есть и другие причины...

— Несомненно, — сказал Калиостро, опуская брови.

— Осмелюсь взять хотя бы в пример себя... Расстройство моих чувств началось вот от этого портрета...

Калиостро обернул голову, оглядел портрет и опять закрыл бровями глаза.

Тогда Алексей Алексеевич рассказал историю портрета, написанного во Франции (об этом он узнал от тетушки), и то, как нашел его в старом доме, и, наконец, все свои чувства и несбыточные желания, какие привели его к ипохондрии.

Во время рассказа он взглядывал несколько раз на графиню. Она внимательно слушала. Наконец Алексей Алексе-

свеч, поднявшись с кресла и указывая на портрет, воскликнул:

— Еще сегодня я говорил Федосье Ивановне: ах, если бы мне встретить графа Феникса, я бы умолил его воплотить мою мечту, оживить портрет, а там, — хотя бы это стоило мне жизни...

При этих словах в ясных синих глазах графини появился ужас, она быстро опустила голову и опять стала смотреть на огонь.

— Материализация чувственных идей, — проговорил Калиостро, зевая и прикрыв рот рукой, сверкающей перстнями, — одна из труднейших и опаснейших задач нашей науки... Во время материализации часто обнаруживаются роковые недочеты той идеи, которая материализуется, а иногда и совершенная ее непригодность к жизни... Однако я попросил бы у хозяина пораньше нас отпустить спать.

## VII

Алексей Алексеевич не закрывал глаз всю ночь. На рассвете он накинул халат, спустился к речке и бросился в невидимую за туманом воду, она была как парная, но в глубине — студена. После купанья, одетый и завязной, он выпил горячего молока с медом и вышел в сад, — мысли его были возбуждены, и голова горела.

Утро настало влажное и тихое. По траве бегали озабоченные дрозды. Свистала иволга, точно в дудку с водой. Над озерцом с полупущенными фонтанами, в голубоватой мгле, в высоких и пышных деревьях нежно рыдал дикий голубь.

Дорожки были влажные и вымытые, и на одной из них Алексей Алексеевич заметил следы женских ног. Он пошел по их направлению, и — на поляне, там, где из голубоватой мглы проступали очертания круглой беседки и по сторонам ее — огромных осокорей, он увидел графиню. Она стояла на мостике и, опустив руки, слушала, как в роще куковала кукушка.

Когда Алексей Алексеевич подошел ближе, — у него забило сердце: по лицу молодой женщины текли слезы, обнаженные плечи ее вздрагивали. Вдруг, обернувшись на хруст шагов Алексея Алексеевича, она вскрикнула негромко и побежала, придерживая обеими руками пышную юбку. Но, добежав до озерца, остановилась и обернулась. Ее лицо было залито румянцем, в испуганных синих глазах стояли слезы. Она быстро вытерла их платочком и улыбнулась виновато.

— Я испугал вас, простите, — воскликнул Алексей Алексеевич.

— Нет, нет, — она спрятала на груди платочек и сделала реверанс; Алексей Алексеевич поцеловал ей руку почтительно. — Утро так хорошо, кукушка так славно кричала: мне стало грустно, а вы меня не испугали. — Она пошла ря-

дом с Алексеем Алексеевичем по берегу озерца. — Разве вам не бывает грустно, когда вы видите, как хороша природа? Знаете,—я думала о вашем вчерашнем рассказе. Жить в таком изобилии, одному, молодому... И все-таки, почему, почему нет счастья?..

Она запнулась и поглядела ему в глаза. Алексей Алексеевич ответил первое, что вошло в голову,—о грубости жизни и невозможности счастья. При этом он широко улыбнулся, улыбка так и осталась на его губах.

Продолжая прогулку и разговаривая, он видел перед собою только синие глаза—они словно были насыщены утренней прелестью, в ушах его раздавался голос молодой женщины и отдаленный немолчный крик кукушки.

Графиня рассказывала, что родилась в деревне, близ Праги, что она круглая сирота, что зовут ее Августа, но настоящее имя ее Мария, что она вот уже три года путешествует с мужем по свету и столько видела,—другому бы хватило на всю жизнь,—и что сейчас в этой утренней мгле все прошлое пронеслось перед нею, и она расплакалась.

— Я вышла замуж ребенком, и сердце мое за эти годы созрело,—сказала она и опять ласково и пристально взглянула на Алексея Алексеевича. — Я вас не знаю, но почему-то верю вам так, будто знаю давно. Вы не осудите меня за болтовню?..

Он взял ее руку и, натнувшись, поцеловал несколько раз, и, когда целовал в последний, ее рука перевернулась ладонью к его губам, легко сжала их и выскользнула.

— Неужели вы не могли найти жены и подруги, не полюбили женщину, а предпочли мечту бездушную какую-то?—проговорила Мария задрожавшим от волнения голосом. — Вы неопытны и наивны... Вы не знаете—какой ужас ваша мечта...

Она подошла к каменной скамье и села, Алексей Алексеевич опустился рядом с нею.

— Почему же ужас,—спросил он,—что грешного, если я мечтаю о том, чего в жизни нет?

— Тем более... В такое утро — нельзя, нельзя мечтать о том, чего быть не может, — повторила она, и глаза ее снова наполнились слезами.

Алексей Алексеевич придвинулся ближе и взял ее за руку:

— Я чувствую — вы несчастны...

Она молча поспешно закивала головой. Она была взволнована и трогательна, как маленькая девочка. Алексей Алексеевич ощущал, как она всеми силами души стремится привлечь на себя его мысли и чувства. Стало горячо сердцу,—словно ветер, наклоняющий травы и листья, прощала по нему нежность к этой женщине.

— Кто заставляет вас страдать?—спросил он шопотом.

И Мария ответила торопясь, точно в страхе потерять минуту этого разговора:

— Я боюсь... я ненавижу моего мужа... Он—чудовище, каких не видал еще свет... Он мучает меня... О, если бы вы знали... Во всем свете нет близкого мне человека... Многие

добивались моей любви,—что мне в том... Но ни один участливо не спросил—хорошо ли мне жить... Мы с вами не успели встретиться — и расстанемся, но я навеки буду помнить эту минуту, как вы спросили. — У нее задрожали губы, видимо, она делала большое усилие, преодолевая застенчивость, и вдруг замилась румянцем.—Едва я увидела вас, мне сердце сказалось: доверься...

— Ради бога... этого нельзя вынести... Я убью его!—воскликнул Алексей Алексеевич, стискивая рукоять шпаги.

И сейчас же за спиной сидящих громко кто-то чихнул. Мария воскликнула слабо, как птица. Алексей Алексеевич вскочил и между стеслов лип увидел Калиостро. Он был в той же зеленой шубе и в большой шляпе с белыми, падающими на плечи и спину, страусовыми перьями. Держа в руке табакерку, он страшно морщился, собираясь еще раз чихнуть. Лицо его при дневном свете казалось лиловым,—так было полнокровно и смугло.

Алексей Алексеевич, держа руку на рукояти шпаги, глядел в упор на этого дивного человека. Тогда Калиостро, раздумывая чихать, протянул табакерку:

— Угощайтесь.

Алексей Алексеевич невольно отнял было руку от шпаги, но сейчас же вновь схватился за рукоять.

— А не хотите нюхать, так и не надо,—сказал Калиостро.—Графиня, я вас искал по всему саду, мой чемодан уложен, но ваших вещей я не касался.—И он обратился к Алексею Алексеевичу:—Итак, если наш экипаж починен,—мы едем.

Калиостро, округлив локоть, подставил его Марии; она покорно, не поднимая головы, взяла мужа под руку, и они удалились по дорожке между густых трав к дому.

Алексей Алексеевич закрыл лицо руками и опустил на скамью.

### VIII

Так он просидел долгое время в оцепенении, не слыша ни свиста птиц, ни плеска пущенных садовником фонтанов. Он глядел под ноги на песок, где ползали козявки. Это были те самые плоские красные козявки, у которых на спине, у каждой, нарисована рожица. Одни ползали, сцепившись,—рожица к рожице,—другие то вползали в трещину на плотно убитой дорожке, то вылезали оттуда безо всякой видимой надобности.

Алексей Алексеевич думал о том, что очарование сегодняшнего утра разбило его жизнь. Ему не вернуться более к уютным и безнадежным мечтам об идеальной любви: синие глаза Марии, два синих луча, проникли ему в сердце и разбудили его. Но что ему в том: Мария уезжает, они не встретятся никогда. И сон и явь его разбиты,—каких очарований ждать еще от жизни?

И вдруг он вспомнил, как Калиостро протягивал ему табакерку и усмехался криво, и им овладело бешенство. Алексей Алексеевич вскочил и, еще не зная, что он сделает, но

сделает что-то решительное, надвинул шляпу на глаза и зашагал к дому.

У дверей его встретила Федосья Ивановна.

— Алексис, — воскликнула она взволнованно, — сейчас был кузнец и сказал, мошенник, что раньше как через два дня графский экипаж не починит.

## IX

Известие, что гости остаются, смешало все мысли Алексея Алексеевича, у него начался озноб и дрожание рук. Он вошел с тетушкой в дом и присел на канapé. Федосья Ивановна, не понимая хода его мыслей, спросила, — не послать ли в таком случае в соседнее село за кузнецами?

— Ни под каким видом, — крикнул он, — ни за какими кузнецами посылать не смейте! — И вдруг усмехнулся: — Нет, Федосья Ивановна, пусть гости поживут у нас два дня... А вот, тетушка, вы, чай, и не разобрали, кто таков наш гость.

— Фенин какой-то.

— В том-то и дело, что не Фенин, а граф Феникс, — сам Калиостро.

Федосья Ивановна широко раскрыла глаза и всплеснула пухлыми руками. Но Федосья Ивановна была русская женщина, и поэтому известие, что в доме их — знаменитый колдун, поразило ее с иной стороны: тетушка вдруг плюнула.

— Бусурман, нехристь, прости господи, — сказала она с омерзением, — всю посуду теперь святой водой мыть придется и комнаты святить заново... Вот, не было заботы... Она тоже волшебница?

— Да, тетушка. Графиня — волшебница.

— Так ведь им, проклятым, чай, пища другая совсем нужна... Ах, Алексис... Ведь они, может, нашего и не едят, а ты не догадался... Поди, спроси, — чего они желают к завтраку..

Алексей Алексеевич рассмеялся и пошел в библиотеку. Там, закулив трубку, он начал рассказывать и вдруг так стиснул конец чубука зубами, что янтарь хруснул.

«Вызвать графа на дуэль, убить и бежать с Марией за границу, — подумал он и швырнул трубку на подоконник. — Но повод к дуэли?.. Э, не все ли равно...»

Алексей Алексеевич вытащил шпагу из ножен и начал осматривать лезвие. «Но можно ли драться с гостем?» В это время в глубине комнаты, там, где была арка с задернутым малиновым занавесом, скрипнула половица. Алексей Алексеевич быстро поднял голову, но сейчас же забыл про скрип, — мысли вихрем летели у него в голове. «Нет, придется подождать, когда они отъедут, догнать их за речкой и там уж завязать ссору». Он остановился у окна и, слушая, как стучит сердце, проследил взглядом весь путь, пройденный им давеча с Марией, от беседки, вдоль озера, и до скамьи. «О милая», — прошептал он.

Настал час завтрака. Алексей Алексеевич ожидал в столовой прихода гостей. Когда слышались их шаги, у не-



го потемнело в глазах. Вошла Мария с опущенными ресницами, сделала тетушке глубокий реверанс и села к столу. Лицо ее было бледно и припудрено, точно весь огонь души ее погас. Калиостро, развертывая салфетку, молча покосился на Алексея Алексеевича и сидел весь завтрак, надувшись и неприятно, громко жуя. Федосья Ивановна шопотом отдавала распоряжения Фимке и сама не ела.

Напрасно Алексей Алексеевич горячими взглядами старался вызвать краску, хотя бы едва заметное движение на лице Марии: она была как восковая, а взгляды его каждый раз встречались с ответными взглядами мужа, внимательными и твердыми. И Алексей Алексеевич со свойственной ему внезапностью впал в отчаяние.

Завтрак кончился. Мария, не поднимая глаз, удалилась во флигель. Калиостро, пропустив вперед себя Алексея Алексеевича, выразил желание выкурить трубку в библиотеке.

Развалившись во вчерашнем кресле, он некоторое время сопел чубуком, поглядывая из-под косматых бровей на Алексея Алексеевича, томившегося у окна, и вдруг громко и повелительно сказал:

— Я обдумал и решил, — сегодня вечером я исполню ваше желание: я произведу совершенную и полную материализацию портрета госпожи Тулуповой.

Алексей Алексеевич дико взглянул на него и облизнул пересохшие губы. Калиостро поднялся с кресла и, вынув из кармана оправленную в серебро лупу, начал разглядывать портрет, прищелкивая языком и посапывая.

Через час начались приготовления. Маргадон снял портрет с гвоздя, тщательно обтер с него пыль тряпкой, поставил у стены, разостлал перед ним ковер. В комнате были прибраны и вынесены все лишние вещи, на окнах опущены занавесы. Алексею Алексеевичу было приказано раздеться, лечь в постель и до сумерек лежать, не принимая ни пищи, ни питья.

Алексей Алексеевич повиновался всему, чего от него требовали. Лежа в полутемной спальне, он чувствовал только, как голова его окована свинцовыми обручами. В пять часов Калиостро принес ему стакан бурой настойки из ревеня и остролистника, и он выпил, хотя пойло было гнусное. В семь у него было облегчение желудка. В восемь, одетый в просторное и легкое платье, он вошел вместе с Калиостро в библиотеку, где перед портретом, ярко озаряя его, горели в канделябрах восковые свечи.

## Х

— Дышите не слишком сильно и не слишком слабо. Дыхание должно происходить без зсвоты, всхлипов, кашля, одышки и чихания, ибо магнетическая субстанция толчков не терпит.

Так говорил Калиостро, усаживая Алексея Алексеевича в близкое и спокойное кресло перед портретом. По красному

лицу его с прыгающими бровями, из-под буклей парика, текли капли пота. Двигаясь и не переставая говорить, он знаками отдавал приказания Маргадону.

Эфиоп взял из шкатулки пучки сухих трав, положил их в медную чашку и поставил ее перед Алексеем Алексеевичем на низенький столик, затем вынул из футляра и отнес в глубину комнаты музыкальный инструмент в виде мандолины с длинным грифом, принес большую тонкую и, видимо, очень прочную сеть и, растянув ее в руках, сел на пол близ двери.

В это же время Калиостро отточенным мелом очертил около кресла, где сидел Алексей Алексеевич, большой круг.

— Повторяю, — говорил он, — вы должны напрячь все воображение и представить эту особу, — он ткнул мелом в сторону портрета, — без покровов, то есть нагую... От силы вашего воображения будут зависеть все подробности ее сложения... Я помню, — в тысяча пятьсот девятнадцатом году, в Париже, герцог де Гиз просил меня материализовать мадам де Севиньяк, умершую от желудка... Я не успел предупредить, герцог был слишком нетерпелив, и мадам де Севиньяк оказалась под платьем как бы набитым соломой мешком... Я потерял восемь тысяч ливров, и мне стоило большого труда загнать это разъяренное чучело обратно в портрет. Итак, вообразив, со всею тщательностью, сложение желаемой вами особы, вы представьте ее затем в одежде, но в этом случае поступайте не горячася, ибо, как это было в тысяча двести пятьдесят первом году, когда я вызывал, по просьбе вдовы покойного, дух французского короля Людовика Лысого, он появился одетый лишь на передней половине тела, задняя же половина была неодетая и возбуждала удивление... Маргадон, — позвал Калиостро, выпрямившись и облизывая испачканные мелом пальцы, — поди и позови графиню.

Он отошел шага на два, смерил глазами круг и опять наклонился, намечая мелом по круговой линии двенадцать знаков зодиака, двадцать два знака каббалы, ключ и врата, четыре стихии, три начала, семь сфер. Окончив чертить, он вошел в круг.

— Вы будете иметь совершенный образец моего искусства, — сказал он важно, — способность речи, пищеварение, все отправления органов и чувствительность будут у нее такие же, как и у человека, рожденного от женщины.

Он наклонился над Алексеем Алексеевичем, лежавшим, как труп, в кресле, пощупал у него пульс, приказал закрыть глаза и положил ему на лоб жирную и горячую руку. В это время раздалась легкие шаги и шорох платья. Алексей Алексеевич понял, что вошла Мария, и застыл, делая последнее усилие освободиться от страшной воли человека, больно нажимавшего ему пальцами на глаза.

— Не шевелитесь, сосредоточьтесь, следуйте моим указаниям... Я начинаю, — повелительно проговорил Калиостро, взял со столика длинный стальной стилет, вошел в круг и начертил великий знак Макропозопуса. Замкнувшись, он

сильным движением поднял руки в широких рукавах шубы, и лицо его с глубокими морщинами и висящим носом — окаменело.

За спиной Алексея Алексеевича раздались нежные звуки струн.

— Я замкнут. Я крепко защищен всеми знаками. Я силен. Я приказываю, — нараспев, медленно и все усиливая голос, заговорил Калиостро. — О, духи воздуха, Сильфы, вас призываю именем Невыразимого, которое выговаривается как слово Эша... Делайте ваше дело...

Алексей Алексеевич глядел на озаренное свечами надменное лицо Прасковьи Павловны, гордо повернутое на высокой шее. В минуту встала перед ним вся тоска его прошлых мечтаний, все томления бессонных ночей, и лицо ее, еще так недавно желанное, показалось ему страшным, мучительным, лихорадочно-желтым, как болезнь. Но, чувствуя, что все же нужно повиноваться, он перевел глаза ниже, на обнаженные плечи Прасковьи Павловны, и, сделав над собой усилие, стал воображать ее, как было сказано. Кровь хлынула ему в лицо. Стыд и резкая боль в груди пронзили его.

Когда было произнесено слово Эша, огонь свечей заколебался, по комнате прошел затхлый ветер. Алексей Алексеевич впился пальцами в ручки кресла. Калиостро продолжал, усиливая голос:

— Духи земли, Гномусы, вас призываю именем Невыразимого, которое выговаривается как слог Эл. Делайте ваше дело.

Он поднял стилет и опустил его, и будто от подземного толчка весь дом задрожал, зазвенела хрустальная люстра, захлопали в доме двери, и из книжного шкапа, из распахнувшейся дверцы, упала на пол книга. Калиостро продолжал:

— Духи вод, Нимфы, вас призываю именем Невыразимого, которое выговаривается как звук Ра... Придите и делайте ваше дело...

При этих словах Алексей Алексеевич услышал отдаленный шум будто набегающего на песок прибоя и, не отрывая глаз от Прасковьи Павловны, с ужасом заметил, как все формы лица ее начали становиться зыбкими, неуловимыми...

— Духи огня, Саламандры, — громовым уже голосом говорил Калиостро, — могущественные и своевольные, вас призываю именем Невыразимого, которое выговаривается как буква Иод. Духи огня, Саламандры, призываю и заклинаю вас знаком Соломона подчиниться и делать свое дело... — Он поднял обе руки и вытянулся на цыпочках в величайшем напряжении. — Делайте ваше дело согласно законам природы, не отступая от формы, не глумясь и не выходя из моего повиновения...

И вслед за этими словами весь портрет по резной раме охватило беззвучное пляшущее пламя, настолько яркое, что огни свечей покраснели и вдруг от всего облика Прасковьи Павловны пошла ослепительная лучи. Вспыхнули

травы в модном горшке. Голос Марии, дрожащий и слабый, запел не по-русски за спиной Алексея Алексеевича.

Но она не успела окончить песни,— Алексей Алексеевич вскрикнул дико: голова Прасковьи Павловны, освобождаясь, отделилась от полотна портрета и разлепила губы.

— Дайте мне руку,—проговорила она тонким, холодным и злым голосом.

В наступившей тишине было слышно, как стукнула о пол мандолина, как порывисто вздохнула Мария, как зашепел Калиостро.

— Дайте же мне руку, я освобожусь,— повторила голова Прасковьи Павловны.

— Руку ей, руку дайте! — воскликнул Калиостро.

Алексей Алексеевич, как во сне, подошел к портрету. Из него быстро высунулась маленькая, голая до локтя, рука Прасковьи Павловны и жала его руку холодными сухими пальчиками. Он отшатнулся, и она, увлекаемая им, отделилась от полотна и прыгнула на ковер.

Это была среднего роста, худая женщина, очень красивая и жеманная, с несколько неровными, как полет летучей мыши, зыбкими движениями. Она подбежала к зеркалу и, вортясь и оправывая волосы, заговорила:

— Удивляюсь... Спала я, что ли?... Что за цвет лица... И платье все помято... И фасон чудной,—жмет в груди... Ах, что-то я не могу припомнить... Забыла...—Она поднесла пальцы к глазам.—Забыла, все забыла...

Придерживая кончиками пальцев пышную юбку, она повернулась, прошла, и взгляд ее темных, матовых глаз остановился на Алексее Алексеевиче. Она медленно улыбнулась, открыв до бледных десен мелкие острые зубы, и взяла его под локоть.

— Вы так странно на меня смотрите,—я страшусь,—проговорила она, жеманно хихикнула и увлекла его к балконной двери.—Нам нужно объясниться.

## XI

Когда юни вышли, Калиостро положил руки под шубою на поясицу и рассмеялся.

— Отманный получился кадавр,—проговорил он, трясаясь всем телом. Затем повернулся на каблучках и уже без смеха стал глядеть на Марию.—Плачете?—Она послушно отерла слезы, поднялась с табурета и стояла перед мужем, опустив голову. — Вы и на этот раз не убедились, сколь велика моя власть над мертвой и живой природой, не так ли?—Мария, не поднимая головы, с упрямой ненавистью взглянула на мужа, лицо ее было искажено пережитым страхом и омерзением.—А юноша ваш прекрасный предпочел утешаться с мерзким кадавром, не с вами...

Мария ответила тихо и твердо:

— Вы ответите на страшном суде за чародейство.

Тогда Калиостро побавровел, вытащил руки из-под шубы и совсем прикрылся бровями. Но Мария стояла неподвижно перед ним, и он сказал с чрезвычайной вкрадчивостью:

— Три года, сударыня, не прибегая ни к какому искусству, я терпеливо жду вашей любви. Вы же ежечасно, как волк, смотрите в лес. Нехорошо, если придет конец моему терпению.

— Над любовью моей вы все равно не властны, — поспешно ответила Мария, — не заставите вас полюбить.

— Нет, заставляю. — На это Мария вдруг усмехнулась, и его глаза сейчас же наполнились кровью. — Я вас в пузырек посажу, сударыня, в кармане буду носить.

— Все равно, — повторила она, — власти над любовью нет у вас. Жива буду — другому отдам, не вам.

— На этот раз вы замолчите, — пробормотал Калиостро, схватывая со столика стилет, но Маргадон, стоявший до этого неподвижно за его спиной, подскочил к нему и с необыкновенным проворством поймал его за руку. Калиостро, зарывав, левой рукой ударил Маргадона в лицо, — арап зажмурился, — он отшвырнул стилет, шумно выпыхнул воздух и вышел из комнаты.

## XII

Алексей Алексеевич и то, что было подобно женщине и что он называл Прасковьей Павловной, шли по дорожке через полянку к прудам. Воздух был влажен. Над садом поднялась луна. Ее седой свет озарял всю широкую поляну. Отсвечивала кое-где паутина, уже протянутая пауками в густо-синей траве. Белеющими пятнами обозначались цветы, блестела обильная роса. Вдали над прудами поднимались испарения серебряным сиянием.

Алексей Алексеевич шел молча, сжав рот и глядя под ноги. Зато Прасковья Павловна, глядя на висящий над пыльными горами рожи светлый шар луны, говорила не переставая...

— Ах, луна, луна! Алексис, вы бесчувственны к этим чарам.

Холодный ее голосок сыпал словами, как стекляшками, и невыносимым звуком все время посвистывал шелк ее платья. От этих стеклянных слов и шелкового свиста Алексей Алексеевич стискивал челюсти. Сердце его лежало в груди тяжелым ледяным комом. Он не дивился тому, что рука об руку с ним идет то, что час назад было лишь в его воображении. Болтающее жеманное существо, в широком платье с узким лифом, бледное от лунного света, с большими тенями в глазных впадинах, казалось ему столь же бесплотным, как его прежняя мечта. И напрасно он повторял с упрямством: «Насладись же, насладись ею, ощути...» — он не мог преодолеть в себе отвращения.

Дойдя до пруда, до скамьи, где утром он говорил с Марией, Алексей Алексеевич предложил Прасковье Павловне присесть. Она, распушив платье, сейчас же села.

— Алексис, — прошептала она, улыбаясь всем ртом лунному шару, — Алексис, вы сидите с дамой бесчувственно. Надо же знать — сколь приятно женщине дерзость.

Алексей Алексеевич ответил сквозь зубы:

— Если бы знали, сколько я мечтал о вас, не стали бы досаждать этих упреков.

— Упреки? — она рассмеялась, словно рассыпалась стекляшками. — Упреки... Но вы все только руки жмете, и то слабо. Хотя бы обняли меня.

Алексей Алексеевич поднял голову, всмотрелся, и сердце его дрогнуло. Правую рукой он обнял Прасковью Павловну за плечи, левой взял ее руки. Глубоко открытая ее грудь, с чуть проступающими ключицами, ровно и покойно дышала. Он близко придвинулся к ее лицу, стараясь уловить ее прелесть.

— Мечта моя, — сказал он с тоскою. Она слегка отстранилась, усмехаясь, покачала головой и взглянула в глаза ему — поблескивающими лунными точками, прозрачными глазами. — Я, как во сне, с вами, Прасковья, — наклоняюсь, чтобы напиться, и вода уходит.

— Обнимите покрепче, — сказала она.

Тогда он сжал ее со всей силой и поцеловал в прохладные губы, и они ответили на поцелуй с такой неожиданной и торопливой жадностью, что он сейчас же откинулся: омерзением, гадливостью, страхом стиснуло ему горло.

После некоторого молчания она проговорила, сладко потягиваясь:

— Мне сыро, есть хочу.

Тогда он быстро поднялся и зашагал к дому, когда же услышал за собой шелест платья, прибавил шагу, даже побежал, но Прасковья Павловна сейчас же догнала его и повисла на руке.

— Алексис, у вас претяжелый характер.

— Слушайте, — крикнул он, останавливаясь, — не лучше ли нам расстаться!..

— Нет, совсем не лучше, — она перепнулась и заглянула ему в лицо, — мне с вами приятно.

— Но вы омерзительны мне, поймите! — Он дернул руку и побежал, и она, не выпуская руки, полетела за ним по тропинке.

— Не верю, не верю, ведь сами сказали, что я мечта ваша...

— Все-таки вы отвяжитесь от меня!

— Нет, мой друг, до смерти не отвяжусь...

Они об руку влетели в дом. Алексей Алексеевич бросился в кресло, она же, обмахиваясь веером, стала перед ним и глядела весело:

— Много, много, мой милый, придется над вами пошутиться, чтобы обуздать ваш характер... Вы себялюбек. — Она сложила веер и присела на ручку кресла к Алексею Алексеевичу. — Дружок, мне ужасно чего-то все хочется, не то есть, не то пить... А то будто вода бежит по моему телу...

Алексей Алексеевич сорвался с кресла и, подойдя к двери, потянул за большую бисерную кисть звонка.

— Вам принесут еду, питье, все, что хотите, — успокойтесь.

Далеко в доме брякнул колокольчик, и послышались мягкие шаги Федосьи Ивановны.

Алексей Алексеевич, загоразивая собою полуоткрытую дверь, сказал тетушке, чтобы она распорядилась подать в библиотеку какой-нибудь еды. Федосья Ивановна внимательно и странно взглянула на Алексея Алексеевича, молча отстранила его от двери, вошла в комнату и сейчас же увидела тощую, — как она потом рассказывала, — черноватую женщину, даже и не женщину, а моль дохлую, — стоит, вертит всером и смотрит пронзительно.

Тетушка немедленно же разинула рот и «села на ноги».

— Федоси, — пискливым голосом сказала ей та, черноватая, — не узнаешь меня, моя милая?..

Тетушка еще сильнее села, уперлась ногами и глядела на пустую раму от портрета. Когда же Прасковья Павловна приблизилась на шаг, тетушка подняла руку с крестным знаменьем...

— Ну, чего страшиться, Федосья Ивановна, все это очень просто, — с досадою сказал Алексей Алексеевич, — эта дама — плод чародейства графа Феникса: идите и распорядитесь насчет еды...

Морщась, как от изжоги, он подошел к двери в сад, оперся локтем о притолку и стал глядеть на полянку, залитую лунным светом. Он слышал затем, как тетушка забормотала молитву, сорвалась с места и утиной рысью выбежала из комнаты, как злобно захихикала вслед ей Прасковья Павловна, как в доме началась испуганная беготня и шопот. Но он не оборачивался и с тоскливой мукой глядел на освещенные окна флигеля.

В комнате зазвенела посуда, — это Фимка накрывала столик, расставляла судки и тарелки и, ртягивая голову в плечи, с ужасом все время косилась через плечо.

Прасковья Павловна села к столу и сказала Фимке:

— Раба, что в этом судке?

— Сморчки, матушка барыня.

— Положи.

Фимка подала грибы и стала за стулом, закрыв передником рот. Прасковья Павловна откушала и велела положить себе лапши.

— Дурно служишь, — сказала она, принимая тарелку. — Хотя ты и девка деревенская, а служить должна жеманно.

— Буду стараться, матушка барыня.

— Приседай, говоря с госпожою! — Прасковья Павловна впилась в нее темными глазами и вдруг стукнула ложкой по столу. — Раба, присядь!.. Ногу правую подворачивай!.. На стороны, на спину не вались!.. Подол держи!.. Улыбайся!.. Слащавее...

Алексей Алексеевич с отвращением глядел на эту сцену.

— Оставьте девку в покое, — наконец сказал он. — Фимка, убойся.

Прасковья Павловна, держа в руке ложку, с удивлением оглянулась на него, дернула плечиком:

— Алексис, мой друг, не вы, я здесь госпожа. Эту же девушку велю высечь, чтобы вразумительнее понимала науку...  
Кровь бешенства хлынула в глаза Алексею Алексеевичу, но он сдержался и вышел в сад.

#### XIV

Алексей Алексеевич, засунув глубоко руки в карманы камзола, шел по поляне, — росой замочило ему чулки до колен, в голове рождались бешеные мысли. Бежать? Утопиться? Убить ее? Убить графа? Убиться самому?.. Но мысли, лепыхнувшись, пресекались, — он чувствовал, что погиб: проклятое существо впилося в него, как паук, и, кто знает, какой еще страшной властью обладает оно?

— Сам, сам накликал, — бормотал он, — вызвал из небытия мечту, плод бессонной ночи... Гнусным чародейством построили ей тело. Горячее воображение не придумает подобной пакости...

Алексей Алексеевич остановился и отер холодный пот со лба... «А вдруг это только сон? Ушипищу себя и проснусь в чистой постели свежим утром... Увижу лужок, тусей, простую девушку с граблями...»

В тоске он замотал головой, поднял глаза. Луна высоко стояла над садом, и мгlistые облачка скрадывали ее свет. С речки доносилось унылое уханье лягушек...

В это время в тишине сада раздался резкий и тонкий голос Прасковьи Павловны, она звала: «Алексис!» Не отвечая, он только топнул ногой; итти на зов — нельзя, бежать было постыдно. Он увидел приближающиеся к нему три фигуры: Маргадона, Калиостро и Прасковьи Павловны. Она подошла первой и крикнула злобно:

— Все знаю, голубчик! Я-то думала — вид рассеянный и дерзкие слова — от любовной причуды. А у вас другая на уме. Слышите, другой около себя не потерплю!..

— Ай-ай-ай! — проговорил Калиостро, приближаясь. — Я-то старался до седьмого пота, а вы, сударь, нос от нее воротите.

— Любовник перекидчивый, — взвизгнула Прасковья Павловна, — на цепь вас велю посадить в подполье.

— Нет, сударыня, на цепь его сажать не годится, — ответил Калиостро, — а вы, сударь, не упрямитесь, домой нужно итти, — барыня спать хочет, и одной ей ложиться в кровать прискорбно.

Давешнее оцепенение снова овладело Алексеем Алексеевичем, он вздохнул и поплелся к дому, увлекаемый под руку Прасковьей Павловной. Но уже у самых дверей он обернулся и увидел в окне флигеля на занавесе женскую тень. Он рванулся и закричал: «Мария!» Но сзади его подхватил Маргадон, втолкнул в комнату и запер стеклянную дверь.

Алексей Алексеевич вскрикнул потому, что словно полена спала у него с глаз: он понял, в чем спасение. Оставшись с Прасковьей Павловной наедине, он закурил трубку, сел



на книжную лесенку и сделал вид, будто слушает. Прасковья Павловна грозилась сгноить его на цепи, кричала, что весь дом против нее и завтра же она выкинет на двор рухлядишку Федосьи Ивановны, выдерет Фимке волосы, перепрет всю дворню, наведет свои порядки...

Алексей Алексеевич ждал, когда она устанет кричать, но у нее злости не убавлялось. Он слушал ее и не слышал, — сердце его часто билось. Он решил действовать. Выколотил трубку и — встал, потянулся.

— Все это мелочи, — проговорил он, зевая, — идемте спать.

Прасковья Павловна сейчас же оборвала поток слов и изумленно, радостно усмехнулась запекшимися губами. Алексей Алексеевич взял со стола зажженный канделябр и отогнул в арке занавес, пропуская вперед себя Прасковью Павловну. Когда же она прошла, он поднес горящие свечи к занавесу, и алый бархат его мгновенно был охвачен огнем.

— Пожар! — не своим голосом закричал Алексей Алексеевич, швыряя канделябр, и побежал по длинной галлерее, загибающей к флигелю, где были гости.

Один только раз он приостановился, обернулся и видел, как Прасковья Павловна, вскрикивая, срывала худыми руками пылающий занавес. Когда в дали галлерей послышались голоса и топот ног, Алексей Алексеевич прыгнул к окну и прижался к его глубокой нише.

## XV

Мимо него пробежали с испуганными восклицаниями Маргадон в развевающемся халате и Калиостро в ночном колпаке, в пестрой длинной рубаше и без панталон. Они скрылись за поворотом, откуда валил дым. Тогда Алексей Алексеевич бросился к флигелю, куда вела одна дверь со стороны галлерей, другая открывалась прямо в сад. Там-то он и увидел Марию, стоявшую на пороге. Она была в белой шали, накинутаю поверх платья, и в чепчике. Алексей Алексеевич распахнул окно, выскочил из галлерей в сад и побежал к молодой женщине.

— Мария, — проговорил он, складывая руки на груди, — скажите одно только слово... Подождите... Если — нет, я погиб... Если — да, я жив, жив вечно... Скажите — любите вы меня?

У нее вырвался легкий короткий крик, она подняла руки, обвила ими шею Алексея Алексеевича и с откинутой головой, с льющимися слезами, глядя сквозь слезы в глаза ему, проговорила взволнованно:

— Люблю вас.

И когда она сказала эти слова, с него спали чары: сердце растопилось, горячие волны крови зашумели по жилам, радостно вдохнул он воздух ночи и благоухание юного тела Марии, взял в ладони ее заплаканное лицо и поцеловал в глаза:

— Мария, бегите этой аллеей до пруда, ждите меня в беседке. Не забудьте — когда вы перейдете мостик, дерните за цепь, и он поднимется... Там вы будете в безопасности...

Мария кивнула головой в знак того, что все поняла, и, придерживая платье, быстро пошла по указанному направлению, обернулась, усмехнулась радостно и скрылась в густой тени аллеи.

Тогда Алексей Алексеевич вытащил из ножен шпагу и кинулся в дом через балконные двери.

Сбив с ног Фимку, решительно отстранив Федосью Ивановну, повисшую было на его руке, растолкав перепуганную челядь, он вбежал в библиотеку. Комната была полна дыма. Пять свечей второго канделябра едва-едва коптяще-красными язычками освещали разбросанные по всему полу книги из повалившегося шкафа, Маргадона, который топтал тлеющий ковер, и Калиостро, присевшего у кресла, и в кресле скорченное, с темными ребрами, существо, едва прикрытое лохмотьями обгоревшего платья. При виде Алексея Алексеевича оно зашипело, сорвалось с кресла и устремилось ему навстречу. Но он, вскрикнув, вытянул перед собой шпагу, и оно, с воплем отчаяния и злобы, отшатнулось от устремленного на него лезвия, кинулось в глубь комнаты и исчезло за книжными шкафами.

В то же время Калиостро, загородившись креслом, делал Маргадону знаки. Эфиоп оставил топтать ковер и стал сбoku приближаться к Алексею Алексеевичу, вытягивая нож из-за пояса. Но тот, предупреждая прыжок, сам выбросился вперед с вытянутой рукою, и лезвие шпаги до половины вонзилось Маргадону в плечо. Эфиоп крикнул и, хватая воздух, повалился навзничь. Тогда Калиостро швырнул в Алексея Алексеевича креслом и, загораживаясь предметами и бросая их, бегал по комнате с необыкновенным для его лет и тучности проворством. Алексей Алексеевич гонялся за ним, стараясь ударить шпагой. Но Калиостро удалось выскользнуть в галлерею, откуда он выпрыгнул через первое же открытое окно в сад и большими прыжками, задирая голые ноги, побежал к прудам.

Алексей Алексеевич настиг его лишь у мостика, ведущего к беседке, где между колонн смутно белело платье Марии. Калиостро, зарывчав, кинулся через мостик, не видя, что средняя часть его поднята, — взмахнул руками и с тяжелым плеском, как куль, упал в воду. Раздался слабый крик Марии. Заиграла лунная зыбь по поверхности пруда, и низко над травой, с длинным свистом, полетела испуганная птичка. И снова стало тихо: ни звука ни на пруду, ни в темных дроздовых чащах.

Алексей Алексеевич, всматриваясь, взмошел на мостик и наклонился у края разъятой его части. И вдруг у самой воды, у воды, увидел глаза, — они медленно мигнули. Он различил поднятое лицо, щетиный череп и торчащие уши Калиостро.

— Наверх вы все равно не подниметесь, — сказал ему Алексей Алексеевич, — свая склизкая, и я предупреждаю: если вы только опять начнете свои фокусы, я вас заколю, — вы негодяй. — Он фыркнул носом — Сидите лучше смирно, вас сейчас вытащат. — Он приложил ладони ко рту и закрыл-

чал: — Эй, люди, сюда! — И скоро вдали раздались голоса людей, и начали подбегать мальчишки, дворовые мужики, девки, кто с вилами, кто с косой, кто просто с дубиной, — все были споронок и вострапанные.

Алексей Алексеевич приказал принести веревки, связать Калиостро и вытащить из воды. Трое рослых мужиков, сняв портки и крестясь, полезли в воду. Под мостиком, между сваями, началась возня.

— Алексей Алексеевич, он, пропасти на него нет, царапается, — кричали оттуда.

— За щеки его хватай, тяни из воды, — кричали с мостика.

Наконец Калиостро скрутили веревками и вытащили на берег. Он более не сопротивлялся и, в облитой рубашке, опустив голову и постукивая от холода зубами, пошел в толпе дворовых к дому.

Алексей Алексеевич, оставшись один, стал звать Марию, сначала тихо, потом все громче, испуганнее. Она не отвечала. Он бежал пруд, вскочил в утлую лодочку и, упираясь шестом, пересек на островок. Мария лежала в беседке на деревянном полу. Алексей Алексеевич обхватил ее, приподнял, прислонил к себе ее бессильно клонившуюся голову и, целуя ее лицо, едва не плакал от жалости и любви к ней. Наконец он почувствовал, как ее тело стало легче, поднялась и опустилась ее грудь и светловолосая голова ее легла удобнее на его плечо. Не раскрывая глаз, Мария проговорила едва слышно:

— Не покидайте меня.

## XVI

Пожар удалось потушить. Выгорела лишь библиотечная комната, — водою и огнем в ней попорчено было много книг и вещей, — и до гла сгорело жолотно на портрете Прасковьи Павловны.

На рассвете к крыльцу подали телегу, в нее на свежее сено положили вещи гостей и посадили Маргадона, — он был совсем плох: весь серый, земляного цвета, с отвисшим ртом и с головою, закутанной в два теплых платка. Народ, стоявший у крыльца и вокруг телеги, стал жалеть старика, — все-таки человек подневольный, слуга, пропадает не по своей вхоте. Скотница дала ему на дорогу каленое яичко. Зато, когда вывели все еще связанного Калиостро, в нахлобученном кос-как парике и в шляпе с растрепанными перьями, в накиннутой поверх ночной рубашки песцовой шубе, мальчишки засвистали. Бабы начали плевать, а подслеповатый мужик, Спиридон, без шапки, распоясанный и босиком, всю ночь больше всех суетившийся на глазах у барина, подскочил к Калиостро и развернулся, чтобы дать ему в ухо, но его оттащили. Калиостро сам влез в телегу, насупленный, с нависшими бровями. Мордатый парень, славившийся в деревне силой и отчаянностью, весело прыгнул на нахлестки, замотал веревочными вожжами, сивая кобыленка влезла в комут, и телега тронулась под свист и улюлюканье дворни.

— Федька, — закричал Алексей Алексеевич с крыльца, — повезешь их прямо в Смоленск и там сдай городничему.

— Будьте покойны, Алексей Алексеевич, — уже издали ответил Федька, — доставим в полном порядке, не впервой.

## XVII

После обморока в беседке Мария едва могла дойти до дому. Ее уложили во флигеле, в спальне, предназначенной для особо именитых гостей. Над кроватью полуоткинули балдахин, на окнах спустили шторы, и Мария забылась сном. Так она проспала до полудня. Федосья Ивановна, часто подходившая к дверям, слышала ее бормотанье, вошла в спальню и увидела, что Мария лежит с закрытыми глазами, ярко-румяная и не переставая говорит про себя тихим голосом. У нее началась горячка и держала ее между жизнью и смертью более месяца.

Алексей Алексеевич едва не сошел с ума от беспокойства и в тот же день сам поскакал в Смоленск за лекарем. На обратном пути он узнал от лекаря, что к смоленскому городничему привозили на телеге двух каких-то иностранцев, городничий их сначала арестовал, а затем с большим почестом отправил по Варшавскому шляху. Осмотрев Марию, лекарь сказал, что одно из двух: либо горячка возьмет свое, либо человек возьмет свое.

Алексей Алексеевич целые дни теперь проводил у постели Марии, спал в кресле у окна, почти ничего не ел, изменился, сильно исхудал, — его лицо возмужало, стали влажными глаза; в каштановых волосах появилась белая прядь.

Однажды, ближе к вечеру, он дремал и не дремал, сидя в кресле. Сквозь персиковые занавеси солнце протянуло длинные лучи с танцующими пылинками; билась сонная муха о стекло; Алексей Алексеевич, разлепая веки, поглядывал на пылинки в луче, на муху. Каменные часы спокойно отстукивали минуты жизни. И вот сквозь дремоту Алексей Алексеевич начал ощущать какую-то перемену во всем, заворочался, обернулся к кровати и увидел раскрытые синие глаза Марии. Она смотрела на него и смешно морщилась от изумления и усилия припомнить что-то. Он опустился на колени у кровати. Мария проговорила:

— Скажите, пожалуйста, где я нахожусь и кто вы такой? — Алексей Алексеевич, не в силах от волнения говорить, осторожно взял ее руку и прижался к ней губами. — Я давно смотрю, как вы дремаете, — продолжала Мария, — у вас такое грустное лицо, как у родного, — она опять сморщилась, но сейчас же бросила вспоминать. — Вот если бы вы открыли окно, было бы хорошо...

Алексей Алексеевич раздвинул шторы, раскрыл окна, и вместе с теплым и душистым воздухом сада в спальню влетел веселый шум птичьего свиста и пения. У Марии появилась румянец. Улыбаясь, она слушала, и вот издали три раза прокуковала запоздалая глупая кукушка. Глаза

Марии налили слезами, Алексей Алексеевич наклонился к ней, она прошептала:

— Спасибо вам за все...

Вскоре она уснула крепко и надолго. Началось ее выздоровление, и с этого дня Алексей Алексеевич не проводил уже более ночей в ее спальне.

Вместе с выздоровлением Марии настало то, что понимала только одна Федосья Ивановна: ни минуты Алексей Алексеевич и Мария не могли пробыть друг без друга, а когда сходились, молчали: Мария думала, Алексей Алексеевич хмурился, кусал губы, стоял или сидел в совершенно неудобных для человека положениях.

Когда однажды тетюшка затворила с ними:

— Как же ты все-таки, Алексис, прости меня, за нескромность, думаешь поступить с Машенькой? К мужу ее отправишь или еще как? — он пришел в ярость:

— Мария не жена своему мужу. Ее дом здесь. А если она меня видеть не желает, я могу уехать, пойду в армию, поставлю грудь пулям.

Ночи он проводил скверно: его мучили кошмары, наваливались на грудь, давили горло. Он вставал поутру разбитый и до пробуждения Марии бродил мрачный и злой по дому, но, едва только раздавался ее голос, он сразу успокаивался, шел к ней и глядел на нее зажавшими сухими глазами.

Настал август. Над садом, мерцая в прудах, высыпали бесчисленные звезды, облачным светом белел Млечный путь. Из сада пахло сырыми листьями. Улетели птицы.

В одну из таких ночей Алексей Алексеевич и Мария сидели в ее спальне у камина, где, перебегая из конца в конец огоньками, догорало полено. И вот, в полутьме, в глубине комнаты, из-за пологта выдвинулась тень. Алексей Алексеевич, вздрогнув, всмотрелся. Подняла голову и Мария. Тень медленно исчезла. Прошла минута тишины. Мария бросилась к Алексею Алексеевичу, обхватила его, прижалась и повторяла отчаянным голосом:

— Я не отдам тебя... Я не отдам тебя...

В эту минуту все разделявшее их, все измышленное и сложное — разлетелось, как дым от ветра. Остались только губы, прижатые к губам, глаза, глядящие в глаза: быть может, быстротечное. быть может, грустное, — кто измерил его? — счастье живой любви.

## ПРОСТАЯ ДУША

### I

**К**атю, портниху, не знали? Очень хорошая была портниха и брала недорого. А уж наговорит, бывало, во время примерки, пока с булавками во рту ползает по полу, — прикладывает, одергивает, — узнаете все, что случилось захватывающего на Малой Молчановке. А если начнете бранить, — отчего обещала и не принесла платье, — заморгает глазами:

— Верю, верю, мадам, вы совершенно в праве сердиться.

Вывески у Кати не было, жила на Малой Молчановке, в низку, на углу, против Николы на Курьих Ножках, когда войдете в ворота, — направо ее дверь.

Катя весь день сидела у окошка, откусывала нитки, встряхивала кудрями, — кудри свои, не подвитые. Помощница, веснушчатая девочка, наметывала платье на манекене. В комнате две клетки с птицами, картонки, свертки повсюду, перед зеркальцем бумажные розы и карточки на стене.

Госпожа Бондарева, докторша, всегда — пойдет гулять — остановится у окошка, разговаривает:

— Катя, опять вы меня обманули, не принесли платья. Вы, Катя, бессовестная.

— Извиняюсь, мадам, здравствуйте. Я вас вполне понимаю, что вы окончательно в праве сердиться.

Катя небольшого роста, в шелковых чулках, в башмачках с большими бантами, в синей юбке, до того короткой и легкой, что — бежит по улице с картонками, все на нее косятся: премиленькая фигурка. И всегда, выходя со двора, накидывала синюю же душепгрейку с мехом, — будь хоть июль месяц — пекло: мск Катя к глазам.

А глаза очень были недурны: ясные, иногда чуть-чуть припухшие, не то от слез, не то от бессонной ночи.

Но судить ее никто не смел. Катя была девушка холостая, одинокая, сама на себя работала, а если и влюблена была постоянно, в особенности по осени и в осенний сезон, то, может быть, и сама не рада была своему такому характеру и делала это совсем не для того, чтобы досаждать заказчицам.

## II

Давно это было, — летом. Работала Катя домашней портнихой у докторши Бондаревой в Серебрянном Бору, на даче «Ландыш».

С утра вертит машинку, улыбается полотняным строчкам, пожимает плечиками, потом облокотится и глядит в окно. Ах! Воспоминания!

За окном жара, стонут куры, скрипит гамак, маются между сосен барышни, сестры Бондаревы. За кустами, за забором — дзынь, дзынь — прошел кавалерист. Труба заиграла в Фанагорийском полку. Ах! Воспоминания!

Быстро, быстро крутит Катя машинку. Зовут обедать. Она садится к столу аккуратно, — руки сложила, губы поджала, — все, как полагается девушке с самолюбием. Бондарев извиняется перед ней, что в подтяжках, пьет водку, отдуваясь, глядит в суп. Барышни томятся, не хотят кушать, мальчишки Бондаревы, недоступные никакому воспитанию, крошат хлеб, щиплются под столом, от докторши пахнет валерьяном. Одна Катя сидит в мечте. На вопрос: «Еще, Катя, супу?» — вздрагивает.

— Мерси. Аппетиту нет.

Какая там еда! В шесть часов Катя складывает шитье, отряхивает юбку от ниток и бежит на террасу, зовет Капитолину, горничную, — она в полном подчинении у Кати и тоже в мечте.

— Капитолина, идите брать урок танцев.

Капитолина появляется из-за погребницы, на ходу вытирает руки, бросает фартук в акацию. Катя говорит:

— Станьте в позицию. Па-де-катр. Слушайте музыку: «Мамаша, купите мне пушку, я буду стрелять» (так подпевали юнкера на балах). Легче, легче, Капитолина. Воздушной. Не так, не так. Боже мой!

Отстраняет Капитолину и, подобрав юбку, летает по балкону.

— И-ах! И-ах! И-ах!

А вечером, не загаснет еще заря, не выспят еще звезды над высокими соснами, над Ходынским полем, — уж несутся издали звуки вальса. Ту... ту... ту... — трубят фанагорийцы в медные трубы на берегу Москва-реки, на кругу, за лесом.

Катя в газовом шарфе, а с ней Капитолина, — бегут на круг, — по дороге появляется из темноты высокий юнкер, расставляет ноги, подхватывает под руку бегущую девушку.

— Прошу на вальс.

Ну, как не закружиться голове? И возвращаются Катя с Капитолиной на рассвете, когда догорели в листьях фонарики, затихли шаги, упала роса на траву, на листья.

Перелезут через плетень. Ложатся в постель. Катя закинет руки, глядит в бревенчатый потолок.

— Капитолина, Капитолина, никто не может понять моих чувств.

В то лето фанагорийцы ушли на войну. Утром рано заиграли трубы в лагерях, и барышни, швейки, горничные. кто в туфлях на босу ногу, кто в накинутаой на рубашку шали,

простоволосые, иные заплаканные, и все — печальные — собрались на поле.

Медленно, длинной пылящей колонной ходили фанатички. На спинах до самого затылка навьючен скерб, штыки торчат щетиной, топают тяжелые сапоги, лица строгие, разве крикнет с края кто помоложе: «Эй вы, голубки, прощайте!»

Верхом на смирной кобыле — командир, усатый, с подусниками, сидит бодро, глаз не видно из-под бровей. У стремени его шагает командирша, загорелая женщина с мальчиком на руках.

Вдруг высокий голос запел: «Взвейтесь, соколы, орлами» — и густая, тысячеголосая грудь подхватила песню. Заплакали женщины, побежали дети вслед. И колонна потонула вдали, в пыли.

Ушли, — и назад не вернулся ни один.

Катя стояла у дороги, и слезы текли у нее из глаз.

— Капа, Капа, жить неохота, — повторяла Катя и медленно вместе с женщинами и детьми вернулась в опустевший Серебряный Бор.

Заколачивали дачи. Поутру солнце всходило бледное, осеннее. И птицы пели по-иному. Катя купила географическую карту и воткнула булавку в то место, где кровь проливает знакомый юнкер.

А потом булавочка затерялась, карту засидели мухи. Чуть-чуть не полюбила было с горя близорукого какого-то студента, но сама его бросила. Хотела пойти в милосердные сестры и раздумала, — побоялась своего характера.

В домах, где прежде шила, везде горе. Какое уж шитье! Тогда-то Катя переехала на Малую Молчановку, взяла в ученицы веснушчатую девочку Саньку и в комнате над окном повесила двух птиц — снегиря и перепела: один пел поутру хорошо, другой к вечеру — скуку развевали.

Грустное житье. Улицы пустые. На женщинах траур. Галантерейные приказчики стали злые, как собаки. Дороговизна. Проходит зима и лето. Года проходят. И все еще воют, поделить не могут чего-то. А народу, народу бьют!

Троих Катя проводила на вокзал за это время. Невеселая была любовь ни с одним, больше от жалости бегала видаться, а ночью не спала, вздыхала, бранила Саньку, чтобы не сопела, не будила птиц.

Проводит, поскучает, потом прочтет в газетах: убит на поле славы.

Шьет у окна Катя, мелькает иголкой и думает: «Где это поле славы, где столько народу побито? Посидела бы у этого поля, поплакала».

### III

Однажды Катя пришла великим постом к докторше Бондаревой и только набрала в рот булавок, приготовилась разговаривать, — в прихожей зазвонил телефон, и сам Бондарев визгливым голосом спрашивает, чуть не лает в трубку:

— Что? Быть этого не может! Невероятно! Батенька мой, поздравляю!



Вбежал в комнату, красный, бороду захватил и в рот сует — Ну, Катя, — говорит, — поздравляю, Катерина Николаевна. Теперь вы свободная гражданка, позвольте пожать руку.

Потом кинулся к себе в кабинет, двери настежь, и видно — на электрическом кресле сидит пациент, и Бондарев водит по нему железными щетками, не столько водит, сколько в лицо сует, — пускает искры, кричит:

— Дожили, батенька мой, до красного денечка!

На другой день побежала Катя на Красную площадь глядеть, как пушки возят, как сдаются в Кремле запасные солдаты, как по Никольской ведут приставов без шапок, с порванными погонами, как вешают красный флаг на Минина, как на кучу талого снега взлезла барышня в сбитой шляпке и с саблей и все повторяет тонким голосом: «Товарищи, товарищи...» А что «товарищи», — за шумом не было слышно.

Забилось у Кати сердце от всего этого, точно лед растаял. И влюбилась она в университет на митинге в студента. Он стоял у колонны, глядел исподлобья, личико бледное, суровое, а глаза — как у женщины, палец заложил за мундир, причесан на пробор, чистенький весь и на Катю решительно не обратил никакого внимания.

Катя на другой день опять в университет побежала, — его нет. Обегала за две недели все митинги. Досада ее брала — самолюбие, а едва заметит студенческую фуражку, — сердце в колени валится. Заказчицам на все упрёки отвечала: «Вы совершенно в праве, мадам, сердиться».

Наконец на Тверском бульваре видит, сидит он. Газету от себя отстранил, думает. Катя села на ту же скамью и дух едва переводит...

— Извините, — говорит, — что я к вам обращаюсь, я ваше лицо на митинге видела, давно хотела спросить...

Покраснела, хоть плачь: что хотела спросить — сама не знает, как дура...

— Так уж я и подумала, — встречу, спрошу, какие мне книжки почитать. Говорят, теперь всем приказано книжки читать, а какие — не сказывают. Так я к вам, извините...

Он спросил, кто она, как зовут, спрятал газету в карман.

— Приходите ко мне на Бронную. — Простился вежливо и пошел.

Жил он в комнате одиноко. У стола на полочке — книги, за ширмой — чистая кровать. На рукомоинке — душистое мыло. Светло, опрятно. Звали его Сергей Сергеевичем.

Катя в первый же день рассказала ему свою жизнь, плакала. Сергей Сергеевич предложил читать вслух историю французской революции. Бывало, сядет в кресле, наденет очки, перевернет страницу и посмотрит строго. Катя сидит напрогив. Так бы и умерла около него. За чтением разговаривали:

— Катя, вам нравится Марат?

— Что вы, такой кровожадный...

— А что вы думаете, Катя, о современных событиях?

— Так что же, Сергей Сергеевич, думать-то, — свободу дали. Теперь все стали сознательные. Я вот давно вас спро-

силь собираюсь—за какой список подавать? Намедни ко мне в мастерскую заходил один, все повторял: «Гражданка, мы в ваших руках...»— за него, что ли? Ах, теперь только и жить...

— Нет, Катя, из нас мало кто останется в живых...

— Ох!

— У меня, Катя, предчувствия очень тяжелые...

— О-ох!

В то время над Москвой стояла ясная луна. В ее свете по сырым бульварам бродили парами солдаты с дамами, грызли подсолнухи, целовались. Из темных подвалов выходили швейцары томиться на свет. Подвальные жители высывались в окошки над тротуарами, глядели вверх неподвижно. По всему городу цвели липы.

Сергей Сергеевич сидел на окошке. Он был в кителе и качал ногой, затем поднял и опустил плечи.

— Какая глупая ночь, Катюша,—сказал он.—Оказывается, и во время революции светит луна, пахнут липы.

Катя стояла близко около него и подумала: «Неужели начинается чудный роман?»

И прошептала:

— Прекрасный запах.

Тогда Сергей Сергеевич опустил руку, и Катя заметила, что рука его ползет и вдруг коснулась ее локтя. Катя негромко вздохнула. Он спросил, усмехаясь:

— Вы на луну смотрите?

— Не знаю.

— Вы сегодня странная. (Она смолчала, сердце начало колотиться.) Вы любите музыку?

Действительно, внизу играли на рояле,—томилась от луны и революции еще чья-то душа.

Катя не ответила. Он спрыгнул с окна и стал рядом, так же, как и она,—облокотился. Внизу лежали, поблескивающие с одной стороны от лунного света и темные с другой, крыши,—множество крыш.

Сергей Сергеевич осторожно повернулся к Кате. И она повернулась, взглянула в глаза без улыбки, раскрыла губы.

Тогда между их лицами зазвенел комар, появился золотистой точкой. Сергей Сергеевич усмехнулся и поцеловал Катю в рот. Она, не отрываясь, подняла руки, обхватила ими его шею и закрыла глаза.

После этой ночи Сергей Сергеевич перестал читать историю французской революции. Его пальцы теперь были в чернилах. Однажды он, покраснев до пота на лбу, прочел ей стихотворение:

И вот любовь рукою смуглой  
Опять стучится в дверь мою.

.....

Но все это неожиданно кончилось, оборвалось. Из Рязани пришла телеграмма. Сергей Сергеевич уехал, не успел даже проститься, оставил только записочку: «Случилось страшное несчастье. Прощай. Нежно целую тебя, Катя. Спасибо, милая,

за дружбу. Наш дом и все, все сожжено. Что с мамой и сестрами, — не знаю».

У Кати остались только листочки со стихами, она носила их под рубашкой. Мурлыкала целый день, сидя за работой, «Пускай могила меня накажет» — и вела себя очень строго... Это была любовь, как в книжке, и если бы не дороги материи, сшила бы себе траур, — так было грустно ей на душе и сладко.

#### IV

А жить становилось все страшней. Начались безобразия по ночам. Ограбили мадам Кошке на Малой Молчановке, — забрались десять человек в маскарах, самого Кошке связали, избили, мадам от страха впала в столбняк, ее раздели дочиста. Потом ночью у подъезда ограбили председателя домового комитета, проломили голову. Что ни ночь, то на Малой Молчановке — шалости и грабежи.

Катя догадывалась, чьих рук это дело. Но пока молчала. К ней повадился шляться под окошко Петька (отец его держал обойную мастерскую), хвастался, показывал золотые часы. Приходил в сумерки с гармоникой, садился с улицы на подоконник, играл «двуспец», — никак отвязаться было нельзя.

Потом стал предлагать подарки. Хвалился засыпать деньгами. Катя отказывалась, гнала его с окошка.

В осеннюю ветреную ночь Катя увидела сон, будто входит к ней Сергей Сергеевич, держится рукой за лоб. Сел на стул, наклонился, белый, как полотно, и кровь у него сочится между пальцами.

Катя закричала, перепугала Саньку и так начала плакать, будто душа в слезах уходила.

— Саня, Санечка, тоска смертная. Жить плохо. Поди, дай мне водицы. Никого на свете нет у меня, Санька, — и стучала о стакан зубами, — закопают меня на кладбище, один ветер меня пожалсет.

На другой день, чуть свет, проснулась она от частой далекой стрельбы. Санька бегала за угол, вернулась такая, что все веснушки проступили.

— На Воздвиженке всех режут, девушка, — и полезла головой под подушку.

Катя пошла на Арбат. Там стоял народ кучками на углах, слушали, посмеивались, никто ничего не знал.

Стреляли пушки. Тукали часто, гулко пулеметы. Пролетали пульки с пением. Прогремел грузовик, полный солдат и ружей, за ним побежал студент и влез. Ждали каких-то казачков.

Худая старуха, вздохнув, сказала Кате:

— Большаки под колокольню подкоп ведут. Тысячи народу перебили.

К вечеру появились патрули и разогнали праздный народ по домам.

Катя не зажигала огня, сидела впотьмах и слушала. Прощли медленно двое за окном, один проговорил: «Застали на чердаке и прикололи, а интеллигентный был человек».

Мелькнула искорка, и неподалеку хлеснуло, как кнутом. Вдруг зачавкало железом, проезжал извозчик. Грубый голос крикнул: «Кто едет?» Стук подков сразу замолк. Катя ждала — убьют или нет. Но подковы опять зазвякали. Катя сидела, покачиваясь, и задремала понемногу.

Легкий стук в окно разбудил ее.

Санька зашептала:

— Девушка, лезут к нам, боюсь.

Катя соскочила с постели, подбежала к окну. За ним стоял смутной тенью человек, солдат, с ружьем, один. Он опять постучал осторожно. Катя раскрыла форточку.

— Что вам нужно? Спать не дасте. Уходите от окна...

— Катя, — сказал солдат насмешливо и повторил ласковее: — Катюша.

Катя до того испугалась этого голоса, так трястись начали колени, — вцепилась в занавеску.

— Сергей Сергеевич, миленький, вы ли?

Он проговорил все так же тихо:

— Нет ли чаю горячего? Мы очень прозябли. Здравствуй, Катюша.

От стены отделились еще двое. Стали рядом, оперлись на ружья.

— Вот бы чайку теперь. Спасибо сказали бы.

Катя в кухне собрала чай. Осторожно, скрипнув калиткой, прошли все трос, в серых шинелях, в тяжелых грязных сапогах, сели к столу, ружья поставили между колен, повесили картузы на штыки, стали дуть в блюдечки, покркивать. У всех троих повыше локтя черная нашивка — углом.

Сергея Сергеевича узнать было нельзя, — раздался в плечах, обветрил, оброс кустиками, только лоб остался прежний, белый, чистый. Катя даже сесть около него не смела, — взглядывала украдкой.

И не успела налить по второму стакану, — послышался с улицы свист. Они вскочили, поправили пояса, сумки и вышли.

В сениях Сергей Сергеевич обернулся, взял Катю за плечи, взглянул в лицо строго и, не целуя, прижал к себе. Никогда Катя не могла забыть запаха солдатской его шинели, рснчей, табаку. Не сдержалась, заплакала. Он сказал: «Ну, ну, перестань», поправил картуз, перекинул винтовку и вышел.

Катя прождала весь следующий день. К вечеру пришел юнкер с запиской от Сергея Сергеевича, попросил кипятку, хлеба и папирос, и, сколько ни отговаривал Катю, она собрала все, что было съестного, и побежала к Никитским воротам.

Далеко вокруг, озаряя кривые персулки, пылал огромный гагаринский дом. Грохотали залпы. Со всех чердаков, из окон, из-за деревьев выскакивали длинные огненные иглы выстрелов. Иногда темная фигура перебегала от дерева к дереву. На песке бульвара, красном от зарева, поблескивающим корками льда, валялись, как мешки с поклажей, пять-шесть убитых. Катю не хотели пускать, она отвечала:

— Найду и найду его, хоть убивайте меня. Приказал чаю принести, и принесу. Пустите.

Спотыкаясь, скользя по ледяному бульвару, Катя добра-

лась до канавы, вырытой поперек проезда. В ней лежали люди в шинелях. Стреляли из канавы, и с Никитской, и с переул-ка, — отовсюду.

Катя стояла за деревом, глядела на страшный дом. Там в окнах закручивалось пламя и появлялись какие-то люди, точно хотели броситься вниз. Одна фигура застряла в окне, растопырив руки.

Катя охнула, закричала:

— Сергей Сергеевич, где вы?

Ее не захотели слушать, прогнали, и вдогонку хриплый го-лос из канавы крикнул:

— Не туда идешь, дура, он — около Чичкина лежит.

Сергей Сергеевич лежал около лавки Чичкина, у самой сте-ны. Шинель на нем коробилась, как неживая, пыльная. Голова закинута навзничь, рот приоткрыт, из темени по асфальту растекалась темная лужа.

Катя присела около него и долго, долго глядела в лицо. Оно было не то — любимое, — не его лицо. Прах оскаленный. По-том она взяла чайник и пошла обратно. Сняла с плеч, накинута на голову платок, опустила его на глаза.

Вечером на седьмые сутки Москва погрузилась в желтова-тый туман. Затихли выстрелы. Провыл последний снаряд из тумана. И кончилось сражение.

Утром Катя вышла купить молока. На перекрестке стоял бородатый решительный мужчина в шляпе, рослый, с черны-ми от пороха руками, — выдавал пропуска. Госпожа Бонда-рева, — за эту неделю сморщилась, как гриб, — подошла к Кате, шепнула:

— Смотрите, милая моя, какой стоит с бородищей, — как же нам жить-то теперь?..

## ГАДЮКА

### I

**К**огда появлялась Ольга Вячеславовна, в ситцевом халатике, непричесанная и мрачная, — на кухне все замолкали, только хозяйственно, прочищенные, полные керосина и скрытой ярости, шипели примусы. От Ольги Вячеславовны исходила какая-то опасность. Один из жильцов сказал про нее:

— Бывают такие стервы со взведенным курком... От них подальше, голубчики..

С кружкой и зубной щеткой, подпоясанная мохнатым полотенцем, Ольга Вячеславовна подходила к раковине и мылась, скатывая из-под крана темноволосую стриженую голову. Когда на кухне бывали только женщины, она спускала до пояса халат и мыла плечи, едва развитые, как у подростка, груди с коричневыми сосками. Встав на табуретку, мыла красивые и сильные ноги. Тогда можно было увидеть на ляжке у нее длинный поперечный рубец, на спине, выше лопатки, розово-блестящее углубление — выходной след пули, на правой руке у плеча — небольшую синеватую татуировку. Тело у нее было стройное, смуглое, золотистого оттенка.

Все эти подробности хорошо были изучены женщинами, наставлявшими одну из многочисленных квартир большого дома в Зарядьи Портника Марья Афанасьевна, всеми печенками ненавидевшая Ольгу Вячеславовну, называла ее «клеймёная». Роза Абрамозна Безикович, безработная, — муж ее прожилал в сибирских тундрах, — буквально чувствовала себя худо при виде Ольги Вячеславовны. Третья женщина, Соня Варенцова, или, как ее все звали, Лялечка, — премиленькая девица, служившая в Махорочном тресте, — уходила из кухни, заслышав шаги Ольги Вячеславовны, бросала гудевший примус.. И хорошо, что к ней симпатично относились и Марья Афанасьевна и Роза Абрамозна, — иначе бы кушать Лялечке чуть не каждый день пригоревшую кашу.

Вымывшись, Ольга Вячеславовна взглядывала на женщин темными, «дикими» глазами и уходила к себе в комнату, в конце коридора. Примуса у нее не было, и как она питалась поутру — в квартире не понимали. Жилец Владимир Львович Понизовский, бывший офицер, теперь посредник по купле-

продаже антиквариата, уверял, что Ольга Вячеславовна по утрам пьет шестидесятиградусный коньяк. Все могло стать. Вернее — примус у нее был, но она от человеконенавистничества пользовалась им у себя в комнате, покуда распоряжением правления жилищоводепартамента это не было запрещено. Управдом Журавлев, пригрозив Ольге Вячеславовне судом и выселением, если еще повторится это «антипожарное безобразие», едва не был убит: она швырнула в него горящим примусом, — хорошо, что он увернулся, — и «покрыла матом», какого он отродясь не слышал даже и в праздник на улице. Конечно, керосинка пропала.

В половине десятого Ольга Вячеславовна уходила. По дороге, вероятно, покупала бутерброд с какой-нибудь собачьей радостью и пила чай на службе. Возвращалась в неопределенное время. Мужчины у нее никогда не бывали.

Осмотр ее комнаты в замочную скважину не удовлетворял любопытства: голые стены — ни фотографий, ни открыток, только револьверчик над кроватью. Мебели — пять предметов: два стула, комод, железная койка и стол у окна. В комнате иногда бывало прибрано, шторка на окне поднята, зеркальце, гребень, два-три пузырька в порядке на облупленном комоде, на столе — стопка книг и даже какой-нибудь цветок в полубутылке из-под сливок. Иногда же до ночи все находилось в кошмарнейшем беспорядке: на постели, казалось, бились и метались, весь пол — в окурках, посреди комнаты — горшок. Роза Абрамовна охала слабым голосом:

— Это какой-то демобилизованный солдат; ну, разве это женщина?

Жилец Петр Семенович Морш, служащий из Медснабторга, холостяк с установившимися привычками, однажды посоветовал, хихикая и блестя черепом, выкурить Ольгу Вячеславовну при помощи вдутия через бумажную трубку в замочную скважину граммов десяти иодоформу: «Живое существо не может вынести атмосферы, отравленной иодоформом». Но этот план не был приведен в исполнение, — побоялись.

Так или иначе, Ольга Вячеславовна была предметом ежедневных пересудов, у жильцов закипали мелкие страсти, и не будь ее — в квартире, пожалуй, стало бы совсем скучно. Все же в глубь ее жизни ни один любопытный глаз проникнуть не мог. Даже постоянный трепет перед ней безобиднейшей Сонечки Варенцовой оставался тайной.

Лялечку допрашивали, она трясла кудрями, путала что-то, сбивалась на мелочи. Лялечке, если бы не носик, было бы давно звездой экрана. «В Париже из вашего носа, — говорила ей Роза Абрамовна — сделаю конфету... Да вот, посидишь тут в Париж, ах, бог мой!..» На это Соня Варенцова только усмехалась, розовели щеки, жадной мечтой подергивались голубые глазки... Петр Семенович Морш выразился про нее: «Ничего девочка, но дура...» Неправда! Лялечкина сила и была в том, чтобы казаться душой, и то, что в девятнадцать лет она так безошибочно нашла свой стиль, указывало на ее скрытый и практический ум. Она очень нравилась пожилым, переутомленным работой мужчинам, ответственным работникам, хозяй-

ственникам. Она возбуждала из забытых глубин души улыбку нежности. Ее хотелось взять на колени и, раскачиваясь, забыть грохот и вонь города, цифры и бумажный шелест канцелярии. Когда она, платочком вытерев носик, пряменько садилась за пишущую машинку, в угрюмых помещениях Махорочного треста на грязных обоях расцветала весна. Все это ей было хорошо известно. Она была безобидна, и действительно, если Ольга Вячеславовна ненавидела ее, значит — тут скрывалась какая-то тайна...

В воскресенье, в половине девятого, как обычно, скрипнула дверь в конце коридора, Соня Варенцова уронила блюдечко, тихо ахнула и помчалась из кухни. Было слышно, как она затворилась на ключ и вскрикнула. В кухню вошла Ольга Вячеславовна. У рта ее, сжатого плотно, лежали две морщинки, высокие брови сдвинуты, цыганское худое лицо казалось больным. Полотенце изо всей силы стянуто на талии, тонкой, как у осы. Не поднимая ресниц, она открыла кран и стала мыться. — набрызгала лужу на полу... «А кто будет подтирать? Мордой вот сунуть, чтобы подтерла», — хотела сказать и промолчала Марья Афанасьевна.

Вытерев мокрые волосы, Ольга Вячеславовна окинула темным взглядом кухню, женщин, вошедшего в это время с черного хода низенького Петра Семеновича Морща с куском ситного в руках, бутылкой молока и отвратительной, вечно дрожащей собачонкой. Сухие губы у него ядовито усмехнулись. Горбоносый, похожий на птицу, с полуседой бородкой и большими желтыми зубами, он воплощал в себе ничем не поколебимое «тэкс, тэкс, поживем — увидим...» Он любил приносить дурные вести. На кривых ногах его болтались грязнейшие панталоны, надеваемые им по утренним делам.

Затем Ольга Вячеславовна издала странный звук горлом, будто все переполнявшее ее вырвалось в этот не то клекот, не то обрывок горестного смеха.

— Чорт знает, что такое, — проговорила она низким голосом, перемахнула через плечо полотенце и ушла. У Петра Семеновича на пергаментном лице проступила удовлетворенная усмешечка.

— У нашего управдома с перепою внезапно открылось рвение к чистоте, — сказал он, спуская на пол собаку. — Стоит внизу лестницы и утверждает, что лестница загажена моей собакой. «Это, — он говорит, — ее кало. Если ваша собака будет продолжать эти выступления на лестнице — возбужу судебное преследование». Я говорю: «Вы не правы, Журавлев, это не ее кало...» И так мы спорили, вместо того чтобы ему мести лестницу, а мне идти на службу. Такова русская действительность...

В это время в конце коридора опять послышалось: «Ах, это чорт знает что!» — и хлопнула дверь. Женщины на кухне переглянулись. Петр Семенович ушел кушать чай и менять домашние брюки на воскресные. Часы-ходики на кухне показывали девять.



В девять часов вечера в отделение милиции стремительно вошла женщина. Коричневая шапочка в виде шлема была надвинута у нее на глаза, высокий воротник пальто закрывал шею и подбородок; часть лица, которую можно было рассмотреть, казалась покрытой белой пудрой. Начальник отделения, вглядываясь, обнаружил, что это не пудра, а бледность, — в лице ее не было ни кровинки. Прижав грудь к краю закапанного чернилами стола, женщина сказала тихо, с каким-то раздирающим отчаянием:

— Идите на Псковский переулочек... Там я натворила, и сама не знаю что... Я сейчас должна умереть...

Только в эту минуту начальник отделения заметил в ее посиневшем кулаке маленький револьвер, — велодок. Начальник отделения перекинулся через стол, схватил женщину за кисть руки и вырвал опасную игрушку.

— А имеется у вас разрешение на ношение оружия? — для чего-то крикнул он. Женщина, закинув голову, так как ей мешала шляпа, продолжала бессмысленно глядеть на него. — Ваше имя, фамилия, адрес? — спросил он спокойнее.

— Ольга Вячеславовна Зотова...

## II

Десять лет тому назад в Казани загорелся среди бела дня на Проломной дом купца второй гильдии, старообрядца Вячеслава Илларионовича Зотова. Пожарные обнаружили в первом этаже два трупа, связанные электрическими проводами: самого Зотова и его жены, и наверху — бесчувственное тело их дочери Ольги Вячеславовны, семнадцатилетней девицы, гимназистки. Ночная рубашка на ней была в клочьях, руки и шея изорваны ногтями; все вокруг указывало на отчаянную борьбу. Но бандиты, повидимому, не справились с ней или, торопясь уходить, только пристукнули здесь же валявшейся гирькой на ремешке...

Дом отстоять не удалось, все зотовское имущество сгорело до тла. Ольгу Вячеславовну отнесли в госпиталь, ей пришлось вправить плечо, зашить кожу на голове. Несколько дней она пролежала без сознания. Первым впечатлением ее была боль, когда меняли повязку. Она увидела сидевшего на койке военного врача с добрыми очками. Тронутый ее красотой, доктор зашикал на нее, чтобы она не шевелилась. Она протянула к нему руку:

— Доктор, какие звери! — и залилась слезами.

Через несколько дней она сказала ему:

— Двоих не знаю, — какие-то были в шинелях.. Третьего знаю. Танцевала с ним... Валька, гимназист... Я слышала, как они убивали папу и маму... Хрустели кости... Доктор, зачем это было! Какие звери!

— Шш, шш, — испуганно шипел доктор, и глаза его были влажны за очками.

Олечку Зотову никто не навещал в госпитале, — не такое было время, не до того: Россию раздирала гражданская война, прочное житейское трещало и разваливалось, неистовой яростью

дышали слова декретов — белых афишек, пестревших всюду, куда ни покоишься прохожий. Олечке оставалось только плакать целыми днями от нестерпимой жалости (в ушах так и стоял страшный крик отца: «Не надо!», звериный вопль матери, никогда в жизни так не кричавшей), от страха — как теперь жить, от отчаяния перед этим неизвестным, что премит и кричит и стреляет по ночам за окнами госпиталя.

За эти дни она, должно быть, выплакала все слезы, отпущенные ей на жизнь. Оборвалась ее беспечальная, бездумная молодость. Душа покрылась рубцами, как заживленная рана. Она еще не знала, сколько тайлось в ней мрачных и страстных сил.

Однажды в коридоре на лавку рядом с ней сел человек с подвязанной рукой. Он был в больничном халате, подштанниках и шлепанцах, и все же горячее, веселое здоровье шло от него, как от железной печки. Едва слышно он насвистывал «Яблочко», пристукивая голыми пятками. Серые ястребиные глаза его не раз перекатывались в сторону красивой девушки. Загорелое широкое лицо, покрытое на скулах никогда не бритой бородкой, выражало беспечность и даже лень, только жестки, жестоки были ястребиные глаза.

— Из венерического? — спросил он равнодушно.

Олечка не поняла, потом вся залилась возмущением:

— Меня убивали, да не убили, вот почему я здесь. — Она отодвинулась, задышала, раздувая ноздри.

— Ах ты, батюшки, вот так приключение! Должно быть, было за что. Или так — бандиты? А?

Олечка устала на него, — как он мог так спрашивать, точно о самом обыкновенном, ради скуки...

— Да вы не слыхали, что ли, про нас? Зотовы, на Проломной?

— А, вот оно что! Помню... Ну, вы — бой-девка, знаете, — не поддались... (Он наморщил лоб.) Этот народ надо в огне жечь. в котле кипятить, разве тогда чего-нибудь добьемся... Столько этого гнусного элемента вылезло, — больше, чем мы думали, — руками разводим. Бедствие. (Холодные глаза его спянули Олечку.) Вот вы, конечно, революцию только так воспринимаете, через это насилие... А жалко. Сами-то из старобрядцев? В бога верите? Ничего, это обойдется. (Он кулаком постукал о ручку дивана.) Вот во что надо верить — в борьбу.

Олечка хотела ответить ему что-нибудь злое, безусловно справедливое, ото всей своей зотовской разоренности; но под его насмешливо ожидающим взглядом все мысли поднялись и опали, не дойдя до языка.

Он сказал:

— То-то... А — горяча лошадка! Хороших русских кровей, с цыганщиной... А то прожила бы, как все, — жизнь просмотрела в окошко из-за фикуса... Скука.

— А это — веселее, что сейчас?

— А то не весело? Надо когда-нибудь ведь и погулять, не все же на счетах щелкать...

Олечка опять возмутилась, и опять ничего не сказалось, —

передернула плечами: уж очень он был уверен... Только проворчала:

— Город весь разорили, всю Россию нашу разорите, бесстыдники...

— Эка штука — Россия... По всему миру собираемся на конях пройти... Кони с цепи сорвались, разве только у океана остановимся... Хочешь, не хочешь — гуляй с нами.

Наклонившись к ней, он оскалился, диким весельем блеснули его зубы. У Олечки закружилась голова, будто когда-то она уже слышала такие слова, помнила этот оскал белых зубов, будто память вставала из тьмы ее крови, стародавние голоса поколений закричали: «На коней, гуляй, душа!..» Закружилась голова, — и опять: сидит человек в халате с подвязанной рукой... Только — горячо стало сердцу, тревожно, — чем-то этот сероглазый стал близок... Она насупилась, отодвинулась в конец скамейки. А он, насвистывая, опять стал прищипывать пяткой...

Разговор был короткий, — скуки ради в больничном коридоре. Человек посвистал и ушел. Ольга Вячеславовна даже имени его не узнала. Но когда на другой день она опять села на ту же скамейку и оглянулась в глубь душевного коридора, и старательно перебирала в мыслях, что ей нужно высказать убедительное, очень умное, чтобы сбить с него самоуверенность, и он все не шел, — вместо него ковыляли какие-то на костылях, — вдруг ей стало ясно, что она ужасно взволнована вчерашней встречей.

После этого она ждала, быть может, всего еще минутку, — слезы навернулись от обиды, что вот ждет, а ему и дела мало... Ушла, легла на койку, стала думать про него самое несправедливое, что только могло взбесить в голову. Но чем же, чем он взволновал ее?

Сильнее обиды мучило любопытство, — хоть мельком еще взглянуть: да какой же он? Да и нет ничего в нем... Миллион таких дураков... Большевик, конечно... Разбойник... А глаза-то, глаза — наглые... И мучила девичья гордость: о таком весь день думать! Из-за такого сжимать пальцы!

Ночью весь госпиталь был разбужен. Бегали доктора, санитары, волокли узлы. Сидели на койках испуганные больные. За окнами гремели колеса, раскатывалась бешеная ругань. В Казань входили чехи. Красные эвакуировались. Все, кто мог уйти, покинули госпиталь. Ольга Вячеславовна осталась, про нее не вспомнили.

На рассвете в больничном коридоре громыхали прикладами грудастые, чисто, по-заграничному, одетые чехи. Кого-то волокли, — срывающийся голос помощника заведующего завопил: «Я подневольный, я не большевик... Пустите, куда вы меня?..» Двое парализованных подползли к окошку, выходящему во двор, сообщили шопотом: «В сарай повели вешать сердешного...»

Ольга Вячеславовна оделась, — на ней было казенное серенькое платье, — бинт на голове прикрыла белой косынкой. Над городом плыл праздничный звон колоколов. Занималась

заря. Слышалась, — то громче, то замирая, — военная музыка входящих полков. Вдали за Волгой раскатывался удаляющийся гром пушек.

Ольга Вячеславовна вышла из палаты. На завороте в коридоре ее остановил патруль, — два на низком ходу усатых чеха, пршикая и шипя, потребовали, чтобы она вернулась. «Я не пленница, я русская», — сверкая глазами, крикнула им Ольга Вячеславовна. Они засмеялись, протянули руки — ущипнуть за щеку, за подбородок... Но не лезть же ей было грудью на два лезвия опущенных штыков. Она вернулась, раздувая ноздри, села на койку, от мелкой дрожи постукивала зубами.

Утром больные не получили чаю, начался ропот. В обеденный час чехи взяли пять человек ампутированных красноармейцев. Парамитики у окна сообщили, что сердешных повели в сарай. Затем в палату вошел русский офицер, высоко подтянутый ремнем, в широких, как крылья летучей мыши, галифе. Больные потянули на себя одеяла. Он оглядел койки, прищуренные глаза его остановились на Ольге Вячеславовне. «Зотова? — спросил он. — Следуйте за мной...» Он точно летел на крыльях галифе, звонкие шпоры его наполняли чоканьем пустоту коридора.

Нужно было проходить через двор. В это время из подъезда, куда ее вели, вышел кудрявый юноша в русской вышитой рубашке, как-то мимоходом, надевая картуз, взглянул на нее и поторопился к воротам... Ольга Вячеславовна споткнулась... Ей показалось... Нет, этого не могло быть...

Она вошла в приемную и села у стола, глядя на военного с длинным, искривленным, как в дурном зеркале, лицом. Глядел и он на нее разноглазыми глазами.

— И вам не стыдно, дочери уважаемого в городе человека, интеллигентной девушке, связаться со сволочью? — услышала она его укоризненный голос, презрительно налегающий на гласные.

Она сделала усилие понять — что он говорит. Какая-то настойчивая мысль мешала ей сосредоточиться. Вздыхнув, она сжала руки на коленях и принялась рассказывать все, что с ней случилось. Офицер медленно курил, навалившись на локоть. Она кончила. Он перевернул лист бумаги, — под ней лежала карандашная записочка.

— Наши сведения не совсем совпадают, — сказал он, задумчиво морща лоб. — Хотелось бы услышать от вас кое-что о вашей связи с местной организацией большевиков. Что? — Угол рта его пополз вверх, брови перекривились.

Ольга Вячеславовна со страхом наблюдала ужасающую асимметрию его чисто выбритого лица...

— Да вы... Я не понимаю... Вы с ума сошли...

— К сожалению, у нас имеются неопровержимые данные, как это ни странно. (Он держал палиросу на отлете, покачиваясь, пустил струйку дыма, — нельзя было придумать ничего более салонного, чем этот человек.) Ваша искренность подкупает... (Колечко дыма.) Будьте же искренни до конца, дорогая... Кстати: ваши друзья, красноармейцы, умерли героями.

(Один пегий глаз его устремился куда-то в окно, откуда видны ворота сарая.) Итак, мы продолжаем молчать? Ну, что ж...

Взявшись за ручки кресла, он обернулся к чехам:

— Битте, прошу...

Чехи подскочили, приподняли Ольгу Вячеславовну со стула, провели по ее бокам, по груди, удовлетворенно поводя усами, — щупали, искали под юбкой карманы. Он глядел, приподнявшись, расширив разные глаза. Ольга Вячеславовна задохнулась. Румянец, пожар крови залил ее щеки. Вырвалась, вскрикнула...

— В тюрьму! — приказал офицер.

Два месяца Ольга Вячеславовна просидела в тюрьме, сначала в общей камере, потом в одиночке. В первые дни она едва не сошла с ума от навязчивой мысли о воротах сарая, припертых доской. Она не могла спать: во сне ее горло опутывалось веревкой.

Ее не допрашивали, никто ее не вызывал, о ней точно забыли. Понемногу она начала размышлять. И вдруг точно книга раскрылась перед ней: все стало ясно. Тот, кудрявый, в вышитой рубашке, был действительно Валька, убийца: она не ошиблась... Боясь, что она донесет, он поторопился оговорить ее: карандашная записочка была его доносом...

Ольга Вячеславовна могла сколько угодно метаться, как пума, по одиночной камере: на ее страстные просьбы (в глазок двери) видеть начальника тюрьмы, следователя, прокурора угрюмо тюремные сторожа только отворачивались. В исступлении она все еще верила в справедливость, придумывала фантастические планы — раздобыть бумаги и карандаш, написать всю правду каким-то высшим властям, справедливым как бог.

Однажды ее разбудили грубые, отрывистые голоса, грохот отворяемой двери. Кто-то входил в соседнюю камеру. Там был заключен человек в очках — про него она знала только, что он надрывающе кашляет по ночам. Вскочив, она прислушалась. Голоса за стеной поднимались до крика — нестерпимые, торопливые. Надорвались, затихли. В тишине послышался стон, будто кому-то делали больно и он сдерживался, как на зубоврачебном кресле.

Ольга Вячеславовна прижалась в углу, под окном, безумно расширив глаза в темноту. Ей вспомнились рассказы (когда сидела в общей) о пытках... Она, казалось, видела опрокинутое землистое лицо в очках, дряблые щеки, дрожащие от муки... Ему скручивают проволокой кисти рук, щиколотки так, чтобы проволока дошла до кости... «Заговоришь, заговоришь», — казалось, расслышала она... Раздались удары, будто выколачивали ковер, не человека... Он молчал... Удар, снова удар... И вдруг что-то замычалось... «Ага! Заговоришь!» И уже не мычанье — большой вой наполнил всю тюрьму... Будто пыль от этого страшного ковра окутала Ольгу Вячеславовну, тошнота подошла к сердцу, ноги поехали, каменный пол закачался, — ударились о него затылком...

Эта ночь, когда человек мучил человека, закрыла тьмой

всю ее робкую надежду на справедливость. Но страстная душа Ольги Вячеславовны не могла быть в безмолвии, в бездействии. И после черных дней, когда едва не помутился разум, она, расхаживая по диагонали камеры, нашла спасение: ненависть, мщение. Ненависть, мщение! О, только бы выйти отсюда!

Подняв голову, она глядела на узкое окошечко; пыльные стекла позванивали тихо, высохшие пауки колебались в паутине. Громовыми раскатами вздыхали где-то пушки. (Это на Казань двигалась Пятая Красная армия.) Сторож принес обед, сопнув, покосился на окошечко: «Калачика вам принес, барышня... Если что нужно — только стукните... Мы всегда с политическими...»

Весь день звенели стекла. За дверями вздыхали сторожа. Ольга Вячеславовна сидела на койке, охватив колени. К еде и не притронулась. Вило в колени сердце, били громом пушки за окном. В сумерки опять на цыпочках вошел сторож и — шопотом: «Мы подневольные, а мы всегда — за народ...»

Около полуночи в тюремных коридорах началось движение, захлопали двери, раздались грозные окрики. Несколько офицеров и штатских, грозя оружием, гнали вниз толпу заключенных человек в тридцать. Ольгу Вячеславовну выволокли из камеры, бегом потащили по лестницам. Она, как кошка, извивалась, силилась укусить за руки. На минуту она увидела ветреное небо в четырехугольнике двора, холод осенней ночи наполнил грудь. Затем — низкая дверь, каменные ступени, гнилая сырость подвала, наполненного людьми; конусы света карманных фонариков заматались по кирпичной стене, по бледным лицам, расширенным глазам... Иступленная матерная ругань... Грохнули револьверные выстрелы, казалось — повалились подвальные своды... Ольга Вячеславовна кинулась куда-то в темноту... На мгновение в луче фонарика выступило лицо Вальки... Горячо ударило ей в плечо, огненным веретеном просверлило грудь, рвануло за спину... Споткнувшись, она упала лицом в плесень, пахнущую грибами...

Пятая армия взяла Казань, чехи ушли вниз на пароходах, русские дружины рассеялись — кто куда, половина жителей в ужасе перед красным террором бежала на край света. Несколько недель по обоим берегам Волги, вздувшейся от осенних дождей, брели одичавшие беглецы с узелком и палочкой, терпели неслыханные лишения. Ушел из Казани и Валька.

Ольга Вячеславовна, наперекор здравому смыслу, осталась жива. Когда из тюремного подвала были вынесены трупы расстрелянных и рядом положены на дворе под хмуро морозящим небом, над ней присел и тихонько поворачивал ее голову кавалерист в нагольном тулупчике.

— А девчонка-то дышит, — сказал он. — Надо бы, братцы, до врача добежать...

Это был тот самый зубастый, с ястребиными глазами. Он сам перенес девушку в тюремный лазарет, побежал разыскивать в суматохе завоеванного города «непременно староре-

жимного профессора», ворвался на квартиру к одному профессору, сторяча арестовал его, напугав до-смерти, доставил на мотоцикле в лазарет и сказал, указав на бесчувственную, без кровинки в лице, Ольгу Вячеславовну: «Чтоб была жива...»

Она осталась жива. После перевязки и камфоры приоткрыла синеватые веки и, должно быть, узнала наклонившиеся к ней ястребиные глаза. «Поближе, — чужь слышно проговорила она, и, когда он совсем придвинулся и долго ждал, она сказала непонятно к чему: — Поцелуйте меня...» Около койки находились люди, время было военное; человек с ястребиными глазами шмыгнул, оглянувшись: «Чорт вот ведь», — однако не решился, только подправил ей подушку.

Кавалериста звали Емсельянов, товарищ Емсельянов. Она спросила имя и отчество, — по имени-отчеству звали Дмитрий Васильевич. Узнав это, закрыла глаза, шевелила губами, повторяя: «Дмитрий Васильевич». Полк его формировался в Казани, и Емсельянов каждый день навещал девушку. «Должен вам сказать, — повторял он ей для бодрости, — живучи вы, Ольга Вячеславовна, как гадюка... Поправитесь — запишу вас в эскадрон, лично моим востовым...» Каждый день говорил ей об этом, и не надоедало ни ему говорить, ни ей слушать. Он смеялся, блестя зубами, у нее нежная улыбка ложилась на слабые губы. «Волосы вам обстригем, сапожки достану легонькие, у меня припасены с убитого гимназиста; на первое время, конечно, к коню ремнем будем прикручивать, чтобы не свалились...»

Ольга Вячеславовна действительно была живуча как гадюка. После всех происшествий от нее, казалось, остались только глаза, но горели они бессонной страстью, нетерпеливой жадностью. Прошлая жизнь осталась на дальнем берегу. Строгий, зажиточный дом отца; гимназия, сентиментальные подруги, снежок на улицах, девицы увлечения заезжими артистами, обожание, по обычаю, учителя русского языка — тучного красавца Воронова; гимназический «кружок Герцена» и восторженные увлечения товарищами по кружку; чтение переводных романов и сладкая тоска по северным, — каких в жизни нет, — героиням Гамсуна, тревожное любопытство от романов Маргерита... Неужто все это было? Новое платье к рождественским праздникам, святочная влюбленность в студента, наряженного Мефистофелем, его рожки из черной саржи, набитые ватой... Запах цветов, замёрзших на тридцатиградусном морозе... Грустная тишина, перезвон великого поста, слабющие снега, коричневые на торговых улицах... Тревога весны, лихорадка по ночам... Дача на Верхнем Услоне, сосны, луга, сияющая Волга, уходящая в беспредельные разливы, и кучевые облака на горизонте... Все это теперь вспоминалось, может быть, только во сне, в теплоте влажной от слез больничной подушки...

В эти сны, — так ей представлялось, — разъяренной плотью ворвался Валька с пятифунтовой гирей на ремешке. Этого Вальку Брыкина выгнали за хулиганство из гимназии, он

ушел добровольцем на фронт и через год опять появился в Казани, щеголяя уланской формой и солдатским георгием. Рассказывали, что его отец, полицейский пристав Брыкин (тот самый, кто издал знаменитый приказ, чтобы «городовым входить в храм божий без усилий»), подал прошение командующему войсками округа, умоляя сына своего Вальку услать на самые передовые позиции, где бы его убили наверное, так как для родительского сердца лучше видеть этого негодяя мертвым, чем живым... Валька был всегда голоден, жаден до удовольствий и смел, как чорт. Война научила его ухваткам, он узнал, что кровь пахнет кисло и — только, революция развязала ему руки.

Пятифунтовая гиря его вдребезги разбила радужный ледок Олечкиных снов. До ужаса тонок оказался ледок, а на нем мечталось ей построить благополучие: замужество, любовь, семью, прочный, счастливый дом... Под ледком таилась пучина... Хруснул он — и жизнь, грубая и страстная, захлеснула ее мутными волнами.

Ольга Вячеславовна так это и приняла: бешеная борьба (два раза убивали — не убили, ни черта она теперь не боялась), ненависть во всю волю души, корка хлеба на сегодня и дикая тревога еще не изведанной любви, — это жизнь... Емельянов садился у койки, она подсовывала под спину подушку, сжимала худыми пальчиками край одеяла и говорила, с невинным доверием глядя ему в глаза:

— Я так представляла себе: муж — приличный блондин, я — в розовом пеньюаре, сидим, оба отражаемся в никелированном кофейнике. И больше — ничего!.. И это — счастье... Ненавижу эту девчонку... Счастье ждала, ленивая дура, в капоте, за кофейником!.. Вот сволочь!..

Емельянов, упираясь кулаками в ляжки, смеялся над ее рассказами. Олечка, сама того не понимая, силилась вся перелиться в него... У нее было одно сейчас желание: оторвать тело от постели больничной койки. Она обстригла волосы. Емельянов доставил ей короткий кавалерийский полушубок, синие с красным кантом штаны и, как обещал, козловые щогольские сапожки.

В ноябре Ольга Вячеславовна выписалась из больницы. В городе не было ни родных, ни знакомых. Северные тучи неслись над пустынными улицами, заколоченными магазинами, хлестали дождем и снегом. Емельянов бойко месил по грязи из переулка в переулок в поисках жилого помещения. Олечка ждалась за ним на шаг позади в промокшем пудовом полушубке, в сапожках с убитого гимназиста; дрожали коленки, но лучше умереть — не отстала бы от Дмитрия Васильевича. Он получил в исполкоме ордер на жилую площадь для товарища Зотовой, замученной белогвардейцами, и подыскивал что-нибудь необыкновенное. Наконец остановился на опромном, с колоннами и зеркальными окнами, особняке купцов Старобогатовых, брошенном хозяевами, и реквизировал его. В необитаемом доме через разбитые окна гулял ветер по анфиладе комнат с расписными потолками и золоченой, уже ободранной мебелью. Позванивали жалобно хрусталики на люстрах.



В саду уныло шумели голые липы. Ударом ноги Емельянов отворял двустворчатые двери.

— Ну, гляди, навалили, дьяволы, прямо на паркет, в виде протеста...

В парадном зале он разломал дубовый орган-во всю стену — и дерево снес в угловую комнату с диванами, где жарко натопил камин.

— Здесь и чайничек можете вскипятить, и тепло и светло, — умели жить буржуи...

Он доставил ей жестяной чайник, сушеной моркови — заваривать, крупы, сала, картошки — все довольствие недели на две, и Ольга Вячеславовна осталась одна в темном и пустом доме, где страшно были печные трубы, будто призраки купцов Старобогатых надрывались от тоски, сидя на крыше под осенним дождем...

У Ольги Вячеславовны было сколько угодно времени для размышлений. Садилась на стульчик, глядела на огонь, где начинал запевать чайник, думала о Дмитрие Васильевиче: придет ли сегодня? Хорошо бы — пришел, у нее как раз и картошка сварилась. Издали она слышала его шаги по гулким паркетам: входил он веселый, страшноглазый, — входила ее жизнь... Отстегивал револьвер и две гранаты, скидывал мокрую шинель, спрашивал, все ли в порядке, нет ли какой нужды.

— Главное, чтобы грудной кашель прошел и в мокроте крови не было... К новому году вполне будете в порядке.

Напившись чаю, свернув махорочку, он рассказывал о военных делах, картинно описывал кавалерийские сражения, иногда до того разгорячался, что жутко было глядеть в его ястребиные глаза.

— Империалистическая война — позиционная, окопная, потому что в ней порыва не было, умирали с тоской, — рассказывал он, расставив ноги посреди комнаты и вынув из ножен лезвие шашки. — Революция создала конную армию... Понятно вам? Конь — это стихия... Конный бой — революционный порыв... Вот у меня — одна шашка в руке, и я врубаюсь в пехотный строй, я лечу на пулеметное гнездо... Можно врагу вытерпеть этот мой вид? Нельзя... И он в панике бежит, я его рублю, — у меня за плечами крылья... Знаете, что такое кавалерийский бой? Несется лава на лаву без выстрела... Гул... И ты — как пьяный... Сшиблись... Пошла работа... Минута, ну — две минуты самое большее... Сердце не выдерживает этого ужаса... У врага волосы дыбом... И враг повертывает коней... Тут уж — руби, гони... Пленных нет...

Глаза его блистали, как сталь, стальная шашка свистела по воздуху... Ольга Вячеславовна с похолодевшей от волнения спиной глядела на него, упиравшись острыми локтями в колени, прижав подбородок к стиснутым кулачкам... Казалось: рассеки свистящий клинок ее сердце, — закричала бы от радости: так любила она этого человека...

Зачем же он щадил ее? Неужели в нем была одна только жалость к ней? Жалел сироту, как подобранную на улице собачонку? Иногда, казалось, она ловила его взгляд искоса — быстрый, затуманенный не братским чувством... Жар кидался

ей в щеки, не знала, куда отвести лицо, метнувшееся сердце валилось в головокружительную пропасть... Но — нет, он вытаскивал из кармана московскую газету, садился перед огнем читать вслух фельетон — нижний подвал, где «гвоздили» из души в душу последними словами мировую буржуазию... «Не туглей — куриным словом доедем... Ай, пишут как, ай, черти!» — кричал он, топая ногами от удовольствия...

Наступила зима. Здоровье Ольги Вячеславовны поправлялось. Однажды Емельянов пришел к ней рано, до света, велел одеться и повел ее на плац, где преподавал первые законы кавалерийской посадки и обращение с конем. На рассвете падал мягкий снежок, Ольга Вячеславовна скакала по белому плацу, оставляя песчаные следы от копыт. Емельянов кричал: «Сидишь, мать твою так, как собока на заборе! Подбери носки, не заваливайся!» Ей было смешно, — и радостью свистел ветер в ушах, пьянил грудь, на ресницах таяли снежинки.

### III

В слабой девочке таились железные силы: непонятно, откуда что бралось. За месяц обучения на плацу в конном и пешем строю она вытянулась как струна, морозный ветер зарумянил лицо. «Поглядеть со стороны, — говорил Емельянов, — соплей ее перешибешь, а ведь — чертеночек...» И, как черт, она была красива: молодые кавалеристы крутили носами, задумывались матерые, когда Зотова, тонкая и высокая, с темной ладной шапочкой волос, в полушубке, натуго перехваченном ремнем, позванивая шпорами, проходила в махорочном дыму казармы.

Худые руки ее научились ловко и чутко управлять конем. Ноги, казалось, пригодные только к буржуазным танцам да к шелковым юбкам, развились и окрепли, и в особенности дивился Емельянов ее шенкелям: сталь, чуткость, как клещ сидела в седле, как овечка ходил под ней конь. Обучилась владеть и клинком — лихо рубила пирамидку и лозу, но, конечно, настоящего удара у нее не было: в ударе вся сила в плече, а плечики у нее были девичьи.

Не глупа была и по части политграмоты. Емельянов боялся за «буржуазную отрыжку», — время было тогда суровое. «Товарищ Зотова, какую цель преследует рабоче-крестьянская Красная Армия?..» Ольга Вячеславовна выскакивала и — без запинки: «Борьбу с кровавым капитализмом, помещиками, попами и интервентами за счастье всех трудящихся на земле...» Зотова была зачислена бойцом в эскадрон, которым командовал Емельянов. В феврале полк погрузился в теплушки и был брошен на деникинский фронт.

Когда Ольга Вячеславовна, стоя с конем в поводу на грязно-навозном снегу станции, где выгрузились эшелоны, глядела на мрачное, в ветренных тучах, угольно-красное и синее зарево весеннего заката и слушала отдаленные раскаты пушек, — все недавнее прошлое незабываемой обидой, мстительной ненавистью поднялось в ней. «Бро-о-сай курить!.. На коней!» —

раздался голос Емельянова. Легким движением она села в седло, пашка ударила ее по бедру... Теперь не попробуешь рвать рубашку, грозить пятифунтовой гирей, не потащишь под локти в подвал! «Ры-ысью марш!..» Заскрипело седло, зашвыстел сырой ветер, глаза глядели на багровый мрак заката. «Кони сорвались с цепей, разве только у океана остановимся», — упойте!.. песней припомнились ей слова любимого друга... Так началась ее боевая жизнь.

В эскадроне все называли Ольгу Вячеславовну женой Емельянова. Но она не была ему женой. Никто бы не поверил, обезживотели бы со смеху, узнай, что Зотова — девица. Но это скрывали и она и Емельянов. Считаться женой было понятнее и проще: никто со не лапал — все знали, что кулак у Емельянова тяжелый, несколько раз ему пришлось это доказать, и Зотова была для всех только братишкой.

По обязанности вестового Зотова постоянно находилась при командире эскадрона. В походе ночевала с ним в одной избе и часто — на одной кровати: он — головой в одну сторону, она — в другую, прикрывшись каждый своим полусубком. После утомительных, по полсотне верст, дневных переходов, убрав коня, наскоро похлебав из котла, Ольга Вячеславовна стягивала сапоги, расстегивала ворот суконной рубашки и засыпала, едва успев прилечь на лавке, на печи, с краю кровати... Она не слышала, когда ложился Емельянов, когда он вставал. Он спал, как зверь — мало, будто одним ухом прислушиваясь к ночным шорохам.

Емельянов обращался с ней сурово, ничем не выделял среди бойцов, цепляясь к ней, пожалуй, чаще чем к другим. Она только теперь поняла силу его ястребиных глаз: это был взор борьбы. Добродушие, зубоскальство сошли с него в походе вместе с лишним жиром. После ночного обхода, найдя коней в порядке, бойцов — спящими, заставы и часовых — на местах, Емельянов входил в избу усталый, крепко пахнущий потом, садился на лавку, чтобы последним усилием стащить набухшие сапоги, и часто так сидел в изнеможении с полустянутым голенищем на одной ноге. Подходил к кровати и на минуту засматривался в пылающее во сне, обветренное, и женское и детское лицо Ольги Вячеславовны. Глаза его затуманивались, нежная улыбка ложилась на губы. Но за провинность он бы не пощадил.

Зотова взяла пакет в дивизию. Над степью, то зеленой, то серо-серебристой от полыни, безоблачное майское небо пело голосами жаворонков. У коня играла селезенка, — совсем как иноходец, шел он мягкой рысью. Перебегали желтенькие суслики дорогу. В такое утро можно было забыть, что есть война, враг теснит и обходит, пехотные дивизии, не принимая боя, ломают вагоны, уходят в тыл, в городах — голод, по деревням — бунты. А весна, как и прежде, убирала красой землю, волновала мечтами. Даже конь, весь потный от худого корма, пофыркивал, подлец, косил лиловым глазом, интересовался — побаловаться, поиграть.

Дорога шла мимо полузаросшего осокой пруда, в нем отражался, весь в складках, меловой обрыв. Конь перебил шаг и потянул к воде. Зотова спешила, разнуздав его, и он, войдя по колено, стал пить, но только потянул воду — поднял лысую морду и, весь сотрясаясь, громко, тревожно заржал. Сейчас же из лозняков, в конце пруда, ему ответили ржанием. Зотова живо взнуздав, вскочила в седло, вглядываясь, потянула из-за спины ложе карабина. В лозниках заныряли две головы и на берег выскочили всадники — двое. Остановились. Это был разъезд, но чей? Наш или белый?

У одного лошадь нагнула голову, сгоняя слепня с ноги, всадник потянулся за поводом, и на плече его блеснула золотая полоска... «Текать!» Ольга Вячеславовна ударила ногами коня, пригнулась, — и полетели кустики полыни, сухие репы навстречу... За спиной послышался тяжелый настигающий топот... Выстрел... Она покосилась — один из всадников забирал правее, наперерез ей. Конь его, рыжий, донской, махал, как борзая собака... Опять выстрел сзади... Она сорвала со спины карабин, бросила поводья. Всадник на донце скакал шагах в пятидесяти. «Стой, стой!» — страшно закричал он, размахивая шашкой... Это был Валька Брыкин. Она узнала его, толкнула шенкелем коня — навстречу ему, вскинула винтовку, и жгучей ненавистью сверкнул ее выстрел... Донской жеребец, мотая башкой, взвился на дыбы и сразу грохнулся, придавив всадника... «Валька! Валька!» — крикнула она дико и радостно, и в эту минуту на нее сзади наскочил второй всадник... Увидела только его длинные усы, большие глаза, выпученные изумленно: «Баба!» — и его занесенная шашка вяло звякнула по стволу карабина Ольги Вячеславовны. Лошадь пронесла его вперед. В руках у нее уже не было карабина, — должно быть, швырнула его или уронила (впоследствии, рассказывая, она не могла припомнить); ее рука ощутила позывную, тягучую тяжесть выхваченного лезвия шашки, стиснутое горло завизжало, конь разостался в угон, настиг, и она наотмашь ударила. Усатый лег на триву, обеими руками держась за затылок.

Конь, резко дыша, нес Ольгу Вячеславовну по полевой степи. Она увидела, что все еще сжимает рукоять клинка. С трудом, не попадая в ножны, вложила его. Потом остановила лошадь: меловой обрыв, озерцо остались влево, далеко позади. Степь была пустынная, никто не глядел, выстрелы прекратились. Звонели жаворонки в сияющей синеве, пели добро и сладко, как в детстве. Ольга Вячеславовна схватилась за рубашку на груди, сжала пальцами горло, испуганно стараясь сдержаться, но — ничего не вышло: слезы брызнули, и, плача, она вся затряслась на седле.

Потом, по пути в штаб дивизии, она еще долго сердито вытирала глаза то одним кулачком, то другим.

В эскадроне сто раз заставляли Зотovu рассказывать эту историю. Бойцы хохотали, крутили головами, с ног валялись от смеха.

— Ой, не могу, ой, братцы, смехотища: баба угробила двух мужиков...

— Постой, ты Расскажи: значит, он на тебя налетает с затылка и вдруг закричал: «Баба!»

— А велики ли усы-то у него были?

— Глаза вылапил, удивился.

— И рука не поднялась?

— Ну, известное дело.

— И ты его тут — тук по затылку... Ой, братишки, умру... Вот тебе и кавалер, — разлетелся.

— Ну, а потом ты что?

— Ну, что «потом»? — отвечала Ольга Вячеславовна. — Обыкновенно: клинок вытерла и побежала в дивизию с паке-том.

Одно существенное неудобство было в походной жизни: Ольга Вячеславовна не могла преодолеть стыдливости. В особенности досадно ей было, когда в жаркий день эскадрон дорывался до реки или пруда; бойцы нагишом, в радугах водяной пыли, с хохотом и гиканьем въезжали в воду на расседланных конях. Зотовой приходилось выбирать местечко отдельно, где-нибудь за кустом, за тростниками. Ей кричали:

— Дура девка, ты обвяжись портянкой, айда с нами.

Емельянов строго следил за чистоплотностью и опрятностью. «Если у конника прыщ на ягодице, — вон из строя, это не боец, — говаривал он. — Конник, лучше всего береги ж... Если позволяют обстоятельства, летом и зимой обливайся у колодца, — четверть часа физических упражнений».

Обливание у колодца тоже бывало затруднительно для нее: приходилось вставать раньше других, бежать по студеной росе, когда в слоистых облаках и туманах еще только брезжило утро пунцовой щелью. Однажды она вытащила жалобно заскрипевшим журавлем ведро ледяной пахучей воды, поставила его на край колодца, разделась, пожимаясь от сырости, — и что-то будто коснулось неслышно ее спины.

Обернулась: на крыльце стоял Дмитрий Васильевич и пристально и странно глядел на нее. Тогда она медленно зашла за колодец и присела так, что видны были только ее немигающие глаза. Будь это любой из товарищей, она бы прикрикнула просто: «Что ты, чорт, уставился, отвернись!» Но голос ее пересох от стыда и волнения. Емельянов пожал плечами, усмехнулся и ушел.

Случай был незначительный, но все изменилось с той поры. Все вдруг стало сложным, — самое простое. Эскадрон остановился на ночевку на горелых хуторах, для сна пришлось одну кровать, как это часто бывало. В эту ночь Ольга Вячеславовна легла на самый красшеск, на попону, пахнущую конем, и долго не могла заснуть, хотя и сжимала веки изо всей силы. Все же она не уснула, когда пришел Емельянов. Когда петухи разбудили ее, — он, оказывается, спал прямо на полу, у двери... Исчезла простота... В разговорах Дмитрий Васильевич хмурился, глядел в сторону; она чувствовала на его лице, на своем лице одну и ту же напряженную, притворную маску. И все же это время она жила, как пьяная от счастья.

До сих пор Зотова не бывала в настоящем деле. Полк вместе с дивизией продолжал отходить на север. Во время мелких стычек она неизменно находилась при командире эскадрона. Но вот где-то на фронте случилась большая неприятность, — о ней тревожно и глухо заговорили. Полк получил приказ — прорваться через неприятельскую линию, пройти по тылам и снова прорваться на крайний фланг армии. Впервые Ольга Вячеславовна услышала слово «рейд». Выступили немедленно. Эскадрон Емельянова шел первым. К ночи стали в лесу, не разнуздывая коней, не зажигая огня. Теплый дождь шумел по листьям, не было видно вытянутой руки. Ольга Вячеславовна сидела на пне, когда ласковая рука легла на ее плечи; она догадалась, вздохнула, закинула голову. Дмитрий Васильевич, нагнувшись, спросил:

— Не заробеешь? Ну, ну, смотри... Ближе ко мне держись...

Потом раздалась негромкая команда, бойцы беззвучно сели на коней. Ольга Вячеславовна свернула наугад и коснулась стремением Дмитрия Васильевича. Долго пробирались шагом. Под копытами чавкало, тянуло грибами откуда-то. Затем в непроглядной темноте появились мутные просветы, — лес редел. Справа, совсем близко, метнулись огненные иглы, гулкие выстрелы покатились по чернолесью. Емельянов крикнул протяжно: «Шашки вон, марш, марш!..» Мокрые сучья захлестали по лицу, кожи леснились, хлестали, колени задевали о стволы. И сразу серая, дымная, уходящая вниз поляна разосталась перед глазами, по ней уже мчались тени всадников. Берег оборвался, Ольга Вячеславовна вонзила шпоры, конь, подобрав зад, кинулся в речку...

Полк прорвался в неприятельский тыл. Скакали во тьме под низкими тучами; степь гудела под копытами пяти сотен коней. На скаку, срываясь, запели трубы горнистов. Приказано было спешиться. По эскадронам роздали погоны и кокарды. Емельянов собрал в круг бойцов.

— В целях маскировки мы теперь — сводный полк северокавказской армии генерал-лейтенанта барона Врангеля. Запомнили, курьи дети? (Бойцы заржали.) Кто там смеется, — в зубы, — молчать, я вам теперь не «товарищ командир», а «его высокоблагородие господин капитан». (Он чиркнул спичкой, на плече его блеснул золотой погон с одним просветом.) Вы теперь не «товарищи», а «нижние чины». Тянутесь, козырять, выкать. «Мо-о-ол-чать, руки по швам!» Поняли? (Весь эскадрон грохотал: вытягивались, козыряли, к «ваше высокоблагородие» пристегивали разные простые словечки.) Пришивайте погоны, звезду в карман, кокарду на фуражку...

Три дня мчался замаскированный полк по врангельскому тылу. Столбы черного дыма поднимались по его следам — горели железнодорожные станции, посзда, военные склады, взлетали на воздух водокачки и пороховые погреба. На четвертые сутки кони приустали, начали спотыкаться, и в глухой деревеньке был сделан дневной привал. Ольга Вячеславовна убрала коня и тут же, не перешагнув через ворох сена, повалилась, заснула. Разбудил ее громкий женский смех, — свежая бабенка в подоткнутой над голыми икрами черной юбке сказа-

ла кому-то, указывая на Зотову: «Какой хорошенький...» Бабенка вешала на дворе вымытые портянки.

Когда Ольга Вячеславовна вошла в избу, у стола сидел Емельянов, заспанный, веселый, в волосах пух, ноги босые. Значит — его портянки были стираны.

— Садись, сейчас борщ принесут. Хочешь водки? — сказал он Ольге Вячеславовне.

Та же свежая бабенка вошла с чугуном борща, отворачивая от пахучего пара румяную щеку. Стукнула чугуном под самым носом Емельянова, повела потным плечом:

— Точно ждали мы вас, уж и борщ...—Голос у нее был тонкий, нараспев,—бойка, нагла...—Портяночки ваши выстирала, не успеете оглянуться—высохнут...—и сучьими глазами мазнула по Дмитрию Васильевичу.

Он одобрительно побрякивал, хлебая, — весь какой-то сидел мягкий.

Ольга Вячеславовна положила ложку; лютая змея ужалила ей сердце, — помертвела, опустила глаза. Когда бабенка вернулась за дверь, она догнала ее в сенях, схватила за руку, сказала шопотом, задыхаясь:

— Ты что: смерти захотела?..

Бабенка ахнула, с силой выдернула руку, убежала.

Дмитрий Васильевич несколько раз изумленно поглядывал на Ольгу Вячеславовну: какая ее муха укусила? А когда сядил на коня, увидел ее свирепые потемневшие глаза, раздутые ноздри и из-за угла сарая испуганно выглядывающую, как крыса, простоволосую бабенку, и — все понял, расхохотался — по-давнишнему — всем белым оскалом зубов. Выезжая из ворот, коснулся коленом Олечкиного колена и сказал с неожиданной лаской:

— Ах ты, дурочка...

У него едва не брызнули слезы.

На пятый день было обнаружено, что целая казачья дивизия преследует по пятам замаскированный красный полк. Теперь уходили полным ходом, бросая измученных коней. Когда настала ночь, завязался арьергардный бой. Полковое знамя было передано первому эскадрону. Не останавливаясь, влетели в какое-то, без огней, темное село. Стучали рукоятками шашек в ставни. Были собаки, все кругом казалось вымершим, только на колокольне бухнул колокол и затих.

Привели двух мужиков, — нашли их в соломе, лохматых, как лешие. Оглядываясь на конников, они повторяли только:

— Братцы, голубчики, не губите...

— За белых ваше село или за советскую власть? — нагнувшись с седла, закричал Емельянов.

— Братцы, голубчики, сами не знаем... Все у нас взяли, пограбили, все разорили...

Все же удалось от них попытаться, что село пока не занято никем, что ждут действительно казаков Врангеля и что за рекой, за железнодорожным мостом, в окопах находятся большевики. Полк снял погоны, нацепил звезды и перешел через мост на свою сторону. Здесь выяснилось, что по всему фрон-

ту белые наступают как бешеные и этот мост велено защищать—хоть сдохни; а воевать нечем: пулеметные ленты к пулеметам не подходят, в окопах—вши, хлеба нет, красноармейцы от вареного зерна распухли до последней степени, как людь—разбегаются, агитатор был, да помер от поноса.

Командир полка соединился по прямому проводу с главком-верхом: действительно — было велено защищать мост до последней капли крови, покуда армия не выйдет из окружения.

— Живыми отсюда не уйдем, — сказал Емельянов.

Он зачерпнул из реки два котелка, один подал Ольге Вячеславовне и, присев около нее, вглядывался в неясное очертание дальнего берега. Мутная, желтоватая звезда стояла над рекой. Весь день врангелевские батареи частым огнем разрушали окопы большевиков. А вечером пришел приказ: форсировать мост, отбросить белых от реки и занять село.

Ольга Вячеславовна глядела на мутноватый неподвижный след звезды на реке, — в нем была тоска.

— Ну, пойдем, Оля, — сказал Дмитрий Васильевич, — надо поспать часик.—В первый раз он назвал ее по имени.

Из кустов на крутой берег выползали с котелками воды крадущиеся фигурки бойцов: весь день к реке не было подступа, никто не пил ни капли. Все уже знали о страшном приказе. Для многих эта ночь казалась последней.

— Поцелуй меня, — с тихой тоской сказала Ольга Вячеславовна.

Он осторожно поставил котелок, привлек ее за плечи, — у нее упала фуражка, закрылись глаза, — и стал целовать в глаза, в рот, в щеки.

— Женой бы тебя сделал, Оля, да нельзя сейчас, понимаешь ты...

Ночные атаки были отбиты. Белые укрепили мост, запутав конец его проволокой, и били вдоль него из пулеметов. Ссрое утро занялось над дымящейся рекой, над сырыми лугами. Земля на обоих берегах взлетала поминутно, будто вырастали черные кусты. Воздух выл и визжал, плотными облачками рвалась шрапнель. От грохота дурели люди. Множество уткнувшихся, раскинутых тел валялось близ моста. Все было напрасно. Люди не могли больше идти на пулеметный огонь.

Тогда за железнодорожной насыпью восемь коммунаров съехались под полковое знамя; разорванное и простреленное, оно на рассвете казалось кровавого цвета. Два эскадрона сели на коней. Полковой командир сказал: «Нужно умереть, товарищи», — и шагом отъехал под знамя. Восьмым был Дмитрий Васильевич. Они обнажили шашки, вонзили шпоры, выехали из-за насыпи и тяжелым карьером поскакали по гулким доскам моста.

Ольга Вячеславовна видела: вот козь одного повалился на перила, и конь и всадник полетели с десятисаженной высоты в реку. Семеро достигли середины моста. Еще один, как сонный, спалился с седла. Передние, доскавав, рубили шашками



проволоку. Рослый знаменосец закачался, знамя поникло, его выхватил Емельянов, и — сейчас же конь его забился.

Горячо пели пули. Ольга Вячеславовна мчалась по щелястым доскам над головокружительной высотой. Вслед за Зотовой загудели, затряслись железные переплеты моста, заревело полтораста глоток. Дмитрий Васильевич стоял, широко раздвинув ноги, держал древко перед собой, лицо его было мертвое, из раскрытого рта ползла кровь. Проскакивая, Ольга Вячеславовна выхватила у него знамя. Он шатнулся к перилам, сел. Мимо пронеслись эскадроны — гривы, согнутые спины, сверкающие клинки.

Все прорвалось на ту сторону; враг бежал, пушки замолкли. Долго еще над левой всадников вилось по полю и скрылось за ветлами села в клочья изодранное знамя; с ним теперь уже скакал, колотя лошадь голыми пятками, широкомордый парень-красноармеец, — размахивая древком, кричал: «Вали, вали, бей их!..»

Ольгу Вячеславовну подобрали в поле; она была оглушена падением и сильно поранена в бедро. Товарищи по эскадрону очень жалели ее: не знали, как ей и сказать, что Емельянов убит. Послали депутацию к командиру полка, чтобы Зотову наградили за подвиг. Долго думали — чем? Портсигар — не курит, часы — не бабье дело носить. У одного конника нашли в вещевом мешке брошку из чистого золота: стрела и сердце. Командир полка без возражения согласился на эту награду, но в приказе выразился с оговоркой: «Зотову за подвиг наградить золотой брошью — стрела, но сердце, как буржуазную эмблему, убрать...»

#### IV

Как птица, что мчится в ветреном, в сумасшедшем небе и вдруг с перебитыми крыльями падает клубком на землю, так вся жизнь Ольги Вячеславовны, страстная, невинная любовь, оборвалась, разбилась, и потянулись ей не нужные, тяжелые и смутные дни. Долгое время она валялась по лазаретам, эвакуировалась в гнилых теплушках, замерзала под шинелишкой, умирала с голоду. Люди были незнакомые, злые, для всех она была номер такой-то по лазаретной ведомости, во всем свете — никого близкого. Жить было тошно и мрачно, и все же смерть не взяла ее.

Когда выписалась из лазарета, наголо стриженная, худая до того, что шинель и голенища болтались на ней, как на скелете, пошла на вокзал, где жили и мерли в залах на полу какие-то, на людей не похожие люди. Куда было ехать? Весь мир — как дикое поле. Вернулась в город, на сборочный пункт к военкому, предъявила документы и наградную брошь-стрелку и вскоре с эшелоном уехала в Сибирь — воевать.

Стук вагонных колес, железный жар печурки в сизом дыму, тысячи, тысячи верст, долгие, как путь, песни, вонь и загаженный снег казармы, орудие буквы военных плакатов и чорт знает каких афиш и извещений — клочья бумаги, шлепастые на морозе, мрачные митинги среди бревенчатых стен в полумраке копящей лампы, и — опять снега, сосны, дымы

костров, знакомый звук железных бичей, стужа, сгоревшие села, кровавые пятна на снегу, тысячи, тысячи трупов, как раскиданные дрова, заносимые поземкой... Все это путалось в ее воспоминаниях, сливалось в один долгий свиток несчастье-бедствий.

Ольга Вячеславовна была худа и черна; могла пить автомобильный спирт, курила махорку и, когда надо, ругалась не хуже других. За женщину ее мало кто признавал, была уж очень тоща и зла, как гадюка. Был один случай, когда к ней ночью в казарме подкатил браток, бездомный фронтовик с большими губами — «Губан» — и попросил у нее побаловаться, но она с внезапным остервенением так ударила его рукояткой нагана в переносье, что братка увели в лазарет. Этот случай отбил охоту даже и думать о «Гадючке»...

Весной занесло ее во Владивосток. В жизни в первый раз она увидела океан — синий, темный, живой. Бежали, стремились к берегу длинные гривы пены, поднимались волны еще на горизонте и, добежав, били в мол, взлетали жидким облаком. Ольга Вячеславовна захотела уйти на корабле... Ожили в воспоминаниях картинки, над которыми мечталось в детстве: берега с невиданными деревьями, горные пики, луч солнца из необъятных облаков и тихий путь кораблика... Проплыть мимо мыса Бурь, посидеть, пригорюнясь, на камешке у реки Замбези... Все это был, конечно, вздор. Никто не принял на корабль, только в портовом тайном кабачке старый лодман, приняв ее за проститутку и с пьяными слезами пожалев за погибшую молодость, нататуировал на ее руке якорь: «Помни,—сказал,—это надежда на спасение...»

Потом — кончилась война. Ольга Вячеславовна купила на базаре юбку из зеленой плюшевой занавески и пошла служить по разным учреждениям: машинисткой при исполкоме, секретаршей в Главлесе или так, писчебумажной барышней, пере-ежающей вместе с письменным столом из этажа в этаж.

На месте долго не засиживалась, — все время передвигалась из города в город — поближе к России. Думалось: проехать бы по тому мосту, над тем берегом, где, зачерпнув в реке котелок, в последний раз сидел с ней Дмитрий Васильевич... Нашла бы и тот куст ракитовый, и место примятое, где сидели...

Прошлое не забывалось. Жила одиноко, сурово. Но военная жесткость понемногу сходилась с нее, — Ольга Вячеславовна снова становилась женщиной...

## V

В двадцать два года нужно было начинать третью жизнь. То, что теперь происходило, она представляла, как усилие запрячь в рабочий хомут боевых коней. Потрясенная страна еще вся щетинилась, глаза, еще налитые кровью, искали — что разрушить, а уже повсюду, отгораживая от вчерашнего дня, забелели листочки декретов, призывающих чинить, отстраивать, строить.

Она читала и слышала об этом, и ей казалось, что это труд-

нее войны. Города, где она проживала, были разрушены с неистовой яростью, все покрывилось и повалилось, крапивой заросли пожарища, — человек жил под одной рогожкой. Человек ел и спал, и во сне все еще грезились ему видения войны. Творчество выражалось в производстве банных веников и глиняной посуды, — такой же, как в пращуровские времена.

Листочки декретов звали восстанавливать и творить. Чьиими руками? Своими же, вот этими — все еще скрюченными, как лапа хищной птицы... Ольга Вячеславовна в часы заката любила бродить по городу, — вглядывалась в недоверчивые, мрачные лица людей с неразглаженными морщинами гнева, ужаса и ненависти; она хорошо знала эту судорогу рта, эти обломки, дыры на месте зубов, съеденных на войне. Все побывали там — от мальчика до старика... И вот бродят по загаженному городу, в кисло пахнущей одежде из мешков, из буржуйских занавесок, в разбитых лаптях, взъерошенные, готовые ежеминутно заплакать или убить...

Листки декретов настойчиво требуют — творчества, творчества, творчества... Да, это потруднее, чем пироксилиновой пашкой взорвать мост, в конном строю изрубить прислугу на батарее, выбить шрапнелью окна в фабричном корпусе... Ольга Вячеславовна останавливалась у покосившегося забора перед пестрым плакатом. Кто-то уже перекрестил его куском штукатурки, нацарапал похабное слово. Она рассматривала лица, каких не бывает, развешающиеся знамена, стозвонные дома, трубы, дымы, восходящие к пляшущим буквам: «индустриализация»... Она была девственно впечатлительна и мечтала у народного плаката, — ее волновало величие этой новой борьбы.

Закат мрачнел; последнее неистовство его красок, пробившись из-под свинцовой тучи, зажигало осколки стекол в зияющих пустынных домах. Изредка брел прохожий, трясая семечки, плюя в грязь разъезженной улицы, где валялись ржавые листы и ощеренная кошачья падаля. Семечки, семечки... Досуг человека заполнялся движением челюстей, мозг дремал в сумерках. В семечках был возврат к бытию до каменного топора. Ольга Вячеславовна сжимала кулачки, — она не могла мириться с тишиной, с семечками, банными вениками и огромными пустырями захолустья...

Ей удалось получить командировку в Москву; она приехала туда в зеленой юбке из плюшевой портьеры, полная решимости и самоотвержения.

К житейским лишениям Ольга Вячеславовна относилась спокойно: бывало с ней и похуже. Первые недели в Москве ютилась где попадется, затем получила комнату в коммунальной квартире, в Зарядьи. После заполнения анкет и подачи многочисленных заявлений, сразу притихшая от величайшей сложности прохождения всех ее бумаг, от шума многоэтажных, гудящих, как улей, учреждений, она поступила на службу в отдел контроля Треста цветных металлов. У нее было чувство воробья, залетевшего в тысячеколесный механизм башенных курантов. Она поджала хвост. Минута в минуту приходила на службу. Присматривалась и робела, потому что ни-

какими усилиями ума не могла определить степень пользы, которую приносила, переписывая бумажки. Здесь ни к чему были ее ловкость, ее безрассудная смелость, ее гадючья злость. Здесь только постукивали ундервуды, как молоточки в ушах в сыпнотифозном бреде, шелестели бумаги, бормотали в телефонные трубки хозяйственные голоса. То ли было на войне: ясно, отчетливо, под пение пуль — всегда к видимой цели...

Затем, разумеется, она попривыкла, обошлась, «разгладила шерстку». Побежали дни, рабочие, однообразные, спокойные. Чтобы не утонуть с головой в этом забвении канцелярий, она стала брать на себя общественную нагрузку. В клубную работу она внесла дисциплину и терминологию эскадрона. Ее пришлось удерживать от излишней резкости.

Первый щелчок она получила от помзава, сидевшего сбоку от нее, по другую сторону двери, ведущей в кабинет зава. Произошло это по случаю курения махорки. Помзав сказал:

— Удивляюсь вам, товарищ Зотова: такая в общем интересная женщина и — провоняли все помещение махоркой... Женственности, что ли, в вас нет... Курили бы «Яву».

Должно быть, это пустячное замечание пришлось как раз вовремя. Ольге Вячеславовне стало неприятно, потом больно до слез. Уходя со службы, она остановилась на лестничной площадке перед зеркалом и, впервые за много лет, по-женски оглядела себя: «Чорт знает, что такое, — огородное чучело». Протертая плюшевая юбка спереди вздернута, сзади сбита в махры каблуками, мужские штиблеты, ситцевая серая кофта... Как же это случилось?

Две пишбарышни в соблазнительных юбочках и розовых чулочках, пробегаая мимо, оглянулись на Зотову, дико стоящую перед зеркалом, и — ниже площадкой — фыркнули со смеху; можно было разобрать только: «...лошади испугаются...» Кровь прилила к прекрасному цыганскому лицу Ольги Вячеславовны... Одна из этих пишбарышень жила в той же квартире на Зарядьи, — звали ее Сонечка Варенцова.

Спустя несколько дней женщины, населявшие квартиру на Псковском переулке (что на Зарядьи), были изумлены странной выходкой Ольги Вячеславовны. Утром, придя на кухню мыться, она уставилась блестящими глазами, как гадюка, на Сонечку Варенцову, варившую кашку. Подошла и, указывая на ее чулки: «Это где купили?» — задрала Сонечкину юбку и, указывая на белье: «А это где купили?» И спрашивала со злобой, словно рубила клинком.

Сонечка, нежная от природы, испугалась ее резких движений. Выручила Роза Абрамовна: мягким голосом подробно объяснила, что эти вещи Ольга Вячеславовна сумеет достать на Кузнецком Мосту, что теперь носят платья «шемиз», чулки телесного оттенка и прочее и прочее...

Слушая, Ольга Вячеславовна кивала головой, повторяла: «Есть. Так.. Поняла...» Затем схватила за Сонечкину «ветленькую кудряшку, хотя это была и не конская грива, а нежнейшая прядь:

— А это — как чесать?

— Безусловно стричь, мое золотко. — пела Роза Абрамовна, — сзади — коротко, спереди — с пробором на уши...

Петр Семсевич Морш, зайдя на кухню, прислушался и отмолил, как всегда, самодовольно блестя чорепом:

— Поздненько вы делаете переход от военного коммунизма, Ольга Вячеславовна...

Она стремительно обернулась к нему (впоследствии он рассказывал, что у нее даже лязгнули зубы) и проговорила не громко, но внятно:

— Сволочь недорезанная! Попался бы ты мне в поле...

В управлении Треста цветных металлов все растерялись в первую минуту, когда Зотова явилась на службу в черном, с короткими рукавами, шелковом платье, в телесных чулках и лакированных туфельках; каштановые волосы ее были подстрижены и блестя, как чернобурый мех. Она села к столу, низко опустила голову в бумаги, уши у нее горели.

Помзав, молодой и наивный парень, ужасно вылупил, сидя под бешено трещавшим телефоном:

— Елки-палки, — сказал он, — это откуда же взялось?

Действительно, Зотова до жути была хороша: тонкое, изящное лицо со смуглым пушком на щеках, глаза — как ночь, длинные ресницы... Руки отмыла от чернил, — одним словом — крути аппарат. Даже зав высунулся, между прочим, из кабинета, уколол Зотову свинцовым глазком.

— Ударная девочка! — впоследствии выразился он про нее.

Прибегали глядеть на нее из других комнат. Только и было разговоров, что про удивительное превращение Зотовой.

Когда прошло первое смущение, она почувствовала на себе эту новую кожу легко и свободно, как некогда — гимназическое платье или кавалерийский шлем, туго стянутый полушубок и шпоры. Если уж слишком паялились мужчины, она, проходя, опускала ресницы, словно прикрывала душу.

На третий день, в пять часов, когда Зотова оторвала кусок промокашки и, помусолив ее, отчищала на локте чернильное пятно, к ней подошел помзав Иван Федорович Педотти, молодой человек, и сказал, что им «нужно поговорить крайне серьезно». Ольга Вячеславовна чуть подняла красивые полосы бровей, надела шляпу. Они вышли.

Педотти сказал:

— Проще всего зайти ко мне, это сейчас за углом.

Зотова чуть пожала плечиком. Пошли. Жарким ветром несло пыль. Влезли на четвертый этаж, Ольга Вячеславовна первая вошла в его комнату, села на стул.

— Ну? — спросила она. — О чем вы хотели со мной говорить?

Он швырнул портфель на кровать, взъерошил волосы и начал гвоздить кулаком непроветренный воздух в комнате.

— Товарищ Зотова, мы всегда подходим к делу в лоб, прямо... В ударном порядке... Половое влечение есть реальный факт и естественная потребность... Романтику

всякую там давно пора выбросить за борт... Ну—вот... Предварительно я все объяснил... Вам все понятно...

Он обхватил Ольгу Вячеславовну подмышки и потащил со стула к себе на грудь, в которой неистово, будто на краю неизъяснимой бездны, колотилось его неученое сердце. Но немедленно он испытал сопротивление.— Зотову не так-то легко оказалось стащить со стула: она была тонка и упруга. Не смутившись, почти спокойно, Ольга Вячеславовна сжала обе его руки у запястий и так свернула их, что он громко охнул, фванулся и, так как она продолжала мучительство, закричал:

— Больно же, пустите, ну вас к дьяволу!..

— Вперед не лезь, не спросившись, дурак,—сказала она. Отпустила Педотти, взяла со стола из коробки папиросу «Ява», закурила и ушла.

Ольга Вячеславовна всю ночь ворочалась на постели... Садилась у окна, курила, снова пыталась зарыться головой под подушки... Припомнилась вся жизнь; все, что казалось навек задремавшим, ожило, затосковало... Вот была чертова ночка...— зачем, зачем? Неужели нельзя прожить прохладной, как ключевая водица, без любовной лихорадки? И чувствовала, содрогаясь: уж, кажется, жизнь была ее и толкла в ступе, а дури не выбила, и «это», конечно, теперь начнется... Не обойтись, не уйти...

Утром, идя мыться, Ольга Вячеславовна услышала смех на кухне и голос Сонечки Варенцовой:

— ...Поразительно, до чего она ломается... Противно даже смотреть... Тронуть, видите ли, ее нельзя, такая разборчивая... При заполнении анкеты прописала вот такими буквами: «девица»... (Смех, шипение примусов.) А все говорят: просто ее возили при эскадроне... Понимаете? Жила чуть не со всем эскадроном...

Голос Марьи Афанасьевны, портнихи:

— Безусловный люис... По морде видно.

Голос Розы Абрамовны:

— А выглядывает — что тебе баронесса Ротшильд.

Басок Петра Семеновича Морша:

— Будьте с ней посторожнее, гадюку эту я давно раскусил... Она карьеру сделает — глазом не моргните...

Возмущенный голос Сонечки Варенцовой:

— Вы уж, знаете, и брякнете всегда, Петр Семенович... Успокойтесь,— не с такими данными делают карьеру...

Ольга Вячеславовна вошла на кухню, все замолкли. Взор ее остановился на Сонечке Варенцовой, и проступившие морщинки у рта изобразили такую высшую меру брезгливости, что женщины заклокотали. Но крика никакого не вышло на этот раз.

После случая с Педотти, возненавидевшим ее со всей силой высеченного мужского самолюбия, вокруг Зотовой образовалась молчаливая враждебность женщин, насмешливое отношение мужчин. Ссориться с ней опасались. Но она

затылком чувствовала провожающие недобрые взгляды. За ней укреплялись клички: «гадюка», «клея́ная» и «эскадронная шкура», — она расслышивала их в шепотке, читала на промокашке. И — всего страннее, что весь этот вздор она воспринимала болезненно... Будто бы можно было закричать им всем: «Я же не такая...»

Недаром когда-то Дмитрий Васильевич назвал ее цыганочкой... С темной тоской она начинала замечать, что в ней снова, но уже со зрелой силой, просыпаются желания... Ее девственность негодовала... Но — что было делать? Мыться с ног до головы под краном ледяной водой? Слишком больно обожглась, страшно бросаться в огонь еще раз... Это было не нужно, это было ужасно...

Ольга Вячеславовна всего минуту глядела на этого человека, и все существо ее сказала: он... Это было необъяснимо и катастрофично, как столкновение с автобусом, выгнатым из-за угла...

Человек в парусиновой толстовке, рослый и, видимо, начинающий полнеть, стоял на лестничной площадке и читал стенгазету. Мимо, из двери в дверь, вниз и вверх по лестнице, бегали служащие. Пахло пылью и табаком. Все было обычно. Человек с ленивой улыбкой рассматривал в центре стенгазеты карикатуру на хозяйственного директора Махорочного треста (помещавшегося этажом выше). Так как Ольга Вячеславовна тоже задержалась у газеты, он обернулся к ней и, указывая на карикатуру (кисть руки его была тяжелая, большая, красивая):

— Вы, кажется, в редакции, товарищ Зотова? (Голос его был сильный и низкий.) Изображайте меня в хвост и в гриву, я не против... Но это же никому не нужно, это — мелочь, это не талантливо!

На карикатуре его изобразили со стаканом чая между двумя трещащими телефонами. Острота заключалась в том, что он в служебные часы любит попивать чай в ущерб деятельности...

— Больно укусить побоялись, а твякнули — по-лакейски... Ну что же, что чай... В девятнадцатом году я спирт пил с кокаином, чтобы не спать...

Ольга Вячеславовна взглянула ему в глаза: серые, холодноватые, цвета усталой стали, они чем-то напоминали те, любимые, навек погасшие... Чисто выбритое лицо — правильное, крупное, с ленивой и умной усмешкой... Она вспомнила: в девятнадцатом году он был в Сибири продовольственным диктатором, снабжал армию, на десятки тысяч верст его имя наводило ужас... Такие люди ей представлялись — несущие голову в облаках... Он тасовал события и жизни, как колоду карт... И вот — с портфелем, с усталой улыбкой, и — мимо бежит порожденная им жизнь, толкая его локтями...

— Так все мельчить неумело, — опять сказал он, — можно всю революцию свести к дешевеньким карикатуркам... Значит, старики сделали дело и — на свалку... Жалованье

получили, теперь пойдем пиво пить... Молодежь-то хороша, да вот от прошлого отрываться опасно... Сегодняшним днем только эфемериды живут, однодневки... Так-то...

Он ушел. Ольга Вячеславовна глядела ему на сильный затылок, на широкую спину, медленно поднимающуюся по каменным ступеням в помещение Махорочного треста, и ей казалось, что он делает большое усилие, чтобы не согнуться под тяжестью дней... Ей пронзительно стало его жалко... А, как известно, жалость...

При первом случае, с бумажкой от месткома, Ольга Вячеславовна поднялась в мрачные комнаты Махорочного треста и вошла в кабинет хозяйственного директора. Он мешал ложечкой в стакане с чаем, на портфеле его лежала удобная плюшка. У окна шибко стучала пишбарышня. Ольга Вячеславовна так волновалась, что не обратила на нее внимания, видела только его стальные глаза. Он прочел поданную ею бумажку, подписал. Она продолжала стоять. Он сказал:

— Все, товарищ... Идите.

Это было действительно все... Когда Ольга Вячеславовна затворяла за собой дверь, показалось, что пишбарышня хихикнула. Теперь оставалось только сходить с ума... Ведь гирькой второй раз уже не стукнут, не расстреляют в подвале, он не вынесет ее на руках, не сядет у койки, не пообещает сапожки с убитого гимназиста...

Эту ночь провела так, что лучше не вспоминать. Наутро жильцы разглядывали ее комнату в замочную скважину, и тогда-то именно Петр Семенович Морш предложил дунуть из трубочки граммов десять иодоформу: «Бесится наша гадюка-то», — сказали на кухне. Сонечка Варенцова загадочно усмехнулась, в голубеньких глазках ее дремало спокойствие непоколебимой уверенности.

Преодолеть застенчивость труднее, чем страх смерти; но недаром Ольга Вячеславовна прошла боевую школу: надо — стало быть, надо. Ожидать случая, счастья, действовать по мелочам, — где мелькнуть телесными чулочками, где поспешно выдернуть голое плечико из платья, — было не по ней. Решила: прямо пойти и все сказать ему: пусть что хочет, то и делает с ней... А так — жизни нет...

Несколько раз она сбегала вслед за ним по лестнице, чтобы здесь же, на улице, схватить его за рукав: «Я люблю вас, я погибаю...» Но каждый раз он садился в автомобиль, не замечая Зотовой среди других служащих... В эти как раз дни она запустила в Журавлева горящим примусом. Коммунальная квартира насыщалась грозovým электричеством. Сонечка Варенцова нервничала и уходила из кухни, заслышав шаги Зотовой... Шутник Владимир Львович Понизовский проник при помощи подобранного ключа в комнату Зотовой и положил ей под матрац платяную щетку, но она так и проспала ночь, ничего не заметив.

Наконец он пошел пешком со службы (автомобиль был в ремонте). Ольга Вячеславовна догнала его, резко и прубовато



окажнула,—во рту, в горле пересохло. Пошла рядом, не могла поднять глаз, ступала неуклюже, топорщила локти. Секунда разлилась в вечность, ей было и жарко, и зябко, и нежно, и злобно. А он шел равнодушный, без улыбки,—строгий...

— Дело в том...

— Дело в том,—сейчас же перебил он с брезгливостью,—мне про вас говорят со всех сторон... Удивляюсь, да, да... Вы преследуете меня... Намеренье ваше понятно,—пожалуйста, не агитируйте, объяснений мне не нужно... Вы только забыли, что я не эппман, слюней при виде каждого смазливового личика не распускаю... Вы показали себя на общественной работе с хорошей стороны. Мой совет—выкиньте из головы мечты о шелковых чулочках, пудрах и прочее... Из вас может выйти хороший товарищ...

Не простившись, он перешел улицу, где на тротуаре около кондитерской его взяла под руку Сонечка Варенцова. Пожимая плечами, возмущаясь, она начала что-то ему говорить...

Он продолжал брезгливо морщиться, высвободил свою руку и шел, опустив тяжелую голову. Облако бензиновой гари от автобуса скрыло их от Ольги Вячеславовны.

Итак, героиней оказалась Сонечка Варенцова. Это она подробно информировала хозяйственного директора Махорочного треста о прошлой и настоящей жизни эскадронной шкуры Зотовой, Сонечка торжествовала, но трусила ужасно...

В воскресное утро, уже описанное нами выше, когда скрипнула дверь Ольги Вячеславовны, Сонечка бросилась к себе и громко заплакала, потому что ей стало невыносимо обидно жить в постоянном страхе. Вымывшись, Ольга Вячеславовна произнесла неизвестно к чему: «Ах, это—чорт знает что» дважды: на кухне и возвращаясь к себе в комнату, после чего она ушла со двора.

На кухне опять собрались жильцы: Петр Семенович в воскресных брюках и в новом картузике с белым верхом. Владимир Львович—небритый и веселый с перепоею, Роза Абрамовна варила варенье из мирабелы, Марья Афанасьевна гладила блузку. Болтали и остряли. Появилась Сонечка Варенцова с залушими глазками.

— Я больше не могу,—сказала она еще в дверях,—это должно кончиться наконец... Она меня обольет купоросом...

Владимир Львович Понизовский предложил сейчас же настричь щетины от платяной щетки и каждый день сыпать в кровать гадюке,—не выдержит, сама съедет. Петр Семенович Морш предложил химическую оборону—сероводородом или опять тот же иодоформ. Все это были мужские фантазии. Одна Мария Афанасьевна сказала дело:

— Хотя вы и на редкость скрытная, Лялечка, но признайтесь: с директором у вас оформлена связь?

— Да,—ответила Лялечка,—третьего дня мы были в загсе... Я даже настаивала на церковном, но это пока еще невозможно...

— Поживем — увидим, — блеснув лысиной, проскрипел Петр Семенович.

— Так этой гадине ползучей, — Марья Афанасьевна потрясла утюгом, — этой маркитантке вы в морду швырните загосово удостоверение...

— Ой, нет... Ни за что на свете... Я так боюсь, такие тяжёлые предчувствия...

— Мы будем стоять за дверью... Можете ничего не бояться...

Владимир Львович, радостный с перепою, заблеял бабраником:

— Станем за дверью, вооруженные орудиями кухонного производства.

Лялечку уговорили.

Ольга Вячеславовна вернулась в восемь часов вечера, сутулая от усталости, с землистым лицом. Заперлась у себя, села на кровать, уронив руки в колени... Одна, одна в дикой, враждебной жизни, одинока, как в минуту смерти, не нужна никому... Со вчерашнего дня ею все сильнее овладевала странная рассеянность. Так сейчас она увидела в руках у себя велодок — и не вспомнила, когда сняла его со стены. Сидела, думала, глядя на стальную смертельную игрушку...

В дверь постучали. Ольга Вячеславовна сильно вздрогнула. Постучали сильнее. Она встала, распахнула дверь. За ней в темноту коридора, толкаясь, шарахнулись жильцы, — кажется, в руках у них были щетки, кочерги... В комнату вошла Варенцова, бледная, с поджатыми губами... Сразу же заговорила срывающимся на визг голосом:

— Это совершенное бесстыдство — лезть к человеку, который женат... Вот удостоверение из загса... Все знают, что вы — с венерическими болезнями... И вы с ними намерены делать карьеру... Да еще через моего законного мужа... Вы — сволочь!.. Вот удостоверение...

Ольга Вячеславовна глядела, как слепая, на визжавшую Сонечку... И вот волна знакомой дикой ненависти подкатила, стиснула горло, все мускулы напряглись как сталь... Из горла вырвался вопль... Ольга Вячеславовна выстрелила и — продолжала стрелять в это белое, заматавшееся перед ней лицо...

15 июля 1928 года.

---

## РАССКАЗЫ ИВАНА СУДАРЕВА

### НОЧЬЮ В СЕНЯХ НА СЕНЕ

**Р**усский человек любит высказаться, — причину этого объяснить не берусь. Иной шуршит, шуршит сеном у тебя под боком, вздыхает, как по маме родной, не дает тебе завести глаз, да и пошел мягким голосом колобродить про свое отношение к жизни и смерти, пока ты окончательно не заснешь. А бывают и такие, — за веселым разговором вдруг уставится на ярмку да еще кашляет, будто у него душа к горлу подступила, и ни к селу, ни к городу начинает освобождать себя от мыслей...

А мыслей за эту войну накопилось больше, чем полагается человеку для естественного существования. То, что наши деды и отцы не додумали, приходится додумывать нам в самый короткий срок, иной раз — между двумя фугасками... И делать немедленный вывод при помощи оружия... Непонятно говорю?

Дед мой был крепостным у графа Воронцова. Отец крестьянствовал ни шатко, ни валко, жил беспечно, как трава растет, что добудет — прогуляет, зазовет гостей и — ему ничего не жалко, к Рождеству все подчистит: ни солонинки на погребнице, ни курей, ни уток. А он — знай — смеется: «Веселому и могила — пухом, чай, живем один раз...» Ох, любил я папашку!.. Советская власть потребовала от него серьезного отношения к жизни, — папашка мой обиделся, не захотел идти в колхоз, продал он корову, заколотил избу и вместе с мамехой моей уехал на Дальний Восток... А мне, его сыну, уже пришлось решать государственную задачу, и решать — не кое-как, а так, чтобы немец меня испугался, чтобы немцу скучно стало на нашей русской земле... Он стоек в бою, я — стойче его, его сломаю, а не он меня... Он, как бык, прет за пищей. Ему разрешено детей убивать. Он похабник. Я же руку намну, погуляв клинком по немецким шеем, как было в феврале, и этой же рукой пишу стихи...

Давеча вы правильно заметили, что я пишу стихи. Печатался во фронтовой газете... «У тебя, Сударев, — это личные слова редактора, — тематическое и боевое крестко выходит, а лирику надо бросить...» А и верно — ну ее в болото. Завел я тетрадь для таких стихов, но в походе пропала вместе с конем Беллерофонтом, — такой у меня был конь... До сих

пор жалко этого коня... В марте ранило меня в обе ноги без повреждения кости, думаю — лягу в госпиталь, кто напоит, накормит коня? Доказал врачу, что могу остаться при эскадроне, и в самом деле легко поправился... А он, Беллерофонт, понимает — животное — чего мне стоит в лютый мороз в одних подштанниках проковылять с ведром от колодца к конюшне, — в лицо мне дышал и губой трогал... Стихов не записываю, лирику ношу в груди.

Не так давно видел в одном частном доме картину, — средней величины, да и ничего в ней не было особенного, кроме одного: представляете — лесок, речонка, самая, что ни на есть, тихая, русская, и по берегу бежит тропинка в березовую рощу. Взглянул я и все понял, — ах, сколько жил, и не мог словами выразить этого!.. А художник написал тропинку, и я чувствую — на ней следочки, тянет она меня, умру я за нее, это — моя родина... Опять непонятно говорю?

Представляете: в деревне, на завалинке, сидит старушка, худая, древняя, лицо подернуто могильной землей, одни глаза живые. Я сел рядом. День апрельский, солнышко, а еще — снег кое-где и ручьи...

— Ну, бабушка, — спрашиваю, — кто же победит?

— Наши, красные победят, русские.

— Ай да патриотка, — говорю. — Почему же ты все-таки так уверенно думаешь?

Долго бабушка не отвечала, руки положила на колюшку, глаза, как черная ночь, уставила перед собой. Я уж уходить собрался.

— Давеча петухи шибко дрались, — ответила, — чужой-то нашего оседлал и долбит и долбит, крыльями бьет, да слез с него, да закукуречит... А наш-то вскочил и давай опять биться, давай того трепать и загнал его — куда, и хозяйка не найдёт.

Эта бабушка — была молодой — бегала по тропинке над речкой, березу заламывала, шум лесной слушала... Теперь сидит на завалинке, путь ее кончен, впереди, — земля разрытая, но хочет она, чтобы ее вечный покой был в родной земле.

Вам, вижу, спать тоже не хочется. Как только зенитки кончат стрелять, мы заснем. А пока расскажу несколько правдивых историй. Пришлось видеть немало, — из каких только речек мой конь воду не пил и по эту и по ту сторону фронта... Подойдут рассказы — печатайте, сам-то я за славой не гонюсь...

## I

### КАК ЭТО НАЧАЛОСЬ

Березовое полено кололось, как стеклянное под ударом топора. Хорош был январский денек, — спокойный дым над занесенной снегом крышей подымался и таял в небе, таком бирюзовом, с нежным отливом по краю, что казалось, невозможно, будто в небе такой холод; невысокое солнце глядело во все око на разукрашенную в иней плакучую березу.

Только вот человек здесь мучил человека. А хорошо бы вот так — тюкать и тюкать колуном по немецким головам, чтобы кололись они, как стеклянные... Василий Васильевич заиндевелой варежкой вытер нос, опустил топор и оглянулся. Со стороны села по дороге, бледно синевшей сонным следом, шел в ушастой шапке низенький паренек, — вернись — катился, расстегнув полушубок, размахивая в помощь себе руками.

Увязнув в снегу по пояс, он перевалился через плетень во двор, не здороваясь, сдернул шапку, — от стриженной головы его поднялся пар, — достал из шапки синеватый листочек.

— С самолета сбросили! — сказал, схватил топор и с выдохом начал тюкать по сучковатому полесу, чтобы избавить себя от переизбытка возбуждения.

Этого паренька звали Андрей Юденков. Весной он окончил в Ельне среднюю школу, где директорствовал Василий Васильевич, и начал готовиться к университетским экзаменам, но был призван в армию и в заочастных боях под Вязмой попал в плен. В то время еще живы были устаревшие понятия о том, как надо воевать: если окружен — значит, проиграл, клади оружие. Тогда еще не был доподлинно известен немецкий характер: с виду каменный, но истерический и хрупкий, если ударить по немцу с достаточной решимостью. Но — за науку платят. Поплатился и Андрей Юденков. Вместе с другими военнопленными его загнали на болото, обнесенное проволокой, где все они простояли по колено в жидкой грязи четверо суток под дождем, без еды. Некоторые не выстояли, — повалились, утонули. На пятый день обессиленных людей погнали на запад. В пути тоже многие ложились, и тогда слышались выстрелы, на которые никто не оборачивался.

Когда проходили деревней, отовсюду — из-за плетня, или в приоткрытую калитку, или в пузырчатое окошечко глядели на унылую толпу военнопленных милосердные глаза русских женщин и протягивалась рука с хлебом, с куском пирога, а иная женщина, пропустив угрюмого конвоира с автоматом на шее, из-под платка доставала глиняный горшок: «Родные мои, молочка съешьте...»

Тут эти люди, кто по неразумию своему малодушно положили оружие, узнали стыд, и кусок им мешала проглотить злоба. Тут многие, кто покрепче, начали бежать, выбирая время в сумерках, куда конвоиры не загнали людей в сарай. Так и Андрей Юденков, отстав, будто по нужде, кинулся за спиной конвоира в мелкий сльник и долго полз под выстрелами. Стороною от большака он добрался до села Старая Буда. Так же, как и другие бежавшие, он постучался в незнакомую избу и сказал: «Возьмите в зятья...» По немецкому закону за укрывательство военнопленного полагается повешение. Из избы вышел хромой человек с седой щетиной на заячьей губе: «Нет, боимся, — ответил тихо, — проходи, милый». В другую избу его впустили. Пожилая женщина, мывшая в корыте лысого ребенка, подумав, ответила: «Ну, что ж,

овка у нас есть, ребенок есть — старшей дочери... Прогнала у меня доченька-то, немцы угнали в публичный дом... Оставайся, работай в семье».

Таких, как Андрей, зятьков на селе было несколько человек. Они жили в семьях, и с ними делили скудный кусок хлеба из-за одного лишь великого русского милосердия. Присланный немцами, не здешний староста Носков, жестокий, но трусливый, не особенно допытывался — подлинны ли это зятья; он глядел лишь за тем, чтобы сдано было оружие, да отбирал именем германского командования теплые вещи, поросят и птицу, что еще не успели взять немецкие команды.

Андрей, осмотревшись, начал с этими людьми заговаривать. Все они люто были злы на немцев, но все считали, что наше дело безнадежно проиграно: Москва давно отдала, — об этом сообщали населению бургомистры и старосты, — остатки Красной Армии погибают где-то на Урале...

Андрей с досадой поднял вместе с завязшим топором суковатое полено, грохнул его, расколол.

Разгоревшимися глазами Василий Васильевич читал строки синенького листка, — в нем сообщалось, что миллионная фашистская армия разгромлена по всему московскому фронту, отступает, бросая танки, артиллерийские парки, машины, и бесчисленными трупами своими устилает дороги и лесные дебри... Это было как неожиданное помилование после смертного приговора... Он пошел с Андреем в избу, мимоходом, около печки, взял за плечи, повернул к себе низенькую, полную, седую стриженую женщину — свою кормилицу, у которой жил на хуторе под видом племянника, крикнул ей в задрожавшее лицо:

— Капитолина Ивановна, оставьте уныние, заводите блины... Есть колоссальные новости... Жив русский бог! — Прошел за перегородку и у стола вслух прочел еще раз синенький листок... Хлопнул по нему ладонью, захохотал: — А кто в Россию не верил? А! Кто Россию хоронить собрался? Поднялась, матушка!..

Андрей тут же рассказал, как давеча услышал гул самолета, выскочил на двор: батюшки — наш! А он уже пролетел и за ним, как голуби, листочки падают...

— Я за ними бежать по тузу в снегу, аж пар от меня... Василий Васильевич, это все в корне меняет сущность дела...

— Разумеется, меняет все в корне! — закричал директор школы, сбегал куда-то и положил на стол парабеллум, жирный от масла, и мешочек с патронами. — Сколько я ночей не спал, ждал этого листочка... Все обдумано! Начнем мстить, Андрей...

— Вдвоем-то, с одним пистолетом, а их — две роты, Василий Васильевич...

— С чего-нибудь начинать надо. Первый человек тоже — догадался взять острый камень в руку, а во что развернулось!

— Тогда автоматов не было, Василий Васильевич, каменные топоры да личная храбрость...

— Ага! Личная храбрость!—он поставил тощий палец перед носом Андрея... Никто никогда таким еще не видел директора школы: небольшие глаза его сверлили, как буравы, худощавое книжное лицо, с козлиной бородкой, разгорелось, оскалилось не то от дикого смеха, не то готовясь укусить.—Мы держим экзамен, великое историческое испытание,—говорил он так, будто перед его пальцем сидела тысяча Андреев.—Пропадет ли Россия под немцем или пропасть немцу?.. На древних погостах деды наши поднимались из гробов—слушать, что мы ответим. Нам решать!.. Святые русские, взорванные немцами, размахивают колокольными языками... Набат! Пушкина любишь? Звезда эта горит в твоём сердце? Культуру нашу, честную, мужицкую, мудрую, несешь в себе? Все мы виноваты, что мало ее холили, мало ее берегли... Русский человек расточителен... Ничего.. Россия—велика, тяжела, вынослива... А знаешь ли ты—какая в русской тишине таится добродетель? Какое милосердие под ситцевым платочком! Какое самоотвержение!

Василий Васильевич выговорил все это, и глаза его помягчали. Зато у Андрея серые, широко расставленные глаза стали холодными и злыми и осунулось молодое лицо с зазорным носом. Василий Васильевич сказал:

— Теперь—конкретно,—начинать надо вот с чего: сегодня ночью идем в Старую Буду.

Луна в бледном радужном круге высоко стояла над белыми снегами с пустыми—кое-где—теньями от корявой сосны, от печной трубы, одиноко торчавшей из занесенного пожараща. Василий Васильевич едва поспевал за Андреем, бойко скрипевшим валенками по стеклянной колее. Андрей поднимал руку и остановился,—впереди тихо, скучно выла собака. Тогда они свернули по цельному снегу и, тяжело дыша, вышли в село со стороны гумна и стали в тени сарая. Черные окошечки в избах корявились от лунного света. Вдалеке чихал и выстреливал прузовик, доносились отрывистые, не наши голоса.

— Фрицы консервы и водку привезли, подождем,—сказал Андрей.

Когда на улице успокоилось, Андрей перемахнул через забор.

— Давайте за мной смелее,—и за руку перетаскивал во двор Василия Васильевича, путавшегося в шубе.

Они постучались на крылечке. Андрей крикнул:

— Староста, к тебе господа офицеры.

И, когда в сенях заскрипели морозными досками, Василий Васильевич сказал по-немецки:

— Выходите, вы мне нужны.

— Сейчас, сейчас, господа, минуточку,—торопливо зашептали из сеней, отодвигая задвижку. Дверь приоткрылась, и в лунный свет из черной щели потянулось умильное, с острым носом, рябоватое лицо.

Андрей кинулся на дверь, ввалился в сени, и там началась возня. Василий Васильевич не сразу мог разобраться в обстановке,—у его ног сопели, хрипели, катались... Все

же различил, что наверху сидит староста, двинув лопатками, и он револьвером ударил по затылку этого умильного человека...

— О-о-о-х,—протянул староста,—о-о-о-х, сволочи...

В жарко натопленной комнате, едва освещенной повернутой лампой, окошки были закрыты ставнями, над клеенчатым диваном, с которого несколько минут тому назад соскочил староста, откинув бараний тулуп и уронив на пол грязную ситцевую подушку, была приколотая открытка—Гитлер в морской форме. На голом столе рядом с пузырьком чернил и раскрытой конторской книгой лежал новенький автомат,—то, за чем они сюда пришли.

— Теперь ты согласен, что мы уже не плохо вооружены?—спросил Василий Васильевич с усмешкой, сдвинувшей набор его бородку.—Бери автомат, я возьму книгу, идем к Леньке Власову.

Старосту из предосторожности они отнесли из сеней в сарай и бросили за дрова. Над тихим селом стоял месяц в морозных радугах, но не волшебные сказки рассказывал он спящим людям,—лучше бы ему взойти красным, как кровь из замученного сердца, раскаленным, как ненависть...

— Чего вы все голову задираете, воздух спокойный,—сказал Андрей.—Лезьте за мной, собак на дворе нет...

Ленька Власов, с хмурым лицом, с сильной шеей, вышел к ним на мороз босиком, в одной неподпоясанной рубашке. Разглядывая трофейный автомат, поджимая ноги, выслушал краткое сообщение о сброшенной листовке, о необходимости немедленных партизанских действий. Когда у него застучали зубы, сказал:

— Идемте в избу. Это дела серьезные. Надо за ребятами послать...

В темной избе, где пахло бедностью, говорили шопотом, замолкая, когда за перегородкой ворочались женщины. В неясном свете, пробивавшемся сквозь морозное окошечко, видно было, как одна из них вышла, надевая в рукава полушубок; Ленька шепнул ей что-то, она, подойдя к печке, позвала юным голосом: «Ваня, подай мне валенки мои», стоя, всунула в них ноги и торопливо ушла со двора. Василий Васильевич принялся было развивать те же идеи, что давеча перед Андреем, но Ленька перебил сурово:

— Сейчас агитация возможна только боем. Удастся нам хоть один гарнизон уничтожить—поднимется десять сел. Оружие нужно.—И он позвал: — Ваня, оденься, слезь к нам.

С печки соскользнул мальчик и стал близко к взрослому, подняв к ним большие глаза. Когда Василий Васильевич положил руку на его теплую мягковолосую голову, он отстранился,—дескать, не время ласкам.

— Нам нужно оружие,—сказал ему Ленька...

— Понятно.

— Имеется поблизости брошенное оружие? Вы, мальчишки, должны все знать.

— Имеется. Есть один мальчишка, Аркадий, тот больше моего знает, вам он скажет. Противотанковая пушка вам



нужна? Есть две пушки—утоплены в речке. Снаряды знаем где. В лесу, в яме, одиннадцать пулеметов закопано. А еще в одном месте—ручные гранаты и мины. Все покажем. Чего,—вы собрались немцев бить?

— Ну, это не твое дело.

— Как это—не мое дело?—мужичьим голосом сказал мальчик и подтянул штаны.—Меня можно пытать, от меня ничего не добьешься.

Василий Васильевич присел, чтобы лучше рассмотреть его лицо,—оно было и детское, круглое, с пухлыми губами, и не по-детски серьезное. В избу один за другим явились пять человек фронтовиков и—последняя—девушка, которая за ними бегала. Разматывая платок, она ушла за перегородку. Василий Васильевич у самого окошечка опять прочел листовку. Андрей, подняв ребром ладонь, сказал, что это призыв к борьбе. Один из фронтовиков ответил:

— Вот, значит, как дела оборачиваются. Ну, что ж, отольем немцу наши слезки... Пойдемте искать оружие...

Так в эту ночь под носом у немцев произошла мобилизация партизанского отряда в восемь человек, не считая двух мальчиков-разведчиков. Ваня и тот, другой,—Аркадий, всезнающий, повели партизан, вооруженных лопатами, в темный лес и, не сбившись, показали, где нужно копать. Из ямы—из-под снега и валежника—вытащили пулеметы, из них четыре были вполне готовые к бою. Неподалику в другой яме откопали ящик с гранатами и штук двадцать мин. Мальчики уговаривали вытащить из речки из-под льда также обе противотанковые пушки и вызывались даже сами нырять в воду:

— Вы, дяденьки, только сбегайте за пешней, расколите лед, мы студеной воды не боимся.

Но пушки отложили до другого раза. Оружие еще досветла перенесли на хутор к Василию Васильевичу. Жалко, не было только винтовок.

Наутро он опять колол дрова, напевая в бородку: «Ах, ты, зимушка-зима, холодна больно была, все дорожки замела...» По чистому полю прибежал на лыжах Ваня. Днем он не казался таким маленьким,—журносый и не важный, как давеча ночью.

— Немцы всполошились, нашли за дровами старосту Носкова. Сейчас ходят по дворам, обыскивают, быют... Крик стоит. На Федюнином дворе грудного как головой о косяк грохнут... Все наши ребята ушли в лес... А этот мальчишка, который с нами был,—не знаю, врет, не знаю, нет—понимаю по-немецки немного. Он слышал—они этой ночью ждут грузовиков... Сказывай—чего тебе еще узнать нужно?

— Поди к Капитолине Ивановне, она тебе блинов даст горячих...

Этой ночью километрах в десяти от села Старая Буда колонна немецких грузовиков налетела на мины. Как только головная машина высоко подскочила от резкого огненного удара, из хвостной чащи застучали пулеметы. Немцам некуда было ни сворачивать, ни уходить: с обеих сторон

дороги поднималась снежная стена. Их было (как потом подсчитали) двадцать семь душ; они замесались около грузовиков, дико вскрикивая, без толку стреляя и падая. Из черной тени на лунную дорогу выбежал человек в черной шубе и другой — низенький, с автоматом. «Ура!» — закричал человек, подняв руки. Тогда со снежных обочин посыпались партизаны, бросая кувыркающиеся в воздухе гранаты.

В несколько минут все было кончено. В шести захваченных грузовиках, не считая переднего — сгоревшего, оказались винтовки, огнеприпасы, продовольствие и эрзац-одеяла. Все, что было нужно, партизаны взяли, остальное сожгли в машинах.

Наутро Василий Васильевич опять колол дрова. Мимо пустынного хуторка в этот день прошло немало народу. Каждый, завидев директора школы, кашлянув или другим способом обнаружив свое намерение, осторожно — околицей — сворачивал к его избенке. Через неделю в партизанском отряде, под командованием Василия Васильевича Козубского, находилось свыше двухсот человек и две пушки. Тогда было приступлено к основной операции — уничтожению в селе Старая Буда немецкого гарнизона.

## II

### СЕМЕРО ЧУМАЗЫХ

На помощь партизанам прорвалась через фронт крупная кавалерийская часть. Самый прорыв был не сложен, — немцев обманули демонстрацией в одном месте, а главные силы перешли через шоссе в другом. Но поход в сорокаградусную стужу по лесным чащобам был небывало тяжел. Лошади вязли в снегу по брюхо; спешенным кавалеристам приходилось утаптывать ногами снег и подскатать деревья, чтобы протаскивать сани и пушки; люди, замученные дневным переходом, ночевали в снегу, не зажигая костров.

На седьмой день похода стало ясно, что людям нужно погреться. Для отдыха определили пять деревень, раскинутых по берегам речонки близко одна от другой. В деревнях стояли немцы. Генерал приказал занять их без шума, так, чтобы факельщики не успели поджечь домов, и так, к тому же, чтобы ни один немец не ушел оттуда.

В ночь деревни были обойдены, на дорогах выставлены засады. Под завывание бесноватшейся вьюги, — будто все лучшие из области собрались сюда помогать русским, — спешенные эскадроны вместе с вихрями снега порвались в спящие деревни. Пять — одна за другой — зеленых ракет, пронизавших летящие снеговые тучи, оповестили, что приказ выполнен.

Генерал слез с коня около покосившегося, с кружевной резьбой, крылечка, озаренного со стороны улицы догорающими строениями: у крыльца уткнулся немец, будто рассматривая что-то под землей, болотную шинель его уже заносило снегом. Генерал вошел в избу и потопал смерзшимися сапогами; женщина в темном платке, с бледным, измятым лицом, бессмысленно глядела на него, тихо причитывая...

— А ну-ка—самоварчик,—сказал он, сбросил бурку на лавку, стащила меховую бскешу и сел под божницу, потирая опухшие от мороза руки. — А хорошо бы и баньку истопить...

Женщина молко закивала и, уйдя за перегородку, кажется, зажала себе рот, чтобы громко не закричать.

С мороза в избу входили командиры, все довольные, бойко вытягивались, весело отвечали. Генерал нет-нет да и прикладывал ладони к пылавшим щекам, с отросшей щетиной,—ему казалось, что лицо от тепла расширяется, как баллон. А генерал следил за своей внешностью. «Вот чорт, придется выпастысь разок за семь дней...»

Самовар внес высокий паренек — лицо его было в лиловых глянцевирых рубцах, карие глаза мятко посмеивались, когда, сдунув пепел, он поставил самовар и начал наливать в чайник.

— Это мать, что ли, ваша? Чего она как дурно вост?

— Все еще опомниться не может,—бойко ответил паренек.—Немцы уж очень нервные,—у нее крик-то ихний в ушах стоит.

— Немцы ли нервные, русские ли нервные,—без усмешки сказал генерал, обжигая пальцы о стакан.—А много ли в деревне вас — беглых военнопленных?

Пятнистый паренек опустил голову, спустил руки, сдерживаясь, незаметно вздохнул:

— Мы не виноваты, товарищ генерал-майор. Очутились мы позади немцев—между первым их и вторым эшелонам, как раз одиннадцатого сентября... Ну вот, и рассеялись...

— Инициативы индивидуальной у вас, бойцов, не нашлось—пробиваться с оружием?.. Стыдно! (У паренька затряслась рука, прижатая к бедру.) Ну, иди, толи баню, утром поговорим.

Утром генерал, помывшийся в баньке, выпавшийся, выбритый и опять красивый, вышел на крыльцо. С тепла дыхание перехватывало морозом. У крыльца, где сквозь чистый снег проступали алые пятна и немцы уже были убраны, стоял давешний пятнистый паренек и с ним шесть человек — на вид всем по восемнадцати, девятнадцати лет. Они сейчас же вытянулись.

— Ага, воинство!—сказал генерал, подходя к ним.—Беглые военнопленные? Ну что, ответственности испугались? Красная Армия, значит, но на Урале. Красная Армия сама к вам пришла.. Так как же вы расцениваете ваш поступок,—сложили оружие перед врагом! Согласны ему воду возить, капонеры чистить?

И он принялся их ругать обидными выражениями. Пареньки молчали, лишь у одного глаза затуманились слезой, у другого между бровей легла упрямая морщина. Одеты все были худо, плохо — в старые бараньи полушубки, в короткие куртки, на одном — ватная женская кацавейка.

— Красноармейскую шинель променяли на бабий салоп! Честь на стыд променяли! Кому вы такие нужны!—крепким голосом рассуждал генерал, похаживая по фронту.—Немца

бить — не кур щупать... Определите сами свою судьбу. Кто из вас может ответить простосердечно?

Отвятил крепенький паренек с водянисто-голубыми глазами, с упрямой морщиной над коротким носом:

— Мы вполне сознаем свою вину, ни на кого ее не сваливаем. Мы обрадовались вашему приходу, мы просим разрешить нам кровью расплатиться с фашистами... — Он кивнул на губастого паренька, с изумленной и счастливой улыбкой глядевшего на генерала. — Его, Константина Костина, сестра, Мавруня, найдена нами в лесу, повешенная за ногу, с изрезанным животом... Ее мы хорошо знали, у нас сердце по ней сохло... Так что воду возить фашистам мы не согласны...

Константин Костин сказал:

— Товарищ генерал-майор, в вашей группе танков нет. Мы знаем, где брошенные танки, мы можем их откопать и отремонтировать, — это наше предложение... Мы танкисты.

— Ты что скажешь? — спросил генерал у пятнистого.

— Танки есть. Неподалеку в болоте сидит «КВ» и два средних. И еще знаем, где танки. Немцы пытались их вытащить, целыми деревнями народ стояли, да бросили. А мы знаем, как их вытащить. Конечно, население снимало с них части, растащило. Ремонт будет тяжелый. Я сам механик-водитель, — видите, — у меня лицо чумазое: горел два раза... но справился.

— Хорошо. Мы этот вопрос обсудим, — сказал генерал. — Подите, хоть в немецкие, что ли, шинелишки оденьтесь, дьяволы.

Отдохнув сутки, кавалерийские полки двинулись в пылающий войною край, где действовало много мелких партизанских отрядов и десантников-парашютистов. Там был «слоенный пирог». Не проходило ночи, чтобы какую-нибудь деревню не окружили партизаны, подобранные по глубоким снегам. Часовой, наставивший выше каски воротник бараньего тулупа, со слабым криком падал под ударом ножа. Партизаны входили в прелые, набитые спящими немцами избы. Тот из немцев, кто умудрялся выскочить из этого ада выстрелов, воплей, ударов на улицу, все равно далеко не уходил, — одного валила пуля, другого пристукивал дед Мороз, променявший сказочную и елочную профессию на вымораживание немцев. Проселки стали непроезжими. По большакам проскакивали лишь грузовые колонны под сильной охраной, и то не всегда. Движение по железной дороге прекратилось, — путь был загроможден подорванными на минах паровозами и вагонами, вставшими дыбом друг на друга. Немцы теряли голову в этой «проклятой русской анархии».

Двигаясь широким фронтом, кавалерийские полки прибывали немецкие гарнизоны и к концу марта месяца помогли партизанам воссоединить под советским флагом несколько районов. Народ повеселел. Повсюду искали оружие, укрепляли деревни, где у околиц стояли на охране девушки с винтовками. Но долгая в этот год зима уже ломалась, на крышах повисли сосульки, прилетели худые грачи и

кружились, тревожно крича, вокруг прошлогодних гнезд. Пошли разговоры о том, что немцы на западной и северной стороне края стягивают крупные силы. Генерал послал разведать,—подлинно ли те семь пареньков-танкистов что-либо разумное сделали за это время.

Семеро танкистов сдержали слово. Дело у них началось с бочки трофейного бензина, про которую они тогда ничего не сказали генералу. Они пригнали в порядок два немецких трактора и отремонтировали один советский, утопленный колхозниками в пруду. Осенью в этих местах немецкие танки окружили «КВ», и он, вместо того чтобы проложить себе путь пушками и гусеницами или погибнуть со славой, кинулся уходить лесом, проломил дорогу в столетних соснах и увяз в болоте по самую башню.

Пешнями и топорами они вырубили кругом танка тоннель в промерзшей земле, в котлован под перед танка подвели бревна,—их тут много валялось под снегом после бесплодных немецких попыток; сняли с него цепи и, прикрепив к трем тракторам, разом выдернули из ямы стонную стальную крепость «КВ». Тогда они сели и покурили—в первый раз за два дня и три ночи. Покуриив, тут же в снегу уснули. Танк они оглоклали в деревню под навес для сушки хлеба, и тогда начались большие хлопоты.

На танке не было карбюратора, все свечи надо менять, поршневые кольца ни к чорту не годились, вся оптика украдена, ствол пушки пробит насквозь противотанковой пулей, и самое отчаянное было то, что не оказалось инструментов, ни одного ключа, и, если бы эту развалину даже отправить на ремонтный завод, там бы провозились с ней до седьмого поту. Танкисты приуныли.

— Наобещали генералу, эх, ребята, подлецами оказываемся,—малодушно сказал губастый Константин Костин.

— А кто же знал!—закричал на него чумазый Федя Иволгин. — Какому чорту сиволапому, например, карбюратор попалобился! Щи на нем варить?

Они сидели вокруг танка под навесом, куда с одного края метель наносила голубоватый, как сахар, сугроб дымящей поземкой.

— Шарик в башне надо менять,—тихо проговорил башенный стрелок, худощавый брюнет, похожий на девушку с усиками,—а дыру в стволе, в пушке, пальцем, что ли, заткнуть?

— Товарищи, кончили психологию? — спросил тот самый—с водянисто-голубыми недобрыми глазами, техник-студент, москвич, Сашка Самохвалов.—А то я начинаю жалеть, что связался с такой сопливой компанией.—Он встал и засунул руки в карманы длинной, ему до пят, германской шинели.—Вот мой приказ—на ремонт этого крокодила три недели сроку. Для этого надо вытащить из болота оба средних танка, на них найдем некоторые части. Не найдем — пойдем по деревням, из избы в избу, отыщем все, чего не хватает: у мужичков все припрятано. Кто со мной не согласен, предлагаю того заклеить изменником родине...

Танкисты помолчали, глядя, как ветер отдувает ему полу немецкой шинели.

— Немного ты перехватил, дружок, — сказал ему чумазый Федя Иволгин, — но, в общем, конечно, правильно.

Все поднялись, взяли топоры, топоры, стали заводить тракторы. Вытащить из болота средние танки оказалось много легче. Их тоже поставили под навес. Трое танкистов — Иволгин, Самохвалов и Костин — занялись разборкой моторов. Четверо пошли на деревню — искать по дворам инструменты и разные части — и действительно у одного мужика, кузнеца, знавшего в колхозе кустарем-одиначкой и лодырем, обнаружили среди ржавых замков и примусовых горелок все три карбюратора.

Он пришел туда же, под навес, где стояли танки. Звали его Гусар; был он жилистый и стройный, несмотря на года, с насмешливым морщинистым лицом, на котором большой доспавшийся нос выдавал пристрастие к выпивке. Ядовито улыбаясь, он слушал, — какие именно инструменты и ключи необходимо достать или немедленно сделать.

— Антиречно, — сказал он, — антиречно, ведь меня уж давно собрались в архив сдать, да, значит, опять пригодился кустарь-одиначка...

На другой день он принес несколько ключей, так отлично сделанных, что танкисты удивились:

— Неужели, Гусар, это ваша работа?

— Антиречно, — сказал он ядовито, — антиречно ваше мнение о русском человеке... Кустарь-одиначка, пропойца... Так... А кто пьян, да умен — два угодя в нем... Нет, товарищи, поторопились вы судить русского человека.

У Гусара работа так и горела в руках. Хитер он был до удивления. На колхозной лошади сгонял на сожженную немцами шаровую мельницу и привез оттуда стальные трессы и чугунные шестерни, — из них смастерили под крышей сарая подъемный кран и трактором вытащили из танка башню. Он бегал на лыжах по окрестным деревням и умудрился достать автогенную горелку и трофейные баллоны с кислородом. Он же подал простую идею: бронбойными снарядами прочистить от заусениц простреленный ствол пушки. Со второго выстрела бронбойным снарядом ствол стал снова гладок; оквзную дыру в нем, в которую выходили газы, забила стальными пробками и на это место навели бандаж из резинового шланга. Пушка была, как только что с завода.

Тем временем танкисты приволокли к сараю еще четыре легких танка. По деревням уже знали об этой работе, и колхозники обшаривали болота в поисках боеприпасов и танков. Не проходило дня, чтобы к сараю не подъезжали сани, — валил пар от клочкастой лошаденки, которой в свое время побрезговали немцы, в санях сидел дед, с сосульками на усах, с древним строгим взглядом круглых глаз под изломанными бровями, и его внученек, — мальчишка — не видно от земли, — звонко спрашивал у чумазых от гари и масла танкистов:

— Эй, дяденьки, куда сложить сорокапятимиллиметровые осколочные?

Когда посланный генерала приехал в эту деревню, под крышей сарая дымили горны, шинел ослепительно голубой автоген, грохотали молотки по стали; один средний и два легких танка стояли, готовые к бою; «КВ», с надетыми гусеницами, дымил и стрелял в выхлопную трубу, но еще не заходилась.

— Передайте генерал-майору, что задержка только за командами, — сказал посланному, лейтенанту с тонкими губами, Сашка Самохвалов, — пускай пришлют смелых водителей, механиков и башенных стрелков. Да пускай торопятся доставать горючее. Оптике у нас нет — все снимали немцы, приходилось стрелять наводкой через дуло, это тоже возьмите на карандаш... А пока вы будете канителиться, мы еще подкинём парочку крокодилов.

Лейтенант молчаливо все записал в блокнот, не выражая ни удивления, ни восторга, пожал руки семерым чумазым, восьмому Гусару и улетел на «огороднике» бредущим полетом.

Тронулись наконец шумные весенние воды и так затопили поля и леса, так буйно вздулись речки и верхом потекли овраги, что и думать нечего было о войне. Колхозники готовились к севу. Девушки с винтовками, скучающие у скопиц, сдвинув брови, глядели на косяки перелетных птиц. Генерал приказал достать побольше книг из местных библиотек, чтобы занять умы и сердца кавалеристов разумным чтением. Но на триста верст в окружности все библиотеки были уничтожены немцами, — удивительно, как у них хватило заботы сжечь столько книг. Нашелся только затрепанный роман Вальтер Скотта «Квентин Дорвард». Генерал проглотил спо в одну ночь, лежа без сапог и гимнастерки на лавке у окна, за которым в беловатом свете падали тяжелые капли и по всей деревне кричали петухи. Затем книжка пошла по взводам и эскадрам для чтения вслух.

Но земля просохла, и немцы, недовольные тем, что недостаточно замучили русских людей, недостаточно сожгли сел и деревень и порезали скога, двинулись в наступление десятками батальонов и сотней танков на разгром «мужичья». Но у «мужичья», не в пример прошлой осени, были теперь хорошо сформированные и вооруженные партизанские полки, и, не в пример осени, всем был известен немецкий характер, от которого можно ждать только смерти русскому человеку.

По всему фронту вспыхнули бои. На помощь партизанам (сюду, где стало тесно, поспевали кавалерийские полки генерала. Это были прославившиеся в декабрьских и январских боях лихие полки — все из украинцев, донских, кубанских, терских и сибирских казаков. Они знали четыре заповеди: не признавать окружения, выходить при любых обстоятельствах из любой создавшейся обстановки, биться до последнего патрона и живым не сдаваться, любить свое оружие и не бросать его даже в смертный час.

День и ночь немецкие самолеты проносились над селениями, едва не задевая колесами соломенные крыши, бомбя и обстреливая все живое, по всем большакам и проселкам грохотали их танки. Задача заключалась в истреблении немцев, в создании такого сопротивления, чтобы русская земля стала для них землей отчаяния.

Во время одного из первых боев двенадцать немецких танков, беспечно и близко один к другому, двигались боляшак. Окружалась большая группа партизан, и танки заходили им в тыл. Справа столетние сосны шумели под свежим майским ветром, слева расстилалась густая ольховая поросль. Оттуда, из этого майского шума листвы, раздался пушечный выстрел, и головной танк, пораженный в борт, остановился и задымил. Второй снаряд разбил гусеницу у другого танка. Немцы захлопнули люки и, стреляя из пулеметов, повернули в поросль, где, как поняли они, скрывается партизанская пушка. Но это оказалось не пушкой. Раздвигая ольховые заросли, как кабан из тростников, вылетел ржавой громадой «КВ». Немцы никак не могли ждать здесь советских танков, да еще такого не пробиваемого никакими снарядами чудовища.

«КВ», переваливаясь, выехал на большак, почти в упор расстрелял трестий танк, внезапно разлетевшийся от взрыва, со всего ходу влез сбоку на четвертый и раздавил его с чудовищным хрустом вместе с немцами. Уцелевшие танки повернули и уползли за поворот дороги. На «КВ» откинулся башенный люк, из машины на дорогу выскочили Сашка Самохвалов, Федя Иволгин и Леша Ракигин, — похожий на девушку с усиками, — чумазые, возбужденные...

— Ну и сукин же кот этот Гусар! — закричал Сашка Самохвалов. — Конечно, мотор барахлит! Давай, ребята, снимай у немцев карбюраторы...

В то же время на крутом берегу речки спешенный эскадрон Ивана Сударева сдерживал немцев на переправе. Были и рвались немецкие мины, перед щелями, где сидели кавалеристы, от сплошной завесы разрывных пуль кипела и дымилась земля, рвалась шрапнель, проносились огромные крылатые тени бомбардировщиков, с грохотом содрогался весь берег, и взметенные столбы, опадая, стучали комьями по шлемам и спинам людей. Немецкая пехота уже начала выбегать из приречных зарослей, солдаты налегке, в одних рубашках, бежали по воде.

Тогда на выручку Ивану Судареву поспели два танка чумазых — средний и легкий. Они повисли на самом обрыве, над рекой. Через несколько минут очень много немецких солдат попало по ее медленному течению, опустив в воду голову и ноги. Иван Сударев поднял из щелей эскадрон, и русские скатились с обрыва на тех немецких пехотинцев, которые успели уже переправиться вплавь и на лодках на эту сторону.

В бою легкий танк погиб, — это была первая потеря самохваловского «танкового батальона». Средний, расстреляв все боеприпасы, ушел в лес за пополнением. Ящики со снаряда-



ми лежали в яме, прикрытые ветвями. Когда Константин Костин и двое чумазных начали вытаскивать ящики и подавать их в танк, безо всякой осторожности крича друг на друга, по всему лесу торопливо застучали немецкие автоматы, пули защелкали по броне. Тогда чумазные, присев в яме на корточки, стали разбивать ящики и передавать снаряды через люк в моторе — четвертому, сидевшему в танке. Автоматчики приближались, — на виду перебегали от дерева к дереву. Трое чумазных, погрузив снаряды, изловчаясь, вскакивали на гусеницу и — в люк; последним кинулся Константин Костин — вниз головой. Люк захлопнули, и танк погнался за автоматчиками. Одного из них, офицера, взяли живым, отвезли в штаб.

Таков был первый бой «семерых чумазных», как их потом прозвали. Генерал вызвал к телефону старшину Самохвалова и лично поблагодарил его и остальных товарищей за стойкость. Чумазные поняли это, как то, что родина их простила.

### III НИНА

Чем здоровее человек, да чем грубее и проще жизнь наша, тем он чувствительнее... Не так ли?... Пустое болтают, будто у Ивана Сударева вовсе нет нервов. Как начнешь мной раз вздыхать, привяжутся жалостливые воспоминания, — уходишь от разговоров, ложишься в траву... Ветер качает травинки, метелки, виден край неба... И сердце стучит в землю: матушка, земля родная, отворись, приласкай дорожного человека...

Вспоминается мне один случай в начале войны. Вам известно, — и рассказывать не стесит, — в каком красивом положении оказались наши пограничные войска, когда он в первый же день разбомбил наши аэродромы. В тылу некоторые и до сих пор говорят, будто части Красной Армии тогда бежали. Нет, не оскорбляйте безвестных могил, в них лежат преданные сыны родины, — жизнью своей они купили возможность нашей победы. Об их груди разбилось безудержное немецкое нахальство. Стволы пулеметов и винтовок накалялись докрасна — так мы дрались, отступая. Он окружал нас бесчисленными танками, автоматчиками, бомбил и забрасывал минами, как хотел. Мы пробивались и пробились; нам было туго, но и немец ужаснулся от своих потерь.

Не спорю, — были среди нас малодушные. Вылежав без памяти бомбежку, отряхивались и глаза отворачивали: «Ну, его взяла...» Эти сдавались. И еще была причина. Нас многому учили, но не все крепко усвоили, что в бою у каждого должна быть инициатива. Мы глядели на командира, — он отвечал за все... А если он убит? Мы — без головы?... Вот что тогда губило многие части... И тогда же стала расти у нас инициатива... Народ смысленый, в драке злой... Гордость наша стонала. Как праздника ждали — добраться до него в рукопашную.

Неман остался позади. Мы потеряли связь с частями. И тут немец навалился со всех сторон. Мы наскоро вырыли окопные щели, сидим в них — бронейбойных пуль у нас, и тех нет. А он клует нас минами со всех сторон, самолеты — волна за волной, земля скрипит от взрывов, пыль, вонючая грязь, в глазах, в ушах забито песком. Иной подлец так низко пронесется, поливая из пулеметов, — белесую рожу его не успеешь разглядеть.

А мы сидим. Заповеди наши помните? Не признаем себя друженными и — все. И ему остается самое нежелательное — идти с нами на рукопашное сближение. И точно, — тишина стихла, ни выстрела, в небе — ни звука. Начинаем слышать, как шумит лес. Высовываемся из щелей, видим — за горизонтом заката, большое солнце в последний раз светит нам из-под тучи.

Берем легко раненных, способных держать винтовку или хотя бы ногами передвигать... Осторожно — перебежками направляемся к лесу. Там — знаем — группа автоматчиков и пулеметы. Ползем вперикурку к траве между кочками, — одна забота — ближе подобраться, — на ура. А ему бы уж время открыться по нас огонь.

Помню, — дрожь меня пробрала: что за чорт! — мы уже в полутора шагах, он должен нас обнаружить, почему он молчит? Встаю, прижимаюсь грудью к березе, вглядываюсь. — на опушке никакого движения. В чем тут уловка? И вдруг начинается трескотня в глубине леса, правее этого места. Трассирующие пули, — синие, красные, зеленые, — замелькали, потянулись нитками. И слышим — русское «ура!» Глотки у нас сами разинулись, — мы поднялись и тоже — «ура!» Проскочили то место, где еще днем сидели немцы, и встретили их в лесной чаще. И отвели душу на этих автоматчиках.

Произошло вот что: оставшая от одного полка неполная рота, под командой лейтенанта Моисеева, пробиваясь на восток, разведала о нашем окружении и, будучи в соседстве, решила нас выручить, — с тылу ударила по автоматчикам. Мы в этот прорыв и вышли.

Моисеев был пылкий человек, рожден воином. Кто он такой на самом деле, мы так и не узнали, — кажется, служил где-то в Западной Белоруссии. Прямой, среднего роста, лицо невыразительное, обыкновенное; рукава гимнастерки засучены по локоть; всегда смеялся добродушно, но взгляд — острый, умный. Да, есть золотые люди на Руси.

Пробиваемся вместе с ротой Моисеева на восток. Сами ищем немцев, — гарнизон ли, оставленный в деревне их первым эшелоном, или десантников, — нападаем первые, и немцы перед нами бегут. Обросли мы бородами, черные все стали, — уж не знаю — от грязи ли, от злости. Бывало, Моисеев посмеивается: с такой армией да под музыку, да по Берлину пройти, на страх немкам, вот будет лихо...

Однажды около полустанка, где стоял разбитый покинутый состав и только что побывали немцы, на зеленом-зеленом сыром лугу, на нескошенной траве увидели лежащую молодую женщину. Руку положила под голову, другую прижала к простреленной груди, — была, как спящая, опущены

ресницы, веторок шевелит каштановые волосы, только с уголка побледневшего рта — струечка крови. Около женщины ползает черноглазая девочка, лет двух, в платице горошком, тормошит ее и все повторяет: «Мама спит, мама спит...» Мы подошли. Девочка прижалась к матери, ладошками сжала ее щеки и глядит на нас, как испуганный мальчонок.

«Товарищи, что там, что там?» — слышим. Бежит Моисеев и рвет на себе ворот гимнастерки. Мы молча расступились. Он остановился и, будто про себя, с удивлением: «Мои, мои, жена, дочь...» Схватил девочку, притиснул к себе... Опустился у жены в изголовьи и заплакал, затанул, как ребенок; тут и девочка заревела.

Бойцы, кто засопев, кто вытирая глаза, отошли. Я отобрал у Моисеева револьвер, и на некоторое время оставили его одного с девочкой; стали копать могилу под тремя кудрявыми березками.

Жена его, должно быть, бсжала — в чем была — с дочкой из Белостока, пробиралась где пешком, где на грузовике, где случайным поездом; на этом полустанке незадолго до нас немец их разбомбил; выскочила, побежала по зеленому лугу. А у немецких летчиков, у желтогубых мальчишек, особенный спорт — пикировать до бреющего полета на бегущую без памяти женщину с ребенком... Может быть, она часу только не дождалась встречи с мужем...

Вырыли могилу под березами, думали, что для одного человека, а пришлось положить туда двоих. Прискакал один из наших разведчиков на заморенной лошаденке, сообщил, что обнаружена группа мотоциклистов на большаке, который пересекал около этого полустанка железнодорожный путь. Можно было, конечно, отойти незаметно, не ввязываться в драку. Но подошел Моисеев с девочкой на руках; у него даже лицо изменилось, стало серое, глаза погасли. «Никак нет, я не согласен», — сказал он, — хочу встретить их, как должно... Только так, только так, товарищи». Погладил девочку по головке и передал на руки бойцу, раненному в голову, и мне — повелительно: «Возратите мое личное оружие».

Моисеев сам провел всю операцию, — в узком месте дороги навалил деревья, посадил в засаду пулеметчиков и стрелков, и, когда немцы беспечно и с удивлением остановились около завала и задние машины подтянулись, он истребил их огнем и штыками, — всех до последнего человека. То ли он действительно искал смерти в этом бою, то ли душила его злоба, — он вертелся с винтовкой в самой гуще схватки. Весь живот ему прошило из автомата. Все же он нашел силы, сел на дороге, оглядывая немецкое побоище... «Ну вот, Маруся, — сказал, видимо, уже немножко не в себе, — это по тебе призна, хороним тебя с музыкой...» Повалился на левый бок, пощипавшей рукой потащил из кобуры револьвер. У него был весь живот перерезан...

Похоронили их обоих в одной могиле. Девочка на руках у того бойца, представьте, не плакала, но глядела, как взрослая, когда зарывали ее мать и отца. Может быть, не понимала, что мы делаем? Хотя — нет, — дети в эту войну пони-

мают больше, чем нам кажется. У них в умишках многое копошится и созревает со временем...

К вечеру в лесу, на привале, мы вскипятили воду в шлемах, помыли нашу девочку, завернули в плащ-палатку, устроили ей гнездо из ветвей и на охрану поставили с винтовкой бойца-пограничника Матвея Махоткина, страшного на вид мужчину. Девочка спала плохо, все просыпалась, звала: «Мама...» Матвей ей говорил: «Спи, спи, не бойся...» Но уже на другой день она затихла. Матвей никому ее не доверял, сам нес на руках и добился, как ее зовут; она долго не хотела говорить, потом вдруг сказала ему на ухо: «Нича...»

Еще много дней пробивались на восток через немецкие заслоны, а когда вплотную подошли к линии фронта, решили девочкой не рисковать. В местечке Немирово попросили незнакомую нам женщину Рину Михальчук, — понравилась она нам, поверили ей, — взять наше дитя. Что было у нас сахару и белых галет — все отдали этой женщине в приданое за Ниной. Уходили из Немирова — заглянули в ее хатку. Нина прыгала у приемной матери на руках, а женщина тихо плакала... Вот и вся моя история...

Осталась наша Ниночка на западе, у немцев. И могила под теми березами — у немцев...

#### IV

#### СТРАННАЯ ИСТОРИЯ

Вот они!.. Поползли гуськом — один, другой, третий — с белым кругом, как кошачий глаз, с черным крестом... Прасковья Савишна перекрестилась, стоя за спиной Петра Филипповича. Как только загромыхали танки, он подскочил на лапку к окошку, прилип к стеклу, но, когда она перекрестилась, живо обернулся, усмехнулся редкими зубами в жесткую бородку. За танками прошли по грязной сельской улице огромные грузовики, набитые ровно сидящими солдатами. Из-под глубоких шлемов — в сером влажном свете — немецкие лица глядели пустыми глазами, тоже серые, мертвенные, брюзгливые.

Шум проходящей колонны затих. И снова стали доноситься очень далекие громовые раскаты. Петр Филиппович отвалился от окна. У него смеялись все морщины у глаз, сами глаза, чуть видные за прищуренными веками, поблескивали непонятно. Прасковья Савишна сказала:

— Господи, страх-то какой... Ну, что ж, Петр Филиппович, может, теперь людьми будем?

Он не ответил. Сидел, стучал ногтями по столу, — небольшой, рыжий, с широкими ноздрями, плешивый. Прасковья Савишна хотелось заговорить об ихнем доме, но рот у нее был запечатан робостью. Всю жизнь боялась мужа, с того дня, как ее в четырнадцатом году взяли из бедной семьи в богатую старообрядческую. С годами как будто и обошлось. Этой весной, когда Петр Филиппович вернулся, отбыв десятилетний срок наказания, она опять начала сго

бояться, и теперь ей было это очень обидно: для чего такой страх? Он не бьет ее и не ругает, но, как ни повернись, на все у него — усмешка, все у него какие-то загадки. Прежде в доме не знали, как и книги читают, теперь он приносил из сельской библиотеки газеты и жег керосин, читая книги. Для этого привез очки с севера.

Прасковья Савишна, ничего не высказав, стала собираться обедать, накрошила капусты, луку, овощей, налила в чашку жидкого кваса и сердито кликнула детей. Обедали с запяса новелыми сухарями, — зерно, мука, копченая гусятина и свинина — все было припрятано на всякий случай от немецких глаз. Петр Филиппович, как обычно, раньше чем взять ложку, вытянул немного руки из рукавов, согнул их в локте и пригладил волосы ладонями, — это была у него отцовская привычка. Когда он выкинул руки, Прасковья Савишна вдруг сказала с женской непоследовательностью:

— Вывеску сельсовета-то содрали, должны теперь нам вернуть дом.

Положив ложку и подтирая фартуком слезы, она без передышки засыпала словами, — излилась в длинной, сто раз слышанной, жалобе. Петр Филиппович и дети — мальчик, такой же рыжий, как отец, и двенадцатилетняя дочь, с молочно-белым угрюмым лицом — молча продолжали хлебать крошанку. Наконец Прасковья Савишна выговорила то новое, что томило ее:

— В селе Благовещенском уголовного одного, — это все говорят, — бургомистром назначили, дали ему дом на кирпичном этаже и лошадь... А у тебя, слава богу, заслуги-то выстраданные...

— А и дура же ты, Прасковья Савишна, всемирная, — только и ответил на это Петр Филиппович так убежденно, что она оборвала и зачихала.

На другой день пришли грузовики с немцами уже не в шлемах, а в пилотках. Офицеры заняли хороший, под железной крышей, отцовский дом Петра Филипповича, что стоял через улицу, наискось от избенки, в которой он жил сейчас; солдаты разместились по избам. Еще за несколько дней до этого почти вся молодежь — девушки и пареньки-подростки — скрылись из села: кто-то их сманил. Немцам это отчаяние не понравилось. На дверях комендатуры и у колодца они написали объявление, — на двух языках, на хорошей бумаге, — правила поведения для русских, с одним наказанием — смертной казнью. Потом начались повальные обыски. Переблуданная Прасковья Савишна рассказала, что есть у них один солдат — специалист по отыскиванию спрятанных поросят: тихонько зайдет на двор и начинает похрюкивать, и — не отпачишь, хрюкает и слушает. Действительно, на нескольких дворах ему откликнулись поросята, а уж так-то хорошо были спрятаны на чердаке... Уж так-то эти бабы потом плакали...

Немцы отбирали все, обчищали избы догола. Прасковья Савишна изныла, таская по ночам носильные вещи из сун-

ука в подполье, оттуда — в золу, в подпечье, или еще куда-нибудь. Наконец Петр Филиппович закричал на нее, затаптывая ногами: «Сиди ты спокойно или уйди, умри где-нибудь, только не здесь!» Дом их был будто под запретом, его обходили. Наконец явились двое с винтовками. Петр Филиппович нависнул на глаза каракулевый, еще отцовский, картуз и спокойно пошел между солдатами. У крыльца комендатуры он остановился и посмотрел, как длинный, в очках, вполне интеллигентного вида, немец, подтащив к себе круглолицую девочку лет четырнадцати, обшаривал ее и шупал; она испуганно подставляла локти, шептала: «Не надо, дяденька, не надо». Он притиснул ее между колен и большими красными руками сжал ей грудь. Она заплакала. Он толкнул ее в затылок, — она споткнулась, пошла; он поправил очки и взглянул на Петра Филипповича, — не в лицо, не в глаза, а мимо.

— Это и есть Петр Горшков? — спросил он, несколько запылаясь.

Вслед за длинным немцем Петр Филиппович вошел в дом, где он родился, вырос, женился, похоронил отца, мать, троих детей; дом этот всю жизнь висел на нем, как лихо одноглазое на мужике, вцепившись в горб. Стены были свежестелены, полы вымыты; в комнате — в три окна — пахло сигарами; здесь в прежние времена по большим праздникам семья Горшковых садилась за стол. Второй немец, осторожно положив перо, взглянул на вошедшего Петра Филипповича — так же — выше головы и сказал по-русски:

— Снять картуз и сесть на стул у двери.

Этот немец был хорошенький, с темными усиками, с блестящим пробором; на черных петлицах — серебряные молнии (которые в древнем, руническом, алфавите обозначали буквы «с» и «с»), а также главные атрибуты германского бога войны — Тора).

— Ваша биография нам известна, — заговорил он после продолжительного молчания, — вы были вратом советской власти, таким, надеюсь, продолжаете оставаться. (Петр Филиппович, с картузом на коленях, выставив бороду, глядел на господина офицера блестящими точками — сквозь морщинистые щелки.) Что мы хотим от вас? Мы хотим от вас: полного осведомления о населении и особенно о связи с партизанами; чтобы вы заставили население работать; русские не умеют работать; мы, немцы, этого не любим, — человек должен работать от утра и до ночи, всю жизнь, иначе его ждет смерть; на моей родине, у моего отца, есть маленькая мельница, на ней работает собака, — она день и ночь бегает в мельничном колесе; собака умное животное, она хочет жить, — этого я не могу сказать про русских... Итак, вы будете назначены бургомистром села Матвеевки. В понедельник вы будете присутствовать при казни двух партизан. После этого вы вступите в свои обязанности...

Петр Филиппович вернулся домой. Жена кинулась к нему:

— Ну, что сказали-то тебе? Отдадут нам дом?

— Как же, как же, — ответил Петр Филиппович, устало садясь на лавку и разматывая шарф.

— Что еще сказали-то тебе?

— Велели, чтоб ты мне баню истопила.

Прасковья Савишна осеклась, поджала губы, таращась на мужа. Но переспросить побоялась.. «А хотя и верно—сегодня ведь суббота, немцы порядок любят...» Надела сапоги и пошла топить баню на берегу речонки.

Петр Филиппович хорошо попарился, напился чайку и лег спать. А еще до света его уже не было дома.

Партизаны, о которых так беспокоился хорошенький немец с молниями на воротнике, имели штаб—не так далеко от села Медведовки, если считать по прямой, но попасть туда было очень трудно: дорожки и едва заметные тропинки, известные только местным людям, вели через густые заросли ельника, ольхи и другой лесной путаницы к болоту; посреди его на твердом острове помещался штаб; все подходы к нему охранялись секретами; немцы не рисковали сунуть и носу в этот лес. Зайди туда чужой человек—услышал бы он, как вдруг, где-то рядом, застучал дятел, ему далеко откликнулась кукушка, и пошли по всему лесу странные звуки—постукивание и посвисты, воронье карканье, собачье потягивание... Жутко бы стало чужому человеку...

Сегодня в безветрии моросил мелкий дождичек. В штабе партизан значительных операций не предвиделось. Небольшие группы—в три, четыре человека—ушли, как обычно: одни—в разведку, другие—ставить мины на большаке. Особая группа еще с темна поджидала прохода воинского поезда. Там, по обочине железнодорожного полотна, залитого извесью, чтобы обнаруживать следы партизан, оттопывали каждый свои два километра немецкие часовые, утрумо и опасливо поглядывая по сторонам. В десяти шагах от них, в болотце, в осоке, под заломанными ветвями лежала наблюдательница—девушка, вооруженная карабином и двумя черными гранатами, величиной в гусиное яйцо; подалее, за вывороченным корневищем, сидел мальчик,—ему пришлось видеть, как всю семью—мать, бабушку, сестренку—сороженные солдаты в шлемах затолкали в сарай с сеновалом и ночью сарай запылаа, и среди криков слышался голос матери... Лицо у мальчишки было желтое, в старческих морщинах, он тоже не спускал глаз с немца, шагающего по полотну в глубоко надвинутом шлеме.

Когда один из часовых прошел то место, которое было намечено партизанами, за его спиной проворный паренек, в туго подпоясанной стеганой куртке, одним прыжком перескочил через полотно, держа перед собой автомат, и тотчас другой паренек, так же бесшумно, кинулся из кустов и быстрыми движениями начал подкладывать под рельсы сложный и страшный снаряд.

Грохоча по лесу, показался поезд, видный весь на завороте пути; подымающиеся белые клубы дыма стлались к земле, путаясь между высокими пнями и редкими тощими березками. Огромный, приподнятый над колесами, жарко ды-

шащий паровоз приближался, — часовые сошли с полотна, показывая, что путь свободен. Перед паровозом раздался резкий вырыв, взлетел песчаный смерч, кусок рельса, свистя колесами, отскочил в сторону; паровоз всей бурно несущейся тяжестью врезался в шпалы; сзади на его занесенный с треском начали громоздиться вагоны, выдвигаться один за другой, поворачиваться и тяжело опрокидываться под откос. Из них с воплями посыпались серо-зеленые человечки...

Кроме таких дел, у партизан было много и другой работы в это утро. Начальник штаба, Евтюхов, тихо беседовал с начальником конной разведки, Иваном Сударевым. Сидя около замаскированной землянки, на сваленной соспе, под морозящим дождиком, они пили из консервных жестянок трофейное французское шампанское, воспетое еще Пушкиным. В такую сырость у обоих ныли старые раны. Евтюхов рассказывал о разных трудностях и неполадках, связанных с тем, что у него не хватает сведений о готовящихся операциях врага, о том, что происходит в немецких тылах.

— Нужен глубокий разведчик, где его найти? Вот мое горе.

— Твое горе основательное, — рассудительно сказал Иван Сударев и выплеснул из жестянки остатки слабого напитка. — Без глубокой разведки отважный дерется с завязанными глазами, а это есть абсурд.

Во время этого разговора заколебался седой от дождя ельник, осыпаясь каплями, и появились две девушки, в потмоновших, насквозь мокрых гимнастерках, в коротких юбках, в больших сапогах. Держа в руках винтовки с примкнутыми штыками, они вели Петра Филипповича Горшкова. Глаза у него были завязаны ситцевым платком, он шел, протянув перед собой руки. Девушки, перебивая одна другую и оправдываясь, рассказывали, что этот человек взят ими в трех километрах отсюда и непонятно, как он пробрался через секреты.

— Это жирный карась, — сказал Иван Сударев начальнику штаба. — В Медведовке я у него раз ночевал, умен и хитер. Интересно, что он скажет.

Петру Филипповичу развязали глаза, девушки, перекинув за спину винтовки, с неохотой отошли от него. Петр Филиппович поднял голову, глядя на загуманенные вершины леса, вздохнул:

— К вам, собственно, я и шел, дело у меня к вам...

— Любопытно, какое у вас ко мне может быть дело, — ответил начальник штаба, пристально и холодно глядя на него. — Немцы, что ли, обижают?

— Наоборот, немцы меня не обижают... Я же десять лет отбывал наказание за вредительство.

— Вам известно, Горшков, что вот вы — незванный — пробрались сюда, но обратно трудно вам будет вернуться?

— Как же, известно... Я и шел на смерть...

Начальник штаба переглянулся с Иваном Сударевым и подвинулся на бревно

— Да вы сядьте, Горшков, будет удобнее разговаривать.



Зачем же вы избрали такой сложный способ для самоубийства?

Петр Филиппович сел на бревнышке, сложил руки под животом...

— Принял, принял в расчет, что вы мне не поверите.. Податься было некуда — вчера вызвали меня и, видишь, предложили должность бургомистра... У немчиков — круговая порука, вот и меня решили связать преступлением: в понеделник должен быть при казни двух ваших партизан...

Евтюхов не усидел на бревне.

— Фу ты, чорт!

У него даже брови перекосило, когда, став перед Петром Филипповичем, он сверлил глазами его непроницаемые щелки.

— Сядь, это всегда успеешь, — сказал ему Иван Сударев

— Продолжайте, Горшков, мы вас слушаем.

— Наперед вот что хочу вам сказать: действительно я был вредителем и осужден правильно. Ни в какой организации не состоял, это мне пришили, но — был зол и все... Не верил, что мои дети будут жить хорошо, в достатке, в довольстве... Что я, старик, умру со светлым сердцем, простив людям, как полагается... Что похоронят меня с честью на русской земле... Не было у меня прощения... Ну, там связался с одним агрономом. Дал он мне порошки... Подумал, подумал — коровы, кормилицы, лошадки — чем же они виноваты? Эти порошки я выбросил, этого греха на мне нет. Агроном-то все-таки попался и на депресе меня оговорил... А я молчал со зла: ладно, ссылайте...

— Странная история, — все еще не успокоившись, сказал начальник штаба.

— Чем же она странная? Русский человек — не простой человек, русский человек — хитро задуманный человек. Десять лет я проработал в лагерях, — мало, что ли, передумано? Так: страдаешь ты, Петр Горшков... Ах, извините, прибавлю только насчет дома нашего, отцовского, под железной крышей, — беспокоится о нем Прасковья Савишна, но не я, отс у меня давно отмерло... За какую правду ты страдаешь? В городе Пустозерске, что неподалеке от нашего лагеря, при царе Алексее Михайловиче сидел в яме протопоп Аввакум. Язык ему отрезали за то, что не хотел молчать; с отрезанным языком, сидя в яме, писал послания русскому народу, моля его жить по правде и стоять за правду, даже и до смерти... Творения Аввакума прочел, — тогда была одна правда, сегодня — другая, но — правда... А правда есть — русская земля...

— Он убедительно говорит, — сказал Иван Сударев начальнику штаба. — Продолжайте, Горшков, давайте короче к делу.

— Торопиться не будем, подойдем и к делу. Немчик, офицер, вчера рассказал про свою собаку, что умное и полезное животное, чего, говорит, нельзя сказать про русских. Смеются над нами немцы-то... А? — Петр Филиппович неожиданно разжал морщины и бесцветными круглыми, тяжелы-

ми глазами взглянул на слушателей. — Смеются они над русским народом: вон, мол, идет неумытый, нечесанный, дурак-дураком — бей его до смерти!.. Вчера другой офицерик на улице, при всем народе, щупать начал девчонку, Киселеву Анютку, хорошую такую, милую девчонку, задрал ей юбку, задыхается сам... Как это понять? Антихрист, что ли, пришел? Русская земля кончилась? Власть советская вооружила народ и повела в бой, чтобы перестал смеяться над нами проклятый немец... Становое дело вы делаете, товарищи, спасибо вам... Советская власть — наша, русская, мужицкая... Свой личный счет я давно закрыл и забыл...

Петр Филиппович облокотился, прикрыл ладонью лоб под козырьком каракулевого картуза.

— Теперь — решайте... Ведите меня в лес, расстреливайте... Я готов, только, ей-богу, будет обидно... Или — верьте мне. Предлагаю: давать о них все сведения, я все буду знать, в штаб армии к ним проберусь, — хитрости у меня хватит. Работать буду смело. Я смерти не боюсь, пыток не испугаюсь.

Иван Сударев и начальник штаба Евтюхов спустились в землянку и там несколько поспорили. С одной стороны, трудно было поверить такому человеку, с другой — глупо не воспользоваться его предложением. Вылезли из землянки, и Евтюхов сурово сказал Петру Филипповичу, все так же сидевшему на бревнышке:

— Решили вам поверить. Обманете, — под землей найдем...

Петр Филиппович просветлел, встал, снял картуз, поклонился:

— Это счастье. Большое счастье для меня. Сведения буду посылать — куда укажете — через мою девчонку... Сынишка-то в мать пошел, слабый, а дочка, Анна, в меня: ребенок злой, скрытный.

Петру Филипповичу завязали глаза, и те же девушки увели его.

В понедельник, такой же сырой и мутный, немецкие солдаты с утра стали выгонять жителей на улицу, крича им непонятное и тыча рукой в сторону сельсовета Там, на небольшой площади, где еще недавно была палисадник со статуей Ленина, снятой и разбитой немцами, стояла гимнастика — два высоких столба с перекладиной. Теперь на ней висели две тонкие веревки с петлями.

Весь народ уже знал, что будут вешать комсомольца Алексея Свиридова, — его немцы подстрелили неподалеку от села, в орешнике, — и Клавдию Ушакову, учительницу медводовской начальной школы; ее также взяли в орешнике, когда она пыталась унести на себе Алексея Свиридова.

Солдаты, взмахивая подбородками и покрикивая, как на скотину, которую гонят по пыльному шоссе в город на бойню, теснили народ ближе к гимнастике. Дождь струился по их стальным шлемам, по морщинистым женским лицам, по детским щекам. Грязь чавкала под ногами. Только и было слышно, как кто-нибудь слабо и болезненно вскрикивал, уколотый штычком.

Показался грузовик. В нем стояла учительница, просто-волосая, бледная, как покойница, черное пальто расстегнуто, руки связаны за спиной. У ног ее сидел полуживой Свиридов. Был он убедительный и горячий паренек, на селе его любили, — ничего от него не осталось, замучили, — сидел, как мешок. Позади грузовика шагали оба офицера, — длинный, в очках, с фотографическим аппаратом, и хорошенький. Оба солидно посмивались, поглядывая на русских.

Грузовик подъехал, повернулся и задом двинулся под гимнастику. На него вскочили двое солдат. Тогда Клавдия Ушакова, раскрыв глаза, будто от непостижимого изумления, крикнула низким голосом:

— Товарищи, я умираю, уничтожайте немцев, клянитесь мне...

Солдат с размаху ладонью закрыл ей рот и сейчас же, торопливо и неловко, начал надевать петлю через затылок на ее тонкую детскую шею.

Сидящий Алексей Свиридов закричал раздирающим хрипом:

— Товарищи, убивайте немцев!..

Другой солдат ударил его по голове и тоже начал натаскивать петлю.

В толпе все громче плакали. Грузовик резко дернул. Ноги Клавдии Ушаковой поползли, тело ее наклонилось, точно падая, и выпрямилось свободно, — она первая повисла на тонкой веревке, наклонив к плечу простоволосую голову, закрыв глаза...

На месте отъехавшего грузовика стоял Петр Филиппович, бургомистр. Весь народ с ужасом увидел, как он снял картуз и перекрестился.

Начальник штаба несколько дней после казни дожидался горшковой девочки в условленном месте, — в сумерках, в овраге, в густом дубняке. Пришел сам Горшков. Начальник штаба весь трясся, глядя на него. Он же, присев на корточки, тихим голосом начал подробно рассказывать, как происходила казнь.

— Народ так это и понял, что ушли от нас великомученики, святые-с... Наказ их предсмертный у всех в ушах... Что же касается сведений, то будут они такие...

И он стал сообщать столь важные сведения, о которых начальник штаба и мечтать не мог. Он долго глядел широко разинутыми глазами на Горшкова:

— Ну, если ты врешь...

Петр Филиппович не ответил, только развел ладошками, усмехнулся; из картуза вынул план, где крестиками были помечены немецкие склады бензина и боеприпасов.

— Ну, это ты оставь — планы чертить, — сказал ему Евтюхов, пряча бумажку в кармашек, — запрещаю тебе строжайше, должен все держать в памяти... Никаких документов! И больше сам сюда не приходи, посылай девочку...

Сведения Горшкова оказались точные. Один за другим немецкие склады взлетали на воздух. Упрямая белолицая

девчонка Анна прокрадывалась почти каждый вечер в овраг и передавала и важное и маловажное. Однажды она сказала, как всегда, бубнящим равнодушным голосом:

— Папашка велел сказать: получены новые автоматы, ключи-то от склада у него теперь, — вам первым он отпустит автоматы. Приходите завтра ночью, только наказывал: в часовых никак не стрелять, а резать их беспрерывно...

Петр Филиппович работал смело и дерзко. Он будто издевался над немцами, доказывал им, что действительно русский человек — хитро задуманный человек и не плоскому немецкому ограниченному уму тягаться с трезвым, вдовольно, не знающим часто даже краев возможностей своих, острым русским умом.

Оба офицера были уверены, что нашли преданного им, как собака хозяину, смысленного человека. Жили они в постоянном страхе: под носом у них горели военные склады, происходили крушения поездов, и таких именно, в которых везли солдат или особо важные грузы; им в голову не могло прийти, например, что в доброй половине полученных из Варшавы ящиков с оружием автоматов и пистолетов уже не было и со склада из Медведовки на фронт отсылались, тщательно закупоренные, ящики с песком. Офицер, с молитвами бога Тора на воротнике, не мог догадаться, что странное нападение в одну из непроглядных ночей на его дом имело целью похитить на несколько часов его полевую сумку с чрезвычайно важными пометками на карте. Сам он ощущался испугом, когда среди ночи зазвенело разбитое окно, что-то упало на пол и рвануло так, — не лежи он в это время на низкой койке, случилось бы непоправимое. В бешенстве он выскочил на улицу. По селу шла трескотня, солдаты выбегали из изб, кричали: «Партизанен!» и стреляли в темноту. У его крыльца лежали двое зарезанных часовых. Он только наутро хватился сумки, но ее вскорости принес вместе с чемоданчиком и запачканным мундиром Петр Филиппович, — он нашел эти вещи здесь же, на огороде, очевидно, партизаны бросили их, убегая.

Немцам дорого обошлось бургомистерство Петра Филипповича. Все же он попался, — на мелочи, вернее, от высокомерной злобы своей к немчикам. Он похитил печать и бланк, взял со склада немецкую пишущую машинку и поехал в село Старую Буду, где партизанил отряд Василия Васильевича Козубского. Директор школы написал ему по-немецки пропуск в город, в штаб армии. Но Василий Васильевич, хотя и хорошо знал по-немецки, сделал ошибку в падеже. Это и погубило Горшкова. Его задержали и вместе с поддельным пропуском вернули в Медведовку. Оба офицера, длинный и хорошенький, не хотели верить такому непостижимому русскому коварству, но потом пришли в ярость: им все теперь стало понятно...

Это случилось в те дни, когда Красная Армия прорвала на одном из участков немецкий фронт и выбила немцев из сел и деревень. Медведовка была занята, первыми туда ворвались партизаны. На улице к Евтюхову подошла Анна, — волосы

у девочки были, как коатун, забиты землей, лицо обтянутое, старушечье, пыльное, платишко изодрано на коленях.

— Вы папашку моего ищете?

— Да, да, что такое с ним?

— Нашу избу сожгли немцы, маму, брата убили. Папашку моего четыре дня пытали, он еще сейчас живой висит, идете.

Анна, как сонная, пошла впереди Евтюхова к прежнему горшковскому дому под железной крышей. Обернулась, с трудом приоткрыла зубы:

— Вы не думайте, папашка мой ничего им не сказал...

В коровьем сарае под перекладиной висел Горшков, в одних подштанниках, с синими опущенными ступнями; искривленное туловище его было все исполосовано, руки скручены за спиной, ребра выпячены, с правой стороны в грудь был всунут крюк, — он висел под перекладиной, повешенный за ребро...

Когда Евтюхов, крикнув ребят, попытался приподнять его, чтобы облегчить муку, Петр Филиппович, видимо, уже не в себе, проговорил:

— Ничего... Мы люди русские.

1942.

---

## МАТЬ И ДОЧЬ

 ни подобрали ее на дороге. Сначала подумали, что девчонка лежит мертвая, и Гриша вильнул рулем, чтобы не раздавить ей босые ноги. Но она приподняла голову, ветер встрепал ее волосы, как выжженную траву. Гриша затормозил, Юрий, сидевший с ним, выскочил из кабинки, наклонился над девчонкой.

— Лезь в грузовик.

Она пошевелилась, попыталась подняться на четвереньки и опять легла бочком в дорожную грязь. Худенькое лицо ее с полузакрытыми веками было больное и голодное, как у собачки, что сидит где-нибудь у забора с обрывком веревки на шее и, не прося, смотрит на проходящих людей. Юрий оглянулся, — в степи под мокрыми весенними облаками нигде не было видно жилья.

— Так! Понятно! — сурово сказал Юрий, хотя ничего ему не стало понятно, и поднял девчонку. Голова ее закинулась, упала на его плечо, но сейчас же испуганно вжалась в плечи. У нее даже кости, кажется, были пустые, — до того худа и легка.

Юрий посадил ее в грузовик на свернутый брезент между ящиками со снарядами, вскочил в кабинку, хлопнул дверцей с грязным простреленным стеклом.

— Выжимай. Опаздываем.

Гриша сказал, вертя баранку:

— Где-нибудь поблизости живет, а мы ее чорт знает куда завезем.

Когда проехали километров пять, Юрий ответил скрипучим, вяло-медленным голосом, как выучился говорить за время войны:

— Меня удивляет твой мыслительный аппарат.

С дороги свернули на бескрайное прошлогоднее жнивье, увязая колесами в черноземе, перегревая мотор, дотащились до балки — спящего оврага, визжа тормозами, съехали по крутому откосу и стали неподалеку от батареи, закрытой сверху сетями.

— Вряд ли от нее чего-нибудь осталось, — сказал Гриша, вытирая рукавом пот со лба. Но девчонка была жива. Ее жеренесли в кабинку, и Гриша сказал ей строго: — Смотри, не подрагивайся до предметов, сиди смирно.

Но что уж,— у нее и без того едва тлелся огонек жизни под ситцевым худым платишком.

Юрий долго глядел холодными глазами на ее понижшее лицо, на две старческих морщинки с углов полураскрытого рта. Когда артиллеристы кончили выгрузку, он пошел к землянке.

У блиндажа, у входа, на снарядном ящике сидел капитан — командир батареи — с выбритым широким, медно-красным, точно ошпаренным, лицом и курил короткую трубочку, с удовольствием потягивая дымок.

— Тишина у нас какая! А! — сказал он Юрию. — Жаворонков слышно. Утром прилетали, проклятые.

— Как живете? спросил Юрий.

— Да вот ночью подсыпали немчикам угольков. Желаете взглянуть: пять танков и две легионистских атаки, с кургана видны богатые результаты...

Вежливо выслушав капитана, который еще не совсем остыл от ночного дела, Юрий сказал твердо:

— Трофейные конфеты имеются у вас на батарее? Шоколад, например?

— Шоколад? — удивился капитан и вынул трубочку из рта. — Первый раз слышу, чтобы старшему лейтенанту в голай степи понадобился шоколад.

— У меня в машине — девочка.

— Так бы сказали сразу. Надо спросить у разведчиков, они часто приносят шоколад.

Юрий тем же скрипучим голосом объяснил, что капитан его не совсем понял. Они пошли к грузовику. Медное лицо капитана все сморщилось от жалости, когда он увидел замученного ребенка.

— Зовут-то тебя как? А? Ты откуда? Ты чья? — спросил он пустым простуженным голосом.

Девочка, не отвечая, опять начала втягивать голову в плечи.

— Били ее, — сказал капитан. — Дело ясное... Ах, сволочи, ах, сволочи!.. — И он сдержанно вздыхал, вспоминая и свою семью, также раздетую, растоптанную немцами. — Она не иначе, как из села Владимирского, с той стороны... Что же вы с ней намерены делать? (Юрий пожал плечами.) Здесь, на батарее, ей будет шумно... Пойдемте искать шоколад.

— Не надо, не надо, — чуть слышно прошептала девочка, когда капитан, Юрий и Гриша старались засунуть ей в рот кусочек трофейного шоколада. Пальцы у всех троих были грубые, толстые, у девочки ротик маленький, — страшно допронуться. Бились, уговаривали. Наконец она почувствовала сладость на измазанных шоколадом губах и приоткрыла зубы. Капитан, радостно засопев, засунул ей туда половину плиточки.

Девочку оставили с Гришей в кабинке. Юрий стал ездить на грузовик, чтобы поглядывать на небо. Валясь со стороны на спору, дымя маслом, потащились в обратный путь. Гриша наконец заметил, что девочка на него глядит, — значит — шоколад подействовал, повеселела. Отдав ей вторую половину плиточки, сказал:

— Будешь ты разговаривать али нет? Чай, ведь взрослая.

— Не буду,— тихо ответила она.

— Отчего так? Мы свои. Имя скажи. Выходит—ты без роду, племени... Мать, отец где у тебя?

Девочка отвернулась, и больше на него не глядела, и шоколад не съела. Ее поместили в землянке с накатом, в лесистом овраге, где неподалеку от станции был склад огнестрельных припасов и жили Юрий, Гриша и еще пять красноармейцев. Девочке устроили травяную постель, прикрытую шинелью. Вымыли ей голову в роднике и, отойдя, чтобы не смущать девочку, было уже, наверно, лет десять), велели выкупаться с мылом. Юрий выстирал ее платишко и заштопал. Кормили ее первые дни осторожно, понемногу и часто, но так как кормили ее все семь мужиков, она опять стала повторять, когда ей совали чего-нибудь в рот: «Не надо, не надо...» Целыми днями лежала в землянке, лицом к стене, дремала, что ли. Когда с ней шутили, отворачивалась. Однажды Юрий пестерком вздумал ей читать наизусть «Мойдодыр» в отрывках,—что помнил. Девочка так тяжело поглядела на него, с таким упреком,—он расстроился, ушел из землянки—курить.

— Она порченная,— сказал ему Гриша,— у ней — не в порядке. Изловчись—отвези ее в город, пристрой где-нибудь в больницу.

Совет был деловой. Но так как подал его Гриша, а не он сам, Юрий фыркнул:

— Не больна она совсем, и не порченная... Спихнуть с себя человека—самое простое дело... В больницу ее! Иодиформу она не нюхала! У нее—горе не детское... Вот у нее что...

На вечерней и утренней заре между звезд тудали, задыхаясь, немецкие самолеты. В стороне станции грохотали зенитки, доносились тяжелые разрывы. Спать приходилось по-птичьи — вполглаза.

Юрий и Гриша однажды вернулись утром, не стали есть, едва стащили сапоги, легли. На Юрину койку присел пулеметчик Ваня,— этот жил в овраге, как на курорте, потому что немцы сюда ни разу не пристали.

— Слышь, всю ночь она плакала, так-то горько, как большая,— сказал Ваня,— прямо спать не дала.

Юрий мутно поглядел на его толстое лицо и только и подумал: «Тебе не дашь спать...» Выяснилось следующее. Девочка весь день вчера, как привязанная, ходила за Ваней, куда он — туда она, он — на пулеметную точку, глядя — она между кустами. Он даже ей пригрозил: «Маскируйся, не обнаруживай себя». Она подползла, села перед ним (он разбирал замок) и тихеньким, отчаянным голосом позвала: «Ваня...» Он — ей: «Ну, что тебе, поесть хочешь?» Она — опять: «Ваня», да так, что у пулеметчика мороз подрал по коже.

Слушая на своей койке этот рассказ, Гриша сказал сквозь дрему:

— Правильно. У нее сердце размякло. А как зовут ее, не сказала?



— Ничего не прибавила, только — Ваня да Ваня, надоедала мне весь день. А ночью — давай плакать.

То, что у девчонки размякло сердце, показалось всем, даже Юрию, убедительным. Ваня до того был прост, добродушен и нетороплив, такая распространялась от его слов и всего поведения уверенность в том, что все хорошо и будет благополучно, что девчонка — понятно — стала ходить за ним, как привязанная, и ему-то и захотела пожаловаться.

Этой же ночью Юрий проснулся и, засветив электрический фонарик, увидел, что девочка лежит, поджав коленки, обхватив подушку, набитую травой, и во сне горько плачет и зовет глуховатым, неясным голосом: «Мамынька, мамынька, где ты?» Юрий не стал ее будить, — пускай хоть во сне найдет свою маму... «Чего ты прячешься, мамынька?» Девочка вдруг замолчала, задыхалась и слабо, радостно вскрикнула... Нашла, значит...

Юрий закурил, повернулся на спину. Неспеша потекли мысли. Было время, глухие годы, когда Иван Карамазов в трактире спросил брата Алешу: если для счастья людей нужно принести в жертву всего одного только ребеночка, замучить его, — взялся бы ты, ради счастья людей, замучить ребеночка? Иван Карамазов полагал, что поставил перед Алешей неразрешимую загадку. Алеша тогда не ответил, промолчал... Замучить ребенка!.. Что может быть страшнее... Да хотя бы ради роскошного счастья всего человечества... Проклято было бы тогда такое счастье.. А карамазовская загадка решалась просто, теперь ее отгадали: да, да, замучил бы, но только ребенком этим пускай буду я... Да и пустая эта загадка, измышленная, умозрительная. Жизнь сама предложила другую: ради спасения от мук хотя бы одного — вот этого — ребенка готовы ли все, кто считает себя человеком, встать на смерть? Вопрос прямой и ответ ясный. И Гриша, и Иван-пулеметчик, и остальные четверо, могуче похрапывающие в землянке, и он — Юрий — отвечают: готовы.

Юрий опять набил трубочку. Горло его раздувало злобой. Ладно, с философией кончим. Вопрос ставим практически: требуем счет, — три миллиона немцев за одну эту дезчонку, три миллиона долговязых блондинов, с жоровыми ресницами и похабными мозгами...

Ваня-пулеметчик взял котелок и полез через кусты на самое дно оврага, где протекал ручей и в одном месте образовался омут. Там он, когда выпадала свободная минута, ловил раков.

Ваня стащил гимнастерку и рубашку, лег на живот у края омута и начал шарить руками в тине, иногда — так глубоко, что приходилось окунать голову в воду. Нашупав рака, Ваня приговаривал: «Попался Ган-Шпанс пучеглазый.. Не интересно тебе... Давай, давай в котелок». Один раз, пуская пузыри, он ушел в студеную воду чуть не по пояс, а когда выпрямился, в руке у него бил хвостом огромный зеленый рачище. За спиной Вани весело засмеялся нежный голосок. Сгоняя ладонью воду с волос и лица, он обернувшись, — смеялась девчонка...

— Ты чего? Разве можно над солдатом смеяться?

Девочка широко открыла голубые глаза, брови ее поднялись, заломились, — вот-вот расплачется...

— Шучу я с тобой, Машка, не плачь.

— Я не Маша, я — Валя, — ответила девочка.

— Ага, во! и сказала, как зовут, ну — молодчина. — У Вани зуб на зуб не попадал, надел рубашку и гимнастерку, подошел к Вале и снял ее за плечи, притянул к себе.

— Раков наедемся?

— Наедемся, — ответила она.

— А покуда покурим? Ладно?

— Ладно...

Ваня оторвал газетную полосочку, согнул, аппетитно насыпал махорочки из жестяной коробки, свернул, дернул по языку:

— Ты на меня не серчай, Валя. Лейтенант Юрий приказал мне узнать про тебя всю подноготную. Он, конечно, строгий, но справедливый, но, конечно, я не выполню приказания — мне будет бучка...

Ваня вытащил из кармана «катушу», приладив, раза три ударил железкой по кремню, приятно запахло фитильком, — закурил.

— Давай, давай, рассказывай...

Из Валиных коротеньких рассказов (в этот день и в последующие) выяснилось: Валя жила с матерью, Матреной Храбровой, в селе Владимирском. Старший Валин брат, Андрей, служил в Красной Армии, младший, Миша, в прошлом году пропал без вести, когда село захватили немцы.

Матрена Храброва очень боялась одного человека и, увидев его в окошко, говорила про него с тихой злобой: «Опять антихрист по дворам пошел, пропасти на него нет...» Когда Валя спрашивала: «Мама, почему называешь Михея Иваныча антихристом?» — мать отвечала: «Большая будешь — узнаешь. А ты, Валька, больше помалкивай... Что мать в избе говорит — не разноси на хвосте-то... Смотри...»

Жили они голодно. У них были три курочки — две белые и одна желтенькая — и почтенный петух, который все отдавал курам, что ни найдет. Матрена их все прятала от немцев в разные места. Говорила: «Солнышко весной пригреет, будут наши курочки нести три яичка в день, тогда, доченька, повеселеешь...»

Однажды, на заре, — недели три тому назад, — Матрена разбудила Валу. «Доченька, — сказала, — надень мои сапоги, накинь платок, сходи посмотри — на кого петух сердится, не лиса ли пробралась в сарай...»

Валя влезла в матернины сапоги, наинула платок, вышла на двор и увидела — дверь в сарае открыта, калитка открыта, кур нет, один петух бегает по двору, сердито хлопочет. Валя ахнула, выглянула за калитку... От их двора шел немецкий солдат, неся за ноги кур, — у них уж и крылья висели... Валя крикнула, побежала за солдатом. Он вместе с курами вскочил в крытый грузовик, откуда из-за

брезента весело заревело несколько голосов, и машина ука-тила. Валя только—вдогонку: «Дяденька, дяденька, это же наши курочки...»

На другой стороне улицы, наискосок от Матрениной из-бы, была новая кирпичная школа. Не так давно туда при-ехала машина с людьми в черных шинелях и черных фу-ражках; парты и книги они выкинули на двор, окна замазали мелом, палисадник опутали колючей проволокой, и стало в школе гестапо. Мимо этого места владимирские и не ходи-ли, а Матрена, когда нужно было отлучиться от двора, ла-зила через плетень в проулок.

Валя, все еще стоя на улице, увидела, как оттуда, из гестапо, вышел Михай Иванович, стуча ногами, слез мимо часового с крыльца и, как пьяный, мутно зашагал. Лицо у него было синее.— так показалось Вале,— все в морщинах, будто он отвернулся от света. Дойдя до Вали, остановился, уперся в нее плоскими глазами: «Ты что? Глядеть на меня? Ах, поганка!» — ударила Ваю по голове и стал топтать са-погом, но все мимо да мимо. А Матрена уже бежала от ворот, вскрикивала диким голосом и с ходу вцепилась ногтями в налитое, круглое лицо Михея: «Ты за что, ты за что ударил мою дочь!» — погнала его на спину и класкала по щекам: «Антихрист проклятый!» Он был не то пьян, не то испугал-ся и только болтал руками и ногами, и Матрена колотила его, покуда на крыльце гестапо кто-то, хлопнув дверью, не за-кричал резко.

Этой потасовки Михай не простил Валиной матери. Ночью к ним в избу вошли с карманными фонарями два черных солдата и стали у двери. Вошел офицер с длинной шеей, с маленьким лицом без подбородка, и за ним — Ми-хей Иванович.

Матрена задрожала, прислонилась к печке: «Конец мой, доченька...» — прошептала.

Михей выдернул Валину руку из ее руки и толкнул Ваю за перегородку, где стояла кровать. «Прикажете произвести обыск, господин обер-лейтенант?»

Офицер сел за стол и ответил медленно по-русски: «Де-лай свое дело».

В дверную щель Валя видела, как Михай вскочил на лав-ку и прямо полез к образнице в красный угол.

«Так и есть, господин обер-лейтенант, письмо здесь от ей-ного от сына Мишки...»

Валя слышала, как мать ответила тихо и ясно: «Письмо подкинутое.. Верьте мне, господин.. Сын мой Михаил про-пал в прошлом году, все на селе знают.. Не может быть письма от него...»

Офицер вынул белую папиросницу, раскрыл, сразу отту-да высунулась папироса и зажегся огонек..

Михей сказал: «Хи-хи, хитро, скажите...»

Офицер закурил, верхняя губа его была длиннее нижней он поставил локти на стол и начал читать письмо.

Михей, скривясь, зашептал: «Его, его письмо, Мишки, он в отряде разведчиком, с матерью ссылается... А другой ее сын, Андрей, летает через фронт к этим партизанам...»

«Верьте, господин, не может он мне писать, я неграмотная...» — опять проговорила Матрена.

«А вот мы сейчас узнаем, — грамотная ты или неграмотная. — У офицера вдруг обозначились жилы во всю длинную шею. — Я не буду с тобой терять время. Советую тебе сразу сказать всю правду, так как боль будет ужасна — Он повернул голову через плечо к черным солдатам. — Приготовить веревку, скамью, жаровню». — И вдруг из-под тени козырька глубоко надстой большой фуражки стал глядеть на Матренины посиневшие руки, сложенные на животе...

Затем началось то, о чем Валя никак не могла рассказать даже Ване-пулеметчику: у нее стискивались зубы, выпячивалось горло, и не было слов, только тоненький писк, как у мыши... Все же можно было понять, что Валя тогда несколько часов за дощатой дверью слушала, как пытали мать, — стоны, оханье, вскрики боли, бормотанье и — опять возню, и крик, и рев уже не голосом матери...

На другой день соседка, крадучись, пробралась в Матренину избу, увидела на полу кровь, клочья волос, тряпки. Вало она нашла за перегородкой на раскиданной постели, среди искусанных подушек. Девочка была без памяти. Соседка перенесла ее к себе. А дверь Матрениной избы подперла колом и закрыла в избе ставни.

Дни стояли томительные, знойные, безветренные. По дорогам висела пыль от бесчисленных потоков машин. Медное солнце жгло сквозь пыльную мглу. Юрий появлялся в землянке редко, — худой, черный, злой, — говорил сквозь зубы до того скрипуче — надоедало слушать. Все понимали, что военная гроза близится, — немцы готовят где-то удар, и он будет жестокий...

Приехал на «антилопе» капитан — командир батареи, лицо его стало еще шире, весь он — от усов до сапог — был серый от пыли. Сел под дубочком на скамью у одного столика, с удовольствием снял фуражку, попросил ключевой водицы.

— Со станции заехал к тебе, — сказал он Юрию, — больно раки у вас в овраге хороши, подбрось полсотенки. — Он поздравил Вало и одобрительно помял ее округлившиеся щеки. — Веселая стала, ишь ты — глазастая... А помнишь — шоколад не котела есть? — Он так густо захохотал, что Валя попятилась. — Теперь все ешь? Молодчина девка... Ну-ка — поди, натаскай мне раков пожирнее...

Капитан выпил полтора котелка студеной воды и, закутив, стал болтать о том и о сем, о чем в часы досуга говорят на фронте: о домашнем, о милome, о прошлом и о гом, чью уток и тетеревов развелось в этом году, как комаров, — «осенью получу отпуск, съезжу к матери на Урал, там поохочусь...» Позавидовал Юрию, что ему по службе приходится мотаться туда и сюда... «А я, как барсук, сижу на батарее, все мечтаю: достать бы мне сочинения Александра Дюма... Читал? А я не читал, говорят — не оторвешься...»

— Про немцев что слышно? — спросил Юрий. — Скоро кончится эта канитель?

— Дней через пяток ждем... Заметно нервничают немчики. На моем участке сосредоточили артиллерийский полк,—передвинули... На передовой сидели у них тотальные, теперь сменены отборными частями,—ордена, медали чуть не у каждого. Языка брать, почешешь в затылке. Танков, авиации стянули ужасное количество... Ждем, ждем... Это ты точно, что надоело.

Выпятив острый нос, Юрий сказал:

— Навернутся они на нас.

— Это точно, не сорок же первый год... Духу им дадим...

Капитан с удовольствием переменил разговор, когда Валя в ивовой корзинке принесла зеленых сердито шевелящихся раков. Капитан надел фуражку, поднялся, потягиваясь.

— В гости на батарею не зову... Шут их знает—могут они и сегодня в ночь двинуть... Мои разведчики приказ перехватили: три дня даются на окружение Красной Армии и четыре дня на ликвидацию... Мы посмеялись... Ну, прощайтесь! Скоро, может быть, не увидимся...

Теперь пыль пошла не от одних колес,—грохотал и застилался черной завесой весь горизонт на западе. Ревело и, надрывая уши, выло небо от невиданного числа самолетов. И так—день и ночь, неделя и другая. Сшиблись наконец два многоголовых великана. Торопливо — по-муравьиному — копошился тыл, ехали и шли роты, полки, дивизии, не разбирая дорог, мчались грузовики, полные снарядов, будто Волга, Урал и Сибирь полными пригоршнями швыряли раскаленные угли в эту громокипящую полосу земли, где немецкие армии в смертельной ярости силились пробиться сквозь русские армии и не могли пробиться и сломить их, и гибли, и новые болотно-зеленые роты, батальоны, полки и дивизии выскакивали из вагонов, с грузовиков, мчались в танках и за танками и разрывались, сжигались, обугливались, взлетали ключьями на воздух во взрывах русской артиллерии, воздушных танков и гвардейских минометов.

В эти дни про Валю забыли. Однажды заскочил Юрий за папиросами,—ввалившиеся щеки поросли щетиной, провалившиеся глаза выпцвели. Он увидел: в землянке, где уже с неделю никто не жил, было чисто подметено веником, койки прибраны, на ржавой печурке стоял крохотный желтенький букетик. Валя сидела и тихо шила из заношенного лоскута кукольную рубашку; здесь же лежала и кукла, смотанная из автомобильного тряпья, лицо у нее было из бумажки, с нарисованными глазами.

— Здравствуй, Валя, ну как—ничего—одна не боишься?

— Нет, не боюсь, дядя Юра.

— А как ты — без горячего?

— Спички вышли, оставьте мне спичек, дядя Юра... Я варила и горячее...

— Ничего... Держись, Валька... Дела идут не плохо... Прощай...

Село Владимирское было захвачено так внезапно, что не успел оттуда ни один немец. Не успело удрать даже геста-

но, — огромный грузовик с черными солдатами и их командиром был перахвачен на грунтовой дороге и сожжен со всем солоржимым. Фронт продолжал продвигаться на запад. Юрий вместе с хозяйством перебрался в рощу близ села Валамирского.

Шофер Гриша, рассказывая в сумерки после ужина всякие военные новости, о которых шоферы почему-то узнают раньше других людей, сообщил между прочим:

— Наша-то Валька такая напористая девчонка. — давеча бегала в село и расспрашивала про этого самого Михея Ивановича, фамилия-то у него чудная — Непей. Вернулась угрюмая: Непей как сквозь землю провалился. Жители о нем говорят: «Хуже чумы у нас был, мы, — говорят, — живого бы его в землю зарыли, он это знает.. Вот — и ушел..»

Едва только Гриша помянул про Михея, Валя появилась. Нахмуренное лицо ее было, как у взрослой, губы поджаты. Села на краешек бревна рядом с Юрием. Когда про все говорили и Ваня-пулеметчик, вытащив немецкую губную гармонь, начал, учась, насвистывать, Валя сказала, опустив голову:

— Дядя Юрий, найдите этого человека, кто маму мою мучил.

Тогда все обернулись и посмотрели на девочку. Юрий, подергав ноздрей, ответил:

— Мы постараемся, Валя, это сделать... Товарищи, надо бы собрать о нем сведения.

За это взялся шофер Гриша. Через несколько дней, в такой же час, он мог уже кое-что рассказать.

Михей Иванович пришел в село со стороны лет восемь тому назад, женившись на одной колхознице — вдове, и вскорости вогнал ее в гроб. Про себя говорил, что он — потомственный шахтер, но — вероятнее всего — его отец и он до революции были подрядчиками на шахтах. Был он зол и увертаив. Всегда у него в избе, — принеся закуску или за деньги, — можно было достать самогон. Одно время стал к нему ездить пьянствовать ветеринар, и они вот что устроили... (Узналось об этом позже, при немцах, когда Михей сам стал хвастать своей ловкостью.) Накануне Покрова, рано утром, доярка пришла в коровник и видит — симментальская корова «Председательница», гордость колхоза, лежит на соломе дохлая, с широко оскаленными зубами. Начался переполох. Ветеринар ночевал у Михея и пришел вместе с колхозниками, осмотрел «Председательницу», «Отойдите, товарищи, — сказал веско, — есть опасение, что это сибирка». Корову со всеми предосторожностями отволокли за село, зарыли вместе со шкурой, коровник дезинфицировали. Слава богу — падежа больше не было. А Михей и ветеринар всю зиму ели солонину. Что же он сделал, чем потом хвалился? Взял он здоровенную картошку, ночью с поддельным ключом прокрался в коровник и картошку ловко засунул «Председательнице» в дыхательное горло, запустив по локоть руку ей в рот. А на другую ночь они с ветеринаром корову откопали и освеживали.

Когда началась война с немцами, Михай до того приободрился, что не мог скрыть злобной радости, и весь этот день, встречая людей, повторял, сверкая глазами: «Ох, польется кровушка... Ох, кровушки теперь прольется...» Когда наши, отступая, проходили через село, шатаясь от усталости, голодные и невеселые, и красноармейцы постучались к Михею — попросить молочка, он приподнял окошечко: «Нету, нету, родимые, советская власть все подчистила...» Когда вошли немцы — вслед за танками, — Михай, причесанный с маслицем, в чистой рубашке и хорошем пиджаке, стоял у ворот, держа на вышитом полотенце каравай с серебряной солонкой. Он кланялся немцам до тех пор, пока один из офицеров, проходя, не взял у него каравай, передал солдату и сказал: «Отлично, хвалю...»

Вскорости Михай начал ходить по дворам и заводил разговоры, присев на крылечке, постукивая палочкой и двусмысленно поглядывая на стоящего хмурого хозяина и хозяйку с растерянным лицом.

— Не знаю, — рассуждал, — право, не знаю, как жить теперь будем при новой власти, колхознички? Сгоряча-то я, сам знаешь, хлеб-соль им поднес... Но теперь, между прочим, начал сомневаться... Все-таки советская власть кое-что дала... Конечно, при немце — порядок, частная торговля и — вообще, но хозяин он крутой... И так думаешь и эдак думаешь... Вот и хожу по людям. — И он, морщась, чесал палочкой за ухом. — Привычка... Общество... Коллектив... Гляди, — многие ведь в партизано уходят, значит: что-то есть... Прочно ли немцы тут основались? — тоже вопрос... Ты-то как думаешь, Степан Петрович?

Солдаты немецкого гарнизона вначале — неделю, другую — будто не обращали особенного внимания на население. Жили, как на курорте, — производили учения, играли в футбол, дудели на трубах, расхаживали в одних трусах, бесстыжие, по улице. Но, когда приехали черные и около школы на фанерном листе вывесили объявление с угрозой — по всякому поводу — смертной казни, немцы показали волчьи зубы. Ограбили село организованно — дочиста, и то, что не увезли в грузовиках черные, подчистили солдатики гарнизона.

Гестапо начало интересоваться каждой семьей. Тут-то и поняли владимирские — зачем к ним ходил Михай точить двусмысленные речи. Ловко, подлец, незаметно выводил между слов — у кого сын или зять в Красной Армии, кто был связан с местными коммунистами, кто дружил с учителем Веревкиным. Учитель накануне прихода немцев скрылся из села вместе с несколькими молодыми ребятами, и теперь, говорят, он в районе взрывает мосты и склады, подорвал один поезд с панцирным эсэсовским батальоном и немаал сжег грузовиков на дорогах.

После страшной гибели этого эшелона (со всего ходу вагоны взгромодились один на другой и повалились с высокой насыпи) черные стали брать людей — и старых и подростков — и отводили их в школу. Брали преимущественно с тех дворов, где бывал Михай. По ночам из школьного подвала в от

душники вылетали такие раздирающие крики — слышали их далеко на конце села, и люди не могли спать, сидя на лавке, мотали головами, старики, старухи шептали молитвы...

Про Михея начали говорить, что он бывает при пытках, — иначе — почему на его дворе появились две коровы и бычок. Сам он теперь ходил в зеленой куртке, подстригал бороду и волосы, а один раз видели, как он курил сигару. Люди, завидев, что он заворачивает к их избе, прятали еду и одежду, что осталось, усылали детей подальше. Пускать Михея не хотелось, не пустить было опасно. Он приходил к людям теперь не просто, а вытаскивал из кармана бутылку шнапсу...

— Не любят меня соотечественники, — говорил, садясь за стол, — вижу, все вижу... Не верят мне... Сплётни про меня плетут, сплётни... (Из другого кармана вытаскивал сало и резал его квадратными кусочками). А я разве не человек? Зверь, что ли, я или чорт? Эх, милые вы мои, скучно мне... Так мне скучно с немцами!.. Верят они мне с того самого часа... А уж немец поверил, — его не пошатнешь... Это — техника, организация... Ему думать некогда, он думает мало... — Михей наливал, подвигал голодному хозяину стаканчик и сальце. — И ведь это они про меня пускают гадость, будто я в гестапо работаю... Связывают меня, чтобы Михею — в случае чего — вернется советская власть — деваться было некуда... Ну, давай, кум, выпьем, что ли... Если я по слабости не так сделал, не то сказал, простите меня христа-ради... Вот эту бутылку у них попросил — дали, а как? — на — в морду ткнули, как собаке... Вот коровы мои, тоже... Ведь эти деньги на коров давно у меня были припрятаны... Люблю молочко, а еще больше — солонинку люблю. — И он лукаво подмигивал, и, смеясь, наливал по второму. — Да чорт с ними, с коровами, когда такая про меня слава... Брошу все, уйду отсюда... Переберусь через фронт, — делайте со мной, что хотите... А то к Веревкину пойду, упаду ему в ноги, — кровью, скажу, хочу покрыть все грехи...

Хозяин — поумнее — молчал, не глядя в глаза, хозяин — попроще — начинал верить и поддакивать. А через несколько доньков за ним являлись черные.

Юрий пошел вместе с Валею в Седьмой отдел к майору и рассказал ему про Михея. Тревожно переводя глаза с Юрия на майора, Валя с таким напряжением слушала, что казалось, вся маленькая жизнь ее теплится одной надеждой — найти этого человека, а не найдут и — замрет огонек. Майор записал данные. «Будем искать подлеца...» И Валя улыбнулась, — всмотрелась в него и опять тревожно затрясла лицом.

По дороге в рощу, в свой лагерь, Юрий шагал быстро, Валя рысцой поспевала за ним...

— Дядя Юрий, а он найдет?

— Почему же я знаю, Валя... Раз сказал, значит — будет искать...

— Дядя Юрий, я сама тоже пойду искать.

— Куда ты пойдешь! Глухости... На мину попадешь или грузовик задавит...



— Нельзя?

— И нельзя, и не приставай, и замолчи...

Несклько дней Валя грустила, отвечала только «да», «нет», сидела в сторонке, сдвинув коротенькие приподнятые брови. Однажды утром ее не обнаружили в землянке. Убежала. Стали обсуждать, — ясно, пошла на розыски Михея. Так всем было неприятно, — чорт! — пропадет дезчонка. Гриша ходил в село, расспрашивал; кое-кто действительно видел ее около заколоченной Матрениной избенки, кое у кого она спрашивала про Михея, а куда пошла потом — никто не видал.

Дня через три Валя прокралась в лагерь, как позинная собачонка, нечесаная, испаранная, чумазая. Ее не ругали, не расспрашивали, общлись сурово и — только Валя проспала чуть на сутки, наслась, а утром ее опять не обнаружили.

Одна женщина, жена местного коммуниста, вернувшаяся с двумя детьми в разоренный дом, рассказала соседям (а через час двое мальчишек прибежали в рошу и рассказали об этом шоферу Грише), что километрах в пятнадцати от села, на дороге, встретила Матренину дочь и та все ей поведала так-то жалобно... «И ведь какая смышленная девочка, догадалась, что Михея непременно укрывается где-нибудь на военных работах... «Все обойду, тетенька Степанида, где дороги чинят, где противотанковые рвы роют, всем в глаза погляжу...» Поплакали мы с ней, дала ей сухарик, и она пошла...»

— Дядя Юрий, а дядя Юрий, вставайте-ка скорее, пойдемте..

Юрий глубоко засопел, просыпаясь. Утро чуть брезжило в маленькое окошечко землянки. Валя стояла у койки, тротала его за лицо.

— Нашлась.. Здравствуй... Ну и дрянь же ты девчонка... Чего меня тормозишь?

— Идемте к этому дяленьке, куда мы ходили с вами... Дядя Юрий, я ведь его нашла...

У нее странно зазвенел голос. Юрий, все еще согд, натянул сапоги, подпоясаясь, пригладил вихор...

— Ну и ну! Неужели нашла?

— Ага... Там я все расскажу, только скорее.

Они пошли в Седьмой отдел к майору, который спал на двух сдвинутых лавках, завернувшись в шинель и положив портфель под голову. Валя, не дожидаясь, когда он очухается и сядет к столу, торопливо начала рассказывать, как она нашла и узнала Михея.

— Двести километров исходила, все-таки он мне попался... Дяленька, он усы и бороду сбрил, только я одна и могу его узнать...

Немного спустя майор с Валею выехали на то место, где тинилось подорванное немцами шоссе. Валя, стоя в открытой машине, напряженно глядела вперед. Подняла руку, обернулась и — шопотом — майору:

— Здесь...

Какой-то сутулящийся человек, белый от известковой пы-

ли, с замотанной платком головой и обвернутыми тряпьем раздвинутыми ногами, колол щбенъ. Когда остановилась машина, он поднял голову, прищурился и коротконосое обритое лицо его все сморщилось, будто он взглянул на свет...

— Он!—крикнула Валя, указывая на него пальцем.

— В чем дело?—хрипло спросил этот человек у подошедшего майора.—Документ мой? Пожалуйста... Все в порядке...—И он, полоснув колючим глазом стоявшую рядом с майором девочку, низко нагнулся и опять стал колоть камень.

Майор спросил, перелистывая паспорт:

— Ваша фамилия Павлов, Алексей Демьянович, тринадцатого года рождения? (Холодная Валяна рука схватила его руку и сжала.)

— Правильно, Павлов Алексей Демьянович,—не поднимая головы, ответил тот.—А в чем все-таки дело?

— А в том, что паспорт твой из немецкой комендатуры...

Человек медленно качнул головой, усмехнулся:

— Вы меня на пушку не берите, товарищ, паспорт мой выдан смоленской милицией, я беженец из Смоленска, инвазид гражданской войны.—Он вдруг потянул носом.—Тоже, жизнь собачья... Колоти камни, жрать нечего... Пропливал кровь за советскую власть, тебе же вон что подносят: из комендатуры паспорт...

Майор до этого молчал, а как человек засопел со слезой, майор вынул пистолет:

— Встать!—Человек нехотя поднялся и сердито бросил молоток.—Подними руки... (Майор похлопал по его карманам.) Иди к машине, вперед меня...

Михей не долго запырался,—его сразу опознали свидетели. Тогда он начал рассказывать.

— Под немцем был пьян без просыпу, сначала-то от радости, а уж потом совесть свою заливал проклятым... Не скрываю—встретил немцев с хлебом-солью, скучно мне было при советской власти, поверил, что под немцем стану жить, понимаете,—жить! Но меня они обманули, прошу дать возможность об этом объявить по радио, всенародно... С охотой, с охотой вначале-то работал у них в качестве, как говорится, артиста... Интересно было из упрямого-то мужика выудить, что он на самом деле думает, сиволатный... Он мне не доверяет, он упирается, а я его, как голого, вижу и сказать заставляю... Советская власть мной пренебрегла, а здесь я развернулся... Когда моих мужичков начали таскать в гестапу, да я услышал, как они там кричат, ах,—что я надеялся! Опомнился, заметался... Руки на себя хотел наложить... Но опять — водка, опять страх перед черными... Ужасные люди, граждане следователь... И уж тут я покотился на дно... Лопнула в душе у меня струна, гражданин следователь... Спрашивайте,—все расскажу, все покажу... Такое, что волосы дыбом встанут...

Несколько ночей он рассказывал о муках русских людей,

о пытках и казнях в гестапо. Показал яму, где зарывали трупы замученных, показал зарытые немцами в подвале пшкoлы орудия пытки: жаровню, железные крючки, которыми подвешивали за ребро, резиновые плети, деревянные иглы-занозы, вбивавшиеся под ногти...

Рассказывал о пытках тихим голосом, обстоятельно, будто о каком-нибудь кустарном заводике, где били скот и делали колбасу...

— Присутствовал, при многих пытках присутствовал, — бормотал он, закрыв глаза. И вдруг упал на пол, стал ногтями скрести землю. — Вот она, кровушка-то, вот она, кровушка... — и целовал земляной пол...

— Бросьте поматься, уж очень вы противны, — сказал ему по-человечески офицер, который вел следствие. Затем, уже в камере, задал вопрос: — Вы, Михай Непей, думали когда-нибудь, работая на немцев, что продаете русский народ, продаете родину?

— Думал, думал... Так ведь с одной родины сыт не будешь, своя рубашка к телу ближе...

Словом, для трибунала все было ясно. В присутствии жителей села Владимирского, теснившихся около школы, в самой школе и на подоконниках, суд приговорил Михея Ивановича Непея к повешению. Когда судья произнес это слово, Михай, стоявший прямо, с вытянутыми по швам руками, даже не моргнул, ничего не изменилось на его обри-том, щетинистом, припухломом лице с низеньким лбом. В зале изумленно, удовлетворенно ахнули, и сейчас же сотни рук захлопали в ладоши, и женский голос крикнул злобно:

— Мало ему, подлещу... Мало ему такой казни. Шкуру с него надо содрать...

Наутро около виселицы, — двух невысоких столбов с перекладиной, — опять собралось все село. Михея привели под охраной четырех красноармейцев. Он шел, как на ватопных ногах, уронив голову. Судья опять прочел приговор. Михея подвели к табуретке. Он попятился. Его подхватили, поставили... Тогда он хлопотливо сам начал надевать на себя петлю. И все увидели его ненавидящие, беловатые, плоские глаза и ненавистническую усмешку, раздвинувшую мелкозубый рот...

Валя, стоявшая совсем близко от него, закричала, сжимая кулачки:

— Ты не смейся... Ты покричи, как мама моя кричала...

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ СПИСОК  
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  
АЛЕКСЕЯ ТОЛСТОГО

1907 год.

Сборник стихов — *Лирика*.

1908 г.

Рассказ — *Старая баня*.

1909 г.

*Сорочьи сказки*.

Стихи: *Солнечные песни. За синими реками*.

Рассказы: *Смерть Нальмовых. Яшмовая тетрадь. Архип. Соревнователь. Злосчастный*.

1910 г.

Роман-хроника — *Две жизни*.

Рассказы: *Мечтатель* («Аггей Коровин»). *Два друга* (переработано в 1921 г. — «Актриса»). *Сватовство* (переработано в 1922 г.). *Прогулка. Неделя в Туреневе* (переработано в 1921 г. — «Петушок»). *Мсть. Логутка. Туманный день. Заволжье* (переработано в 1922 г. — «Мишука Нальмов»). *Родные места. Катенька* (из записок офицера). *Однажды ночью. Лихорадка. Два анекдота об одном и том же*.

1911 г.

Рассказы: *Портрет. Поцелуй*. («Синее покрывало»). *Клякса. Миссионер. Барон. Американский подводный житель. Фавн. Девушки. Казацкий штос. В лесу. Неверный шаг. Чудаки. Ночь в степи. Эшер. Теректий Генералов* (переработано в 1923 г. — «Гидра»). *Дым. И на старуху бывает проруха. Трагик*.

1912 г.

Роман — *Хромой барин* (переработано в 1919 г.).

Пьеса — *Насильники* («Лентяй»).

Рассказ — *Егорий* — волчий пастырь.

1913 г.

Рассказы: *Овражки. Страница из жизни. Приключения Растегина* (переработано в 1915 г.). *Золотая цепь*.

1914 г.

Пьесы: *Выстрел* (на тему рассказа «Два друга»). *Молодой писатель* (арлекинада в I действии).

Рассказы: *Четыре века*. *Буря*. *Большие неприятности*. *Без крыльев* («Маша»). *Письмо с красной печатью* (неоконченный рассказ).

1915 г.

Пьесы: *День битвы*. *Нечистая сила*. *Касатка*.

Рассказы: *Кулик* (начало неоконченного романа «Егор Обозов», он же «Болотные огни»). *Искры* («Любовь»). *Для чего идет снег*. *Профиль*. *Утоли мои печали*. *Обыкновенный человек*. *Старушонка*. *Анна Зисерман*. *Шарлотта*. *По Волины*. *По Галиции*. *На Кавказе*. *Отечество*. *От Москвы до Томашева*. *От Львова до Ярослава*. *От Львова до Карпат*. *В окопе*. *Пленные*. *Париж*. *Макс Вук*.

1916 г.

Пьеса — *Ракета*.

Рассказы: *Прекрасная дама*. *Человек в пенсне*. *В Англии*. *Под водой*. *На усадьбе* (переработано в 1921 г. — «Маша»). *Невеста* («Наташа»). *Орион*.

1917 г.

Роман — *Земные сокровища* (переработка романа-хроники «Две жизни»).

Пьесы: *Горький цвет*. *Кукушкины слезы* (на тему рассказа «Два друга», переработка пьесы «Выстрел» — 1914 г.).

Рассказы: *День Петра*. *Наваждение*.

Сказки: *Тухлый дьявол*. *Солдат и чорт*.

1918 г.

Пьесы: *Любовь — книга золотая*. *Смерть Дантона*.

Рассказы: *Милосердия*. *Катя*.

1919 г.

Рассказы: *Простая душа*. *Рожь*.

1920 г.

*Детство Никиты* (Повесть о многих превосходных вещах).

Рассказы: *Деревенский вечер*. *Назар*. *В Париже*.

1921 г.

*Сестры* (I часть трилогии «Хождение по мукам»).

Повесть — *Необыкновенное приключение Никиты Рощина*.

Рассказы: *Вечер*. *В бреду*. *Синича*. *Актриса* (переработка рассказа «Два друга»). *Петушок* (переработка рассказа «Неделя в Туренева»). *Лунная сырость* («Граф Калностроз»). *Н. Н. Буров и его настроения*.

1922 г.

*Аэлига* (Закат Марса).

Повесть *Смутного времени*.

Рассказы: *Санди*. *Мишука Налымов* (переработка рассказа «Заволжье»).

1923 г.

Роман — *Чудаки* (переработка романов «Земные сокровища» — 1917 г. и «Две жизни» — 1910 г.).

Повести: *Голубые города. Похождение Невзорова или Ибикус.*

Рассказы: *Черная пятница. Гидра* (переработка рассказа «Герен-тий Генералов»). *Золотой мираж. Рукопись, найденная среди мусора под кроватью.*

1924 г.

Пьесы: *Анна Кристи. Изгнание блудного беса* (на сюжет «Горького цвета»). *Бунт машин* (Фантастические сцены).

Рассказы: *На острове Халки. Мираж. В снегах. Убийство Антуана Риво.*

Сказка — *Кот — сметанный рот.*

1925 г.

Пьесы: *Азеф* (Алексей Толстой и Шеголев). *Заговор императрицы* (Алексей Толстой и Шеголев). *Делец* (по Газенклеверу).

Рассказы: *Морозная ночь. Сожитель. Рассказ о капитане Гаттерасе, о Мите Стрельникове, о хулигане Ваське Табуреткине и злом коте Хаме. Как ни в чем не бывало. Союз пяти.*

1926 г.

Пьеса — *Чудеса в решетке.*

Роман — *Гиперболоид инженера Гарина.*

Рассказы: *Случай на Бассейной улице. Московские ночи. Учитель. Наташа.*

1927 г.

Пьесы: *Сто тысяч. Фабрика молодости.*

Рассказы: *Белая ночь. Бывалый человек. Василий Сучков* (Картинка нравов Петербургской стороны). *Завещание Афанасия Ивановича. Счастье Аверьяна Мышкина. Древний путь. Англичане, когда они любезны. Глухое место.*

1928 г.

Рассказы: *Гадюка. Деревенский вечер. Gobелен Марии Антуанетты. Живые тени.*

1929 г.

Пьеса — *На дыбе.*

*Восемнадцатый год* (2 ч. трилогии «Хождение по мукам»).

Рассказ для детей — *Как ни в чем не бывало.*

Рассказы: *Из охотничьего дневника. Марта Рабе. Атаман Григорьев*

1930 г.

Пьеса — *Патент 119.*

Роман — *Петр Первый* (1 кн.).

Рассказы: *Подкидные дураки. Необычайное приключение на волжском пароходе.*

1931 г.

Пьеса — *Это будет* (Алексей Толстой и П. Сухотин).

1932 г.

Роман — *Черное золото*.

Рассказ — *Путешествие в другой мир*.

1934 г.

Роман — *Петр Первый* (2 кн.).

1935 г.

Пьеса — *Петр Первый* (вариант пьесы «На дыбе»).

1936 г.

Сказка — *Золотой ключик или приключения Буратино*.

Пьеса — *Мракобесы* (переработка пьесы «Изгнание блудного беса» — 1924 г.).

1937 г.

Повесть — *Хлеб* («Оборона Царицына»).

1938 г.

Кино-сценарий — *Петр Первый* (Алексей Толстой, В. Петров и Н. Лещенко).

1939 г.

Пьесы: *Чертов мост*. *Золотой ключик*.

1940 г.

Пьеса — *Путь к победе*.

*Русские народные сказки*, I т. (в обработке Алексея Толстого).

Роман — *Эмигранты* (переработка романа «Черное золото»).

1941 г.

*Хмурое утро* (3 ч. трилогии «Хождение по мукам»).

Рассказы: *Смельчаки*. *Таран*.

Памфлет — *Фюлер* (переработка пьесы «Чортон Мост»).

1942 г.

*Рассказы Ивана Сударева: Ночью в сенах на сене. Как это началось. Семеро чумазых. Страшная история. Нина*.

Пьеса — *Нечистая сила или как русский немца обманул* (переработка пьесы «Нечистая сила»).

1943 г.

*Хождение по мукам* (трилогия — «Сестры». «Восемнадцатый год». «Хмурое утро»).

Драматическая повесть — *Иван Грозный* (в 2 частях: «Орел и орлица» — I ч. «Трудные годы» — II ч.).

Рассказы: *Катя*. *Мать и дочь*.

*Русские народные сказки*, II т. (в обработке Алексея Толстого. Начато в 1941 г.).

## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                                   |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| Краткая автобиография . . . . .                                   | 3   |
| Мишука Налымов (Заволжье) . . . . .                               | 13  |
| Овражки . . . . .                                                 | 44  |
| Архип . . . . .                                                   | 63  |
| Хромой барин . . . . .                                            | 79  |
| Детство Никиты . . . . .                                          | 169 |
| Человек в пенсне . . . . .                                        | 239 |
| Под водой . . . . .                                               | 252 |
| Прекрасная дама . . . . .                                         | 268 |
| Древний путь : . . . . .                                          | 282 |
| Черная пятница . . . . .                                          | 298 |
| Повесть Смутного времени . : . . . . .                            | 317 |
| Граф Калиостро . . . . .                                          | 332 |
| Простая душа . . . . .                                            | 357 |
| Гадюка : : . . . . .                                              | 365 |
| Рассказы Ивана Сударева                                           |     |
| Ночью в снях на сене . . . . .                                    | 394 |
| I. Как это началось . . . . .                                     | 395 |
| II. Семеро чумазых . . . . .                                      | 401 |
| III. Нина : : : . . . . .                                         | 408 |
| IV. Странная история . . . . .                                    | 411 |
| Мать и дочь . : . . . . .                                         | 421 |
| Хронологический список художественных произве-<br>дений . . . . . | 435 |



Редактор А. Тихонов  
А 7863.

Подписана к печати 29/V 1944 г.

Печ. л. 27½ авт. л. 31,68, уч.-изд. л. 32,39.

Тираж 15 000. Заказ 18.

Цена 15 руб. 50 коп., в переплете 18 руб.

Типография газеты «Правда» имени Сталина.  
Москва, ул. «Правды», 24.